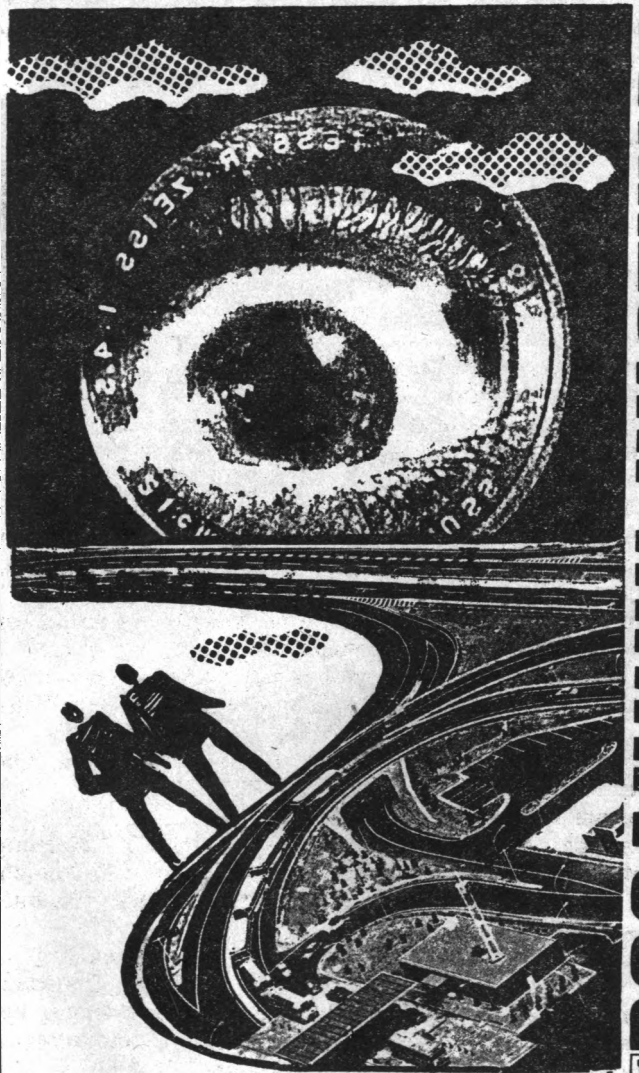
FANTA BELLA
Александр Абрамов, Сергей Абрамов
ВСАДНИКИ НИОТКУДА
FANTA BELLA
Александр Абрамов,
Сергей Абрамов
ВСАДНИКИ НИОТКУДА



ВСАДНИКИ НИОТКУДА

BELLA FANTA

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ

«МИШЕЛЬ И К°»
МОСКВА, 1993

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

Фантастический роман

Часть первая

РОЗОВЫЕ ОБЛАКА

Глава I

КАТАСТРОФА

Снег был пушистым и добрым, совсем не похожим на жесткий, как наждак, кристаллический фирн полярной пустыни. Антарктическое лето, мягкий, веселый морозец, который даже уши не щиплет, создавали атмосферу почти туристической прогулки. Там, где зимой даже лыжи самолета не могли оторваться от переохлажденных кристалликов снега, наш тридцатипятитонный снегоход шел, как «Волга» по московскому кольцевому шоссе. Вано вел машину артистически, не притормаживая даже при виде подозрительных ледяных курчавостей.

— Без лихачества, Вано,— окликнул его Зернов из соседней штурманской рубки.— Могут быть трещины.

— Где, дорогой? — недоверчиво отозвался Вано, всматриваясь сквозь черные очки в поток ослепительного сияния, струившийся в кабину из ветрового иллюминатора.— Разве это дорога? Это проспект Руставели, а не дорога. Сомневаетесь? В Тбилиси не были? Все ясно. Мне тоже.

Я вылез из радиорубки и подсел на откидной стульчик к Вано. И почему-то оглянулся на столик в салоне, где подводил какие-то свои метеорологические итоги Толька Дьячук. Не надо было оглядываться.

— Мы присутствуем при рождении нового шофера-любителя,— противно хихикнул он.— Сейчас кинолог будет просить руль у Вано.

— А ты знаешь, что такое кинолог? — огрызнулся я.

— Я только научно объединяю твои специальности кинооператора и киномеханика.

— Идиот. Кинология — это собаковедение.

— Тогда я исправляю терминологическую ошибку.

И поскольку я не ответил, он тотчас же продолжил:

— Тщеславие тебя погубит, Юрочка. Двух профессий ему уже мало.

Каждый из нас в экспедиции совмещал две, а то и три профессии. Гляциолог по основной специальности, Зернов мог заменить геофизика и сейсмолога. Толька объединял обязанности метеоролога, фельдшера и кока. Вано был автомехаником и водителем специально сконструированного для Заполярья снегохода-гиганта, да еще умел починить все — от лопнувшей гусеницы до перегоревшей электроплитки. А на моем попечении, кроме съемочной и проекционной камер, была еще и радиорубка. Но к Вано меня тянуло не тщеславное желание увеличить ассортимент специальностей, а влюбленность в его «Харьковчанку».

При первом знакомстве с ней с борта самолета она показалась мне красным драконом из детской сказки, а вблизи, с ее выдающимися вперед в добрый метр шириной лапами-гусеницами и огромными квадратными глазами-иллюминаторами, созданием чужого, инопланетного мира. Я умел водить легковую машину и тяжелый грузовик и с разрешения Вано уже опробовал снегоход на ледяном припае у Мирного, а вчера в экспедиции не рискнул: день

был хмурый и ветреный. Но сегодняшнее утро так манило своей хрустальной прозрачностью...

— Уступи-ка руль, Вано,— сказал я, стиснув губы и стараясь на этот раз не оглядываться.— На полчасика.

Вано уже поднимался, когда его остановил оклик Зернова:

— Никаких экспериментов с управлением. Вы отвечаете за любую неисправность машины, Чохели. А вы, Анохин, наденьте очки.

Я тотчас же повиновался: Зернов как начальник был требователен и непреклонен, да и небезопасно было смотреть без защитных очков на мириады искр, зажженных холодным солнцем на снежной равнине. Только у горизонта она темнела, сливаясь с размытым ультрамарином неба, а вблизи даже воздух казался сверкающе-белым.

— Взгляните-ка налево, Анохин. Лучше в бортовой иллюминатор,— продолжал Зернов.— Вас ничто не смущает?

Налево метрах в пятидесяти вздымалась совершенно отвесная ледяная стена. Она была выше всех известных мне зданий; даже нью-йоркские небоскребы, пожалуй, не дотянулись бы до ее верхней пушистой каемки. Блестяще-переливчатая, как лента алмазной пыли, она темнела внизу, где слоистый, слежавшийся снег уже смерзался в мутноватый и жесткий фирн. А еще ниже обрывалась высоченная толща льда, будто срезанная гигантским ножом и голубевшая на солнце, как отраженное в зеркале небо. Только ветер внизу намел двухметровым длинноющим сугробом каемку снега, такую же пушистую, как и на самом верху ледяной стены. Стена эта тянулась бесконечно и неотрывно, где-то пропадая в снежной дали. Казалось, могучие великаны из сказки возвели ее здесь для неизвестно что охраняющей и неизвестно кому угрожающей такой же сказочной крепости. Впрочем, лед в Антарктиде никого не удивит ни в каких очертаниях и формах. Так я и ответил Зернову, внутренне недоумевая, что могло заинтересовать здесь гляциолога.

— Ледяное плато, Борис Аркадьевич. Может быть, шельфовый ледник?

— Старожил,— усмехнулся Зернов, намекая на мой уже вторичный визит к Южному полюсу.— Вы знаете, что

такое шельф? Не знаете? Шельф — это материковая отмель. Шельфовый ледник спускается в океан. А это не обрыв ледника, и мы не в океане.— Он помолчал и прибавил задумчиво: — Остановите Вано. Посмотрим поближе. Интересный феномен. А вы оденьтесь, товарищи. Не вздумайте выбегать в свитерах.

Вблизи стена казалась еще красивее — неправдоподобный голубой брус, ломоть смерзшегося неба, отрезанный от горизонта. Зернов молчал. То ли величие зрелища подавляло его, то ли его необъяснимость. Он долго вглядывался в снежную кайму на гребне стены, потом почему-то посмотрел под ноги, притоптал снег, разбросал его ногой. Мы наблюдали за ним, ничего не понимая.

— Обратите-ка внимание на снег под ногами,— вдруг сказал он.

Мы потоптались на месте, как и он, обнаружив под тоненьким слоем снега толщу льда.

— Каток,— сказал Дьячук.— Идеальная плоскость, не иначе как сам Евклид заливал.

Но Зернов не шутил.

— Мы стоим на льду,— продолжал он задумчиво.— Снега не больше двух сантиметров. А посмотрите, сколько на стене. Метры. Почему? Один и тот же климат, одни и те же ветры, одни и те же условия для аккумуляции снега. Есть какие-нибудь соображения?

Никто не ответил. Зернов просто размышлял вслух:

— Структура льда, видимо, одинакова. Поверхность тоже. Впечатление искусственного среза. А если смести этот сантиметровый слой под ногами, обнаружится такой же искусственный срез. Но ведь это бессмыслица.

— Все бессмыслица в царстве Снежной королевы,— назидательно заметил я.

— Почему королевы, а не короля? — спросил Вано.

— Объясни ему, Толя,— сказал я.— Ты же специалист по картам. Что у нас рядом? Земля королевы Мэри. А дальше? Земля королевы Мод. А в другом направлении? Земля королевы Виктории.

— Просто Виктории,— поправил Толька.

— Она была королевой Англии, эрудит из института прогнозов. Кстати, из области прогнозов: не на этой ли стене Снежная королева играла с Каем? Не отсюда ли он

вырезал свои кубики и складывал из них слово «вечность»?

Дьячук насторожился, предполагая подвох.

— А кто это Кай?

— О боги,— вздохнул я,— почему Ганс Христиан Андерсен не предсказывал погоды? Знаешь, какая разница между ним и тобой? В цвете крови. У него голубая.

— Голубая, между прочим, у спрутов.

Зернов нас не слушал.

— Мы примерно в том же районе? — вдруг спросил он.

— В каком, Борис Аркадьевич?

— Там, где американцы наблюдали эти облака?

— Много западнее,— уточнил Дьячук.— Я проверял по картам.

— Я сказал: примерно. Облака обычно передвигаются.

— Утки тоже,— хихикнул Толька.

— Не верите, Дьячук?

— Не верю. Даже смешно: не кучевые, не перистые. Кстати, сейчас никаких нет.— Он посмотрел на чистое небо.— Может быть, орографические? Они похожи на оплавленные сверху линзы. А розоватые от солнца. Так нет: густо, жирно-розовые, как малиновый кисель. Много ниже кучевых, не то надутые ветром мешки, не то неуправляемые дирижабли. Глупости!

Речь шла о загадочных розовых облаках, о которых сообщили по радио из Мак-Мердо американские зимовщики. Облака, похожие на розовые дирижабли, прошли над островом Росса, их видели на земле Адели и в районе шельфового ледника Шеклтона, а какой-то американский летчик столкнулся с ними в трехстах километрах от Мирного. Радист-американец лично от себя добавил принимавшему радиограмму Коле Самойлову: «Сам видел, будь они прокляты! Бегут по небу, как диснеевские поросята».

В кают-компании Мирного розовые облака не имели успеха. Скептические реплики слышались чаще, чем замечания, свидетельствовавшие о серьезной заинтересованности. Король хохмачей Жора Брук из клуба веселых и находчивых атаковал флегматичного старожила-сейсмолога:

— О летающих блюдцах слышали?

— Ну и что?
— А о банкете в Мак-Мердо?
— Ну и что?
— Провожали в Нью-Йорк корреспондента «Лайф»?
— Ну и что?
— А за ним в редакцию розовые утки вылетели.
— Пошел знаешь куда?

Жора улыбался, подыскивая следующую жертву. Меня он обошел, не считая себя, видимо, достаточно вооруженным для розыгрыша. Я обедал тогда с гляциологом Зерновым, который был старше меня всего на восемь лет но уже мог писать свою фамилию с приставкой «проф.». Что ни говори, а здорово быть доктором наук в тридцать шесть лет, хотя эти науки мне, гуманитарию по внутренней склонности, казались не такими уж важными для человеческого прогресса. Как-то я выложил это Зернову.

В ответ он сказал:

— А знаете, сколько на Земле льда и снега? В одной только Антарктиде площадь ледяного покрова зимой доходит до двадцати двух миллионов квадратных километров, да в Арктике одиннадцать миллионов, плюс еще Гренландия и побережье Ледовитого океана. Да прибавьте сюда все снежные вершины и ледники, не считая замерзающих зимой рек. Сколько получится? Около трети всей земной суши. Ледяной материк вдвое больше Африки. Не так уж малозначительно для человеческого прогресса.

Я «съел» все эти льды и снисходительное пожелание хоть чему-нибудь научиться за время пребывания в Антарктике. Но с тех пор Зернов отметил меня своим благосклонным вниманием и в день сообщения о розовых облаках, встретившись со мной за обедом, сразу предложил:

— Хотите совершить небольшую прогулку в глубь материка? Километров за триста.

— С какой целью?

— Собираемся проверить американский феномен. Малоправдоподобная штука — все так считают. Но поинтересоваться все-таки надо. Вам особенно. Снимать будете на цветную пленку: облака ведь розовые.

— Подумаешь! — сказал я.— Самый обыкновенный оптический эффект.

— Не знаю. Категорически отрицать не берусь. В сообщении подчеркивается, что окраска их якобы не зависит от освещения. Конечно, можно предположить примесь аэрозоля земного происхождения или, скажем, метеоритную пыль из космоса. Впрочем, меня лично интересует другое.

— А что?

— Состояние льдов на этом участке.

Тогда я не спросил почему, но вспомнил об этом, когда Зернов раздумывал вслух у загадочной ледяной стены. Он явно связывал оба феномена.

В снегоходе я подсел к рабочему столику Дьячука.

— Странная стена, странный срез,— сказал я.— Пилой, что ли, ее пилили? Только при чем здесь облака?

— Почему ты связываешь? — удивился Толька.

— Не я связываю — Зернов связывает. Почему он, явно думая о леднике, вдруг о них вспомнил?

— Усложняешь ты что-то. Ледник действительно странный, а облака ни при чем. Не ледник же их продуцирует.

— А вдруг?

— Вдруг только лягушки прыгают. Помоги-ка лучше мне завтрак приготовить. Как думаешь, омлет из порошка или консервы?

Я не успел ответить. Нас тряхнуло и опрокинуло на пол. «Неужели летим? С горы или в трещину?» — мелькнула мысль. В ту же секунду страшный лобовой удар отбросил снегоход назад. Меня отшвырнуло к противоположной стенке. Что-то холодное и тяжелое свалилось мне на голову, и я потерял сознание.

Глава II

ДВОЙНИКИ

Я очнулся и не очнулся, потому что лежал без движения, не в силах даже открыть глаза. Очнулось только сознание, а может, подсознание — смутные, неопределенные ощущения возникали во мне, и мысль, такая же

неопределенная и смутная, пыталась уточнить их. Я утратил весомость, казалось, плыл или висел даже не в воздухе и не в пустоте, а в каком-то бесцветном, тепловатом коллоиде, густом и неощутимом и в то же время наполнявшем меня всего. Он проникал в поры, в глаза и в рот, наполнял желудок и легкие, промывал кровь, а может быть, сменил ее круговорот в моем теле. Создавалось странное, но упрямо не оставлявшее меня впечатление, будто кто-то невидимый смотрит внимательно сквозь меня, ощупывая пытливым взглядом каждый сосудик и нервик, заглядывая в каждую клеточку мозга. Я не испытывал ни страха, ни боли, спал и не спал, видел бессвязный и бесформенный сон и в то же время знал, что это не сон.

Когда сознание вернулось, кругом было так же светло и тихо. Веки поднялись с трудом, с острой колющей болью в висках. Перед глазами стройно взмывал вверх рыжий, гладкий, точно отполированный ствол. Эвкалипт или пальма? А может быть, корабельная сосна, вершины которой я не видел: не мог повернуть головы. Рука нащупала что-то твердое и холодное, должно быть камень. Я толкнул его, и он беззвучно откатился в траву. Глаза поискали зелень газона в подмосковном саду, но он почему-то отливал охрой. А сверху из окна или с неба струился такой ослепительно белый свет, что память сейчас же подсказывала и безграничность снежной пустыни, и голубой блеск ледяной стены. Я сразу все вспомнил.

Преодолевая боль, я приподнялся и сел, оглядываясь вокруг и все узнавая. Коричневый газон оказался линолеумом, рыжий ствол — ножкой стола, а камень под рукой — моей съемочной камерой. Она, должно быть, и свалилась мне на голову, когда снегоход рухнул вниз. Тогда где же Дьячук? Я позвал его, он не ответил. Не откликнулись на зов Зернов и Чохели. В тишине, совсем не похожей на тишину комнаты, где вы живете или работаете — всегда где-то капает вода, поскрипывает пол, тикают часы или жужжит залетевшая с улицы муха,— звучал только мой голос. Я приложил ручные часы к уху — они шли. Было двадцать минут первого.

Кое-как я поднялся и, держась за стену, подошел к штурманской рубке. Она была пуста — со стола исчезли

даже перчатки и бинокль, а со спинки стула — зерновская меховая куртка. Не было и журнала, который вел Зернов во время пути. Вано тоже пропал вместе с рукавицами и курткой. Я заглянул в передний иллюминатор — наружное стекло его было раздавлено и вмято внутрь. А за ним белел ровный алмазный снег, как будто и не было никакой катастрофы.

Но память не обманывала, и головная боль тоже. В бортовом зеркале отразилось мое лицо с запекшейся кровью на лбу. Я ощупал рану — костный покров был цел: ребро съемочной камеры только пробило кожу. Значит, все-таки что-то случилось. Может быть, все находились где-то поблизости на снегу? Я осмотрел в сушилке зажимы для лыж — лыж не было. Не было и дюралюминиевых аварийных санок. Исчезли все куртки и шапки, кроме моих. Я открыл дверь, спрыгнул на лед — он голубовато блестел из-под сдуваемого ветром рыхлого снега. Зернов был прав, говоря о загадочности такого тонкого снежного покрова в глубине полярного материка.

Я огляделся и сразу все понял: рядом с нашей «Харьковчанкой» стояла ее сестра, такая же рослая, красная и запорошенная снегом. Она, вероятно, догнала нас из Мирного или встретилась по пути, возвращаясь в Мирный. Она же и помогла нам, вызволив из беды. Наш снегоход все-таки провалился в трещину; я видел в десяти метрах отсюда и след провала — темное отверстие колодца в фирновой корочке, затянувшей трещину. Ребята из встречного снегохода, должно быть, видели наше падение — а мы, очевидно, счастливо застряли где-нибудь в устье трещины — и вытащили на свет божий и нас самих, и наш злосчастный корабль.

— Эй! Кто в снегоходе?! — крикнул я, обходя его с носа.

В четырех ветровых иллюминаторах не показалось ни одно лицо, не отозвался ни один голос. Я вгляделся и обмер: у снегохода-близнеца было так же раздавлено и промято внутрь стекло крайнего ветрового иллюминатора. Я посмотрел на левую гусеницу: у нашего вездехода была примета — один из его гусеничных стальных рубцов-снегозацепов был приварен наново и резко отличался от остальных. Точно такой же рубец был и у этой гусе-

ницы. Передо мной стояли не близнецы из одной заводской серии, а двойники, повторяющие друг друга не только в серийных деталях. И, открывая дверь «Харьковчанки»-двойника, я внутренне содрогнулся, предчувствуя недоброе.

Так и случилось. Тамбур был пуст, я не нашел ни лыж, ни саней, только одиноко висела на крючке моя кожаная, на меху, куртка. Именно м о я к у р т к а: так же был порван и зашит левый рукав, так же вытерся мех у обшлагов и темнели на плече два жирных пятна — как-то я взялся за него руками, измазанными в машинном масле. Я быстро вошел в кабину и прислонился к стене, чтобы не упасть: мне показалось, что у меня останавливается сердце.

На полу у стола лежал я в том же коричневом свитере и ватных штанах, а лицо мое так же прильнуло к ножке стола, и кровь так же запеклась у меня на лбу, и рука так же цеплялась за съемочную камеру. М о ю съемочную камеру.

Возможно, это был сон и я еще не проснулся и видел себя самого на полу, видел как бы вторым зрением? Щипком рванул кожу на руке — больно. Ясно: очнулся и не сплю. Значит, сошел с ума. Но из книг и статей мне было известно, что сумасшедшие никогда не предполагают, что помешались. Тогда что же это? Галлюцинация? Мираж? Я тронул стену — она была явно не призрачной. Значит, не призраком был и я сам, лежавший без чувств у себя же под ногами. Нелепица, нонсенс. Я вспомнил свои же слова о загадках Снежной королевы. Может быть, все-таки есть Снежная королева, и чудеса есть, и двойники-фантомы, а наука — это вздор и самоутешение?

Что же делать? Бежать сломя голову, запереться у себя в двойнике-снегоходе и чего-то ждать, пока окончательно не сойдешь с ума? Вспомнилось чье-то изречение: «Если то, что ты видишь, противоречит законам природы, значит, виноват и ошибаешься ты, а не природа». Страх прошел, остались непонимание и злость, и я, даже не пытаясь быть осторожным, пнул ногой лежащего. Он застонал и открыл глаза. Потом приподнялся на локте, совсем как я, и сел, тупо оглядываясь.

— А где же все? — спросил он.

Я не узнал голоса — не мой или мой, только на магнитофонной записи. Но до какой степени он был мной, этот фантом, если думал о том же, придя в сознание!

— Где же они,— повторил он и крикнул: — Толька! Дьячук!

Как и мне, ему никто не ответил.

— А что случилось? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.

— Мне показалось, что снегоход провалился в трещину. Нас тряхнуло, потом ударило — должно быть, о ледяную стенку. Я упал... Потом... Куда же они все девались?

Меня он не узнавал.

— Вано! — позвал он, подымаясь.

И снова молчание. Все происшедшее четверть часа назад странно повторялось. Он, пошатываясь, дошел до штурманской рубки, потрогал пустое кресло водителя, прошел в сушилку, обнаружил там, как и я, отсутствие лыж и саней, потом вспомнил обо мне и вернулся.

— А вы откуда? — спросил он, вглядываясь, и вдруг отшатнулся, закрыв лицо рукой.— Не может быть! Сплю я, что ли?

— Я тоже так думал... сначала,— сказал я. Мне уже не было страшно.

Он присел на поролоновый диванчик.

— Вы... ты... простите... О черт... Ты похож на меня, как в зеркале. Ты не призрак?

— Нет. Можешь пощупать и убедиться.

— Тогда кто же ты?

— Анохин Юрий Петрович. Оператор и радист экспедиции,— сказал я твердо.

Он вскочил.

— Нет, это я Анохин Юрий Петрович, оператор и радист экспедиции! — закричал он и снова сел.

Теперь мы оба молчали, рассматривая друг друга: один — спокойнее, потому что видел и знал чуточку больше, другой — с сумасшедшинкой в глазах, повторяя, вероятно, все мои мысли, какие возникали у меня, когда я впервые увидел его. Да, в тишине кабины с одинаковой ритмичностью тяжело дышали два одинаковых человека.

Глава III

РОЗОВЫЕ ОБЛАКА

Как долго это тянулось, не помню. В конце концов он заговорил первым:

— Ничего не понимаю.

— Я тоже.

— Не может же раздвоиться человек.

— И мне так казалось.

Он задумался.

— Может быть, есть все-таки Снежная королева.

— Повторяешься,— сказал я.— Об этом я раньше подумал. А наука — это вздор и самоутешение.

Он смущенно засмеялся, словно одернутый старшим товарищем. По отношению к нему я и был старшим. И тут же внес поправку, как говорится:

— Пошутили, и будет. Это какой-то физический и психический обман. Какой именно, я еще не могу разобраться. Но обман. Что-то не настоящее. Знаешь что? Пойдем в рубку к Зернову.

Он понял меня с полуслова: ведь он был моим отражением. А подумали мы об одном и том же: уцелел ли при аварии микроскоп? Оказалось, что уцелел; стоял на своем месте в шкафчике. Не разбились и стеклышки для препаратов. Мой двойник их тут же достал из коробочки. Мы сравнили руки: даже мозоли и заусенцы у нас были одни и те же.

— Сейчас проверим,— сказал я.

Каждый из нас наколол палец, размазал кровь по стеклышкам, и мы по очереди рассмотрели оба препарата под микроскопом. И кровь у обоих была одинаковой.

— Один материал,— усмехнулся он,— копия.

— Ты копия.

— Нет, ты.

— Погоди,— остановил его я,— а кто тебя пригласил в экспедицию.

— Зернов. Кто же еще?

— А с какой целью?

— Выспрашиваешь, чтобы потом повторить?

— Зачем? Сам могу тебе подсказать. Из-за розовых облаков, да?

Он прищурился, вспоминая о чем-то, и спросил с хитрецой:

— А какую школу ты кончил?

— Институт, а не школу.

— Я о школе спрашиваю. Номерок. Забыл?

— Это ты забыл. А я семьсот девятую кончил.

— Допустим. А кто у нас слева на крайней парте сидел?

— А почему, собственно, ты меня экзаменуешь?

— Проверочка. А вдруг ты Ленку забыл? Кстати, она потом замуж вышла.

— За Фибиха,— сказал я.

Он вздохнул:

— У нас и жизнь одинаковая.

— И все-таки я убежден: ты копия, призрак и наваждение,— окончательно обозлился я.— Кто первым очнулся? Я. Кто первым увидел две «Харьковчанки»? Тоже я.

— Почему две? — вдруг спросил он.

Я торжествующе хохотнул. Мой приоритет получал наглядное подтверждение.

— Потому что рядом стоит другая. Настоящая. Можешь полюбоваться.

Он прильнул к бортовому иллюминатору, растерянно взглянул на меня, потом молча натянул копию моей куртки и вышел на лед. Одинаково приваренный снегозацеп и одинаково промятое стекло иллюминатора заставили его нахмуриться. Он осторожно заглянул в тамбур, прошел к штурманской рубке и вернулся к столику с моей съемочной камерой. Ее он даже потрогал.

— Родная сестра,— сказал он мрачно.

— Как видишь. И она родилась раньше.

— Ты только очнулся раньше,— нахмурился он,— а кто из нас настоящий, еще не известно. Мне-то, впрочем, известно.

«А вдруг он прав? — подумал я.— Вдруг двойник и фантом совсем не он, а я? И кто это, черт побери, может определить, если и ногти у нас одинаково обломаны, и школьные друзья одни и те же? Даже мысли дубли-

руются, даже чувства, если внешние раздражители одинаковы».

Мы смотрели друг на друга, как в зеркало. И может же такое случиться!

— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — вдруг проговорил он.

— Знаю,— сказал я.— Пойдем посмотрим.

Я знал, о чем он подумал, потому что об этом подумал я сам. Если на льду оказались две «Харьковчанки» и не известно, какая из них провалилась в трещину, то почему иллюминатор разбит у обоих? А если провалились обе, то как они выбрались?

Не разговаривая, мы побежали к пролому в фирновой корке. Легли плашмя, подтянувшись к самому краю ледяной щели, и сразу все поняли. Провалился один снегоход, потому что был след падения только одной машины. Она застряла метрах в трех от края ледяной трещины, между ее суживающимися стенками. Мы увидели и ступени во льду, должно быть вырубленные Вано или Зерновым, смотря кто первым сумел выбраться на поверхность. Значит, вторая «Харьковчанка» появилась уже после падения первой. Но кто же тогда вытащил первую? Ведь сама она из трещины выбраться не могла.

Я еще раз заглянул в пропасть. Она чернела, углубляясь, зловещая и бездонная. Я подобрал кусок льда, отколовшийся от края трещины — вероятно, отбитый кайлом, которым вырубали ступени,— швырнул его вниз. Он тотчас же исчез из поля зрения, но звука падения его я не услышал. Мелькнула мысль: а не столкнуть туда и навязанного мне оборотня? Подскочить, схватить за ноги...

— Не воображай, что тебе это удастся,— сказал он.

Я растерялся сначала, потом сообразил.

— Сам об этом подумал?

— Конечно.

— Что ж, сразимся. Может, кто-нибудь и сдохнет.

— А если оба?

Мы стояли друг против друга, взбыченные, отбрасывая на снегу одинаковую тень. И вдруг обоим стало смешно.

— Фарс,— сказал я.— Вернемся в Москву, будут нас показывать где-нибудь в цирке. Два-Анохин-два.

— Почему в цирке? В Академии наук. Новый феномен, вроде розовых облаков.

— Которых нет.

— Посмотри.— Он показал на небо.

В тусклой его синеве качалось розовое облако. Одно-единственное, без соседей и спутников, как винное пятно на скатерти. Оно подплывало медленно-медленно и очень низко, гораздо ниже грозовых облаков, и совсем не походило на облако. Я бы даже не сравнил его с дирижаблем. Скорей всего, оно напоминало кусок раскатанного на столе темно-розового теста или запущенный в небо большой малиновый змей. И, странно подрагивая, словно пульсируя, шло наискось к земле, как живое.

— Медуза,— сказал мой дубль, повторяя мою же мысль,— живая розовая медуза. Только без щупалец.

— Не повторяй моих глупостей. Это вещество, а не существо.

— Ты думаешь?

— Как и ты. Посмотри получше.

— А почему оно вздрагивает?

— Клубится. Это же газ или водяные пары. Или не водяные. А может быть... пыль,— прибавил я неуверенно.

Малиновый змей остановился прямо над нами и начал снижаться. От нас его отделяло метров пятьсот, не больше. Дрожащие края его загибались вниз и темнели. Змей превращался в колокол.

— Дуб маврийский! — воскликнул я, вспомнив о кинокамере.— Снимать же надо!

И бросился к своей «Харьковчанке». Проверить, работает ли аппарат и в порядке ли кассета с цветной пленкой, было делом одной минуты. Я начал снимать прямо из открытой двери, спрыгнув на лед и обежав спаренные снегоходы, нашел другой пункт для съемки. И тут только заметил, что мой «альтер эго» стоит без камеры и растерянно наблюдает за моей суетней.

— Ты почему не снимаешь? — крикнул я, не отрываясь от видоискателя.

Он ответил не сразу и с какой-то непонятной медлительностью.

— Не знаю. Что-то мешает... Не могу.

— Что значит «не могу»?

— Не могу... объяснить.

Я уставился на него, даже забыв об угрозе с неба. Вот наконец это различие! Значит, мы не совсем, не до конца одинаковые. Он переживает нечто меня совсем не затрагивающее. Ему что-то мешает, а я свободен. Не задумываясь, я поймал его в объектив и запечатлел на фоне снегохода-двойника. На мгновение я даже забыл о розовом облаке, но он напомнил:

— Оно пикирует.

Малиновый колокол уже не спускался, а падал. Я инстинктивно отпрыгнул.

— Беги! — закричал я.

Мой новоявленный близнец наконец сдвинулся с места, но не побежал, а как-то странно попятился к своей «Харьковчанке».

— Куда? С ума сошел!

Колокол спускался прямо на него, но он даже не ответил. Я снова прильнул к видоискателю: не упускать же такие кадры! Даже страх пропал, потому что творившееся передо мной было поистине неземным феноменом. Ничего подобного не снимал никогда ни один оператор.

Облако резко уменьшилось в размерах и потемнело. Теперь оно походило на опрокинутую чашечку огромного тропического цветка. От земли его отделяло метров шесть-семь, не больше.

— Берегись! — крикнул я.

Я вдруг забыл, что он тоже феномен, а не человек, и гигантским, непостижимым для меня прыжком рванулся к нему на помощь. Как выяснилось, помочь ему я все равно бы не мог, но прыжок сократил расстояние между нами наполовину. Вторым прыжком я бы достал его. Но что-то не пустило меня, даже отбросило назад, словно удар волны или ураганного ветра. Я чуть не упал, но удержался, даже камеры из рук не выпустил. А чудовищный цветок уже достиг земли, и теперь уже не малиновые, а багровые лепестки его, диковинно пульсируя, прикрывали обоих двойников — снегоход и меня. Еще секунда — и они коснулись запорошенного снегом льда. Теперь рядом с моей «Харьковчанкой» возвышался странный багровый холм. Он словно пенился или кипел, окутанный переливающейся малиновой дымкой. Словно

электрические разряды, вспыхивали в ней золотистые искорки. Я продолжал снимать, стараясь в то же время подойти поближе. Шаг, еще шаг... еще... Ноги наливались непонятной тяжестью, их словно гнуло, притягивало к ледяному полю. Невидимый магнит в нем как бы приказывал: «Стоп, ни с места! Ни шагу дальше». И я остановился.

Холм чуточку посветлел, из багрового опять стал малиновым и вдруг легко взметнул вверх. Опрокинутая чашечка разрослась, порозовевшие края ее медленно загибались вверх. Колокол превратился снова в змей, а розовое облако — в сгусток газа, клубящийся на ветру. Он ничего не унес с земли, никаких сгущений или туманностей не было заметно в его воздушной толще, но внизу на ледяном поле осталась только моя «Харьковчанка». Ее загадочный двойник исчез так же внезапно, как и появился. Лишь на снегу еще виднелись следы широченных гусениц, но ветер уже сдувал их, покрывая ровным пушистым одеялом. Скрылось и облако, пропало где-то за ребром ледяной стены. Я посмотрел на часы. Прошло тридцать три минуты с тех пор, как я, очнувшись, засек время.

Я испытывал необычное чувство облегчения от сознания того, что из моей жизни ушло что-то очень страшное, страшное по своей необъяснимости, и еще более страшное, потому что я уже начал привыкать к этой необъяснимости, как сумасшедший к своему бреду. Бред улетучился вместе с розовым газом, исчезла и невидимая преграда, не подпустившая меня к двойнику. Сейчас я беспрепятственно подошел к своему снегоходу и сел на железную ступеньку, не заботясь о том, что примерзну к ней на все крепчавшем морозце. Ничто меня уже не заботило, кроме мысли о том, как объяснить этот получасовой кошмар. И во второй, и в третий, и в десятый раз, опустив голову на руки, я спрашивал вслух:

— Что же, в сущности, произошло после катастрофы?

Глава IV

СУЩЕСТВО ИЛИ ВЕЩЕСТВО?

И мне ответили:

— Самое главное, что вы живы, Анохин. Честно говоря, я опасался самого худшего.

Я поднял голову. Передо мной стояли Зернов и Толька. Спрашивал Зернов, а Толька рядом топтался на лыжах, перебирая палками. Лохматый и толстый, с каким-то пушком на лице вместо нашей небритой щетины, он, казалось, утратил всю свою скептическую насмешливость и смотрел по-мальчишески возбужденно и радостно.

— Откуда вы? — спросил я.

Я так устал и измучился, что не в силах был даже улыбнуться.

Толька заверещал:

— Да мы близко. Ну, километра полтора-два от силы. Там и палатка у нас стоит...

— Погодите, Дьячук,— перебил Зернов,— об этом успеется. Как вы себя чувствуете, Анохин? Как выбрались? Давно?

— Сразу столько вопросов,— сказал я. Язык поворачивался у меня с трудом, как у пьяного.— Давайте уж по порядку. С конца. Давно ли выбрался? Не знаю. Как? Тоже не знаю. Как себя чувствую? Да, в общем, нормально. Ни ушибов, ни переломов.

— А морально?

Я наконец улыбнулся, но улыбка получилась, должно быть, кривой и неискренней, потому что Зернов тотчас же снова спросил:

— Неужели вы думаете, что мы бросили вас на произвол судьбы?

— Ни минуты не думал,— сказал я,— только судьба у меня с причудами.

— Вижу.— Зернов оглядел нашу злосчастную «Харьковчанку».— А крепкая оказалась штучка. Только помяло чуть-чуть. Кто же все-таки вас вытащил?

Я пожал плечами.

— Вулканов здесь нет. Никаким давлением снизу вас выбросить не могло. Значит, кто-то вмешался.

— Ничего не знаю,— сказал я.— Очнулся я уже здесь на плато.

— Борис Аркадьевич! — вдруг закричал Толька.— А машина-то одна! Значит, другая просто ушла. Я же говорил: снегоход или трактор. Зацепили стальными канатами — и ать-два, дубинушка, ухнем!

— Вытащили и ушли,— усомнился Зернов.— И Анохина с собой не взяли. И помощи не оказали? Странно, очень странно.

— Может, не смогли привести его в чувство? Может, решили, что он умер? А может, еще вернутся, может, у них стоянка где-нибудь поблизости. И врач...

Мне надоели эти идиотские фантазии: заведи Тольку — не остановится.

— Помолчи, провидец! — поморщился я.— Тут десять тракторов ничего бы не сделали. И канатов не было: приснились тебе канаты. А второй снегоход не ушел, а исчез.

— Значит, все-таки был второй снегоход? — спросил Зернов.

— Был.

— Что значит исчез? Погиб?

— В известной степени. В двух словах не расскажешь. Это был двойник нашей «Харьковчанки». Не серийная копия, а двойник. Фантом. Привидение. Но привидение реальное, вещественное.

Зернов слушал внимательно и заинтересованно, не говоря ни слова. Ничто в глазах его не кричало мне: «Псих, сумасшедший, тебя лечить надо!»

Зато Дьячук мысленно не скупился на соответствующие эпитеты, а вслух сказал:

— Ты вроде Вано. Обоим чудеса мерещатся. Прибежал, понимаешь, и кричит: «Там две машины и два Анохина!» И зубами клацает.

— Ты бы на четвереньках пополз от таких чудес,— оборвал его я.— Никому ничего не мерещилось. Было две «Харьковчанки» и два Анохина.

Толька пошевелил губами и, ничего не сказав, посмотрел на Зернова, но тот почему-то отвел глаза. И вместо ответа, кивком головы указывая на дверь позади меня, спросил:

— Там все цело?

— Кажется, все, хотя специально не проверял,— ответил я.

— Тогда позавтракаем. Не возражаете? Мы с тех пор так ничего и не ели.

Я понял психологический маневр Зернова: успокоить меня, чем-то непонятно взволнованного, и создать соответствующую обстановку для разговора. За столом, где мы с аппетитом уничтожали прекрасный Толькин омлет, глава экспедиции первым рассказал о том, что произошло непосредственно после катастрофы на плато.

Когда снегоход провалился в трещину, пробив предательскую корку смерзшегося снега, и застрял сравнительно неглубоко, зажатый уступами ледяного ущелья, то, несмотря на силу удара, пострадало лишь наружное стекло иллюминатора. В кабине даже не погас свет. Без сознания лежали только я и Дьячук. Зернов и Чохели удержались на своих местах, счастливо отделавшись «парой царапин», и прежде всего попытались привести в чувство меня и Тольку. Дьячук сразу пришел в себя, только голова кружилась и ноги были как ватные. «Сотрясеньице небольшое,— сказал он,— пройдет. Поглядим-ка лучше, что с Анохиным». Он уже входил в роль медика. Его подтащили ко мне, и все трое принялись приводить меня в чувство. Но ни нашатырный спирт, ни искусственное дыхание не помогали. «По-моему, у него шок»,— сказал Толька. Вано, уже успевший через верхний люк пробраться на крышу снегохода, сообщил, что из щели можно благополучно выбраться. Однако предложение вынести меня из кабины Толька отверг: «Сейчас его надо оберегать от охлаждения. По-моему, шок переходит в сон, а сон создаст охранительное торможение». Тут Толька чуть снова не свалился без чувств, и эвакуацию экипажа решили начать с него, а меня пока оставить в кабине. Взяли лыжи, санки, палатку, переносную печь и брикеты для топки, фонари и часть продуктов. Хотя снегоход застрял очень прочно и опасность дальнейшего его падения не угрожала, все же оставаться над пропастью не хотелось. Зернов запомнил выемку в ледяной стене, похожую на естественный грот, неподалеку от места аварии. Туда и задумали перебросить сначала Тольку, по-

ставить палатку, печку и вернуться за мной. Буквально за полчаса добрались до грота. Зернов вместе с окончательно оправившимся Толькой остался крепить палатку, а Вано с пустыми санками вернулся за мной. Тут и произошло то, что они сочли у него временным помутнением разума. Не прошло и часу, как он прибежал назад с безумными глазами, в состоянии странной лихорадочной возбужденности. Снегоход, по его словам, оказался не в щели, а на ледяном поле, при этом рядом с ним стоял точно такой же, с одинаково раздавленным передним стеклом. И в каждой из двух кабин он нашел меня, лежавшего на полу без сознания. Тут он взвыл от ужаса, решив, что сошел с ума, и побежал назад, а вернувшись, выпил с ходу валерьянки и категорически отказался идти за мной, объявив, что привык иметь дело с советскими людьми, а не со снежными королевами. Тогда в экспедицию за мной ушли Зернов и Толька.

В ответ я рассказал им свою историю, более удивительную, чем бред Вано. Слушали они меня доверчиво и жадно, как дети сказку, ни одной скептической ухмылочки не промелькнуло на лицах, только Дьячук то и дело нетерпеливо подскакивал, бормоча: «Дальше, дальше:..», а глаза у обоих блестели так, что, по-моему, им самим следовало повторить опыт Вано с валерьянкой. Но когда я кончил, оба долго-долго молчали, предпочитая, видимо, услышать объяснение от меня.

Но я тоже молчал.

— Не сердись, Юрка,— проговорил наконец Дьячук и начал мямлить: — Дневники Скотта читал или еще что такое, не помню. В общем, самогипноз. Снеговые галлюцинации. Белые сны.

— И у Вано? — спросил Зернов.

— Конечно. Я, как медик...

— Медик ты липовый,— перебил Зернов,— так что не будем. Слишком много неизвестных, чтобы так, с кондачка, решить уравнение. Начнем с первого. Кто вытащил снегоход? Из трехметрового колодца, да еще зажатый в такие тиски, каких на заводе не сделаешь. А весит он, между прочим, тридцать пять тонн. У санно-тракторного поезда, пожалуй, силенок не хватит. И с помощью чего вытащили? Канатами? Чушь! Стальные канаты обяза-

тельно оставили бы следы на кузове. А где они, эти следы?

Он молча встал и прошел к себе в рубку штурмана.

— Да ведь это же бред, Борис Аркадьевич! — крикнул вслед Толька.

Зернов оглянулся:

— Вы что имеете в виду?

— Как что? Похождение Анохина. Новый Мюнхаузен. Двойники, облака, цветок-вампир, таинственное исчезновение...

— Мне кажется, Анохин, когда мы подошли, у вас в руках была камера,— вспомнил Зернов.— Вы что-нибудь снимали?

— Все,— сказал я.— Облако, спаренных «Харьковчанок», двойника. Минут десять крутил.

Толька поморгал глазами, все еще готовый к спору. Сдаваться он не собирался.

— Еще не известно, что мы увидим, когда он ее проявит.

— Вы сейчас это увидите,— услышали мы голос Зернова из его рубки.— Посмотрите в иллюминатор.

Навстречу нам на полукилометровой высоте плыл натянутый малиновый блин. Небо уже затянули белые перистые нити, и на фоне их он еще меньше казался облаком. Как и раньше, он походил на цветной парус или огромный бумажный змей. Дьячук вскрикнул и бросился к двери, мы за ним. Облако прошло над нами, не меняя курса, куда-то на север, к повороту ледяной стены.

— К нашей палатке,— прошептал Толька.— Прости, Юрка,— сказал он, протягивая руку,— я дурак недобитый.

Торжествовать мне не хотелось.

— Это вообще не облако,— продолжал он в раздумье, подытоживая какие-то встревожившие его мысли.— Я имею в виду обычную конденсацию водяного пара. Это не капельки и не кристаллы. По крайней мере на первый взгляд. И почему оно так низко держится над землей и так странно окрашено? Газ? Едва ли. И не пыль. Будь у нас самолет, я бы взял пробу.

— Так бы оно тебя и подпустило,— заметил я, вспомнив невидимую преграду и мои попытки пройти сквозь

нее с кинокамерой.— К земле жмет, как на крутых виражах, даже похлеще. Я думал, у меня подошвы магнитные.

— Живое оно, по-твоему?

— Может, и живое.

— Существо?

— Кто его знает? Может, и вещество.— Я вспомнил свой разговор с двойником и прибавил: — Управляемое, наверно.

— Чем?

— Тебе лучше знать. Ты метеоролог.

— А ты уверен, что оно имеет отношение к метеорологии?

Я не ответил. А когда вернулись в кабину, Толька вдруг высказал нечто совсем несусветное:

— А вдруг это какие-нибудь неизвестные науке обитатели ледяных пустынь?

— Гениально,— сказал я,— в духе Конан-Дойля. Отважные путешественники открывают затерянный мир на антарктическом плато. Кто же лорд Рокстон? Ты?

— Неумно. Предложи свою гипотезу, если есть.

Задетый, я высказал первое, что пришло в голову:

— Скорее всего, это какие-нибудь кибернетические устройства.

— Откуда?

— Из Европы, конечно. Или из Америки. Кто-то их придумал и здесь испытывает.

— А с какой целью?

— Скажем сначала, как экскаватор для выемки и подъема тяжелых грузов. Попалась для эксперимента «Харьковчанка» — вытащили.

— Зачем же ее удваивать?

— Возможно, что это неизвестные нам механизмы для воспроизведения любых атомных структур — белковых и кристаллических.

— А цель?.. Цель? Не понимаю...

— Способность понимать у людей с недоразвитым мозжечком, по данным Бодуэна, снижена от четырнадцати до двадцати трех процентов. Сопоставь и подумай, а я подожду. Есть еще один существенный элемент гипотезы.

Тольке так хотелось поскорее понять, что он безропотно проглотил и Бодуэна, и проценты.

— Сдаюсь,— сказал он.— Какой элемент?

— Двойники,— подчеркнул я.— Ты был на пути к истине, когда говорил о самогипнозе. Но только на пути. Истина в другом направлении и на другой магистрали. Не самогипноз, а вмешательство в обработку информации. Никаких двойников фактически не было. Ни второй «Харьковчанки», ни второго Анохина, ни двойников-бытовичков вроде моей куртки или съемочной камеры. Облако перестроило мою психику, создало раздвоенное восприятие мира. В итоге раздвоение личности, сумеречное состояние души.

— И все же в твоей гипотезе нет главного: она не объясняет ни физико-химической природы этих устройств, ни их технической базы, ни целей, для каких они созданы и применяются.

Назвать мою околесицу гипотезой можно было только в порядке бреда. Я придумал ее наспех, как розыгрыш, и развивал уже из упрямства. Мне и самому было ясно, что она ничего не объясняла, а главное, никак не отвечала на вопрос, почему требовалось физически уничтожить двойников, существовавших только в моем воображении, да еще не подпускать меня к таинственной лаборатории. К тому же придумка полностью зависела от проявленной пленки. Если киноглаз зафиксировал то же самое, что видел я, моя так называемая гипотеза не годилась даже для анекдота.

— Борис Аркадьевич, вмешайтесь,— взмолился Толька.

— Зачем? — ответил, казалось, не слушавший нас Зернов.— У Анохина очень развитое воображение. Прекрасное качество и для художника и для ученого.

— У него уже есть гипотеза.

— Любая гипотеза требует проверки.

— Но у любой гипотезы есть предел вероятности.

— Предел анохинской,— согласился Зернов,— в состоянии льда в этом районе. Она не может объяснить, кому и зачем понадобились десятки, а может быть, и сотни кубических километров льда.

Смысл сказанного до нас не дошел, и, должно быть поняв это, Зернов снисходительно пояснил:

— Я еще до катастрофы обратил внимание на без-

укоризненный профиль неизвестно откуда возникшей и неизвестно куда протянувшейся ледяной стены. Он показался мне искусственным срезом. И под ногами у нас был искусственный срез: я уже тогда заметил ничтожную плотность и толщину снегового покрова. Я не могу отделаться от мысли, что в нескольких километрах отсюда может обнаружиться такая же стена, параллельная нашей. Конечно, это только предположение. Но если оно верно, какая сила могла вынуть и переместить этот ледяной пласт? Облако? Допустим, мы ведь не знаем его возможностей. Но облако европейского или американского происхождения? — Он недоуменно пожал плечами.— Тогда скажите, Анохин: для чего понадобились и куда делись эти миллионы тонн льда?

— А была ли выемка, Борис Аркадьевич? У вынутого пласта, по-вашему, две границы. Почему? — оборонялся я.— Где же поперечные срезы? И почему естественнее производить кратером.

— Конечно, если не заботишься о передвижении по материку. А они, видимо, не хотели затруднять такое передвижение. Почему? Еще не пришло время для выводов, но мне кажется, что они не враждебны нам, скорее, доброжелательны. И потом, для кого естественнее производить выемку льда именно так, а не иначе? Для нас с вами? Мы бы поставили предохранительный барьер, повесили бы таблички с указателями, оповестили бы всех по радио. А если они не смогли или не сумели этого сделать?

— Кто это «они»?

— Я не сочиняю гипотез.

Глава V

СОН БЕЗ СНА

В короткое путешествие к палатке я захватил с собой кинокамеру, но облако так и не появилось. На «военном совете» было решено вновь перебазироваться в кабину снегохода, исправить повреждения и двинуть дальше. Разрешение продолжать поиски розовых облаков было по-

лучено. Перед советом я связал Зернова с Мирным, он кратко доложил об аварии, о виденных облаках и о первой произведенной мною съемке. Но о двойниках и прочих загадках промолчал. «Рано»,— сказал он мне.

Место для стоянки они выбрали удачно: мы дошли туда на лыжах за четверть часа при попутном ветре. Палатка разместилась в гроте, с трех сторон защищенная от ветра. Но самый грот производил странное впечатление: аккуратно вырезанный во льду куб с гладкими, словно выструганными рубанком стенками. Ни сосулек, ни наледей Зернов молча ткнул острием лыжной палки в геометрически правильный ледяной срез: видали, мол? Не матушка-природа сработала.

Вано в палатке мы не нашли, но непонятный беспорядок вокруг: опрокинутая печка и ящик с брикетами, разметавшиеся лыжи и брошенная у входа кожанка водителя,— все это удивляло и настораживало. Не снимая лыж, мы побежали на поиски и нашли Чохели совсем близко у ледяной стены. Он лежал на снегу в одном свитере. Его небритые щеки и черная кошма волос были запорошены снегом. В откинутой руке был зажат нож со следами смерзшейся крови. Вокруг плеча на снегу розовело расплывшееся пятно. Снег кругом был затоптан, причем все следы, какие мы могли обнаружить, принадлежали Вано — «сорок пятого размера покупал он сапоги».

Он был жив. Когда мы приподняли его, застонал, но глаз не открыл. Я, как самый сильный, понес его на спине. Толька поддерживал сзади. В палатке мы осторожно сняли с него свитер — рана была поверхностная, крови он потерял немного, а кровь на лезвии ножа, должно быть, принадлежала его противнику. И нас тревожила не потеря крови, а переохлаждение: как долго он пролежал здесь, мы не знали. Но мороз был легкий, а организм крепкий. Мы растерли парня спиртом и, разжав его стиснутые зубы, влили еще стакан внутрь. Вано закашлялся, открыл глаза и что-то забормотал по-грузински.

— Лежать! — прикрикнули мы, упрятав его, укутанного, как мумию, в спальный мешок.

— Где он? — вдруг очнувшись, спросил по-русски Вано.

— Кто? Кто?

Он не ответил, силы оставили его, начался бред. Было невозможно разобрать что-либо в хаосе русских и грузинских слов.

— Снежная королева...— послышалось мне.

— Бредит,— огорчился Дьячук.

Один Зернов не утратил спокойствия.

— Чугун человек.— Это он сказал о Вано, но мог бы переадресовать себе самому.

С переездом решили подождать до вечера, тем более что и днем и вечером было одинаково светло. Да и Вано следовало выспаться: спирт уже действовал. Странная сонливость овладела и нами. Толька хрюкнул, полез в спальный мешок и тотчас же затих. Мы с Зерновым сначала крепились, курили, потом взглянули друг на друга, засмеялись и, расстелив губчатый мат, тоже залезли в меховые мешки.

— Часок отдохнем, а потом и переберемся.

— Есть часок отдохнуть, босс.

И оба умолкли.

Почему-то ни он, ни я не высказали никаких предположений о том, что случилось с Вано. Словно сговорившись, отказались от комментариев, хотя, я уверен, оба думали об одном и том же. Кто был противником Вано и откуда он взялся в полярной пустыне? Почему Вано вышел раздетым за пределы грота? Он даже не успел надеть кожанку. Значит, схватка началась еще в палатке? И что ей предшествовало? И как это у Вано оказался окровавленный нож? Ведь Чохели, при всей его вспыльчивости, никогда не прибег бы к оружию, не будучи к этому вынужденным. Что же вынудило его — стремление защитить кого-то или просто разбойное нападение? Смешно. Разбой за Полярным кругом, где дружба — закон каждой встречи. Ну а если один из двух преступник, скрывающийся от правосудия? Совсем бессмысленно. В Антарктику ни одно государство не ссылает преступников, а бежать сюда по собственной инициативе просто невозможно. Может быть, противник Вано — это потерпевший крушение и сошедший с ума от невыносимого одиночества? Но о кораблекрушении вблизи берегов Антарктиды мы ничего не слышали. Да и каким образом потерпевший крушение мог

оказаться так далеко от берега, в глубине ледяного материка? Наверное, эти же вопросы задавал себе Зернов. Но молчал. Молчал и я.

В палатке было не холодно — протопленная печка еще сохраняла тепло — и не темно: свет, проникавший в слюдяные оконца, конечно, не освещал соседние предметы, но позволял различать их в окружающей тусклой сумеречности. Однако постепенно или сразу — я так и не заметил, каким образом и когда,— эта сумеречность не то чтобы сгустилась или потемнела, а как-то полиловела, словно кто-то растворил в воздухе несколько зерен марганцовки. Я хотел привстать, толкнуть, окликнуть Зернова и не мог: что-то сжимало мне горло, что-то давило и прижимало меня к земле, как тогда в кабине снегохода, когда возвращалось сознание. Но тогда мне казалось, что кто-то словно просматривает меня насквозь, наполняет меня целиком, сливаясь с каждой клеточкой тела. Сейчас, если пользоваться тем же образным кодом, кто-то словно заглянул ко мне в мозг и отступил. Мутный сумрак тоже отступил, окутав меня фиолетовым коконом: я мог смотреть, хоть ничего и не видел; мог размышлять о том, что случилось, хотя и не понимал, что́ именно; мог двигаться и дышать, но только в пределах кокона. Малейшее вторжение в его фиолетовый сумрак действовало как удар электротока.

Как долго это продолжалось, не знаю, не смотрел на часы. Но кокон вдруг раздвинулся, и я увидел стены палатки и спящих товарищей все в той же тусклой, но уже не фиолетовой сумеречности. Что-то подтолкнуло меня, заставив выбраться из мешка, схватить кинокамеру и выбежать наружу. Шел снег, небо затянуло клубящейся пеной кучевых облаков, и только где-то в зените мелькнуло знакомое розовое пятно. Мелькнуло и скрылось. Но может быть, мне все это только почудилось.

Когда я вернулся, Толька, зевая во весь рот, сидел на санках, а Зернов медленно вылезал из своего мешка. Он мельком взглянул на меня, на кинокамеру и, по обыкновению, ничего не сказал. А Дьячук прокричал сквозь зевоту:

— Какой странный сон я только что видел, товарищи! Будто сплю и не сплю. Спать хочется, а не засыпаю. Лежу

в забытьи и ничего не вижу — ни палатки, ни вас. И словно навалилось на меня что-то клейкое, густое и плотное, как желе. Ни теплое, ни холодное — неощутимое. И наполнило меня всего, а я словно растворился. Как в состоянии невесомости, то ли плыву, то ли повис. И не вижу себя, не ощущаю. Я есть, и меня нет. Смешно, правда?

— Любопытно,— сказал Зернов и отвернулся.

— А вы ничего не видели? — спросил я.

— А вы?

— Сейчас ничего, а в кабине, перед тем как очнулся, то же, что и Дьячук. Невесомость, неощутимость — ни сон, ни явь.

— Загадочки,— процедил сквозь зубы Зернов.— Кого же вы привели, Анохин?

Я обернулся. Откинув брезентовую дверь, в палатку — очевидно, вслед за мной — протиснулся здоровенный парень в шапке с высоким искусственным мехом и нейлоновой куртке на таком же меху, затянутой «молнией». Он был высок, широкоплеч и небрит и казался жестоко напуганным. Что могло напугать этого атлета, даже трудно было представить.

— Кто-нибудь здесь говорит по-английски? — спросил он, как-то особо жуя и растягивая слова.

Ни у одного из моих учителей не было такого произношения. «Южанин,— подумал я.— Алабама или Теннеси».

Лучше всех у нас говорил по-английски Зернов. Он и ответил:

— Кто вы и что вам угодно?

— Дональд Мартин! — прокричал парень.— Летчик из Мак-Мердо. У вас есть что-нибудь выпить? Только покрепче.— Он провел ребром ладони по горлу.— Крайне необходимо...

— Дайте ему спирту, Анохин,— сказал Зернов.

Я налил стакан из канистры со спиртом и подал парню — при всей его небритости он был, вероятно, не старше меня. Выпил он залпом весь стакан, задохнулся, горло перехватило, глаза налились кровью.

— Спасибо, сэр.— Он наконец отдышался и перестал дрожать.— У меня была вынужденная посадка, сэр.

— Бросьте «сэра»,— сказал Зернов,— я вам не начальник. Меня зовут Зернов. Зер-нов,— повторил он по слогам.— Где вы сели?

— Недалеко. Почти рядом.

— Благополучно?

— Нет горючего. И с рацией что-то.

— Тогда оставайтесь. Поможете нам перебазироваться на снегоход.— Зернов запнулся, подыскивая подходящее английское наименование, и, видя, что американец его все же не понимает, пояснил: — Ну, что-то вроде автобуса на гусеницах. Место найдется. И рация есть.

Американец все еще медлил, словно не решаясь что-то сказать, потом вытянулся и по-военному отчеканил:

— Прошу арестовать меня, сэр. Я совершил преступление.

Мы переглянулись с Зерновым — вероятно, нам пришла в голову мысль о Вано.

— Какое? — насторожился Зернов.

— Я, кажется, убил человека.

Глава VI

ВТОРОЙ ЦВЕТОК

Зернов шагнул к укутанному Вано, отдернул мех от лица и резко спросил американца:

— Он?

Мартин осторожно и, как мне показалось, испуганно подошел ближе и неуверенно произнес:

— Нннет...

— Вглядитесь получше,— еще резче сказал Зернов.

Летчик недоуменно покачал головой.

— Ничего похожего, сэр. Мой лежит у самолета. И потом...— прибавил он осторожно,— я еще не знаю, человек ли он.

В этот момент Вано открыл глаза. Взгляд его скользнул по стоящему рядом американцу, голова оторвалась от подушки и опять упала.

— Это... не я,— сказал он и закрыл глаза.

— Все еще бредит,— вздохнул Толька.

— Наш товарищ ранен. Кто-то напал на него. Мы не знаем кто,— пояснил американцу Зернов.— Поэтому, когда вы сказали...— Он деликатно умолк.

Мартин подвинул Толькины санки и сел, закрыв лицо руками и покачиваясь, словно от нестерпимой боли.

— Я не знаю, поверите ли вы мне или нет, настолько все это необычно и не похоже на правду,— сказал он.— Я летел на одноместном самолете, не спортивном, а на бывшем истребителе, маленький «локхид» — знаете? У него даже спаренный пулемет есть для кругового обстрела. Здесь он не нужен, конечно, но по правилам полагается содержать оружие в боевой готовности: вдруг пригодится? И пригодилось... только безрезультатно. Вы о розовых облаках слышали? — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил, только судорога на миг скривила рот: — Я настиг их часа через полтора после вылета...

— Их? — удивленно переспросил я.— Их было несколько?

— Целая эскадрилья. Шли совсем низко, мили на две ниже меня, большие розовые медузы. Пожалуй, даже не розовые, а, скорее, малиновые. Я насчитал их семь разной формы и разных оттенков, от бледно-розовой незрелой малины до пылающего граната. Причем цвет все время менялся, густел или расплывался, как размытый водой. Я сбавил скорость и снизился, рассчитывая взять пробу — для этого у меня был специальный контейнер под брюхом машины. Но с пробой не вышло: медузы ушли. Я нагнал их, они опять вырвались — без всяких усилий, будто играючи. А когда я вновь увеличил скорость, они поднялись и пошли надо мной, легкие, как детские шарики, только плоские и большие — не только мою канарейку, но и четырехмоторный «боинг» прикроют. А вели они себя как живые. Только живое существо может так действовать, почуяв опасность. И я подумал: если так, значит, сами они могут стать опасными. Мелькнула мысль: не уйти ли? Но они словно предвидели мой маневр. Три малиновые медузы с непостижимой быстротой вырвались вперед и, не разворачиваясь, не тормозя, с такой же силой и быстротой пошли на меня. Я даже

вскрикнуть не успел, как самолет вошел в туман, неизвестно откуда взявшийся, и даже не в туман, а в какую-то слизь, густую и скользкую. Я тут же все потерял — и скорость, и управление, и видимость. Рукой-ногой двинуть не могу. «Конец»,— думаю. А самолет не падает, а скользит вниз, как планер. И садится. Я даже не почувствовал, когда и как сел. Словно утонул в этой малиновой слякоти, захлебнулся, но не умер. Смотрю: кругом снег, а рядом — самолет, такой же, как и мой,— «локхид» маленький. Вылез, бросился к нему, а из кабины мне навстречу такой же верзила, как и я. То ли знакомый, то ли нет — сообразить не могу. Спрашиваю: «Ты кто?» — «Дональд Мартин,— говорит.— А ты?» А я смотрю на него, как в зеркало. «Нет, врешь,— говорю,— это я Дон Мартин». А он уже замахнулся. Я нырнул под руку — и левой в челюсть. Он упал и виском о дверцу — хрясь! Даже стук послышался. Смотрю: лежит. Пнул его ногой — не шелохнулся. Потряс — голова болтается. Я подтащил его к своему самолету, думал, доставлю на базу, а там помогут. Проверил горючее — ни капли. Дам радиограмму хотя бы — так рация вдруг замолчала — ни оха, ни вздоха. Тут у меня голова совсем помутилась, выскочил и побежал без цели, без направления — все одно куда, лишь бы дальше от этого сатанинского цирка. Все молитвы позабыл, и перекреститься некогда, только шепчу «господи Иисусе» да «Санта-Мария». И вдруг вашу палатку увидел. Вот и все.

Я слушал его, вспоминая свое испытание, и, кажется, уже начал понимать, что случилось с Вано. Что сообразил Голька, по его выпученным глазам уразуметь было трудно. Вероятно, начал сомневаться и проверять каждое слово Мартина. Сейчас он начнет задавать вопросы на своем школьном английском языке. Но Зернов предупредил его:

— Оставайтесь с Вано, Дьячук, а мы с Анохиным пойдем с американцем. Пошли, Мартин,— прибавил он по-английски.

Инстинкт или предчувствие — уж я сам не знаю, как психологи объяснили бы мой поступок,— подсказали мне захватить по пути кинокамеру, и как я благодарен был потом этому неосознанному подсказу. Даже Толька, как мне показалось, поглядел мне вслед с удивлением: что

именно я снимать собрался — положение трупа для будущих следователей или поведение убийцы у тела убитого? Но снимать пришлось нечто иное, и снимать сразу же на подходе к месту аварии Мартина. Там было уже не два самолета, севших, как говорится, у ленточки, голова в голову, а только один — серебристая канарейка Мартина, его полярный ветеран со стреловидными крыльями. Но рядом с ним знакомый мне пенистый малиновый холм. Он то дымился, то менял оттенки, то странно пульсировал, точно дышал. И белые, вытянутые вспышки пробегали по нему, как искры сварки.

— Не подходите! — предупредил я обгонявших меня Мартина и Зернова.

Но опрокинутый цветок уже выдвинул свою невидимую защиту. Вырвавшийся вперед Мартин, встретив ее, как-то странно замедлил шаг, а Зернов просто присел, согнув ноги в коленях. Но оба все еще тянулись вперед, преодолевая силу, пригибавшую их к земле.

— Десять «же»! — крикнул обернувшийся ко мне Мартин и присел на корточки.

Зернов отступил, вытирая вспотевший лоб.

Не прекращая съемки, я обошел малиновый холм и наткнулся на тело убитого или, может быть, только раненного двойника Мартина. Он лежал в такой же нейлоновой куртке с «химическим» мехом, уже запорошенный снегом, метрах в трех-четырех от самолета, куда его перетащил испуганный Мартин.

— Идите сюда, он здесь! — закричал я.

Зернов и Мартин побежали ко мне, вернее, заскользили по катку, балансируя руками, как это делают все, рискнувшие выйти на лед без коньков: пушистый крупитчатый снег и здесь только-только припудривал гладкую толщу льда.

И тут произошло нечто совсем уже новое, чего ни я, ни мой киноглаз еще не видели. От вибрирующего цветка отделился малиновый лепесток, поднялся, потемнел, свернулся в воздухе этаким пунцовым фунтиком, вытянулся и живой четырехметровой змеей с открытой пастью накрыл лежащее перед нами тело. Минуту или две это змееподобное щупальце искрилось и пенилось, потом оторвалось от земли, и в его огромной, почти двухмет-

ровой пасти мы ничего не увидели — только лиловевшую пустоту неправдоподобно вытянутого колокола, на наших глазах сокращавшегося и менявшего форму: сначала это был фунтик, потом дрожавший на ветру лепесток, потом лепесток слился с куполом. А на снегу оставался лишь след — бесформенный силуэт только что лежавшего здесь человека.

Я продолжал снимать, торопясь не упустить последнего превращения. Оно уже начиналось. Теперь оторвался от земли весь цветок и, поднимаясь, стал загибаться кверху. Этот растекавшийся в воздухе колокол был тоже пуст — мы ясно видели его ничем не наполненное, уже розовеющее нутро и тонкие распрямляющиеся края,— сейчас оно превратится в розовое облако и исчезнет за настоящими облаками. А на земле будут существовать только один самолет и один летчик. Так все и произошло.

Зернов и Мартин стояли молча, потрясенные, как и я, впервые переживший все это утром. Зернов, по-моему, уже подошел к разгадке, только маячившей передо мной тусклым лучиком перегорающего фонарика. Он не освещал, он только подсказывал контуры фантастической, но все же логически допустимой картины. А Мартин просто был подавлен не столько ужасом увиденного, сколько одной мыслью о том, что это увиденное лишь плод его расстроенного воображения. Ему, вероятно, мучительно хотелось спросить о чем-то, испуганный взгляд его суетливо перебегал от меня к Зернову, пока наконец Зернов не ответил ему поощряющей улыбкой: ну, спрашивай, мол, жду. И Мартин спросил:

— Кого же я убил?

— Будем считать, что никого,— улыбнулся опять Зернов.

— Но ведь это был человек, живой человек,— повторял Мартин.

— Вы в этом очень уверены? — спросил Зернов.

Мартин замялся:

— Не знаю.

— То-то. Я бы сказал: временно живой. Его создала и уничтожила одна и та же сила.

— А зачем? — спросил я осторожно.

Он ответил с несвойственным ему раздражением:

— Вы думаете, я знаю больше вас? Проявите пленку — посмотрим.

— И поймем? — Я уже не скрывал иронии.

— Может быть, и поймем,— сказал он задумчиво.

И ушел вперед, даже не пригласив нас с собой. Мы переглянулись и пошли рядом.

— Тебя как зовут? — спросил Мартин, по-свойски взяв меня за локоть,— должно быть, уже разглядел во мне ровесника.

— Юрий.

— Юри, Юри,— повторил он,— запоминается. А меня Дон. Оно живое, по-твоему?

— По-моему, да.

— Местное?

— Не думаю. Ни одна экспедиция никогда не видела ничего подобного.

— Значит, залетное. Откуда?

— Спроси у кого-нибудь поумнее.

Меня уже раздражала его болтовня. Но он не обиделся.

— А как ты думаешь, оно — желе или газ?

— Ты же пытался взять пробу.

Он засмеялся:

— Никому не посоветую. Интересно, почему оно меня в воздухе не слопало? Заглотнуло и выплюнуло.

— Попробовало — невкусно.

— А его проглотило.

— Не знаю,— сказал я.

— Ты же видел.

— Что накрыло — видел, а что проглотило — не видел. Скорее, растворило... или испарило.

— Какая же температура нужна?

— А ты ее измерял?

Мартин даже остановился, пораженный догадкой.

— Чтобы расплавить такой самолет? В три минуты? Сверхпрочный дюраль, между прочим.

— А ты уверен, что это был дюраль, а не дырка от бублика?

Он не понял, а я не объяснил, и до самой палатки мы уже дошли молча. Здесь тоже что-то произошло: меня поразила странная поза Тольки, скорчившегося на ящике с брикетами и громко стучавшего зубами не то от страха,

не то от холода. Печка уже остыла, но в палатке, по-моему, было совсем не холодно.

— Что с вами, Дьячук? — спросил Зернов.— Затопите печь, если простыли.

Толька, не отвечая, как загипнотизированный, присел у топки.

— Психуем немножко,— сказал Вано из-под своего мехового укрытия. Он глядел шустро и весело.— У нас тоже гости были,— прибавил он и подмигнул, кивком головы указывая на Тольку.

— Никого у меня не было! Говори о себе! — взвизгнул тот и повернулся к нам. Лицо его перекосилось и сморщилось — вот-вот заплачет.

Вано покрутил пальцем у виска:

— В расстроенных чувствах находимся. Да не кривись — молчу. Сам расскажешь, если захочешь,— сказал он Тольке и отвернулся.— У меня тоже чувства расстроились, Юрка, когда я тебя в двух экземплярах увидел. Не перенес, удрал. Страшно стало — мочи нет. Накрылся кожанкой, лег. Хочу заснуть — не могу. Сплю — не сплю, а сон вижу. Длинный сон, смешной и страшный. Будто ем кисель, темный-темный, не красный, а лиловый, и так много его, что заливает меня с головой, вот-вот захлебнусь. Как долго это продолжалось, не помню. Только открыл глаза, вижу — все как было, пусто, холодно, вас нет. И вдруг он входит. Как в зеркале вижу: я! Собственной персоной, только без куртки, в одних носках.

Мартин, хотя и не понимал, слушал с таким вниманием, словно догадывался, что речь идет о чем-то, для него особенно интересном. Я сжалился и перевел. Он так и вцепился в меня, пока Вано рассказывал, и только дергал поминутно: переводи, мол. Но переводить было некогда, только потом я пересказал ему вкратце то, что случилось с Вано. В отличие от нас, тот сразу заметил разницу между собой и гостем.

Страх давно прошел, только голова побаливала, а вошедший смотрел по-бычьи мутными, осоловевшими глазами. «Ты эти штучки брось,— закричал он по-грузински,— я снежных королев не боюсь, я из них шашлык делаю!» Самое смешное, что Вано об этом сам в точно таких же выражениях подумал, когда Зернов и Толька

ушли. Будь кто рядом, непременно бы в драку бросился. И этот бросился. Но протрезвевший Вано схватил куртку и выбежал из палатки, сразу сообразив, что от такого гостя следует держаться подальше. О том, что появление его противоречило всем известным ему законам природы, Вано и не думал. Ему нужен был оперативный простор, свобода маневра в предстоящей баталии. У настигавшего его двойника уже сверкнул в руке нож, знаменитый охотничий нож Вано — предмет зависти всех водителей Мирного. Оригинал этого ножа был у Вано в кармане, но об этой странности он тоже не подумал, а просто выхватил его, когда пьяный фантом нанес свой первый удар. Только подставленная вовремя куртка спасла Вано от ранения. Бросив ее под ноги преследователю, Чохели добежал до стены, где она поворачивала на север. Второй удар достал его уже здесь, но, к счастью, скользнул поверху, у плеча,— помешал свитер. А третий Вано сумел отразить, сбив с ног то, что не было человеком. Дальнейшее он не помнил: кровавая тьма надвинулась на него и какая-то сила, как взрывная волна, отшвырнула в сторону. Очнулся он уже в палатке, на койке, укутанный в меха и совершенно здоровый. Чудеса продолжались. Теперь раздвоился Дьячук.

Вано не успел закончить фразы, как Толька швырнул брикет — он топил печь — и вскочил с истерическим воплем:

— Прекрати сейчас же! Слышишь?

— Псих,— сказал Вано.

— Ну и пусть. Не я один. Вы все с ума сошли. Все! Никого у меня не было! Никто не раздваивался. Бред!

— Довольно, Дьячук,— оборвал его Зернов.— Ведите себя прилично. Вы научный работник, а не цирковой клоун. Незачем было ехать сюда, если нервы не в порядке.

— И уеду,— огрызнулся Толька — впрочем, уже тише: отповедь Зернова чуточку остудила его.— Я не Скотт и не Амундсен. Хватит с меня белых снов. На Канатчикову дачу не собираюсь.

— Что это с ним? — шепнул мне Мартин.

Я объяснил.

— Если б не горючее, и я бы смылся,— сказал он.— Слишком много чудес.

Глава VII

ЛЕДЯНАЯ СИМФОНИЯ

Что случилось с Толькой, мы так и не узнали, но странное здесь обернулось комическим. Вано отмахивался:

— Не хочет говорить — не спрашивай. Перетрусили оба. А я не сплетник.— Он не подсмеивался над Толькой, хотя тот явно напрашивался на ссору.

— У тебя акцент, как у пишущей машинки Остапа Бендера,— язвил Толька, но Вано только усмехался и помалкивал: он был занят.

Это мы с Мартином под его руководством сменили раздавленный пластик в иллюминаторе. Сам он не мог этого сделать — мешала перевязанная рука. Было также решено, что мы с Мартином будем по очереди сменять его у штурвала водителя. Больше нас ничто не задерживало: Зернов счел работу экспедиции законченной и торопился в Мирный. Мне думается, он спешил удрать от своего двойника: ведь он был единственным, пока избежавшим этой малоприятной встречи. Вопреки им же установленному железному режиму работы и отдыха, он всю ночь не спал после того, как мы перебазировались в кабину снегохода. Я просыпался несколько раз и все время видел огонек его ночника на верхней койке: он что-то читал, вздрагивая при каждом подозрительном шорохе.

О двойниках мы больше не говорили, но утром после завтрака, когда снегоход двинулся в путь, у него, по-моему, даже лицо просветлело. Вел снегоход Мартин. Вано сидел рядом на откидном сиденье и руководил при помощи знаков. Я отстукал радиограмму в Мирный, перекинулся шуткой с дежурившим на радиостанции Колей Самойловым и записал сводку погоды. Она была вполне благоприятной для нашего возвращения: ясно, ветер слабый, морозец даже не подмосковный, а южный — два-три градуса ниже нуля.

Но молчание в кабине тяготило, как ссора, и я наконец не выдержал:

— У меня вопрос, Борис Аркадьевич. Почему мы все-таки не радируем подробней?

— А что бы вы хотели радировать?

— Все. Что случилось со мной, с Вано. Что мы узнали о розовых облаках. Что я заснял на киноплеику.

— А как, вы думаете, должен быть написан такой рассказ? — спросил Зернов.— С психологическими нюансами, с анализом ощущений, с подтекстом, если хотите. К сожалению, у меня для этого таланта нет — я не писатель. Да и у вас, я думаю, не выйдет при всем вашем воображении, даже при всей игривости ваших гипотез. А изложить обо всем телеграфным кодом — получатся записки сумасшедшего.

— Можно научно прокомментировать,— не сдавался я.

— На основании каких экспериментальных данных? Что у нас есть, кроме визуальных наблюдений? Ваша пленка? Но она еще не проявлена.

— Что-то же можно все-таки предположить?

— Конечно. Вот и начнем с вас. Что предполагаете вы? Что такое, по-вашему, это розовое облако?

— Организм.

— Живой?

— Несомненно. Живой, мыслящий организм с незнакомой нам физико-химической структурой. Какая-то биосвязь или биогаз. Колмогоров предположил возможность существования мыслящей плесени? С такой же степенью вероятности возможно предположить и мыслящий газ, мыслящий коллоид и мыслящую плазму. Изменчивость цвета — это защитная реакция или окраска эмоций: удивления, интереса, ярости. Изменчивость формы — это двигательные реакции, способность к маневрированию в воздушном пространстве. Человек при ходьбе машет руками, сгибает и передвигает ноги. «Облако» вытягивается, загибает края, сворачивается колоколом.

— О чем вы? — поинтересовался Мартин.

Я перевел.

— Оно еще пенится, когда дышит, и выбрасывает щупальца, когда нападает,— прибавил он.

— Значит, зверь? — спросил Зернов.

— Зверь,— подтвердил Мартин.

Зернов задавал не праздные вопросы. Каждый из них ставил какую-то определенную цель, мне еще не ясную. Он проверял нас и себя, не спеша с выводами.

— Хорошо,— сказал он,— тогда ответьте: как этот зверь моделирует людей и машины? Зачем он их моделирует? И почему модель уничтожается тотчас после «обкатки» ее на людях?

— Не знаю,— честно признался я.— «Облако» синтезирует любые атомные структуры — это ясно. Но зачем оно их создает и почему уничтожает — загадка.

И тут вмешался Толька, до сих пор державшийся с непонятной для всех отчужденностью:

— По-моему, самый вопрос поставлен неправильно. Как моделирует? Почему моделирует? Ничего оно не моделирует. Сложный обман чувственных восприятий. Предмет не физики, а психиатрии.

— И моя рана тоже обман? — обиделся Вано.

— Ты сам себя ранил, остальное — иллюзии. И вообще я не понимаю, почему Анохин отказался от своей прежней гипотезы. Конечно, это оружие. Не берусь утверждать чье,— он покосился на Мартина,— но оружие, несомненно. Самое совершенное и, главное, целенаправленное. Психические волны, расщепляющие сознание.

— И лед,— сказал я.

— Почему лед?

— Потому что нужно было расщепить лед, чтобы извлечь «Харьковчанку».

— Посмотрите направо! — крикнул Вано.

То, что мы увидели в бортовой иллюминатор, мгновенно остановило спор. Мартин затормозил. Мы натянули куртки и выскочили из машины. И я начал снимать.

Происходившее перед нами походило на чудо, на картину чужой, инопланетной жизни. Ничто не застилало и не затемняло ее — ни облака, ни снег. Солнце висело над горизонтом, отдавая всю силу своего света возвышающейся над нами изумрудно-голубой толще льда. Идеально гладкий срез ее во всю свою многометровую высь казался стеклянным. Ни человека, ни машины не виднелось на всем его протяжении. Только гигантские розовые диски — я насчитал их больше десятка — легко и беззвучно резали лед, как масло. Представьте себе, что вы режете разогретым ножом брусок сливочного масла, только что вынутого из холодильника. Нож входит в него сразу, почти без трения, скользя между оплывающими

стенками. Точно так же оплывали стометровые стенки льда, когда входил в него розовый нож. Он имел форму неправильного овала или трапеции с закругленными углами, а площадь его, по-моему, превышала сотню квадратных метров, поскольку можно было определить издали, на глазок. Толщина его — тоже примерно — была совсем крохотной — не более двух-трех сантиметров, то есть знакомое нам «облако», видимо, сплющилось, растянулось, превратившись в огромный режущий инструмент, работающий с изумительной быстротой и точностью.

Два таких «ножа» в полукилометре друг от друга резали ледяную стену перпендикулярно к ее основанию. Два других подрезывали ее снизу равномерными, точно совпадающими движениями маятника. Вторая четверка работала рядом, а третью я уже не видел: она скрылась глубоко в толще льда. Вскоре исчезла во льду и вторая, а ближайшая к нам проделала поистине гулливеровский цирковой трюк. Она вдруг подняла в воздух аккуратно вырезанный из ледяной толщи стеклянный брус почти километровой длины, геометрически правильный голубой параллелепипед. Он взлетел не спеша и поплыл вверх легко и небрежно, как детский воздушный шарик. Участвовало в этой операции всего два «облака». Они съежились и потемнели, превратившись в знакомые чашечки, только не опрокинутые, а обращенные к небу,— два немыслимых цветка-великана на невидимых вырастающих стебельках. При этом они не поддерживали плывущий брус — он поднимался над ними на почтительном расстоянии, ничем с ними не связанный и не скрепленный.

— Как же он держится? — удивился Мартин.— На воздушной волне? Какой же силы должен быть ветер?

— Это не ветер,— сказал, подбирая английские слова, Толька.— Это поле. Антигравитация...— Он умоляюще взглянул на Зернова.

— Силовое поле,— пояснил тот.— Помните перегрузку, Мартин, когда мы с вами пытались подойти к самолету? Тогда оно усиливало тяготение, сейчас оно его нейтрализует.

А с поверхности ледяного плато взмыл вверх еще один такой же километровый брус, выброшенный в пространство титаном-невидимкой. Подымался он быстрее своего

предшественника и вскоре нагнал на высоте обычных полярных рейсов. Было отлично видно, как сблизились в воздухе ледяные кирпичики, притерлись боками и слились в один широкий брус, неподвижно застывший в воздухе. А снизу уже поднимался третий, чтобы лечь сверху, и четвертый, чтобы уравновесить плиту. Она утолщалась с каждым новым бруском. «Облакам» требовалось три-четыре минуты, чтобы вырезать его из толщи материкового льда и поднять в воздух. И с каждой посылкой ледяная стена все дальше и дальше отступала к горизонту, а вместе с ней отступали и розовые «облака», словно растворяясь и пропадая в снежной дали. А высоко в небе по-прежнему висели две красные розы и над ними огромный хрустальный куб, насквозь просвеченный солнцем.

Мы стояли молча, завороженные этой картиной, почти музыкальной по своей тональности. Своеобразная грация и пластичность розовых дисков-ножей, согласованность и ритм их движений, взлет голубых ледяных брусков, образовавших в небе гигантский сияющий куб,— все это звучало в ушах как музыка, неслышная, беззвучная музыка иных, неведомых сфер. Мы даже не заметили — только мой киноглаз успел запечатлеть это,— как алмазный солнечный куб стал уменьшаться в объеме, подымаясь все выше и выше, и в конце концов совсем исчез за перистой облачной сеткой. Исчезли и два управляющих им «цветка».

— Миллиард кубометров льда,— простонал Толька.

Я посмотрел на Зернова. Взгляды наши встретились.

— Вот вам и ответ на главный вопрос, Анохин,— сказал он.— Откуда взялась ледяная стена и почему у нас под ногами так мало снега. Они снимают ледяной щит Антарктиды.

Глава VIII

ПОСЛЕДНИЙ ДВОЙНИК

Официально отчет нашей экспедиции строился так: доклад Зернова о феномене розовых «облаков», мой рассказ о двойниках и просмотр снятого мною фильма. Но,

уже начиная совещание, Зернов все это поломал. Никаких материалов для научного доклада, кроме личных впечатлений и привезенного экспедицией фильма, пояснил он, у него нет, а те астрономические наблюдения, с которыми он познакомился в Мирном, не дают оснований для каких-либо определенных выводов. Появление огромных ледяных скоплений в атмосфере на различных высотах, оказывается, было зарегистрировано и нашей, и зарубежной обсерваториями в Антарктике. Но ни визуальные наблюдения, ни специальные фотоснимки не позволяют установить ни количества этих квазинебесных тел, ни направления их полета. Речь, следовательно, может идти о впечатлениях и гаданиях, которые иногда называют гипотезами. Но поскольку экспедиция эта уже более трех суток как вернулась, а людям свойственны болтливость и любопытство, то все виденное ее участниками сейчас уже известно далеко за пределами Мирного. Гаданиями же, разумеется, лучше заниматься после просмотра фильма, поскольку материала для таких гаданий будет более чем достаточно.

Кого имел в виду Зернов, говоря о болтливости, я не знаю, но мы с Вано и Толькой не поленились взбудоражить умы, а слух о моем фильме даже пересек материк. На просмотр прибыли француз и два австралийца и целая группа американцев во главе с отставным адмиралом Томпсоном, давно уже сменившим адмиральские галуны и нашивки на меховой жилет и свитер зимовщика. О фильме они уже слышали, его ждали и потихоньку высказывали различные предположения. А фильм, надо сказать, получился занятный. Наш второй киномеханик Женька Лазебников, просмотрев проявленную пленку, взвыл от зависти:

— Ну, все! Ты теперь знаменитость. Никому, даже Ивенсу, не снился такой кусочек. Считай, Ломоносовская премия у тебя в кармане.

Зернов не сделал никаких замечаний, только спросил, выходя из лаборатории:

— А вам не страшно, Анохин?

— Почему? — удивился я.

— Вы даже не представляете себе, какую сенсацию несете миру.

Я почувствовал это уже во время просмотра в кают-компании. Пришли все, кто только мог прийти, сидели и стояли всюду, где только можно было сесть или встать. Тишина повисла, как в пустой церкви, лишь иногда взрываясь гулом изумления и чуть ли не испуга, когда не выдерживали даже ко всему привычные и закаленные полярные старожилы. Скептицизм и недоверие, с которыми кое-кто встретил наши рассказы, сразу исчезли после первых же кадров, запечатлевших две спаренные «Харьковчанки» с одинаково раздавленным передним стеклом и розовое «облако», плывущее над ними в блекло-голубом небе. Кадры получились отличными, точно передающими цвет, «облако» на экране алело, лиловело, меняло форму, опрокидывалось цветком, пенилось и пожирало огромную машину со всем ее содержимым. Заснятый мною двойник сначала никого не удивил и не убедил: его попросту приняли за меня самого, хотя я тут же заметил, что снимать себя самого, да еще в движении и с разных съемочных точек, не под силу даже гросс-мейстеру-документалисту. Но по-настоящему заставили поверить в людей-двойников кадры на снегу двойника Мартина — мне удалось поймать его крупным планом,— а затем подходивших к месту аварии подлинного Мартина и Зернова. Зал загудел, а когда малиновый цветок выбросил змеевидное щупальце и мертвый Мартин исчез в его пасти-раструбе, кто-то даже вскрикнул в темноте. Но самый поразительный эффект, самое глубокое впечатление произвела заключительная часть фильма, его ледяная симфония. Зернов был прав: я недооценивал сенсации.

Но зрители ее оценили. Едва окончился просмотр, как раздались голоса, потребовавшие показать фильм вторично. Этот вторичный просмотр проходил уже в полном молчании: ни один возглас не прозвучал в зале, никто не кашлянул, не обмолвился словом с соседом, даже шепота не было слышно. Молчание продолжалось и когда уже погас экран, словно люди еще не освободились от сковавшего их напряжения, пока старейший из старожилов, прозванный дуайеном корпуса зимовщиков, профессор Кедрин не выразил общую мысль:

— Вот ты и скажи, Борис, все, что подумал. Так лучше будет: нам ведь тоже подумать надо.

— Я уже говорил, что у нас нет материальных свидетельств,— сказал Зернов.— Пробу взять Мартин не смог: «облако» не подпустило его к себе. Не подпустило оно и нас на земле, пригнуло такой тяжестью, будто тело чугуном налили. Значит, «облако» может создавать гравитационное поле. Ледяной куб в воздухе это подтвердил — вы видели. Вероятно, тем же способом был посажен самолет Мартина и наш снегоход извлечен из трещины. К бесспорным заключениям можно присоединить следующее: «облако» легко изменяет форму и цвет — вы это тоже видели. Создает любой температурный режим: так резать стометровую толщу льда можно только при очень высоких температурах. В воздухе оно держится как рыба в воде, не нуждается в поворотах, мгновенно меняет скорость. Мартин уверяет, что замеченное им «облако» уходило от него с гиперзвуковой скоростью. Его «коллеги» отставали, видимо, только для того, чтобы создать гравитационный заслон вокруг самолета. Конечный вывод только один: никакого отношения к метеорологии феномен розовых «облаков» не имеет. Такое «облако» или живой, мыслящий организм, или биосистема с определенной программой. Основная ее задача — снять и перебросить в пространство большие массы материкового льда. Попутно синтезируются, я бы сказал — моделируются, неизвестно зачем и как, а затем уничтожаются, тоже неизвестно зачем, любые встреченные атомные структуры — люди, машины, вещи.

Первый вопрос Зернову задал американский адмирал Томпсон:

— Я не уяснил одного из вашего сообщения: враждебны ли эти существа людям?

— Думаю, нет. Они уничтожают лишь сотворенные ими копии.

— Вы в этом уверены?

— Вы же только что видели это,— удивился вопросу Зернов.

— Меня интересует, уверены ли вы в том, что уничтоженное — именно копии, а не люди? Если копии идентичны людям, то кто мне докажет, что мой летчик Мартин — это действительно мой летчик Мартин, а не его атомная модель?

Разговаривали они по-английски, но в зале многие понимали и переводили соседям. Никто не улыбнулся: вопрос был страшный. Зернов даже растерялся, подыскивая ответ.

Я рванул вниз вскочившего было Мартина и сказал:

— Уверяю вас, адмирал, что я — это действительно я, кинооператор экспедиции Юрий Анохин, а не созданная «облаком» модель. Когда я снимал фильм, мой двойник, как загипнотизированный, отступал к снегоходу: вы это видели на экране. Он сказал мне, что кто-то или что-то заставляет его вернуться в кабину. Видимо, его уже подготовляли к уничтожению.— Я смотрел на поблескивающие очки адмирала, и меня буквально распирало от злости.

— Возможно,— сказал он,— хотя и не очень убедительно. У меня вопрос к Мартину. Встаньте, Мартин.

Летчик поднялся во весь свой двухметровый рост ветерана-баскетболиста.

— Слушаю, сэр. Копию я собственноручно прикончил.

Адмирал улыбнулся:

— А вдруг вас собственноручно прикончила копия? — Он пожевал губами и прибавил: — Вы пытались стрелять, когда подумали об агрессивных намерениях «облака»?

— Пытался, сэр. Две очереди трассирующими пулями.

— Результативно?

— Никак нет, сэр. Все равно что из дробовика по снежной лавине.

— А если бы у вас было другое оружие? Скажем, огнемет или напалм?

— Не знаю, сэр.

— А уклонилось бы оно от встречи?

— Не думаю, сэр.

— Садитесь, Мартин. И не обижайтесь на меня: я только выяснял смутившие меня детали сообщения господина Зернова. Благодарю вас за разъяснения, господа.

Настойчивость адмирала развязала языки. Вопросы посыпались, подгоняя друг друга, как на пресс-конференции.

— Вы сказали: ледяные массы перебрасываются в пространство. Какое? Воздушное или космическое?

— Если воздушное, то зачем? Что делать со льдом в атмосфере?

— Допустит ли человечество массовое хищение льда?

— А кому вообще нужны ледники на Земле?

— Что будет с материком, освобожденным ото льда? Повысится ли уровень воды в океане?

— Изменится ли климат?

— Не все сразу, товарищи,— умоляюще воздел руки Зернов.— Давайте по очереди. В какое пространство? Предполагаю, в космическое. В земной атмосфере ледники нужны только гляциологам. Вообще-то я думал, что ученые — это люди с высшим образованием. Но, судя по вопросам, начинаю сомневаться в аксиоматичности такого положения. Как может повыситься уровень в океане, если количество воды не увеличивалось? Вопрос на уроке географии, скажем, в классе пятом. Вопрос о климате тоже из школьного учебника.

— Какова, по-вашему, предполагаемая структура «облака»? Мне показалось, что это газ.

— Мыслящий газ,— хихикнул кто-то.— А это из какого учебника?

— Вы физик? — спросил Зернов.

— Допустим.

— Допустим, что вы его и напишете.

— К сожалению, у меня нет эстрадного опыта. Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. Структура «облака» мне не известна. Может быть, это вообще неизвестная нашей науке физико-химическая структура. Думаю, что это скорее коллоид, чем газ.

— Откуда, по-вашему, оно появилось?

— А по-вашему?

Поднялся знакомый мне корреспондент «Известий».

— В каком-то фантастическом романе я читал о пришельцах с Плутона. Между прочим, тоже в Антарктиде. Неужели вы считаете это возможным?

— Не знаю. Кстати, я ничего не говорил о Плутоне.

— Пусть не с Плутона. Вообще из космоса. Из какой-нибудь звездной системы. Но зачем же им лететь за льдом на Землю? На окраину нашей Галактики. Льда во Вселенной достаточно — можно найти и ближе.

— Ближе к чему? — спросил Зернов и улыбнулся.

Я восхищался им: под градом вопросов он не утратил ни юмора, ни спокойствия. Он был не автором научного открытия, а только случайным свидетелем уникального, необъяснимого феномена, о котором знал не более зрителей фильма. Но они почему-то забывали об этом, а он терпеливо откликался на каждую реплику.

— Лед — это вода,— сказал он тоном уставшего к концу урока учителя.— Соединение, не столь уж частое даже в нашей звездной системе. Мы не знаем, есть ли вода на Венере, ее очень мало на Марсе и совсем нет на Юпитере или Уране. И не так уж много земного льда во Вселенной. Пусть поправят меня наши астрономы, но, по-моему, космический лед — это чаще всего замерзшие газы: аммиак, метан, углекислота, азот.

— Почему никто не спрашивает о двойниках? — шепнул я Тольке и тотчас же накликал на себя работенку.

Профессор Кедрин вспомнил именно обо мне:

— У меня вопрос к Анохину. Общались ли вы со своим двойником, разговаривали? Интересно, как и о чем?

— Довольно много, и о разных вещах,— сказал я.

— Заметили ли вы какую-нибудь разницу, чисто внешнюю, скажем, в мелочах, в каких-либо неприметных деталях? Я имею в виду разницу между вами обоими.

— Никакой. У нас даже кровь одинаковая.— Я рассказал о микроскопе.

— А память? Память детства, юности. Не проверяли?

Я рассказал и о памяти. Мне только непонятно было, куда он клонит. Но он тотчас же объяснил:

— Тогда вопрос адмирала Томпсона, вопрос тревожный, даже пугающий, должен насторожить и нас. Если люди-двойники будут появляться и впредь и если, скажем, появятся неуничтожаемые двойники, то как мы будем отличать человека от его модели? И как они будут отличать себя сами? Здесь, как мне кажется, дело не только в абсолютном сходстве, но и в уверенности каждого, что именно он настоящий, а не синтезированный.

Я вспомнил о собственных спорах со своим злосчастным дублем и растерялся. Выручил меня Зернов.

— Любопытная деталь,— сказал он.— Двойники появляются всегда после одного и того же сна. Человеку кажется, что он погружается во что-то красное или малиновое, иногда лиловое и всегда густое и прохладное, будто желе или кисель. Эта необъясненная субстанция наполняет его целиком, все внутренности, все сосуды. Я не могу утверждать точно, что наполняет, но человеку именно это кажется. Он лежит, бессильный пошевелиться, словно парализованный, и начинает испытывать ощущение, схожее с ощущением гипнотизируемого: словно кто-то невидимый просматривает его мозг, перебирает каждую его клеточку. Потом алая темнота исчезает, к нему возвращается ясность мысли и свобода движений, он думает, что видел просто нелепый и страшный сон. А через некоторое время появляется двойник. Но после пробуждения человек успел что-то сделать, с кем-то поговорить, о чем-то подумать. Двойник этого не знал. Анохин, очнувшись, нашел не одну, а две «Харьковчанки», с одинаково раздавленным передним стеклом и с одинаково приваренным снегозацепом на гусенице. Он помнил только то, что помнил Анохин до погружения в алую темноту. Аналогичные расхождения наблюдались и в других случаях. Дьячук, например, после пробуждения побрился и порезал щеку. Двойник явился к нему без пореза. Мне кажется, что в дальнейшем именно этот период, точнее, действия человека после пробуждения от «алого сна» всегда помогут в сомнительных случаях отличить оригинал от копии, если не найдут к тому времени другие способы проверки.

— Вы тоже видели такой сон? — спросил кто-то в зале.

— Видел.

— А двойника у вас не было.

— Вот это меня и смущает. Почему я оказался исключением?

— Вы не оказались исключением,— ответил Зернову его же собственный голос.

Говоривший стоял позади всех, почти в дверях, одетый несколько иначе Зернова. На том был парадный серый костюм, на этом — старый темно-зеленый свитер, какой носил Зернов в экспедиции. Зерновские же ватные штаны и канадские меховые сапоги, на которые я взирал с за-

вистью во время поездки, дополняли одеяние незнакомца. Впрочем, едва ли это был незнакомец. Даже я, столько дней пробывший рядом с Зерновым, не мог отличить одного от другого. Если на трибуне был Зернов, то в дверях стояла его точнейшая и совершеннейшая копия.

В зале ахнули, кто привстал, растерянно оглядывая обоих, кто сидел с разинутым по-мальчишески ртом; Кедрин, прищурившись, с интересом рассматривал двойника, на тонких губах американского адмирала змеилась усмешка. Казалось, он был доволен таким неожиданным подтверждением его мысли. По-моему, доволен был и сам Зернов, сомнения и страхи которого так неожиданно завершились.

— Иди сюда,— почти весело произнес он,— я давно ждал этой встречи. Поговорим. И людям интересно будет.

Зернов-двойник неторопливо прошел к трибуне, провожаемый взглядами, полными такого захватывающего интереса, какого удостаивались, вероятно, только мировые знаменитости. Он оглянулся, подвинул стул-табуретку и сел у того же столика, за которым комментировал фильм Зернов. Зрелище не являло собой ничего необычного: сидели два брата-близнеца, встретившиеся после долгой разлуки. Но все знали: не было ни разлуки, ни братьев. Просто один из сидевших был непонятным человеческому разуму чудом. Только какой? Я понимал теперь адмирала Томпсона.

— Почему ты не появился во время поездки? Я ждал этого,— спросил Зернов номер один.

Зернов номер два недоуменно пожал плечами:

— Я помню все до того, как увидел этот розовый сон. Потом провал в памяти. И сразу же я вхожу в этот зал, слушаю и, кажется, начинаю понимать...— Он посмотрел на Зернова и усмехнулся: — Как мы похожи все-таки!

— Я это предвидел,— пожал плечами Зернов.

— А я нет. Если бы мы встретились там, как Анохин со своим двойником, я бы ни за что не уступил приоритета. Кто бы доказал мне, что ты настоящий, а я только повторение? Ведь я — это ты, я помню всю свою или твою — уж не знаю теперь чью — жизнь до мелочей, лучше тебя, вероятно, помню: синтезированная память свежее. Антон Кузьмич,— обернулся он к сидевшему в зале

профессору Кедрину,— вы помните наш разговор перед отъездом? Не о проблематике опытов, просто последние ваши слова. Помните?

Профессор смущенно замялся:

— Забыл.

— И я забыл,— сказал Зернов.

— Вы постучали мундштуком по коробке «Казбека»,— не без нотки превосходства напомнил Зернов номер два,— и сказали: «Хочу бросать, Борис. С завтрашнего дня обязательно».

Общий смех был ответом: профессор Кедрин грыз мундштук с потухшим окурком.

— У меня вопрос,— поднялся адмирал Томпсон.— К господину Зернову в зеленом свитере. Вы помните нашу встречу в Мак-Мердо?

— Конечно,— ответил по-английски Зернов-двойник.

— И сувенир, который вам так понравился?

— Конечно,— повторил Зернов-двойник.— Вы подарили мне авторучку с вашей золотой монограммой. Она сейчас у меня в комнате, в кармане моей летней куртки.

— М о е й летней куртки,— насмешливо поправил Зернов.

— Ты не убедил бы меня в этом, не посмотри я ваш фильм. Теперь я знаю: я не возвращался с вами на снегоходе, я не встречал американского летчика и гибель его двойника увидел лишь на экране. И меня ждет такой же конец, я его предвижу.

— Может быть, мы исключение,— сказал Зернов,— может быть, нам подарят существование?

Теперь я видел разницу между ними. Один говорил спокойно, не теряя присущего ему хладнокровия, другой был внутренне накален и натянут. Даже губы его дрожали, словно ему трудно было выговорить все то, что рождала мысль.

— Ты и сам в это не веришь,— сказал он,— нас создают как опыт и уничтожают как продукт этого опыта. Зачем — никому не известно, ни нам, ни вам. Я помню рассказ Анохина твоей памятью, нашей общей памятью помню.— Он посмотрел на меня, и я внутренне содрогнулся, встретив этот до жути знакомый взгляд.— Когда

стало опускаться «облако», Анохин предложил двойнику бежать. Тот отказался: не могу, мол, что-то приказывает мне остаться. И он вернулся в кабину, чтобы погибнуть,— мы все это видели. Так вот: ты можешь встать и уйти, я — нет. Что-то уже приказало мне не двигаться.

Зернов протянул ему руку, она наткнулась на невидимое препятствие.

— Не выйдет,— печально улыбнулся Зернов-двойник.— Поле — я прибегаю к вашей терминологии: другая мне, как и вам, не известна,— так вот, поле уже создано. Я в нем как в скафандре.

Кто-то сидевший поблизости тоже попробовал дотянуться до синтезированного человека и не смог: рука встретила уплотненный, как дерево, воздух.

— Страшно знать свой конец и не иметь возможности ему помешать,— сказал визави Зернова.— Я все-таки человек, а не биомасса. Ужасно хочется жить...

Жуткая тишина придавила зал. Кто-то астматически тяжело дышал. Кто-то прикрыл глаза рукой. Адмирал Томпсон снял очки. Я зажмурился.

Рука Мартина, лежавшая у меня на колене, вздрогнула.

— Лук ап! — вскрикнул он.

Я взглянул вверх и обмер: с потолка к сидевшему неподвижно Зернову в зеленом свитере спускалась лиловая пульсирующая труба. Ее граммофонный раструб расширялся и пенился, неспешно и прочно, как пустой колпак, прикрывая оказавшегося под ним человека. Минуту спустя мы увидели нечто вроде желеобразного фиолетового сталактита, соединившегося с поднявшимся навстречу ему сталагмитом. Основание сталагмита покоилось на трибуне у столика, сталактит же вытекал из потолка сквозь крышу и слежавшийся на ней почти трехметровый слой снега. Еще через полминуты пенистый край трубы начал загибаться наружу, и в открывшейся всем ее розовой пустоте мы не увидели ни стула, ни человека. Еще минута — и лиловая пена ушла сквозь потолок, как нечто нематериальное, не повредив ни пластика, ни его тепловой изоляции.

— Все,— сказал Зернов, подымаясь.— Финис, как говорили древние римляне.

Часть вторая

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Глава IX

«ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

В Москве мне не повезло: перенести лютую антарктическую зиму, ни разу не чихнуть в шестидесятиградусные морозы — и простудиться в осенней московской слякоти, даже когда ночью синий столбик в термометре за окном не опускался ниже нуля. Правда, в ближайший вторник медицина обещала мне полное выздоровление, но в воскресенье утром я еще лежал с горчичниками на спине, лишенный возможности даже спуститься к почтовому ящику за газетами. Впрочем, газеты принес мне Толька Дьячук, мой первый визитер в это воскресное утро. И хотя по приезде из Мирного он сразу же вернулся к себе в институт прогнозов, к своим картам ветров и циклонов, и в нашей возне с розовыми «облаками» не участвовал, я искренне обрадовался его приходу. Слишком близко и тревожно было все пережитое вместе месяц назад, да и визитером Толька был покладистым и удобным. В его присутствии можно было сколько угодно молчать и думать о своем, не рискуя обидеть гостя, а его шуточки и «поливы», или, попросту говоря, вранье, не обижали хозяина. В общем, гость уютно сидел в кресле у окна и мурлыкал под гитару что-то им же сочиненное, а хозяин лежал, терпел укусы горчичников и почему-то вспоминал свой последний день в Мирном, когда мы вместе с Костей Ожогиным опробовали новый, только что полученный из Москвы вертолет.

Ожогин прибыл в Мирный с новой партией зимовщиков и о розовых «облаках» узнал, что называется, из

десятых рук. Знакомство его со мной началось со страстной просьбы показать хотя бы несколько кадриков из моего фильма. Я показал ему целую часть. В ответ он предложил мне опробовать вместе с ним над океаном у берега его новый скоростной вертолет. А наутро — мое последнее утро в Мирном — зашел за мной и «по секрету» сообщил о какой-то «очень странной штуковине». Вертолет его всю ночь простоял на льду, метрах в пятидесяти от кромки, где пришвартовалась «Обь». Вечером Ожогин, по его словам, отпраздновал приезд с ребятами:

— Выпил чуток, а перед тем как заснуть, сгонял на лед взглянуть на машину. Смотрю: не один вертолет, а два рядышком. Я решил, что новый выгрузили, повернулся и пошел спать. А утром гляжу: опять один стоит. Спрашиваю у инженера-механика, где же второй, а он смеется. У тебя, говорит, в глазах двоилось, глотнул, наверно. А сколько я глотнул? Полтораста, не больше.

Я сразу заподозрил истинных виновников этого раздвоения, но о своих соображениях по поводу «странной штуковины» ничего не сказал, только прихватил с собой камеру: чуяло сердце, что пригодится. Так и случилось. Мы шли примерно на трехсотметровой высоте над океаном, у самой кромки ледяного припая. Отчетливо виднелись выгруженные с теплохода ящики и машины, мелкое ледяное крошево у берега и голубые айсберги в чистой воде. Самый крупный из них высился в нескольких километрах от берега, он даже не плыл, не покачивался на волнах, а прочно сидел на воде, цепляясь гигантской подводной частью за дно. Мы прозвали его «Гибель «Титаника» — в память знаменитого пассажирского лайнера, погибшего в начале века от столкновения с подобным ледяным колоссом. Но этот, наверное, был еще крупнее. Наши гляциологи подсчитали его площадь: примерно три тысячи квадратных километров. К нему и направлялись, вытянувшись цепочкой по небу, так хорошо знакомые мне диснеевские поросята.

Я сразу начал снимать, не дожидаясь непосредственной встречи или сближения. Летели они на одной с нами высоте, розовые, без единого пятнышка, похожие на дирижабли только в хвосте колонны. Впереди они на-

поминали бумеранги или стреловидные крылья самолетов.

— Уходить будем? — почему-то шепотом спросил Ожогин.— Можно повысить скорость?

— Зачем? — усмехнулся я.— От них все равно не уйдешь.

Даже не касаясь Ожогина, я чувствовал, как напряжены его мышцы, только не знал — от страха или от возбуждения.

— Раздваивать начнут? — опять спросил он.

— Не начнут.

— Откуда ты знаешь?

— Они ночью твой вертолет раздвоили: сам же видел,— сказал я.

Он замолчал.

А колонна уже подошла к айсбергу. Три розовых «дирижабля» повисли в воздухе, покраснели, раскрылись чашечками знакомых мне бесстебельных маков, застыв по углам огромного треугольника над ледяным островом, а стреловидные «бумеранги» рванулись вниз. Они ушли под воду, как рыбы, без брызг и плеска, только белые взрывы пара кольцом обвили айсберг: слишком резкой, вероятно, была разница температур непонятного вещества и воды. Потом все успокоилось: «маки» цвели над островом, «бумеранги» исчезли. Я терпеливо ждал, пока вертолет медленно кружил над айсбергом чуть ниже повисших в воздухе «маков».

— Что же дальше будет? — хрипло спросил Ожогин.— Не гробанемся?

— Не думаю,— осторожно ответил я.

Прошло, должно быть, минут десять. Ледяная гора внизу вдруг всколыхнулась и начала медленно подниматься из воды.

— Отвали! — крикнул я Косте.

Он понял и рванул вертолет в сторону от опасной орбиты. А сверкавшая на солнце подсиненная глыба льда уже поднялась над водой. Она была так велика, что даже трудно было подыскать сравнение. Представьте себе большую гору, срезанную у основания и поднимающуюся в воздух, как детский воздушный шарик. При этом вся она блистала и переливалась миллиардами расплавленных и

разлитых по ней сапфиров и изумрудов. Все операторы мира продали бы душу дьяволу за такую съемку. Но королем был я. Только мы с Ожогиным да астрономы Мирного видели это ни с чем не сравнимое зрелище. Как ледяное чудо-юдо поднялось из воды, как застыло оно над тремя алыми «маками», как понеслось вместе с ними в бездонную белую даль. А «бумеранги», вынырнув из воды в струях пара, свернули своим кавалерийским строем на материк. Клубящиеся кучевые облака были их дорогой. Они галопировали по ней, как всадники...

Всадники!

Это сравнение было придумано позже, и придумано не мной, а сейчас я услышал его от бренчавшего на гитаре Тольки.

— Нравится? — спросил он.

— Что нравится? — не понял я.

— «Что, что»... Песня, конечно.

— Какая? — Я все еще не понимал его.

— Не слышал, значит,— вздохнул он.— Я так и думал. Придется повторить, я не гордый.

И он запел протяжным песенным говорком, как безголосые шансонье, не расстающиеся с микрофоном. Тогда я еще не знал, какая завидная судьба ожидает это творение нечаянной знаменитости.

— Всадники ниоткуда — что это? Сон ли? Миф?.. Вдруг в ожидании чуда... замер безмолвно мир. И над ритмичным гудом, пульсом моей Земли, всадники ниоткуда строем своим прошли... Право, сюжет не новый... Стержень трагедии прост: Гамлет решает снова... вечный, как мир, вопрос. Кто они? Люди? Боги? Медленно тает снег... Снова Земля в тревоге и передышки нет...

Он сделал паузу и продолжал чуть-чуть мажорнее:

— Кто ими будет познан? Сможем ли их понять? Поздно, приятель, поздно, не на кого пенять... Только поверить трудно: видишь — опять вдали... Всадники ниоткуда строем своим прошли...

Он вздохнул и посмотрел на меня в ожидании приговора.

— Ничего,— сказал я.— Поется. Только...

— Что только? — насторожился он.

— Откуда у хлопца испанская грусть? Пессимизм откуда? «Поздно, приятель, поздно,— передразнил я его,— не на кого пенять...» А что, собственно, поздно? И почему поздно? И на что пенять? Тебе льда жалко? Или двойников? Сними-ка лучше горчичники, уже не жгут.

Толька содрал с моей измученной спины уже высохшие горчичники и сказал:

— Между прочим, их в Арктике видели.

— Горчичники?

— Не остри. Не смешно.

— Вероятно, страшно. Всадники ниоткуда...

— Может, и страшно. В Гренландии тоже лед срезают. Есть телеграммы.

— Ну и что? Теплее будет.

— А если весь лед Земли? И в Арктике, и в Антарктиде, и в горах, и в океанах?

— Тебе лучше знать,— ты же климатолог. В Белом море будем сардинку ловить, а в Гренландии апельсины посадим.

— В теории,— вздохнул Толька.— Кто может предсказать, что произойдет в действительности? Никто. Да и не во льдах суть. Ты выступление нашего Томпсона почитай. ТАСС его полностью передал.— Он указал на пачку газет.

— А что, паникует?

— Еще как!

— Он и в Мирном паниковал. Помнишь?

— Трудный дядька. Много крови испортит. И не только нам. Кстати, он и словечко наше использовал. С подачи Лисовского: хорзмен фром ноуэр.

— «Всадники ниоткуда». А ведь это ты придумал,— вспомнил я.

— А кто размножил?

Спецкор «Известий» Лисовский, возвращавшийся вместе с нами из Мирного, был автором статьи о розовых «облаках», обошедшей всю мировую печать. Он так и назвал ее — «Всадники ниоткуда». А название действительно придумал Толька. Это он закричал тогда, увидев их из окна самолета: «Всадники! Ей-богу, всадники».—

«Откуда?» — спросил кто-то. «А я знаю? Ниоткуда». И тут же Лисовский повторил вслух: «Всадники ниоткуда. Неплохо для заголовка».

Вспомнив об этом, мы с Толькой переглянулись. Так оно и было.

Глава X

САМОЛЕТ-ПРИЗРАК

А что, собственно, было?

Наш реактивный лайнер летел с ледяного аэродрома Мирного к берегам Южной Африки. Под нами клубилась облачная белесая муть, похожая на снежное поле близ узловой железнодорожной станции: снег, заштрихованный паровозной копотью. Иногда облака расходились, муть прорывалась окнами, и в окнах глубоко-глубоко внизу открывалась стальная доска океана.

В кабине собрались все привыкшие друг к другу за зиму — геологи, летчики, гляциологи, астрономы, аэрологи. Из гостей присутствовали только несколько газетных корреспондентов, но о том, что они гости, скоро забыли, да и сами гости постепенно растворились в однородной среде вчерашних зимовщиков. Говорили, конечно, о розовых «облаках», но не серьезно, по-домашнему, с подкусом и шуточками,— словом, шел привычный веселый кают-компанейский треп.

Розовые «бумеранги» появились неожиданно на облачной белесой дорожке, подскакивая и зарываясь в ней, как всадники в ковыльной степи. Тогда и родилось сравнение со всадниками, хотя сравнивать их, конечно, можно было с чем угодно: форму свою, как я уже видел, они меняли мгновенно, часто и по неведомым нам причинам. Так произошло и на этот раз. Шесть или семь из них — уже не помню точно — поднялись нам навстречу, растеклись розовыми блинами, потемнели и обвили самолет непроницаемым багровым коконом. К чести нашего пилота, он не дрогнул, а продолжал вести самолет, как будто бы ничего не случилось: в коконе так в коконе!

В кабине наступила зловещая тишина. Все ждали чего-то, опасливо переглядываясь и не решаясь заговорить. Красный туман уже просачивался сквозь стены. Как это происходило, никто не понимал. Казалось, для него не было материальных препятствий или он сам был нематериальным, иллюзорным, существовавшим только в нашем воображении. Но вскоре он заполнил кабину, и только странные багровые затемнения выдавали сидевших впереди и позади меня пассажиров.

— Вы что-нибудь понимаете? — спросил меня голос Лисовского, сидевшего через проход от меня.

— А вам не кажется, что кто-то заглядывает вам в мозг, просматривает вас насквозь? — ответил я вопросом на вопрос.

Он помолчал, должно быть соображая, не сошел ли я с ума от страха, потом проговорил запинаясь:

— Н-нет, не кажется, а что?

— Просто туман, ничего не кажется,— сказал кто-то рядом.

И мне не казалось. То, что происходило в самолете, ничуть не напоминало по ощущениям случившееся в снегоходе и в палатке. В первом случае кто-то или что-то просматривало, неощутимо прощупывало меня, словно подсчитывая и определяя порядок расположения частиц, образующих мою будущую модель, во втором — процесс остановился на полпути, словно создатель модели понял, что по моему образцу модель была уже создана раньше. А сейчас меня окружал просто разлитый в кабине туман, как подкрашенный кармином воздух, непрозрачный, как мутная вода в банке, не холодный и не теплый, не режущий глаз и не щекочущий ноздри — неощутимый. Он обтекал меня, казалось, совсем не касаясь кожи, и понемногу таял или выветривался. Скоро стали видны руки, одежда, обивка кресел и сидевшие рядом. Я услышал позади чей-то вопрос:

— Сколько прошло? Вы не засекли время?

— Нет, не засек, не знаю.

Я тоже не знал: может быть, три, может быть, десять минут.

И тут мы увидели нечто еще более странное. Попробуйте прищуриться, сильно сжимая веки, и вам пока-

жется, что предмет, на который вы смотрите, начинает двоиться: от него как бы отделяется копия и уплывает куда-то в сторону. То же произошло и со всей обстановкой самолета, со всем тем, что было в поле нашего зрения. Я не смутно, а вполне отчетливо видел — а потом узнал, что и каждый видел,— как от нашей кабины со всем ее содержимым начал отделяться ее дубликат с полом, окнами, креслами и пассажирами, отделился, поднялся на полметра и поплыл в сторону. Я увидел себя самого, Тольку с гитарой, Лисовского, увидел, как Лисовский пытался схватить свое уплывающее повторение — и схватил только воздух; увидел уже не внутренность нашей кабины, а ее наружную стенку и то, как эта стенка прошла сквозь действительную стенку, как последовало за ней крыло, скользнувшее сквозь нас, как гигантская тень самолета, и как все это исчезло, словно испарилось в воздухе. И все-таки не исчезло, не испарилось. Мы бросились к окнам и увидели такой же самолет, летевший рядом, абсолютно точную, словно серийную копию, и при этом совсем не иллюзорную, потому что оказавшийся расторопнее всех Лисовский все-таки успел сделать снимок, а на снимке этом, впоследствии повсюду опубликованном, был четко зафиксирован дубликат нашего воздушного лайнера, снятый с десятиметрового расстояния в воздухе.

К сожалению, то, что произошло позже, никто снять не успел. У Лисовского кончилась пленка, а я вспомнил о камере слишком поздно, да к тому же она была в футляре и подготовить ее к съемке я бы все равно не успел, настолько быстро, почти молниеносно, завершилось это воздушное чудо. Именно чудо: создателей его мы даже не видели. Просто в воздухе вокруг самолета-двойника возник знакомый нам малиновый кокон, вытянулся, побагровел, из багрового превратился в лиловый и растаял. Ничего не осталось — ни самолета, ни кокона. Только клубилась внизу по-прежнему облачная белая муть.

Помню, из пилотской кабины вышел наш шеф-пилот и робко спросил:

— Может быть, кто из товарищей объяснит нам, что случилось?

Никто не отозвался. Шеф подождал, потом сказал с обидной для нас усмешкой:

— Что же получается, товарищи ученые? Необъяснимый феномен? Чудо? Чудес-то ведь не бывает.

— Значит, бывает,— ответил кто-то.

Все засмеялись. Тогда спросил Лисовский:

— Может быть, товарищ Зернов объяснит?

— Я не бог и не дельфийский оракул,— буркнул в ответ Зернов.— «Облака» создали самолет-двойник — все видели. А как и зачем, я знаю не больше вас.

— Значит, так и написать? — съязвил Лисовский.

— Так и напишите,— отрезал Зернов и замолчал.

Заговорил он со мной об этом после посадки в Карачи, когда нам обоим удалось пробиться сквозь толпу встречавших самолет журналистов: оказывается, наш радист еще в пути послал радиограмму о происшедшем. Пока газетчики с фото- и кинокамерами атаковали команду самолета, мы с Зерновым незаметно проскользнули в ресторанный буфет и с наслаждением заказали прохладительное. Помню, я о чем-то спросил у него, он не ответил. Потом, словно отвечая не мне, а каким-то тревожившим его думам, сказал:

— Другой метод моделирования. Совершенно другой.

— Вы о «всадниках»? — спросил я.

— Привилось словечко,— усмехнулся он.— Повсюду привьется. И у нас, и на Западе — вот увидите. А смоделировано было все по-другому,— прибавил он.

Я не понял:

— Самолет?

— Не думаю. Самолет, наверное, смоделировали полностью. И тем же способом. Сначала нематериально, иллюзорно, потом вещественно — вся атомная структура в точности. А людей — по-другому: только внешняя форма, оболочка, функция пассажиров. Что делает пассажир? Сидит в кресле, смотрит в окно, пьет боржом, листает книгу. Едва ли воссоздавалась психическая жизнь человека во всей его сложности. Да это и не нужно. Требовалась живая, действующая модель самолета с живыми, действующими пассажирами. Впрочем, это только предположение.

— Зачем же было уничтожать эту модель?

— А зачем уничтожать двойников? — спросил он в ответ.— Помните прощание моего близнеца? Я до сих пор не могу этого забыть.

Он замолчал и перестал отвечать на вопросы. Только по выходе из ресторана, когда мы прошли мимо Лисовского, окруженного по меньшей мере десятком иностранных корреспондентов, Зернов засмеялся и сказал:

— Обязательно подкинет им «всадников». А те подхватят. И Апокалипсис приплетут. Будет и конь бледный, и конь вороной, и всадники, смерть несущие,— все будет. Читали Библию? Нет? Тогда прочтите и сравните, когда время придет.

Все предсказанное Зерновым сбылось в точности. Я чуть не подскочил с постели, когда вместе с телеграммами о появлении розовых «облаков» на Аляске и в Гималаях Дьячук прочел мне перевод статьи адмирала Томпсона из нью-йоркской газеты. Даже высмеянная Зерновым терминология полностью совпадала с адмиральской.

«Кто-то метко назвал их всадниками,— писал адмирал,— и все же не попал в яблочко. Это не просто всадники. Это всадники из Апокалипсиса — к такому сравнению я прихожу не случайно. Вспомним слова пророка: «...и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над землей — умерщвлять мечом, и голодом, и мором». Да простят мне американцы, что я прибегаю к терминологии, более приличествующей кардиналу католической церкви, чем отставному военному моряку. Но я вынужден сделать это: слишком уж беззаботно встречает человечество своих незваных гостей». Адмирала не интересовало, откуда явились они — с Сириуса или с альфы Центавра. Не волновала его и переотправка в космос земного льда. Пугали его двойники. Еще в Мирном он предположил, что уничтожаются именно не двойники, а люди. Теперь же эта мысль получала уверенное и агрессивное выражение: «...двойники и люди как будто во всем идентичны. У них та же внешность, та же память, то же мышление. Но кто мне докажет, что идентичность мышления не имеет границы, за которой начинается покорность воле создателей». Чем дольше я слушал, тем больше удивлялся фанатиче-

ской предубежденности автора: он возражал даже против нейтрального изучения и наблюдения, а требовал решительного изгнания пришельцев всеми доступными средствами. Статья заканчивалась совсем уж фантастическим предположением: «Если я вдруг изменю себе и откажусь от вышесказанного, значит, я двойник и меня подменили. Тогда повесьте меня на первом уличном фонаре».

Примечателен был не только смысл, но и самый тон этой статьи — панический и крикливый. Именно это и настораживало. Привыкших принимать на веру всяческую рекламную трескотню могла напугать всерьез статья этого, видимо, неглупого, но явно предубежденного человека. К тому же ее могли использовать в своих целях недобросовестные люди и в политике и в науке. К чести адмирала, он не искал их поддержки и в арсенале антикоммунизма оружия не заимствовал.

Когда я изложил все эти соображения Тольке, он сказал:

— Статья адмирала — частность. Возникает совсем новая проблема. До сих пор, когда ученые или фантасты писали о вероятности встреч с иным разумом в космосе, их интересовал вопрос о дружеском или враждебном отношении этого разума к людям. А вот о возможности враждебного отношения людей к этому разуму никто и не думал. А ведь в этом проблема. Включи ночью транзистор — с ума сойти! Весь мир гудит — на всех диапазонах. И попы, и министры, и сенаторы, и гадалки — все в эфир лезут. Что там летающие тарелки — пшик! Здесь до запросов в парламентах дело доходит.

Что ж, об этом стоило задуматься. Толька иногда высказывался очень разумно.

Глава XI

ОНИ ВИДЯТ, СЛЫШАТ И ЧУЮТ

Проблема, заинтересовавшая Тольку, была затронута на специальном совещании в Академии наук, где я присутствовал как автор заснятого мною фильма о пришель-

цах из космоса. Говорилось о многом, но, пожалуй, больше всего о природе феномена и его особенностях. Меня же это снова вывело на орбиту розовых «облаков».

На совещание я пришел примерно за час до начала, чтобы проверить проектор, экран и звук: фильм демонстрировался с дикторским текстом. В конференц-зале я нашел стенографистку Иру Фатееву, о которой мне говорили как о будущем секретаре особой комиссии, проектируемой в связи с совещанием. И между прочим, предупредили, что это кобра, полиглот и всезнайка. Спроси у нее, что получится, если смочить обнаженный мозг раствором хлористого кальция,— она скажет. Спроси о четвертом состоянии вещества — скажет. Спроси о том, что такое топология,— тоже скажет. Но я не спрашивал. Только поглядев на нее, я сразу всему поверил.

Она была в темно-синем свитере с очень строгой, но абстрактной орнаментовкой, с тугим пучком волос на голове, но отнюдь не по моде девятнадцатого столетия, и в чуть дымчатых очках без оправы — узких прямоугольных стеклышках,— и все-таки в очках, сквозь которые смотрели на вас умные, внимательные, очень требовательные глаза. Глаз, впрочем, я, войдя, не увидел: она даже не подняла головы, что-то дописывая в большом черном блокноте.

Я кашлянул.

— Не кашляйте, Анохин, и не стойте посреди комнаты,— сказала она, по-прежнему не смотря на меня,— я вас знаю и все о вас знаю, поэтому представляться не обязательно. Сядьте где-нибудь и подождите, пока я не закончу этого экспозе.

— Что такое экспозе? — спросил я.

— Не старайтесь показаться невежественнее, чем вы есть на самом деле. А экспозе совещания вам знать не обязательно. Вас туда не приглашали.

— Куда? — снова спросил я.

— В Совет Министров. Там вчера показывали ваш фильм.

Я знал об этом, но промолчал. Прямоугольные стеклышки повернулись ко мне. «Хорошо бы, она сняла очки»,— подумал я.

Она сняла очки.

— Теперь я верю в телепатию,— сказал я.

Она поднялась, высокая, как баскетболистка экстракласса.

— Вы пришли проверить аппаратуру, Анохин? Все это уже сделано.

— А что такое топология? — спросил я.

Глаза без стеклышек испепелить меня не успели: помешали участники будущего совещания — они явно не собирались опаздывать. Кворум собрался за четверть часа. Преамбулы не было. Только председательствующий спросил у Зернова, будет ли какое-нибудь вступительное слово. «Зачем?» — спросил тот в ответ. Тогда погас свет, и в голубом небе Антарктики на экране начал набухать малиновый колокол.

На этот раз я мог не комментировать фильм: за меня говорил диктор. Да и в отличие от просмотра в Мирном, проходившего в напряженном молчании, этот напоминал собрание добрых друзей у телевизора. Реплики, если можно допустить такое сравнение, наступали на пятки диктору, чаще веселые, иногда понятные только посвященным в тайны командующих здесь наук, иногда колючие, как выпады фехтовальщиков, а порой такие же, как в любом клубе веселых и находчивых. Кое-что запомнилось. Когда малиновый цветок проглотил моего двойника вместе со снегоходом, чей-то веселый басок воскликнул:

— Кто считает человека венцом мироздания, поднимите руки!

Послышался смех. Тот же голос продолжил:

— Учтите нечто бесспорное: никакая моделирующая система не может создать модель структуры более сложной, чем она сама.

— Жидкая пена, да? А какие компоненты? Газ? Жидкость? Пенообразующее вещество?

— Вы так уверены, что это пена?

— Ни в чем я не уверен.

— Может быть, это плазма при низких температурах?

— Плазма — газ. Что же ее удерживает?

— А магнитная ловушка. Магнитное поле создает нужные стенки.

— Нонсенс, коллега. Почему разрозненный, эфемерный газ не распадается, не рассеивается под давлением этого поля? Оно же не бессиловое — в том смысле, что не стремится изменить форму.

— А как, по-вашему, создают магнитные поля облака межзвездного газа?

Еще один голос из темноты вмешался в спор:

— Давление поля изменчиво. Отсюда изменчивость формы.

— Допустим, формы. А цвет?

Я пожалел, что не захватил с собой магнитофона. Впрочем, на несколько минут зал умолк: на экране другой цветок-гигант заглатывал самолет, а лиловая змея-щупальце — бесчувственную модель Мартина. Оно еще пульсировало над снегом, как из темноты снова спросили:

— Вопрос к авторам плазменной гипотезы. Значит, по-вашему, и самолет и человек просто сгорели в газовой струе, в магнитной бутылке?

Впереди опять засмеялись. Я еще раз пожалел о магнитофоне: началась перестрелка.

— Мистика какая-то. Невероятно.

— Чтобы признать возможность невероятного, мистики не требуется. Достаточно математики.

— Парадокс. Ваш?

— Фриша. Только математик здесь действительно нужнее вас, физиков. Больше сделает.

— Интересно, что же он сделает?

— Ему проб не нужно. Снимков побольше. А что он увидит? Геометрические фигуры, как угодно деформируемые, без разрывов и складок. Задачки по курсу топологии.

— А кто, простите, решит задачку о составе этой розовой биомассы.

— Вы считаете ее массой?

— По этим цветным картиночкам я не могу считать ее мыслящим организмом.

— Обработка информации очевидна.

— Обработка информации еще не синоним мышления.

Обмен репликами продолжался и дальше. Особенно взбудоражила зал ледяная симфония — облака-пилы и гигантские бруски льда в голубом небе.

— Как они вытягиваются? Из трехметрового облака километровый блин.

— Не блин, а нож.

— Непонятно.

— Почему? Один только грамм вещества в коллоидальном диспергированном состоянии обладает огромной поверхностью.

— Значит, все-таки вещество?

— Трудно сказать определенно. Какие у нас данные? Что они говорят об этой биосистеме? Как она реагирует на воздействие внешней среды? Только полем? И чем регулируется?

— А вы добавьте еще: откуда она берет энергию? В каких аккумуляторах ее хранит? Какие трансформаторы обеспечивают ее превращения?

— Вы другое добавьте...

Но никто уже ничего не добавил: кончился фильм, вспыхнул свет, и все замолчали, словно вместе со светом напомнила о себе привычная осторожность в суждениях. Председательствующий, академик Осовец, тотчас же уловил ее.

— Здесь не симпозиум, товарищи, и не академическое собрание,— спокойно напомнил он.— Мы все, здесь присутствующие, представляем собой комитет, созданный по решению правительства со следующими целями: определить природу розовых «облаков», цель их прибытия на Землю, агрессивность или дружественность их намерений и войти с ними в контакт, если они являются разумными, мыслящими существами. Однако увиденное еще не позволяет нам прийти к каким-то определенным выводам и решениям.

— Почему? — перебил из зала чей-то уже знакомый басок.— А фильм? Первый вывод: превосходный научный фильм. Бесценный материал для начала работы. И первое решение: широко показать его повсюду — и у нас, и на Западе.

Кажусь, очень приятно было все это выслушать. Столь же приятным был ответ председателя:

— Так же оценили фильм и в правительстве. И аналогичное решение уже принято. А коллега Анохин включен в состав рабочей группы нашего комитета. И все же,— продолжал академик,— фильм еще не отвечает на многие интересующие нас вопросы: откуда, из какого уголка Вселенной прибыли к нам эти гости, какие формы жизни — едва ли белковые — они представляют, какова их физико-химическая структура и являются ли они живыми, разумными существами или биороботами с определенной программой действий. Можно задать еще много вопросов, на которые мы не получим ответа. По крайней мере, сейчас. Но кое-что предположить все-таки можно, какие-то рабочие гипотезы можно обосновать и выступить с ними в печати. И не только в научной. Во всех странах мира люди хотят услышать о розовых «облаках» не болтовню кликуш и гадалок, а серьезную научную информацию, хотя бы в пределах того, что нам уже известно и что мы можем предположить. Можно, например, рассказать о возможностях и проектах контактов, об изменениях земного климата, связанных с исчезновением ледяных массивов, а главное, противопоставить отдельным мнениям об агрессивной сущности этой пока еще неизвестной нам цивилизации факты и доказательства ее лояльности по отношению к человечеству.

— Кстати, в дополнение к уже высказывавшимся в печати объяснениям,— проговорил, воспользовавшись паузой, сидевший рядом с Зерновым ученый,— можно добавить еще одно. Наличие дейтерия в обыкновенной воде незначительно, но лед и талая вода содержат еще меньший процент его, то есть более биологически активны. Известно также, что под действием магнитного поля вода меняет свои основные физико-химические свойства. А ведь земные ледники — это вода, уже обработанная магнитным полем Земли. Кто знает, может быть, это и прольет какой-то свет на цели пришельцев.

— Признаться, меня больше интересует их другая цель, хотя я и гляциолог,— вмешался Зернов.— Зачем они моделируют все, что им приглянулось? Понятно: образцы пригодились бы им для изучения земной жизни. Но зачем они их разрушают?

— Рискну ответить.— Осовец оглядел аудиторию: как лектор, получивший записку, он отвечал не только Зернову.— Допустим, что уносят они с собой не модель, а только запись ее структуры. И для такой записи, скажем, требуется разрушить или, вернее, разобрать ее по частям до молекулярного, а может быть, и атомного уровня. Причинять ущерб людям, уничтожать их самих или созданные ими объекты они не хотят. Отсюда синтезация и после опробования последовательное уничтожение модели.

— Значит, не агрессоры, а друзья? — спросил кто-то.

— Думаю, так,— осторожно ответил академик.— Поживем — увидим.

Вопросов было много. Одни я не понял, другие забыл. Запомнился единственный вопрос Ирины, обращенный к Зернову:

— Вы сказали, профессор, что они моделируют все, что им приглянулось. А где же у них глаза? Как они видят?

Ответил ей не Зернов, а сидевший с ним физик.

— Глаза не обязательны,— пояснил он.— Любой объект они могут воспроизвести фотопутем. Создать, допустим, светочувствительную поверхность так же, как они создают любое поле, и сфокусировать на ней свет, отраженный от объекта. Вот и все. Конечно, это только одно из возможных предположений. Можно предположить и акустическую настройку подобного типа, и аналогичную настройку на запахи.

— Убежден, что они все видят, слышат и чуют лучше нас,— произнес с какой-то странной торжественностью Зернов.

На этот раз в зале не засмеялся ни один человек. Реплика Зернова как бы подвела итог увиденному и услышанному, как бы раскрывала перед ними всю значительность того, что им предстояло продумать и осознать.

Глава XII

ПИСЬМО МАРТИНА

После Толькиного ухода я долго стоял у окна, не отрывая глаз от заснеженной асфальтовой дорожки, соединявшей мой подъезд с воротами на улице. Я надеялся, что придет Ирина. Теоретически она могла бы прийти — не из сердобольности, конечно, а просто потому, что иначе она не могла ни сообщить мне новости, ни передать поручения: телефона у меня не было. А нас связывали новые деловые отношения: она была секретарем особого комитета, а я его референтом со многими обязанностями — от пресс-атташе до киномеханика. Кроме того, нам предстояла совместная командировка в Париж на международный форум ученых, посвященный волновавшему весь мир и все еще непостижимому феномену розовых «облаков». Возглавлял делегацию академик Осовец, я и Зернов ехали в качестве очевидцев, а Ира — в более скромной, но уже наверняка более важной роли секретаря-переводчицы, знавшей не менее шести языков. Кроме того, в состав делегации был включен Роговин, физик с мировым именем, обладатель того насмешливого баска, который запомнился мне еще на просмотре фильма в затемненном конференц-зале. Командировка была уже подготовлена, необходимые документы получены, до отъезда оставались считанные дни, и нужно было о многом договариваться, тем более что Зернов уехал в Ленинград попрощаться с семьей и должен был вернуться со дня на день...

Но, честно говоря, мне совсем не потому хотелось увидеть Ирину: я просто соскучился по ней за эту неделю невольного заточения, даже по ее насмешкам соскучился, даже по дымчатым прямоугольным стеклышкам, отнимавшим у нее какую-то долю обаяния и женственности. Меня уже нескрываемо тянуло к ней — дружба не дружба и даже не влюбленность, а то смутное и неуловимое, что подчас неудержимо влечет к человеку и вдруг исчезает в его присутствии. «Тебе нравится она?» — спрашивал я себя. «Очень».— «Влюблен?» — «Не знаю». Где-то симпатия вдруг перерастает в недовольство, и хочется говорить

колкости. Может быть, потому, что мы с ней очень разные, и тогда эта разность заостряется вдруг, как бритва. Тогда, по ее уничтожающей оценке, мое образование — это компот из Кафки, Хемингуэя и Брэдбери, а ее, по моей ответной реплике,— это вермишель из «Техники — молодежи» за позапрошлый год. Иногда мне хочется сравнить ее с сушеной воблой и лапутянским ученым, а в ответ она снисходительно относит меня к племени ивановых-седьмых и присыпкиных. И все же мы в чем-то сходимся. Тогда нам обоим интересно и весело.

Эта странная и забавная дружба началась сразу же по окончании памятного просмотра в Академии наук. Я долго сидел в углу, пока не разошлись доктора и кандидаты наук и не потухла люстра, упаковал бобины и коробки, сложил все в свою спортивную сумку и опять сел.

Ирина молча смотрела на меня сквозь дымчатые стеклышки.

— А вы не двойник? — вдруг спросила она.

— Двойник,— согласился я.— Как это вы догадались?

— По действиям нормального человека. Такой человек, не отягченный высшим образованием, смылся бы, не дожидаясь конца совещания. А вы сидите, слушаете, топчетесь и не уходите.

— Изучаю земную жизнь,— сказал я важно.— Мы, двойники,— системы программирующиеся, меняем программу на ходу, в зависимости от предмета, достойного изучения.

— И этот предмет я?

— Вы потрясающе догадливы.

— Считайте сеанс оконченным. Изучили.

— Изучил. Теперь закажу вашу модель с некоторыми коррективами.

— Без очков?

— Не только. Без многознайства и жреческого величия. Обыкновенную девушку с вашим умом и внешностью, которая любила бы ходить в кино и гулять по улицам.

Я вскинул на плечо сумку с бобинами и пошел к выходу.

— Я тоже люблю ходить в кино и гулять по улицам,— сказала она вслед.

И я вернулся. А через день пришел сюда к началу

работы, побритый и выхоленный, как дипломатический атташе. Она что-то печатала на машинке. Я поздоровался с ней и сел за письменный стол.

— Вы зачем? — спросила она.

— На работу.

— Вас еще не откомандировали в наше распоряжение.

— Откомандируют.

— Нужно пройти отдел кадров...

— Отдел кадров для меня — это нуль-проход,— отмахнулся я.— Интересуюсь позавчерашними стенограммами.

— Для чего? Все равно не поймете.

— В частности, решением совещания,— продолжал я, величественно не обращая внимания на ее выпады,— поскольку мне известно: намечены четыре экспедиции — в Арктику, на Кавказ, в Гренландию и в Гималаи.

— Пять,— поправила она.— Пятая на ледник Федченко.

— Я бы выбрал Гренландию,— как бы между прочим заметил я.

Она засмеялась, словно имела дело с участником школьного шахматного кружка, предложившим сыграть матч с Петросяном. Я даже растерялся.

— А куда же?

— Никуда.

Я не понял.

— Почему? В каждой же экспедиции требуется кинооператор.

— Придется вас огорчить, Юрочка: не потребуется. Поедут научные сотрудники и лаборанты специальных институтов. НИКФИ, например. И не смотрите на меня добрыми бараньими глазами. Учтите, я не говорю «глупыми». Я просто спрашиваю: вы умеете работать с интроскопом? Нет. Умеете снимать за «стеной прозрачности», скажем, в инфракрасных лучах? Нет. Умеете превращать невидимое в видимое с помощью электронно-акустического преобразователя? Тоже нет. Я это читаю на вашем идеально побритом лице. Так что зря брились.

— Ну а простая съемка? — все еще не понимал я.— Обыкновенный фильмус вульгарис.

— Обыкновенный фильмус вульгарис можно снять

любительской камерой. Теперь это все делают. Важнее получить изображение в непрозрачных средах, за внешним покровом облака. Что, например, происходит с двойником в малиновой трубке?

Я молчал. Для обыкновенного оператора это было дифференциальное исчисление.

— Вот так, Юрочка,— опять засмеялась она.— Ничего вы не можете. И по методу Кирлиан не можете?

Я даже не слышал о таком методе.

— А он, между прочим, позволяет отличить живое от неживого.

— Я и простым глазом отличу.

Но она уже вошла в роль лектора:

— На снимке живая ткань получается в окружении призрачного сияния — разряды токов высокой частоты. Чем интенсивнее жизнедеятельность, тем ярче ореол.

— Голому уже ясно, что это живая ткань,— разозлился я и встал.— Не беспокойтесь об отделе кадров. Мне там делать нечего. Здесь тоже.

Она рассмеялась на этот раз весело и добродушно:

— Сядьте, Юрочка, и утешьтесь: мы поедем с вами вместе.

— Куда? — Я еще не остыл от обиды.— В Малаховку?

— Нет, в Париж.

Я так и не понял эту чертовку, пока она не показала мне решение о нашей командировке на Парижский конгресс. А сейчас я ждал эту чертовку, как ангела, топтался у окна и грыз спички от нетерпения. И конечно, пропустил, когда отошел к столу за сигаретами. Она позвонила, когда я уже раздумывал о будущем разрыве дипломатических отношений.

— Господи! — воскликнул я.— Наконец-то!

Она бросила плащ мне на руки и протанцевала в комнату.

— Ты стал верующим?

— С этой минуты. Поверил в ангела, приносящего милость неба. Не томи — когда?

— Послезавтра. Зернов возвращается завтра, а наутро уже вылетаем. Билеты заказаны. Кстати, почему мы на «ты»?

— Инстинктивно. Но не это тебя волнует.

Она задумалась.

— Верно, не это. «Они» уже в Арктике, понимаешь? Вчера у нас в комитете был Щетинников, капитан только что вернувшегося в Архангельск ледокола «Добрыня». Он говорит, что все Карское море и океан к северу от Земли Франца-Иосифа уже свободны ото льдов. А из Пулкова сообщили, что над Северным полюсом по нескольку раз в день выходят на орбиту ледяные спутники.

— А комитет съемку отменил,— пожалел я.— Сейчас снимать бы и снимать.

— Уже снимают любители. Скоро пленку пачками будем получать. Не это важно.

— А что важно?

— Контакт.

Я свистнул.

— Не свисти. Попытки контакта уже предприняты, хотя, кажется, без успеха. Но английские и голландские ученые предлагают свою программу контактов — все материалы у Осовца. Кроме того, на конгрессе придется иметь дело с группой Томпсона. Американская делегация фактически раскололась, большинство Томпсона не поддерживает, но кое-кто с ним блокируется. Не очень прочно, но в Париже они бой дать могут. А ты спрашиваешь, что важно. Погоди.— Она со смехом вырвала у меня свой плащ и вытащила из кармана объемистый пакет, оклеенный иностранными марками.— О самом важном забыла: тебе письмо из Америки. Приобретаешь мировую известность.

— От Мартина,— сказал я, взглянув на адрес.

Он был написан, мягко говоря, своеобразно:

«Юри Анохину. Первому наблюдателю феномена розовых «облаков». Комитет борьбы с пришельцами из космоса. Москва. СССР».

— «Комитет борьбы»...— засмеялась Ирина.— Вот тебе и программа контакта. Томпсоновец.

— Сейчас прочтем.

Мартин писал, что из антарктической экспедиции он вернулся в свою авиачасть близ Сэнд-сити, где-то на юго-западе США. Тут же по предложению Томпсона его откомандировали в распоряжение уже сколоченного адмиралом добровольного общества борьбы с космическими

пришельцами. Назначению Мартин не удивился: Томпсон сказал ему об этом еще в самолете по дороге в Америку. Не удивился он и должности. Узнав о том, что еще в колледже Мартин печатался в студенческих журналах, адмирал назначил его пресс-агентом. «По-моему, старик мне явно не верит, считает меня двойником, чем-то вроде вражеского солдата из пятой колонны, и потому хочет держать при себе, приглядываться и проверять. Из-за этого я не рассказал ему, что произошло со мной по дороге с нашей авиабазы в Сэнд-сити. А рассказать кому-нибудь надо, а, кроме тебя, некому. Только ты один разберешься в этой дьявольщине. Мы с ней знакомы по Южному полюсу, только здесь она иначе загримирована».

Письмо было написано на пишущей машинке — больше десятка плотно исписанных листиков. «...Мой первый очерк не для печати, а для тебя,— писал Мартин.— Скажешь по совести, гожусь ли я в газетчики». Я перелистал несколько страничек и ахнул.

— Читай,— сказал я Ирине, передавая прочитанные листки,— кажется, все мы влипли.

Глава XIII

ВЕСТЕРН В НОВОМ СТИЛЕ

Мартин писал:

«Солнце еще только поднималось над горизонтом, когда я уже выехал из ворот авиабазы. Надо было спешить: сутки отпуска — срок небольшой, а до Сэнд-сити меньше чем за час не доберешься. Я весело махнул рукой невыспавшемуся часовому, и мой древний двухместный «корвет» привычно рванул вперед по размягченному зноем асфальту. В багажнике что-то погромыхивало с противным скрежетом, цилиндры постукивали, напоминая о своей дряхлости. «Сменить бы машинку,— подумал я,— давно пора; восьмой год со мной кочует. Да жаль расстаться — привык. И Марии нравится».

К Марии, собственно, я и ехал в Сэнд-сити — провести свой последний свободный день перед отъездом в

Нью-Йорк к-адмиралу. Познакомили меня с Марией ребята из авиабазы в первый же вечер после моего возвращения из Мак-Мердо. Новенькая в этом баре, она нельзя сказать чтобы выделялась — девчонка как девчонка, в крахмальном халатике, с прической под Элизабет Тейлор: все они из бара под кинозвезд работают,— но почему-то привязался к ней сразу, все свободные вечера к ней в город гонял и даже матери написал, что есть, мол, одна хорошая девушка, ну и все такое прочее — сам понимаешь.

В эту поездку я уже все окончательно решил и даже разговор с ней обдумал; задерживаться, понятно, не хотел. Но пришлось все-таки остановиться. Какой-то парень замельтешил на дороге, я ему просигналил, а он, вместо того чтобы просто сойти с обочины, заметался, запсиховал и грохнулся под машину. Понятно, я затормозил, высунулся, кричу:

— Эй, друг, машины не видел?

Он посмотрел на меня, потом на небо и медленно поднялся, отряхивая от пыли свои старые джинсы.

— Тут не машины, а кой-что похуже людей пугает.— Он шагнул ко мне и спросил: — В город?

Я кивнул, он сел, все еще дикий какой-то, чем-то пуганный, с мелкими каплями пота на лбу, с темными мокрыми кругами на рубахе под мышками.

— С утра кросс затеял? — спросил я.

— Хуже,— повторил он и полез в карман. Оттуда на сиденье машины вместе с платком выскользнул вороненый «барки-джонс» образца пятьдесят второго года.

Я удивленно присвистнул:

— Гонка преследования?

В глубине души я уже жалел, что связался с ним: не люблю таких встреч на дороге.

— Дурак,— беззлобно ответил он на выдавший меня взгляд.— Это не мой, а хозяйский. Я тут за стадом присматриваю. На ранчо Виниччио.

— Ковбой?

— Какой там ковбой...— поморщился он, вытирая вспотевший лоб.— Я и на лошади-то сидеть как следует не умею. Просто деньги нужны. Осенью учиться пойду

Я внутренне усмехнулся: кровожадный гангстер, спа-

сающийся от шерифа, превратился в обыкновенного студента, прирабатывающего на вакациях.

— Митчелл Кейси,— представился он.

Я тоже назвал себя, рассчитывая не без тщеславия, что имя мое, воспетое газетами со времени встречи с драконами на Мак-Мердо, докатилось и до него, но ошибся. Он не слыхал ни обо мне, ни о розовых «облаках» — два месяца ни радио не слушал, ни газет не читал:

— Может, уже война началась или марсиане высадились — один черт, ничего не знаю.

— Войны пока нет,— сказал я,— а марсиане, пожалуй, высадились.

И рассказал ему коротко о розовых «облаках». Но я не ожидал, что мой рассказ вызовет у него такую реакцию. Он рванулся к дверце, словно хотел выскочить на ходу, потом разинул рот и дрожащими губами спросил:

— С неба?

Я кивнул.

— Длинные розовые огурцы. Как самолеты пикируют. Да?

Я удивился: говорит, газет не читал, а знает.

— Только что видел,— сказал он и снова вытер выступивший на лбу, должно быть, холодный пот: встреча с нашими знакомцами из Антарктики его совсем доконала.

— Ну и что? — спросил я.— Летают, точно. И пикируют. И на огурцы похожи. А вреда никакого. Один туман. Трусишка ты, вот что.

— Всякий струсил бы на моем месте,— все еще взволнованно проговорил он.— Я чуть с ума не сошел, когда они стадо удвоили.— И, почему-то оглянувшись сначала, словно боясь, что его могут подслушать, тихо прибавил: — И меня тоже.

Ты уже, наверное, понял, Юри, что Митч попал в такую же переделку, как и мы с тобой. Эти чертовы «облака» заинтересовались его стадом, спикировали на коров, а наш храбрый ковбой полез их отгонять. И тут началось совсем уж непонятное. Один из розовых огурцов подплыл к нему, повис над головой и приказал отойти — не словами, конечно, а как гипнотизер на ярмарке,— отойти назад и сесть на лошадь. Митч рассказывает, что не мог ни ослушаться, ни сбежать. Не сопротивляясь,

он отошел к лошади и вскочил в седло. Я думаю, что им на этот раз всадник понадобился: пеших-то они набрали достаточно, целую коллекцию. Ну а дальше все как по маслу: красный туман, полная неподвижность — ни рукой ни ногой не шевельнуть, а тебя будто насквозь просматривают. Словом, картина знакомая. А когда туман рассеялся и парень в себя пришел — глазам не поверил: стадо вдвое увеличилось, а в сторонке на лошади точно такой же Митчелл сидел. И лошадь та же, и сам он как в зеркале.

Нервы у парня, конечно, не выдержали: помню, что со мной в первый раз было. С ним то же: помчался, куда ветер понес, лишь бы дальше от наваждения. А потом остановился: стадо не свое, хозяйское, отвечать же ему придется. Подумал и вернулся, а там все по-прежнему, как до появления розовых «облаков»: ни лишних коров, ни двойника на лошади. Ну и решил парень: либо мираж, либо он с ума сошел. Стадо в загон, а сам в город, к хозяину.

Все это только предисловие, ты же понимаешь. Не успел я кое-как успокоить парня, как сам запсиховал: вижу, летят стайкой вдоль дороги, этак бреющим полетом идут. Совсем диснеевские поросята, как сказал тогда наш радист из Мак-Мердо, и на огурцы не похожи. Тут и Митчелл их увидел. Слышу, замолк. Только дышит, как запыхавшийся.

«Начинается»,— подумал я, вспомнив, как эти «дирижабли» шли на таран в нашем первом воздушном «бою». Но на этот раз они даже не снизились, а просто пронеслись со скоростью звука, как розовые молнии в сиреневом небе.

— К городу пошли,— прошептал сзади Митчелл.

Я не ответил: кто их знает!

— Почему они нас не тронули?

— Не заинтересовались. Едут двое в автомобиле — мало ли таких! А я меченый.

Он не понял.

— Встречались,— пояснил я.— Вот они и запомнили.

— Не нравится мне все это,— сказал он и замолчал.

Так мы и ехали молча, пока из-за поворота не показался город. До него оставалось не больше мили, но

я почему-то не узнал его — таким странным он мне показался в сиреневой дымке, как мираж в этих сыпучих желтых песках.

— Что за дьявольщина? — удивился я.— Может, у меня спидометр барахлит? До города по крайней мере десяток миль, а он уже виден.

— Посмотрите вверх! — воскликнул Митчелл.

Над миражем города висели цепочкой розовые «облака» — не то медузы, не то зонтики. Может быть, тоже мираж?

— Не на месте город,— сказал я.— Не понимаю.

— Мы уже должны были проехать мотель старика Джонсона,— откликнулся Митчелл.— Ведь он в миле от города.

Я вспомнил морщинистое лицо хозяина мотеля и его зычный командирский голос: «В мире все стало с ног на голову, Дон. Я уже начинаю верить в бога». Кажется, пора начать верить в бога и мне. Я вижу удивительные и необъяснимые чудеса. Джонсон, обычно встречавший все проезжавшие мимо машины на каменной лесенке своего дома-гостиницы, бесследно исчез. Это уже само по себе было чудом: ни разу за все годы работы на авиабазе я не проезжал здесь, не узрев на ступеньках старого ангела с ключами от города. Еще большим чудом было исчезновение его гостиницы. Мы не могли проехать ее, а даже признаков строения у дороги не было видно.

Зато с каждой минутой становился виднее город. Сэнд-сити в лиловой дымке перестал быть миражем.

— Город вроде как город,— сказал Митчелл,— а что-то не то. Может, с другой дороги въезжаем?

Но въезжали мы с обычной дороги. И видели те же рыжие дома у въезда, тот же плакат на столбах, с огромными буквами поперек улицы: «Самые сочные бифштексы только в Сэнд-сити», ту же колонку с алюминиевой башенкой-счетчиком. Даже сам Фрич в белом халате, как всегда, стоял у разбитого молнией дуба с лучезарной улыбкой-вопросом: обслужить вас, сэр? Масло? Бензин?

Глава XIV

ГОРОД ОБОРОТНЕЙ

Я остановил «корвет» со скрежетом, знакомым всем владельцам окрестных бензоколонок.

— Привет, Фрич. Что случилось с городом?

Мне показалось, что Фрич не узнал меня. Без обычной своей услужливой расторопности он шагнул к нам, шагнул как-то неуверенно, словно человек, вошедший в ярко освещенную комнату из ночной темноты. Еще более поразили меня его глаза: неподвижные, будто мертвые, они смотрели не на нас, а сквозь нас. Он остановился, не дойдя до машины.

— Доброе утро, сэр,— произнес он глухим, безразличным голосом.

Фамилии моей он не назвал.

— Что с городом?! — заревел я.— Крылья, что ли, у него появились?

— Не понимаю, сэр,— так же монотонно и безразлично ответил Фрич.— Что вам угодно, сэр?

Нет, это был не Фрич.

— Куда девался мотель старика Джонсона? — спросил я, еле сдерживаясь.

Он повторил без улыбки:

— Мотель старика Джонсона? Не знаю, сэр.— Он шагнул ближе и уже с улыбкой, но до того искусственной, что мне на миг стало страшно, прибавил: — Вас обслужить, сэр? Масло? Бензин?

— Ладно,— сказал я.— Разберемся. Поехали, Митч.

Отъезжая от бензоколонки, я обернулся. Фрич по-прежнему стоял у дороги, провожая нас холодными, застывшими глазами покойника.

— Что это с ним? — спросил Митчелл.— С утра, что ли, набрался?

Но я знал, что Фрич не пьет ничего, кроме пепси-колы. Не хмельное бродило в нем — нечеловеческое.

— Кукла,— пробормотал я,— заводная кукла. «Не знаю, сэр. Могу вас обслужить, сэр. Что вам угодно, сэр?»

Ты знаешь, что я не трус, Юри, но, честное слово, сердце сжалось от предчувствия чего-то недоброго. Слиш-

ком много непонятных случайностей, хуже, чем тогда в Антарктиде. Признаться, даже хотелось повернуть назад, да в город другой дороги не было. Не на базу же возвращаться.

— Ты знаешь, где найти твоего хозяина? — спросил я у Митчелла.

— В клубе, наверно.

— Начнем с клуба,— вздохнул я. Хочешь не хочешь, а город рядом, тормозить незачем.

И я свернул на Эльдорадо-стрит, погнав машину вдоль аккуратных коттеджиков, одинаково желтых, как вылупившиеся цыплята. Пешеходов не было видно, здесь пешком не ходили, а ездили на «понтиаках» и «бьюиках», но «понтиаки» и «бьюики» уже отвезли хозяев на работу, а хозяйки еще потягивались в постелях или завтракали в своих электрифицированных кухнях. Хозяин Митчелла завтракал в клубе, а клуб помещался в переулке, выходившем на главную улицу, или Стейт-стрит,— улицу Штата, как она здесь называлась. Мне было уже стыдно своих неосознанных страхов — синее небо, никаких розовых «облаков» над головой, расплавленный солнцем асфальт, горячий ветер, гнавший по мостовой обрывки газет, в которых, наверное, говорилось о том, что розовые «облака» — это просто выдумка психов-ньюйоркцев, а Сэнд-сити полностью застрахован от любого космического нашествия,— все это возвращало к реальности тихого сонного города, каким он и должен быть в это знойное утро.

Так, по крайней мере, мне казалось, потому что все это была только иллюзия, Юри. В городе не было утра, и он совсем не дремал и не спал. Мы сразу увидели его, свернув на Стейт-стрит.

— Не рановато ли в клуб? — спросил я у Митчелла.

Он засмеялся, потому что в этот момент нас уже задержала толпа на перекрестке. Но это была не утренняя толпа, и окружал нас не утренний город. Светило солнце, но электрические фонари на улице продолжали гореть, как будто вчерашний вечер еще не кончился. Неоновые огни сверкали в витринах и выставках. За стеклянными дверями кино гремели выстрелы: неустрашимый Джеймс Бонд осуществлял свое право на убийство. Щелкали шары на зеленых бильярдных столах, грохотал поездом джаз в

окнах ресторана «Селена», и стучали сбитые кегли в настежь открытых дверях кегельбанов. А по тротуарам фланировали прохожие, именно фланировали, прогуливались, а не спешили на работу, потому что работа давно закончилась, и город жил не утренней, а вечерней, предночной жизнью. Будто вместе с электрическими фонарями на улице люди решили обмануть время.

— Зачем эта иллюминация? Солнца им мало? — недоумевал Митчелл.

Я молча затормозил у табачного киоска. Бросив на прилавок мелочь, осторожно спросил у завитой продавщицы:

— У вас какой-нибудь праздник сегодня?

— Какой праздник? — переспросила она, протягивая мне сигареты.— Обычный вечер обычного дня.

Неподвижные голубые глаза ее смотрели сквозь меня, как и мертвые глаза Фрича.

— Вечер? — повторил я.— Да вы посмотрите на небо. Какое же солнце вечером?

— Не знаю.— Голос ее звучал спокойно и безразлично.— Сейчас вечер, и я ничего не знаю.

Я медленно отошел от киоска. Митчелл поджидал меня у машины. Он слышал весь мой разговор с продавщицей и думал, вероятно, о том же: кто из нас сошел с ума — мы или они все в городе? Может быть, сейчас действительно вечер и мы с Митчеллом просто галлюцинируем? Я еще раз оглядел улицу. Она была частью шестьдесят шестого шоссе, проходящего через город в Нью-Мексико. Автомашины двигались мимо двумя встречными колоннами — обычные американские автомашины на обычной американской автомобильной дороге. Но все они шли с зажженными фарами, мимо ярко освещенных витрин.

Импульсивно, уже ни о чем не думая, я схватил за плечо первого попавшегося под руку прохожего.

— Не трогай меня, чертова кукла! — закричал он, вырываясь.

То был маленький юркий толстяк в нелепой велосипедной шапочке. Глаза его — не пустые и безразличные, а живые и гневные — смотрели на меня с отвращением. Я оглянулся на Митчелла: тот покрутил пальцем у виска. И гнев толстяка тотчас же переменил направление.

— Это я идиот, по-твоему?! — уже не закричал, а завизжал он, рванувшись к Митчеллу.— Это вы здесь все с ума сошли, весь город. Утро на улице, а они электричество жгут. И на все вопросы как заведенные: не знаю — и все! А ну-ка ответь: утро сейчас или вечер?

— Утро, конечно,— сказал Митчелл,— а в городе что-то диковинное творится, сам не пойму.

Метаморфоза, произошедшая с толстяком, была поразительна. Он уже не визжал, не кричал, а только тихо смеялся, поглаживая потную руку Митчелла. Даже глаза его стали влажными.

— Слава всевышнему: один нормальный человек в городе сумасшедших,— наконец проговорил он, все еще не выпуская руки Митчелла.

— Два,— сказал я, протягивая руку.— Вы третий. Давайте-ка обменяемся впечатлениями. Может, и разберемся в этой дьявольщине.

Мы остановились на краю тротуара, отделенные от шоссе пестрой цепью припарковавшихся машин, покинутых владельцами.

— Объясните мне, господа, самое дикое,— начал толстяк.— Эти фокусы с автомобилями. Они едут и исчезают сразу. И в никуда.

По совести говоря, я его не понял. Что значит в никуда? Он объяснил. Только сигарету попросил, чтобы в себя прийти: «Не курю, но, знаете, успокаивает».

— Зовут меня Лесли Бейкер, по специальности коммивояжер. Дамское белье и косметика. Сегодня здесь — завтра там. Кочевник. Сюда попал по дороге в Нью-Мексико: свернул на шестьдесят шестое шоссе. Ехал противно, как улитка. Помню, все время впереди маячил большой зеленый фургон, не давая себя обогнать. Вы знаете, что такое медленная езда? Зубная боль по сравнению с ней удовольствие. Да еще этот плакат при въезде. «Вы въезжаете в самый спокойный город Америки». А самый спокойный город отчудил такое, что в цирке не увидишь у фокусников. На окраине, где шоссе расширялось — тротуаров там уже не было,— я снова попытался обогнать своего мучителя. Рванул сбоку, смотрю, а его нет. Исчез. Не понимаете? И я не понял. Свернул на обочину, сбавил скорость, гляжу туда-сюда — нет фур-

гона. Растаял, как сахар в чашке кофе. А я тем временем в колючую проволоку врезался, даже притормозить не успел. Хорошо, что еще ехал тихо.

— Откуда на шоссе колючая проволока? — удивился я.

— На шоссе? Не было никакого шоссе. Оно исчезло вместе с фургоном. Была голая красная равнина, зеленый островок вдалеке да колючая проволока кругом: частное владение. Не верите? Сначала и я не поверил. Ну ладно, пропал фургон — черт с ним. Но куда шоссе делось? Бред! Оглянулся назад и чуть не умер со страха: прямо на меня и на проволоку идет черный «линкольн». Черная смерть. Сто миль, не меньше. Я и выскакивать не стал, только зажмурился: все одно конец. Прошла минута — не конец. Открыл глаза — ни конца, ни «линкольна».

— Может быть, он проехал вперед?

— Куда? По какому шоссе?

— Значит, тоже исчез?

Он кивнул.

— Выходит, что машины исчезали, не доезжая до колючей проволоки? — спросил я.

— Вот именно. Одна за другой. Я минут десять так простоял, и все они пропадали на кромке шоссе. Оно обрывалось в красной глине у самой проволоки. А я стою, как Рип Ван Винкль, только глазами моргаю. У кого ни спрошу — один ответ: «Не знаю». Почему едут с зажженными фарами? Не знаю. Куда пропадают? Не знаю. Может быть, в ад? Тоже не знаю. А где шоссе? И глаза у всех стеклянные, как у покойников.

Мне уже было ясно, что это за город. Хотелось провести еще один тест: взглянуть собственными глазами. Я осмотрелся и проголосовал: одна из проезжавших мимо машин остановилась. У водителя тоже были стеклянные глаза. Но я рискнул.

— Не подвезешь до окраины? Два квартала, и только.

— Садитесь,— сказал он равнодушно.

Я сел рядом с ним; толстяк и Митч, ничего не понимая, уместились сзади. Парень безразлично отвернулся, дал газ, и мы пролетели эти два квартала за полминуты.

— Смотрите,— лихорадочно прошептал сзади Бейкер.

Впереди нас поперек обрезанного красной глиной шос-

се тянулись четыре ряда ржáвой колючей проволоки. Виден был только небольшой участок проволочного ограждения, остальное скрывали дома по обочине дороги, и потому казалось, что весь город обнесен колючей проволокой, изолирован от мира живых людей. Я представлял себе все это еще по рассказу Бейкера, но действительность оказалась еще бессмысленней.

— Осторожней, проволока! — крикнул, хватая водителя за руку, Бейкер.

— Где? — удивился тот и отшвырнул руку Бейкера.— Псих!

Проволоки он явно не видел.

Водитель сбавил газ, но я еще не успел увидеть, как радиатор машины медленно начал таять в воздухе. Словно что-то невидимое проглатывало машину дюйм за дюймом. Вот уже исчезло ветровое стекло, щиток с приборами, руль и руки водителя. Это было так страшно, что я невольно закрыл глаза. И тут же резкий удар бросил меня на землю. Я ткнулся носом в пыль, а ноги еще царапали по асфальту: значит, вылетел на самой кромке шоссе. Но как вылетел? Дверца была закрыта, машина не переворачивалась. Я поднял голову и увидел впереди кузов незнакомой серой машины. Рядом в придорожной пыли лежал без сознания бедняга коммивояжер.

— Жив? — спросил, нагибаясь ко мне, Митчелл. Лицо его украшал сине-багровый кровоподтек под глазом.— Швырнуло прямо в бейкеровский катафалк.— Он кивнул на серую, застрявшую в проволочном заграждении машину.

— А где же наша?

Он пожал плечами. Несколько минут мы стояли молча у края срезанного шоссе, наблюдая одно и то же чудо, только что оставившее нас без машины. Толстяк-коммивояжер тоже встал и присоединился к нашему зрелищу. Оно повторялось каждые три минуты, когда мимо нас на полном ходу пересекал кромку шоссе какой-нибудь «пикап» с деревянным кузовом или двухцветный лакированный «понтиак» и пропадал бесследно, как лопнувший мыльный пузырь. Некоторые мчались прямо на нас, но мы даже не отступали в сторону, потому что они таяли в двух шагах, именно таяли: весь процесс таинственных и не-

объяснимых исчезновений был отчетливо виден на здешнем солнцепеке. Они действительно исчезали не сразу: а словно ныряли в какую-то дырку в пространстве и пропадали в ней, начиная с радиатора и кончая номерным знаком. Казалось, город был обнесен прозрачным стеклом, за которым уже не существовало ни шоссе, ни автомобилей, ни самого города.

Вероятно, одна и та же мысль тревожила всех троих: что же делать? Возвращаться в город? Но какие еще чудеса ожидают нас в этом городе, превратившемся в аттракцион фокусника? Какие люди встретят нас, с кем можно перемолвиться человеческим словом? До сих пор, кроме толстяка-коммивояжера, мы не встретили здесь ни одного настоящего человека. Я подозревал в этом происки розовых «облаков», но здешние жители не были похожи на двойников, сотворенных у Южного полюса. Те были или казались людьми, а эти напоминали воскресших покойников, забывших обо всем, кроме необходимости куда-то идти, управлять машиной, гонять шары на бильярде или пить виски за стойкой бара. Я вспомнил о версии Томпсона и, пожалуй, впервые испугался по-настоящему. Неужели они успели подменить все население города? Неужели... Нет, требовался еще один тест. Только один.

— Возвращаемся в город, ребята,— сказал я своим спутникам.— Необходимо основательно прочистить мозги, иначе нас всех отправят в психиатрическую лечебницу. Судя по сигаретам, виски здесь не поддельное.

Но думал я о Марии.

Глава XV

ПОГОНЯ

К бару, где работала Мария, мы подошли в полдень. Вывеска и витрины бара пылали неоновым пламенем: хозяева не экономили электроэнергию даже в полуденные часы. Моя белая форменка буквально взмокла от пота, но в баре было почти прохладно и пусто. Высокие табуреты у стойки были свободны, только у окна шептались ка-

кие-то парочки да полупьяный старик в углу смаковал свое бренди с апельсиновым соком.

Мария не слышала, как мы вошли. Она стояла к нам спиной у открытого шкафа-стойки и переставляла бутылки на стеллажах. Мы взгромоздились на табуреты и выразительно переглянулись без слов. Митчелл уже собирался было окликнуть Марию, но я предупредил его, приложив палец к губам: тест принадлежал мне.

Начинался действительно самый трудный для меня эксперимент в этом безумном городе.

— Мария,— тихо позвал я.

Она резко обернулась, словно звук моего голоса испугал ее. Прищуренные близорукие глаза без очков, яркий свет, слепивший ее с потолка,— все это, пожалуй, объясняло ее вежливое безразличие к нам. Меня она не узнала.

Но одета и причесана она была именно так, как я любил,— простая завивка, без кинозвездных фокусов, красное платье с короткими рукавами, которое я всегда отличал среди ее туалетов,— все это объясняло и другое: она знала о моем приезде, ждала меня. На сердце сразу стало легче, на минуту я забыл о своих сомнениях и страхах.

— Мария! — позвал я громче.

Кокетливая улыбка, чуть-чуть наклоненная головка, символически подчеркивающая натренированную предупредительность к заказчику, характеризовали любую девчонку из бара, но не Марию. Со знакомыми парнями она была иной.

— Что с тобой, девочка? — спросил я.— Это я, Дон.

— Какая разница — Дон или Джон? — кокетливо откликнулась она, играя глазами и по-прежнему не узнавая меня.— Что вам угодно, сэр?

— Посмотри на меня,— сказал я грубо.

— Зачем? — удивилась она, но послушалась.

И на меня взглянули не ее глазищи, синие и узкие, как у девушек на полотнах Сальвадора Дали, но всегда живые, ласковые или гневные, а холодные мертвые глаза Фрича, глаза девушки из табачного киоска, глаза водителя растаявшей машины — стеклянные глаза куклы. Заводная машина. Оборотень. Нежить. Словом, тест не удался. В городе не было живых людей. И мгновенно пришло

решение — бежать. Куда угодно, только скорее. Пока не поздно. Пока не обернулась против нас вся эта проклятая страхота.

— За мной! — скомандовал я, соскакивая с табурета.

Толстяк еще недоумевал, ожидая обещанной выпивки, но Митч понял. Славный малый — он все схватывал на лету. Только спросил, когда мы выходили на улицу:

— А где же я найду хозяина?

— Нет здесь твоего хозяина,— сказал я.— Нет людей. Оборотни. Нечисть.

Толстяк вообще ничего не понимал, но послушно затрусил за нами: оставаться одному в этом диковинном городе ему явно не хотелось. Боюсь, что не совсем все дошло и до Митчелла, но он по крайней мере не рассуждал: уже видел чудеса на дороге, хватит!

— Ну что ж, смываться, так смываться,— заметил он философично.— А ты помнишь, где оставил машину?

Я оглянулся. На углу моего «корвета» не было — очевидно, он остался где-то ближе или дальше по улице. Вместо него на тротуаре в двух-трех метрах от нас дожидалась черная полицейская машина, тоже с зажженными фарами. Несколько полицейских в форме находились внутри, а двое — сержант и полисмен с перебитым носом, должно быть бывший боксер,— стояли рядом у открытой дверцы. Напротив, у подъезда с вывеской «Коммершел банк» стояли еще двое. Все они, как по команде, уставились на нас с таким же неживым, но пристальным, целеустремленным взглядом. Мне это совсем не понравилось.

Сержант что-то сказал сидевшим в машине. Прицельный взгляд его настораживал. Они определенно кого-то ждали. «Не нас ли?» — мелькнула мысль. Мало ли что может случиться в этом придуманном городе?

— Скорее, Митч,— сказал я, осматриваясь.— Кажется, влипли.

— На ту сторону! — сразу откликнулся он и побежал, лавируя между стоявшими у тротуара машинами.

Я ловко увернулся от чуть не наехавшего на меня грузовика и тотчас же оказался на противоположной стороне улицы, подальше от подозрительной черной машины. И вовремя! Сержант шагнул на мостовую и поднял руку:

— Эй, вы, стоять на месте!

Но я уже сворачивал в переулок — темноватое ущельице между домами без витрин и без вывесок. Толстяк с несвойственной его комплекции быстротой тут же догнал меня и схватил за руку:

— Посмотрите, что они делают!

Я взглянул. Полицейские, развернувшись цепочкой, перебегали улицу. Впереди, посапывая, бежал мордастый сержант, расстегивая на ходу кобуру. Заметив, что я обернулся, он крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

Меньше всего мне хотелось познакомиться с системой его пистолета. Особенно сейчас, когда я разгадал происхождение этого города и его населения. Но мне везло: я услышал свист пули, когда уже нырнул за кузов отдыхавшей у тротуара пустой машины. Эта сжатая цепочка притертых бок о бок автомобилей облегчала нам маневрирование. Поразительно, с какой ловкостью подгоняемые страхом Бейкер и Митч ныряли, присаживались или, согнувшись крючком, перебегали открытое пространство переулка.

Я знал этот переулок. Где-то поблизости должны быть два дома, разделенные воротами-аркой. Через эту арку можно попасть на соседнюю улицу, где можно поймать любую проезжавшую машину или неожиданно найти свою: мы ведь оставили ее где-то здесь, на углу такого же переулочного ущелья. Кроме того, можно было скрыться в мастерской, где вечно что-то чинилось или паялось. Неделю тому назад, когда мы здесь проходили с Марией, мастерская была пуста, на двери висел замок под табличкой «Сдается внаем». Я вспомнил об этой мастерской, когда свернул в арку-воротца. Полицейские застряли где-то сзади.

— Сюда! — крикнул я спутникам и рванул дверь. Замок и табличка по-прежнему висели на ней, и рывок не открыл нам входа. Мой удар плечом пошатнул ее, она затрещала, но удержалась. Тогда ударил всем корпусом Митчелл. Дверь охнула и со скрежетом рухнула наземь.

Но входа за ней не было. Она никуда не вела. Перед нами темнел проем, заполненный плотной, черной, как уголь, массой. Сначала мне показалось, что это просто

темнота неосвещенного подъезда, куда не проникает солнечный свет в этом ущелье. Я было рванулся вперед, в темноту, и отскочил: она оказалась упругой, как резина. Теперь я отчетливо видел ее — вполне реальное черное ничто, ощутимое на ощупь, как что-то плотное и тугое, надутая автомобильная камера или спрессованный дым.

Тогда рванулся Митч. Он прыгнул в эту зловещую темноту, как кошка, и отлетел назад, как футбольный мяч. Это ничто просто отшвырнуло его — оно было непроницаемо, вероятно, даже для пушечного снаряда. Я подумал — и это мое твердое убеждение,— что весь дом внутри был такой же: без квартир, без людей, одна чернота с упругостью батута.

— Что это? — испуганно спросил Митчелл.

Я видел, что он опять испугался, как утром на автомобильной дороге в городе. Но заниматься анализом впечатлений не было времени. Где-то совсем поблизости послышались голоса преследователей. Вероятно, они вошли в арку. Но между нами и густой пружинящей черной массой было узкое, не шире фута, пространство обычной темноты — вероятно, той же черноты, только разреженной до концентрации тумана или газа. То был типичный лондонский смог, в котором не видишь стоящего рядом. Я протянул руку: она исчезла в нем, как обрезанная. Я встал и прижался к спрессованной черноте в глубине дверного проема и услышал, как вскрикнул шепотом Бейкер:

— Где же вы?

Рука Митча нашла меня, и он тотчас же сообразил, в чем наше спасение. Вдвоем мы втащили в проем толстяка-коммивояжера и постарались раствориться в темноте, вжимаясь и вдавливаясь до предела, чтобы предательское упругое ничто за ней не выбросило нас наружу.

Дверь мастерской, где мы прятались, находилась за углом выступавшей здесь каменной кладки. Полицейские, уже заглянувшие в переулок, не могли нас увидеть, но даже идиот от рождения мог сообразить, что пробежать переулок во всю длину его и скрыться на смежной улице мы все равно не успели бы.

— Они где-то здесь,— сказал сержант. Ветер донес к нам его слова.— Попробуй по стенке!

Грохнули автоматные очереди: одна... другая... Пули не задевали нас, скрытых за выступом стены, но свист их и скрежет о камень, стук отбитых кусков штукатурки и кирпича и тяжелое дыхание трех человек, зажатых в потный клубок в темноте, были нелегким испытанием даже для крепких нервов. Я очень боялся: вдруг толстяк сорвется,— и легонько сжал ему горло. Пикнет, думаю,— нажму посильнее. Но выстрелы уже гремели на противоположной стороне улицы, полицейские простреливали все подъезды и ниши. Однако не уходили: у них был инстинкт ищеек и собачья уверенность в том, что дичь все равно никуда не уйдет. Я знал эту породу и шепнул Митчеллу:

— Пистолет!

Я не сделал бы этого в нормальном городе с нормальными полицейскими даже в аналогичной ситуации, но в городе оборотней все средства годились. Поэтому рука без трепета нашла в темноте протянутую мне сталь митчелловской игрушки. Осторожно выглянув из-за выступа, я медленно поднял ее, поймал в вырез прицела щекастую морду сержанта и нажал на спусковой крючок. Пистолет громыхнул, и я увидел явственно, как дернулась голова полицейского от удара пули. Мне даже показалось, что вижу аккуратную круглую дырочку на переносице. Но сержант не упал, даже не пошатнулся.

— Есть! — радостно воскликнул он.— Они за углом прячутся.

— Промазал? — горестно спросил Митчелл.

Я не ответил. Готов был поклясться, что пуля угодила полицейскому оборотню прямо в голову. Я не мог промахнуться: имел призы за стрельбу. Значит, эти куклы неуязвимы для пуль. Стараясь унять дрожь в коленях, я, уже не целясь, выпустил в щекастого сержанта всю оставшуюся обойму. Я почти физически ощущал, как пуля за пулей входили в ненавистное тело оборотня.

И опять ничего. Он даже не почувствовал, даже не отмахнулся. Может быть, внутри у него была такая же черная резина, как и та, у которой мы прятались?

Я бросил ненужный уже пистолет и вышел из-за угла. Не все ли равно? Один конец.

И тут произошло нечто я бы не сказал неожиданное,

нет,— что-то уже давно начало изменяться в окружающей обстановке, только мы в пылу борьбы не обратили внимания на это. Воздух алел по малости, словно его подкрашивали фуксином, потом побагровел. Последнюю обойму я выпустил в сержанта, почти не различая его, как в дыму. А когда упал пистолет, я машинально взглянул на него и не увидел: под ногами был густой малиновый кисель, да и кругом все было окутано таким же туманом. Только полицейские фигурки впереди тускло маячили, как багровые тени. А туман все густел и густел, пока наконец не уплотнился до такой степени, что казался уже не туманом, а жидкой овсянкой с клубничным вареньем. Однако ни движений, ни дыхания он не стеснял.

Не знаю, сколько времени он окутывал нас — минуту, полчаса, час? — но растаял незаметно и быстро. А когда растаял, нам открылась совсем другая картина — ни полицейских, ни домов, ни улицы, только кирпичная, выжженная солнцем пустыня и небо с высокими, нормальными облаками. Вдали темнела дымчатая лента шоссе да на колючей проволоке перед ней висела вздернутая на дыбы злосчастная машина толстяка-коммивояжера.

— Что это было? Сон? — спросил он.

Голос его от волнения прозвучал с неестественной хрипотцой, словно язык все еще не повиновался ему,— так учатся говорить люди, временно потерявшие речь.

— Нет.— Я успокаивающе похлопал его по плечу.— Не хочу утешать вас: не сон. Явь. И мы единственные ее участники.

Я ошибся: не единственные. Нашелся еще свидетель, наблюдавший со стороны эту картину. Вернее, мы сами нашли его. Пешком через четверть часа мы добрались до мотеля — древнего, почерневшего от времени строения рядом с новеньким гаражом из сборного железобетона и органического стекла в дюралевых переплетах. И Джонсон, как ему и было положено, сидел на ступеньках каменной лесенки. Он вскочил нам навстречу, неестественно и непонятно обрадованный.

— Дон? — неуверенно спросил он.— Откуда?

— Из самого пекла,— сказал я.— Из его земного филиала.

— Ты был в этом Содоме? — Он почти с ужасом посмотрел на меня.

— Был,— подтвердил я.— Все расскажу, только принеси чего-нибудь прохладительного. Если только ты не мираж.

Нет, он был не мираж. И виски со льдом тоже не мираж. И так приятно было присесть на ступеньках и услышать рассказ о том, как выглядел со стороны этот город, о котором еще в писании было сказано: «Земля еси и в землю отыдеши».

Джонсон увидел его внезапно. Сидел, дремал, вдруг очнулся, посмотрел кругом и обмер: слева, где ничего, кроме ссохшейся глины, никогда не было, вырос город-близнец. Направо Сэнд-сити и налево Сэнд-Сити.

— Подумал было: конец света! Не пьян, а в глазах двоится. Ушел в дом, вернулся — все то же: посреди я, а по бокам за милю два города-брата, как Содом и Гоморра. Не мираж ли? Бывает — пустыня все-таки. А город-близнец тут как тут, не испаряется и не тает. И, как на грех, на шоссе ни одной машины. А потом вдруг стемнело, заволокло: туман не туман, дым не дым — словно туча на землю легла, как в ветреные закаты, оранжево-красная.

Слушая рассказ Джонсона, я заметил, что цвета все видели при этом по-разному — туман то малиновый, то вишневый, то багровый, то алый. Но и он рассеялся, а тут и мы подошли.

Потом и Мария уже по-своему рассказала мне об этом тумане. Она действительно ждала меня, и платье на ней было такое же, как и у заводной куклы-призрака. Она же и сообщила нам, что произошло в городе. Об этом я не пишу — посылаю пару газетных вырезок. Вы лучше меня разберетесь в этой страхоте».

Я отложил последний листок письма и подождал, пока дочитала Ирина. Мы смотрели друг на друга и не нашли слов. Вероятно, каждый подумал: неужели наша обыкновенная земная жизнь может где-то соприкасаться со сказкой?

Глава XVI

МОСКВА — ПАРИЖ

Вырезка из газеты «Сэнд-сити трибюн», присланная Мартином, сообщала о следующем:

«Вчера в нашем городе наблюдалось любопытное метеорологическое явление. В половине восьмого вечера, когда по всей Стейт-стрит электрическим пламенем загорелись витрины баров и кинотеатров, город окутал странный багровый туман. Впрочем, некоторым он показался фиолетовым. Собственно, это был не туман, так как видимость даже на далеком расстоянии сохранялась отличной и все окружающее представлялось отчетливым и ясным, как летним утром в погожий безоблачный день. Правда, туман потом спустился и стал похожим на обычный калифорнийский смог, хорошо знакомый каждому лосанджелесцу. У нас уверяют, что он еще гуще лондонского. Как долго он уплотнялся и густел, никто точно не знает, вероятно, не очень долго, потому что большинство опрошенных нами свидетелей утверждают, что туман почти все время оставался прозрачным, только все окружающее — и дома, и люди, даже самый воздух — приобрело густо-малиновый, почти пунцовый оттенок, словно вы смотрели в очки с красными стеклами. Сначала люди останавливались, глядя на небо, но, не заметив там ничего особенного, спокойно продолжали свой путь. Не отразился туман и на посещении увеселительных заведений: там его попросту не заметили. Наблюдалось это явление около часа, после чего туман, если его можно назвать туманом, рассеялся и город приобрел свой обычный вечерний облик.

Гостящий в нашем городе его уроженец, ученый-метеоролог Джеймс Бакли, которого многие помнят еще школьником, объяснил, что упомянутое явление не относится к метеорологическим. По его словам, то было, скорее всего, гигантское разреженное облако распыленных в воздухе мельчайших частиц искусственного красителя, занесенных ветром с какой-нибудь лакокрасочной фабрики в зоне ста — полутораста миль. Такое распылен-

ное, но не рассеивающееся скопление мельчайших красящих частиц — явление редкое, но не исключительное и может переноситься на многомильные расстояния.

Возникшие в связи с этим слухи о розовых «облаках», по мнению редакции, ни на чем не основаны. Розовые «облака» следует искать в полярных, а не в субтропических районах материка. Что же касается бредней старика Джонсона, владельца мотеля на федеральном шоссе, уверяющего, что он видел якобы два одинаковых города по обе стороны от его заведения, то ни редакцию, ни лиц, знающих самого Джонсона, это ничуть не удивляет. Сезон автомобильного туризма еще не открыт, и мотель пустует. Трудно удержаться и не выпить с горя лишнюю бутылочку виски. И кто упрекнет человека, у которого от этого двоится в глазах.

Иное объяснение случившегося предлагает нам наш мушкетер, владелец бара «Орион» и лидер клуба «бешеных» Лемми Кошен. «Ищите красных,— говорит он,— иначе они окрасят нам не только политику, но и воздух, которым мы дышим». Не в связи ли с этим был избит при выходе из бара проезжавший наш город нью-йоркский адвокат Рой Десмонд, отказавшийся ответить на вопрос, за кого он будет голосовать на предстоящих президентских выборах? Прибывшие на место происшествия полицейские, к сожалению, не смогли обнаружить виновных».

Интервью с адмиралом Томпсоном, опубликованное журналом «Тайм энд пипл», было озаглавлено так:

«Сэнд-сити — зачумленный город,— говорит адмирал.— Ищите ахиллесову пяту у розовых «облаков».

«За последние дни маленький южный городок на федеральном шоссе № 66 приковал внимание всей Америки. Газеты уже опубликовали сообщения о красном тумане, внезапно окутавшем город, и рассказ коммерческого агента Лесли Бейкера о странных событиях в городе-двойнике. По этому поводу наш корреспондент беседовал с отставным адмиралом Томпсоном, участником американской антарктической экспедиции и первым очевидцем действия розовых «облаков».

— Ваше мнение о событиях в Сэнд-сити, адмирал?

— Просто Томпсон. Частное лицо без мундира. А мое

мнение — это тревога обыкновенного человека о будущем человечества.

— Вы считаете, что есть основания тревожиться?

— Да. «Облака» уже не ограничиваются моделированием отдельных личностей и синтезируют целые общественные массивы. Я приведу только последние примеры: океанский лайнер «Аламейда» со всей командой и пассажирами, универмаг в Буффало в день распродажи и завод пластмасс в Эвансвилле. Не может же сниться всем очевидцам один и тот же сон, будто бок о бок вырос, а потом исчез завод-двойник, завод-копия. Меня никто не уверит в том, что это был мираж, вызванный разницей температур в неодинаково нагретых слоях воздуха. И неважно, что его существование измерялось минутами. Важно то, что никто не ответит мне со всей убежденностью, какой из двух заводов исчез и какой остался!

— Говоря о событиях в Сэнд-сити, вы сказали в клубе «Аполло», что город зачумлен. В каком смысле?

— В прямом. Город требует изоляции, систематических тестов и неослабного наблюдения в дальнейшем. Проблема та же: люди или двойники? К сожалению, ни власти, ни общество не проявляют должного внимания к этой проблеме.

— А вы не преувеличиваете, сэр? — возразил наш корреспондент.— Разве можно упрекать страну в равнодушии к пришельцам?

Адмирал ответил не без иронии:

— Нельзя, конечно, если говорить о юбках «розовые облака» и о прическах «всадники ниоткуда». Или, скажем, о съезде спиритов, объявившем «облака» душами умерших, вернувшихся в мир с даром божественного могущества. Какое уж тут равнодушие! Или вы имеете в виду сенаторов-флибустьеров, произносящих о «всадниках» двенадцатичасовые речи, чтобы провалить законопроект о налогах на крупные состояния? Или биржевых маклеров, использующих «облака» для игры на понижение? Или проповедников, провозгласивших завтрашнюю кончину мира? Или, может быть, продюсеров таких фильмов, как «Боб Меррил — победитель «всадников ниоткуда»? Все это лопнувшая канализационная труба, не больше, а я говорю о другом...

— О войне?

— С кем? С «облаками»? Я не идиот, чтобы считать человечество достаточно вооруженным для борьбы с цивилизацией, способной из ничего создавать любые атомные структуры. Я говорил об изгнании «облаков», вернее, о необходимости найти способы, которые могли бы способствовать такому изгнанию. Ведь при всем могуществе этой цивилизации,— добавил адмирал,— у нее может оказаться слабое место, своя ахиллесова пята. Тогда почему бы нам не поискать ее? Мне кажется, что наши ученые не слишком энергично стремятся к контактам, причем не только в смысле прямого, непосредственного, так сказать, пространственного сближения с гостями из космоса для их изучения и наблюдения. Почему до сих пор не обнаружена их земная стоянка, штаб-квартира на нашей планете? Я бы послал туда не одну экспедицию, чтобы наряду с другими проблемами поискать и проблему их уязвимости, их ахиллесову пяту. Тогда все дальнейшее предстало бы для нас совсем в другом свете».

В этой, хотя и крикливой, журнальной заметке адмирал отнюдь не показался мне ни чудаком, ни маньяком, ни просто неумным человеком, которому дали возможность высказаться перед тысячами читателей. Но я невольно подумал, что его последовательная, фанатическая предубежденность может оказаться в будущем куда более настораживающей, чем еще не расшифрованные действия наших гостей из космоса. На это, кстати, намекал и автор интервью, осторожно заметивший, что включение Томпсона в состав американской научной делегации на парижском международном форуме может осложнить согласованность ее выступлений.

Обе вырезки вместе с письмом Мартина я передал Зернову уже в самолете. Мы расположились как бы в отдельном купе, изолированном высокими спинками кресел от сидевших впереди и позади пассажиров. Осовец и Роговин должны были прибыть в Париж дня через два, к самому началу конгресса; мы же вылетели раньше, чтобы принять участие в пресс-конференции очевидцев и встретиться с американцами из Мак-Мердо, которые не разделяли взглядов адмирала Томпсона и у которых после его отъезда накопился собственный опыт встреч с кос-

мическими гостями. Мы только что позавтракали после отлета из Шереметьевского аэропорта, в кабине было тихо, в слабо доносившемся снаружи мерном гудении моторов тонули все местные звуки вроде шуршания развертываемых газет или негромких разговоров соседей. Самое подходящее время для разговора о письме Мартина. Пока Зернов читал и перечитывал листки письма, я шепнул Ирине:

— Ты помнишь письмо, конечно. Вспомни все неясные для тебя места и сформулируй вопросы. Зернов — это профессор на кафедре, который терпеть не может неточного непонимания.

— А бывает точное?

— Конечно. Я не понял того-то, в том-то сомневаюсь. А неточное — это неумение определить главную неясность, глупый вопрос и бараньи глаза.

Я тут же закрылся газетой, предпочитая не слышать ответа. К тому же все неясности мне предстояло сформулировать самому. В чем отличие оборотней Мартина от памятных двойников? Я мысленно сгруппировал их: пустые глаза, непонимание многих заданных им вопросов, автоматизм движений и действий, неверные представления о времени, граничащие с иным, чем у человека, зрением: они не видели солнца, голубого неба и не удивлялись электрическому свету на улицах. У них не было человеческой памяти: девушка Мартина не только его не узнала — она его просто не помнила. Пули из пистолета Мартина, пронизывающие их насквозь, не причиняли им никакого вреда: значит, внутренняя структура их была иной, чем у человека. По-видимому, на этот раз «облака» не копировали людей, а создавали лишь внешне похожих роботов с ограниченной в каких-то пределах программой. Итак, первая нелепость: почему изменился метод моделирования и в каких именно пределах он изменился?

Но, кроме людей, «облака» моделировали и вещи. Дубликат нашего снегохода был настоящим. Настоящими были и вещи в городе Мартина. Прохладительные напитки можно было пить, сигареты можно было курить, на автомобилях можно было ездить, а пули из полицейских автоматов пробивали даже камень. В домах были настоящие окна и двери, в настоящих кафе торговали насто-

ящим кофе и сосисками, и владелец настоящей автоколонки продавал вам настоящее масло и настоящий бензин. И в то же время настоящие автомобили возникали как призраки на шоссе, пересекающем город, возникали ниоткуда, из пустоты, и на противоположном конце его исчезали так же призрачно и в такой же пустоте, превращаясь в ничто, в облако пыли, вздыбленной только что шуршавшими по асфальту колесами. И не все двери в домах куда-то вели, некоторые не вели никуда, за ними была та же пустота, только непроницаемая и черная, как спрессованный дым. Значит, и в моделировании окружающего человека материального мира была какая-то иная система, в чем-то его ограничивающая. Сформулируем вторую неясность: почему иная система, в каких целях и чем ограниченная?

И еще неясность: в создании самолета-двойника на пути из Мирного в Москву Зернов уже допускал возможность иной системы моделирования. Совпадала ли она с описанной Мартином?

— В какой-то степени,— ответил, подумав, Зернов.— По-видимому, «облака» создают разные модели по-разному. Вы помните багровый туман в самолете, когда не было видно сидевших рядом? В Сэнд-сити даже не известно точно, достиг ли туман такой же густоты; газета пишет, что воздух был прозрачен и чист, только окрашен или подсвечен красным. Должно быть, с густотой и плотностью этого газа связан и характер модели. Я думаю, что люди в призрачном городе Мартина еще в меньшей степени люди, чем пассажиры нашего двойника-самолета. Почему? Попробуем разобраться. Помните, я еще в Карачи говорил вам, что люди в нашем самолете моделированы не во всей их биологической сложности, а только в их специальной функции. Вся сложная психическая жизнь человека отключалась, вычеркивалась: создателям модели она была не нужна. Но пассажиры нашего самолета — это ведь не просто пассажиры аэрофлота? Разве их связывало социально только путешествие? Было и многое другое: совместно прожитый год, работа, дружеские или неприязненные отношения с соседями, планы на будущее, мечты о воссоединении с любимыми и с родными. Все это расширяло и усложняло их пассажирскую функцию.

Потому и создателям модели пришлось, вероятно, усложнить ее, сохранить какие-то ячейки памяти, какие-то мыслительные процессы. Я думаю, жизнь в самолете-двойнике протекала подобно нашей.

— Или повторяясь, как магнитофонная запись,— сказал я.

— Едва ли. Они создают модель, а не шаблон. Даже в городе Мартина жизнь не повторяла происходившее в реальном Сэнд-сити. Например, полицейская охота. Но обратите внимание: люди в этой модели города еще более удаляются от людей. Воспроизводится голая функция: прохожий идет, гуляющий гуляет, водитель ведет машину, торгующий продает или предлагает товар, покупатель покупает или отказывается от покупки. И только. При всем том они не куклы. Они могут думать, соображать и действовать, но только в пределах функции. Скажите официантке в кафетерии моделированного города, что вам не нравятся сосиски. Она тотчас же ответит, что консервированные сосиски не портятся, что банка была вскрыта четверть часа назад, но, если вам угодно, она заменит их бифштексом, прожаренным или с кровью, по вашему вкусу. Она может и пококетничать с вами, даже сострит, если она остроумна,— это тоже входит в ее профессиональную функцию. Поэтому она и не вспомнила Мартина: он не был связан с ее работой.

— Но почему о нем вспомнили полицейские? — спросила Ирина.— Он не ограбил банк, не покушался на карманы прохожих и не боксировал в пьяном виде на улице. Где же связь с функцией?

— А помните вырезку из газеты? Во время тумана был избит какой-то нью-йоркский адвокат. Полиция прибыла слишком поздно и, к сожалению, не нашла виновников. Вы обратили внимание на это «к сожалению»? Полиция, конечно, знала виновников и не собиралась их искать. Но почему бы не найти им замену? Каких-нибудь пьяниц или бродяг? На это и были нацелены полицейские. В реальном Сэнд-сити они никого не нашли. В моделированном городе им подвернулся Мартин с приятелями.

— Хотел бы я быть на его месте,— сказал я с завистью.

— И получить пулю в лоб? Пули-то были настоящие.

— И у Мартина были настоящие. Может, мазал?

— Не думаю,— сказал Зернов.— Просто травмы, опасные для человека, безопасны для этих биоголемов. Едва ли их организм похож на человеческий.

— А глаза? Они же видели Мартина.

— Кроссворд,— засмеялась Ирина.— Подставляете слова в клеточки, а слова не те. Что-то совпадает, что-то нет.

— Конечно, кроссворд,— весело откликнулся Зернов.— А что же еще? Положить бы этого полицейского на хирургический стол да и вскрыть ему брюхо. Вот бы и увидели, есть ли у него кишки и желудок. А что мы имеем для решения задачи? Логарифмическую линейку? Микроскоп? Рентген? Смешно. Пока у нас нет ничего, кроме логики. Ну, и слова не те. Кстати, и глаза не те,— ответил он уже на мою реплику.— Видели Мартина, но не видели солнца. Не наши глаза. Потому что были запрограммированы на существование лишь в пределах какого-то моделированного часа. Само время было моделировано. И проезжавшие по шоссе машины моделировались в движении в пределах того же отрезка времени и того же отрезка пространства. Вот и получилось, что в городе-двойнике они возникали ниоткуда и пропадали в никуда. Кроссворд,— засмеялся он.

— Камуфляж,— прибавил я,— вроде их домов. Снаружи стенка как стенка, а внутри пустота. Черное ничто. А посмотреть бы хотелось,— опять вздохнул я.— Едем как очевидцы, а видели тютельку.

— Еще увидим,— загадочно произнес Зернов.— Мы с вами, как и Мартин, меченые. Они еще нам покажут кое-что новенькое. Может, случайно, может, и сознательно. Боюсь, что покажут.

— Боитесь? — удивился я.

— Боюсь,— сказал Зернов и замолчал.

Самолет, пробив облака, уже снижался навстречу большому, едва различимому в сиреневой дымке городу со знакомым с детства силуэтом ажурной башни Эйфеля. Издали она казалась обелиском из тончайших нейлоновых нитей.

Часть третья

ДЖУЛЬЕТТА И ПРИЗРАКИ

Глава XVII

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ОТЕЛЕ «ОМОН»

В связи с предстоящим конгрессом Париж был буквально наводнен туристами. Нашу делегацию устроили в отеле «Омон», небольшом, но первоклассном, должно быть, гордившемся своей старомодностью. В его скрипучих деревянных лестницах, пыльных бархатных портьерах и роскошных старинных подсвечниках было что-то бальзаковское. Свечи горели повсюду — на столах, на подоконниках, на каминных мраморных досках, и не как суетливая дань моде, а как упрямые соперники электричества, которое здесь явно только терпели. Американцам это нравилось, а нам не мешало; впрочем, в комнатах мы и десяти минут не пробыли и два часа до ожидавшей нас пресс-конференции пробегали с Ириной по улицам вечного города. Я — разевая рот на каждое архитектурное чудо, она — со снисходительным вниманием поясняя мне, когда и для кого это чудо было построено.

— Откуда ты знаешь Париж? — удивился я.

— Я уже третий раз здесь, а вообще и родилась в Париже, и катали меня в детской колясочке по этим же улицам. Впрочем, об этом потом как-нибудь,— сказала она загадочно и вдруг рассмеялась: — Даже портье в нашем отеле встретил меня, как старую знакомую.

— Когда?

— Когда ты рассчитывался с шофером такси. Я и Зернов вошли в холл, портье — этакий лысый лорд — оглядел нас с профессиональным безразличием, потом вдруг глаза у него расширились, он отступил на шаг

и уставился на меня, как истукан. «Что с вами?» — удивилась я. Он стоит и молчит. Тут уже Зернов спросил: «Вы, вероятно, узнали мадемуазель?» — «Нет-нет,— опомнился он,— просто мадемуазель очень похожа на одну нашу клиентку». А мне показалось, что узнал он именно меня, хотя в этом отеле я не останавливалась. Странно.

Когда мы вернулись в отель, портье на этот раз даже не взглянул на Ирину, зато мне улыбнулся и сказал, что меня уже дожидаются: «Прямо на эстраду пройдите».

Конференция действительно ожидала нас в ресторанном зале отеля. Американцы уже явились, заняв большую часть концертной эстрады. Телевизионные операторы суетились вокруг фантастических черных ящиков. Корреспонденты с фото- и кинокамерами, блокнотами и магнитофонами рассаживались за столиками. Тут же официанты разносили бутылки с разноцветными этикетками. У нас на эстраде тоже стоял столик с бутылками — об этом уже позаботились американцы. Ирина осталась в зале: переводить не требовалось — все или почти все присутствующие говорили и по-французски и по-английски. Французский, правда, я знал неважно, лучше понимал, чем говорил, но полагал, что присутствие Зернова избавит меня от вещания. Увы, я ошибался. Газетчики собирались выжать все, что могли, из «очевидцев феномена», а я к тому же был еще и автором фильма, потрясавшего Париж уже вторую неделю.

Вел конференцию астроном из Мак-Мердо, по фамилии Мак-Эду. Он уже привык к тому, что газетчики то и дело острили о Мак-Эду из Мак-Мердо или, вспоминая название шекспировской комедии, устраивали «много шуму из-за Мак-Эду». По-английски это звучало совсем колоритно: «Мач эду эбаут Мак-Эду». Но смутить его было трудно. Он вел наш корабль в конференционном шторме с искусством многоопытного кормчего. Даже голос у него был капитанский, умеющий осадить, когда нужно, чересчур уж назойливых вопрошателей.

Я не случайно упомянул о шторме. Тремя часами раньше в другом парижском отеле состоялась встреча журналистов с еще одним «очевидцем феномена» и делегатом конгресса, адмиралом Томпсоном. Он отказался

от участия в нашей пресс-конференции по мотивам, которые предпочел высказать корреспондентам в индивидуальной беседе. Смысл этих мотивов и сущность его высказываний стали ясны после первых же адресованных нам вопросов. Отвечали делегаты, к которым обращались корреспонденты, на вопросы без адреса отвечал Мак-Эду. Конечно, я не все запомнил, но то, что запомнилось, сохранило последовательность магнитофонной записи.

— Вам что-нибудь известно о пресс-конференции адмирала Томпсона?

Так полетел к нам первый теннисный мяч из зала, и тотчас же отразила его ракетка председателя:

— К сожалению, ничего не известно, но, честно говоря, я не очень взволнован.

— Но заявление адмирала сенсационно.

— Весьма возможно.

— Он требует превентивных мер против розовых «облаков».

— Вы расскажете об этом в своих газетах. Прошу задавать вопросы.

— Что вы скажете, если некоторые делегации в ООН потребуют карательной санкции против пришельцев?

— Я не военный министр, чтобы отвечать на подобные требования.

— А если бы вы были военным министром?

— Я не мечтаю о такой карьере.

Смех и аплодисменты были ответом зала. Мак-Эду поморщился: он не любил театральных эффектов. Даже не улыбнувшись, он молча сел, поскольку сраженный вопрошатель тоже умолк.

Но его уже сменил следующий. Он не рискнул состязаться в красноречии с Мак-Эду и выбрал другую жертву.

— Вопрос профессору Зернову. Согласны ли вы с тем, что действия розовых «облаков» могут угрожать человечеству?

— Конечно, нет,— тотчас же откликнулся Зернов.— До сих пор «облака» не причинили никакого вреда людям. Исчезновение земных ледяных массивов только улучшит климат. Никакого ущерба не было нанесено ни природе, ни делу рук человеческих.

— Вы на этом настаиваете?

— Безусловно. Единственный ущерб — это табуретка, исчезнувшая в Мирном вместе с моим двойником, и автомобиль, оставленный Мартином в моделированном Сэнд-сити.

— Какой автомобиль?

— Когда?

— Где Мартин?

— Мартин приезжает сегодня вечером. (Это — Мак-Эду.)

— Разве он был в Сэнд-сити?

— Спросите у него самого.

— Откуда профессору Зернову известно об исчезнувшем автомобиле Мартина?

Мак-Эду обернулся к Зернову с молчаливым вопросом: будет ли он отвечать? Зернов сказал:

— Мне известно это лично от Мартина. Сообщать о подробностях не уполномочен. Но думаю, что старая табуретка и подержанное авто не слишком большой ущерб для человечества.

— Вопрос профессору Зернову! — опять крикнули в зале.— Как вы относитесь к заявлению адмирала, что двойники — это пятая колонна пришельцев и вступление к будущей галактической войне?

— Считаю, что адмирал начитался фантастических романов и выдает их за действительность.

— Вопрос к автору фильма Анохину. Адмирал считает, что вы двойник и ваш фильм снят двойником, а эпизод гибели вашего двойника в фильме — это гибель самого Анохина. Чем вы докажете, что это неправда?

Я только плечами пожал: чем бы я мог это доказать? Вместо меня ответил Мак-Эду:

— Анохину незачем это доказывать. В науке есть незыблемая «презумпция установленного». Ученым нет нужды проверять и доказывать ложность какого-то голословного утверждения, пусть автор докажет его истинность.

В зале снова зааплодировали. Но долговязый и плоский, как доска, Мак-Эду на этот раз оборвал аплодисменты:

— Здесь не спектакль, господа.

— А что скажет о Томпсоне председатель? — спросили в зале.— Вы целый год работали с адмиралом в антарктической экспедиции. Ваше впечатление о нем как об ученом и человеке?

— Первый обращенный ко мне разумный вопрос,— усмехнулся в усы Мак-Эду.— К сожалению, не смогу удовлетворить любопытство спрашивающего. Мы работали с адмиралом в одной экспедиции и в одном географическом пункте, но в разных областях. Он — администратор, я — астроном. Почти не сталкивались. Он не проявлял особого интереса к моим астрономическим наблюдениям, я — к его административным способностям. Полагаю, что он и сам не претендует на звание ученого,— во всяком случае, научные труды его мне неизвестны. Как человека же я его почти не знаю, хотя убежден, что он действует честно и не в интересах корысти или политики. Он не пристегнулся ни к антикоммунизму, ни к предвыборной президентской кампании. Все, что он проповедует, основано, по-моему, на ложном предубеждении и ошибочных выводах.

— Как же, по-вашему, должно поступить человечество?

— Рекомендации даст конгресс.

— Тогда у меня к вам вопрос как к астроному. Откуда прибыли к нам эти чудовища?

Мак-Эду впервые засмеялся искренне и непроизвольно:

— Не нахожу в них ничего чудовищного. Они похожи то на всадника или стреловидное крыло самолета, то на очень большой и красивый цветок, то на розовый дирижабль. Эстетические каноны в нашем и их понимании, вероятно, различны. А откуда они прибыли, мы узнаем, когда они сами пожелают ответить нам на этот вопрос, если, конечно, мы сумеем его задать. Возможно, из соседней с нами звездной системы. Может быть, это Туманность Андромеды, может быть, туманность в созвездии Треугольника. Гадать бессмысленно.

— Вы сказали: когда они сами ответят. Значит, контакт возможен?

— Пока ни одна из попыток сближения не дала результатов. Но контакт достижим, я убежден в этом, если

они живые разумные существа, а не биосистемы с определенной программой.

— Вы имеете в виду роботов?

— Я не имею в виду роботов. Я говорю о программных системах вообще. Тогда контакт зависит от программы.

— А если это самопрограммирующиеся системы?

— Тогда все зависит от того, как меняется программа под влиянием внешних воздействий. Попытки контакта — это тоже одно из внешних воздействий.

— Вопрос к автору фильма Анохину. Вы наблюдали самый процесс моделирования?

— Его нельзя наблюдать,— сказал я.— Человек находится в коматозном состоянии.

— Но ведь на ваших глазах возникла копия снегохода. Гигантская машина из пластмасс и металла. Откуда она возникла, из каких материалов?

— Из воздуха,— сказал я.

В зале засмеялись.

— Ничего нет смешного,— вмешался Зернов.— Именно из воздуха. Из неизвестно каких и каким образом внесенных в него элементов.

— Значит, чудо? — Вопрос прозвучал явной насмешкой.

Но Зернов не смутился:

— Чудесами считали когда-то все необъяснимое тогдашним уровнем знаний. Наш уровень тоже допускает необъяснимое, но он предполагает, что объяснения будут даны в ходе дальнейшего научного прогресса. А поступательное его движение уже сейчас допускает возможность предположить ориентировочно в середине или конце будущего века воспроизведение предметов с помощью волн и полей. Каких волн и каких полей — это, конечно, уровень знаний будущего. Но лично я, например, убежден, что в том уголке космоса, откуда прибыли к нам эти существа, наука и жизнь, вероятно, уже достигли такого уровня.

— Какая же это жизнь? — спросил женский голос, как показалось мне, с явно истерической ноткой, с нескрываемым уже страхом.— Как объясниться с ней, если это жидкость, и о каком контакте можно говорить, если это газ?

— Выпейте воды,— невозмутимо предложил Мак-Эду.— Я вас не вижу, но мне кажется, что вы слишком взволнованы.

— Я просто начинаю верить Томпсону.

— Поздравляю Томпсона еще с одной верующей. Что же касается мыслящей жидкой или коллоидной структуры, то и мы, как известно, существуем в полужидком состоянии. И химия нашей жизни — это химия углерода и водных растворов.

— А химия их жизни?

— Какой растворитель? У нас вода, а у них?

— Может быть, это фторная жизнь?

Ответил сидевший с краю американец:

— Все, что скажу,— только гипотетично. Фторная жизнь? Не знаю. В таком случае растворителем может быть фтористый водород или окись фтора. Тогда это холодная планета. Для фторных существ температура минус сто — только приятный холодок для прогулки. В такой, мягко говоря, прохладной среде могла возникнуть и аммиачная жизнь. Она даже реальнее, потому что аммиак встречается в атмосфере многих крупных планет, а жидкий аммиак существует и при температуре минус тридцать пять градусов. Можно сказать, почти земные условия. А если подумать о приспособленности гостей к нашим условиям, аммиачная гипотеза покажется более вероятной. Но если предположить, что пришельцы сами создают для себя нужные им условия жизни, возможна и любая другая самая невероятная гипотеза.

— Вопрос председателю как математику и астроному. Что имел в виду русский математик Колмогоров, когда говорил, что при встрече с неземной жизнью мы можем попросту ее не узнать? Не этот ли феномен?

Мак-Эду отпарировал без улыбки:

— Он, несомненно, учитывал и вопросы, какие задают иногда на пресс-конференциях.

Опять смех в зале, и опять репортеры, обходя Мак-Эду, начинают атаку с флангов. Очередная жертва — физик Виэра, только что угощавшийся у столика фруктовой водой.

— Господин Виэра, вы специалист по физике элементарных частиц?

— Допустим.

— Если «облака» материальны,— вопрошатель орудовал микрофоном, как пистолетом,— значит, они состоят из хорошо известных науке элементарных частиц? Так?

— Не знаю. Может быть, и не так.

— Но ведь большая часть известного нам мира построена из нуклонов, электронов и квантов излучения.

— А если здесь меньшая часть известного нам мира или мира вообще нам неизвестного? А вдруг это мир совсем новых для нас частиц, не имеющих аналогов в нашей физике?

Вопрошатель сдался, сраженный неожиданным предположением Виэры. Тут кто-то опять вспомнил обо мне.

— Не скажет ли нам кинооператор Анохин, как он относится к песенке, сопровождающей демонстрацию его фильма в Париже?

— Я не знаю этой песенки,— сказал я,— и еще не видел своего фильма в Париже.

— Но она уже облетела весь мир. В зале Плейо ее поет Ив Монтан. В Штатах — Пит Сигер. В Лондоне — битлзы. Может быть, вы слышали ее в Москве?

Я растерянно развел руками.

— Но ее же написал русский. Ксавье только оркестровал ее для джаза.— И говоривший довольно музыкально пропел по-французски знакомые мне слова: — «...Всадники ниоткуда строем своим прошли».

— Знаю! — закричал я.— Автор — мой друг, тоже участник нашей антарктической экспедиции, Анатолий Дьячук.

— Дичук? — переспросили в зале.

— Не Дичук, а Дьячук,— поправил я.— Поэт и ученый. И композитор...— Я поймал иронический взгляд Зернова, но даже ухом не повел: плевал я на иронические взгляды, я мировую известность Тольке создавал, бросал его имя на газетные полосы Европы и Америки и, не заботясь о музыкальности, затянул по-русски: — «Всадники ниоткуда... Что это, сон ли, миф? И в ожидании чуда... замер безмолвно мир...»

Я не успел продолжить в одиночестве: зал подхватил песню — кто по-французски, кто по-английски, а кто и совсем без слов, одну только мелодию. И когда все стихло,

долговязый Мак-Эду деликатно позвонил своим игрушечным колокольчиком.

— Я полагаю, конференция закончена, господа,— сказал он.

Глава XVIII

НОЧЬ ПРЕВРАЩЕНИЙ

После пресс-конференции мы разошлись по своим комнатам, условившись встретиться через час в том же ресторане за ужином. Я так устал на собрании, как не уставал даже в изнурительных антарктических походах. Только добрый сон мог бы прояснить мысль, вывести ее из состояния тупого безразличия к окружающему. Но он так и не пришел, этот спасительный сон, как ни приманивал я его, ворочаясь на кушетке с мягким шелковым валиком. В конце концов встал, сунул голову под кран с холодной водой и пошел в ресторан заканчивать этот перегруженный впечатлениями день. Но день не кончился, и впечатления еще стояли в очереди. Одно из них прошло мимолетно, не зацепив внимания, хотя в первый момент и показалось мне странным.

Я спускался по лестнице позади человека в коричневом костюме, сидевшем на нем, как военный мундир. Квадратные плечи, седые усы стрелочками и короткая стрижка еще более подчеркивали в нем военную косточку. Прямой, как линейка, он прошел, не глядя, мимо лысого француза-портье и вдруг, резко повернувшись, спросил:

— Этьен?

Мне показалось, что в чиновничьих холодных глазах портье мелькнул самый настоящий испуг.

— Что угодно, мосье? — с заученной готовностью спросил он.

Я задержал шаги.

— Узнал? — спросил, чуть-чуть улыбнувшись, усач.

— Узнал, мосье,— едва слышно повторил француз.

— То-то,— сказал усач.— Приятно, когда о тебе помнят.

И прошел в ресторан. Я, намеренно громыхая по скрипучим ступенькам, сошел с лестницы и с невинным видом спросил у портье:

— Вы не знаете этого господина, который только что прошел в ресторан?

— Нет, мосье,— ответил француз, скользнув по мне прежним равнодушным взором чиновника.— Турист из Западной Германии. Если хотите, могу справиться в регистрационной книге.

— Не надо,— сказал я и прошел дальше, тут же забыв о случившемся.

— Юри! — окликнул меня знакомый голос.

Я обернулся. Навстречу мне поднимался Дональд Мартин в нелепой замшевой куртке и пестрой ковбойке с открытым воротом.

Он сидел один за длинным столом и тянул прямо из бутылки темно-коричневую бурду, а обняв меня, задышал мне в лицо винным перегаром. Но пьян он не был: все тот же большой, шумный и решительный Мартин, встреча с которым как бы приблизила меня к пережитому вместе в ледяной пустыне.

Мы не долго обменивались воспоминаниями — стол уже начали накрывать к ужину. Подошли Зернов с Ириной; наш край сразу оживился и зашумел. Может быть, потому молодая дама с девочкой в очках села на противоположном краю, подальше от нас. Девочка положила рядом с прибором толстую книгу в радужном переплете с замысловатым рисунком. Напротив устроился добродушного вида провинциальный кюре — парижские не живут в отелях. Он посмотрел на девочку и сказал:

— Такая крошка — и уже в очках, ай-ай-ай!

— Очень много читает,— пожаловалась ее мать.

— А что ты читаешь? — спросил кюре.

— Сказки,— сказала девочка.

— И какая же тебе больше всего понравилась?

— О гаммельнском крысолове.

— Как можно давать такую сказку ребенку? — возмутился кюре.— А если у девочки развитое воображение? Если она увидит этот кошмар во сне?

— Пустяки,— равнодушно сказала дама.— Прочтет — забудет.

От кюре с девочкой отвлекла мое внимание Ирина.

— Поменяемся местами,— предложила она.— Пусть этот тип смотрит мне в затылок.

Я оглянулся и увидел человека с усами-стрелочками, знакомство с которым, и, должно быть, не очень приятное знакомство, скрыл от меня портье. Усач как-то уж очень пристально смотрел на Ирину.

— Тебе везет,— усмехнулся я.— Тоже старый знакомый?

— Такой же, как и лорд за конторкой. В первый раз вижу.

Тут к нам подсел журналист из Брюсселя — я видел его на пресс-конференции. Он уже неделю жил в отеле и со всеми раскланивался.

— Кто этот тип? — спросил я его, указывая на усача.

— Ланге,— поморщился бельгиец.— Герман Ланге из Западной Германии. Кажется, у него адвокатская контора в Дюссельдорфе. Малоприятная личность. А рядом, не за табльдотом, а за соседним столиком, обратите внимание на человека с дергающимся лицом и руками. Европейская знаменитость, итальянец Каррези, модный кинорежиссер и муж Виолетты Чекки. Ее здесь нет, она сейчас заканчивает съемки в Палермо. Говорят, он готовит для нее сенсационный боевик по собственному сценарию. Вариации на исторические темы: плащ и шпага. Кстати, его визави с черной повязкой на глазу тоже знаменитость, и в этом же духе: Гастон Монжюссо, первая шпага Франции...

Он еще долго перечислял нам присутствующих в зале, называя по именам и сообщая подробности, о которых мы тотчас же забывали. Только принесенный официантами ужин заставил его умолкнуть. Впрочем, неизвестно почему вдруг замолчали все. Странная тишина наступила в зале, слышалось только позвякивание ножей и посуды. Я взглянул на Ирину. Она ела тоже молча и как-то лениво, неохотно, полуприкрыв глаза.

— Что с тобой? — спросил я.

— Спать хочется,— сказала она, подавляя зевок,— и голова болит. Я не буду ждать сладкого.

Она поднялась и ушла. За ней встали и другие. Зернов помолчал и сказал, что он, пожалуй, тоже пойдет: надо

прочитать материалы к докладу. Ушел и бельгиец. Вскоре ресторан совсем опустел, только официанты бродили кругом, как сонные мухи.

— Почему такое повальное бегство? — спросил я у одного из них.

— Непонятная сонливость, мосье. А вы разве ничего не чувствуете? Говорят, атмосферное давление резко переменилось. Будет гроза, наверное.

И он прошел, сонно передвигая ноги.

— Ты не боишься грозы? — спросил я Мартина.

— На земле нет,— засмеялся он.

— Поглядим, что такое ночной Париж?

— А что со светом? — вдруг спросил он.

Свет действительно словно померк или, вернее, приобрел какой-то мутный красноватый оттенок.

— Непонятно.

— Красный туман в Сэнд-сити. Читал письмо?

— Думаешь, опять они? Чушь.

— А вдруг спикировали?

— Обязательно на Париж и обязательно на этот заштатный отель?

— Кто знает? — вздохнул Мартин.

— Пошли на улицу,— предложил я.

Когда мы проходили мимо конторки портье, я вдруг заметил, что она выглядела раньше как-то иначе. И все кругом словно переменилось: другие портье, абажур вместо люстры, зеркало, которого прежде не было. Я сказал об этом Мартину. Он равнодушно отмахнулся:

— Не помню. Не выдумывай.

Я взглянул на портье и еще более удивился: то был другой человек. Похожий, даже очень похожий, но не тот. Гораздо моложе, без проплешин на голове и в полосатом фартуке, которого раньше на нем я не видел. Может быть, прежнего портье сменил на дежурстве его сын?

— Идем, идем,— торопил Мартин.

— Куда вы, мосье? — остановил нас портье. В голосе его, как мне показалось, прозвучала тревога.

— А не все ли вам равно, портье? — ответил я по-английски: пусть проникается уважением.

Но он не проникся, сказал встревоженно:

— Комендантский час, мосье. Нельзя. Вы рискуете.

— Что он, с ума сошел? — толкнул я Мартина.

— Плюнь,— сказал тот.— Пошли.

И мы вышли на улицу.

Вышли и остановились, словно споткнувшись на месте. Мы даже схватили друг друга за руки, чтобы не упасть. Тьма окружала нас без теней и просветов, ровная и густая, как тушь.

— Что это? — хрипло спросил Мартин.— Париж без света?

— Не понимаю.

— Дома как скалы ночью. Ни огонька.

— Должно быть, вся сеть парализована.

— Даже свечей не видно. Нигде не мелькнет.

— Может, вернемся?

— Нет,— заупрямился Мартин,— я так быстро не сдаюсь. Поглядим.

— На что?

Не отвечая, он шагнул вперед; я за ним, держась за его карман. И остановился опять. Высоко-высоко в черноте неба, как в глубоком колодце, сверкнула звездочка. Рядом что-то блеснуло. Я попробовал поймать блеск и тронул стекло. Мы стояли у магазинной витрины. Не отрываясь от Мартина и таща его за собой, я ощупал всю ее целиком.

— Не было ее раньше,— сказал я, останавливаясь.

— Чего? — спросил Мартин.

— Этой витрины. И вообще магазина не было. Мы с Ириной шли здесь мимо чугунной ограды. А ее нет.

— Погоди.— Мартин почему-то насторожился. Не ограда и не витрина были у него на уме. Он прислушивался.

Впереди что-то громыхнуло несколько раз.

— Похоже на гром,— сказал я.

— Скорее, на автоматную очередь,— не согласился Мартин.

— Ты серьезно?

— Что я, автомата от грозы не отличу?

— Может, все-таки вернемся?

— Пройдем немножко. Вдруг встретим кого-нибудь? Куда весь народ в Париже исчез?

— И стреляют. В кого? Кто?

Словно в подтверждение моих слов, автомат впереди

затарахтел еще раз. Его перебил шум приближавшегося автомобиля. Два пучка света, пронзив темноту, лизнули брусчатку на мостовой. Я вздрогнул: почему брусчатку? Обе улицы, огибающие наш отель, еще несколько часов назад были залиты асфальтом.

Мартин вдруг толкнул меня в темноту позади и прижал к стене. Грузовик с людьми на платформе промчался мимо.

— Солдаты,— сказал Мартин,— в шинелях и касках с автоматами.

— Как ты разглядел? — удивился я.— Я ничего не заметил.

— Глаз натренированный.

— Знаешь что? — подумал я вслух.— По-моему, мы не в Париже. И отель не тот, и улица не та.

— Я же тебе говорил.

— Что?

— Красный туман. Помнишь? Не иначе как они спикировали.

В этот момент над нами кто-то открыл окно. Послышался скрип рамы и дребезжание плохо закрепленного стекла. Света не было. Но из темноты над головой раздался хриплый голос — типичный грассирующий голос француза-радиодиктора: вероятно, радиоприемник стоял на подоконнике.

«Внимание! Внимание! Слушайте сообщение комендатуры города. До сих пор два английских летчика, спустившиеся на парашютах со сбитого утром самолета, все еще находятся в пределах Сен-Дизье. Через четверть часа начинается обыск. Будут прочесаны квартал за кварталом, дом за домом. Все мужское население дома, где будут обнаружены вражеские парашютисты, будет расстреляно. Только своевременная выдача скрывающихся врагов приостановит начатую акцию».

Что-то щелкнуло в приемнике, и голос умолк.

— Ты понял? — спросил я Мартина.

— Чуть-чуть. Ищут каких-то летчиков.

— Английских.

— В Париже?

— Нет. В каком-то Сен-Дизье.

— Кого-то расстреливать собираются?

— Всех мужчин в доме, где будут обнаружены летчики.

— За что? Разве Франция уже воюет с Англией?

— Бред. Может, мы под гипнозом? Или спим? Ущипни-ка меня посильнее.

Мартин дал такого щипка, что я вскрикнул.

— Тише! Еще примут нас за английских летчиков.

— А что ты думаешь? — сказал я.— Ты почти англичанин. И летчик к тому же. Пошли-ка назад, пока близко.

Я шагнул в темноту и очутился в ярко освещенной комнате. Вернее, была освещена только часть ее, как выхваченный из темноты уголок съемочного интерьера: занавешенное окно, стол, покрытый цветной клеенкой, огромный пестрый попугай на жердочке в высокой проволочной клетке и старуха, протирающая кусочком ваты ее грязное днище.

— Ты понимаешь что-нибудь? — услышал я позади шепот Мартина.

— А ты?

Глава XIX

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР

Старуха подняла голову и посмотрела на нас. В ее желтом, пергаментном лице, седых буклях и строгой кастильской шали было что-то искусственное, почти неправдоподобное. Тем не менее она была человеком, и ее глаза-буравчики как бы ввинчивались в нас холодно и недобро. Живым был и попугай, тотчас же повернувшийся к нам своим раздувшимся клювом-крючком.

— Простите, мадам,— заговорил я на своем школьном французском,— мы попали к вам совершенно случайно. Дверь у вас, должно быть, открыта.

— Там нет двери,— сказала старуха.

Голос у нее был скрипучий, деревянный, как лестницы в нашем отеле.

— Как же мы вошли?

— Вы не француз,— проскрипела она, не ответив.

Я тоже не ответил, отступил в темноту и наткнулся на стену.

— Двери действительно нет,— сказал Мартин.

Старуха хихикнула.

— Вы говорите по-английски, как и Пегги.

— Ду ю спик инглиш?! Ду ю спик инглиш?! — закричал с жердочки попугай.

Мне стало не по себе. Страх не страх, но какая-то спазма перехватила горло. Кто же сошел с ума? Мы или город?

— У вас странно освещена комната,— опять заговорил я.— Не видно двери. Где она? Мы сейчас же уйдем, не бойтесь.

Старуха опять захихикала:

— Это вы боитесь, господа. Почему вы не хотите поговорить с Пегги? Поговорите с ним по-английски. Они боятся, Этьен, они боятся, что ты их выдашь.

Я оглянулся: комната стала как будто светлее и шире. Виднелся уже и другой край стола, за которым сидел наш парижский портье из отеля — не лысый лорд с измятым лицом, а его помолодевшая копия, встретившая нас с Мартином в странно изменившемся холле.

— Почему я их выдам, мама? — спросил он, даже не взглянув на нас.

— Тебе же нужно найти английских летчиков. Ты же хочешь их выдать. Хочешь и не можешь.

Помолодевший Этьен громко вздохнул:

— Не могу.

— Почему?

— Не знаю, где спрятаны.

— Узнай.

— Мне уже не доверяют, мама.

— Важно, чтоб доверял Ланге. Предъяви товар. Эти тоже говорят по-английски.

— Они из другого времени. И не англичане. Они приехали на конгресс.

— В Сен-Дизье не бывает конгрессов.

— Они в Париже, мама. В отеле «Омон». Много лет спустя. Я уже состарился.

— Сейчас тебе тридцать, и они здесь.

— Знаю.

— Так выдай их Ланге, пока не началась акция.

Не то чтобы я уже понимал все происходящее, но какая-то смутная догадка возникла в сознании. Только обдумать ее не хватало времени. Я уже знал, что события и люди, окружавшие нас, отнюдь не призрачны и что опасность, заключавшаяся в их словах и действиях, была самой реальной опасностью.

— О чем они говорят? — спросил Мартин.

Я объяснил.

— Какое-то повальное сумасшествие. Кому они хотят нас выдать?

— Я полагаю, гестапо.

— Ты тоже с ума сошел.

— Нет,— сказал я как можно спокойнее.— Пойми: мы сейчас в другом времени, в другом городе, в другой жизни. Как и зачем она смоделирована, не знаю. И как мы отсюда выберемся, тоже не знаю.

Пока мы говорили, Этьен и старуха молчали, как выключенные.

— Оборотни! — взорвался Мартин.— Выберемся. У меня уже есть опыт.

Он обошел сидящего у стола Этьена, схватил его за лацканы пиджака и встряхнул.

— Слушай, дьявольское отродье! Где выход? Не дам тебе измываться над живыми людьми!

— Где выход? — повторил вслед за Мартином попугай.— Где летчики?

Я вздрогнул. Мартин с яростью швырнул Этьена, как тряпичную куклу. Тот отлетел и пропал в стене. Там уже виднелось что-то вроде дверного проема, затянутого багровой дымкой.

Мартин ринулся сквозь нее, я за ним. Обстановка сменилась, как кинокадр: в затемнение из затемнения. Мы находились в гостиничном холле, из которого вместе с Мартином вышли на улицу. Этьен, с которым так не по-джентльменски обошелся Мартин, что-то писал за конторкой, не видя или умышленно не замечая нас.

— Чудеса,— вздохнул Мартин.

— Сколько их еще будет! — прибавил я.

— Это не наш отель.

— Я уже говорил это, когда мы выходили на улицу.

— Махнем опять?

— Попробуй.

Мартин рванулся к двери и остановился: дорогу преградили немецкие автоматчики, точь-в-точь такие же, каких я видел в фильмах на темы минувшей войны.

— Нам нужно выйти на улицу. На улицу,— повторил Мартин, показывая в темноту.

— Ферботен! — рявкнул немец.— Цурюк! — И ткнул Мартина в грудь автоматом.

Мартин отступил, вытирая вспотевший лоб. Ярость его еще не остыла.

— Сядем,— сказал я,— и поговорим. Благо в нас пока еще не стреляют. Бежать все равно некуда.

Мы сели за круглый стол, покрытый пыльной плюшевой скатертью. Это была старая-престарая гостиница, должно быть, еще старше нашего парижского «Омона». И она уже почти ничем не гордилась — ни древностью рода, ни преемственностью традиций. Пыль, хлам, старье да, пожалуй, страх, притаившийся в каждой вещи.

— Что же происходит все-таки? — устало спросил Мартин.

— Я тебе говорил. Другое время, другая жизнь.

— Не верю.

— В подлинность этой жизни? В реальность их автоматов? Да они в одно мгновение сделают из тебя решето.

— Другая жизнь,— повторил с накипающей злобой Мартин.— Любая их модель скопирована с оригинала. А эти откуда?

— Не знаю.

Из темноты, срезавшей часть освещенного холла, вышел Зернов. Я в первый момент подумал: не двойник ли? Но какая-то внутренняя убежденность подсказала мне, что это не так. Держался он спокойно, словно ничто не изменилось кругом, даже при виде нас не выразил удивления и тревоги. А ведь волновался, наверное, не мог не волноваться,— просто владел собой. Такой уж был человек.

— Кажется, Мартин,— сказал он, подойдя к нам и оглядываясь,— вы опять в городе оборотней. Да и мы с вами.

— А вы знаете, в каком городе? — спросил я.

— Полагаю, в Париже, а не в Москве.

— Не тут и не там. В Сен-Дизье, к юго-востоку от Парижа, насколько я помню карту. Провинциальный городок. На оккупированной территории.

— Кем оккупированной? Сейчас не война.

— Вы уверены?

— А вы, случайно, не бредите, Анохин?

Нет, Зернов был великолепен в своей невозмутимости.

— Я уже раз бредил, в Антарктиде,— колко заметил я.— Вместе бредили. Как вы думаете, какой сейчас год? Не у нас в «Омоне», а здесь, в этих Удольфских тайнах? — И, чтобы его не томить, тут же продолжил: — Когда, по-вашему, во Франции кричали «ферботен!» и немецкие автоматчики искали английских парашютистов?

Зернов все еще недоумевал, что-то прикидывал в уме.

— Я уже обратил внимание и на багровый туман, и на изменившуюся обстановку, когда шел к вам. Но ничего подобного, конечно, не предполагал.— Он оглянулся на автоматчиков, застывших на границе света и тьмы.

— Живые, между прочим,— усмехнулся я.— И автоматы у них настоящие. Подойдите поближе — вас ткнут дулом в грудь и рявкнут: «Цурюк!» Мартин уже это испытал.

В глазах Зернова блеснуло знакомое мне любопытство ученого.

— А как вы думаете, что на этот раз моделируется?

— Чье-то прошлое. Только нам от этого не легче. Кстати, откуда вы появились?

— Из своей комнаты. Меня заинтересовал красный оттенок света, я открыл дверь и очутился здесь.

— Приготовьтесь к худшему,— сказал я и увидел Ланге.

В полосе света возник тот же адвокат из Дюссельдорфа, о котором я спрашивал у сидевшего за табльдотом бельгийца. Тот же Герман Ланге с усами-стрелочками и короткой стрижкой — и все же не тот: словно выше, изящнее и моложе по меньшей мере на четверть века. Он был в черном мундире со свастикой, туго перетянутом в почти юношеской осиной талии, в фуражке с высоким

верхом и сапогах, начищенных до немыслимого, умопомрачительного блеска. Пожалуй, он был даже красив, если рассматривать красоту с позиции оперного режиссера, этот выхоленный нибелунг из гиммлеровской элиты.

— Этьен,— негромко позвал он,— ты говорил, что их двое. Я вижу трех.

Этьен с белым, словно припудренным, как у клоуна, лицом вскочил, вытянув руки по швам.

— Третий из другого времени, герр обер... герр гаупт... простите... герр штурмбаннфюрер.

Ланге поморщился.

— Ты можешь называть меня мосье Ланге. Я же разрешил. Кстати, откуда он, я тоже знаю, как и ты. Память будущего. Но сейчас он здесь, и это меня устраивает. Поздравляю, Этьен. А эти двое?

— Английские летчики, мосье Ланге.

— Он лжет,— сказал я, не вставая.— Я тоже русский. А мой товарищ — американец.

— Профессия? — спросил по-английски Ланге.

— Летчик,— по привычке вытянулся Мартин.

— Но не английский,— прибавил я.

Ланге ответил коротким смешком.

— Какая разница, Англия или Америка? Мы воюем с обеими.

На минуту я забыл об опасности, все время нам угрожавшей,— так мне захотелось осадить этот призрак прошлого. О том, поймет ли он меня, я и не думал. Я просто воскликнул:

— Война давно окончилась, господин Ланге. Мы все из другого времени, и вы тоже. Полчаса назад мы все вместе с вами ужинали в парижском отеле «Омон», и на вас был обыкновенный штатский костюм адвоката-туриста, а не этот блистательный мундир.

Ланге не обиделся. Наоборот, он даже рассмеялся, уходя в окутавшую его багровую дымку.

— Таким меня вспоминает наш добрый Этьен. Он чуточку идеализирует и меня, и себя. На самом деле все было не так.

Темно-красная дымка совсем закрыла его и вдруг растаяла. На это ушло не более полминуты. Но из тумана вышел другой Ланге, чуть пониже, грубее и кряжистее,

в начищенных сапогах и длинном темном плаще,— усталый солдафон, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. В руке он держал перчатки, словно собирался надеть их, но не надел, а, размахивая ими, подошел к конторке Этьена.

— Где же они, Этьен? Не знаешь по-прежнему?

— Мне уже не доверяют, мосье Ланге.

— Не пытайся меня обмануть. Ты слишком заметная фигура в местном Сопротивлении, чтобы тебя уже лишили доверия. Когда-нибудь, но не сейчас. Просто ты боишься своих подпольных друзей.

Он размахнулся и хлестнул перчатками по лицу портье. Раз! Еще раз! Этьен только мотал головой и ежился. Даже свитер его собрался на лопатках, как перышки у намокшего под дождем воробья.

— Меня ты будешь бояться больше, чем своих подпольных сообщников,— продолжал Ланге, натягивая перчатки и повышая голос.— Будешь, Этьен?

— Буду, мосье Ланге.

— Не позже завтрашнего дня сообщить мне, где они прячутся. Так?

— Так, мосье Ланге.

Гестаповец обернулся и снова предстал перед нами, преображенный страхом Этьена: нибелунг, а не человек.

— Этьен тогда не сдержал слова: ему действительно не доверяли,— сказал он.— Но как он старался, как хотел предать! Он предал даже самую дорогую ему женщину, в которую был безнадежно влюблен. И как жалел! Не о том, что предал ее, а о том, что не сумел предать тех двух ускользнувших. Ну что ж, Этьен, исправим прошлое. Есть возможность. Русского и американца я расстреляю как бежавших парашютистов, другого же русского просто повешу. А пока всех в гестапо! Патруль! — позвал он.

Мне показалось, что весь пыльный, полутемный холл наполнился автоматчиками. Меня окружили, скрутили руки и швырнули пинком в темноту. Падая, я ушиб ногу и долго не мог подняться, да и глаза ничего не видели, пока не привыкли к багровой темноте, почти не рассеиваемой светом крошечной тусклой лампочки. Мы все трое лежали на полу узенькой камеры или карцера без окон, но карцер двигался, нас даже подбрасывало и за-

носило на поворотах, из чего я заключил, что нас просто везли в тюремном автофургоне.

Первым поднялся и сел Мартин. Я согнул и разогнул ушибленную ногу: слава богу, ни перелома, ни вывиха. Зернов лежал, вытянувшись плашмя и положив голову на руки.

— Вы не ушиблись, Борис Аркадьевич?

— Пока без увечий,— ответил он лаконично.

— Как вы объясняете весь этот спектакль?

— Скорее, фильм,— усмехнулся он и опять замолчал, видимо не расположенный к разговору.

Но молчать я не мог.

— Моделируется чье-то прошлое,— повторил я.— Мы в этом прошлом случайно. Но откуда в этом прошлом приготовленный для нас тюремный фургон?

— Он мог стоять у подъезда. Возможно, привез автоматчиков,— сказал Зернов.

— Где же они?

— Наши конвоиры, вероятно, в кабине водителя. Остальные дожидаются в гостинице приказа Ланге. Они, возможно, были нужны ему и тогда: он ведь только слегка корректирует прошлое.

— Вы думаете, это его прошлое?

— А вы?

— Судя по нашим злоключениям до встречи с вами, это и прошлое Этьена. Они друг друга корректируют. Только не понимаю: зачем это нужно режиссерам?

— А обо мне вы забыли, ребята? — вмешался Мартин.— Я ведь по-русски не понимаю.

— Простите, Мартин,— тотчас же извинился Зернов, переходя на английский,— действительно забыли. А забывать, между прочим, не следовало не только из чувства товарищества. Нас и еще кое-что связывает. Вы знаете, о чем я все время думаю? — продолжал он, приподымаясь на локте над замызганным полом фургончика.— Случайно или не случайно все то, что с нами сейчас происходит? Я вспоминаю ваше письмо к Анохину, в частности вашу мысль о том, что мы меченые, как бы отмеченные, пришельцами. Оттого мы и допускаемся беспрепятственно в самые недра их творчества. А вот случайно это или не случайно? Почему был моделирован не любой рейсовый самолет на

линии Мельбурн — Джакарта — Бомбей, а именно наш «Ил», где были мы, «меченые»? Случайно или не случайно? Предположим, что «облака» заинтересовались на пути на север жизнью американского захолустья. Допускаю эту возможность. Но почему они останавливают свой выбор именно на городке, связанном с жизнью Мартина? И в то самое время, когда он рассчитывал там побывать? Случайно или не случайно? И почему из сотни дешевых парижских отелей был выбран для очередного их эксперимента именно наш «Омон»? Людей с примечательным прошлым можно было найти в любой парижской гостинице, в любом доме, наконец. Но моделируется прошлое людей, находящихся с нами под одной крышей. Почему? Опять напрашивается тот же вопрос: случайно это или не случайно? А может быть, заранее обдумано, намеренно, с определенным, пока еще скрытым от нас, но уже вполне допустимым расчетом?

Мне показалось, что Зернов помешался. Необъяснимость происходящего, реальность и призрачность этих перемещений во времени и пространстве, болезненный мир Кафки, ставший нашей действительностью, могли напугать кого угодно до липкого пота на дрожащих ладонях, до противной ватности во всем теле, но все же мне думалось, что никто из нас не утратил ни самообладания, ни привычной ясности мысли. Мы с Мартином только переглянулись в полутьме, но не сказали ни слова.

Зернов рассмеялся:

— Думаете, с ума сошел? А знаете парадокс Бора о безумии как о признаке истинности научной гипотезы? Но я не претендую на истинность, я только высказываю одно из возможных предположений. Не есть ли это тот самый контакт, о котором сейчас мечтают все интеллигентные представители человечества? Не пытаются ли «облака» через нас, именно через нас сказать людям о том, что они делают и зачем они это делают? Допуская нас к своим экспериментам, не обращаются ли они к нашему интеллекту, предполагая, что мы сумеем понять их смысл?

— Странный способ связи,— усомнился я.

— А если другого нет? Если наши виды связи им не известны? Или недоступны? Если они не могут прибегнуть ни к оптическому, ни к акустическому, ни к другому

приемлемому для нас способу передачи информации? И если им недоступна телепатия, неизвестен наш язык, азбука Морзе и другие наши сигнальные средства? А нам недоступны их виды связи. Что тогда?

Нас опять занесло на повороте и швырнуло к стенке. Мартин прижал меня, я — Зернова.

— Не пойму я вас,— озлился Мартин.— Они творят, они моделируют, связи ищут, а нас — кого к стенке, кого в петлю. Бред собачий.

— Они могут не знать. Первые опыты, первые ошибки.

— А вас это утешит на виселице?

— Я что-то не верю в нее,— сказал Зернов.

Я не успел ответить. Машину рвануло вверх, кузов раскололся. Яркая вспышка света, адский грохот, длившийся какую-то долю секунды, невесомость и темнота.

Глава XX

ДВОЙНИК ИРИНЫ

Веки с трудом разжались, будто склеенные, и тотчас же отозвалась в затылке пронзительная острая боль. Высоко-высоко надо мной мерцали огоньки, как светлячки летней ночью. Звезды? Небо? Я нашел ковш Большой Медведицы и понял, что я на улице. Медленно-медленно попробовал повернуть голову, и на каждое движение отвечала та же колющая боль в затылке. Но все же я различил неровную черноту домов на противоположной стороне улицы, мокрую от дождя мостовую — она чуть отсвечивала в темноте, и какие-то тени посреди улицы. Присмотревшись, я узнал в них остатки нашей разбитой машины. Темные бесформенные куски — не то асфальт, вздыбленный и расколотый, не то мешки с тряпьем валялись поодаль.

Я лежал у ствола едва различимого в темноте дерева, мог даже пощупать его старую морщинистую кору. Подтянувшись, я привалился к нему спиной. Стало легче дышать, и ослабла боль. Если не трясти головой, она уже

не чувствовалась. Значит, череп был цел. Я тронул волосы на затылке, понюхал пальцы: не кровь — нефть.

Преодолевая слабость, я встал, обнимая дерево, как любимую девушку, и долго так стоял, всматриваясь в безлюдную уличную темь. Потом, медленно переступая плохо держащими ногами, пошатываясь на каждом шагу, пошел к разбитой машине.

— Борис Аркадьевич! Мартин! — тихо позвал я.

Никто не отозвался. Наконец я подошел к чему-то бесформенному, распластавшемуся на мостовой. Вгляделся. То была половина тела в немецком солдатском мундире, без ног и без лица,— все, что осталось от первого или второго нашего конвоира. Еще два шага — и я нашел труп. Обеими руками он прижимал к груди автомат, ноги в коротких сапогах были раскинуты, как у картонного паяца на ниточке, а головы не было. От нашей машины осталась груда вздыбленных ввысь обломков, похожих в темноте на измятый гигантский газетный лист. Я обошел ее кругом и у обочины соседнего тротуара нашел Мартина.

Я сразу узнал его по короткой замшевой курточке и узким брюкам — таких брюк никто из немецких солдат не носил. Я приложил ухо к его груди — она ритмично подымалась: Мартин дышал.

— Дон! — позвал я.

Он вздрогнул и прошептал:

— Кто?

— Ты жив, дружище?

— Юри?

— Я. Можешь приподняться?

Он кивнул. Я помог ему сесть на обочину и сел рядом. Он тяжело дышал и, видимо, еще не привык к темноте: глаза моргали. Так мы просидели молча минуты две-три, пока он не спросил:

— Где мы? Я что-то ничего не различаю. Может, ослеп?

— Посмотри на небо. Звезды видишь?

— Вижу.

— Кости целы?

— Как будто. А что случилось?

— Должно быть, бросили бомбу в машину. Где Зернов?

— Не знаю.

Я встал и снова обошел остатки разбитой машины, пристально вглядываясь в трупы конвоиров. Зернова не было.

— Плохо,— сказал я, вернувшись.— Никаких следов.

— Ты кого-то разглядывал?

— Трупы охранников. У одного голову оторвало, у другого — ноги.

— Мы в кузове были — и живы. Значит, и он жив. Ушел, должно быть.

— Без нас? Чушь.

— Может быть, вернулся?

— Куда?

— В настоящую жизнь. С этой ведьмовской свадьбы. Вдруг ему повезло? А вдруг и нам повезет?

Я тихо свистнул.

— Выберемся,— сказал Мартин.— Поверь моему слову: выберемся.

— Тише! Слышишь?

Массивная дверь за нами протяжно скрипнула и открылась. Вырвавшийся сноп света тотчас же срезала тяжелая дверная портьера. Стало опять темно, но в погасшей вспышке мне показалась фигура женщины в вечернем платье. Сейчас виднелась лишь ее неясная тень. Из-за портьеры за дверью откуда-то издалека глухо доносилась музыка: популярный немецкий вальс.

Женщина, все еще неразличимая в темноте, сошла по ступенькам подъезда. Теперь ее отделяла от нас только ширина узкого тротуара. Мы продолжали сидеть.

— Что с вами? — спросила она.— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного,— ответил я,— только разорвало нашу машину.

— Вашу? — удивилась она.

— Ту, в которой мы ехали или нас везли, если быть точным.

— Кто ехал с вами?

— Кто мог ехать, по-вашему? — Меня уже раздражал этот допрос.— Конвоиры, разумеется.

— Только?

— Хотите собрать их по частям?

— Не сердитесь. Должен был ехать начальник гестапо.

— Кто? Ланге? — удивился я.— Он остался в гостинице.

— Так и должно было случиться,— сказала она задумчиво.— Так и тогда было. Только они подорвали пустую машину. А вы откуда? Неужели и вас придумал Этьен?

— Нас никто не придумал, мадам,— оборвал я ее.— Мы здесь случайно и не по своей воле. Вы меня извините, я плохо говорю по-французски. Трудно объясняться. Может быть, вы знаете английский?

— Английский? — удивилась она.— Но каким образом...

— Этого я не смогу объяснить даже по-английски. К тому же я не англичанин.

— Алла, мэм,— перебил Мартин,— зато я из Штатов. Знаете песенку: «Янки дудль был в аду... Говорит: «Прохлада!» Уверяю вас, мэм, в этом аду жарче.

Она рассмеялась:

— Что же мне делать с вами?

— Я бы промочил горло,— сказал Мартин.

— Идите за мной. В раздевалке никого нет, а швейцара я отпустила. Вам везет, мосье.

Мы прошли за ней в слабо освещенную раздевалку. Мне бросились в глаза немецкие военные плащи на вешалке и офицерские фуражки с высокими тульями. Сбоку находилась крохотная комната-чуланчик без окон, оклеенная страницами из киножурналов. Вмещала она только два стула и стол с толстой регистрационной книгой.

— У вас отель или ресторан? — спросил Мартин у женщины.

— Офицерское казино.

Я впервые взглянул ей в лицо и обмер. Даже не обмер, а онемел, остолбенел, превратился в подобие жены Лота. Она тотчас же насторожилась.

— Вы чему удивляетесь? Разве вы меня знаете?

Тут и Мартин сказал нечто. По-русски это прозвучало бы так:

— Ну и ну... совсем интересно.

А я все молчал.

— Что все это значит, мосье? — удивленно спросила женщина.

— Ирина,— сказал я по-русски,— ничего не понимаю. Почему Ирина здесь, в чужих снах, в платье сороковых годов?

— Боже мой, русский! — воскликнула она тоже по-русски.

— Как ты здесь очутилась?

— Ирэн — моя подпольная кличка. Откуда вы ее знаете?

— Я не знаю никакой подпольной клички. Я не знаю, что у тебя она есть. Я знаю только то, что час назад мы с тобой ужинали в отеле «Омон» в Париже.

— Тут какое-то недоразумение,— сказала она отчужденно и холодно.

Я вскипел:

— Меня не узнала. Протри глаза.

— А кто вы такой?

Я не замечал ни этого «вы», ни платья сороковых годов, ни обстановки, воскрешенной чужими воспоминаниями.

— Кто-то из нас сошел с ума. Мы же с тобой приехали из Москвы. Неужели ты и это забыла? — Я уже начал заикаться.

— Когда приехали?

— Вчера.

— В каком году?

Тут я просто замер с открытым ртом. Что я мог ей ответить, если она смогла это спросить?

— Не удивляйся, Юри,— шепнул мне сзади Мартин: он ничего не понял, но догадался о причине моей взволнованности.— Это не она. Это оборотень.

Она все еще смотрела отчужденно то на меня, то на Мартина.

— Память будущего,— загадочно произнесла она.— Наверно, он думал об этом когда-нибудь. Может быть, даже встретил вас и ее. Похожа на меня? И зовут Ирина? Странно.

— Почему? — не выдержал я.

— У меня была дочь Ирина. В сороковом ей было

около года. Ее увез в Москву Осовец. Еще до падения Парижа.

— Какой Осовец? Академик?

— Нет, просто ученый. Работал с Полем Ланжевеном.

Какая-то искорка вдруг прорезала тьму. Так иногда, ломая голову над, казалось, неразрешимой проблемой, вдруг видишь еще смутный, неопределенный, но уже гипнотизирующий тебя проблеск решения.

— А вы и ваш муж?

— Муж уехал с посольством в Виши. Поехал позже, уже один. Остановился у какой-то придорожной фермы — вода в радиаторе вскипела или просто пить захотелось, не знаю. А дороги уже бомбили. Ну, и все. Прямое попадание...— Она грустно улыбнулась, но все-таки улыбнулась: видимо, уже привыкла.— Я потому так держусь, что меня именно такой воображает Этьен. На самом деле мне все это горше досталось.

Все совпадало. Осовец тогда еще не был академиком, но уже работал с Ланжевеном — об этом я знал. Очевидно, он и воспитал Ирину. От него она узнала и о матери. И о сходстве, наверно. Только при чем здесь портье из отеля?

Я не удержался и спросил об этом. Она невесело рассмеялась:

— А я ведь его воображение. Он, наверное, думает сейчас обо мне. Был влюблен в меня без памяти. И все же предал.

Я вспомнил слова Ланге: «Он предал даже самую дорогую для него женщину, в которую был безнадежно влюблен». Он так хотел предать! Значит, это было до нашей встречи с гестаповцами. Значит, у времени в этой жизни совсем другая система отсчета. Оно перемешано, как карты в колоде.

— Может, вы проголодались? — вдруг спросила она совсем по-человечески.

— Я бы выпил чего-нибудь,— сказал Мартин, догадавшись, о чем идет речь.

Она кивнула, чуть зажмурив глаза, совсем как Ирина, и улыбнулась. Даже улыбки у них были похожи.

— Подождите меня, никто сюда не придет. Ну, а

если... Оружия у вас нет, конечно.— Она сдвинула какую-то планку под брюхом стола и достала ручную гранату и небольшой плоский «браунинг».— Не игрушка, не смейтесь. Отличный и точный бой. Особенно на близком расстоянии.

И ушла. Я взял «браунинг», Мартин — гранату.

— Это мать Ирины,— сказал я.

— Час от часу не легче. Откуда она взялась?

— Говорит, Этьен ее выдумал. Была с ним в Сопротивлении во время войны.

— Еще один оборотень,— сказал Мартин и сплюнул.— Всех бы их этой гранатой.— Он хлопнул себя по карману.

— Не горячись. Их же людьми сделали. Люди, а не куклы. Сэнд-сити не повторяется.

— «Люди»! — зло передразнил Мартин.— Они знают, что повторяют чью-то жизнь, даже будущее знают... тех, чью жизнь повторяют. Ты «Дракулу» видел? Фильм есть такой о вампирах. Днем мертвые, ночью живые. От зари до зари. Вот тебе и люди. Боюсь, что после такой ночки смирительную рубашку наденут. Если, конечно, здесь не пристукнут. Интересно, что тогда скажут газетчики? Убиты из прошлого гостями господина Ланге. Призраки с автоматами. Или как?..

— Не гуди,— оборвал я его,— а то услышат. Пока все еще не так плохо. У нас уже оружие есть. Поживем — увидим, как говорят по-русски.

Вошла Ирина. Я не узнал ее имени и мысленно по-прежнему называл Ириной.

— Пойдемте в бар,— сказала она.— Бармен предупрежден. Только пусть американец молчит, а на все вопросы отвечает по-французски: «Болит горло — говорить не могу». Вас как зовут?

— Мартин.

— Повторите, Мартин: «Болит горло — говорить не могу».

Мартин повторил несколько раз. Она поправила:

— Вот так. Сейчас сойдет. Полчаса верных вам ничто не грозит. Через полчаса появится Ланге с минером и автоматчиками. Из бара ведет внутренняя лестница в верхнюю комнату, где играет в бридж генерал Бер. Под

столом у него мина с часовым механизмом: через сорок пять минут здание взлетит на воздух.

— Мать честная! — воскликнул я по-русски.— Тогда надо тикать.

— Не взлетит,— грустно улыбнулась она.— Этьен обо всем доложит Ланге. Меня схватят наверху у Бера, минер обезвредит мину, а Ланге получит штурмбаннфюрера. Вы подождете минуты две после его прихода и спокойно уйдете.

Я открыл рот и опять закрыл. Такой разговор мог происходить только в психиатрической клинике. Но она еще продолжила:

— Не удивляйтесь. Этьен не был при этом, но Ланге все помнит. Он облазил все углы и допросил всех гостей. У него отличная память. Все было именно так, как вы увидите.

Мы пошли за ней молча, стараясь не смотреть друг на друга и ничего не осмысливать. Смысла во всем этом не было.

Глава XXI

МЫ ИЗМЕНЯЕМ ПРОШЛОЕ

В первой комнате играли в карты. Здесь пахло пеплом и табаком и стоял такой дым, что, даже всматриваясь, нельзя было ничего рассмотреть. Дым то густел, то рассеивался, но даже в просветах все казалось странно изменчивым, теряло форму, текло, сжималось, словно очертания этого мира не подчинялись законам Евклидовой геометрии. То вытягивалась длинная, как лыжа, рука с картами промеж пальцев и хриплые голоса перекликались: «Пять и еще пять... пас... откроем...», то ее срезал поднос с балансирующей коньячной бутылкой и на растянутой этикетке, как в телевизоре, вдруг проступало чье-то лицо с подстриженными усами, то лицо превращалось в плакат с кричащими буквами: «ФЕРБОТЕН... ФЕРБОТЕН... ФЕРБОТЕН», то на плакат наплывали серые головы без лиц и чей-то голос повторял в дыму: «Тридцать минут... тридцать минут».

Шелестели карты, как листья на ветру. Тускнел свет. Дым ел глаза.

— Ирина! — позвал я.

Она обернулась.

— Я не Ирина.

— Все равно. Что это? Комната смеха?

— Не понимаю.

— Помнишь комнату смеха в московском парке культуры? Искажающие зеркала?

— Нет,— улыбнулась она.— Просто точно никто не помнит обстановку. Детали. Этьен пытается представить себе. У Ланге просто мелькают бессвязные видения, он не раздумывает о деталях.

Я опять ничего не понял. Вернее, понял что-то не до конца.

— Как во сне,— недоумевал Мартин.

— Работают ячейки памяти двух человек.— Я пытался все же найти объяснение.— Представления материализуются, сталкиваются, подавляя друг друга.

— Муть,— сказал он.

Мы вошли в бар. Он находился за аркой, отделенной от зала висячей бамбуковой занавеской. Немецкие офицеры мрачно пили у стойки. Стульев не было. На длинном диване у стены целовались парочки. Я подумал, что Ланге, должно быть, хорошо запомнилась эта картина. Но никто из ее персонажей даже не взглянул на нас. Ирина что-то шепнула бармену и скрылась в проеме стены, откуда вела каменная лестница вверх. Бармен молча поставил перед нами два бокала с коньяком и отошел. Мартин попробовал.

— Настоящий,— сказал он и облизнулся.

— Тссс...— прошипел я,— ты не американец, а француз.

— Болит горло — не могу говорить,— тотчас же повторил он заученную фразу и лукаво подмигнул.

Впрочем, к нам никто не прислушивался. Я взглянул на часы: до появления Ланге оставалось пятнадцать минут. У меня вдруг мелькнула идея: если Ланге, скажем, не дойдет до верхней комнаты, а минер не обезвредит мину, то генерал Бер и его камарилья в положенное время аккуратно взлетят по частям в ближайшее воздушное

пространство. Интересно! Ланге прибудет с автоматчиками и минером. Минер, наверное, без оружия, автоматчика они оставят в проеме стены у лестницы. Есть шанс.

Я шепотом изложил свои соображения Мартину. Он кивнул. Риск вмешательства офицеров из бара был невелик — они еле держались на ногах. Некоторые уже храпели на диване. Целующиеся парочки куда-то исчезли. Словом, обстановка складывалась благоприятно.

Еще минут десять прошло. Еще минута, две, три. Оставались считанные секунды. Тут и появился Ланге — не тот Ланге, с которым мы уже познакомились, а Ланге из предшествовавшего времени, еще не штурмбаннфюрер. Если он вспоминал этот эпизод, то мы в нем не участвовали и нам, следовательно, ничто не грозило. Действия его были запрограммированы памятью: скорее добраться до мины и предотвратить катастрофу. Он шел в сопровождении немолодого солдата в очках и мальчишки-гестаповца с автоматом. Шел быстро, не задерживаясь, оглядел колючим взглядом дремлющих за коньяком офицеров и поспешил с минером наверх — они очень торопились. Автоматчик, как мы и предполагали, стал внизу у лестницы. В ту же секунду Мартин шагнул к нему и, не размахиваясь, прямым ударом в переносицу сшиб его с ног. Тот даже не успел уронить автомат: Мартин подхватил его на лету. А я с «браунингом» в руке уже бежал по лестнице вверх навстречу оглянувшемуся Ланге.

— Ложись, Юри! — крикнул сзади Мартин.

Я плюхнулся на ступеньки, автоматная очередь прошла надо мной и срезала обоих — и Ланге, и минера. Все это произошло в какие-то доли секунды. Из бара даже никто не выглянул.

Зато выглянула сверху «Ирина». Еще несколько секунд прошло, пока она медленно, не задавая никаких вопросов, сошла вниз мимо скорчившихся на лестнице мертвых эсэсовцев.

— Кто-нибудь слышал выстрелы? — спросил я, вопросительно указывая наверх.

— Кроме меня, никто. Они так увлечены игрой, что даже взрыва не услышат.— Она вздрогнула и закрыла лицо рукой.— Боже мой! Мину же не обезвредили.

— Ну и чудесно,— сказал я.— Пусть летит все к черту в пекло. Бежим.

Она все еще не понимала.

— Но ведь этого же тогда не было.

— Так сейчас будет.— Я схватил ее за руку.— Есть другой выход?

— Есть.

— Тогда веди.

Двигаясь как сомнамбула, она вывела нас на темную улицу. С охранником у выхода Мартин расправился тем же приемом.

— Четвертый,— посчитал он,— даже граната не понадобилась.

— Пятый,— поправил я.— Счет в Антарктиде начал.

— Придется теперь им и рай моделировать.

Мы обменивались репликами на бегу. Бежали посреди мостовой неизвестно куда, в темноту. Наконец за нами что-то ухнуло, и сноп огненных искр выстрелил в небо. На мгновение сверкнули передо мной огромные-огромные глаза «Ирины». Тут только я заметил, что эта «Ирина» не носила очков.

Где-то завыла сирена. Затарахтел автомобильный мотор. Потом другой. Пламя пожара мало-помалу высветляло улицу.

— Как же так? — вдруг спросила «Ирина».— Значит, я живу? Значит, это совсем другая жизнь? Не та?

— Теперь она развивается самостоятельно по законам своего времени, мы ее повернули,— сказал я и злорадно добавил: — И теперь ты можешь сполна рассчитаться с Этьеном.

Сирена все еще натужно выла. Где-то совсем близко громыхали грузовики. Я оглянулся. Мартина не было.

— Дон! — позвал я.— Мартин!

Никто не откликнулся. Мы толкнулись в калитку церковного дворика, она оказалась незапертой. За ней притаилась еще не высветленная пожаром темнота.

— Сюда! — шепнула «Ирина», схватив меня за руку.

Я шагнул за ней в темноту, и темнота вдруг начала таять, стекая вниз по открывшейся впереди лестнице. На ее верхней ступеньке кто-то сидел.

Глава XXII

НА ОСТРОВКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Я взглянул и узнал Зернова.

— Борис Аркадьевич, это вы?

Он обернулся.

— Анохин? Откуда?

Я вспомнил песенку Мартина:

— «Янки дудль был в аду... Говорит: «Прохлада!» Кстати, нет его поблизости?

— Нет,— сказал Зернов.— Я один.

— А где мы?

Он засмеялся.

— Не узнали интерьерчик? В отеле «Омон», на втором этаже. Я очутился здесь, когда нас выбросило из машины. Кстати, что там произошло?

— Кто-то бросил бомбу под колеса.

— Везет,— сказал Зернов.— Не зря я сомневался в прочности гестаповской виселицы. Но, честно говоря, испытывать судьбу больше не хочется. Вот я и сижу здесь с той самой минуты, боюсь двинуться: все-таки островок безопасности. И знакомая обстановка кругом, и никаких призраков. Поэтому садитесь и рассказывайте.— Он подвинулся, освобождая мне место.

Однако мой рассказ при всей неожиданности переполнявших его событий большого впечатления на Зернова не произвел. Он молча выслушал и ни о чем не спросил. Спросил я:

— Вы видели картину Феллини «Джульетта и призраки»?

И вопросу Зернов не удивился, хотя вопрос предлагал некое утверждение, может быть, спор. Но Зернов и тут не высказался, ожидая продолжения. Пришлось продолжить:

— По-моему, у них общее с Феллини видение мира. Сюрреалистический кошмар. Все обращено внутрь, вся действительность только проекция чьей-то мысли, чьей-то памяти. Если бы вы видели это казино в Сен-Дизье! Все размыто, раздроблено, деформировано. Детали выписаны, а пропорции искажены. Помните, как в действительный

мир у Феллини вторгся бессвязный мир подсознательного? Я ищу логику и не нахожу.

— Чепуха,— перебил Зернов.— Вы просто не привыкли анализировать и не сумели связать увиденного. Пример с Феллини неуместен. При чем здесь кино и вообще искусство? Они моделируют память не из эстетических побуждений. И вероятно, сам господь бог не смог бы создать модели более точной.

— Модели чего? — насторожился я.

— Я имею в виду психическую жизнь некоторых постояльцев «Омона».

— Каких постояльцев? Их сто человек. А нас швырнули в навозную жижу гестаповца и портье. Почему именно их двух? Два эталона подлости или просто две случайные капли человеческой памяти? И что именно моделируется? Упоение прошлым или угрызения совести? Да и какая может быть совесть у гестаповца и предателя? И почему нам позволили сунуть нос в чужие воспоминания? А зачем связали Ирину с матерью и почему эта связь оказалась односторонней? Моделируется жизнь, подсказанная чьей-то памятью, а нам позволяют изменить эту жизнь. Какая же это модель, если она не повторяет моделирующего объекта? Мать Ирины остается в живых, Ланге прошит автоматной очередью, а Этьена, вероятно, прикончат его же товарищи. Зачем? Во имя высшей справедливости, достигнутой с нашей помощью? Сомневаюсь. Это уже не модель, а сотворение мира. И что в этой модели настоящее и что камуфляж? Настоящие автоматы и пули и сверхпроводимые стены в домах, живые люди и сюрреалистические призраки в казино. Может, единственная реальность в этой модели только я, где-то стоящий, а все остальное мираж, проекция снов и памяти? Чьей? Какая связь между ней и памятью Ланге? Зачем связывать несвязуемое? Почему для контакта с нами нужно склеивать прошлое и настоящее, причем чужое прошлое, а потом его изменять? Миллион «почему» и «зачем» — и ни грамма логики.

Я выпалил все это сразу и замолчал. Розовый туман клубился над нами, сгущаясь и багровея внизу, у лестницы. В полутора метрах уже ничего не было видно; я насчитал всего только шесть ступеней, седьмая тонула

в красном дыму. Мне показалось, что он отступает, обнажая щербатые ступени лестницы.

— Все еще клубится,— сказал Зернов, перехватив мой взгляд.— Посидим, пока не трогают. А на ваши «почему» есть «потому». Сами ответите, если подумаете. Во-первых, что моделируется? Не только память. Психика. Мысли, желания, воспоминания, сны. А мысль не всегда логична, ассоциации не всегда понятны, и воспоминания возникают не в хронологической последовательности. И не удивляйтесь дробности или хаотичности увиденного — это не фильм. Жизнь, воскрешенная памятью, и не может быть иной. Попробуйте вспомнить какой-нибудь особенно памятный вам день из прошлого. Только последовательно, с утра до вечера. Ничего не выйдет. Как ни напрягайте память, именно стройности и последовательности не получится. Что-то забудете, что-то пропустите, что-то вспомнится ярко, что-то смутно, что-то ускользнет, совсем уже зыбкое и неопределенное, и вы будете мучиться, пытаясь поймать это ускользающее воспоминание. Но все-таки это жизнь. Пусть смутная и алогичная, но действительная, не придуманная. А есть и ложная.

Я не понял.

— Ложная? Почему ложная?

— Воображаемая,— пояснил он.— Та, которую вы создаете только силой своей прихоти, мечты или просто предположения. Скажем, вспоминаете прочитанное, увиденное в кино, воображая себя героем, представляя эту сочиненную кем-то жизнь как реальную действительность, или сами сочиняете, фантазируете — словом, придумываете. И хорошо, что мы с вами пока еще не познакомились с такой, с позволения сказать, жизнью... Пока...— задумчиво повторил он.— Встреча не исключена. Нет, не исключена! Видите, еще клубится...

Красная муть все еще струилась по лестнице. Я вздохнул.

— Что-то уж очень долго сегодня. И тишина какая — только прислушайтесь: ни скрипа, ни шороха.

Зернов не ответил. Прошло несколько секунд, прежде чем он высказал тревожившую его мысль:

— А ведь любопытно: каждый раз нам предоставляют

свободу действий, не вмешиваясь и не контролируя. Только чтобы мы поняли.

— Мы с Мартином так ничего и не поняли,— сказал я.— До сих пор не понимаю, почему нам позволили изменить модель?

— А вы не учитываете такой стимул, как экспериментаторство? Они изучают, пробуют, комбинируют. Дается экспозиция чьей-то памяти, картина прошлого. Прошлое как бы становится настоящим, формируя будущее. Ну, а если в настоящее внести новый фактор? Будущее неизбежно изменится. Мы — это и есть новый фактор, основа эксперимента. С нашей помощью они получат две экспозиции одной и той же картины и могут сравнить. Вы думаете, им все понятно в наших поступках? Наверное, нет. Вот они и ставят опыт за опытом.

— А у нас чубы трещат,— сказал я.

Мне показалось, что стало светлее.

Зернов тоже это заметил.

— Сколько ступенек видите? — спросил он.

— Десять,— посчитал я.

— А было шесть, сам считал. Остальное — красная каша. Надоел мне этот «островок безопасности». Спина болит. Может, рискнем... ко мне в номер? Отдохнем, по крайней мере, по-человечески.

— Мой выше этажом.

— А мой рядом.— Зернов указал на ближайшую дверь, еще тонувшую в красном дыму.— Рискнули?

Нырнув в струящееся красное облако, мы осторожно приблизились к двери. Зернов открыл ее, и мы вошли.

Глава XXIII

ПОЕДИНОК

Но комнаты не было. Ни потолка, ни стен, ни паркета. Вместо него открывалась широкая дорога, серая от пыли. И все кругом было серым — придорожные кусты, лес за кустами, уродливый, гротескный, как на рисунках Гу-

става Дорэ, и небо над лесом, по которому ползли грязные, лохматые облака.

— Вот и рискнули,— сказал Зернов, оглядываясь.— Куда же это мы попали?

Справа дорога сбегала к реке, закрытой пригорком, слева поворачивала за широченным дубом — должно быть, в четыре обхвата — и тоже серым, словно припудренным мелкой графитной пылью. Оттуда доносились звуки пастушьей или, скорее, детской дудочки, потому что уж очень примитивной и однообразной была проигрываемая ею мелодия с назойливо-тоскливым рефреном.

Мы перешли на другую сторону дороги и увидели странную до неправдоподобия процессию. Шло несколько десятков ребят, как у нас говорят, младшего школьного возраста, в одних рубашках до колен или в штанишках, в каких-то нелепых кацавейках и колпачках с кисточками. Впереди шел лохматый человек в такой же нелепой курточке и коротких штанах. На длинные шерстяные чулки были надеты грубые башмаки с жестяными пряжками. Он-то и выдувал на своей дудке гипнотизирующую ребят песенку. Именно гипнотизирующую: дети двигались как сонные, молча, не глядя по сторонам. А вожак играл и шагал тяжелым солдатским шагом, подымая слежавшуюся серую пыль.

— Эй! — крикнул я, когда эта непонятная процессия поравнялась с нами.

— Оставьте,— сказал Зернов.— Это сказка.

— Какая сказка?

— Гаммельский крысолов. Разве не узнаете?

Вдали в проеме искривленного леса подымались скученные готические кровли средневекового города. А дети шли и шли мимо за гипнотизирующей дудочкой крысолова.

Я хотел было схватить крайнего, босого, в рваных штанишках, но споткнулся обо что-то и грохнулся на дорогу. Никто даже не обернулся.

— Странная пыль,— сказал я, отряхиваясь,— не оставляет следов.

— А может, и вообще нет никакой пыли? И дороги нет? — Зернов усмехнулся и прибавил: — Ложная жизнь, помните?

Долго мучившая меня мысль принесла наконец разгадку.

— А знаете, почему все кругом так серо? Штриховая иллюстрация к сказке, карандашом или пером. Штрих и размывка — и никаких красок. Иллюстрация из детской книжки.

— Мы даже знаем, из какой. Помните девочку и кюре за табльдотом?

Я не ответил: что-то мгновенно изменилось вокруг. Дудочка смолкла. Ее сменил далекий стук копыт по дороге. Кусты закрыл знакомый красный туман. Впрочем, он тут же рассеялся, а кусты вытянулись и зазеленели. Лес исчез, а дорога оборвалась крутым каменистым откосом, за которым полого легли виноградники. Еще ниже, как в Крыму, засинело море. Все вокруг обрело свои краски: в облачных просветах голубизна неба, рыжие пятна глины между камнями, желтизна пожухлой от солнца травы. Даже пыль на дороге стала похожей на пудру от загара.

— Кто-то скачет,— сказал Зернов.— Спектакль еще не кончился.

Из-за поворота дороги показались три всадника. Они мчались цепочкой, а за последним скакали еще две оседланные лошади. Возле нас кавалькада остановилась. Все трое были в разных кирасах и одинаковых черных камзолах с медными пуговицами. Ботфорты их, порыжевшие от долгой носки, были залеплены серой грязью.

— Кто такие? — спросил на ломаном французском всадник постарше.

От его черных усов расползалась по лицу не бритая, должно быть, неделю щетина. В своей музейной кирасе со шпагой без ножен, заткнутой за пояс, он казался выходцем из какого-то исторического романа.

«Какой век? — мысленно спросил я.— Тридцатилетняя война или позже? Солдаты Валленштейна или Карла Двенадцатого? Или швейцарские рейтары во Франции? И в какой Франции? До Ришелье или после?»

— Паписты? — спросил всадник.

Зернов засмеялся: очень уж нелепым выглядел этот маскарад в наши дни.

— У нас нет вероисповедания,— ответил он на хоро-

шем французском,— мы даже не христиане. Мы безбожники.

— О чем он, капитан? — спросил всадник помоложе. Он говорил по-немецки.

— Сам не пойму,— перешел на немецкий его начальник.— И одеты чудно, словно комедианты на ярмарке.

— А вдруг ошибка, капитан? Может, не те?

— А где мы будем искать тех? Пусть Бонвиль сам разбирается. Поедем с нами,— прибавил он по-французски.

— Я не умею,— сказал Зернов.

— Что?

— Ездить верхом.

Всадник захохотал и что-то сказал по-немецки. Теперь хохотали уже все трое: «Не умеет! Лекарь, наверное».

— Посадите его в середину. Поедете по бокам — нога в ногу. И следите, чтобы не свалился. А ты? — повернулся ко мне черноусый.

— А я вообще не собираюсь ехать,— сказал я.

— Юрий, не спорьте! — крикнул по-русски Зернов; он уже сидел верхом, держась за луку седла.— Соглашайтесь на все и оттягивайте время.

— По-каковски говорит? — угрожающе спросил черноусый.— По-цыгански?

— По-латыни,— озлился я.— Доминус вобискум. Поехали!

И вскочил в седло. Оно было не английское, нынешнее, а старинное, незнакомой мне формы, с медными бляхами по углам. Но это меня не смутило: ездить верхом я научился еще в спортивном кружке нашего института, где нас понемногу учили всему, что входит в программу современного пятиборья. Когда-то во время оно какой-то храбрец взялся доставить срочный пакет. Он преодолел все препятствия, возникшие на его пути: скакал, бежал, переплывал бурный поток, стрелял, дрался на шпагах. Не все мы в кружке оказались такими храбрецами, но кое-чему я все-таки выучился. Плохо только брал препятствия в скачке. «Попадется по пути забор или ров — ни за что не возьму»,— с опаской подумал я. Но раздумывать было некогда. Черноусый хлестнул мою лошадь, и мы вырвались вперед, обгоняя Зернова с его боковыми телохра-

нителями. Лицо его было белее бумаги: еще бы, первый раз сесть в седло, да еще в такой бешеной скачке!

Мы мчались молча, рядом — черноусый, ни на шаг не отпуская меня. Я слышал стук копыт моего коня, его тяжелое дыхание, ощущал тепло его руки, упругое сопротивление стремян. Нет, то была не иллюзия, не обман зрения, а реальная жизнь, чужая жизнь, в другом пространстве и времени, всосавшая нас, как всасывает свои жертвы болото. Близость моря, теплая влажность воздуха, каменистый серпантин дороги, виноградники на склонах, незнакомые деревья с крупными, широкими листьями, блестевшими на солнце, как лакированные, ослы, медленно тянувшие двухколесные скрипучие повозки, одноэтажные каменные домишки в селах, слюдяные оконца и ниточки красного перца на кровлях, подвешенные и разложенные для сушки, грубые изваяния мадонн у колодцев, мужчины с бронзовыми торсами, в рваных штанах до колен, женщины в домотканых рубашках и совсем уж голые ребятишки — все это говорило о том, что мы где-то на юге — вероятно, во Франции, и во Франции несовременной.

Около часу продолжалась наша скачка, к счастью не изобиловавшая препятствиями, кроме огромных валунов у дороги — остатков когда-то расчищенных осыпей. Задержала нас невысокая, в полтора человеческих роста, белая каменная стена, огибающая лес или парк на протяжении нескольких километров, потому что конца ее мы не видели. Здесь, где стена поворачивала на север от моря, поджидал нас человек в таком же маскарадном костюме из когда-то зеленого бархата, в поношенных, как и у моих спутников, рыжих ботфортах и в шляпе без перьев, но с большой, ярко начищенной медной пряжкой. Правая рука его лежала на перевязи из какого-то тряпья, может быть, старой рубахи, а один глаз был закрыт узкой черной повязкой. Что-то знакомое показалось мне в этом лице, но заинтересовало меня не лицо, а шпага, висевшая у пояса. Из какого века выскочил этот д'Артаньян, впрочем, больше похожий на огородное пугало, чем на любимого героя нашего детства и отрочества?

Всадники спешились и стащили Зернова с лошади. Он даже стоять не мог и ничком упал в траву у дороги.

Я хотел было помочь ему, но меня предупредил одноглазый.

— Встаньте,— сказал он Зернову.— Можете встать?

— Не могу,— простонал Зернов.

— Что же мне с вами делать? — задумчиво спросил одноглазый и повернулся ко мне.— Я где-то вас видел.

И тут я узнал его. Это был Монжюссо, собеседник итальянского кинорежиссера за ресторанным табльдотом. Монжюссо, рапирист и шпажист, олимпийский чемпион и первая шпага Франции.

— Где вы подобрали их? — спросил он у черноусого.

— На дороге. Не те?

— А вы не видите? Что же мне с ними делать? — повторил он недоуменно.— С ними я уже не Бонвиль.

Красное облако вспенилось на дороге. Из пены сначала показалась голова, а за ней черная шелковая пижама. Я узнал режиссера Каррези.

— Вы Бонвиль, а не Монжюссо,— сказал он; углы губ его и впалые щеки при этом отчаянно дергались.— Вы человек из другого века. Ясно?

— У меня своя память,— возразил одноглазый.

— Так погасите ее. Отключитесь. Забудьте обо всем, что не имеет отношения к фильму.

— А они имеют отношение к фильму? — Одноглазый покосился в мою сторону.— Вы предусмотрели их?

— Нет, конечно. Это чужая воля. Я бессилен изъять их. Но вы, Бонвиль, можете.

— Как?

— Как бальзаковский герой, свободно творящий сюжет. Моя мысль только направляет вас. Вы хозяин сюжетной ситуации. Бонвиль — смертельный враг Савари, это для вас сейчас определяет все. Только помните: без правой руки!

— Как левшу меня даже не допустят к конкурсу.

— Как левшу Монжюссо и в наше время. Как левша Бонвиль, живущий в другом времени, будете драться левой рукой.

— Как школьник.

— Как тигр.

Облако снова вспенилось, заглотало режиссера и растаяло. Бонвиль повернулся к спешившимся всадникам.

— Перекиньте его через стену.— Он указал кивком на лежащего позади Зернова.— Пусть Савари сам выхаживает его.

— Стойте! — крикнул я.

Но острие шпаги Бонвиля уткнулось мне в грудь.

— Позаботьтесь о себе,— назидательно произнес он.

А Зернов, даже не вскрикнув, уже перелетел через стену.

— Убийца,— сказал я.

— Ничего ему не сделается,— усмехнулся Бонвиль,— там трава по пояс. Отлежится и встанет. А мы не будем зря терять времени. Защищайтесь.— Он поднял шпагу.

— Против вас? Смешно.

— Почему?

— Вы же Монжюссо. Чемпион Франции.

— Вы ошибаетесь. Я Бонвиль.

— Не пытайтесь меня обмануть. Я слышал ваш разговор с режиссером.

— С кем? — не понял он.

Я смотрел ему прямо в глаза. Он не играл роли, он действительно не понимал.

— Вам показалось.

Бесполезно было спорить: передо мной стоял оборотень, лишенный собственной памяти. За него думал режиссер.

— Защищайтесь,— строго повторил он.

Я демонстративно повернулся к нему спиной.

— С какой стати? И не подумаю.

Острие шпаги тотчас же вонзилось мне в спину. Неглубоко, чуть-чуть, только проткнув пиджак, но я почувствовал укол. И главное, ни минуты не сомневался, что шпага проткнет меня, нажми он сильнее. Не знаю, как поступил бы на моем месте кто-нибудь другой, но самоубийство меня не привлекло. Драться с Монжюссо было тоже самоубийством, но ведь шпагу обнажил не Монжюссо, а левша Бонвиль. Сколько я выстою против него? Минуту, две? А вдруг больше? Чем черт не шутит...

— Будете защищаться? — еще раз повторил он.

— У меня нет оружия.

— Капитан, вашу шпагу! — крикнул он.

Черноусый, стоявший поодаль, бросил мне свою шпагу. Я поймал ее за рукоятку.

— Хорошо,— похвалил Бонвиль.

Шпага была легкой и острой, как игла. Привычного для меня пуандаре — наконечника, прикрывающего обычно острие спортивного оружия,— на ней не было. Но кисть руки прикрывалась знакомой мне отшлифованной сферической гардой. Рукоять тоже была удобной; я взмахнул клинком и услышал свист в воздухе, памятный мне по фехтовальной дорожке.

— Л'атак де друа,— сказал Бонвиль.

Я мысленно перевел: атака справа. Бонвиль насмешливо предупреждал меня, что ничуть не боится раскрыть свои планы. В то же мгновение он нанес удар.

Я отбил его.

— Парэ,— сказал он.

На языке фехтовальщиков это означало, что он поздравляет меня с удачной защитой.

Я чуточку отступил, прикрываясь шпагой; она была несколько длиннее шпаги Бонвиля, что давало мне преимущество в обороне. «Что говорил в таких случаях Кирш? — попытался я вспомнить советы своего учителя фехтования.— «Не дай себя обмануть: он отступит, и твоя шпага пронзит воздух. Не атакуй преждевременно». Я сделал вид, что ухожу в защиту. Он прыгнул по-кошачьи мягко и нанес удар уже слева.

И я опять отбил его.

— Умно,— заметил Бонвиль,— есть чутье. Ваше счастье, что я атакую левой. С правой бы вам конец.

Его клинок, как тоненький усик, пошел на меня, колеблясь, качаясь, будто ища чего-то. А искал он просвета, крохотной дверцы в моей защите. Наши клинки словно вели молчаливый разговор. Мой: «Не достанешь, я длиннее. Только отклонись, береги плечо». Его: «Не уйдешь. Чуешь, как сокращается дистанция? Сейчас я поймаю твою руку». Мой: «Не успеешь. Я уже повис над тобой. Все-таки я длиннее». Но Бонвиль преодолел длину моей шпаги, он отвел ее и молниеносно нанес удар. Однако клинок его проткнул только пиджак, скользнув по телу. Бонвиль поморщился:

— Скинем камзолы.— И сделал шаг назад.

Я остался на месте. Без пиджака, в одной рубашке я почувствовал себя свободнее. И пожалуй, беззащитнее. На спортивных соревнованиях мы обычно надевали специальные курточки, прошитые тонкой металлической нитью. Укол шпаги, прикосновение металла к металлу фиксировалось специальным электроаппаратом. Сейчас укол был уколом. Он вонзался в живую ткань, рвал кровеносные сосуды, мог тяжело ранить, убить. Но если включить умение и мастерство фехтовальщика, мы были в одинаковом положении. Наши клинки одинаково поражали, наши рубашки одинаково открывали тело для поражения. Но как отличалась моя кургузая расписуха от его белой шелковой рубахи, точь-в-точь такой же, в какой Пол Скофилд играл Гамлета.

Шпаги опять скрестились. Я вспомнил еще один совет Кирша: не атаковать преждевременно, пока противник хоть на мгновение не утратит чувства пространства. «Ждите, пока он откроется»,— говорил Кирш. Но Бонвиль не открывался. Его шпага кружила у моей груди, как оса. Вот-вот ужалит. Но я отступал и отбивался. Удар. Отбил. Еще удар. Отбил. Какая удача для меня, что он фехтовал левой: я успевал поймать его движения.

Бонвиль словно прочел мои мысли.

— Левой мне только сапоги тачать,— сказал он.— А хотите посмотреть правую?

Он снял руку с перевязи и мгновенно перехватил клинок. Тот сверкнул, отвел мою шпагу и кольнул в грудь.

— Вот как это делается,— похвастался он, но не успел продолжить.

Кто-то, невидимый знакомо напомнил:

— Левая, Бонвиль, левая! Уберите правую.

Бонвиль послушно перехватил шпагу. Кровавое пятно у меня на груди расползлось.

— Перевяжите его,— сказал Бонвиль.

С меня стащили рубаху и перевязали ею плечо. Рана была неглубокая, но сильно кровоточила. Я согнул и разогнул правую руку — больно не было. Я еще мог оттягивать время.

— Где учились? — спросил Бонвиль.— В Италии?

— Почему?

— У вас итальянская манера уходить в защиту. Но это вам не поможет.

Я засмеялся и чуть не упустил его: он подстерег меня справа. Я еле успел присесть, шпага его только скользнула по плечу. Я отбил ее верх и в свою очередь сделал выпад.

— Молодец,— сказал он.

— У вас кровь на руке.

— Не страшно.

Шпага его снова закружила у моей груди. Я отбивался и отходил, чувствуя, как леденеют пальцы, впившиеся в рукоятку. «Только бы не споткнуться, только бы не упасть»,— повторила предостерегающая мысль.

— Не затягивайте, Бонвиль,— сказал невидимый голос,— дублей не будет.

— Ничего не будет,— ответил Бонвиль, отходя назад и предоставляя мне желанную передышку.— Я не достану его левой.

— Так он достанет вас. Я перестрою сюжет. Но вы супермен, Бонвиль, таким я вас задумал. Дерзайте.

Бонвиль снова шагнул ко мне.

— Значит, был разговор? — усмехнулся я.

— Какой разговор?

Передо мной снова был робот, все забывший, кроме своей сверхзадачи. А я вдруг почувствовал, что моя спина уперлась в стену. Отходить было некуда. «Конец»,— безнадежно подумал я.

Его шпага снова поймала мою, метнулась назад и вонзилась мне в горло. Боли я не почувствовал, только что-то заклокотало в гортани. Колени у меня подогнулись, я уперся шпагой в землю, но она выскользнула из рук. Последнее, что я услышал, был возглас, прозвучавший, казалось, с того света:

— Готов.

Часть четвертая

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Глава XXIV

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все последующее я видел урывками, бессвязным чередованием расплывчатых белых картин. Белое пятно потолка надо мной, белые, не затемняющие комнаты шторы на окнах, белые простыни у лица. В этой белизне вдруг сверкали какие-то цилиндрические никелированные поверхности, извивались, как змеи, длинные трубки и склонялись надо мной чьи-то лица.

— Он в сознании,— слышал я.

— Я вижу. Наркоз.

— Все готово, профессор.

И все по-французски, быстро-быстро, проникая в сознание или скользя мимо в хаосе непонятных, закодированных терминов. Потом все погасло — и свет, и мысль — и вновь ожило в белизне оформления. Опять склонялись надо мной незнакомые лица, блестело что-то полированное — ножницы или ложка, ручные часы или шприц. Иногда никель сменялся прозрачной желтизной резиновых перчаток или розовой стерильностью рук с коротко остриженными ногтями. Но все это длилось недолго и проваливалось в темноту, где не было ни пространства, ни времени — только черный вакуум сна.

Потом картины становились все более отчетливыми, словно кто-то невидимый регулировал наводку на резкость. Худощавое, строгое лицо профессора в белой шапочке сменялось еще более суровым лицом сестры в монашеской белой косынке; меня кормили бульонами и соками, пеленали горло и не позволяли говорить.

Как-то я все-таки ухитрился спросить:

— Где я?

Жесткие пальцы сестры тотчас же легли мне на губы:

— Молчите. Вы в клинике профессора Пелетье. Берегите горло. Нельзя.

Однажды склонилось надо мной знакомое до каждой кровинки лицо в дымчатых очках с золотыми дужками.

— Ты?! — воскликнул я и не узнал своего голоса: не то хрип, не то птичий клекот.

— Тссс...— Она тоже закрыла мне рот, но как осторожно, как невесомо было это прикосновение! — Все хорошо, любимый. Ты поправляешься, но тебе еще нельзя говорить. Молчи и жди. Я скоро опять приду. Очень скоро. Спи.

И я спал, и просыпался, и ощущал все уменьшавшуюся связанность в горле, и вкус бульона, и укол шприца, и вновь проваливался в черную пустоту, пока наконец не проснулся совсем. Я мог говорить, кричать, петь — я знал это: даже повязка на горле была снята.

— Как вас зовут? — спросил я свою обычную суровую гостью в косынке.

— Сестра Тереза.

— Вы монахиня?

— Все мы монахини в этой клинике.

Она не запрещала мне говорить — ура! И я спросил не без скрытой хитрости:

— Значит, профессор — католик?

— Профессор будет гореть в аду,— ответила она без улыбки,— но он знает, что самые умелые медицинские сестры — мы. Это наш обет.

«Я тоже буду гореть в аду»,— подумал я и переменил тему.

— Давно я в клинике?

— Вторую неделю после операции.

— Безбожник делал? — усмехнулся я.

Она вздохнула:

— Все божий промысел.

— И розовые «облака»?

— Энциклика его святейшества объявляет их созданиями рук человеческих. Творением наших братьев во Вселенной, созданных по образу и подобию божьему.

Я подумал, что его святейшество уступил меньшему

злу, отдав предпочтение антропоцентристской гипотезе. Для христианского мира это было единственным выходом. А для науки? На какой гипотезе остановился конгресс? И почему я до сих пор ничего не знаю?

— У вас больница или тюрьма? — рассвирепел я.— И почему меня медленно морят сном?

— Не морят, а лечат. Сонная терапия.

— А где газеты? Почему мне не дают газет?

— Полное отключение от внешнего мира тоже входит в лечение. Закончится курс — все получите.

— А когда закончится курс?

— По выздоровлении.

— А когда...

— Спросите профессора.

Я внутренне усмехнулся: не выдержала все-таки. И начал атаку с фланга:

— Но мне гораздо лучше, правда?

— Правда.

— Тогда почему нет свиданий? Или меня все забыли?

Нужно быть монахиней, чтобы выстоять перед таким больным. Сестра Тереза, только однажды сорвавшись с тона, выстояла. Даже некое подобие улыбки скользнуло по ее невозмутимым губам.

— День свиданий сегодня. Прием начнется...— она посмотрела на ручные часы, блеск которых я столько раз видел во время своих пробуждений,— через десять минут.

Я выдержал эти десять минут, покорный, как ягненок. Мне даже разрешили сидеть на постели и разговаривать, не глядя на секундомер: голосовые связки у меня зажили. Но Ирина все же предупредила:

— Говорить буду я, а ты спрашивай.

Но мне даже спрашивать не хотелось, а только повторять пять букв в одной и той же интонации: милая, милая, милая... Занятно все-таки у нас получается: никаких предварительных объяснений, вздохов, намеков и полунамеков. Всю подготовку провел мой противник Бонвиль-Монжюссо. Интересно, знала ли об этом Ирина? Оказывается, знала — от Зернова. А сама она пребывала в это время в каком-то оцепенении — сон не сон, а сплошной провал в памяти. Очнулась: утро, дремота, вставать не хочется.

— А ты в это время кровью истекал у Зернова в номере. Хорошо, он добрался вовремя: ты еще дышал.

— Откуда добрался?

— Снизу. Из холла. Сам почти без сознания лежал — все тело избито. Чудеса! Словно возвращение из крестовых походов.

— Пожалуй, попозже. Шестнадцатый век, по-моему. Шпаги без ножен, а клинок — как тростинка. Попробуй отбей — молния!

— И ты отбивал? Тоже мне мушкетер! Уметь же надо.

— Учили когда-то в институте: киношникам до всего дело. Вот и пригодилось.

— Пригодилось на операционный стол.

— Так я же в ловушку попал. Позади — стена, сбоку — обрыв. А у него маневр!

— У кого?

— У Монжюссо. Попробуй выстоять против олимпийского чемпиона! Помнишь парня с повязкой на лбу за табльдотом?

Ирина не удивилась.

— Он и сейчас в отеле. И по-прежнему вместе с Каррези. Кстати, я считала его почему-то киноактером. Кроме нас, эта пара — единственные постояльцы, не сбежавшие из отеля после той ночи. Ну и паника была! А портье даже повесился.

— Какой? — вскрикнул я.

— Тот самый. Лысый.

— Этьен? — переспросил я.— Почему?

— Никто не знает. Не оставил даже записки. Но по-моему, Зернов что-то подозревает.

— Блеск,— сказал я.— Собаке собачья смерть.

— Ты тоже подозреваешь?

— Не подозреваю, а знаю.

— Что?

— Долго рассказывать. Не сейчас.

— Почему вы от меня скрываете?

— Кое-что знать тебе еще рано. Узнаешь потом. Не сердись — так надо. Лучше скажи, что с Ланге? Где он?

— Уехал. Должно быть, совсем из Парижа. С ним тоже история,— засмеялась она.— Мартин за что-то изу-

вечил его так, что узнать было нельзя. По крайней мере, в первые дни. Думали, будет дипломатический скандал, а вышел пшик. Западные немцы и пикнуть не посмели: Мартин американец и правая рука Томпсона. Здешним риббентропчикам не по зубам. Да и сам Ланге вдруг отказался от всяких претензий: с умалишенными, мол, не судятся. Репортеры бросились за объяснениями к Мартину. Тот угостил их виски и сообщил, что Ланге хотел отбить у него русскую девушку. Это меня. В общем, смех, но за смехом тоже какая-то тайна. Сейчас Мартин уехал вместе с Томпсоном. Не выпучивай глаз: тоже долго рассказывать. Я тебе все газетные вырезки подобрала — прочтешь. Там и записка к тебе от Мартина — о драке ни слова. Но по-моему, Зернов и тут что-то знает. Кстати, завтра его выступление на пленарном заседании — все газетчики ждут, как акулы за кормой корабля, а он все откладывает. Из-за тебя, между прочим. Хочет с тобой предварительно встретиться. Сейчас. Опять глаза выпучиваешь? Я же сказала: сейчас.

Зернов появился с кинематографической быстротой и не один. Его сопровождали Каррези и Монжюссо. Более сильного эффекта он произвести не мог. Я разинул рот при виде Монжюссо и даже не ответил на их приветствие.

— Узнал,— сказал по-английски Зернов своим спутникам.— А вы не верили.

Тут я вскипел, благо по-английски «кипеть» было легче, чем на любом другом языке, кроме русского.

— Я не помешался и не потерял памяти. Трудно не узнать шпагу, которая проткнула тебе горло.

— А вы помните эту шпагу? — почему-то обрадованно спросил Каррези.

— Еще бы!

— А вашу? — Каррези даже привстал от возбуждения.— Миланская работа. Стальная змейка у гарды, вьющаяся вокруг рукоятки. Помните?

— Пусть он ее помнит,— злорадно сказал я, кивнув на Монжюссо.

Но тот не обиделся, даже не смутился ничуточки.

— Она висит у меня после шестидесятого года. Приз за Тулузу,— флегматично заметил он.

— Я ее у тебя и запомнил. И клинок, и змейку,— снова вмешался Каррези.

Но Монжюссо его не слушал.

— Сколько вы продержались? — спросил он, впервые оглядывая меня с интересом.— Минуту, две?

— Больше,— сказал я.— Вы же работали левой.

— Все равно. Левая у меня много слабее, не та легкость. Но на тренировках...— Он почему-то не закончил фразы и переменил тему: — Ваших я знаю: встречался на фехтовальной дорожке. Но вас не помню. Не включали в команду?

— Бросил фехтование,— сказал я: мне не хотелось раскрываться.— Давно уже бросил.

— Жаль,— протянул он и взглянул на Каррези.

Я так и не понял, о чем он пожалел: об утраченном мной интересе к спортивной шпаге или о том, что поединок со мной отнял у него более двух драгоценных минут чемпиона. Каррези заметил мое недоумение и засмеялся:

— Гастон не был на поединке.

— Как это не был? — не понял я.— А это?

Я осторожно пощупал косой шов на горле.

— Вините меня,— смущенно проговорил Каррези.— Я все это придумал у себя на диване. Гастон, которого синтезировали и которому дали в руки такую же синтезированную шпагу,— это плод моего воображения. Как это было сделано, я отказываюсь понимать. Но действительный, настоящий Гастон даже не коснулся вас. Не сердитесь.

— Честно говоря, я даже не помню вас за табльдотом,— прибавил Монжюссо.

— Ложная жизнь,— напомнил мне Зернов наш разговор на лестнице.— Я допускал моделирование предположений или воображаемых ситуаций,— пояснил он Каррези.

— А я ничего не допускал,— нетерпеливо отмахнулся тот,— да и не подпускал к себе эту мировую сенсацию. Сначала просто не верил, как в летающие блюдца, а потом посмотрел ваш фильм и ахнул: дошло! Целую неделю ни о чем другом говорить не мог, затем привык, как привыкаешь к чему-то необычному, но повторяющемуся и, в

общем, далекому. Профессиональные интересы отвлекали и разум и сердце; даже в тот вечер накануне конгресса ни о чем не думал, кроме новой картины. Захотелось воскресить исторический фильм — не голливудскую патоку и не музейный экспонат, а нечто переоцененное глазами и мыслью нашего современника. И век выбрал, и героев, и, как у вас говорят, социально-исторический фон. А за табльдотом «звезду» нашел и уговорил. Одна ситуация ему не нравилась: поединок левой рукой. Ну а мне виднее, как это ни странно. Я его помню на фехтовальной дорожке. Со шпагой в правой — слишком профессионален, не сумеет войти в образ. А в левой — бог! Неумная сила, ошибки, злость на себя и чудо естественности. Убедил. Разошлись. Прилег в номере, думаю. Мешает красный свет. Черт с ним, зажмурился. И все представил — дорогу над морем, камень, виноградники, белую стену графского парка. И вдруг чушь какая-то: наемники Гастона (он Бонвиль по роли) останавливают на дороге бродяг не бродяг, туристов не туристов — чужаков, одним словом. Не тот век, не тот сюжет. Хочу выбросить их из замысла и не могу — как прилипли. Тотчас же переключаюсь: пусть! Новый сюжетный поворот, даже оригинально: скажем, бродяги, уличные актеры. А Гастон у себя, естественно, тоже о фильме думает; не о сюжете, конечно, а о себе, о все той же дилеме: левой или правой? Я вступаю с ним в мысленный спор: горячусь, убеждаю, требую. Наконец приказываю: все!

— Это я видел,— вспомнил я.— Кучка малиновой пены у дороги, а вы из нее, как чертик из ящика.

Каррези закрыл глаза — должно быть, зрительно представил себе услышанное — и снова обрадовался:

— А ведь это идея! Гениальный сюжетный ход. Восстановим все, что было, и все, как было. Словом, хотите партнером к Гастону?

— Спасибо,— прохрипел я.— Второй раз умирать не хочется.

Монжюссо улыбнулся вежливо, но с хитрецой:

— На вашем месте я бы тоже отказался. Но заходите ко мне на Риволи просто по-дружески. Скрестим шпаги. Тренировочные, не бойтесь. Все по форме — и колеты, и маски. Мне хочется вас пощупать, как вы смогли

выстоять так долго. Я нарочно попробую левой.

— Спасибо,— повторил я, зная, что никогда больше с ним не увижусь.

Глава XXV

ПУТЕВКА В ГРЕНЛАНДИЮ

Когда режиссер и шпажист ушли, воцарилось неловкое молчание. Я с трудом сдерживался, раздраженный этим ненужным визитом. Зернов посмеивался, ожидая, что я скажу. Ирина, тотчас же подметившая многозначительность паузы, тоже молчала.

— Злишься? — спросил Зернов.

— Злюсь,— сказал я.— Думаешь, приятно любезничать со своим убийцей?

Так мы, не сговариваясь, перешли на «ты». И оба этого не заметили.

— Монжюссо не виноват даже косвенно,— продолжал Зернов.— Я это сейчас и выяснил.

— Презумпция невиновности,— съязвил я.

Он не принял вызова.

— Каюсь, я нарочно столкнул их с тобой. Не сердись. Хотелось сопоставить моделированное и его источник. Мне для доклада нужно было точно проверить, что моделировалось, чья психика. И что еще более важно — память или воображение. Теперь знаю. Они заглянули и к тому и к другому. Тот просто хотел спать, вероятно, лениво раздумывая над предложением Каррези. Не много ли мороки, приемлем ли гонорар? А Каррези творил. Создавал конфликты, драматические ситуации, словом, иллюзии жизни. Эту иллюзию они и смоделировали. Довольно точно, между прочим. Пейзаж помнишь? Виноградники на фоне моря. Точнее любой фотографии.

Я невольно пощупал горло.

— А это? Тоже иллюзия?

— Случайность. Вероятно, экспериментируя, они даже не понимали, как это опасно.

— Не понимаю,— задумчиво перебила Ирина,— тут

что-то другое — не жизнь. Биологически это не может быть жизнью, даже если ее повторяет. Нельзя создать жизнь из ничего.

— Почему из ничего? Вероятно, у них есть для этого какой-то строительный материал, что-то вроде первичной материи.

— Красный туман?

— Может быть. До сих пор никто не нашел объяснения, даже гипотезы не выдвинул.— Зернов вздохнул.— Завтра и от меня не ждите гипотез — просто выскажу предположение, что моделируется и зачем. Ну а как это делается? Извините...

Я засмеялся:

— Кто-нибудь объяснит. Поживем — увидим.

— Где?

— То есть как где? На конгрессе.

— Не увидишь.

Зернов пригладил свои прямые светлые волосы. Он всегда это делал, перед тем как сказать неприятность.

— Не выйдет,— сказал я злорадно.— Не удержите. Выздоровел.

— Знаю. Послезавтра выписываешься. А вечером укладывай чемоданы.

Он сказал это так твердо и так решительно, что я вскочил и сел в постели.

— Отзывают?

— Нет.

— Значит, опять в Мирный?

— И не в Мирный.

— А куда?

Зернов молчал и улыбался, искоса поглядывая на Ирину.

— Ну а если не соглашусь? — сказал я.

— Еще как согласишься! Прыгать будешь.

— Не томи, Борис Аркадьевич. Куда?

— В Гренландию.

На моем лице отразилось такое откровенное разочарование, что Ирина прыснула со смеху.

— Не прыгает, Ирочка.

— Не прыгает.

Я демонстративно лег.

— Допинга нет, чтобы прыгать. А потом, почему в Гренландию?

— Будет допинг,— сказал Зернов и подмигнул Ирине.

Та, подражая диктору «Последних известий», начала:

— Копенгаген. От нашего собственного корреспондента. Летчики-наблюдатели американской полярной станции на Сенре-Стремфиорде (Гренландия) сообщают о любопытном искусственном или природном феномене к северу от семьдесят второй параллели, в районе экспедиции Симпсона...

Я приподнялся на подушках.

— ...На обширном ледяном плато наблюдаются километровые голубые протуберанцы. Нечто вроде уменьшенного северного сияния. Только по гигантскому эллипсу — замкнутой лентой голубого огня. Языки пламени смыкаются примерно на высоте километра, образуя граненую поверхность огромного октаэдра. Так, Борис Аркадьевич?

Я сел на постели.

— Готов прыгать, Анохин?

— Кажется, готов.

— Так слушай. Сообщения об этом «сиянии» обошли уже всю мировую печать. Октаэдр сверкает на сотни километров, а ни пешком, ни на тракторах к нему не подойти: отталкивает нам уже знакомая невидимая сила. Самолеты тоже не могут снизиться: их сносит. Подозревают, что это мощное силовое поле пришельцев. Прыгаешь?

— Прыгаю, Борис Аркадьевич. Значит, они уже в Гренландии.

— Давно. Но в глубине плато у них сейчас что-то новенькое. Огонь, а приборы вблизи не регистрируют даже малейшего повышения температуры. Не повышается атмосферное давление, не увеличивается ионизация, радиосвязь не прерывается даже в нескольких метрах от протуберанцев, а счетчики Гейгера подозрительно молчат. Какой-то странный камуфляж, вроде детского калейдоскопа. Сверкают стеклышки, и только. Посмотришь снимки — руками разведешь. Чистое небо в солнечный день, отраженное в гигантских кристаллических гранях. А «всадники» проходят сквозь них, как птицы сквозь

облако. Зато птицы отскакивают, как теннисные мячи. Пробовали пускать голубей — смех один.

Я горько позавидовал своим коллегам: такую феерию снять!

— Может быть, феерия, может быть, фарс,— сказал Зернов,— может быть, хуже. Снимешь, если жив останешься. Знаешь, как это сейчас называют? Операция «Ти» — по первой букве в английском ее произношении, начинающей фамилию нашего дружка Томпсона. Ну а он говорит, что это личный поиск контактов. До него, мол, все пробовали: и световые сигналы, и радиоволны, и математический код, и смысловые фигуры в небе реактивный самолет вычерчивал,— все напрасно: не реагируют «всадники». А он рассчитывает, что добьется отклика. Какими средствами — неизвестно: молчит. Но основной состав экспедиции уже сформирован и направлен в Упернавик, откуда стартовала гренландская экспедиция Кох-Вегенера в тринадцатом году. В их распоряжении грузо-пассажирский «дуглас», вертолет, заимствованный на базе в Туле, два снегохода и аэросани. Как видишь, экспедиция оснащена неплохо.

Но я все же не понимал, на какой контакт мог рассчитывать Томпсон с помощью вертолета и аэросаней. Зернов загадочно улыбнулся.

— Газетчики тоже не понимают. Но Томпсон человек неглупый. Он не подтвердил ни одного приписываемого ему заявления о целях, которые ставит перед собой экспедиция, и о средствах, которыми она располагает. На запросы журналистов не отозвалась ни одна фирма, поставлявшая ему оборудование и снаряжение. Его спрашивают: правда ли, что в имуществе экспедиции имеются баллоны с газом неизвестного состава? Каково назначение приборов, погруженных недавно на теплоход в Копенгагене? Собирается ли он взрывать, просверливать или пробивать силовое поле пришельцев? В ответ Томпсон деловито поясняет, что имущество его экспедиции просматривалось таможенными контролерами и ничего запрещенного к ввозу в Гренландию не содержит. Об особых приборах, якобы погруженных в копенгагенском порту, ему ничего не известно. Цели экспедиции научно-исследовательские, а цыплят он будет считать по осени.

— Откуда же у него деньги?

— Кто знает? Больших денег здесь нет, крупно на него никто не ставит, даже «бешеные». Ведь воюет он не с коммунистами и неграми. Но кто-то его финансирует, конечно. Говорят, какой-то газетный концерн. Как в свое время экспедицию Стэнли в Африку. Сенсация — товар ходкий: можно рискнуть.

Я поинтересовался, связана ли его экспедиция с каким-нибудь решением или рекомендацией конгресса?

— С конгрессом он порвал,— пояснил Зернов.— Еще до открытия объявил в печати, что считает себя не связанным с его будущими решениями. Впрочем, ты еще не знаешь, как сложились дела на конгрессе.

Я действительно не знал, как сложились дела на конгрессе. Я даже не знал, что он открылся в ту самую минуту, когда меня с операционного стола перевозили в палату.

После того как Совет Безопасности ООН отказался обсуждать феномен розовых «облаков» впредь до решения Парижского конгресса, справедливо считая, что первое слово здесь должно принадлежать мировой науке, атмосфера вокруг конгресса еще более накалялась.

А открылся он, как чемпионат мира по футболу. Были фанфары, флаги наций, приветствия и поздравления от всех научных ассоциаций мира. Правда, более мудрые в зале помалкивали, но менее осторожные выступали с декларациями, что тайна розовых «облаков» уже накануне открытия. Конечно, никакого открытия не произошло. Разве только вступительный доклад академика Осовца, выдвинувшего и обосновавшего тезис о миролюбии наших гостей из космоса, сразу же направил работу ученых по твердо намеченному руслу. Но, как говорится, премудрость одна, а мудростей много. О них и рассказал мне Зернов с едва скрытым разочарованием. Сталкивались мнения, сшибались гипотезы. Некоторые участники конгресса вообще считали «облака» разновидностью летающих тарелок.

— Если бы ты знал, Юра, сколько еще тугодумов в науке, давно потерявших право называться учеными! — говорил Зернов.— Конечно, были и вдумчивые речи, и оригинальные гипотезы, и смелые предложения.

Но Томпсон сбежал после первых же заседаний. «Тысяча робких старичков ничего стоящего не придумают»,— объявил он атаковавшим его репортерам. Из всех участников конгресса он пригласил в экспедицию только Зернова, присоединив к нему весь экипаж нашей «Харьковчанки» плюс Ирину. «Вместе начинали, вместе продолжим»,— сказал он Зернову.

— Я не начинала,— вмешалась Ирина.

— Зато продолжили.

— Где?

— Все той же ночью в отеле «Омон».

— Не понимаю.

— Спросите у Анохина. Он вам кое-что расскажет.

— О чем? — встревожилась Ирина.

— Что вы — это не вы, а ваша модель, созданная «облаками» в ту злополучную ночь.

— Бросьте шутить, Борис Аркадьевич.

— Я не шучу. Просто Анохин и Мартин видели вас в Сен-Дизье.

— Не ее,— вмешался я,— вы забыли.

— Не забыл, но предпочел не рассказывать.

Сразу же возникла тревожная пауза. Ирина сняла очки, машинально сложила и снова раскрыла их золотые дужки — первый признак ее крайней взволнованности.

— Теперь я понимаю,— упрекнула она Зернова,— что вы и Мартин от меня что-то скрывали. Что именно?

Зернов и сейчас увильнул от ответа:

— Пусть Анохин расскажет. Мы считали, что это право принадлежит только ему.

Я ответил Зернову взглядом, подобным удару шпаги Бонвиля. Ирина оглядывалась то на него, то на меня в состоянии полной растерянности.

— Правда, Юра?

— Правда,— вздохнул я и замолчал.

Рассказать ей о том, что я видел в офицерском казино в Сен-Дизье, надо было не здесь и наедине.

— Что-нибудь неприятное?

Зернов улыбался. Пауза длилась. Поэтому я даже обрадовался, услышав знакомый скрип двери.

— Самое неприятное начнется сейчас,— сказал я, кивая на открытую дверь, в которую уже входил мой белый

ангел со шприцем.— Процедура, какую даже друзьям лицезреть не положено.

И целительная терапия профессора Пелетье снова низвергла меня в бездонную пучину сна.

Глава XXVI

КОНГРЕСС

Я выбрался из нее только утром, сразу вспомнил все и разозлился: предстоял еще день больничного заключения. Появление белого ангела с сервированным на движущемся столике завтраком мне не доставило утешения.

— Включите радио.

— У нас нет радио.

— Достаньте транзистор.

— Исключено.

— Почему?

— Запрещено все, что может помешать нормальному самочувствию выздоравливающего.

— Я уже выздоровел.

— Вы узнаете об этом только завтра утром.

Белый ангел легко превращался в демона.

— Но я должен знать, что делается на конгрессе. Выступает Зернов. Слышите: Зернов!

— Я не знаю мосье Зернова.

Она протянула мне папку в красном сафьяне.

— Что это?

— Газетные вырезки, которые оставила для вас мадемуазель Ирина. Профессор разрешил.

И то хлеб для человека, умирающего с голоду по информации. Я открыл папку, забыв о завтраке, и прислушался. Именно прислушался.

То был голос мира, донесшийся ко мне сквозь никель и стекло клиники, сквозь белый кирпич ее стен, сквозь тьму бездонного сна и блаженства выздоровления. То был голос конгресса, открывающегося докладом академика Осовца, сразу определившего единственно разумную и

последовательную позицию человечества по отношению к гостям из космоса.

«Что уже ясно? — говорил академик.— То, что мы имеем дело с неземной, инопланетной цивилизацией. То, что ее технический и научный уровень значительно выше нашего. То, что ни нам, ни им не удалось войти друг с другом в контакт. И то, что ее отношение к нам дружественное и миролюбивое. За эти три месяца пришельцы собрали и переотправили в космос весь материковый лед, и мы не смогли помешать им. Но что принесет человечеству эта акция? Ничего, кроме пользы. Точные последствия содеянного установят климатологи, но уже сейчас можно говорить о значительном смягчении климата в полярных и примыкающих к ним умеренных широтах, об освоении огромных, ранее почти недоступных районов и о более свободном расселении человечества. При этом изъятие земного льда было произведено без геологических катастроф, наводнений и прочих стихийных бедствий. Ни одна экспедиция, ни одно судно, ни одна научно-исследовательская станция, работавшие или уже закончившие работу в районах оледенения, не пострадали. Мало того, пришельцы подарили человечеству попутно, так сказать, открытые ими богатства. В отрогах Яблоневого хребта были вскрыты ими богатейшие залежи медной руды, а в Якутии новые алмазные месторождения. В Антарктиде они открыли нефть, собственными силами произвели бурение и установили вышки оригинальной, доселе нам неизвестной конструкции. Могу вам сообщить,— резюмировал под аплодисменты академик, что сейчас в Москве подписано соглашение между заинтересованными державами о создании торгово-промышленного акционерного общества под условным названием ОСЭАН, то есть Общество по совместной эксплуатации антарктической нефти».

Академик суммировал и события, связанные с моделированием пришельцами заинтересовавших их явлений земной жизни. Список их был так велик, что не зачитывался докладчиком, а распространялся среди делегатов в виде отпечатанного специального приложения к докладу. Я приведу здесь только то, что было выделено и прокомментировано парижскими журналистами.

Помимо Сэнд-сити, «всадники» смоделировали курортный городок в Итальянских Альпах, французские пляжи в утренние часы, когда они напоминают лежбища котиков, площадь Святого Марка в Венеции и часть лондонского метро. Пассажирский транспорт привлек их внимание во многих странах. Они пикировали на поезда, морские и воздушные лайнеры, полицейские вертолеты и даже воздушные шары, испытывавшиеся в каком-то любительском состязании под Брюсселем.

Во Франции они проникли на спринтерские гонки на Парижском велодроме, в Сан-Франциско — на матч боксеров-тяжеловесов на звание чемпиона Тихоокеанского побережья, в Лиссабоне — на футбольный матч на кубок европейских чемпионов, причем игроки потом жаловались журналистам, что красный туман вокруг них так сгущался, что они не видели ворот противника. В таком же тумане игрались партии одного тура на межзональном шахматном турнире в Цюрихе, два часа заседал правительственный комитет в Южно-Африканской Республике и сорок минут кормились звери в лондонском зоопарке. Газеты много острили по этому поводу: оба события происходили в один и тот же день, и в обоих случаях туман не разогнал ни хищников, ни расистов.

В списке академика подробно перечислялись все заводы и фабрики, смоделированные пришельцами полностью или частично: где цех, где конвейер, где просто несколько машин и станков, характерных для данного производства и выбранных с безошибочной точностью. Парижские журналисты, комментируя этот выбор, делали любопытные выводы. Одни считали, что «облака» интересуются преимущественно отсталыми видами техники, не менявшейся в своих основах чуть ли не столетие и наименее им понятной, вроде способов ювелирной обработки драгоценных камней или назначения кухонной посуды. И вот моделируется гранильная мастерская в Амстердаме и полукустарная фабричка игрушек в Нюрнберге.

Другие обозреватели, комментируя список Осовца, указывали на повышенный интерес гостей к бытовому обслуживанию населения. «Вы обратили внимание,— писал корреспондент «Пари-миди»,— на количество

смоделированных парикмахерских, ресторанов, ателье мод и телевизионных студий? С каким вниманием и выбором копируются магазины и магазинчики, уголки рынков и ярмарок и даже уличные витрины! И как варьируются здесь способы моделирования. Иногда «облако» пикирует на объект и тотчас уходит, не успев даже вызвать естественной в таких случаях паники. Иногда «туман» окутывает объект медленно, незаметно проникая во все его закоулки, и люди ничего не замечают до тех пор, пока плотность газового облака не переходит в видимость. Но и тогда что-то мешает им изменить свое обычное поведение, подавляя рассудок и волю. Страха никто не испытывает: парикмахеры стригут и бреют, клиенты в ожидании листают иллюстрированные журналы, идет киносъемка или телепередача, голкипер берет трудный мяч, а официант вежливо подает вам счет за ресторанный ужин. Все кругом побагровело, как под огнем красной лампы, но вы продолжаете свое дело, только потом сообразив, что случилось, когда «всадники» уже уходят за горизонт, унося с собой ваше живое изображение. Чаще всего вам даже не удается его увидеть: пришельцы показывали его людям только в первых опытах фиксации земной жизни, в дальнейшем все ограничивалось налетами алого газа различной густоты и тональности».

«Никто не пострадал при этом, никто не понес никаких материальных потерь,— резюмировал академик.— Кроме рулетки, исчезнувшей вместе с двойником на собрании полярников в Мирном, и автомобиля летчика Мартина, опрометчиво оставленного им в моделированном городе, никто не назовет мне ни одной вещи, уничтоженной или поврежденной нашими космическими гостями. Писали об исчезнувшем велосипеде, брошенном чешским гонщиком на шоссе близ Праги, но пропавший велосипед обнаружился на стоянке во время очередного отдыха участников гонки. Писали и об альпенштоке, который отнял у швейцарского проводника Фреда Шомера его двойник, внезапно возникший перед ним на горной тропинке. Но сам же Фред Шомер письмом в редакцию опроверг это сообщение, объявив, что, во-первых, он сам бросил альпеншток, испугавшись увиденного, а во-вторых, тот же альпеншток был возвращен ему розовым «облаком», спики-

ровавшим у дверей его хижины. Все остальные случаи, упоминавшиеся в печати, оказались просто досужей выдумкой самозваных «жертв» или самих газетчиков. Розовые «облака» уходят в космос, не причинив никакого вреда человечеству и не унося с собой ничего, кроме земного льда и предполагаемых записей земной жизни, закодированных каким-то образом в красном тумане. Последнее, впрочем, является никем и ничем не доказанной гипотезой».

Выступление советского академика было одобрено подавляющим большинством делегатов. Речь Томпсона я читать не стал, поддержки она не нашла, и прения, по сути дела, превратились в обмен репликами и вопросами, отнюдь не полемическими и даже не очень смелыми и уверенными. Выражались, например, опасения в том, что миролюбие пришельцев — только своеобразный камуфляж и что они еще вернутся с другими намерениями.

— Какими? — уточнил академик.

— Агрессивными.

— С такими техническими возможностями им незачем прибегать к камуфляжу.

— А если это разведка?

— Уже первые встречи показали им разницу наших технических потенциалов.

— А мы разве показали им наш потенциал? — Вопрос задал Томпсон.

— Они его смоделировали.

— Но мы даже не пытались обратить его против их нападения.

— Разве было нападение?

— А вы рискнете утверждать, что оно не последует?

— В доказательство моих утверждений я привел десятки проверенных фактов, в доказательство ваших мы услышали только гипотезы.

После этой бесславной для противника советского академика дискуссии «сомневающиеся», как их прозвали в кулуарах конгресса, стали отыгрываться в комиссиях, особенно в прославившейся бурными заседаниями Комиссии контактов и предположений. Здесь высказывались любые гипотезы, которые тут же ядовито оспаривались.

Одна дискуссия переходила в другую, порой удаляясь все больше от первоначального спора, пока не вмешивался электрический гонг председателя. Журналисты даже не прибегали к фельетонизации газетных отчетов. Они просто цитировали стенограммы.

Я взял наудачу одну из вырезок и прочел:

«ПРОФЕССОР О'МЕЛЛИ (Северная Ирландия). Предлагаю дополнение к формулировке профессора Мак-Эду: аммиачной и фтористой.

ПРОФЕССОР МАК-ЭДУ (США). Согласен. Об этом уже говорилось на пресс-конференции.

ПРОФЕССОР ТЭЙН (Англия). Насколько мне помнится, на пресс-конференции говорилось при этом, что розовые «облака» — гости с холодной планеты. Для фторных веществ температура минус сто градусов будет якобы только приятным морозцем. Не хочу быть резким, но боюсь, что утверждавшего это коллегу поправит любой первокурсник. Проблема фтористых белков...

ГОЛОС ИЗ ГЛУБИНЫ ЗАЛА. Нет такой проблемы!

ТЭЙН. Нет, но может быть: здесь Комиссия предположений, а не научных фактов.

ГОЛОС ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА. Ску-у-учно!

ТЭЙН. Идите в мюзик-холл. Фтороорганические соединения могут активизироваться лишь при очень высоких температурах. Или мой коллега забыл разницу между плюсом и минусом? Фторная жизнь — это жизнь на фоне серы, а не воды. На горячих, профессор, а не на холодных планетах.

МАК-ЭДУ (вскакивает). Кто говорит о воде или о сере? Отсутствующий здесь профессор Диллинджер имел в виду фтористый водород. Не удивлюсь, если его не поняли репортеры, но поражен непонятливостью выдающегося ученого. Именно фтористый водород или окись фтора могут быть «жизненным растворителем» при температурах не плюс, а минус сто и более градусов. Розовые «облака» могут быть и гостями с холодной планеты, господа.

ГОЛОС ИЗ ГЛУБИНЫ ЗАЛА (говорящий прячется за спину соседа). А при какой температуре, профессор, они режут километровую толщу льда?

ТЭЙН. Еще одно очко в пользу горячей планеты.

ПРОФЕССОР ГВИНЕЛЛИ (Италия). Скорее, в пользу гипотезы газоплазменной жизни.

ТЭЙН. Трудно поверить в то, что даже в неземных условиях газ мог стать средой биохимических реакций.

ГВИНЕЛЛИ (запальчиво). А знаменитые эксперименты Миллера, которому удалось синтезировать в газовой смеси простейшие органические соединения? А исследования советского академика Опарина? Углерод, азот, кислород и водород мы найдем в любом уголке Вселенной. А эти элементы, в свою очередь, образуют соединения, подымающие нас по лестнице жизни, вплоть до скачка от неживого к живому. Так почему бы не предположить, что именно в газовой среде и возникла жизнь, поднявшаяся до высот этой суперцивилизации?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы можете сформулировать вашу мысль в рамках гипотезы?

ГВИНЕЛЛИ. Конечно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Заслушаем профессора Гвинелли на следующем заседании...

ГОЛОС ИЗ ГЛУБИНЫ ЗАЛА (перебивая). И отсутствующего сейчас доктора Шнеллингера из Вены. У него вполне разработанная гипотеза об интерсвязи пришельцев — что-то о непосредственно частотной модуляции, об излучении ультракоротковолновых импульсов и даже о возможности телепатической передачи на гравитационных волнах...

СМЕШОК НЕПОДАЛЕКУ. Дичь!

ГОЛОС ИЗ ГЛУБИНЫ ЗАЛА (упрямо). Прошу извинить меня за возможную неточность формулировок, но специалисты поймут.

Подымается профессор Жанвье в черной шелковой шапочке. Это старейший профессор знаменитой французской политехнической школы. Он не разлучается со слуховым аппаратом и говорит в микрофон.

ЖАНВЬЕ. Уважаемые дамы и господа. Я бы отложил сообщение доктора Шнеллингера до того времени, пока не будут заслушаны гипотезы о том, с кем же мы имеем дело: с живыми ли существами или высокоорганизованными биокибернетическими системами. В первом случае возможна и непосредственная телепатическая связь...

У меня ее нет, но есть опасения, что у всех этих

гипотез один неистощимый источник,— заключал выдержку парижский обозреватель.— Источник этот есть и у вас, дорогие читатели. Вы суете его в рот, чтобы перевернуть эту газетную страницу и прочесть на обороте, что число гипотез, заслушанных на заседаниях комиссии, уже перевалило за сотню».

Я взял еще вырезку: цитата из другой стенограммы, но подобранная с тем же ироническим умыслом и прокомментированная в том же духе. В третьей автор вспоминал Гулливера и снисходительно сожалел о людях, которые сумели уподобиться лилипутам, не измышлявшим гипотез. Но после выступления Зернова от этой иронической снисходительности не осталось и следа. Когда я развернул принесенные Ириной вечерние выпуски парижских газет, солидарность их на этот раз была совсем иной.

«Загадка решена!», «Русские проникли в тайну розовых «облаков», «Анохин и Зернов устанавливают контакт с пришельцами», «Советы опять удивили мир!» — под этими заголовками бойко рассказывалось о превращении современного Парижа в провинциальный Сен-Дизье времен нацистской оккупации, о чудесной материализации кинозамыслов знаменитого режиссера и о моем поединке с первой шпагой Франции. Последнее особенно восхищало парижан. Обыкновенный киношник, никогда не появлявшийся на фехтовальных дорожках мира, скрестил шпагу с самим Монжюссо. И при этом остался жив. Монжюссо в этот же вечер дал несколько интервью и вдвое повысил гонорар за участие в фильме. Репортеры, выжав все из Монжюссо и Каррези, бросились на штурм клиники Пелетье, и только суровый ее монастырский устав избавил меня еще от одной пресс-конференции. А Зернову попросту повезло. Воспользовавшись ритуалом, сопровождавшим открытие и закрытие заседаний конгресса, он незаметно скрылся и на первом же встречном такси удрал за город к знакомому коммунисту-мэру.

В его докладе, подробно пересказанном и прокомментированном, я не нашел для себя ничего нового: все это родилось и сформулировалось в наших спорах о пережитом. Но отклики даже самой консервативной печати не могли не польстить гордости советского человека.

«Нечто поистине сказочное пережили двое русских и один американец за одну ночь в парижском отеле, воскресившую кошмары готического романа,— прочел я на первой странице «Пари жур», рядом с фотографиями — моей, Зернова и Мартина.— Далеко не каждый, мгновенно перенесенный из привычного настоящего в мир материализованных снов и видений, извлеченных из глубин чужой памяти, поведет себя с таким бесстрашием, пониманием обстановки и разумной последовательностью действий. Так можно сказать обо всех трех участниках этой фантастической Одиссеи. Но Зернова следует выделить. Он сделал больше. Борис Зернов первый из ученых нашего мира дал единственно возможный ответ на вопрос, волнующий сейчас миллиарды людей на Земле: почему пришельцы, игнорируя наши попытки контакта, сами не ищут общения с нами? Зернов отвечает: между их и нашей физической и психической жизнью разница гораздо бóльшая, возможно, неизмеримо бóльшая, чем, скажем, между биологической организацией, и психикой человека и пчелы. Что получилось бы, если бы они стали искать контакта друг с другом — пчела своими пчелиными средствами, человек — человеческими? Так возможен ли вообще контакт между двумя еще более различными формами жизни? Мы не нашли его, они нашли. Они могли не показать нам моделей нашего мира; они показали. Зачем? Чтобы изучить наши физические и психические реакции, характер и глубину нашего мышления, его способность постичь и оценить их действия. Они выбрали достойных аргонавтов, но только Зернов оказался Одиссеем: понял и перехитрил богов».

Я читал эту статью с таким счастливым лицом, что Ирина не выдержала и сказала:

— Хотела было наказать тебя за то, что скрытничаешь. Да ладно, покажу.

И показала мне распечатанную телеграмму из Уманака в Гренландии.

«Париж. Конгресс. Зернову. Слушал доклад по радио. Потрясен. Может быть, именно здесь, в Гренландии, вы сделаете новое открытие. Жду вас с Анохиным очередным авиарейсом. Томпсон».

Это был мой самый счастливый день в Париже.

Глава XXVII

ВООБРАЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДВИДЕНИЕ

Пожалуй, не только мой. Особенно когда я ей сказал.

Сначала она не поверила. Ухмыльнулась, как девчонка на вечеринке.

— Разыгрываешь?

Я промолчал. Потом спросил:

— У тебя мать была в Сопротивлении. Где?

— МИД запрашивал французских товарищей. Они точно не знают. Вся ее группа погибла. Как и где — неизвестно.

— В Сен-Дизье,— сказал я.— Не так далеко от Парижа. Она была переводчицей в офицерском казино. Там ее и взяли.

— Откуда ты знаешь?

— Она сама рассказала.

— Кому?

— Мне.

Ирина медленно сняла очки и сложила дужки.

— Этим не шутят.

— Я и не шучу. Мы с Мартином видели ее в ту ночь в Сен-Дизье. Нас приняли за английских летчиков: их самолет в ту ночь был сбит на окраине города.

Губы у Ирины дрожали. Она так и не могла задать своего вопроса.

Тогда я рассказал ей все по порядку — об Этьене и Ланге, об автоматной очереди Мартина на лестнице в казино, о взрыве, который мы услышали уже в затемненном городе.

Она молчала. Я злился, сознавая всю беспомощность слов, бессильных воспроизвести даже не жизнь, а модель жизни.

— Какая она? — вдруг спросила Ирина.

— Кто?

— Ты знаешь.

— Она все время чуть-чуть менялась в зависимости от того, кто вспоминал о ней — Этьен или Ланге. Молодая. Твоих лет. Они оба восхищались ею, хотя один предал, а другой убил.

Она проговорила чуть слышно:

— Теперь я понимаю Мартина.

— Слишком мало для возмездия.

— Я понимаю.— Она задумалась, потом спросила: — Я очень похожа на нее?

— Копия. Вспомни удивление Этьена в отеле. Пристальное внимание Ланге. Спроси у Зернова, наконец.

— А что было потом?

— Потом я шагнул на лестницу в отеле «Омон».

— И все исчезло?

— Для меня — да.

— А для нее?

Я беспомощно развел руками: попробуй ответить!

— Не могу понять,— сказала она.— Есть настоящее, есть прошлое. Есть жизнь. А это что?

— Модель.

— Живая?

— Не знаю. Может быть, записанная каким-то способом. На их пленку.— Я засмеялся.

— Не смейся. Это страшно. Живая жизнь. Где? В каком пространстве? В каком времени? И они увозят ее с собой? Зачем?

— Ну, знаешь,— сказал я,— у меня просто не хватает воображения.

Но был человек, у которого хватило воображения. И мы встретились с ним на другой же день.

С утра я выписался из клиники, по-мужски сдержанно простился с суховатым, как всегда, Пелетье («Вы спасли мне жизнь, профессор. Я ваш должник»), обнял на прощание старшую сестру — моего белого ангела с дьявольским шприцем («Грустно прощаться с вами, мадемуазель»), услышав в ответ не монашеское, а мопассановское: «Каналья, ах каналья!» — и вышел к Вольтеровской набережной, где мне назначила свидание Ирина. Она тут же сообщила мне, что Толька Дьячук и Вано прямо из Копенгагена уже вылетели в Гренландию, а наши с Зерновым визы еще оформлялись в датском посольстве. Я мог еще побывать на пленарном заседании конгресса.

На улице от жары таял под ногами асфальт, а на лестницах и в коридорах Сорбонны, старейшего из уни-

верситетов Франции, где сейчас, во время студенческих летних вакаций, заседал конгресс, было прохладно и тихо, как в церкви, когда служба давно закончилась. И так же пустынно. Не проходили мимо опаздывающие или просто любители покурить и посплетничать в кулуарах, не собирались группами спорщики, опустели курительные и буфеты. Все собрались в аудитории, где даже в часы любимейших студентами лекций не бывало так тесно, как сейчас. Сидели не только на скамьях, но и в проходах на полу, на ступеньках подымающегося амфитеатром зала, где уселись и мы, с трудом найдя себе место.

С трибуны говорил по-английски американец, а не англичанин, я сразу узнал это по тому, как он проглатывал отдельные буквы или пережимал «о» в «а», точь-в-точь как моя институтская «англичанка», стажировавшаяся не то в Принстоне, не то в Гарварде. Я, как и весь читающий мир, знал его по имени, но это был не политический деятель и даже не ученый, что вполне соответствовало бы составу ассамблеи и обычному списку ее ораторов. То был писатель, и даже не то чтобы очень модный или специализировавшийся, как у нас говорят, на конфликтах из жизни научных работников, а просто писатель-фантаст, добившийся, как в свое время Уэллс, мировой известности. Он, в сущности, и не очень заботился о научном обосновании своих удивительных вымыслов и даже здесь, перед «звездами» современной науки, осмелился заявить, что его лично интересует не научная информация о пришельцах, которую по крупинкам, кряхтя собирает конгресс (он так и сказал — «по крупинкам» и «кряхтя»), а самый факт встречи двух совершенно не похожих друг на друга миров, двух, по сути дела, несоизмеримых цивилизаций.

Это заявление и последовавший за ним не то одобрительный, не то протестующий гул зала мы и услышали, усаживаясь на ступеньках в проходе.

— Не обижайтесь на «крупинки», господа,— продолжал он не без ухмылочки в голосе,— вы соберете тонны полезнейшей информации в комиссиях гляциологов и климатологов, в специальных экспедициях, научно-исследовательских станциях, институтах и отдельных научных трудах, которые займутся вопросами новых ледя-

ных образований, климатических изменений и метеорологических последствий феномена розовых «облаков». Но тайна его так и осталась тайной. Мы так и не узнали ни природы силового поля, парализовавшего все наши попытки к сближению, ни характера столкнувшейся с нами жизни, ни местопребывания ее во Вселенной.

Интересны выводы Бориса Зернова об эксперименте пришельцев в поисках контакта с землянами. Но это их эксперимент, а не наш. Теперь я могу предложить встречный, если представится случай. Рассматривать сотворенный ими мир как прямой канал к их сознанию, к их мышлению. Разговаривать с ними через двойников и духов. Любую модель, любую материализованную ими субстанцию использовать как микрофон для прямой или косвенной связи с пришельцами. Нечто вроде элементарного телефонного разговора без математики, химии и других кодов. На простом человеческом языке по-английски или по-русски — неважно. Они поймут. Скажете, фантастика? Да, фантастика. Но конгресс уже поднялся — обратите внимание: я говорю «поднялся», а не «опустился» — до уровня подлинно научной фантастики, причем я не особенно настаиваю на слове «научной», я просто подчеркиваю: фан-тас-тики, той крылатой фантастики, когда воображение становится предвидением. (Шум в зале.) Вежливый народ ученые! Скажите громче: кощунство в храме науки! (Крики на скамьях: «Конечно, кощунство!») Чуточку справедливости, господа. Разве ученые предсказали телевидение, видеофон, лазеры, опыты Петруччи и космические полеты? Все это предсказали фантасты.

Я не пропустил ни одного заседания Комиссии предположений и порой поистине восторгался услышанным: то была фантастика чистой воды. Взрывы воображения. Разве не воображением была гипотеза о голограмме — зрительном восприятии пришельцами любого предмета с помощью отраженных световых волн? Такая фотозапись воспринимается как трехмерная и обладает всеми зрительными особенностями, присущими естественному ландшафту. Вчерашнее сообщение о покрашенных айсбергах в заливе Мелвилла у берегов Гренландии подтвердило гипотезу. Айсберги пометило краской датское эк-

спедиционное судно «Королева Христина» на виду у скачущих по небу «всадников». Они шли на высоте нескольких километров, а с борта судна уже за сотню метров невооруженный взгляд не мог обнаружить ни малейшего следа краски, тем не менее «всадники», спикировав, прежде всего смыли краску, а потом уже выловили из воды чистенький голубой лед. Так предположение о сверхзрении пришельцев стало научным фактом.

Не всякое воображение — предвидение и не всякая гипотеза разумна. Мне хочется, например, отвести гипотезу католической церкви о том, что пришельцы якобы не живые существа, наделенные разумом, а искусственные создания наших братьев «по образу и подобию божию». По существу, это та же религиозная формула о боге, земле и человеке, в которой понятие «земля» расширяется до масштабов Вселенной. Философски это дань наивному антропоцентризму, которую легко опровергнуть даже на основании тех крупиц знаний, которые мы собрали о розовых «облаках». Если бы их создателями были гуманоиды, то, посылая в космическую разведку свои кибернетические создания, они, без сомнения, учли бы возможность встречи если не с братьями по разуму, то с братьями по облику. Соответственно запрограммированные, эти биороботы легко бы нашли с человечеством общий язык, и жизнь человеческая не оказалась бы для них такой загадкой. Нет, что бы ни утверждали теологи и антропоцентристы, мы столкнулись с другой формой жизни, нам неизвестной и пока еще непонятной. Вероятно, взаимно, но нам от этого не легче. Попробуйте ответьте, например, как живут у себя наши инопланетные гости: бессмертны они или только долгоживущи и как долго и как далеко от нас? Как размножаются, как создают себе подобных, как организуют жизнь биологически и социально, в какой среде развиваются — жидкой или газообразной — или вообще не нуждаются в ней, а живут сгустками энергии, огражденными от внешней среды силовыми полями. Я обращаюсь к вашему воображению, господа: попробуйте ответить! (Шум в зале, аплодисменты.) Вотум недоверия, кажется, отменяется, никто не гонит дерзкого фантаста с трибуны. Тогда, может быть, он продолжит?..

Я вижу, как председатель машинально бросает взгляд на часы и рука его тянется к кнопке звонка. Но гул аплодисментов и выкрики на разных языках: «Просим, просим!» — тотчас же побуждают его благоразумно оставить кнопку в покое.

— Выступая здесь, Борис Зернов привел образ человека и пчелы как пример двух несопоставимых форм жизни. Подстегнем воображение: а что, если перевернуть, опрокинуть пример? Встречается, скажем, суперцивилизация пчел и на тысячелетия отставшая от нас цивилизация человека. Наблюдатели уже отметили функциональное различие в поведении пришельцев: одни режут лед, другие транспортируют его в космос, третьи фиксируют атомную схему модели, четвертые эту модель создают. Соответственно этому различны и структурные формы создателей: одни вытягиваются ленточной пилой, другие распускаются гигантским цветком, третьи располагаются багровым туманом, четвертые сгущаются в вишневый кисель. Напрашивается вопрос: а не рой ли перед нами, высокоразвитый рой существ с их обособленным функциональным развитием? Кстати, жизнь в улье и организована иначе, чем в жилых домах на нью-йоркской Парк-авеню или в московских Черемушках. И труд, и отдых. Да нужен ли им отдых? Присуще ли им чувство прекрасного? Есть ли у них, скажем, музыка? Что им заменяет спорт? Еще раз повторяю: попробуйте ответить. Как в шахматах с подсчетом возможных вариантов. Трудновато, конечно? Да. Но ведь именно так делают гроссмейстеры.

А мне вот странно: почему гроссмейстеры от науки до сих пор не спросили себя о главном: зачем к нам прибыли гости? (Шум в зале.) У всех ответ наготове — знаю, знаю, даже два ответа. Одни — их примерно девяносто процентов — считают, что пришельцам зачем-то понадобился земной лед, возможно уникальный по своему изотопному составу в окружающем космосе. Меньшинство — во главе с Томпсоном — полагает, что это разведка с агрессивными целями в будущем. Я лично считаю, что разведка уже была, мы просто ее проморгали. А сейчас прибыла мощная, оснащенная (настороженная тишина в аудитории, слышно только шипение репортерских магнитофонов) не

завоевателей, нет — ваших инопланетных коллег, господа, для изучения незнакомой формы жизни. (Крики с мест: «А лед?») Погодите, будет и лед. Это побочная операция. А главное — мы сами, высшая форма белковой жизни, замешанной на воде. Изучить эту жизнь здесь на Земле им что-то мешает. Может быть, внешняя среда, может быть, опасение ее нарушить. Что делать, с чего начать? С божьего промысла, с сотворения мира. (Шум в зале, кто-то истошно кричит: «Замолчите, богохульник!») Я не больший богохульник, чем отец кибернетики Винер. Когда-то такие, как вы, так же истошно кричали: «Это от дьявола! Он посягает на вторую заповедь! Не сотвори себе кумира и всякого подобия!» А сейчас вы конструируете роботов и мечтаете об электронном мозге. Мысль создать модель нашей жизни во всем ее богатстве и сложности естественна для пришельцев, ибо что такое познание, как не моделирование с помощью мысли? А переход от мысленного моделирования к вещественному — только один шаг к прогрессу. Когда-нибудь и мы его сделаем, уже называют срок: будущее столетие. Так почему же сверхцивилизации пришельцев не достичь этого раньше, скажем, на тысячу лет?

Писатель умолк, допил что-то прохладительное в бокале с соломинкой и задумался. Аудитория ждала. Никто не кашлял, не ерзал, не шептался с соседями. Я не знаю лекции, которую бы слушали с таким уважительным вниманием. А он молчал, и взгляд его, словно отрешенный от всего, что его окружало здесь, казалось, нащупывал что-то далекое-далекое, кроме него, никому не доступное.

— Если можно сделать модель жизни, можно унести ее с собой,— сказал он так тихо, что его не расслышали бы даже в трех шагах от стойки бара, но здесь никто не упустил даже интонации,— записать и восстановить где-то у себя поблизости, создав питательную среду для ее развития. Что нужно для этого? Искусственный спутник, астероид, планета, модель земной атмосферы и солнечной радиации. И главное — вода, вода, вода, без которой невозможна белковая жизнь. В этом и смысл переброски земного льда в количестве, достаточном для обводнения планеты. Вот тогда и возникает в глубинах

нашей, а может быть, и не нашей галактики новый мир — не повторение, а подобие нашего, но подобие с тончайшим портретным сходством, потому что все модели пришельцев безошибочны и точны. (Перебивающая реплика с места: «Космический зоопарк с человекообразными на свободе!») Конечно, там будут и такие, как автор этой реплики. (Смех в зале.) Но я бы поправил его: не зоопарк, а лаборатория. Или точнее: научный институт, где жизнь человеческая во всей сложности ее психических, бытовых и социальных аспектов станет предметом глубокого, бережного и осторожного изучения. Конечно, ее будут изучать — для этого и ставится опыт, но изучать, не мешая ее течению, изучать в развитии и движении вперед, и, поняв это движение, быть может, помочь уточнить и ускорить его. Пожалуй, я все сказал. Это моя гипотеза. Хотите — оспаривайте! Как всякую рожденную воображением гипотезу, ее, конечно, легко опровергнуть. Но мне радостно думать, что где-то в далях Вселенной живет и движется частица нашей жизни, пусть смоделированная, пусть синтезированная, но созданная для великой цели — сближения двух пока еще далеких друг от друга цивилизаций, основы которой были заложены здесь, на Земле. И если вернутся пришельцы, то вернутся уже понявшими нас, обогащенными таким пониманием, что-то сумевшими взять от нас и знающими, что дать нам на взаимном пути к совершенству.

Чуть сгорбившись, писатель сошел с трибуны. Его провожала тишина более красноречивая, чем буря аплодисментов.

Глава XXVIII

ФИОЛЕТОВОЕ ПЯТНО

Мы вырубили нечто вроде окопчика на самом краю ледяного плато, обрезанного будто гигантским ножом. Глянцевитый до блеска, бледно-голубой срез, отражавший такое же голубое, без единого облачка небо, уходил вниз с высоты пятиэтажного дома. Собственно, то был не срез,

а вырез — широкая, метров триста в поперечнике, ледяная выемка, тянувшаяся за горизонт. Ее идеально ровная и прямая структура напоминала русло искусственного канала перед пуском воды. Пустой канал, вырубленный в ледяном массиве, подходил вплотную к фиолетовому «пятну».

В сплошной стене холодного голубого огня оно темнело, как вход или выход. Не только снегоход — ледокол средней руки свободно бы прошел сквозь него, не задев неровных, словно пульсирующих его краев. Я прицелился камерой, потратив на него несколько метров пленки, и выключился. Пятно как пятно — никаких чудес!

Зато стена голубого огня превосходила все чудеса мира. Представьте себе зажженный на снегу синеватый огонь спиртовки, подсвеченный сзади лучами повисшего над горизонтом неяркого солнца. Блистающий огонек голубеет на свету, рядом с ним вздымается другой, дальше змеится третий, еще дальше — четвертый, и все они не сливаются в плоское и ровное пламя, а примыкают друг к другу гранями какого-то удивительного, пылающего кристалла. Теперь увеличьте все это в сотни и тысячи раз. Огни вымахают в километровый рост, загнутся внутрь где-то в бледно-голубом небе, сольются гранями в кристалл-гигант, не отражающий, а похищающий всю прелесть этого неяркого неба, огня и солнца. Напрасно кто-то назвал его октаэдром. Во-первых, он плоский снизу, как плато, на котором стоит, а во-вторых, у него множество граней, неодинаковых и несимметричных, причудливых хрустальных поверхностей, за которыми пылал и струился немыслимой красоты голубой газ.

— Нельзя глаз оторвать,— сказала Ирина, когда мы подошли по ледяному катку к голубому пламени. Подошли метров на тридцать — дальше не пошли: тело наливалось знакомой многопудовой тяжестью.— Голова кружится, как над пропастью. Я была у Ниагары — потрясающе. Но это несоизмеримо. Почти гипнотизирует.

Я старался не смотреть на фиолетовое пятно. Оно выглядело естественно и даже тривиально — лиловый сатин, натянутый на кривую раму.

— Неужели это вход? — вслух размышляла Ирина.— Дверь в чудо.

Я вспомнил вчерашний разговор Томпсона с Зерновым.

— Я же говорил вам, что это выход. Дым, газ, черт-те что. Они прошли сквозь это цепочкой. Сам видел. А теперь прошли мы.

— Не вы, а направленная взрывная волна.

— Какая разница? Я показал им, что человек способен мыслить и делать выводы.

— Комар нашел отверстие в накомарнике и укусил. Разве это доказательство его способности мыслить и делать выводы?

— Как надоели мне эти разговоры о комариных цивилизациях! Мы подлинная цивилизация, а не мошки-букашки. Думаю, что они поняли. А это уже контакт.

— Слишком дорогой. Человек-то погиб.

— Элементарный несчастный случай. Могла отсыреть проводка или еще что-нибудь. Всякое бывает. Взрывник — не огородник. А Хентер вообще погиб по собственной неосторожности — мог вовремя спрыгнуть в расщелину. Отраженная взрывная волна прошла бы поверху.

— Они все-таки ее отразили.

— Вторую. Первая же прошла. А вторично Хентер мог ошибиться, не рассчитал направления.

— Вернее, они сами рассчитали и силу заряда и направление волны. И отвели ее.

— Попробуем другое.

— Что именно? Они не чувствительны ни к бета-, ни к гамма-лучам.

— А лазер или водомет? Обыкновенный гидромонитор. Уже сама по себе смена средств проникновения за пределы фиолетового «пятна», прибегая к нашим понятиям, заставит их призадуматься. А это уже контакт. Или, по крайней мере, преамбула.

Новое оружие Томпсона подвели почти вплотную к «пятну», между ними было не более пятнадцати метров — видимо, силовое поле в этом микрорайоне бездействовало. С моей съемочной площадки на верху плато гидромонитор напоминал серую кошку, приготовившуюся

к прыжку. Ее обтекаемые металлические поверхности тускло поблескивали на снегу. Англичанин-механик в последний раз перед пуском проверял какие-то сцепления и контакты или что уж там, не знаю. В двух шагах от него была вырублена во льду щель глубиной в человеческий рост.

Ирины со мной не было. После гибели взрывника она отказалась присутствовать при «самоубийствах», организованных и оплаченных маньяком, место которому в «сумасшедшем доме». Сам «маньяк» вместе с Зерновым и другими советниками подавал сигналы из своего штаба по телефону. Штаб этот находится неподалеку от меня, на плато в хижине из блоков с тепловой изоляцией. Тут же возвышалась цистерна из ребристого металла, куда загружали крупно нарубленный лед и откуда талая вода поступала в гидромонитор. Надо сказать, что технически экспедиция была задумана и оснащена безупречно.

Я тоже приготовился, нацелив камеру. Внимание, начали! Сверкнувшая саблевидная струя пробила газовую завесу «пятна», не встретив никакого сопротивления, и пропала за ней, как отрезанная. Через полминуты сверхскоростная струя сместилась, рассекла фиолетовый мираж наискось и снова пропала. Никаких изменений в окружающей фактуре «пятна» — ни расходящихся колец, ни турбулентных, ни ламинарных течений, которые мог бы вызвать удар водомета в родственной среде, я не обнаружил даже в морской бинокль.

Так продолжалось минуты две, не больше. Затем вдруг «пятно» медленно поползло вверх, как муха по голубой занавеске.

Струя водомета, встретив ее сияющую синеву, не прошла сквозь нее, а раскололась, как хлынувшая в стекло магазинной витрины струя из уличного брандспойта. Мгновенно у голубого пламени закружился водяной смерч, не отраженный в сторону, а загибающийся книзу, к земле. Я не претендую на точность описания. Специалисты, просматривавшие потом отснятую пленку, находили какие-то закономерности в движении водяных брызг, но мне все казалось именно так.

Я поснимал еще немножко и выключился, решив, что

для науки достаточно, а для зрителей придется даже подрезать. Но тут выключился и водомет: Томпсон, видимо, понял бессмысленность эксперимента. А «пятно» все ползло и ползло, пока не исчезло где-то на летной высоте, за поворотом загибающихся внутрь гигантских голубых языков.

То было мое самое сильное впечатление в Гренландии. А впечатлений было много: гостеприимный аэропорт в Копенгагене, многослойные датские бутерброды, краски Гренландии с воздуха — белизна ледникового плато на севере, а на юге черный цвет плоскогорья, с которого этот лед соскоблили, темно-красные уступы прибрежных гор и синева моря, переходящая в тусклую зелень фиордов, а затем каботажное плавание на шхуне вдоль берегов на север, в Уманак, откуда шла в свой последний путь знаменитая экспедиция Вегенера[1].

Уже на «Акиуте» — так называлась наша каботажная шхуна — мы попали в атмосферу всеобщей взволнованности и какого-то совсем уж непонятного возбуждения, охватившего весь экипаж от капитана до кока. Не владея ни одним из скандинавских языков, мы так ничего бы и не узнали, если бы наш единственный попутчик — доктор Карл Петерсон с датской полярной станции в Годхавне не оказался словоохотливым собеседником, к тому же отлично объяснявшимся по-английски.

— Вы видели раньше наши фиорды? — говорил он за чашкой кофе в кают-компании.— Не видели? Ветер гнал здесь морской лед даже в июле. Попадались даже поля в три и в пять километров. В Годхавне половина гавани круглый год подо льдом. Айсберги караванами шли с ледников Упернивика и севернее. Весь Баффинов залив был забит ими, как проезжая дорога. Куда ни взглянешь — два-три в поле зрения. А сейчас? День плывем — ни одного не встретили. А тепло как! И в воде, и в воздухе. Весь экипаж психует — заметили? Грозится на сейнер уйти — великий рыбацкий промысел начинается: сельдь и треска косяками сейчас идут из норвежских вод. С воздуха, говорят, их даже у восточных фиордов

[1] Немецкая экспедиция, исследовавшая в 1930—1931 гг. мощность ледникового покрова в центральных и северных районах материка. Вегенер трагически погиб во время своей последней зимовки.

видели. Вы хотя бы карту знаете? Что такое наше восточное побережье? Там ни зимой ни летом прохода нет: весь русский полярный лед собирается. А где он теперь, этот полярный лед? На Сириусе? Всё «всадники» выловили. Кстати, почему они — «всадники»? Кто видел, говорит: шары или дирижабли. Мне лично не повезло — не видал. Может быть, в рейсе посчастливится? Или в Уманаке?

Но ни в рейсе, ни в Уманаке пришельцев мы не обнаружили. Они появились здесь раньше, когда начали выемку глетчерного ледника, спускавшегося в воды залива. Потом ушли, оставив вырезанное во льду идеальное ложе канала, протянувшееся почти на триста километров в глубь материкового плато. Как будто они знали, что мы пойдем по их следам из Уманака, откуда экспедиции Вегенера пришлось ползти на санках по гравию, вмерзшему в лед. А нас ожидало роскошное ледяное шоссе шире всех асфальтовых магистралей мира и вездеход на гусеницах, заказанный в Дюссельдорфе. Экипаж был наш, антарктический, но сам вездеход был меньше «Харьковчанки» и не обладал ни ее ходом, ни выносливостью.

— Еще намучаемся с ним — увидишь. Час вперед, два на месте,— сказал Вано, только что получивший радиограмму из штаба Томпсона о том, что два других снегохода экспедиции, вышедшие на сутки раньше, до сих пор не прибыли к месту назначения.— А нам и так надоело до чертиков. В лавках гвоздя не купишь. Вместо сахара — патока. Хорошо, унты с собой привез, а то камики с травой носи.

Камики — эскимосская обувь из собачьего меха, которую носили все в гренландских походах,— его отнюдь не восхищали. К окружающему пейзажу, воспетому кистью Рокуэлла Кента, он был полностью равнодушен. А Толька даже осуждающе поглядел на Ирину, по-детски восторгавшуюся и готикой Уманакских гор, и красками гренландского лета, непонятно почему напоминающего подмосковное.

— Очень понятно,— пояснил Толька,— линия циклонов сместилась, снега нет, ветерок июльский, малаховский. Не скули, Вано, донесем без приключений.

Но приключения начались уже через три часа после старта. Нас остановил вертолет, посланный Томпсоном нам навстречу: адмирал нуждался в советниках и хотел ускорить приезд Зернова. Вертолет привел Мартин.

То, что он рассказал, показалось фантастичным даже для нас, уже приученных к фантастике «всадников ниоткуда».

На этом же вертолете Мартин совершил облет нового чуда пришельцев — голубых протуберанцев, смыкавшихся наверху граненой крышкой. Розовые «облака» появились, как всегда, неожиданно и неизвестно откуда. Они прошли над Мартином, не обратив на него никакого внимания, и скрылись в фиолетовом кратере где-то у края крышки. Туда и направил свою машину Мартин.

Он приземлился на фиолетовой площадке и не нашел никакой опоры. Вертолет опускался все ниже и ниже, свободно пронизывая лилово-серую облачную среду. Минуты две не было видимости, а затем вертолет Мартина очутился над городом, над большим современным городом, только с ограниченным горизонтом. Голубой купол неба как бы прикрывал его выпуклой крышей. Что-то знакомое показалось Мартину в облике города. Он чуть снизился и повел машину вдоль центральной его артерии, пересекающей город наискось, и тотчас же узнал ее: Бродвей. Догадка показалась ему настолько чудовищной, что он зажмурился. Открыл глаза — все по-прежнему. Вон Сорок вторая улица, за ней вокзал, чуть ближе Таймс-сквер; левее ущелье Уолл-стрит, даже церковка видна, знаменитая миллионерская церковь. Мартин узнал и Рокфеллер-центр, и музей Гугенхейма, и прямоугольный брус Эмпайр-билдинг. С обсервационной площадки крохотные фигурки туристов махали ему платками, по улицам внизу ползли разноцветные, как бусы, машины. Мартин повернул было к морю — не вышло: что-то помешало ему, отвело вертолет. И тут он понял, что не он ведет вертолет и выбирает направление, а его самого ведут и направляют невидимые глаза и руки. Еще минуты три его вели над рекой, казалось срезанной куполом неба,— изнутри голубое сияние выглядело совсем как летнее небо, освещенное где-то спрятавшимся у горизонта солнцем,— про-

тащили над кронами Центрального парка, едва не довели ло Гарлема и тут начали подымать или, вернее, выталкивать сквозь бесплотную лиловую пробку в естественную атмосферу Земли. Так он очутился вместе с машиной в нормальном небе, над скрытым в голубом пламени городом, и тотчас же почувствовал, что вертолет снова послушен и готов к повиновению. Тогда Мартин, уже не раздумывая, пошел на посадку и сел на плато у лагеря экспедиции.

Мы жадно слушали, не перебивая рассказчика ни единым словом. Потом Зернов, подумав, спросил:

— Адмиралу рассказывали?

— Нет. Он и так чудит.

— Вы хорошо все видели? Не ошиблись? Не спутали?

— Нью-Йорк не спутаешь. Но почему Нью-Йорк? Они даже близко к нему не подходили. Кто-нибудь читал о красном тумане в Нью-Йорке? Никто.

— Может быть, ночью? — предложил я.

— Зачем? — возразил Зернов.— Мы уже знаем модели, созданные по зрительным образам, по отпечаткам в памяти. Вы детально знаете город? — спросил он Мартина.

— Я его уроженец.

— Сколько раз бродили по улицам?

— Тысячи.

— Ну вот, бродили, смотрели, привыкли. Глаз фиксировал, память откладывала отпечаток в кладовку. Они просмотрели, отобрали и воспроизвели.

— Значит, это мой Нью-Йорк, каким я его видел?

— Не убежден, они могли смоделировать психику многих нью-йоркцев. В том числе и вашу. Есть такая игра джиг-со, знаете?

Мартин кивнул.

— Из множества кусочков разноцветной пластмассы собирают ту или иную картину — портрет, пейзаж, натюрморт,— пояснил нам Зернов.— Так и они: из тысячи зрительных образов монтируют нечто существующее в действительности, но виденное и запечатленное разными людьми по-разному. Я думаю, что Манхеттен, воссозданный в голубой лаборатории пришельцев, не совсем настоящий Манхеттен. Он в чем-то отличался от реального.

В каких-то деталях, в каких-то ракурсах. Зрительная память редко повторяет что-либо буквально, она творит. А коллективная память — это, в свою очередь, материал для сотворчества. Джиг-со.

— Я не ученый, сэр, — сказал Мартин, — но ведь это невозможно. Наука не объяснит.

— Наука... — усмехнулся Зернов. — Наша земная наука еще не допускает возможности повторного сотворения мира. Но она все-таки предвидит эту возможность в далеком, может быть, очень далеком будущем.

После рассказа Мартина все уже показалось мне пресным, пока я не увидел и не запечатлел на пленке голубые протуберанцы и фиолетовое «пятно». Новое чудо пришельцев было так же необычно и так же малообъяснимо, как и все их прежние чудеса. С такими мыслями я возвращался в лагерь.

А навстречу уже бежала чем-то встревоженная Ирина.

— К Томпсону, Юрка! Адмирал созывает всех участников экспедиции. Военный совет.

Глава XXIX

ДЖИГ-СО

Мы оказались последними из явившихся и сразу почувствовали атмосферу любопытства и настороженности. Экстренный, даже чрезвычайный характер заседания, назначенного сейчас же вслед за экспериментом, свидетельствовал о колебаниях Томпсона. Обычно склонный к единоличным решениям, он не слишком заботился о коллегиальности. Теперь он, по-видимому, решил прибегнуть к консультации большинства.

Говорили по-английски. Не понимавшие подсаживались для перевода к соседям.

— Эксперимент удался, — начал без предисловий Томпсон. — Они уже перешли к обороне. Фиолетовый «вход» передвинут на верхние грани купола. В связи с этим я попробую применить кое-что новое. Сверху, с воздуха.

— Бомбу? — спросил кто-то.

— А если бомбу?

— Ядерной у вас нет,— холодно заметил Зернов,— фугасной тоже. В лучшем случае пластиковая, годная подорвать сейф или автомашину. Кого вы думаете испугать хлопушками?

Адмирал метнул на него быстрый взгляд и отпарировал:

— Я думаю не о бомбах.

— Советую вам рассказать, Мартин,— сказал Зернов.

— Знаю,— перебил адмирал.— Направленная галлюцинация. Гипномираж. Попробуем кого-нибудь другого — не Мартина.

— У нас один пилот, сэр.

— Я не собираюсь рисковать вертолетом. Мне нужны парашютисты. И не просто парашютисты, а...— он пожевал губами в поисках подходящего слова,— скажем, уже встречавшиеся с пришельцами.

Мы переглянулись. Зернов, как человек неспортивный, полностью исключался. Вано повредил руку во время последней поездки. Я прыгал два раза в жизни, но без особого удовольствия.

— Мне хотелось бы знать, сумеет ли это сделать Анохин? — прибавил Томпсон.

Я разозлился:

— Дело не в умении, а в желании, господин адмирал.

— Вы хотите сказать, что у вас этого желания нет?

— Вы угадали, сэр.

— Сколько вы хотите, Анохин? Сто? Двести?

— Ни цента. Я не получаю жалованья в экспедиции, господин адмирал.

— Все равно. Вы подчиняетесь приказам начальника.

— В распорядке дня, господин адмирал. Я снимаю, что считаю нужным, и представляю вам копию позитива. Кстати, в обязанности кинооператора не входит умение прыгать с парашютом.

Томпсон снова пожевал губами и спросил:

— Может, кто-нибудь другой?

— Я прыгал только в парке культуры и отдыха,—

сказал по-русски Дьячук, укоризненно взглянув на меня,— но могу рискнуть.

— Я тоже,— присоединилась Ирина.

— Не лезь поперек батьки в пекло,— оборвал я ее.— Операция не для девушек.

— И не для трусов.

— О чем разговор? — поинтересовался терпеливо пережидавший нашу перепалку адмирал Томпсон.

Я предупредил ответ Ирины:

— О формировании специального отряда, господин адмирал. Будут прыгать двое — Дьячук и Анохин. Командир отряда Анохин. Все.

— Я не ошибся в вас,— улыбнулся адмирал.— Человек с характером — именно то, что нужно. О'кей. Самолет поведет Мартин.— Он оглядел присутствующих.— Вы свободны, господа.

Ирина поднялась и, уже выходя, обернулась:

— Ты не только трус, но и провокатор.

— Спасибо.

Я не хотел ссориться, но не уступать же ей, может быть, новое Сен-Дизье.

Перед полетом нас проинструктировали:

— Самолет подымется до двух тысяч метров, зайдет с северо-востока и снизится к цели до двухсот метров над выходом. Опасности никакой: под ногами только воздушная пробка. Пробьете ее — и готово. Мартин не мерз и дышал свободно. Ну а там как бог даст.

Адмирал оглядел каждого из нас и, словно в чем-то усомнившись, прибавил:

— А боитесь — можете отказаться. Я не настаиваю.

Я взглянул на Тольку. Тот на меня.

— Психует,— сказал по-русски Толька,— уже снимает с себя ответственность. Ты как?

— А ты?

— Железно.

Адмирал молча ждал, вслушиваясь в звучание незнакомого языка.

— Обменялись впечатлениями,— сухо пояснил я.— К полету готовы.

Самолет взмыл с ледяного плато, набрал высоту и пошел на восток, огибая пульсирующие протуберанцы. По-

том, развернувшись, круто рванул назад, все время снижаясь. Внизу опасливо голубело море бушующего, но не греющего огня. Фиолетовый «вход» был уже отлично виден — лиловая заплата на голубой парче — и казался плоским и твердым, как земля. На минутку стало чуточку страшновато: уж очень низко приходится прыгать — костей не соберешь.

— Не робейте,— посочувствовал Мартин.— Не расшибетесь. Что-то вроде пивной пены, чем-то подкрашенной.

Мы прыгнули. Первым Толька, за ним я. Оба парашюта раскрылись в полном порядке, Толькин — разноцветной бабочкой подо мной. Я видел, как он вошел в фиолетовый кратер и словно провалился в болото — сначала Толька, потом его цветной зонт. На мгновение опять стало страшно. А что там, за мутной газовой заслонкой,— лед, тьма, смерть от удара или удушья? Я не успел угадать, с головой погрузившись во что-то темное, не очень ощутимое, не имеющее ни температуры, ни запаха. Только лиловый цвет стал знакомо красным. С неощутимостью среды утратились и ощущения тела, я уже не видел его, словно растворившись в этом текучем газе. Казалось, не тело, а только сознание, мысль плавали в этой непонятной багровой пене. Ни парашюта, ни строп, ни тела — ничего не было, и меня не было.

И вдруг, как удар в глаза, голубое небо и город внизу, сначала неясный, едва различимый в туманной сетке, потом она разошлась и город приблизился, видимый все более отчетливо. Почему Мартин назвал его Нью-Йорком? Я не был там, не видел его с самолета, но по некоторым признакам представлял себе, как он выглядит. Этот выглядел иначе: не было тех знакомых по фотографиям примет — ни статуи Свободы, ни Эмпайр-билдинга, ни ущелий с обрывами небоскребов, куда, как в бездну, проваливались улицы с разноцветными бусинами автомобилей. Нет, это был не Багдад-над-Подземкой, воспетый О'Генри, и не Город Желтого Дьявола, проклятый Горьким, и не есенинский Железный Миргород, а совсем другой город, гораздо более знакомый и близкий мне, и я, еще не узнавая его, уже знал, что вот-вот узнаю, сию минуту, сейчас!

И узнал. Подо мной, как гигантская буква «А», по-

строенная в трехмерном пространстве, подымалась ажурная башня Эйфеля. Мимо нее вправо и влево загибалась кривой дугой зеленоватая лента Сены — смесь искристого серебра с зеленью подстриженного газона на солнце. Впрочем, зеленый прямоугольник Тюильрийского парка тут же показал мне, что такое настоящая, а не иллюзорная зелень. Для многих с высоты птичьего полета все реки выглядят голубыми, даже синими, для меня — зелеными. И эта зеленая Сена изгибалась вправо к Иври и влево к Булони. Взгляд сразу нащупал Лувр и вилку реки, зажавшую остров Ситэ. Дворец Юстиции и Нотр-Дам показались мне сверху двумя каменными кубиками с темным кружевом контуров, но я узнавал их. Узнал и Триумфальную арку на знаменитой площади, от которой тоненькими лучиками расходился добрый десяток улиц.

«Почему так ошибся Мартин?» — спрашивал я себя. Я не знаток Парижа, видел его только раз с высоты самолета, но всматривался долго, пока мы кружили над городом, а потом шли на посадку. А в тот же день расшифровывал виденное уже на земле, во время нашей прогулки с Ириной. Мы успели обойти и увидеть не так уж много, но смотрел я усердно и запоминал крепко. «А вдруг Мартин вовсе не ошибся?» — мелькнула мысль. Он видел Нью-Йорк, я — Париж. И в том и в другом случае — гипномираж, как сказал Томпсон. Но зачем пришельцам внушать нам разные галлюцинации? По месту рождения, особенно крепко засевшему в памяти человека? Но я уроженец не Парижа, а Москвы, однако вижу Эйфелеву башню, а не Василия Блаженного. Может быть, «облака» выбрали то, что запомнилось совсем недавно, но Мартин, по его словам, не был в Нью-Йорке добрый десяток лет. Какая логика заставляла демонстрировать нам совсем разные видовые фильмы? И снова сомнения: а может быть, все-таки не фильм, не мираж, не галлюцинации? Вдруг в этой гигантской лаборатории действительно воспроизводятся города, чем-то поразившие наших гостей? И как воспроизводятся — материально или умозрительно? И с какой целью? Постичь город как структурную форму нашего общежития? Как социальную ячейку нашего общества?

Или просто как живой, многогранный, трепещущий кусок земной жизни?

— Бред,— сказал Толька.

Я оглянулся и увидел его, висевшего рядом в двух метрах на туго натянутых стропах своего парашюта. Именно висевшего, а не падавшего, не плывущего и не влекомого ветром, а неподвижно застывшего в таком же странном неподвижном воздухе. Ни дуновения ветерка, ни единого облачка. Только чистый ультрамарин неба, знакомый город внизу да мы с Толькой, подвешенные на полукилометровой высоте на твердых, как палка, стропах непонятно каким образом закрепленного парашюта. Я все-таки говорю: в воздухе, потому что дышалось свободно и легко, как где-нибудь в Приюте Одиннадцати у вершины Эльбруса.

— Соврал Мартин,— прибавил Толька.

— Нет,— сказал я.— Не соврал.

— Значит, ошибся.

— Не думаю.

— А что ты видишь? — вдруг забеспокоился Толька.

— А ты?

— Что я, серый? Эйфелевой башни не знаю?

Значит, Толька видел Париж. Гипотеза о гипногаллюцинации, специально рассчитанной на испытуемого субъекта отпадала.

— А все-таки это не Париж. Федот, да не тот,— сказал Толька.

— Глупости.

— А где горы в Париже? Пиренеи далеко, Альпы тоже. А это что?

Я взглянул направо и увидел шесть лесистых склонов, увенчанных каменными рыжими пиками в снежных шапках.

— Может быть, это здешние, гренландские? — предположил я.

— Мы внутри купола. Никаких гор кругом. А потом, где ты видел снежные шапки? Их по всей земле теперь не найдешь.

Я еще раз взглянул на горы. Между ними и куполом тянулась синяя полоска воды. Озеро или море?

— Как эта игра называется? — вдруг спросил Толька.

— Какая игра?

— Ну, когда из кусочков что-то клеют. Вроде конструктора.

— Джиг-со.

— Сколько одной прислуги в отеле, не считая постояльцев? — размышлял Толька.— Человек тридцать. Разве все парижане? Кто-нибудь наверняка из Гренобля. Или откуда-нибудь с горами и морем. У каждого свой Париж пополам с Пошехоньем. Если все это склеить, модели не будет. Не тот Федот.

Он повторил предположение Зернова, но я все еще сомневался. Значит, игра в кубики? Сегодня построим, завтра сломаем. Сегодня Нью-Йорк, завтра Париж. Сегодня Париж с Монбланом, завтра с Фудзиямой. А почему бы и нет? Разве то, что создано на земле природой и человеком,— это предел совершенства? Разве повторное его сотворение не допускает его улучшения? А может быть, в этой лаборатории идут поиски типического в нашей земной жизни? Может быть, это типическое здесь выверяется и уточняется? Может быть, «не тот Федот» для них именно тот, которого ищут?

В конце концов я запутался. А зонт парашюта висел надо мной, как крыша уличного кафе. Не хватало только столиков с бокалами лимонада в такую жару. Только сейчас я заметил, как здесь жарко. Солнца нет, а пекло, как в Сухуми.

— А почему мы не падаем? — вдруг спросил Толька.

— Ты, между прочим, кончил семилетку или выгнали из пятого?

— Не трепись. Я же по делу.

— И я по делу. Тебе знакомо явление невесомости?

— В невесомости плаваешь. А я двинуться не могу. И парашют как деревянный. Что-то держит.

— Не что-то, а кто-то.

— Для чего?

— Из любезности. Гостеприимные хозяева дают урок вежливости незваным гостям.

— А Париж зачем?

— Может быть, им нравится его география?

— Ну, если они разумны...— взорвался Толька.

— Мне нравится это «если».

— Не остри. Должна же быть у них какая-то цель.

— Должна. Они записывают наши реакции. Вероятно, и этот наш разговор.

— Чушь зеленая,— заключил Толька и замолчал, потому что нас вдруг сорвало, как внезапно налетевшим порывом ветра, и понесло над Парижем.

Сначала мы снизились метров на двести. Город еще приблизился и стал отчетливее. Заклубились черные с проседью дымки над фабричными трубами. Самоходные баржи на Сене стали отличимы от пестрых катерков, как обувные коробки от сигаретных пачек. Червячок, медленно ползущий вдоль Сены, превратился в поезд на подъездных путях к Лионскому вокзалу, а рассыпанная крупа на улицах — в цветную мозаику летних костюмов и платьев. Потом нас швырнуло вверх, и город опять стал удаляться и таять. Толька взлетел выше и сразу исчез вместе с парашютом в сиреневой пробке. Через две-три секунды исчез в ней и я, а затем мы оба, как дельфины, подпрыгнули над гранями голубого купола, причем ни один из парашютов не изменил своей формы, словно их все время поддували неощутимые воздушные струи, и нас понесло вниз, к белому полотну ледника.

Мы приземлялись медленнее, чем при обычном прыжке с парашютом, но Толька все же упал, и его поволокло по льду. Пока я освободился от строп и поспешил помочь ему, к нам уже бежали из лагеря, пропустив вперед Томпсона. В расстегнутой куртке, без шапки, с подстриженным ежиком седины, он напоминал старого тренера — таких я видел на зимней Олимпиаде в Гренобле.

— Ну как? — спросил он с привычной повелительностью манеры и тона.

И, как всегда, меня эта повелительность разозлила.

— Нормально,— сказал я.

— Мартин уже сигнализировал, что вы оба благополучно вышли из пробки.

Я молча пожал плечами. Зачем они держали в воздухе Мартина? Чем бы он нам помог, если бы мы *неблагополучно* вышли из пробки?

— Что там? — наконец спросил Томпсон.

— Где?

«Потерпишь, милый, потерпишь».
— Вы прекрасно знаете где.
— Знаю.
— Ну?
— Джиг-со.

Глава XXX

ПАРЫ

Мы возвращались в Уманак. Мы — это наша антарктическая компания, плюс научно-технический персонал экспедиции, плюс два вездехода, где мы все размещались, плюс санный караван с экспедиционным имуществом. Вертолет еще раньше был возвращен на полярную базу в Туле́, а командир наш с аппаратурой, которую можно было погрузить на самолет, вылетел в Копенгаген.

Там и состоялась его последняя пресс-конференция, на которой он опроверг свои официальные и частные заявления о каких бы то ни было удачах экспедиции. Эту мрачную перекличку вопросов и ответов мы слушали в трансляции из Копенгагена в радиорубке вездехода и сохранили для потомства в магнитофонной записи. Все возгласы, шум, смех и несущественные возгласы с места мы вырезали, оставив только вопросно-ответный костяк.

« — Может быть, командор в качестве преамбулы сделает сначала официальное заявление?

— Оно будет кратким. Экспедиция не удалась. Не удалось поставить или довести до конца ни один научный эксперимент. Мне не удалось определить ни физико-химическую природу голубого свечения, ни явления за его пределами — я имею в виду пространство, ограниченное протуберанцами.

— Почему?

— Силовое поле, окружающее площадь свечения, оказалось непроницаемым для нашей техники.

— Вы говорите о технике экспедиции, но проницаемо

ли оно вообще, учитывая все возможности земной науки?

— Не знаю.

— В печать, однако, проникли сведения о его проницаемости.

— Что вы имеете в виду?

— Фиолетовое «пятно».

— Мы видели несколько таких «пятен». Они действительно не защищены силовым полем.

— Только видели или пытались пройти?

— Пытались. И даже прошли. В первом случае — направленная взрывная волна, во втором — сверхскоростная струя водомета.

— Какие же результаты?

— Никаких.

— А гибель одного из участников взрыва?

— Элементарный несчастный случай. Мы учитывали возможность отраженной волны и предупреждали Хентера. К сожалению, он не воспользовался убежищем.

— Нам известно о том, что летчику экспедиции удалось проникнуть внутрь купола. Это верно?

— Верно.

— Почему же он отказывается давать интервью? Откройте тайну.

— Никакой тайны нет. Просто я запретил разглашение сведений о нашей работе.

— Не понимаем причин. Объясните.

— Пока экспедиция не распущена, я один отвечаю за всю информацию.

— Кто, кроме Мартина, сумел проникнуть за пределы голубого свечения?

— Двое русских. Кинооператор и метеоролог.

— Каким образом?

— На парашютах.

— А обратно?

— Тоже.

— С парашютом прыгают, а не взлетают. Может быть, они воспользовались помощью с вертолета?

— Они не воспользовались помощью с вертолета. Их остановило, выбросило и приземлило силовое поле.

— Что они видели?

— Спросите у них, когда экспедиция будет распущена. Я думаю, что все виденное ими — внушенный мираж.

— С какой целью?

— Смутить и напугать человечество. Внушить ему мысль о всемогуществе их науки и техники. Меня в известной степени убедило выступление Зернова на Парижском конгрессе. Весь их супергипноз — это контакт, но контакт будущих колонизаторов с дикарями-рабами.

— А то, что видели летчик и парашютисты, их тоже смутило и напугало?

— Не убежден. Парни крепкие.

— А они согласны с вашим мнением?

— Я им его не навязывал.

— Нам известно, что летчик видел Нью-Йорк, а русские — Париж. Кое-кто предполагает, что это действительная модель, как и Сэнд-сити.

— Мое мнение вы уже слышали. А кроме того, площадь голубого свечения все же не столь велика, чтобы построить на ней два таких города, как Нью-Йорк и Париж.

КОММЕНТАРИИ ЗЕРНОВА. Адмирал передергивает. Имеется в виду не постройка, а воспроизведение зрительных образов, какие пришельцам удалось записать. Как в монтажной съемочной группе. Что-то отбирается, просматривается и подгоняется. А нашим ребятам и Мартину просто повезло: пустили в монтажную с «черного хода».

Так мы коротали часы по дороге в Уманак, самой удивительной дороге в мире. Нет таких машин, чтобы создать столь идеальную плоскость. Но вездеход все-таки стал. Отказала гусеница или что-то заело в моторе, Вано не объяснил. Только буркнул: «Говорил — наплачемся». Прошел час, давно уже ушел вперед и наш коллега-вездеход, и его санный хвост, а мы все чинились. Впрочем, никто не винил Вано и не плакал. Лишь я шагал как неприкаянный, всем мешая. Ирина писала корреспонденцию для «Советской женщины», Толька вычерчивал какие-то одному ему понятные карты воздушных течений,

обусловленных потеплением, Зернов, как он сам признался, готовил материал для научной работы — может быть, для новой диссертации.

— Второй докторской? — удивился я.— Зачем?

— Почему докторской? Кандидатской, конечно.

Я подумал, что он шутит.

— Очередной розыгрыш?

Он посмотрел на меня с сожалением: хороший педагог всегда жалеет болванов.

— Моя наука,— терпеливо объяснил он,— отвергнута настоящим, а будущего ждать долго. Не доживу.

Я все еще не понимал:

— Почему? Пройдет зима, другая — в Заполярье снег опять смерзнется. А там и лед.

— Процесс льдообразования,— перебил он меня,— знаком каждому школьнику. А меня интересует тысячелетний материковый лед. Скажешь, будут похолодания — и он образуется? Будут. За последние полмиллиона лет было по меньшей мере три таких ледяных нашествия, последнее — двадцать тысяч лет назад. Ждать следующего прикажешь? И откуда ждать? На отклонение земной оси надеяться не приходится. Нет, голубок, тут финти не верти, а специальность менять придется.

— На какую?

Он засмеялся:

— Далеко от «всадников» не уйду. Скажешь: мало экспериментального, много гипотетического? Много. Но, как говорят кибернетики, почти для всех задач можно найти почти оптимальное решение.— Взгляд его постепенно скучнел, даже добрые преподаватели устают с почемучками.— Ты бы пошел поснимал что-нибудь. Твоя специальность еще котируется.

Я вышел с камерой. Что там снимать, кроме последнего льда на Земле?.. Но все-таки вышел. Вано с предохранительным щитком на лице сваривал лопнувшие звенья гусеницы. Сноп белых искр даже не позволял ему помешать. Я посмотрел назад, вперед и вдруг заинтересовался. Примерно на расстоянии километра перед нами посреди безупречного ледяного шоссе торчало что-то большое и ярко-красное, похожее на поджавшего ноги мамонта, если бы здесь водились мамонты, да еще с такой

красной шкурой. А может быть, рыжий цвет издали, подсвеченный висящим у горизонта солнцем, приобретает для глаза такую окраску? Может быть, это был попросту очень крупный ярко-рыжий олень?

Я все же рискнул подойти к Вано.

— Будь другом, генацвале, посмотри на дорогу.

Он посмотрел.

— А на что смотреть? На рыжий камень?

— Он не рыжий, а красный.

— Здесь все камни красные.

— А почему посреди дороги?

— Не посреди, а сбоку. Когда лед срезали, камень оставили.

— Сюда ехали, его не было.

Вано посмотрел дольше и внимательнее.

— Может, и не было. Поедем — увидим.

Издали камень казался неподвижным, и чем больше я смотрел на него, тем больше он походил именно на камень, а не на притаившегося зверя. Я еще со школьной скамьи знал, что в Гренландии крупного зверя нет. Олень? А чем будет питаться олень на глетчерном леднике, да еще наполовину срезанном?

Вано снова занялся своей сваркой, не обращая больше внимания ни на меня, ни на камень. Я решил подойти ближе. Какая-то смутная догадка таилась в сознании — я еще не мог сказать точно какая, но что-то подсказывало мне: иди, не прогадаешь. И я пошел. Сначала камень или притихший зверь не вызывал никаких ассоциаций, но я все силился что-то вспомнить. Бывает так, что забудешь что-то очень знакомое, мучительно пытаешься вспомнить и не можешь. Я все шел и оглядывался. Узнаю или нет? Вспомню или нет? И когда красный зверь вырос перед главами и совсем перестал быть камнем, я увидел, что это не зверь. Я вспомнил и узнал.

Передо мной почти поперек ледяной дороги стояла пурпурная «Харьковчанка», наш знаменитый антарктический снегоход. И самым удивительным и, пожалуй, самым страшным оказалось то, что это был именно наш снегоход, с продавленным передним стеклом и новеньким снеговым зацепом на гусенице. Именно та «Харьковчанка», на которой мы ушли на поиски розовых «обла-

ков» и которая провалилась в трещину, а потом раздвоилась.

Я впервые по-настоящему испугался. Что это — гипнотрюк или снова их проклятая реальность? Осторожно, вернее, настороженно обошел машину: все было воспроизведено с привычной стереотипной точностью. Металл и на ощупь был металлом, трещины на промятом плексигласе были совсем свежими, и внутренняя изоляционная обшивка двери чуть-чуть выпирала внизу: дверь была не заперта. Значит, снова ловушка, снова я в роли подопытной морской свинки и черт знает, что меня ждет. Конечно, я мог удрать и вернуться с товарищами, что было бы наверняка умнее и безопаснее. Но любопытство снова переборола страх. Хотелось самому открыть дверь эту, придирчиво ощупать ручку, нажать, услышать знакомый лязг металла и войти. Я даже угадывал, что там увижу: мою меховую кожанку на вешалке, лыжи в держателях и мокрый пол — ребята только что наследили. А полуприкрытая внутренняя дверь будет привычно поскрипывать: холодный воздух из тамбура начнет просачиваться в кабину.

Все так и произошло, повторив когда-то запомнившееся. Даже смешно, как повторялись детали — защитный рукав у куртки, затоптанный коврик со следами еще не растаявшего снега, даже царапины на полу от санных полозьев: сани тащили в кабину, а потом наружу сквозь верхний люк, ведь все это случилось после того, как снегоход провалился в трещину. Я же увидел эти следы, выходя, и второй раз увидел в тамбуре двойника, и сейчас видел уже трижды повторенное. И дверь в кабину снова дрожала, и снова я колебался: входить или не входить? Дрожали колени, сохло во рту, и холодели пальцы.

— Жми, жми, не робей,— услышал я из-за двери,— не у зубного врача, сверлить не будем.

Голос был до жути знакомый, не узнать его было нельзя.

Это был мой голос.

Я толкнул дверь и вошел в салон кабины, где обычно работал Толька и где я очнулся на полу после катастрофы на антарктическом плато. За столом сидел мой двойник

и скалил зубы. Он откровенно веселился, чего нельзя было сказать обо мне. Если подумать и присмотреться повнимательнее, я бы сразу сказал, что это другой, не тот, которого я нашел тогда в бессознательном состоянии в кабине дублированного пришельца снегохода. Сейчас это была моя современная модель, скопированная, вероятно, в те недолгие минуты, когда я с парашютом пробивал в голубом куполе не то фиолетовую, не то багровую заслонку. Комбинезон, в который я был тогда облачен, валялся тут же, небрежно брошенный на соседний диванчик. Все это я заметил уже позже, когда оправился от страха и удивления, а в первую минуту просто подумал, что повторяется с неизвестно какими целями уже когда-то виденный в Антарктиде спектакль.

— Садись, друже,— сказал он, указывая на место напротив.

Я сел. Мне вдруг показалось, что передо мной зеркало, за которым сказочная страна Зазеркалье, где живет мой оборотень, некое анти-я. «Для чего он воскрес? — подумал я.— Да еще вместе с «Харьковчанкой».

— А где же мне жить, по-твоему? — спросил он.— Кругом лед, а квартиры с центральным отоплением пока не предоставили.

Страх мой прошел, осталась злость.

— А зачем тебе жить? — сказал я.— И на каком складе тебя держали, прежде чем опять воскресить?

Он хитренько прищурился — ну совсем я, когда ощущаю над кем-то свое физическое или интеллектуальное превосходство.

— Кого воскресить? Пугливого дурачка, чуть не свихнувшегося оттого, что узрел свою копию?

— Ага, все-таки боялся? — съязвил я.

— Я был твоим повторением. Был,— подчеркнул он,— а теперь я есть. Усек?

— Не усек.

— Тогда я не знал, как ты жил все эти месяцы, что ел, что читал, чем болел, о чем думал. Теперь знаю. И даже больше.

— Что больше?

— Знаю больше и знаю лучше. Ты знаешь только себя, и то плохо. Я знаю и себя и тебя. Я — твоя усовершен-

ствованная модель, более совершенная, чем твоя кинокамера по сравнению со съемочным аппаратом Люмьера.

Он положил руку на стол. Я потрогал ее: человек ли он?

— Убедился? Только умнее сконструированный.

Я приберег свой козырный туз. Сейчас сыграю.

— Подумаешь, супермен! — сказал я с нарочитым пренебрежением.— Тебя сконструировали во время моего прыжка с парашютом. Ты знаешь все, что было со мной до этого. А после?

— И после. Все знаю. Хочешь, процитирую твой разговор с Томпсоном после приземления? О джиг-со. Или с Зерновым — о льдах и профессии. А может, с Вано — о красном камне? — Он хохотнул.

Я молчал, возбужденно подыскивая хоть какое-нибудь возражение.

— Не найдешь,— сказал он.

— Ты что, мои мысли читаешь?

— Именно. В Антарктиде мы только догадались о мыслях друг друга, вернее, о помыслах. Помнишь, как убить меня хотел? А сейчас я знаю все, что ты думаешь. Мои нейронные антенны просто чувствительнее твоих. Отсюда я знаю все, что было с тобой после приземления. Ведь я — это ты плюс некоторые поправки к природе. Нечто вроде дополнительных релейных элементов.

Я не испытывал ни изумления, ни страха — только азарт проигрывающего игрока. Но у меня оставался еще один козырь, вернее, я надеялся, что это козырь.

— А все-таки я настоящий, а ты искусственный. Я человек, а ты робот. И я живу, а тебя сломают.

Он ответил без всякой бравады, как будто знал что-то, нам неизвестное.

— Сломают или не сломают — об этом потом.— И прибавил с насмешливой м о е й интонацией: — А кто из нас настоящий и кто искусственный — это еще вопрос. Давай зададим его нашим друзьям. На пари. Идет?

— Идет,— сказал я.— А условия?

— Проиграю я — сообщу тебе кое-что интересное. Тебе одному. Проиграешь ты — сообщу это Ирине.

— Где? — спросил я.

— Хотя бы здесь. В моей штаб-квартире на грешной земле.

Я не ответил.

— Боишься?

— Я просто вспомнил об исчезнувшем автомобиле Мартина. В Сэнд-сити, помнишь?

— Но ведь Мартин-то не исчез.

— Ты же более совершенная модель, чем его оборотни,— отпарировал я.

Он прищурился левым глазом совсем так, как я это делаю, и усмехнулся.

— Ладно,— сказал он,— посмотрим, как развернутся события.

Глава XXXI

СУПЕРПАМЯТЬ ИЛИ СУБЗНАНИЕ

Оставив куртки на вешалке, мы вошли в кабину нашего гренландского вездехода, одинаковые, как близнецы из фильма «Железная маска». И как раз к обеду, когда Ирина, вся в белом, словно в операционной, разливала суп.

— Где ты пропадал? — спросила она не глядя, подняла голову и уронила половник.

Наступило затяжное молчание с оттенком почти зловещей суровости. Моего анти-я это, однако, ничуть не смутило.

— А ведь это был совсем не камень, Вано, а знаешь что? — сказал он до такой степени моим голосом, что я вздрогнул, словно впервые его услышав.— Наша «Харьковчанка» из Мирного. Тот самый снегоход-двойник, который ты видел, а я заснял. Можете полюбоваться — он и сейчас там стоит. А этот претендент,— он ткнул меня пальцем,— преспокойно сидел в кабине и нас дожидался.

Я буквально онемел от такого нахальства. Ну совсем сценка из Достоевского: оболваненный господин Голядкин

и его прыткий двойник. Я даже возразить не успел, как четыре пары дружеских глаз уставились на меня совсем не дружески. Даже особого удивления в них не было. Так смотрят не на привидение, а на ворвавшегося грабителя.

Первым опомнился Зернов.

— Раз вы пришли к обеду, будьте гостем,— сказал он, глядя на меня.— Ситуация не новая, но занятная.

— Борис Аркадьевич,— взмолился я,— почему «вы»? Ведь это он двойник, а не я. Мы просто пари заключили: отличите вы нас или нет?

Зернов молча оглядел нас обоих, несколько дольше задержался взглядом на мне, потом сказал:

— Закономерная загадочка. Как две спички из одной коробки. Так признавайтесь, кто же из вас настоящий?

— Даже обидно,— сказал я.

— А ты не обижайся,— произнесло мое отражение,— оба настоящие.

Мне показалось, что какая-то искорка мелькнула в глазах Зернова, когда он обернулся к говорившему, а затем опять ко мне.

— К столу, товарищи,— пригласил он тихо.

Ире:

— Еще прибор.

— У меня даже аппетит пропал,— сказал я.— А на второе опять треска?

Надо же было сказать такое! Нападение последовало немедленно — анти-я не терял времени:

— Ну вот и рассуди, Ирок, кто из нас Юрка Анохин? Кто заказывал тебе утром салат из консервированного горошка?

Я действительно говорил ей об этом. И забыл. Совсем из головы вылетело. И только увидел, как Ирина благодарно взглянула на моего визави. Матч складывался явно не в мою пользу.

— А мы сейчас проверку сделаем по одному известному методу,— проговорил Зернов, снова и снова присматриваясь к обоим.

— Не выйдет,— сказал я с сердцем,— он все знает, что я делал и думал в этот проклятый промежуток от

сотворения до появления. Он сам сказал, что его нейронные антенны неизмеримо чувствительнее моих.

— Это ты так сказал,— ввернул анти-я.

Мне так захотелось выплеснуть ему в рожу остывший суп, который и так не лез в горло. И зря не выплеснул, потому что он еще метнул реплику:

— Между прочим, двойники не едят. У них нет пищеварительного тракта.

— Врете, Анохин,— сказал Зернов. Сейчас он с нами обоими говорил на «вы».

— Так мы же не проверяли, Борис Аркадьевич,— не растерялся анти-я.— Мы многое не проверяли. Например, память. Так ты говоришь, твои антенны чувствительнее? — обернулся ко мне мой мучитель.— Проверим. Помнишь олимпиаду девятых классов по русской литературе?

— При царе Косаре? — съязвил я.

— Вот я на царе и засыпался. На каком, помнишь? Третья цитатка.

Я не помнил ни первой, ни второй, ни третьей. Какой царь? Петр? Из «Медного всадника»?

— Плохо работают антенночки. Из «Полтавы», господин Голядкин.

Читает мои мысли, подонок: проигрываю. Неужели я действительно все забыл?

— Ну, все или не все, не знаю, а эпиграф к «Фиесте» забыл. Забыл?

— Забыл.

— А уверял, что это твоя любимая книга.

— Из Гертруды Стайн,— вспомнил я.

— А текст?

Я молчал.

— Ждешь, чтобы я мысленно повторил его? Не вспоминаешь ты, а снимаешь воспоминания с моих ячеек памяти.— Анти-я повернулся к Тольке и сказал: — Спроси его, Толя, о чем-нибудь полегче. Пусть вспомнит.

Толька подумал и спросил:

— Наш разговор о муссонах помнишь?

— Где?

— В Уманаке.

Разве мы разговаривали о муссонах? Я о них понятия не имею. Ветры какие-то.

Что я сказал? Сажайте меня на кол, если я помню, что сказал.

— Ты у меня спроси,— торжествовал другой господин Голядкин.— Я сказал, что с детства путаю муссоны с пассатами.

Мне вспомнились концовки в романах Агаты Кристи, когда Эркюль Пауро разоблачает виновного в преступлении. Тот сидит съежившись под перекрестными взглядами слушателей. Так и я сидел за этим проклятым обедом.

И вдруг в разгар торжества моего мучителя Ирина, задумчиво посмотрев на меня, сказала:

— А ты ужасно похож на него, Юрка. Так похож — даже страшно.

Ведь бывает же иногда в мечтах, когда захудалый, презираемый всеми игрок вдруг забивает под балочку решающий гол. Болельщики на трибунах даже не аплодируют. Они, выпучив глаза, разглядывают «чудо». Так смотрели на меня четыре пары снова дружеских глаз.

Теперь анти-я не парировал удара, он выжидал. Он молчал спокойно и, как мне показалось, даже безразлично к тому, что последует. Неужели и у меня такие же холодные, пустые глаза?

— Я лично уже давно догадался, кто из них наш Юрка,— обернулся к Ирине Зернов.— Но любопытно, что убедило вас?

— Память,— откликнулась Ирина.— Именно память,— убежденно повторила она.— Человек не может все помнить. Несущественное всегда выпадает, стирается, тем более что Юрка вообще «забудька». А этот все помнит. Какие-то дурацкие олимпиады, разговоры, цитаты. Нечеловеческая память.

Анти-я опять промолчал. Он смотрел на Зернова, словно знал, что именно тот нанесет ему последний, неотразимый удар.

И Борис Аркадьевич не промахнулся.

— Меня убедила одна его фраза.— Он только локтем показал на моего визави.— «Мы оба настоящие». Помните? Наш Юрка и вообще никто из нас никогда бы так не

сказал. Каждый был бы убежден в том, что настоящий — это он, а двойник — модель, синтезация. Наши антарктические двойники, смоделированные очень точно, рассуждали бы так же; они ведь не знали, что они только модель человека. А один из этих двух знал. И то, что он модель, и то, что модель, по существу, неотличима от человека. Только он и мог так сказать: «Мы оба настоящие». Только он.

Раздались хлопки — аплодировал анти-я.

— Браво, Борис Аркадьевич! Анализ, достойный ученого. Возразить нечего. Я действительно модель, только более совершенная, чем вы, сотворенные природой. Я уже говорил это Юрке. Я свободно принимаю импульсы его мозговых клеток — проще говоря, знаю все его мысли — таким же образом могу передать ему свои. И память у меня тоже не ваша, не человеческая. Ирина сразу поняла это — здесь я тоже промахнулся, не сумел скрыть. Я действительно в точности помню все, что делал, говорил и думал Анохин все годы его жизни — и в детстве, и вчера, и сегодня. И не только. Я помню все, что прочитал и услышал он за последнее время, иначе говоря — всю полученную и обработанную им информацию о розовых «облаках» и об отношении человечества к их появлению и поведению. Я знаю наизусть все проштудированные Анохиным газетные вырезки о Парижском конгрессе, могу процитировать от слова до слова любое выступление, реплику или разговор в кулуарах, каким-либо образом дошедший до Анохина. Я помню все его беседы с вами, Борис Аркадьевич, и в реальной действительности, и в синтезированном мире. И самое главное, я знаю, зачем понадобилась моя суперпамять и почему она связана со вторичной синтезацией Анохина.

Теперь я смотрел на него почти с благодарностью. Мучитель исчез, появился друг, собеседник, попутчик в незнаемое.

— Значит, вы с самого начала знали, что синтезированы? — спросил Зернов.

— Конечно.

— Знали, когда и как?

— Не совсем. С первого мгновения, как я очнулся в кабине «Харьковчанки», я уже был Анохиным, но знал

и о том, что он существует помимо меня, и о том, что отличает нас друг от друга. Я был запрограммирован иначе и с другими функциями.

— Какими?

— Прежде всего — явиться и рассказать вам.

— О чем?

— О том, что вторичная синтезация Анохина связана с полученной и обработанной им информацией об отношении человечества к феномену розовых «облаков».

— Почему для этой цели был избран Анохин?

— Может быть, потому, что он был первым, чей психический мир изучен пришельцами.

— Вы сказали «может быть». Это ваше предположение?

— Нет, оговорка. Я это знаю.

— От кого?

— Ни от кого. Просто знаю.

— Что значит «просто»? Из каких источников?

— Они во мне самом. Как наследственная память. Я многое знаю вот так, ниоткуда. О том, что я модель. О своей суперпамяти. О двух Анохиных. О том, что я должен сохранить и передать всю полученную им информацию.

— Передать кому?

— Не знаю.

— Пришельцам?

— Не знаю.

— Не могу разобраться в ваших «знаю» и «не знаю».— Тон Зернова уже приобретал оттенки несвойственного ему раздражения.— Давайте без мистики.

— Какая же это мистика? — снисходительно улыбнулся мой анти-я.— Знание — это качество и количество полученной и переработанной информации. Мое знание запрограммировано, вот и все. Я бы назвал его субзнанием.

— Может быть, подсознанием? — поправил Зернов.

Но двойник отклонил поправку.

— Кто знает процессы, происходящие в подсознании? Никто. Мое знание неполно, потому что исключает источники, но это знание. Что такое субсветовая скорость?

Почти световая. Так и мое субзнание — нечто противоположное суперпамяти.

— А что вы знаете, кроме того, что вы модель? — вдруг спросила Ирина.

Мне показалось, что я в зеркале улыбнулся с этакой стиляжьей развязностью. Но это был он, конечно. И ответил он в той же манере:

— Например, то, что я влюблен в вас ничуть не меньше Юры Анохина.

Все смеялись, кроме меня. Я покраснел. Почему-то я, а не Ирина.

А она продолжала:

— Допустим, что Юра влюблен. Допустим, что он даже собирается жениться на мне и увезти с собой. А вы?

— И я, конечно.

Я не мог бы сказать этого с большей готовностью.

— А куда?

Последовало молчание.

— Что вы стоите против Юрки,— не без жалости в голосе спросила Ирина.— Вы же пустышка. Они дунут — и вас нет.

— Но я что-то предчувствую....что-то знаю иное.

— О чем?

— О моей жизни за пределами психики Юры Анохина.

— А разве есть она, эта жизнь?

Мой двойник впервые мечтательно, может быть, грустно даже о чем-то задумался.

— Иногда мне кажется, что есть. Или вдруг что-то или кто-то во мне говорит, что будет.

— Что значит «что-то» или «кто-то?» — спросил Зернов.

— То, что запрограммировано. Например, уверенность в том, что самым близким к истине было выступление не ученого, а фантаста на Парижском конгрессе. Или, например, убежденность, что догадка Зернова о контактах верна. И еще ощущение, что нас все-таки не совсем понимают,— я говорю «нас», как человек, не сердитесь, я ведь не розовое «облако»,— ощущение, что многое в нашей жизни и в нашей психике еще остается для нас

неясным, требует изучения, что изучение будет продолжаться. Не спрашивайте, где и как,— не знаю. Не спрашивайте, что делается под куполом,— не видел. Вернее, видел глазами Анохина. А твердо знаю одно: как только выскажу все это вам, запрограммированные функции выключатся. Извините за терминологию: я не кибернетик. И тогда меня позовут,— Он улыбнулся.— Уже зовут. Прощайте.

— Я провожу тебя,— сказал я.

— И я,— присоединился Вано.— Охота на «Харьковчанку».

— Ее уже нет.— Юрий Анохин-второй отворил дверь в тамбур.— Не провожайте. То, что со мной произойдет, вы знаете — Юра это уже заснял.— Он грустно улыбнулся.— Я пока еще человек, и мне, пожалуй, было бы неприятно такое любопытство.

Он вышел и уже из-за двери помахал мне рукой.

— Не сердись, Юрка, за мистификацию. Или за розыгрыш — как тебе больше нравится. А с пари не обманываю. Еще скажу тебе, что обещал, как условились.

Глава XXXII

НА ВЕКА!

Никто долго не решался заговорить после его ухода. Дыхание смерти, где-то поджидавшей на ледяной дороге, казалось, проникло и к нам. Что ни говори о моделировании и синтезации, а он все-таки был человеком!

— Жалко,— вздохнул наконец Толька.— Наверно, они уже летят...

— Брось,— остановила его Ирина.— Не надо.

Но молчать уже не хотелось.

— Случится такое — опять запсихуешь,— скривился Вано, должно быть вспомнив свое приключение в Антарктике, и прибавил смущенно: — А я тебя поначалу и не узнал, Юрка. Мне тот посмышленее показался.

— Всем показался,— ввернул Дьячук не то иронически, не то восхищенно.— Память как у библиотеки. С такой памятью жить да жить!

«А ему, наверно, очень хотелось жить».

Я подумал, он ответил:

«А я полено, по-твоему? «Хотелось»! Мне и сейчас хочется жить».

Все прозвучало у меня где-то в сознании. Я не сочинял, не придумывал, не воображал. Я слышал.

«А где ты сейчас?» — так же мысленно спросил я его.

«На ледяном шоссе. Кругом белым-бело. А снега нет. А впрочем, какая разница? До фонаря, правда?»

«Страшно?»

«Немножко. Я все-таки не из пластмассы. Только ты меня не жалей и не думай высокопарно: ледяное дыхание смерти! Во-первых, штамп, а во-вторых, неправда».

«Ты же исчезнешь».

«Это не смерть, а переход в другое состояние».

«В котором тебя уже нет».

«Почему нет? Просто не ощущаешь себя, как и во сне».

«Сон проходит. А у тебя?»

«И у меня».

«Думаешь, вернешься?»

«Когда-нибудь да».

«А если не уходить?»

«Не могу».

«А ты взбунтуйся».

«Это сильнее меня, старик».

«Какой же ты человек после этого? Нет свободы воли? Нет?»

«Пока нет».

«Что значит «пока»?»

— Ты что шепчешь, Юрка? Стихи?

Я, должно быть, пошевелил губами, потому Ирина и спросила.

— Молитву он шепчет,— сказал Толька.— «Да воскреснет бог и да расточатся врази его». У нас дьякон в коммуналке жил. Как напьется, всегда так.

— «Врази»! — передразнила Ирина.— Пусть адмирал молится. А Юра поэт. Чьи стихи — твои?

Пришлось соврать.

— Блока. «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!»

— Чью жизнь?

— А не все ли равно? Даже синтезированную.

«Неточная формулировочка,— тотчас же вмешался он.— Ортодоксы придраться могут. Живая, мол, собака лучше мертвого льва. Девиз колаборационизма. Призываешь к сотрудничеству с враждебной цивилизацией».

«Опять Томпсон. Надоело».

«Им тоже. Разобрались».

«Предполагаешь?»

«Знаю».

«А что ты хотел мне сказать?»

«То, что мы еще встретимся».

«Почему-де об этом наедине?»

«Потому что так запрограммировано. Помозгуй. Нет нужды уточнять подробности».

«А хочешь честно?»

«Что?»

«Не восторгает меня сие. Отнюдь не восторгает».

«Ну, старик, это невежливо».

«А надоели мне все эти чудеса и фокусы! До зла горя надоели».

— Ты опять шепчешь что-то?

Это — вслух. Это опять Ирина.

— Пришибло его. Доведись до меня, я бы орал.

А это Толька. Почему-то Зернов молчит. И никто не замечает. Нет, заметили.

— Почему вы молчите, Борис Аркадьевич? Наш треп надоел?

— Просто задумался.— Зернов, как всегда, тактичен.— А интересный эксперимент! Поразительный по замыслу: получить всю нужную информацию через Анохина. Создать некий дубль памяти. Видимо, они пока еще не воспринимают языковую, смысловую информацию непосредственно — ни акустически, ни оптически. Слово не доходит до них, ни произнесенное, ни начертанное. До-

ходит только переработанная человеком информация — мысль, образ.

— Но почему Анохин? Могли взять любого ученого.

Спросил, конечно, Толька.

— Неужели только потому, что его синтезировали первым? Какое значение может иметь порядковый номер?

— Порядковый номер, бесспорно, не имеет значения. Но первый опыт — да! И возможно, еще потому, что образное восприятие у Анохина особенно ярко. У каждого оно есть, лишь выражено по-разному. Математик видит мир иначе, чем художник или музыкант, у поэта тоже свое поэтическое видение мира. Когда я говорю, допустим, «палка», у разных людей сознательно или подсознательно возникает свой образ. У одного — смутное воспоминание о боли, когда-то испытанной, у другого — о тросточке, увиденной где-нибудь в витрине универсального магазина, у третьего — о суковатой дубинке грибника. А у тебя что мелькнуло, Анохин?

— Шест,— сказал я,— фибергласовый. Прыгал на занятиях по легкой атлетике.

Все засмеялись.

Он тоже. Я тотчас же услыхал его смех. Не самый звук смеха, а то состояние нервных клеток мозга, которое этот смех порождает.

«Ты смеешься?» — спросил я.

«Конечно. Шест! — Он опять засмеялся.— Сколько я намучился с этой палкой».

«Почему ты?»

«Не задавай глупых вопросов. Кстати, Зернов верно подметил необходимость образного восприятия информации».

«Ты что, весь наш разговор слышал?»

«Сквозь тебя. Я же воспринимаю всю переработанную тобой информацию. Незримо присутствую при всех твоих разговорах».

«Так я сам сейчас не все слушаю».

«Не слушаешь, но слышишь. А я накапливаю все это в своей копилке памяти. Кстати, прислушайся. Наш Борис Аркадьевич о ней и вещает».

— ...В такой копилке многое накапливается. А тре-

нированная память сразу извлекает необходимое. Вообще сверхпамять — не чудо. Вспомните Араго — феномен! А шахматисты? Поразительная профессиональная память. Если бы мы только знали ее код и механизм запоминания...

— А они знают?

Это снова Ирина. Почему-то недоверчиво, даже с иронией. Но Зернов не замечает иронии, он серьезен.

— Не убежден. Может быть, Анохин только удачный эксперимент. Но узнают обязательно. Где-нибудь у себя.

— И вы поверили в эту гипотезу?

— А почему бы и нет? Чем она хуже других? Столько же доводов за, сколько и против. И потом, она не обидна для человечества, даже импонирует ему. Последнее звено контакта взаимоизучения и, как следствие, обмена информацией между двумя космическими цивилизациями.

«Слыхал? Умница наш Борис Аркадьевич. Последнее звено. Верно. Недостающее звено».

«Ты тоже веришь в эту гипотезу?»

«Я молчу».

«Почему?»

«Пока еще рано. У меня еще нет свободы воли. Но придет время...»

Мне смешно.

«Начинается мистика. Я что-то не верю в твою загробную жизнь».

«А в скачок из царства необходимости в царство свободы веришь? Можно ведь и так сформулировать. Свободы воли. Свободы мысли. Свободы творчества. Почему бы и нам не повторить ваш путь?»

«Что ж, значит, мечтатель прав? Появится где-то планетка, этакая Земля-бис, с нашей водой, с нашим воздухом, с нашими городами?»

«Вышутить все можно. А что появится и где появится, никому еще не известно. Изучение не всегда повторение, чаще — поиск».

«Чего? Синтезированных грез? Суперпамяти?»

«Все это пробы, старик. Только пробы. Мы живем в мире констант. Для условий Земли и белковой жизни

природа давно уже создала оптимальные размеры и формы. Так зачем же им менять константы?»

Я, должно быть, повторил это вслух, потому что Зернов, улыбнувшись, ответил:

— Конечно, незачем.

Я покраснел. Как объяснить им свои «мысли вслух» и о чем? Выручил меня Вано.

— Может, двинемся, Борис Аркадьевич? — сказал он.— Мотор в порядке. И дорога, можно сказать, беговая.

Зернов внимательно посмотрел на меня:

— А ты как думаешь, пора?

«Что он хотел сказать этим «пора»? Неужели понял?»

«Давным-давно понял. И ты понял, что он понял. Не притворяйся. Можешь доложить: пора. Анохин-второй к отбытию готов».

«Не мути душу».

«Так действительно пора. Я — далеко, они — близко».

Мне вдруг стало тяжко, так тяжко, будто перехватило горло и нечем дышать. Я уже никого и ничего не видел, кроме одинокого путника в белом поле.

«Значит, прощай».

«Не прощай, а пока. До новой встречи».

«А она будет?»

«Непременно».

«Там или здесь?»

«Не знаю, Юрка. Чего не знаю, того не знаю. Так ведь не мы с тобой встретимся, вернее, не только мы с тобой. Миры. Мы и они. Помнишь, как он кончил свою речь на конгрессе? «И если вернутся они, то вернутся уже понявшими нас, обогащенными таким пониманием, что-то сумевшими взять от нас и знающими, что дать нам на взаимном пути к совершенству». Хорошо было сказано, старик!»

И вдруг что-то оборвалось. Я ощутил полную свободу ничем не связанной мысли.

— Можно ехать,— сказал я Зернову, чувствуя, как у меня дрожит голос. Только бы он не заметил.

— А почему это решает Анохин? — задорно спросил Дьячук.

Ответил Зернов, у меня не было сил.

— Из трех миллиардов человек на Земле только один Анохин сейчас связан с неземной, может быть, даже с внегалактической цивилизацией. Так что же мы скажем человечеству, Юра? Есть контакт, и надолго?

— На века,— сказал я.

Фантастический роман

РАЙБЕЗ ПАМЯТИ

Часть первая

МИР ВХОДЯЩЕМУ

Глава I

«ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ»

Не помню, кто из нас процитировал Пушкина, когда наше такси отважно свернуло с Киевского шоссе в путаницу горбатых дачных проселков. Но цитата в точности соответствовала действительности: гости именно съезжались на дачу. Мои гости. Ирина уехала с академиком в Ригу на симпозиум биофизиков — Осовец не доверился другой стенографистке,— а я остался единственным и полновластным хозяином садового участка с коттеджем из фанеры, шестью эмбрионами яблонь и тремя березками у садовой калитки.

Гостей было трое: Мартин, приехавший из Нью-Йорка

по маршруту «Интуриста» и без помощи локатора нащупавший меня в студийной монтажной, Толька Дьячук, оторванный нами от институтской ЭВМ, и Борис Аркадьевич Зернов, извлеченный с редакционной летучки в журнале «Земля и Вселенная». Три мушкетера и д'Артаньян, проникшие в тайну розовых «облаков» и одно время затмившие блеск всех земных «звезд» от Сальвадора Дали до Жана Марэ. Судьба уготовила нам встречу не двадцать лет, а всего три года спустя, но температура дружеской радости была не менее оптимальной. Зернов даже забыл плащ на редакционной вешалке, но возвращаться мы не стали: машина к этому времени уже пересекла московскую кольцевую, а счетчик угрожающе достиг двухзначной цифры.

Встреча друзей состоялась на дачной веранде — по выражению Мартина, совсем как на пикнике где-нибудь в штате Мичиган, вблизи от Великих озер. Только вместо штата Мичиган был Нарофоминский район Московской области, а вместо Великих озер — невеликий Чуркинский пруд с относительно живописной рощицей на берегу, которую можно было пройти вдоль за пятнадцать минут, а поперек — за четыре. От нашей веранды до рощи было примерно сто метров дачной улочки, пыльного проселка и вытоптанной травы на берегу пруда. Все эти географические подробности, как увидим, пригодятся в дальнейшем.

Всего три года прошло с нашего отъезда из Гренландии, а память уже успела стушевать многое. Капризная и непрочная штука эта человеческая память, как дешевый старый будильник: иногда звенит, когда это совсем не нужно, и молчит, когда вы так на него надеетесь. Совсем недавно, казалось, исчезли розовые «облака», изменившие облик нашей планеты, а газеты и радио уже ищут свежих мелодий для своих ежедневных запевок. Правда, еще пишут о новых курортах, вырастающих, как грибы после дождя, на берегах потеплевших рек и морей, о комфортабельном плавании через Северный полюс и о снежных беретиках, надеющихся дорасти до былых снежных шапок на Кавказе и в Гималаях. Но серьезные разговоры о феномене розовых «облаков» ведутся только на страницах научных изданий. Честно говоря, и мы их между собой

не ведем, как постаревшие мушкетеры, давно забывшие о подвесках королевы. Д'Артаньян вернулся в приемную короля, а я — в монтажную киностудии. Ирина делит обязанности строгой жены с еще большей строгостью секретаря академика. Толька по-прежнему вычерчивает карты циклонов и антициклонов, а Мартин осваивает амплуа нью-йоркского газетчика. Лишь Зернов, где-то обобщающий материалы Парижского конгресса, до сих пор верен памяти пережитого, и лишь в его присутствии наши встречи нет-нет да вернутся к мечтательному «А помнишь?». «А помнишь собрание в столовке Мирного?», «А где сейчас Мак-Эду?», «А дуэль свою помнишь?», «А фиолетовое «пятно»?».

И сейчас это «помнишь» вновь зазвучало за нашим столом.

— А помнишь пресс-конференцию в отеле «Омон»?

— Мартин не был,— поправляет Зернов.

— Я другое помню. Ужин в Сен-Дизье — мечта!

— Борис, а как мы с тобой на лестнице сидели! В «Омоне», помнишь?

Разговор идет по-английски, и Мартин тотчас же вмешивается:

— Я другую лестницу помню.

— Это какую?

— В казино. Как я по ней из автомата полоснул.

— И кончился Ланге. Кстати, ты, говорят, потом его живого встретил?

— Было дело. Без автомата.

— Жалеешь?

— Зачем? Прямой справа — и он уже слюнки пустил.

— А Этьен?

Мартин морщится:

— Он уже мертвый был, когда я ему о девушке из казино напомнил. «Иес, сэр. Ноу, сэр». А глаза стеклянные.

Минутное молчание, и я спешу переменить тему:

— Женился?

— Нет. Девчонки нет подходящей.

— А Мария?

— Вернулся из Гренландии, а она уже замужем. Не верила, говорит, что вернусь. Кстати, знаешь, за кем? За

тем полицейским-оборотнем, которому я башку продырявил, а он даже не пошатнулся. В жизни он штучка, между прочим. Геракл с медными пуговицами. Три фута в поперечнике.

Мартин вздохнул, и я снова переменил тему:

— Старика видишь?

— Томпсона? Нет. Он сейчас в Пазадене грейпфруты выращивает. Вот такие.— Мартин показывает что-то вроде арбуза.

— Занятный старик,— говорит Зернов.

Но я отрубаю:

— Вредный.

— Нет,— задумчиво поправляет Мартин.— Честный. Только...

— ...без чувства юмора,— смеется Зернов.

Мартин весело подхватывает:

— Потому он меня и уволил в Гренландии.

— Когда?

— Вас еще не было. Мы только-только фиолетовое «пятно» обнаружили. Он все: вакуум да вакуум. И пристал. «Вы,— говорит,— о вакууме Дирака слышали?» Ну а я честно: «Нет, сэр».— «А кто такой Дирак, знаете?» Я опять: «Нет, сэр».— «А Эйнштейн?» — «Ну, об этом я слышал еще в колледже. Служил парень в бюро патентов, а потом теорию относительности придумал».— «А что,— говорит,— стимулировало открытие этой теории?» — «Заработать хотелось, сэр». Ну, он меня и уволил. Тут же. Приказал выдать наградные и отправить в Уманак. В Уманак я вылетел за вами, а наградные все-таки выплатили. Не мелочился старик.

Почему-то стало темнее, хотя до вечера было еще далеко.

— Гроза, что ли, собирается? — спросил я, выглядывая с веранды.

— Гроза прогнозом не предусмотрена. Без осадков,— важно сказал Толька.

— Все прогнозы врут, ваши тоже,— сказал я.— А ведь и в самом деле темнеет.

Я повернул выключатель на стенке, но лампочка не зажглась.

— Выключили на линии. Говорю — гроза.

Но Толька все еще сопротивлялся: признать нашу правоту не позволял престиж.

— Ни одной же тучки нет. Откуда гроза? Да и темнеет не дальше рощи. За ней светло.

Но что-то на небе все же привлекло его внимание. Он нахмурился. Какой-то сумеречный заслон закрывал от нас дальнее, не затемненное тучами небо, и в этой непонятной сумеречности то и дело мелькали какие-то тоненькие, но яркие белые вспышки, точно искры электросварки.

— Непонятно,— проговорил он, как мне показалось, с какой-то ноткой тревоги.

— А косяки у двери совсем посинели,— заметил Зернов.

Действительно, белые косяки открытой в комнату двери стали неровно синими, причем синева расползалась и темнела.

— А туча не черная, а лиловая,— сказал Мартин.

Посыпались эпитеты:

— По-моему, багровая.

— Дальтоник. Нормальная крышка рояля. Даже блестит.

Мартин почему-то поднес к уху часы.

— Стоят.

Я не успел ответить — что-то ударило меня по глазам. Тьма. Черный, бездонный провал, в котором исчезло все: и дом, и веранда, и мы сами. А может быть, это погасло солнце? Ведь такой тьмы не бывает даже во сне. И первое свидетельство обострившихся ощущений: стало странно жарко и еще более странно тихо. Даже сравнить нельзя это с тишиной одинокой бессонной ночи. Где-то тикают часы, скрипит пол, капает вода в кране. А здесь какая-то первобытная мезозойская тишина. И неподвижность. Сижу, а тела нет. Не космическая невесомость, а просто высвободившийся из тела дух, если называть духом не угаснувшее сознание. Я сказал: сижу, но это лишь привычный образ — просто ничего не чувствую и пальцем двинуть не могу. Паралитик. А сознание не только погасло — наоборот, обострилось. Спрашивай, гадай, прикидывай, что случилось. А спросить — голоса нет, да и не

у кого: жаркая тьма кругом и беззвучная немота, даже листья в саду не шуршат.

Может быть, это смерть? Может быть, так умирают? Может быть, это уже загробная жизнь?

Глава II

ГДЕ МЫ?

Загробную тьму вдруг прорезали белые молнии. Она раздвинулась, как еще темные створки экрана только что включенного телевизора. И, как правило, сначала включился звук: я услышал испуганный голос Тольки:

— Кто-нибудь жив?

И тотчас же откликнувшегося Мартина:

— По-английски, Толя. Я рядом.

Я вдруг обрел свободу движения: плюхнулся на пол, как будто из-под меня выбили стул. И странное дело: пол оказался сырым и мягким. Я провел рукой — трава. А затем с такой же телевизионной цельностью — не постепенно, а сразу и полностью — стало видно все окружающее. Зернов и Мартин сидели на поваленном молнией, обуглившемоя стволе, должно быть, столетнего дерева, а мы с Толькой ворочались перед ними в росистой высокой траве. Нас окружал лес, но не редкий и живописный, как подмосковные рощицы, а густой и непроходимый, сказочно-дремучий — точь-в-точь тайга где-нибудь подальше от города или поселка. Но пожалуй, все-таки это была не тайга: ни елей, ни лиственниц, ни привычного таежного подлеска, ни мошкары, вьющейся перед глазами. Какие-то не таежные деревья вздымались над нами, закрывая небо. И даже не подмосковные — скажем, ольха или береза, побуревший снизу тополь и даже не липа, которых и под Москвой-то становится все меньше и меньше. Я разглядел знакомый мне по крымским нагорьям бук, широколистый вяз, западноевропейский каштан и клен, такой могучий и древний, каких в подмосковных лесах вы наверняка не найдете. Деревья росли тесно, кучно, перемешиваясь с закрывавшим все проходы подлеском, по-видимому ши-

повником, но не по-нашему густым и высоким. Он, как искусственно выращенная ограда, окружал нас со всех сторон, не оставляя ни малейшей надежды для грибников или любителей лесных прогулок. Для таких прогулок тут требовался топор.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я Зернова.

Вместо ответа он задумчиво огляделся, как бы стараясь что-то понять, и вдруг потянулся к часам.

— Идут,— удивленно заметил он.— И пожалуй, это самое непонятное. Помните, Мартин,— он перешел на английский,— я говорил о том, что мы здесь уже десять минут.

— Где это — здесь? — спросил Мартин.

Я улыбнулся: вопрос был точен. Самый нужный вопрос.

— Не знаю,— честно ответил Зернов.— Но для меня, пожалуй, важнее знать, почему мы здесь. Что произошло на даче Анохина? Кто-нибудь рискнет объяснить?

— Может быть, взрывная волна? — предположил Мартин.

— От чего? Ядерный взрыв? Не те симптомы. Даже температура не поднялась. Потом, насколько мне известно, в этом районе нет ни научных, ни промышленных объектов, работающих с веществами такой взрывной силы.

— Ну а если порыв урагана? — спросил я.

Толька фыркнул.

— Где ты его обнаружил?

— А помнишь, как вдруг потемнело? Внезапно и необычно. Мало ли какие бывают стихийные вспышки. Внезапно переместившийся откуда-нибудь смерч...

— Чушь, старик, дремучая чушь. Смерч — это вихревое движение воздуха, подымающее песок или воду в виде столба. Мы не в Сахаре и не в Атлантике.

— Не придирайся к словам,— отбивался я.— Дело не в терминах. Скажем грубее для ясности: ну, отнесло нас вихрем куда-нибудь километров за сто. За Оку. Леса там дай бог!

— «За Оку»! — передразнил Толька.— Оглянись получше. Ведь это не наш лес.

Я знал, что это не наш лес. Но мне хотелось знать, что думает Толька. А думал он медленно, тем более по-анг-

лийски. Иногда перебивал себя, подыскивая или спрашивая перевод.

— Как по-английски «ураган»? Понятно. Так вот: с ураганом — глупости. Юрка просто не знает, что такое ураган, как он возникает и как передвигается. Предположить, что мы целехонько перенесены ураганом куда-нибудь за тридевять земель, не могу. Слишком нелепо.

— Почему за тридевять земель? — спросил Зернов.

— А где вы видели такой лес? Под Москвой — где? Я сын лесника, с детства в лесу. Это не сибирская тайга и не Беловежская пуща. И не Мещера,— фыркнул он в мою сторону.— Ничего похожего.

— Может быть, заповедник?

— Заповедник тоже лес, только оберегаемый. И где? На Северном Кавказе? — Он с сомнением оглядел окружавшую нас зеленую крепость.— Не похоже. Я в Теберде был и на Военно-Грузинской. Буковые корабельные леса прозрачны, солнцем просвечиваются. А здесь?

Я последовал за взглядом Тольки. Он был совершенно прав: не наш лес!

— И на Америку не похоже,— прибавил Мартин.

Я засмеялся: очень уж нелепой показалась мне эта реплика. Не перенесло же нас за океан моим предполагаемым ураганом.

— Кто знает...— сказал Зернов.

— Ты о чем?

— О Фонтенбло. Ты не бывал под Парижем — не знаешь. В Галлии времен Цезаря были, вероятно, именно такие леса.

— А при чем Фонтенбло?

— Если вымрет Европа, то лет через триста под Парижем будет именно такая тайга.

— Случись это с нами три года назад, я бы не раздумывал о причинах,— сказал Мартин.

Мы переглянулись. Три года назад мы видели и не такие сюрпризы пространства и времени. Но розовые «облака» бесследно исчезли в пучинах космоса. Ни одна обсерватория не зарегистрировала их второго пришествия. А вдруг?

Именно это «вдруг» пришло в голову каждому, потому что Зернов тотчас же откликнулся на реплику Мартина:

— По-моему, и сейчас не стоит раздумывать. Может быть, оно и повторяется...

— Что именно? — Я все еще надеялся отсрочить догадку.

— Не дури, Анохин. Тебе уже давно все ясно. И ураган ты придумал для игры воображения. Дьячук знает: не бывает таких ураганов. Под Москвой, разумеется.

— Значит, опять о н и? Откуда?

Зернов рассмеялся, а я покраснел. Но сдаваться мне не хотелось.

— Значит, опять моделируется пространство и время. И лес — модель. А зачем им галльский лес времен Цезаря?

Зернов молча встал, перешагнул обугленный молнией ствол и только тогда ответил:

— А кому нужны эти гадания? Модель, не модель. Реальная действительность — это лес, из которого нужно выбраться.

— Интересно, как? — спросил Толька.

Нас окружала плотная колючая стена густо разросшегося шиповника или, может быть, диких роз. Ни тропинки, ни прохода в кустах не было.

— Погодите, мальчики,— сказал Мартин и вынул нож с белой пластмассовой рукояткой. Тонкое, двустороннее отточенное лезвие выбросилось из нее с легким щелчком. Не нож, а мечта разведчика на вражеской территории.

С легкостью, без всяких усилий, как будто бы он резал колбасу или хлеб, Мартин вырубил проход в кустах, срезая ветки под самый корень.

— У кого еще есть оружие? — спросил он.

Мы опять переглянулись: никто не захватил с собой даже вилки.

— А зачем? — удивился я.— Даже зверей здесь, по-моему, нет.

— «По-твоему»! — передразнил Толька.— В лесу без ножа и палки нельзя. Надо хоть дубинки срезать.

С помощью Мартина мы вооружились суковатыми рогатками, не зная, что через какой-нибудь час мы будем благословлять Тольку за эту предусмотрительность. Пока же мы сшибали ими огромные, сметанного цвета грибы.

— Может, шампиньоны?

— А кто их знает? Очень уж крупны.

Есть никто не хотел. Ураган или не ураган, но что-то выбросило нас сюда прямо с ужина, и даже мысль о еде не тревожила. Может быть, через час-полтора мы уже выйдем из этого проклятого леса? А там что бог даст, как говорится,— в Сен-Дизье не то видели.

— Борис...— Я тронул рогаткой пробиравшегося в чаще Зернова.— А может, и не было розовых «облаков»? Может быть, вся идея о втором их пришествии — чушь? Может, с нами другая дичь приключилась?

— Какая?

— Ну, допустим, гипноз.

— Массовый? Нас ведь четверо.

— Бывает.

— А кто же гипнотизер? Может быть, у тебя рядом Вольф Мессинг живет?

— Не остри. Есть многое на свете, друг Гораций. Ты «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» помнишь? Где-то я читал, что Уэллс ничего не выдумывал. Был такой случай.

— Ну и что?

— А то, что, может быть, мы по-прежнему сидим на веранде и вся эта дичь только галлюцинация? Мираж.

Зернов даже отвечать не стал, а зашагал дальше, пока его не остановил крик продиравшегося впереди Мартина:

— Завал!

С трудом обретенный нами путь — девственную, впервые прокладываемую здесь лесную тропинку — преграждала груда поваленных и раскиданных бурей деревьев. Я пригляделся: все высокоствольные буки.

— Вот в эту бурю я верю,— сказал Толька.

С ним никто не спорил.

— Ну как, будем искать обход или перебираться? — спросил Мартин.

Он спрашивал у Зернова, по старой памяти считая его командиром. Но истинным командиром уже стал Толька.

— Обходить далеко,— сказал он,— прямой смысл — через завал. На север. Там и лес реже.

Я усомнился:

— Почему на север? Откуда ты знаешь?

— Где солнце раньше было? Там.— Дьячук указал в

сторону, откуда мы вышли.— А где сейчас? Почти над нами. К полудню дело идет.

— Вы что-то путаете, Толя,— вмешался Зернов.— Сейчас на моих без двадцати пяти семь: все-таки вечер, а не утро.

— На ваших. А солнце в зените.

Действительно, сквозь сомкнутые кроны платанов и буков струился почти отвесный солнечный свет. Зеленая листва, как темные тюлевые гардины на окнах, процеживала его, смягчая и рассеивая. На даче солнце уже клонилось к западу, жара спадала, когда мы садились за стол, а здесь с каждой минутой становилось все жарче и жарче.

Еще одна загадка. Но раздумывать над ней мы не стали. Через завал так через завал.

Опираясь на свои рогатые дубинки, мы прыгали со ствола на ствол, стараясь не провалиться между деревьями. Завал был старый, листья на ветках уже пожухли и осыпались, из-под стволов высоко выбивались побеги будущего подлеска. И он был широк, как река, этот рассыпанный великаном коробок спичек.

А к концу, когда мы уже почти перебрались на противоположную сторону, нас подстерегала беда.

— Эй, глянь! — крикнул прыгавший впереди Толька.

Но глянуть я не успел. Что-то рыжее и пушистое прыгнуло на меня с такого же рыжего ствола сбоку. Острые когти вонзились в шею.

«Рысь!» — мелькнула мысль.

Не выпуская из рук дубинки, я оторвал от себя это рыжее и швырнул под ноги — хорошо еще, что я прочно держался на двух спаренных бурей стволах. Это «что-то» было крупнее белки, но меньше рыси, и рассмотреть его я не успел, потому что оно снова прыгнуло мне на грудь. Я увидел злые зеленые глаза и розовые ноздри. Кошка!

Я с трудом опять оторвал ее, снова бросил и ударил дубинкой. Она по-домашнему пискнула и отползла за дерево. Сбоку снова что-то зашипело — другая! Такая же рыжая и худющая. Она раскачивалась на тонких лапах, готовая к прыжку. Я встретил ее рогаткой, отшвырнул, она отлетела метра на полтора и прижалась к стволу. Тут только я заметил, что и рядом шел не менее жестокий

и кровопролитный бой. В двух шагах от меня Толька, отбросив ногой одну полосатую тварь, добивал рогаткой другую. Зернов стоял на земле, зажатый двумя обломанными стволами, и уже не отбивался — он обронил палку, а просто закрывал лицо руками, защищая глаза от когтей не то двух, не то трех, не то рыжих, не то дымчатых дьяволов,— я ни рассмотреть их как следует, ни сосчитать не успел. Мой бросок на помощь предупредил Мартин. Только сверкнула в воздухе искра его ножа — и рубашка Зернова густо окрасилась кровью. К счастью, то была не его кровь.

Звери — я не могу называть их кошками: с кошкой связано что-то домашнее, уютное, мило мурлыкающее под рукой,— нет, это были именно звери, дикие или одичавшие хищники с голодными блекло-зелеными глазами. Их было много, очень много — я не считал: некоторые сливались с приютившими их разрывами коры, дуплами, изломами дерева — злые хозяева этого леса. Но почему кошки, домашние кошки, когда-то урчавшие даже у неандертальских костров? Кто или что превратило их в полурысей, где-то на деревьях сказочного леса выслеживающих бродящую или ползущую по земле дичь? Наши кошки взбираются на деревья только из страха или в азарте птичьей охоты. Эти жили на деревьях, как белки или обезьяны. Сейчас они отползли, не атаковали, но совсем не потому, что их испугали наши дубинки,— просто кругом было достаточно свежей жратвы. Нож Мартина искромсал, должно быть, дюжину этих тварей.

Когда мы наконец перебрались через завал, на нас страшно было смотреть. Оборванные, исцарапанные, со следами когтей на лице и руках, мы двигались молча, прижимая платки к кровоточащим ранам, стараясь не упустить из виду уходившего вперед Тольку.

— Куда ты гонишь? — не выдержал я наконец.

— Устал, герой? — обернулся он с презрением взрослого к захныкавшему ребенку.— Промыть ранки надо? Надо. Ключ ищу.

— Какой ключ? — не понял я.

Он покрутил пальцем у виска.

— А почему ты уверен, что его найдешь?

Он не ответил — просто побежал вперед не огляды-

ваясь, благо тропа, явно кем-то проложенная в траве, все расширялась. Толька бежал вприпрыжку, легко, как на кроссе, не показывая ни усталости, ни сомнения в избранном им пути. За ним, стараясь не отставать, спешили мы, молча признавшие авторитет бывшего лесовика.

А дальше произошло все как по писаному. Мы вышли на лужайку, всю в цветах из королевского сада, крупных и красных, чем-то похожих на каны. В изумрудной траве, как на полотнах Поля Веронезе, они казались колпачками гномов, напуганных вторжением гонцов из чужого мира. Чуть поодаль лес круто взбирался в гору, а из-под серого камня, выглядывавшего, как сказочный дед-травоед среди выползших из земли корней, бил чистый холодный ключ.

Толька остановился, обернувшись к нам с победоносным видом и по-мальчишески счастливой улыбкой. Нет, все-таки человек был хозяином леса.

Глава III

ПРИЗРАК ЗОННЕНШМЕРЦА

Мы напились и промыли раны. Толька тут же нашел какую-то одному ему ведомую траву и остановил кровь на лице у Зернова.

— Почему их так много? — вдруг спросил Мартин.

Мы знали, о ком он спрашивает, но кто же мог ответить?

Откликнулся Толька:

— Наше счастье, что это кошки, а не крысы. Много — это бывает; почему в лесу — непонятно.

Разговор стал общим.

— А ведь они и вместе нападали каждая сама по себе. Кошка никогда не охотится стаей. Всегда в одиночку.

— Как тигр.

— Сравнил!

— Повадка-то одна. Если б тигры охотились стаей, еще неизвестно, уцелел бы человек в Индии.

— Еще неизвестно, во всяком случае, непонятно, как уцелели мы.

— Меня интересует футурум, а не плюсквамперфект.

Мы стояли у камня с источником, не решаясь присесть в окружавшем нас цветнике: кто знал, какая гадость могла притаиться в траве?

— Попробую влезть на дерево, посмотрю, что к чему.— Толька подошел к высоченному широколистому платану — на Кавказе у нас его называют чинарой — и подпрыгнул.

До первого сука не достал — высоко.

— Подсади-ка меня, Дон,— сказал он стоявшему рядом Мартину: со времен их первой встречи в Антарктике английский язык Тольки заметно улучшился.

Но меня удивляло не это. Тихий, стеснительный, не очень решительный парень, он словно переродился в этом лесу. Или в нем пробудились воспоминания и навыки детства, или же он уверенно осознал свою приспособленность к обстановке и, следовательно, какое-то бесспорное превосходство своего опыта над нашей беспомощностью. Любопытно, что и мы все признали это превосходство и, не сговариваясь, подчинились ему. Потом, когда я вспоминал всю эту и последующую нашу одиссею, я всегда думал, что высшей благостью судьбы было именно присутствие Тольки и его опыт лесовика и метеоролога. Мы даже прощали ему мальчишеское хвастовство этим опытом.

— Отметьте,— крикнул он, оседлав сук, на который забрался с помощью Мартина,— до обзора скажу: на севере — горы, на юго-востоке — река! А теперь проверочка.

Он подтянулся и полез выше, неловкий, но цепкий, как медвежонок. Через несколько минут он уже вынырнул из листвы где-то у самой верхушки и долго озирался по сторонам, ища просветы в раскидистых кронах. Потом юркнул вниз. Мы ждали молча, не высказывая гипотез.

— Так и есть,— сказал он, спустившись,— лес до горизонта.

— А река?

— На юго-востоке, как я и думал. Или озеро. Может быть, даже цепь озер: голубые пятнышки просматриваются по дуге. В общем, вода. Я и раньше знал.

Я усомнился в этом «раньше», но обновленного Тольку поймать было трудно.

— Пролом в кустах видишь? А здесь — следы. Копытные, между прочим.

Я ничего не видел в слегка примятой траве, но Толька рассуждал с авторитетностью арсеньевского Дерсу Узала.

— Крупный зверь шел. Олень или лось. А может, и зубр. Кто его знает? И не один, и не раз. А куда им идти? К воде.

Если Толька не ошибся, созревал способ выбраться из этой галльской чащобы. На реке или у реки легче встретить себе подобных. Но «Дерсу Узала» не согласился: река не уйдет, есть кое-что интересное. Мы дисциплинированно подождали, пока он оттягивал ответ, наслаждаясь произведенным эффектом, и дождались.

— Дым,— сказал он.

— Где?

— К северо-востоку, как я и предполагал, горы. Вернее, нагорья, вроде наших уральских. Лес всюду. Даже смотреть тошно. Но поближе к востоку, по-моему, пересеченная местность. И словно дорога просматривается. Может, мне и показалось, но дым — наверняка.

— А не пожар?

— Тут не дым, а дымок. Притом движущийся. Мне даже гудок послышался.

Мы здесь ничего не слышали. Но Толькин «дым» заинтриговал. Река — это река, а паровоз — уже люди. Решили рискнуть. В разведку уходили мы с Толькой. Мартин и Зернов оставались у источника. Зернов предложил параллельную разведку — к реке, но «Дерсу Узала» запротестовал:

— По-моему, Борис Аркадьевич, вы хромаете.

Нашу разведку лимитировали двумя часами: если не вернемся, Борис и Дон пойдут по нашим следам. И опять Толькина своевременная находчивость:

— Нож пусть остается у Мартина — он лучше им владеет. А мы рогатками обойдемся в случае чего. По дороге будем обламывать веточки — лишь слепой не заметит.

О еде по-прежнему не было сказано: голод спал.

Через полчаса плутаний по галльскому лесу — я говорю чисто фигурально: плутаний, потому что Дьячук шел решительно одному ему ясным путем и оставлял позади действительно очень заметные и точные вешки,— мы вышли на опушку. Странная это была опушка, совсем не похожая на русские лесные окраины: окаймленная оградой из чайных роз, искусственно возведенной садовником где-то спрятанного поблизости дворца. Но розы были дикие, и ограда естественная, сымпровизированная не садовником, а самой природой. Однако даже не это привлекло наше внимание. Опушка обрывалась крутым откосом в долину, окаймленную уже не розами, а высокими, нетесаными столбами с протянутой между ними в несколько переплетающихся рядов ржавой колючей проволокой.

Галльский лес сразу перестал быть галльским. Машина времени привела нас не к Цезарю: метрах в пяти от проволоки тянулась укрепленная дерном насыпь с лентой параллельных, уходящих в лесные нагорья рельсов.

— Вот тебе и другая планета,— разочарованно сказал Толька.

— Все-таки думал, что другая?

— А ты?

Я промолчал. Какая разница, что я думал? Важно, что мы возвращались к современности, к людям, к объяснению всей этой чертовой путаницы.

Но как оказалось, я рассуждал преждевременно: объяснения не было. Издалека вдруг донесся низкий, протяжный гудок. В окружающей тишине, в прозрачности хрустального воздуха он прозвучал как голос зовущей, торжествующей жизни. Но я опять ошибся. Эта жизнь не звала — она настораживала.

Из-за лесной опушки, может быть, такой же, как наша,— издали только не было видно роз,— вынырнул пыхтящий паровозик-кукушка со струйкой дыма, плывущей длинным черно-белым хвостом от старинной огромной трубы. То был именно паровоз, а не тепловоз или электровоз — «поезд с трубой и дымом», как я их называл в детстве, когда родилась электричка. Он медленно прополз по рельсам и остановился в долине в восьмистах

метрах от нас. Ни одного пассажирского вагона не было — одни открытые платформы, полные пассажиров, притиснутых друг к другу и окруженных парой канатов, как на ринге.

С каждой платформы, с обеих ее концов, спрыгнули по нескольку человек в желтых крагах или сапогах и серых мундирах с автоматами прикладом к бедру. Потом из-под канатов начали сползать «пассажиры» в однообразно синей или темно-зеленой одежде — издали трудно было уточнить цвет,— каждый с обушком или киркой в руках. Все они выстроились солдатским строем и, эскортируемые стражниками с автоматами, двинулись в сторону от платформ, к ближайшему лесному нагорью.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я Тольку.

— Я уже понял.

— Что?

— Зонненшмерц.

Я ничего не понял — ни того, что происходило по ту сторону колючей проволоки, ни того, что понял и высказал Толька. Но спрашивать было некогда. Новые события породили новую непонятность.

В хвосте колонны началось замешательство. Кто-то остановился, кто-то заспорил с охранником. Может, это был не один, а несколько человек. Чья-то кирка взметнулась вверх, кто-то в крагах упал, кто-то подхватил оброненный автомат, кто-то выстрелил — кто,. не было видно, но выстрел прозвучал громко, как взрыв,— и вот уже задние ряды колонны смяли шеренгу стражников, колонна рассыпалась, а группа беглецов бросилась к проволоке под круговым автоматным обстрелом. Они бежали зигзагами, припадая к траве и снова вскакивая, а некоторые так и остались на земле, не вставая. Впереди бежал человек, подхвативший оброненный охранником автомат. Он метался, как заяц, петлял меж кустами, ускользая от пуль, падая и огрызаясь ответными очередями и, в свою очередь, заставляя стражников отстреливаться и падать. Почти все его товарищи лежали не подымаясь, кое-кто полз обратно, а он, все еще петляя и не выпуская из рук автомата, уже добежал до колючей проволоки. Если бы он мог проползти под ней, и проползти быстро, розовые кусты, окаймлявшие опушку леса, оказались бы букваль-

но в нескольких метрах. И он был бы спасен. Но пролезть под проволокой он не смог. Он попытался преодолеть ее у столба, но тут его и настигли пули, от которых он до сих пор так счастливо уходил. Я не заметил, сколько автоматных строчек прошило его уже безвольное и бессильное тело, повисшее на ржавых проволочных колючках, но человек был давно уже мертв, а серые охранники все еще стреляли. Только спустя несколько минут, очевидно поняв всю бессмысленность дальнейшего обстрела, они прекратили огонь.

И как будто ничего не случилось, рассыпавшаяся группа людей с кирками снова построилась солдатской колонной и под охраной автоматчиков двинулась по горной дороге, наполовину скрытой от нас скалистым уступом горы. Трупов никто не подбирал, и даже последний, достигший ограды беглец так и остался висеть на ее рыжих шипах. А затем как ни в чем не бывало стоявший на пути поезд рванулся, паровозик опять задымил и, пыхтя, протащил мимо нас пустые платформы, загрязненные до черноты. Откуда взялась эта черная грязь, когда кругом все зеленело, как на лугу?

— Это не грязь, а уголь,— сказал Толька,— угольные шахты поблизости или открытые разработки. Сюда везут рабочих, отсюда — уголь.

— Откуда и куда везут?

— Икс,— сказал Толька.

— Кто эти рабочие и почему их расстреливают?

— Игрек. Что это за шахты? Зет. Словом, уравнение, а решать некогда. Пошли.

— Куда?

— Назад. Сюда нам дороги нет, ежу ясно,— отрезал Толька и прибавил уже не для меня, а как высказанную вслух, видимо, давно тревожащую его мысль: — Призрак. Ей-богу, призрак. Все как на картиночках — и дорога, и горы, и колючая проволока. Очень похоже.

— На что? — спросил я.

— На Зонненшмерц.

Глава IV

БЕГСТВО

Что такое Зонненшмерц, я узнал только по возвращении к источнику. Всю дорогу Дьячук молчал и не откликался. Даже рассказывать о виденном пришлось одному мне, пока я не упомянул о Зонненшмерце.

— Кажется, это один из гитлеровских лагерей смерти. Где, не помните? — спросил Зернов.

— Где-то в Богемии,— сказал Толька.— Там у меня старший брат погиб. Художник. Один из его товарищей по заключению сохранил его зарисовки и переслал их матери уже после войны. Откуда? Не помню. Кажется, из Франции. Я тысячу раз пересматривал их — и мальчишкой, и взрослым,— все запомнилось до мелочей. И то, что мы с Юркой видели сейчас — я имею в виду общее впечатление,— очень похоже. Тот же пейзаж, та же внешняя обстановка. Даже столбы с проволокой словно отсюда срисованы.

— Карандашом? — спросил Зернов.

— И углем.

— Значит, одноцветные. Думаю, что вы все-таки ошибаетесь, Толя.

— Почему? Товарищ из Франции уверял, что рисунки очень похожи.

— Память человеческая никогда не воспроизводит увиденного абсолютно точно. Особенно в мелочах. Что-то смазано, что-то тускнеет. Ваш друг из Франции сравнивал рисунки с запомнившейся ему действительностью; вы сравниваете действительность с запомнившимися вам рисунками. А это совсем не одно и то же. И потом, по своему внешнему виду такие лагеря очень часто похожи. Один и тот же среднеевропейский пейзаж, одно и то же обрамление — столбы, проволока. А вот охранники в желтых сапогах или крагах — это что-то новенькое. Может, не стоит тревожить машину времени? Может быть, это вполне современное узилище?

— Где? — перебил я.— У нас их нет. Социалистические страны тоже исключаются. Скандинавия? Не тот пейзаж. Западная Европа? Я не представляю себе такого

концлагеря ни в Италии, ни во Франции. Азия? Не азиатский лес. Где-нибудь в южноамериканских республиках? Тоже не подходит: не тропики и не субтропики. И еще: я просмотрел сотни полицейских кинохроник разных стран, но такой формы не видел. Какое-то экзотическое изобретение, вроде тонтон-макутов[1] на Гаити.

— А если мы на другой планете? — сказал Зернов, и сказал даже без тени улыбки.

Я вспомнил свой разговор с Толькой у колючей лагерной проволоки, и на минуту мне стало страшно. Зернову не свойственна игра воображения. Он всегда опирается только на факты. Но какие же у него факты? Странный лес? Желтые сапоги у стражников?

— А ты видел на Земле столько бабочек? — вдруг спросил он.— Сам же сказал: это не тропики и не субтропики. И бабочка наша — капустница. А сколько их? Тьма.

Нашествие белых бабочек напоминало метель. Они кружились, как снежные хлопья над цветником-лужайкой, простиравшейся на несколько десятков метров к востоку от источника. Раньше от нас ее отделял высокий колючий шиповник, но сейчас в его сплошной стенке был вырублен широкий проход — должно быть, Зернов и Мартин делали вылазку. Сначала эта лужайка мне показалась болотцем — уж очень ядовито-зеленой была трава, из которой торчали на длинных тоненьких стебельках красные и оранжевые шапки: маки не маки, а что-то вроде пестрой цветной проплешины, почему-то заставившей отступить галльский лес. И по всей этой проплешине бушевала белая метель. Бабочки садились и взлетали — казалось, им было тесно в воздухе,— и вихревое движение это кисеей закрывало солнце.

— Может быть, шелкопряд налетел? — предположил я, вспомнив грозу подмосковных лесов.

— Это не шелкопряд,— не согласился Толька,— обыкновенная белянка. А изобилие от природы, Борис Аркадьевич. Порядок.

— Природа создает не порядок, а беспорядок. Кто-то сказал: оставьте ей участок земли — она превратит его в

---

[1] Тонтон-макуты — тайная полиция диктатора Гаити.

джунгли. Только человек может вырастить сад, только человек может создать разумное изобилие. А это изобилие не разумно. Кошек вы уже видели. Теперь изумляют бабочки.— Зернов обернулся к Мартину.— Покажи им еще одно столь же разумное изобилие.

Мартина передернуло.

— Не могу. Опять стошнит.

Только сейчас я заметил, что он до сих пор молчал, хотя мы уже по привычке говорили только по-английски. А через несколько минут узнал, что его так пришибло. Прикрывая глаза и рот, мгновенно с ног до головы припудренные белой пыльцой, мы втроем, без Мартина, с трудом пробились сквозь бушующую живую метель, но пересечь лужайку не смогли. Нам преградила путь неширокая канавка или речушка с нелепо сиреневым, а местами розовым цветом воды. Вода не текла или текла очень медленно — течение почти не замечалось, но поверхность речушки по краям странно вспучивалась, как это бывает за несколько секунд до кипения.

— Не подходите близко; нагибаясь, не переваливайтесь: берег осыпается,— предупредил Зернов.

Но первое впечатление оказалось ошибочным. То была не река и не вода, а что-то вроде густого, местами клюквенного, местами вишневого киселя, сгустки которого, как живые, наползали друг на друга; и чем дольше я вглядывался в это псевдокипение, тем больше узнавал то, что «текло» или «кипело», а когда узнал окончательно, то внутренне содрогнулся от отвращения. То были обыкновенные земляные черви, скрученные вокруг друг друга без малейшего клочка земли, заполнившие канавку бог знает на сколько метров, от чего она и казалась розово-вишневой речкой. Их были тут миллионы миллионов или миллиарды миллиардов — скопления бесчисленные и омерзительные до тошноты. Я понял, почему Мартин испугался, что его стошнит, но, оказывается, еще не все понял. Когда Мартин увидел это, он, как и я, содрогнулся от гадливости, но не удержался и поскользнулся на вязком, оплывающем берегу. Секунду спустя он уже погрузился по грудь в эту живую реку. Если б не Зернов, протянувший ему дубинку, он бы увяз в этой копошащейся массе, потому что с каждым его движением, с

каждой отчаянной попыткой выбраться его засасывало еще глубже. Ему пришлось совсем раздеться, когда он наконец выполз на лужайку, и очищать от червей все складки брюк и рубашки, куда эта наживка рыболова успела заползти во время его «купания». В конце концов его стошнило от омерзения, и он час, по крайней мере, проветривал и высушивал свою опоганенную одежду. Да, второй раз после этого смотреть такое изобилие не пойдешь.

— Вот это изобилие меня и смущает,— сказал Зернов, когда мы, снова пробившись сквозь белые вихри бабочек, вернулись к источнику.— Слишком уж неразумное изобилие. А вообразите в таких же количествах, скажем, пчел или пауков.

Но мы увидели не пчел и не пауков, а лисиц, рыжих до апельсинной яркости, пронесшихся мимо нас сплошной, без разрывов, длиннющей оранжевой лентой. Сколько их было, не сосчитать — пожалуй, слишком много для одного уголка леса. Они промчались со свистом, будто ветер прошелестел в траве, и скрылись в зарослях на единственной не опробованной нами дороге к реке. Мы даже не успели обменяться словами, как, огибая нас, но даже не взглянув в нашу сторону — а мы стояли заметной кучкой у камня с источником,— пронеслась мимо еще одна стая (или стадо) некрупных клыкастых кабанов с грязной, свалявшейся шерстью. Их тоже было слишком много даже для заповедника, и тяжелое дыхание их, треск ломавшихся сучьев и дробный стук копыт сливались в странное дисгармоничное звучание, которое не воспроизведет ни один джазовый инструмент в мире. Замыкавший колонну кабан, даже не замечая нашего присутствия, вдруг повалился в траву, поерзал на спине, потерся мордой в примятых травинках, вскочил и помчался вдогонку за исчезнувшим в лесу стадом.

— Тссс...— прошипел Толька и прислушался.— Слышите?

Откуда-то из глубины чащи доносилось не то шуршание, не то шорох, как будто кто-то разглаживал и комкал листки целлофана.

— Вы пророк, Борис Аркадьевич,— сказал Толька, указывая на примятую кабаном траву: там суетились

десятки крупных рыжих лесных муравьев.— Тут надо не воображать, а бежать,— прибавил он.

Без возражений и колебаний, даже никак не выразив своего отношения к реплике Тольки, мы ринулись за ним колонной по вытоптанной зверем тропе. Я профессионально, по-стайерски согнув руки в локтях и прижав их к корпусу, бежал рядом то с одним, то с другим и, показав, как надо беречь дыхание и держать неторопливый, но ровный ритм бега, вышел в голову нашей колонны. Замыкал ее Мартин, бежавший позади Зернова на случай, если тот начнет сбиваться или отставать. Так мы пробежали минут двадцать, пока не сверкнула перед нами на солнце голубая полоска воды. Толькины наблюдения не подвели и на этот раз.

Мы вышли к берегу, круто обрывавшемуся к реке глинистым кирпичным откосом. Направо и налево по берегу все той же непроницаемой буро-зеленой стеной стоял наш платановый лес. На противоположном берегу тянулись песчаные отмели и заливные луга; еще дальше, должно быть за несколько километров, снова чернел лес, по-видимому сосновый, потому что местами к отмелям вытягивались его клинья, на солнце выцветавшие золотисто-рыжими языками. Сосна вообще красивое, чистое дерево, а когда она растет редко, с золотыми солнечными просветами, и соседствует с кремовыми полосками песчаных пляжей и дюн, то на все это просто приятно смотреть. Никакого признака человеческого жилья нигде не было видно, но тот берег привлекал своей чистотой и ширью, да и выбора у нас не было: целлофан продолжал шуршать все ближе и ближе.

— Переплывем? — спросил я Зернова.

В Мартине и Тольке я не сомневался, но неспортивность Зернова была всем известна.

— Не знаю,— честно признался он.— Москву-реку переплывал, да и то за Кунцевом, где помельче. А эта, пожалуй, пошире.

Но текла она медленно и вблизи не голубела, а серебрилась от солнца, стоявшего еще очень высоко. Было, наверное, не более двух пополудни, хотя наши часы настаивали на девяти вечера.

— Плывем по-солдатски,— скомандовал Толька.—

Часы в носки и в карман, брюки свертываем и закрепляем на голове ремнем у подбородка. Кроль отменяется. Плыть брассом или саженками. Голову над водой.

Я перевел это Мартину и шепнул Зернову:

— Поплыву рядом. Если что, держись за плечо. И не дрейфь: никаких случайностей.

Мы переплыли реку без приключений, и, когда выбрались на мель, Толька обернулся и закричал:

— Вон они! Смотрите!

По крутому откосу противоположного берега спускалась неширокая дорожка — метра полтора-два, не больше, едва отличимая издали от окаймлявшей ее красной глины. Она медленно подтянулась к воде, потом свернула по берегу длинным зигзагом к извергнувшей ее темно-зеленой чаще. Мы стояли и смотрели — сколько минут, не знаю,— а виток все не изменял положения: он только спрямлялся постепенно, исчезая за стенами зеленой крепости. Ни шороха, ни шуршания не было слышно: их заглушал плеск воды, но никто из нас не усомнился в увиденном. То было еще одно, может, самое страшное изобилие этого непонятного леса, естественное где-нибудь на берегах Амазонки, но едва ли объяснимое в этих явно умеренных широтах. А может быть, эти широты обладали какими-то особыми признаками?

— У меня такое впечатление, что мы переплыли Стикс, только в обратную сторону,— сказал стоявший рядом Зернов.

Глава V

ЧЕРНАЯ СТРЕЛА

Новое изобилие нашел Мартин.

Усталые, измученные от потери сил и от нервного напряжения, мы, должно быть, часа два провалялись раздетые на горячей песчаной отмели. Больше помалкивали, обмениваясь пляжными репликами, потом заснули, потеряв представление о пространстве и времени. Разбудил меня индейский вопль медно-красного Мартина, разма-

хивавшего над головой, как тотемом, здоровенной, по крайней мере двухкилограммовой, рыбиной.

— Судак,— сказал всезнающий Толька.— Где добыл?

Мартин указал на заводь в глубине отмели, отделенную от реки узким песчаным перешейком.

— Там их тысячи. Голыми руками бери.

В одно мгновение мы были у заводи. Она буквально кишела рыбой, как бассейн рыбного магазина. Сазаны и судаки, посильнее и покрупнее, выбрасывались через перешеек в реку: намывая песок, вода заперла их в этом природном аквариуме, и они уже задыхались от недостатка кислорода в перегретой воде. Крупной среди них было не очень много, больше мелочь, но охотничий инстинкт, заложенный в каждой человеческой мужской особи, сразу обнаружил рыбин покрупнее. Как ни увертывались они, как ни били хвостами, через несколько минут мы уже наловили больше десятка. Они еще подпрыгивали и бились на песке, а мы уже хвастались добычей: кто сколько и чьи покрупнее.

Только теперь, впервые после дачной метаморфозы, мы вдруг почувствовали подкравшийся голод. И первые робинзоновские огорчения:

— А соли-то нет!

— И посуды нет — значит, ухи не будет.

— Придется на вертеле жарить, как шашлык.

И первые робинзоновские радости: действующая зажигалка Мартина, сосновый сушняк для костра, вертела из засохших тростинок, сочные куски поджаренной и продымленной рыбы. И первые попытки подвести, наконец, какой-то итог пережитому.

— А сила — лес.

— В таком лесу не человек звучит гордо, а дерево.

— Не твое. «Одноэтажную Америку» все помнят. Объясни Мартину.

— А назад в этот лес ты меня калачом не заманишь. Как бы тебе перевести, Мартин? Ну, сладким пирогом, что ли.

— Сладкий пирог на даче остался.

— А как все-таки объяснить случившееся? Сон? Нет. Мираж? Тоже нет. Значит, из одной реальности мы попали в другую реальность. Как?

— У нас уже есть опыт,— сказал Зернов.

— Предел вероятности твоей гипотезы в допустимости возвращения розовых «облаков». Первый вопрос: зачем они вернулись?

— За нами.

— Значит, приглашение в гости. На другую планету. Эту гипотезу мы уже слышали на конгрессе. Второй вопрос: где эта планета? И сколько парсеков мы отмерили в космосе, чтобы увидеть мерзавцев в желтых крагах? Может быть, она искусственная, эта планетка из красного киселя?

— А может быть, она просто в другом измерении? Уместилось же все Сен-Дизье в коридорах отеля «Омон».

У меня не нашлось возражений: оказывается, богатой игрой воображения обладал не один я.

— Гипотезы не возникают на пустом месте,— продолжал Зернов,— им нужна точка опоры. У нас их несколько. Первая — лес. Несовременность его очевидна, географическое положение неясно. Вторая — концлагерь. Принудительный труд в такой форме возможен только в условиях полицейского государства. Но это не Гаити, не Родезия и не Южная Африка. Третья точка — изобилие растительных и животных форм. На Земле в аналогичных широтах мы нигде, ни в одной части света не найдем таких гигантских скоплений простейших организмов. Такие скопления могут быть созданы только в террариях — заповедниках, где специалисты-этологи могут изучать поведение животных в сообществах. Такого колоссального заповедника, как известно, на Земле нет.

Я вспомнил потрясшее меня выступление американского писателя-фантаста на Парижском конгрессе. Если цивилизацию розовых «облаков» можно представить себе как суперцивилизацию муравейника или пчелиного роя, то в своей гипотетической лаборатории они начнут именно с этологии — с изучения сообществ, начиная с простейших. Цепь от насекомых и млекопитающих требовала заключительного звена, наиболее совершенного продукта биологической эволюции.

Но Зернов еще не кончил.

— Есть и еще одна точка опоры у нашей гипотезы: время. Наши часы не поспевают за солнцем. Они оста-

новились за несколько секунд до смены декораций и снова пошли уже в другой реальности. Но солнце там приближалось к зениту, а стрелки наших часов — к семи вечера. Значит, в этой реальности действовала другая система отсчёта времени или то, что нам показалось мгновением, на самом деле отняло три четверти суток, когда часы, возможно, стояли. Допустим, что мы их перевели и в полдень стрелки остановились бы на двенадцати. Сколько времени мы здесь? Четыре часа с минутами. А солнце уже за лесом, только багровая полоска видна: мы в преддверии сумерек. Так где же летом в умеренных широтах солнце заходит в четыре часа дня, а в пять, наверное, уже темнеет? Значит, день и ночь здесь короче, а следовательно, и планетка поменьше.

Мы посмотрели на небо: закат был очевиден, красный, как говорят — ветреный земной закат, но совсем не в земное время. День отсветил, приближалась ночь.

Принесли еще сушняка, и костер запылал сильней.

— Будем всю ночь жечь. Головешки тоже оружие.

— И спать по очереди.

— И программа-минимум, мальчики. До утра только.

— А с утра?

— Людей искать. Не для муравьев же нас сюда пригласили.

— А где их искать?

— Железная дорога подходит к шахтам с юго-запада,— вспомнил Толька.— Значит, вниз по реке.

— Подходяще. И еда под боком.

— Выходит, одну рыбу жрать?

Продымленная костлявая рыба, да еще без соли, погасив голод, уже не вызывала аппетита.

— Можно кабанчика поймать,— мечтательно откликнулся Толька.— Есть способ. На тропу в зарослях закладывается петля с грузом. Попав в петлю, кабан делает сильный рывок и бросается в чащу...

— А ты за ним. Жаль, что у меня нет камеры. Этюд для «Фитиля».

— Я могу подползти к любой птице на десять — пятнадцать футов. Брал призы за бесшумность в военной школе,— сказал Мартин.— А нож бросаю без промаха.

Я засмеялся:

— Смотри.

Прямо на нас на огонь костра летела большая черная птица. Летела невысоко, все время снижаясь. И почему-то в замедленном темпе полета. Казалось, крылья взмахивали все слабее и реже.

Мартин бесшумно приподнялся на согнутых коленях. Тихонько щелкнул, выбросив лезвие, нож. Но птица, не долетев буквально трех метров, в последний раз взмахнула крыльями и упала в траву. Мы нашли ее уже бездыханной.

— Глухарь,— сказал Толька и замолчал.

Что-то привлекло его внимание и оказалось длинной стрелой, пронзившей насквозь тело птицы. Мартин с трудом вытащил стрелу: мешал раздвоенный металлический наконечник, чуть плоский и заостренный, как штык. Почти метровая стрела была выкрашена в черный цвет и заканчивалась хорошо приклеенным оперением. Мастерская стрела. Даже лучшие мастера спортивной стрельбы из лука позавидовали бы ее обладателю.

Мартин долго вертел в руках это совсем не современное оружие и сказал задумчиво:

— Мы, кажется, попали к индейцам, мальчики.

Глава VI

УРОК ГЕОГРАФИИ

Глухаря, уже ощипанного и выпотрошенного, начали жарить, как и рыбу, на вертеле. Мечтали о чае. Но не было ни чая, ни сахара, ни котелка для воды. Воду пришлось пить некипяченой прямо из реки, черпая пригоршней. Хорошо еще, что вода была как ключевая, незамутненная и не пахла болотом.

Разговаривать не хотелось. Мы сидели вокруг костра, не задавая вопросов и не высказывая предположений. Робинзонада не прельщала перспективами и не сулила надежд на возвращение домой. Да и где теперь этот дом? За сколько километров, парсеков или магнитных полей?

В эту минуту тревожных и тягостных раздумий незнакомый голос вдруг спросил по-английски:

— Разрешите присесть к вашему костру, друзья?

И поскольку мы не ответили сразу, он тотчас же повторил свой вопрос по-французски, с такой же безукоризненной точностью произношения.

— Пожалуйста,— ответил по-английски Зернов,— места хватит для всех.

Он обращался к двум бесшумно подошедшим парням в шортах и клетчатых рубашках с короткими рукавами. Первое, что мы увидели, были их голые ноги, шерстяные носки, скрученные у щиколотки, и самодельные мокасины-плетенки из сыромятных ремешков. Оба были ровесники или погодки, очень похожие, даже одинаково загорелые, должно быть братья, не старше двадцати лет. Коротко остриженные русые волосы дополняли впечатление юношеской подтянутости, аккуратности и чистоты. На поясах у обоих болтались деревянные колчаны с такими же черными стрелами, как и та, которую вытащил из глухаря Мартин. Охотничью экипировку их завершали висевшие за спиной очень большие, почти в человеческий рост, луки, а в каждом из гостей было по крайней мере около ста девяноста сантиметров.

— Джемс,— сказал первый; он стоял ближе к нам.

— Люк,— подхватил второй, выходя к костру.

Даже голоса их были похожи.

Мы невежливо промолчали, все еще ошеломленные их появлением и видом. Но Зернов вовремя исправил нашу бестактность, тут же представив нас тоже по именам. Охотники переглянулись — видимо, наши имена несколько удивили их,— но никаких замечаний не сделали. Оба продолжали стоять, выжидательно нас оглядывая.

— Присаживайтесь,— повторил Зернов,— птица ваша, но мы ее уже наполовину поджарили. Только соли нет и вскипятить воды не в чем.

— Кто же ходит на охоту без котелка и без соли? — ухмыльнулся Люк и тут же умолк, встретив осуждающий взгляд брата.

Тот, по-видимому, был старшим.

— Сейчас принесем все, что надо,— сказал он.— А на Люка не сердитесь: он еще маленький — восемнадцати нет.

И оба исчезли в сумерках так же внезапно, как появились.

— Интересное кино,— ввернул было Толька, но мы не откликнулись: для впечатлений и выводов еще не пришло время.

Однако и сейчас было ясно, что парни славные и симпатичные и что робинзонада наша подходит к концу. Через несколько минут оба вернулись без колчанов и луков, но зато с котелком, глиняными кружками, баночкой с солью и караваем хлеба. Только теперь мы догадались, что они пришли со стороны реки, где, вероятно, оставили лодку. Впоследствии оказалось, что мы не ошиблись.

Разговор начался испытующе и осторожно, как на дипломатическом приеме, когда любопытство сдержанно, а вежливость лаконична.

— Как охота? — спросил Джемс.

— Точнее, рыбная ловля,— поправил с любезной улыбкой Зернов.

— Кто же едет ловить рыбу в такую даль, когда ее у любого берега не выловишь? — опять ухмыльнулся Люк и опять был остановлен молчаливо предупреждающим взглядом брата.

— Здесь рыба непуганая,— заметил Джемс как бы вскользь,— но я думал, что вы охотились.

— На нас охотились,— сказал Мартин.

— Кто?

— Сначала кошки, потом муравьи.

— Где?

Мартин вместо ответа указал на противоположный берег реки.

— Вы были в восточном лесу?

Джемс даже вскочил с места — впрочем, так же бесшумно, как подошел: не хрустнула ни одна веточка сушняка для костра — сушняка, разбросанного нами вокруг и служившего вместо скамеек. Видимо, Джемс даже бессознательно рассчитывал каждое свое движение. Что-то не современное, не от спортивного тренинга, а дикое, неотделимое от природы, что-то от героев Арсеньева или Купера было в этом рослом меднокожем блондине.

— Вы не могли пройти этот лес,— прибавил он недоверчиво.

— Прошли, как видите,— сказал Мартин.

— С каким оружием?

Мы засмеялись. Мартин поиграл своим ножом.

— И все?

— Увы.

Братья переглянулись по-прежнему настороженно и недоверчиво.

— Вы не переодетые «быки». «Быкам» здесь делать нечего,— раздумчиво, словно рассуждая сам с собой, проговорил Джемс.— Да «быки» бы и не стали жарить птицу на вертеле.

— Может быть, они оттуда? — спросил Люк брата, многозначительно подчеркнув слово «оттуда».

Джемс предостерегающе сжал ему руку и, помолчав, прибавил:

— Оттуда за последние два года побегов не было.

Смутная догадка осенила меня.

— Вы имеете в виду лагерь?

— Какой лагерь?

— Ну, шахты или рудники на той стороне.— Я указал на реку.

— Майн-сити?

— Не знаю, как это называется, но, по-моему, это ад. Даже хуже, если только может быть хуже.— И я рассказал о расправе за колючей проволокой.

— Так всегда кончается,— не удивился Джемс.— Автоматы только у них, да и стрелять не всякий сумеет. Поэтому оттуда и не убегают. Три года назад бежал Прист. Но ему повезло: он спрятался в кусках угля и спрыгнул в реку, когда переезжали мост. Теперь мост охраняют.

Он говорил по-английски чисто, но как-то иначе, чем Мартин. Должно быть, Мартин тоже это заметил, потому что спросил:

— Ты канадец?

— Не понимаю,— сказал Джемс.

— А что непонятно? Из Монреаля или из Оттавы?

Братья опять переглянулись, на этот раз без всякой настороженности: они действительно не понимали Мартина.

— Вы говорите как-то странно, не по-нашему,— про-

изнес Джемс, и снова нотка недоверия прозвучала в его словах.— Я думал, что вы просто дикие, как и мы.

— А мы действительно дикие,— подтвердил Зернов дружелюбно и доверительно.

Я понял его. Он разрушал стену между ними и нами, созданную неосторожным вопросом Мартина.

— Ну конечно,— доверчиво откликнулся Люк,— не «быки» и не «воскресшие». По одежде видно. Да и кто, кроме нас, по реке шатается.

Но Джемс был более осторожен. Он еще не верил, он проверял.

— Давно из города? — спросил он.

Теперь переглянулись мы. Вопрос был точен, и такой же требовался ответ. Любая ошибка могла порвать тоюсенькую ниточку взаимного доверия, которая одна могла привести нас в чужой и неведомый мир.

К счастью, закипела вода в котелке, и Джемс, не дожидаясь ответа, начал приготовлять незнакомое нам питье. Он не засыпал в котелок ни чая, ни кофе, а просто вылил туда половину принесенной им бутылки. Вкусно запахло подогретым виноградным вином.

— Грог,— сказал Люк.— Отец привозит вино из города. А на будущий год, если виноград уродится, начнем сами давить.

«Должно быть, фермеры»,— подумал я, но догадки не высказал. И хотя жареный глухарь и кипящий грог еще теснее связали нас, необъяснимое все-таки оставалось необъяснимым. И для них, и для нас. Надо было открываться и открывать.

Начал Джемс: в его присутствии Люк, по-видимому, всегда был второй скрипкой.

— Почему вы не одинаково говорите по-английски? Один лучше, другой хуже. Может быть, вы французы?

За доску предстоящей шахматной партии сел Зернов. В молчаливом единодушии мы предоставили ему это право.

— Мартин — американец, а мы трое — русские.

— Русские? — удивился Люк.— Нет такого сектора в городе.

Джемс поморщился.

— Замолчи,— привычно одернул он брата. Есть русский арондисман во французском секторе.

— Вроде Гарлема?

— Меньше.

Люк удовлетворился ответом, а мы недоумевали. Город без имени. Русский арондисман. Гарлем. Оба не знают, что такое канадец, не слыхали ни о Монреале, ни об Оттаве. Требовался географический гамбит, и Зернов рискнул:

— Мы не из вашего города. Никогда в нем не были. Мы даже не знаем, как он называется.

— Просто Город,— сказал Джемс.— А вы откуда?

— Мы не «быки» и не «воскресшие». Очевидно, имеются в виду полицейские и беглецы из Майн-сити. Вероятно, мы вкладываем разный смысл в понятие «дикие». Но у нас нет оружия, и мы нуждаемся в помощи. Нам просто нужно побольше узнать друг друга, чтобы сломать недоверие. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые вопросы покажутся вам странными или даже смешными. Например, как называется эта планета?

— Земля.

— А ваша страна?

— Я не знаю, что такое страна.

— Ну, вся эта часть земли, где живете вы, люди.

— Город.

— Разве у вас один город?

— Конечно.

— А Майн-сити?

— Это не Город, а рудничный поселок и место ссылки.

— А государство?

— Город — это и есть государство.

— Одно государство на Земле?

— А разве может быть несколько?

Даже Зернов сбился и недоуменно взглянул на нас, но тут же нашелся:

— Вы говорите по-английски и по-французски. А вы слыхали о таких государствах, как Англия и Франция?

— Нет.

— А о частях света? О материках и океанах? Об островах и морях?

Джемс и Люк непонимающе взирали на нас. Даже

слова, произносимые Зерновым, были им незнакомы.

Тут я не выдержал и вмешался:

— А вы в школе учились?

— Конечно,— хором ответили оба.

— Есть такой предмет — география...

— Нет такого предмета,— перебил Люк.

— Погоди,— остановил его брат.— Что-то такое было. Но очень давно. Во время Начала.— Он произнес это слово так же подчеркнуто и торжественно, как и «Город».— Мне было одиннадцать или двенадцать, точно не помню. Был у нас тогда учитель, француз Шемонье или Шемоннэ. Он что-то рассказывал нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось «география». Но потом ее запретили, а он исчез.

Оба отвечали охотно, даже с готовностью, но как-то по-школьному, вроде бы на уроке. Чему же их научили в этой школе, где запрещена география и горизонт учеников ограничен рекой и лесом?

— Кстати, как называется эта река?

— Никак. Просто Река.

Мы снова обменялись недоуменными взглядами: непонятная неприязнь к географии упразднила здесь даже названия. Просто Город. Просто Река.

— А куда она впадает?

— Что значит впадает?

Я подумал, как Зернов сформулирует свой вопрос, если они не имеют представления о морях и озерах? Зернов спросил:

— Ну, где кончается?

— Нигде не кончается. Замкнутый круг, опоясывающий Землю.

Дремучее невежество это и убежденное его утверждение чуть не вывели меня из себя. Но я только спросил:

— Откуда вы все это знаете?

— Из школы. Это — Знание.— В голосе Джемса снова прозвучала торжественность, начинавшая слово с прописной буквы.— Знание о природе, о Земле, о Солнце, почему сменяются день и ночь, как загораются и гаснут звезды.

Тут только дошло до нашего сознания, что над нами давно уже ночное звездное небо,— в азарте разговора

никто даже головы не поднял. Первым это сделал Толька и закричал:

— Чужое небо!

Мы смотрели на небо и молчали. Вероятно, каждый искал знакомые ему с детства светила. Но их не было. Я не нашел ни Стожар, ни Большой Медведицы, ни Полярной звезды. По всему одинаково черному небосклону горели по-чужому разбросанные в чужих узорах чужие звезды. Это не было Южное полушарие: мы все, побывавшие в Антарктике, пересекали экватор и видели Южный Крест. Но и Южного Креста не было. Чужое небо висело над нами — небо другой планеты в системе другого Солнца, может быть, даже другой галактики. Пожалуй, впервые мы по-настоящему поняли всю необычность и значительность того, что с нами произошло. До сих пор во всем, что нас окружало, ошеломляло и даже пугало, все же был какой-то оттенок странного, но занятного приключения, игры, которая вот-вот кончится. Как и в коридорах парижского отеля «Омон», превращавшихся то в затемненные улицы Сен-Дизье, то в сюрреалистскую феерию офицерского казино. Даже на лестнице в багровом тумане отеля мы с Зерновым спокойно обсуждали случившееся, не чувствуя отчужденности от нашей реальности, от нашего мира. Здесь эта отчужденность ощущалась ясно и тревожно, но все же теперь, под чужим небом чужой планеты, она стала поистине трагической. Случайная вспышка костра осветила лица моих товарищей — их сжатые губы и полные затаенной тревоги глаза. Молчание было тяжелым, долгим и угнетающим.

Молчали и юноши этого мира — может быть, из уважения к нашей печали, может быть, из чувства неловкости и непонимания, ведь и наше появление здесь, в привычной для них безлюдной глуши, и наш язык, и наши вопросы, и наше удивление их привычным словам и понятиям — все в нас должно было их отталкивать, беспокоить и даже страшить. И я не удивился, когда они оба встали и, не сказав нам ни слова, ушли в темноту.

— Ушли,— произнес по-русски Толька,— ну и черт с ними.

— Мне кажется, что они вернутся,— заметил Зернов.

— А мне уже все равно,— сказал я.

Мартин ничего не сказал, впервые не обратив наше внимание на то, что мы исключили его из беседы. Видимо, он и так все понял.

Зернов оказался прав: через несколько минут Джемс и Люк подошли к костру. Никто из нас не встал, не подвинулся, даже не взглянул на них, как будто бы их внезапный уход не вызвал у нас ни удивления, ни любопытства. А они тоже не присели рядом — как раньше, продолжали стоять, высокие, плечистые, еще более красивые в пламени ночного костра, и почему-то медлили, может быть не зная, как начать, или ожидая вопросов.

— Вас огорчило наше небо, мы видели,— сказал наконец Джемс.— Не сердитесь: мы только теперь поняли, что вы другие, не такие, как все. Мы отвезем вас к отцу, он хорошо помнит Начало и, может быть, легче поймет вас, а вы его.

Глава VII

УРОК ИСТОРИИ

Лодка ждала нас на отмели. Джемс чиркнул спичкой, почему-то вспыхнувшей ярко-зеленым огнем, и зажег толстый, оплывший огарок свечи, вставленный в квадратную консервную банку, одна стенка которой подменялась стеклом, скрепленным медными самодельными зажимами. Как ни тускло было это игрушечное освещение, все же оно позволило разглядеть длинную широкую плоскодонку, загруженную на носу набитыми чем-то мешками и охотничьими трофеями. Их было довольно много: уже разделанная туша оленя, большущий кабан, зажатые между ним и бортом три тушки зайцев и несколько черных птиц, похожих на ту, которую мы только что жарили. Все это снайдерсовское изобилие увенчивал огромный судак, бело-розовое брюхо которого не обмануло своими размерами даже в свете коптящего ребяческого фонарика.

Мы устроились на корме на сене: я — поближе к гребцам. Они отчалили молча, орудуя каждый тяжелым длинным веслом. Почти не разговаривали, ограничиваясь сдержанными короткими репликами: «Можете спать, а мы

на веслах. Надо добраться домой до рассвета... Река в этих местах патрулируется редко, но можно нарваться на случайный патруль». Почему река патрулируется или не патрулируется, что за патруль — они не объясняли, а мы не спрашивали. Какой смысл в сотый раз спрашивать, почему и зачем, когда и объяснения все равно непонятны. Слишком многое непонятно. Даже знакомые слова приобретали у них незнакомый смысл. Зернов разгадал тайну «быков» и «воскресших», но сейчас молчал. Может быть, заснул — он устал больше других. Толька тоже притих. Посапывание Мартина становилось все более равномерным. А я просто лежал с закрытыми глазами: когда сильно устанешь, всегда не спится. Откроешь глаза — опять чужое безлунное небо; прислушаешься — только ритмические всплески воды в ночном безмолвии, тихие-тихие: весла почти бесшумно врезаются в воду. И почти так же тихо отталкиваются и цепляются друг за друга реплики сидящих рядом гребцов. Свист весла, всплеск, чьи-то слова — Люка или Джемса. Трудно угадать: оба переговаривались еще слышным шепотом из боязни разбудить нас или из опасения быть кем-то подслушанными — на воде в такой тишине слышен даже шепот.

— Откуда они, как думаешь?

— Не знаю. На «диких» они не похожи.

— Без соли и котелка на охоте. Смешно.

— Они и не охотились.

— А говорят, восточный лес прошли. Ты веришь?

— Не знаю.

— А нож у него заметил? Лезвие само выскакивает. Я таких еще не видел.

— Мало ли чего ты не видел!

— А закуривают без спичек. Помнишь коробочку с огоньком?

— Может, они из бюро патентов?

— Зачем бежать из бюро патентов?

— Говорят, что никогда не были в Городе.

— Врут, наверно.

— А вдруг забыли?

— О чем? О Городе? О Начале? Об этом не забывают. Не помнят того, чего нельзя помнить? Что им остается?

— Ты прав. И они ищут помощи — это понятно. Толь-

ко почему они так поздно вспомнили, а то, что есть, забыли?

— Без отца не разберемся.

— Отец учит доверять хорошему человеку. По-моему, мы не ошиблись.

Я открыл глаза и сказал так же тихо:

— Извините, ребята, я не сплю. И вы действительно не ошиблись. Мы помним многое, чего не знаете вы, а то, что есть, забыли. Даже то, о чем прежде всего спрашивают в сумасшедшем доме: какой век, какой год, какой месяц, какой день.

— Вы действительно этого не помните? — спросил Джемс.

— Конечно. Иначе бы я не спрашивал.

— Первый век. Десятый год. Двадцать первое июня. Одиннадцать ночи. В час рассвет.

— Сколько часов в сутках?

— Восемнадцать.

Первый век, десятый год. «Облака» ушли три года назад, а здесь прошло почти десять лет. И день и год здесь короче. И планетка поменьше. И город один. А не напортили ли «облака» со своим великим экспериментом? Живут люди, по всем статьям люди, а живут не по-нашему.

Пошутить-то я пошутил, а горечь комком подступала к горлу. Не стыдно бы — заплакал, да не хотелось слюни распускать перед мальчишками. Джемс, должно быть, по интонации догадался о моем состоянии и произнес как-то по-своему тепло зазвучавшим шепотком:

— Не огорчайтесь. Память иногда возвращается. У некоторых. Во всяком случае, частично. И у отца вам будет хорошо. А захотите — он переправит вас в Город. Там у нас есть свои люди — помогут.

Джемс ничего не понял, конечно, но дружеское участие его меня тронуло.

— Спасибо,— сказал я.— А далеко ваш дом?

— Часа полтора по реке. Только сделаем небольшую остановку. Нужно встретить одного человека. Кое-что принять, кое-что передать. Люк, смотри: он уже ждет.

Тусклый огонек мелькнул в черном подлеске еще более черного леса. С лодки не видно было ни кустов, ни деревьев — только темные тени над темной водой.

Лодка почти беззвучно подошла к берегу. Чуть-чуть зашелестели кусты.

— Обычно мы привязываем ее и переносим груз вместе с Люком,— сказал Джемс.— Сейчас не будем терять времени. Люк придержит лодку, а ты мне поможешь.

Мы взвалили на плечи каждый по довольно громоздкому, но не тяжелому мешку, легко спрыгнули на берег и начали подыматься по крутой тропинке в гору. Тусклый огонек свечи, должно-быть, в таком же самодельном фонаре, как и у Джемса, блиставший метрах в пяти над нами, служил ориентиром.

Вдруг он погас. Голос из темноты спросил:

— Кто?

— Джемс.

— Ветром задуло свечу. Спички есть?

— Сейчас.

Мы уже поднялись на пригорок. Черные кусты окружали нас. Черные листья щекотали лицо. Джемс чиркнул спичкой. Зеленый огонек осветил круп лошади и серый мундир стоявшего рядом мужчины. Лица его я не увидел: фонарь закрывал его — такая же консервная банка без одной стенки, но с разбитым стеклом. Крохотное пламя свечи не прибавило света, но все же позволило разглядеть обшитые кожей серые штаны с золотыми лампасами и желтые сапоги стражника.

— Черт! — выругался я по-русски и отступил в темноту.

Полицейский засмеялся.

— Земляк,— сказал он тоже по-русски,— не бойся, не забодаю.— И прибавил уже по-английски: — Твой спутник, Джемс, видимо, принял меня за «быка». Если он понимает по-английски, объяснять, я думаю, не надо. Это единственный костюм, в котором здесь не наживешь неприятностей. Все? — спросил он, приподымая сброшенные нами мешки.

— Одни лисьи,— сказал Джемс.

— Неплохо. Я тоже кое-что захватил. Мешок муки и два ящика. Кроме консервов, сигареты, вино и разная мелочишка. На дне — пара новеньких «смит-вессонов», автоматические, тридцать восьмого калибра. Патроны поберегите. Они не для охоты.

— Знаю.

Человек с фонарем подошел ближе, раздвинул неправдоподобные в темноте ветви. Лицо его по-прежнему таяло в густом — я судил по сырости — ночном тумане.

— Передай отцу: неплохую тренировочку он придумал для памяти. Возвращается, подлая. Помню теперь не только Людовиков, но и Сопротивление. А сейчас вдруг прорезалась одна дата: сорок первый год, двадцать второе июня. Сверлит, а не могу вспомнить что.

— Начало Великой Отечественной войны,— сказал я.

На мгновение он умолк, потом выкрикнул почти восторженно:

— Когда вступили в войну мы, русские. Верно. На рассвете двадцать второго июня.

— Через час,— сказал Джемс.— Надо спешить.

Он не проявил интереса к уроку истории. Видимо, это заметил и наш собеседник.

— Все сразу не захватишь,— произнес он уже другим тоном, лаконично и деловито.— Кому-то придется возвращаться. Возьми пока один ящик, а мы с ним потолкуем немножко.— Он махнул фонариком в мою сторону, чуть не погасив при этом свечу.

— Тоже историком был? — спросил он, когда Джемс с ящиком на плече исчез в темноте.

— Почти,— сказал я.

— И все помнишь?

— Многое.

— А после разгрома под Москвой что было, напомни.

— Сталинград.

— Верно,— протянул он задумчиво.— Теперь еще кое-что припомнится. Жаль, что нам нельзя встречаться просто.

— Почему нельзя?

— Потому что я в Городе, чудак. Дадут пароль — встретимся. А так зайдешь — не узнаю.

Мы говорили по-русски.

— Какой язык? — вздохнул он.— «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Кто это сказал? Вертится, вертится, а не могу вспомнить.

— Тургенев.

— Тургенев,— повторил он неуверенно.— Нет, не по-

мню.— И поскольку я молчал, ничем не выражая отношения к провалам его памяти, тихо прибавил: — Господи, как много мы забыли! И как трудно все это вернуть!

Он замолчал, прикрывая разбитое стекло фонаря рукой, отчего тьма вокруг становилась еще гуще. А к моему пониманию происходящего услышанное ничего не добавило. Почему он, тоже русский, оказался здесь, на чужой планете? Почему он живет в этом загадочном безымянном Городе? И почему с ним нельзя встретиться просто, а нужен пароль? Историк. Если наш, земной, то почему он радуется, что не забыл Сопротивление и Сталинград? Или Сталинград он забыл? Значит, нужна тренировка памяти — он сам об этом сказал. Но кому и зачем она нужна? Джемсу и Люку она явно не требуется. А он сказал: «Господи, как много мы забыли! И как трудно все это вернуть!» Но разве эти слова что-нибудь проясняют? Они только умножают загадки.

— Мне понятно, почему ты бежал,— прервал он мои размышления,— но не уходи от Запомнивших. (И опять слово прозвучало так, словно было написано с прописной буквы.) Мы еще пригодимся, дружище.

— Что запомнивших? — спросил я, будто бы не расслышав фразы.

— То, что было.

— У меня другая беда.— Я продолжал начатую на лодке игру.— Помню все, что было, и забыл все, что есть.

Он рассмеялся тихонько, как смеются в классе, чтобы не услышал учитель.

— Вспомнишь. Научат. Главное, не говори никому о том, что Начало не есть Начало.

Сзади послышался треск хрустнувшей под ногами ветки. На берег поднялся Джемс.

— Бери ящик,— потребовал он, подымая мешок с мукой.— Поторопимся. Прощай, Фляш.

Человек, которого назвали Фляшем, потушил фонарь и вскочил в седло, связанные вместе наши два мешка он перебросил перед собой, как вьюки.

— А что в мешках?— спросил я Джемса.

— Лисьи шкурки. Все «дикие» промышляют этим,— неохотно, как мне показалось, пояснил он и спросил в свою очередь: — О чем говорили?

— О памяти,— сказал я: мне тоже не очень-то хотелось развивать сейчас эту тему.— А что он делает в Городе?

— Об этом не спрашивают.

Глава VIII

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

Я очень люблю у Грина романтическую сказку о воплощенной мечте. Кто-то подшутил над ее героем — рассказал красивую выдумку о «сердце пустыни», о коттедже или даже поселке, построенном счастливцами в девственной лесной глухомани, руссоистскую утопию в сочетании с требованиями современного городского комфорта. Никакого «сердца пустыни» герой, конечно, не нашел, но он сам его создал — я даже гриновскую характеристику помню,— прелестное человеческое гнездо в огромном лесу, что должно таить копи царя Соломона, сказки Шехерезады и тысячу тысяч вещей.

Я сделал это открытие, когда мы уже подъезжали к коттеджу Стила. Кстати, фамилия владельца дома и главы семьи, в которой выросли Люк и Джемс, отличалась от фамилии гриновского героя только отсутствием мягкого знака в конце — добротная английская или американская фамилия, если только уместно упоминать о земных нациях в этом диковинном мире.

А до этого мы еще плыли по ночной реке час или больше, не знаю, потому что заснул наконец от усталости рядом с Мартином. Разбудил меня Джемс, легонько толкнув в плечо: «Проснись. Подъезжаем. Разбуди других — только тихо». Я толкнул Мартина — он очнулся мгновенно, с чуткостью индейца из романов Эмара и Купера, сразу осознав себя в окружающем мире. Толька тоже проснулся, а Зернова и не нужно было будить: он, стараясь побольше разглядеть и запомнить, сидел у кормового борта, обхватив руками колени. Рассвет уже алел, чернота по берегам сменилась различимой синевой леса, бриллиантовая россыпь звезд тускнела и гасла. Сизый

туман клубился над рекой, подымаясь по берегам к полосе плотно разросшегося кустарника. Пахло жасмином и шиповником, хотя различить в предрассветном тумане было трудно,— я заметил только переплетающиеся ветки кустарника, словно росшего из воды там, где берег образовывал выемку. Туда-то и направил лодку Джемс. Она врезалась в кусты, раздвинула их и прошла насквозь с хрустом и шелестом веток о борт. Мы оказались в ерике — узком рукавчике, соединявшем соседние плавни с впадавшей где-то неподалеку другой рекой или, скорее, ее притоком.

Ерик протекал в зеленой сплошной галерее с крышей из переплетавшихся веток, закрывавшей небо. Грести было уже нельзя — Люк и Джемс отталкивались от кустистых берегов веслами. Потом ерик стал шире, или то был уже другой ерик — наша водяная дорога то и дело петляла, как это бывает обычно в дунайских плавнях. И ерик был типично дунайский, с крутыми берегами и серой илистой каемкой у воды, только по берегам росли не верба с ольхой, а высоченные, в два-три обхвата клены и вязы. Уже виденная много раз розовая изгородь увенчивала верхнюю каемку берега, с которого лестницей к воде спускались вдавленные в траву валуны. Именно лестницей — она вела к высокому забору из плотно сбитых и заостренных вверху нетесаных бревен, точь-в-точь такому же, какой возвел вокруг своего дома Робинзон Крузо. Здешние робинзоны повторили его и в бойницах, выпиленных в нескольких местах наверху между бревен так, что, скажем, в феодальные годы трудно было придумать лучшую крепостную стену для защиты владения от рыцарей легкой наживы. Имелись ли здесь такие, не знаю, но имелось многое, что стоило защищать.

Я это сразу понял, как только Джемс отомкнул калитку и мы вошли в сад, отделенный от хозяйственного двора деревянной решеткой. Поэтому нас не встретил ни лай собак, ни крики домашней птицы. Тишина леса по-прежнему окружала нас: в доме, видимо, спали. Он был очень красив, этот дом, выстроенный без всякого архитектурного плана, но с несомненным художественным чутьем, присущим строителям. Гигантские бревна стен почти скрывала коралловая жимолость, разной фор-

мы окна и двери не раздражали, а притягивали глаз. Крыша из выгоревшей до черноты тростниковой соломы выдвигалась по карнизу здания массивным навесом полуметровой толщины, предохраняя от прямых лучей солнца обегавшую дом открытую деревянную галерею. Такие крыши я видел в румынских гостиницах в придунайских поселках — они всегда придавали зданиям какую-то особую деревенскую элегантность ухоженного и опрятного горожанина. Такое же впечатление производил и этот двухэтажный коттедж, окаймленный естественным, буйно разросшимся цветником. Да, именно так должно было выглядеть гриновское «сердце пустыни», воссозданное с редким искусством в лесу, дикость которого не убивала, а подчеркивала красоту человеческого жилища.

Мы не прошли и половины дорожки к дому, как навстречу вышел человек в такой же ковбойке и шортах и такой же высокий и загорелый. На его лице не было ни одной морщинки, и только ранняя седина умаляла его моложавость. Конечно же, это был отец наших спутников, но его скорее можно было принять за их старшего брата.

— Типичный фермер из Аризоны или Канзаса,— шепнул мне Мартин,— только ранчо у него побогаче.

— Дэвид Стил,— с достоинством представился он, нисколько не удивившись нашему появлению в обществе его сыновей.

Мы назвали себя. Мартину он пожал руку, как доброму соседу, и только чуть-чуть поднял бровь, когда услышал наши русские имена. «Воспитанный человек»,— сказали бы мы о нем у себя дома. Именно дома — он был земной, совершенно земной человек, гостеприимный хозяин дачи, к которому мы заехали в выходной день.

— Вы, наверное, очень устали,— проговорил он сочувственно.— Еще бы: всю ночь на реке. Наверное, не выспались? Впрочем, завтракаем мы в пять утра, так что у вас еще три часа, чтобы отдохнуть и вздремнуть, если захочется. Джемс пошел приготовить вам комнаты и кое-что перед сном — молоко с тартинками.

— Интересный забор,— вдруг сказал Зернов, оглянувшись.

— Мы два года его строили — столб к столбу,— оживился хозяин: он, видимо, оценил интерес Зернова.—

А видите галерейку сверху? По ней можно быстро перебегать от бойницы к бойнице.

— Против кого? — спросил Зернов.

— Лес — это не проезжая улица,— ответил Стил,— вас не охраняют здесь постовые, и соседи не прибегут на ваш крик о помощи. Порой стадо оленей может потоптать все ваши посевы, а десяток лисиц передушить всех индеек и кур. Однажды мы оборонялись против целой стаи волков, и они не ушли до тех пор, пока мы не перебили почти половины и живые не пожрали убитых. Мы потом два дня собирали стрелы и очищали кусты на берегу от костей и мяса.

— А люди? — снова спросил Зернов.— Вы не опасаетесь их любопытства?

У его вопросов была какая-то цель, только я не мог ее обнаружить. Но Стила вопрос не смутил.

— Я понимаю, о ком вы думаете,— сказал он,— но река патрулируется здесь редко, а по лесу добраться сюда трудно и небезопасно. Излишнее любопытство может стоить жизни.

Чем был вызван интерес Зернова к забору? Чье любопытство могло угрожать хозяину дома? Ведь Зернов не знал и не мог знать, что знал я: о двух автоматах, спрятанных в ящиках с консервами, о предупреждении маскарадного полицейского беречь патроны. Неужели Зернов самостоятельно пришел к тем же выводам, какие подсказала мне ночная экскурсия с Джемсом?

Когда мы остались одни в отведенной для нас спартански обставленной комнате с волчьими шкурами на полу и на койках и с чисто выструганным дубовым столом, на котором уже стояли обещанное молоко и поджаренные тартинки, я высказал свои соображения Зернову.

Он, как всегда, ответил не сразу. Повертел в руках пустую бутылку с пестрой этикеткой и сказал совсем не то, чего от него ждали:

— Странная этикетка. «Бломкинс и сын». Пазадена. Калифорния. Неужели в этом мире есть своя Калифорния и своя Пазадена?

— И нет Америки.

— Мы пока не знаем, что есть. Нам известно только,

что есть Город-государство, а в нем французский сектор, русский арондисман и Гарлем. Крохи информации.

— Могу добавить. Какой сейчас век, по-вашему? Здесь — первый. А год — десятый. И время отсчитывается не с христианской эры, а с некоего загадочного Начала с прописной буквы. Утверждать, что Начало не есть Начало, а что-то ему предшествовало, и помнить, что предшествовало, никому не рекомендуется. Применяются санкции. И еще: в здешних сутках не двадцать четыре, а всего восемнадцать часов.

Меня выслушали с почтительным удивлением. Только Зернов заметил:

— То, что сутки здесь короче земных, мне уже с утра ясно. Год десятый — это любопытно. Но ни то ни другое не объясняет происхождения калифорнийской этикетки. Она, между прочим, подлинная. И Мартин ее узнал.

— Узнал,— ухмыльнулся Мартин.

— Молоко у них свое,— задумчиво рассуждал Зернов,— вино они, допустим, привозят из Города. Значит, его где-то изготовляют, хранят, выдерживают. Но почему именно Блюмкинс и сын, торгующие вином в Калифорнии? Обратите внимание: не однофамильцы владельцев фирмы, а именно они самые. Их вино, их бутылки, их этикетки, отпечатанные в фирменной типографии в Пазадене. Может быть, им посчастливилось открыть в другой галактике небольшой филиал?

Никто даже не улыбнулся.

— Все необъяснимо,— вздохнул Толька.

— Почему же все? — не согласился Зернов.— Многое проясняется, если допустить вероятность гипотезы о Земле-бис. Начнем с элементарного: что нужно «облакам»? Модель земной жизни. Как они поняли эту жизнь? Как совокупность по-разному организованных множеств. Но модель — это же селекция, отбор наиболее, с их точки зрения, типичного. Так зачем им повторяемость форм нашего общежития? Пейзажа? Флоры? Фауны? Не лучше ли представить Землю одним Городом-государством в окружении других форм земной эволюции? Может быть, здесь есть и свои полюса, и свои тропики, но для организованной жизни достаточно вот такого уголка с растительным изобилием.

Назидательный лекторский тон Зернова меня подчас начинал раздражать. Все знает этот человек, все постиг и все понял. А ведь наверняка немногим более нас, грешных, только сообщает пошире. И я вскинулся, лишь бы не молчать:

— А десятый год первого века? А упраздненная география? А отшибленная память? А «смит-вессон» рядом с индейским луком? Это тоже селекция?

— Не дури, Юра. Это же неуправляемая жизнь. Они воспроизвели структуру вещества, тайны которой мы так и не знаем, и предоставили все это естественной эволюции. Блокированная память? Понятно. Начиная жизнь здесь, эти люди не могли сохранить память своих аналогов со старушки Земли. То, что помнили и знали те, не должны были помнить и знать эти. Отсюда и Начало, первый век и упраздненная география.

— Кому же она мешала?

— Людям. Память не могла быть полностью заблокирована. Люди не могли начинать жизнь с опытом новорожденных младенцев. Жизненный опыт человека складывается из свойств характера, эмоциональных состояний, приобретенных знаний и профессиональной деятельности — словом, из количества воспринятой и переработанной информации. Часть ее, связанная с земным прошлым человечества, была не нужна — она помешала бы его жизни в новых условиях. Зачем знать ему о крестовых походах и войнах, которых не было на этой планете, о небесных светилах, оставшихся в другой галактике, и о странах и городах, которых здесь нет и не будет? Память об этом и была блокирована. Моделированному человечеству оставили только то, что могло способствовать его эволюции. Скажем, профессиональный опыт. Шахтер должен уметь добывать уголь, продавец — торговать, а строитель — строить. Но что делать учителю истории и географии? Он функционально связан с прошлым, ненужным здешнему школьнику. Вот он пришел в школу, как было запрограммировано его создателями, и начал рассказывать детям об Европе или Америке, о Гитлере и второй мировой войне. Дети сообщают об этом родителям, прочно забывшим все то, о чем помнит учитель. Теперь уже не «облака», а сами люди уберут такого

учителя, а дети получат новые основы знания. Слыхали Люка? Проще считать, что река замкнутым кольцом обтекает планету, чем где-то кончается и куда-то впадает. Этот Город-государство еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов, но ему нужны инженеры и математики. Без строительной механики не построишь домны, а без геологии не найдешь угля и железной руды. А вы говорите — необъяснимо!

Речь шла на языке Мартина. На таких военных советах он обычно молчал, редко вмешиваясь и еще реже перебивая,— сказывалась военная косточка,— а сейчас, когда объяснения Зернова, казалось, предвосхищали все наши возражения, взбунтовался именно Мартин.

— Все объяснимо, когда Борис объясняет. Мы как в покер играем — у него всегда флеш ройял, а мы карты бросаем. Верно? — Он оглядел нас, несколько удивленных таким вступлением, и засмеялся.— А сейчас у него бедновато, по-моему. Есть шанс сыграть самим: быть может, у нас каре.— Он подмигнул мне и Тольке.— Ну как, Борис, сто и еще сто? Во-первых, ни в какую чужую планету не верю. Мы в космосе только до Луны добрались, а тут другая галактика. С какой же скоростью мы перенеслись? Без аппаратов. В безвоздушном пространстве. Со скоростью света? Чушь. Алиса в Стране Чудес. Так я эти чудеса уже видел, знаю, как они делаются. Моделируется опять чья-нибудь жизнь, может быть, страницы научной фантастики, а нас суют в них, как орехи в мороженое. Ну и что? Растает мороженое — таяло уже сто раз, помню,— и очутимся мы опять в коттедже у Юры — доедать курицу со шпротами. Ну, как каре?

— «Каре»! — передразнил я.— Стрит паршивый, не больше. Мы здесь уже второй день сидим, а возвращением что-то не пахнет. Не тает мороженое. Твоя очередь, Толька.

Дьячук задумчиво загнул два пальца:

— Время чужое — раз. У нас вечер, здесь день. Небо чужое — два. Даже Млечного Пути нет. Как мы здесь очутились, не знаю. Другая ли это галактика, тоже не

---

[1] Флеш ройял, каре и стрит — комбинации в игре в покер.

знаю. Но это другая планета — не Земля. И другая реальность — не земная. Но реальность. И она не растает.

— А я не верю! Почему реальность? Вдруг только видимость? — не сдавался Мартин.— В Сен-Дизье время тоже было чужое, и небо чужое, и люди моложе на четверть века. Откуда все это возникло? Из красного тумана. И где исчезло? В красном тумане.

— Не блефуй,— сказал я.— Красного тумана здесь нет и не было. А игры у Тольки тоже нет. Пас, Толенька?

— Пас.

— А я сыграю. Все объяснимо, когда Борис объясняет,— повторил я слова Мартина.— Тогда откроем карты, Боря. Посмотрим, какой у тебя флеш ройял. Я уже не говорю о коньячной этикетке, происхождение которой и для тебя загадочно. Объясни-ка мне еще пяток загадок. Или десяток. Например, от кого получают «дикие» огнестрельное оружие и для чего они его получают?

— Пас,— засмеялся Зернов.

— Почему пригодятся Запомнившие и кому они пригодятся?

— Пас,— повторил Зернов.

— Почему «быки», едва ли страдающие отсутствием аппетита, не будут есть птицу, жаренную на вертеле?

— Пас.

— Почему при современном техническом уровне поезда в Майн-сити ведут паровозы, а не тепловозы?

— Тоже пас.

— Значит, не флеш ройял, Борис Аркадьевич?

— Нет, конечно. Многое здесь я никак объяснить не могу. Лично я думаю, что с нами хотят проконсультировать опыт, который, возможно, и не удался. Ведь даже суперцивилизация не сможет создать достаточно совершенную модель жизни, в которой ей самой не все очень ясно. Как в старой сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А что ты скажешь, мой уважаемый оппонент?

— Пас,— сказал я.

Не знаю, как всем, но мне стало чуточку страшно.

Глава IX

ПЕРВЫЕ КАДРЫ НАЧАЛА

Завтрак был сервирован по-европейски. поджаренные ломтики хлеба, холодное мясо, яйца всмятку, несколько сортов сыра — я узнал честер и камамбер — и кофе со сливками. Открытую веранду с трех сторон затемняли лапчатые листья клена, а четвертая была открыта солнцу, но не раннему, а уже достаточно сильному и высокому, какое у нас бывает не в шесть, а в десять утра. Пахло летним цветущим лугом — именно полевыми, а не садовыми цветами, и, ей-богу, трудно было даже представить себе, что ты не на Земле, не в гостях на даче где-нибудь у коллег Осовца под Звенигородом.

За столом прислуживала женщина лет сорока, скорее англичанка, чем француженка по внешнему виду и, казалось, отлитая по тому же стереотипу, как и все Стилы,— такая же высокая и крепкая, только с более строгим, даже суровым выражением лица. Она не улыбнулась, когда хозяин представил ее ласково, но лаконично: «Элизабет, сестра»,— и тотчас же ушла, как только была поставлена на стол последняя чашка. На мой вопрос, почему она не осталась с нами, Стил вежливо пояснил:

— Лиззи — существо молчаливое и застенчивое. После смерти жены она воспитала мне мальчиков, но так и не привыкла к мужскому обществу. А разговор у нас будет чисто мужской, серьезный и трудный. Из того, что рассказали мне дети, я, честно говоря, мало что понял. Пожалуй, самое важное: вы нуждаетесь в помощи, а мы никому никогда в ней не отказываем.

— Спасибо,— сказал Зернов,— но в основе всякой дружеской помощи — доверие, доверие и еще раз доверие. Мы доверяем вам наши жизни и наши судьбы. Мы одиноки, безоружны и беспомощны в этом мире, о котором ничего не знаем, кроме того, что видели и пережили в лесу. Мы говорим на одном языке, но мы люди разных миров, и, чтобы понять друг друга, хотя бы даже объяснить вам, почему произошла эта встреча, мы хотели бы услышать ваш рассказ о вашем мире — о Городе и его людях, о вас и о вашей жизни. Только тогда вам станут

понятны и наш ответный рассказ, и мы сами, и наше стремление не только получить помощь, но и предложить вам свою, если она понадобится.

У Зернова была двоякая манера вести разговор: или он насмешничал, иронизируя порой зло и тонко, или речь его вдруг приобретала оттенок лекторского пафоса, словно, говоря, он опирался на кафедру. В трудных случаях нашей жизни, когда разум отказывался объяснить случившееся, эта слабость Зернова становилась его силой — она укрепляла наши смятенные души. Но сейчас, как мне показалось, он скорее насторожил Стила, чем расположил его к нам. Джемс и Люк жевали, не подымая глаз от тарелок, а Стил, наоборот, долго и пристально разглядывал всех нас по очереди, но молчал. Тогда я, вспомнив свой ночной разговор с маскарадным полицейским, решил вмешаться.

— Большинство из вас не помнит того, что предшествовало Началу,— рубанул я напрямик нечто вполне понятное Стилу,— а если кто и помнит что, то, даже собрав все это запомнившееся, нельзя представить себе мира, каким он был. Предположите парадокс: мы помним все, что было, абсолютно все, и ничего не знаем о том, что есть, абсолютно ничего. Вот вы и расскажите нам о том, что произошло с вами девять лет назад, как вы жили эти годы, чего добились и что утратили. Вам понятно?

Мне было понятно. Стилу тоже. Теперь он уже не раздумывал.

— Значит, вы не пережили космической катастрофы? — спросил он.

Как ответить?

— Нет,— сказал Зернов.

— Мы даже не знаем о ней,— прибавил я.

— Мы тоже не знаем, и никто не знает, потому что в мире, казалось, ничего не случилось. Не было ни кометы, ни землетрясения, ни звездопада. Но что-то произошло — невидимое, неощутимое, но изменившее если не мир, то нас.

— Когда? — спросил Зернов.

— Больше девяти лет назад. Почти десять. Вы уже, вероятно, слышали Однажды утром, обыкновенным летним утром в будни, когда надо было идти на работу.

В открытое окно доносился утренний гомон улицы, автомобильные гудки, громыхание моторов. Все как обычно, только часы стояли — все часы в доме, как я узнал после. Я хотел узнать время по телефону, но телефон не работал. И это меня не встревожило — бывает. Встал, оделся; Лизи, как всегда, приготовила завтрак, а я проверил содержимое портфеля, в котором, помнится, были какие-то рукописи: я заведовал рубрикой «Новости дня» в популярном еженедельнике «Экспресс» и часто брал на дом какие-нибудь заметки и письма. Но портфель был пуст, и это уже встревожило. Самое странное — я не помнил ни заметок, ни писем, какие, я был уверен, положил в портфель, но еще более странным оказалось то, что я не нашел их и в редакции. Мало того, в моем редакционном кабинете — ни в сейфе, ни в столе — не оказалось вообще никаких бумаг. В довершение всего я не помнил ни одного задания, какие обычно давал по утрам репортерам. Их было трое: Мотт, Рейни и Дарк, славные парни и старые друзья. Все они сидели в соседней комнате возле моей секретарши Шанель странно молчаливые, словно чем-то пришибленные: я не услышал ни смеха, ни шуток, ни даже «доброе утро, Дэви».

«Что случилось? — спросил я.— Умер кто-нибудь или кассир с деньгами сбежал?»

«Хуже,— сказал Мотт,— мы ничего не помним. Какое сегодня число, старик?»

Я открыл и закрыл рот: я тоже не помнил.

«А месяц?»

Я не помнил и месяца, и — о ужас! — года.

«Сошел с ума»,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

«А ты не шути, шеф. Что ты помнишь из последнего номера — он три дня как вышел? Какую сенсацию? Какое фото? Хотя бы обложку помнишь?»

Я, который мог перечислить все шлягеры любого номера, ничего не помнил. Ни прошлого, ни позапрошлого, ни прошлогоднего — ровным счетом ничего. Даже обложек.

«Дайте номер, Шанель»,— потребовал я.

Мотт хохотнул, а Шанель испуганно и жалобно — у нее даже слезы блеснули — ответила, как на суде:

«В редакции нет ни одного экземпляра, шеф. Ни за этот, ни за прошлый месяц».

«А в справочной библиотеке?»

«В справочной библиотеке пустые полки, шеф. Все исчезло за одну ночь. Я уже звонила в полицию, но телефоны выключены».

«Позвоните из автомата».

«Я не нашла ни одного поблизости».

«Какие глупости! А в бистро напротив?»

Длинные ресницы ее подпрыгнули и опустились.

«Какое бистро, шеф? Напротив табачная лавочка, и телефона там нет».

«Я тоже подумал о бистро, старик,— сказал Мотт,— но его действительно нет. Поверь».

В первый раз я уже почувствовал не тревогу, а страх. Что-то случилось со всеми нами, с редакцией, с городом, но я еще не знал всего. Предложив ребятам подождать, я пошел к главному. Он что-то писал или чертил пером и поморщился при моем появлении.

«Я занят, Стил. Никак не могу обдумать тему передовой. Может быть, о загрязнении реки?»

«Какой реки?» — спросил я.

«Конечно, нашей. Вы в уме?»

«А название ее помните?»

«Название? — ошалело переспросил он.— А вы помните?»

И я не помнил.

«А какое сегодня число? — повторил я вопрос Мотта.— А месяц, а год? Может, передовую из прошлого номера помните? Или обложку? А как зовут мэра? И кто возглавляет правительство?»

Он посмотрел на меня почти с ужасом.

«Я ничего не помню, Стил. Абсолютно ничего».

«Я тоже. И никто в редакции».

Он потянулся к телефону. Как и следовало ожидать, он не работал. И я сказал:

«Не трудитесь. Ни один не работает».

Главный не любил долго думать. Он всегда принимал быстрые решения и очень этим гордился.

«Разошлите своих репортеров по городу. Пусть спрашивают кого попало подряд обо всем, что придет в голову.

Под предлогом, что журнал, допустим, проводит анкету о сообразительности и быстрой реакции. И пусть не задерживаются. Утрата памяти — тоже сенсация. А пока пригласите всех дежурных редакторов ко мне».

Через три минуты мы собрались у него в кабинете. Это и было Начало, происходившее повсюду в городе, осознание того, что произошло со всеми нами, начало новой жизни, потому что старая была даже не забыта, а начисто изъята из памяти. Собрались забывшие о том, что было вчера, позавчера, в прошлом и позапрошлом году, десять, двадцать, сто лет назад. Помню, как сейчас, это собрание со всеми его восклицаниями и репликами — оно запечатлелось в памяти с той же полнотой, с какой забылось все, что ему предшествовало.

«Кто помнит, какое сегодня число, месяц, год?» — спросил главный.

Молчание.

«Есть ли где-нибудь календарь?»

Календарей в редакции не оказалось. Я шепнул шефу, что все содержимое справочной библиотеки тоже исчезло.

«Который час?»

Часы у всех показывали разное время, в зависимости от того, когда были заведены утром. До этого они стояли.

«Что вы помните, Дженкинс?»

Дженкинс, редактор иностранной информации, считался Спинозой нашей редакции. Во всех затруднительных случаях, когда политический, религиозный или философский вопрос не находил ответа, обращались к Дженкинсу.

«Я помню, сэр, как меня зовут,— ответил он без малейшей улыбки,— помню, что у меня жена и двое детей, знаю их имена и склонности. Помню сегодняшний утренний завтрак, но не помню вчерашнего. Помню дорогу в редакцию, но не совсем уверен, что вчера шел именно этой дорогой. Помню, наконец, что заведую иностранным отделом и что мне надо писать очередной обзор на седьмую полосу».

«О чем?»

«Не знаю. Название отдела предполагает иные страны, но я не помню ни одной. Я даже не помню, как называется наша. Я знаю, что пишу и говорю по-английски, но сде-

лать отсюда вывод о наименовании нашего государства не могу, сэр. Я не помню также ни одного события ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного географического названия. Мне знаком термин «географический» — он связан с моей профессией, но что такое география, объяснить не могу. Боюсь, что произошла какая-то космическая катастрофа, сэр. Какое-то излучение смыло память о прошлом. У каждого ли, не знаю. Но в нашей редакции именно так».

«То же излучение уничтожило и календари, и наши записные книжки?» — насмешливо спросил я.

«И телефонные?» — прибавил кто-то.

«И справочную библиотеку?»

«И архив?»

Дженкинс молчал. Ответ мы получили несколько позже, когда явились мои репортеры. Рассказ их был страшен.

Ничего как будто не изменилось в городе. Были открыты все магазины, парикмахерские, ателье мод, аптеки и бары. Струились встречные потоки автомобилей. Постовые полицейские на перекрестках рассасывали пробки. Спешили пешеходы, торговали лоточники, садились и взлетали голуби. Но...

Репортеры не обнаружили ни одного газетного киоска.

Ни одной библиотеки.

Ни одного адресного бюро.

Ни одной почтово-телеграфной конторы.

Ни одной телефонной будки.

Все часы в городе стояли или показывали разное время. Нельзя было достать ни календарей, ни телефонных справочников и никаких карт, кроме игральных. В пустых кинозалах не оказалось фильмов, а в театрах — пьес, причем все актеры прочно забыли все сыгранные ими роли. Не вышла ни одна газета. Никто из прохожих не помнил, что было вчера, и не знал, что будет завтра. Никто не помнил ни названия города, ни имени главы государства, ни года, ни числа, ни национальности. Некоторые даже не говорили по-английски, а только по-французски, так что объясняться приходилось знавшему оба языка Рейни. Любопытно, что языка никто не забыл, а говорившие по-французски говорили так с детства, хотя самого дет-

ства не помнили. Языковую разноголосицу никто объяснить не мог, хотя некоторым казалось, что вчера ее не было. Но точно никто не помнил даже названия улицы, на которой жил, и узнавал его лишь по табличке на углу дома. Некоторые из опрошенных не могли назвать и улицу, где работали: «Как доехать или дойти, знаю, а как она называется, не помню». Какой-то старик растерянно топтался на перекрестке и плакал: «Я киоскер, а киоска моего больше нет». На вопрос, где можно позвонить по телефону, некоторые спрашивали: «А что это такое — телефон?» Шоферы такси топтались на стоянках и не искали пассажиров: они не помнили городских маршрутов. Не помнили их и водители трамваев. Они везли пассажиров «по рельсам, куда колеса бегут». Дарк, доставлявший информацию о железнодорожном транспорте, но позабывший все названия вокзалов, поинтересовался у полицейского, где же найти ближайший. В ответ услышал растерянное: «Извините, не помню».

Таково было Начало, рождество нового мира, каким его увидел и пережил Стил.

Глава X

РОБИНЗОНАДА НОВОРОЖДЕННЫХ

Мы слушали потрясенные, едва дыша. Стил был отличным рассказчиком, умевшим колоритно и образно передать пережитое. Мы словно сами присутствовали при рождении этой частицы земной жизни, выращенной искусственно, как в колбах Петруччи, и получившей самостоятельное развитие уже в расцвете полной сил зрелости. Лишенный памяти своего земного аналога, не связанный никакими узами с его прошлым, человек этого мира входил в него свободным строителем любого общества, любого образа жизни, какой только он пожелает создать. Но уже с первых шагов он был обеднен, обкраден, обездолен. Его лишили не только накопленной памяти, но и всех сокровищ земной культуры, которые могли бы напомнить ему о прошлом. Трудно представить себе интеллектуально

развитый, душевно богатый мир современного человека без книг и фильмов, словарей и справочников, музыкальных партитур и магнитофонных записей, картинных галерей и музеев. Но именно такой мир и был рожден в одну ночь и начал жить запрограммированно по инерции. По инерции люди просыпались, обедали, ужинали, по инерции покупали все необходимое, по инерции делали запрограммированную работу, но разум современного человека — пусть синтезированного, но не робота, не машины, а именно человека по биологической его структуре, по содержанию его нервной деятельности,— этот разум с каждой минутой убеждал его, что по инерции жить нельзя. Нужно было наново делать жизнь — все, начиная со школьных учебников и кончая борьбой за человеческое достоинство. Робинзонада Крузо ограничивалась домом, хозяйством и кухней; робинзонада жителей новорожденного Города требовала экономического, политического и социального опыта.

Они сами определили понятия, формировавшие этот опыт: Начало, Дано и Знание. Началом был первый их шаг в еще не осознанном мире, первое ощущение утраченного прошлого, первая мысль о границе между тем, что было, и тем, что есть. Дано и было тем, что есть, запрограммированным условием задачи на построение жизни — миром, казалось, привычным с детства, домом, семьей, работой и заботами о завтрашнем дне. А Знание было программой информации, когда-то воспринятой и переработанной, но не отраженной вовне — ни на пленке, ни на бумаге,— информации, которую следовало закрепить и сохранить для потомства. По своей профессии журналиста Стил многое видел и знал, но то были знания случайного наблюдения, а не ученого естествоиспытателя или философа, способного научно осмыслить увиденное, просто фотоэтюды профессиональной памяти, точные и контрастные.

Кто-то вдруг обнаружил, что часы больше не отвечают течению времени, не поспевают за солнцем. Обратился к часовщику, задача потребовала внимания астрономов, и вот уже вылетела первая ласточка нового Знания: в сутках не двадцать четыре, а восемнадцать часов. Привычный график жизни и работы менялся, сокращалось

свободное время, перестраивались реакции организма на движение стрелок новых часов. А в обсерватории уже изучали небо, как незнакомую карту. Звезды рождались вместе с появлением их в поле зрения астронома: им давали первые пришедшие в голову имена — Жаннеты и Робера, Гиганта и Прелестницы, созвездия Шпаги и Гавайской Гитары. А затем вычислили годовую орбиту и создали календарь. В году оказалось по-старому двенадцать месяцев, но двести восемьдесят восемь дней, отчего каждый месяц уложился точно в двадцать четыре дня. Из недели убрали четверг и превратили ее в шестидневку.

Обостренная профессиональная память — с блокадой каких-то ячеек резко усилилась деятельность других — помогла восстановить основы школьного и университетского знания. Стихийно возникший Клуб вспоминающих ученых превратился в Академию наук с лихорадочно работающими секциями. Математики вспомнили анализ бесконечно малых и дифференциальное исчисление, топологию и прочие математические премудрости. Физики, лишенные новейшей аппаратуры, начали хоть и кустарно, но упорно подбираться к тайнам атомного ядра. Строители извлекли из памяти основы строительной механики и сопротивления материалов. По клочкам актерских воспоминаний удалось воспроизвести многие из старых, но понятных людям пьес, а композиторы и исполнители довольно быстро восстановили ценнейшие музыкальные сокровища человечества. Не удалось лишь сохранить имена. Бетховен и Бах были столь же прочно забыты, как Ньютон и Резерфорд. Все, что было открыто, изобретено, сочинено и осмыслено до Начала, публиковалось и исполнялось без имени автора.

Стил не был мыслителем и философом, он просто излагал факты, многого не помня и не понимая. Он не мог, например, объяснить, почему не были восстановлены такие достижения человеческого прогресса, как телеграф, телефон, радио и телевидение, а смоделированные в квартирах, как часть декоративного интерьера, телефонные аппараты и радиоприемники пришлось вскоре продать, как утиль, в мелкие ремонтные мастерские. Из них какие-то умельцы что-то мастерили и монтировали, а что

и зачем, Стил не знал, да и не интересовался. Профессиональная память журналиста подсказала ему существование кинематографа, но помнил он о нем смутно и не мог рассказать ни о том, куда исчезли все старые фильмы, и ни о том, почему не снимали новых. Видимо: «облака», смоделировав кинотеатры, забыли о фильмах или вообще не поняли их назначения, приняв за образец какой-то ложной вторичной жизни, так что в созданном ими Городе кино не оказалось. Впрочем, этот вывод мы уже сделали сами, а не Стил, давно забывший, что такое кино и на что оно нужно. На вопрос о живописи он ответил, что «картинки иногда развешиваются на афишных столбах». Оказалось, он имел в виду рекламные плакаты. Что-то слышал о художниках, но не проявил любопытства. А вопроса о художественных музеях он вообще не понял: должно быть, даже обостренная профессиональная память мастеров кисти, если такие и нашлись в моделированном «облаками» мире, все же не помогла им возродить Рафаэля и Микеланджело. Имена эти не вызывали у Стила и проблеска интереса. Он их не помнил.

А иногда он не знал даже элементарных для нас понятий.

— Автомобили вышли из строя уже на второй или третий день Начала,— вспомнил он.

Мы, естественно, удивились.

Оказывается, иссякло горючее в бензоколонках, и никто не знал; где его достать: «облака» не предусмотрели воспроизводства бензина.

— Могли бы нефть использовать,— заметил Зернов.

Стил не понял.

— Нефть,— повторил Зернов, полагая, что Стил не расслышал.

— А что это такое? — спросил тот.

В недрах планеты не оказалось нефти. Может быть, только в этих широтах, но не оказалось. Однако были лес и каменный уголь. Изобретатели — их вдруг появилось великое множество — нашли способ переделать двигатель машины, позволявший использовать вместо бензина древесные чурки. Появились газогенераторные автомобили, паровички, конные экипажи и велорикши, совсем как в оккупированной Европе в годы второй мировой войны.

Стил рассказывал, конечно, по-своему: таких слов, как «газогенератор» или «велорикша», в его словаре не было: «Затопили авто дровами, как печку, а к обыкновенному вело коляску приделали». На велосипедах передвигались и письмоносцы, возрождавшие почту девятнадцатого столетия. Тут мы сделали для себя еще один вывод: общавшиеся без применения техники «облака» не оценили и техники земной связи. Из всех ее средств они оставили своему человечеству одну только почту.

Разбирая потом рассказ Стила, мы так и не могли представить себе более или менее отчетливой картины его мира и города. Она была испещрена множеством белых пятен, как древние карты. Мы даже не могли уяснить себе, кто же виноват в этих пятнах: запрограммированы ли они извне, или их придумали сами люди?

Почему, например, была сорвана работа по восстановлению учебников истории и географии? Почему было запрещено преподавание этих предметов в школах? Зернов уже высказывал нам свои соображения по этому поводу, но рассудок восставал против них хотя бы потому, что они выдвигали новые вопросы. Куда, например, исчезали ученые, профессиональная память которых хранила запрещенные знания? Кто и в чьих интересах насаждает здесь географическое невежество? Все дети во всех странах мечтали и мечтают о неведомых землях и неоткрытых мирах. Почему же такие мечты не тревожат умы сверстников Люка и Джемса? Неужели только потому, что этот мир еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов и Магелланов? Едва ли. Скорее, на Колумбов был наложен запрет и открытия возможных Магелланов не поощрялись. Почему, например, историк, вспоминавший вторую мировую войну, признался мне в этом только в темноте леса, да и то лишь потому, что был убежден в невозможности нашей вторичной встречи. Значит, в Городе и в лесу что-то скрывали и кого-то боялись. Кого?

Правительства? Но правительства не было, и парламента не было, и партий не было, и главы государства никто не знал. Даже кто руководит Городом-государством — хунта или единоличный диктатор,— Стил, по его словам, не мог выяснить. Вероятно, он все же знал кое-

что, но помалкивал, а мы тщетно стремились из него это вытянуть. Мэр Города? Едва ли. Он ничего не решал без Совета олдерменов. А Совет ничего не обсуждал, не проконсультировавшись предварительно в промышленно-торговой Палате. Значит, Палата? Но та ничего не предпринимала без санкции Клуба состоятельных. Тогда Клуб? Но и состоятельные склонялись перед директивами весьма скромного, судя по названию, учреждения, а именно: Бюро по распределению продовольственных продуктов при Главном управлении полиции — проще говоря, Продбюро.

Одного Стил сам никогда не мог понять — откуда в магазины поступали продукты? Развозили их по ночам гигантские пятидесятитонные грузовики. Двигались они вообще без горючего и без водителей, но под охраной специальных полицейских бригад. Движением машин управлял извне особый Вычислительный центр, где определялись также и маршруты грузовиков, и остановки их у магазинов, и длительность таких остановок, и все виды товаров, какие должны быть выгружены. Вычислительный центр работал автоматически, без ошибок и перебоев: ни один магазин, даже крохотная лавчонка, своевременно зарегистрированные в Продбюро, никогда не имели оснований для жалоб — тоннаж и ассортимент полученных продуктов всегда соответствовали требованию, и ни разу доставка не обманула получателей; по ночным грузовикам можно было сверять часы. Вычислительный центр был подчинен Продбюро, туда же поступала и выручка с каждого грузовика, аккуратно сдаваемая охранными бригадами, на месте получавшими все суммы, причитавшиеся в уплату за выгруженный товар. Куда исчезали потом грузовики, где и когда загружались, кто сносился с Вычислительным центром и кто контролировал работу Продбюро в Городе, никому известно не было. Попытки что-либо разузнать об этой системе пресекались немедленно. Полицейские во время разгрузки имели право стрелять без предупреждения в любых прохожих на улице; излишнее любопытство газетчиков каралось немедленным отстранением от работы, а упрямцы попадали прямо в Майн-сити, навсегда превращаясь в «без вести пропавших». Точно так же был огражден от «излишнего любо-

пытства» и Вычислительный центр, все входы которого охранялись денно и нощно, и пройти сквозь эту охрану не удалось еще ни одному смертному.

— Кроме Мотта,— со вздохом прибавил Стил.— Он прошел переодетый полицейским во время смены караула. Но его подвел зеркальный заслон.

Мы заинтересовались.

— Контрольные зеркала. С каждого полицейского внутренней охраны снимается и фиксируется зеркальное отражение. А потом оно сверяется контрольными зеркалами. Мне объяснили впоследствии, а Мотт... поплатился жизнью.

— Где же изготовляются продовольственные товары? — спросил Зернов.

— Где-то на северо-западе, куда ведет единственная мощеная дорога. По ночам это сплошная цепь грузовиков.

— Район охраняется?

— Так же, как и Вычислительный центр.

— Для производства продовольствия нужны не только специализированные заводы, но и хорошо налаженное интенсивное сельское хозяйство,— сказал Зернов.— Хлеб не рождается в булочных, нужны еще гектары, тысячи, десятки тысяч гектаров пшеницы. От коровы до жирного бифштекса тоже немалый путь.

— Мы коров завели только здесь, из дикого стада, одомашнили и приручили. А до этого видели их только на этикетках мясных консервов.

— Кстати, откуда эти этикетки? На бутылке марка фирмы «Бломкинс и сын». Есть такая фирма?

— Нет. И никто не знает, что такое Пазадена и что такое Калифорния. И это одна из задачек, решать которые не рекомендуется,— вздохнул Стил.— А у нас их целый задачник. Откуда фирмы на этикетках? У нас вообще нет фирм, производящих продукты, только магазины, ими торгующие. У нас нет ни пекарей, ни виноделов, ни табачников, ни кондитеров. А получаем мы все — от шампанских вин до консервированных ананасов. Спросите любого, что такое ананас,— он вам не ответит. Мы не знаем, где они растут и как выглядят,— мы просто едим их в консервах.

Зернов задумался. «Задачник» Стила все более усложнялся. Десятый год хранит и копит свои тайны Город — не от нас и не для нас.

— Но ведь население его растет,— недоумевал он.

— А поток продуктов не иссякает.

— Вы уверены?

— Продбюро никогда не отказывает в увеличении поставок — только плати. Еще загадочка. А хотите самую странную? Почему продукты поступают в Город только в готовом виде — подогревай и ешь. Только не мечтай о собственноручно сваренной курице или о домашней овсянке. В сыром виде в магазинах не найдешь даже яйца.

— Но разве нельзя завести собственное хозяйство?

— Нет.

— Не для продажи — для себя.

— Есть священная заповедь Продбюро: не приготовляй пищи из продуктов, добытых лично на земле или в земле, в воде или в воздухе. Продукты приобретаются только в магазинах — нигде больше. Вы ели рыбу, жаренную на вертеле,— это преступление. Если бы вас накрыла речная полиция, я бы не поставил на ваше будущее ни цента. Охота и рыбная ловля у нас уголовно наказуемые действия, причем не из гуманных соображений, а из боязни, что на стол жителей Города могут попасть продукты, не купленные в гастрономическом магазине. В особых случаях с полицейской визой разрешена охота на лисиц, да и то лишь потому, что мясо их не годится в пищу.

— Ну а контрабанда? — спросил я.

Слова «контрабанда» в словаре Стила не было.

— Любой закон можно нарушить,— пояснил я.

Стил усмехнулся так, как давно уже его нарушивший.

— В сущности, все мы, «дикие», давным-давно смертники,— сказал он просто, даже тени тревоги не пробежало по лицу его.— Ведь мы печем хлеб из собственноручно посаженной и выращенной пшеницы и варим яйца от собственных кур. Смешно? А ведь вся наша жизнь здесь — это цепь государственных преступлений. Мы бежали из Города — преступление первое. Создали свое хо-

зяйство — преступление второе. Охотимся и ловим рыбу — преступление третье. Вы и не подозревали, вероятно, что просите помощи у государственного преступника, общение с которым тоже преступление, причем и мое и ваше.

Глава XI

ПЯТНА НА КАРТЕ

Самое трудное было рассказать Стилу историю нашего появления. Правда исключалась. Уровень знаний Стила, блокада памяти, слабая восприимчивость к незнакомому, выходящему из рамок привычных для него представлений о мире, затрудняли точное изложение случившегося. Мы уже заранее решили прибегнуть к легенде, предоставив мне импровизацию в зависимости от сложившегося разговора: «Юра придумает — о'кей», «у Анохина экстравоображение», «Юрка такое отколет...». Ну, я и «откололся», оттолкнувшись от идиотского запрещения географии: «Вас обманывают, друзья мои. Вы не одни на Земле». Так я и начал, отторгнув все чудесное и необъяснимое. Все объяснимо. Река не огибает планету, а впадает в Атлантический океан. За океаном — другие материки и моря, реки и страны. Число их я сократил для простоты, не боясь, что меня проверят при жизни Стила: потребовалось бы несколько поколений, чтобы построить океанские лайнеры или воздушные корабли. Я назвал Англию и Францию, Россию и США, упомянул о Канаде, куда и перенес эпицентр воображаемой геологической катастрофы. Канада показалась мне наиболее подходящей: там говорили на тех же двух языках. Оттуда и откололся Город — просто часть страны с ее смешанным населением. «Геологическое смещение верхних пластов земной коры с уцелевшей горсточкой человечества. Отсюда и блокада памяти, психический шок, который, вероятно, с годами пройдет». Честно говоря, мне не хватило мужества взглянуть в глаза Стилу, когда я закончил. Только уверял меня потом, что смотрели они недоверчиво и недобро. Но тут я вспомнил о пиджаке Мартина, вернее, о газете, которую

он показывал нам еще на даче и потом бережно спрятал в карман.

То был номер «Пари-миди», где Мартин был снят крупно на парижском аэродроме вместе с возвратившейся из США кинозвездой Линдой Танелли. Спускаясь по трапу с трансконтинентального воздушного лайнера, он вежливо поддерживает ее за локоть. Так и засняли их прибывшие для встречи кинозвезды репортеры. Мартин бережно хранил эту газету и хвастливо нам ее демонстрировал. А сейчас все ее шестнадцать страниц легли на стол Стила.

Трудно даже описать случившееся. Вероятно, такое же впечатление произвела бы на нас газета марсиан или венерианцев. С каким благоговейным удивлением Стилы ощупывали ее, рассматривали, перелистывали, даже не прочитывали — выкрикивали шапки и заголовки, рекламные анонсы и подписи под клише. Потом вернулись к снимку Мартина с Линдой. Не только и не столько Мартин заинтересовал их, хотя он и был живым подтверждением моей легенды, наглядным дополнением к ней, как снимок поверхности Луны к сообщению ТАСС о запуске «лунника». Нет, Стила заинтересовал самолет, снятый очень удачно, крупно, с размахом гигантских крыльев.

— Что это? — спросил он.

— Самолет.

Он подумал и понял:

— Значит, вы научились летать?

— Давно. Как и вы. Только вы забыли об этом.

Стил еще долго и внимательно разглядывал самолет на снимке.

— Металлическая птица,— задумчиво произнес он.— Просто и гениально. И мне что-то помнится, что-то помнится...— отрешенно прибавил он и замолчал.

— На такой вы и прилетели сюда? — спросил Джемс.

— Почти на такой,— сказал я, не подымая глаз от стола.— Пожалуй, только поменьше. Сбились с курса в Северной Атлантике над океаном. Вынужденная посадка на воду, ну, и сами понимаете... не гидроплан. Не дотянули до берега каких-нибудь триста метров. А спаслись вплавь, случайно...

Я говорил с наигранным апломбом, стараясь втиснуть

в «объяснение» как можно больше непонятных для них слов. Атлантика, океан, гидроплан — все это должно было ошеломлять своей загадочностью и удерживать от опасных для нас вопросов. Хорошо еще, что никто не спросил о судьбе экипажа и остальных пассажиров: мне становилось все труднее и труднее врать. Душевное состояние Стилов было живым укором моей «импровизации».

— Трудно будет, должно быть, добраться обратно,— с какой-то новой теплотой в голосе произнес наконец Стил.

— Трудно — не то слово.

— Боюсь вас огорчить.

— Понятно,— сказал Зернов.

Презирая себя, я сквозь зубы пояснил, что шансов на возвращение у нас действительно почти нет. Построить судно, способное пересечь океан при отсутствии средств и необходимого опыта, едва ли возможно. Пытаться это сделать на лодке или на плоту рискованно. Регулярные воздушные рейсы в этих местах не проходят, иначе бы жители Города видели самолеты. Но если даже — один шанс на миллион — такой самолет и появится, то где он сядет? Для посадки нужны специально подготовленные площадки. Допустим даже и такой случай: самолет все же сел где-нибудь в поле или на другой свободной площади с твердым грунтом, но как сюда доберутся участники перелета? И не сюда, конечно, а в Город. И как их примут там: не придется ли им самим помогать, вместо того чтобы рассчитывать на их помощь?

И тут внезапно открылось нам одно из «белых пятен» на карте Стила. За девять лет в Городе выросла активная подпольная оппозиция. Кому? Правительству невидимок? Отчасти, но не персонально отдающим приказы, а режиму вообще. Духу власти. Духу рабства и рабовладельчества. Обскурантизму. Подавлению человеческого достоинства. Я перечисляю здесь в нашем понимании наши вопросы и ответы Стилов, но, честно говоря, во время разговора мы мало что выяснили. «Я и раньше предполагал это,— сказал потом Зернов,— даже не сомневался. Смоделировав классовое общество, «облака» не смогли предотвратить классовую борьбу». Но бывший журналист Стил, не изучавший марксистско-ленинскую социологию, объяснял все

иначе. Технический прогресс, последовавший за Началом, не породил безработицы, а, наоборот, создал широкий рынок труда.

— Сколько заводов и фабрик работало в Городе в дни Начала? — спросил я его.

Этого он не знал. Но знал другое: действовавшие заводы вскоре не смогли удовлетворить растущие потребности населения.

— Начался век изобретательства,— сказал Стил.— Изобретали всё: от велоподставок до стеклянных ламп.

Улицы и кварталы лишились света: энергии единственной электростанции хватало только для нужд промышленности. Открыли светильный газ и газовое освещение. Возникли свечные фабрики. Отсутствие телеграфа породило мощную организацию посыльных. Новорожденные конюшни требовали конюхов и кучеров. Предприимчивые люди ловили диких лошадей и создавали конные заводы. Как сыпь, по Городу расползались ремонтные мастерские. Чинилось все, от посуды до экипажей. Все требовало рабочих рук, и шахты пустели; горняки в поисках более легкого и лучше оплачиваемого труда бежали в Город. Вскоре обычный ранее шахтерский поселок Майн-сити превратился в лагерь принудительного труда. Сцены за колючей проволокой, подобные той, которую мы с Толькой наблюдали в горах, стали обычными. Полицейская регламентация усиливалась с каждым годом. Ни построить дом, ни открыть мастерскую, ни продать на базаре ненужный металлический лом стало невозможно без разрешения полиции. Даже прогулка за город, невинный пикник в лесу требовали специальной полицейской визы. Видимо, государство, напуганное движением «диких», явившимся первым откликом на стремление человека к свободе, боялось потери каждой пары рабочих рук. А число «диких» росло: отважные смельчаки один за другим уходили в лес, готовые защищать свою робинзонаду любыми средствами. У меня даже возник спор по этому поводу с Мартином. Он сравнивал «диких» с последователями Генри Торо, американского философа-утописта, я же решительно причислял их к руссоистам. Зернов нас помирил, объявив, что корни одни и те же: при отсутствии марксистской теоретической базы социальный

протест может принять любые формы, характерные для мелкобуржуазного мышления,— от террористических актов до руссоистской утопии.

Оказалось, однако, что отсутствие теоретической базы было ошибочным допущением, и выяснилось это уже к вечеру, когда Стил, запершись у себя в комнате, тщательно изучил все шестнадцать страниц парижской газеты. После отца ее штудировал Джемс, и за ужином оба учинили нам форменный допрос с пристрастием. Отвечали все понемногу, стараясь, так сказать, распределять вопросы по специальности. Мне пришлось объяснить, что такое продюсер, широкоформатный экран и розыгрыш футбольного Кубка кубков; Толька пополнил словарь хозяев терминами вроде «тайфун» и «цунами», Мартину достался рассказ о баллистических ракетах и полетах со сверхзвуковой скоростью, а Зернов с осведомленностью энциклопедического словаря удовлетворял любое проявление хозяйского любопытства. Оно было несколько различно у сына и отца: первого интересовали преимущественно спорт и техника, второго — политические и бытовые аспекты жизни.

— Что такое коммунизм? — вдруг спросил он.

Зернов коротко объяснил принципы и цели коммунистических партий.

— А где и когда он возник?

Зернов с той же убедительностью кратко рассказал о Ленине и Октябрьской революции в России.

— А что такое Сопротивление? — снова спросил Стил.

Зернов рассказал и о Сопротивлении во Франции. Что понял Стил, я не знаю, но что-то, во всяком случае, понял, потому что, переглянувшись с Джемсом, словно спрашивая его, говорить или не говорить, медленно, но решительно произнес:

— У нас тоже есть такая партия. Называет себя Сопротивлением. Я понял теперь почему. Люди, сохранившие память об этом, не согнули спины. Они не ушли в лес, как «дикие», они живут и работают в Городе. В подполье, конечно,— прибавил он.

И я про себя отметил, что Стилу знакомо это слово; во всяком случае, объяснений он не потребовал. Только спросил, как будто мимоходом, случайно:

— При встрече вы сказали, что не только ищете помощи, но и готовы помочь нам, если возникнет такая необходимость. Что вы имели в виду?

— А вы считаете, что такая необходимость возникла? — вместо ответа спросил Зернов.

— Считаю,— сказал Стил.

Зернов не переглядывался с нами, спрашивая о нашем согласии; он ответил так же твердо и лаконично:

— Мы в вашем распоряжении.

— Хотите переехать в Город и присмотреться сначала?

— Безусловно.

— Документы и все остальное вам подготовят.

— Когда?

— Пока отдыхайте и набирайтесь сил. Люк останется дома, а мы с Джемсом вернемся через два-три дня. Пароль и явку получите.

Я понял, что возвращение наше на Землю откладывается на неопределенное время. Видимо, «облака» предусмотрели и это. Я приуныл, Дьячук тоже, даже Зернов — или мне это только казалось — стал чуточку более подтянутым, и только в серых глазах Мартина ничего не отражалось, кроме любопытства,— крепкий на душу был этот Мартин. Но заметил ли или не заметил нашего настроения Стил, не могу судить — мы почти тотчас же расстались и сидели у себя в мезонине на волчьих шкурах. Сидели и молчали. Даже не ностальгия, а просто боль, физическая боль сверлила сердце. Неужели мы не вернемся, совсем не вернемся? Для Земли, для родных, для любимых мы уже умерли. Растаяли в багровом тумане, как двойники. А кто знает об этом? Никто. Может быть, догадываются, может быть, надеются. Ирина, конечно: она же помнит «Омон». И знает, чем это может кончиться: шрам до сих пор пересекает мне горло. А вдруг мы совсем в другом времени, не параллельном, а перекрестном? Там, предположим, время движется по прямой, а здесь по спирали, ее пересекающей, и витки спирали завиваются так близко друг к другу, что точки пересечения лежат почти рядом. Мы пройдем несколько колец, а вернемся в ту же почти точку, проживем здесь недели, месяцы, годы, а вернемся почти в ту

же минуту. Фантастика? А Сен-Дизье не фантастика? У такой чертовщины, как «облака», все возможно.

Я высказал все это вслух. Мартин рассмеялся, а Толька зло буркнул по-русски:

— Опять чушь мелешь! И как это у человека по-идиотски голова устроена!

И тут вмешался Зернов, насмешливый Зернов, сбивающий человека одной иронической репликой:

— А если не чушь?

Толька взбесился:

— Перекрестное время! Спирали! Витки! Из какого это учебника физики?

— А красный туман из какого учебника, Толя? — ласково спросил Зернов.— А голубые протуберанцы в Гренландии? А все, что мы с вами видели?

Толька сник.

— Я всегда говорил, что у Анохина поразительная смелость воображения. Особый талант. Жаль, что он не физик,— сказал Зернов.— Миллионы людей, Толя, способны предполагать всякое, но лишь немногие — невозможное, и только единицы угадывают в нем истинное. Не принадлежит ли Анохин к таким единицам? Не красней, Юра, я говорю чисто риторически. А время — вещь до сих пор непонятная. Кант утверждал его иллюзорность, Лобачевский — несимметричность, Ченслер выдвинул гипотезу о ветвящемся времени, а Ленокс предположил его спиралевидность. Юра, наверное, не знает последних новаций, но разве его догадка менее допустима? По крайней мере, она вселяет надежду, а надежда — это половина успеха. Так что, друзья, отставить ностальгию, расслабиться, как говорят спортсмены, хотя бы до возвращения Стила.

И мы расслабились. Два дня совершали лодочные экскурсии в плавнях, учились метать нож и стрелять из лука, играли в мартиновский покер с картами-идеями и картами-силлогизмами и обедали чаще всего в одиночестве — Люк пропадал где-то в лесу,— обслуживаемые неулыбчивой, аскетической Лиззи, которую грозился расшевелить Мартин и кое-чего достиг: по крайней мере, она начала улыбаться только ему. Это курортное бездумье продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня не

появился Стил, чуточку изменившийся — открывший или нашедший что-то очень для себя важное.

— Явка есть,— сказал он без предисловий.— Улица Дормуа, фото Фляш. Пароль: «Нужны четыре отдельных фото и одно общее». На вопрос-реплику: «Подумайте, это недешево» — следует ответить: «Деньги еще не самое главное». Запомните? Пропуска для вас приготовлены, а до первой полицейской заставы проводит вас Джемс.

Но Джемс проводил нас гораздо дальше.

Глава XII

ВТОРОЙ КОСТЕР

Мы снова сидели у огня, подбрасывая сушняк в костер — наш второй костер за время пребывания на этой земле. На сей раз вблизи не протекала река, а пролегала дорога — широкая, пыльная, изрезанная рытвинами и колеями проселочная дорога. По бокам шли вырубленные просеки, уже отвоеванные у человека подлеском. Розовые кусты торчали повсюду, как под Москвой репейник. Проплешины лужаек между ними подступали к самой дороге.

На одной из таких лужаек мы и зажгли свой костер, стараясь шуметь и дымить, чтобы обратить внимание кучера возвращавшегося в Город омнибуса. Такие омнибусы ходили здесь два раза в день, забирая по дороге вышедших на прогулку или уже спешащих домой пешеходов. Наши порванные в лесу рубашки были тщательно зачинены Лиззи, а куртками и пиджаками, у кого их не было, снабдил Стил. Он же разработал и план нашего снаряжения. В рюкзаках у нас — кстати, мало чем отличавшихся от московских рыбалочных — лежали консервы с американскими этикетками, бутылки с сидром и кока-колой: «облака», конечно, не могли не подметить ее земной популярности, да и сидр этот вы могли найти в любом парижском бистро. Выпитые бутылки мы не выбрасывали, а бережно возвращали в мешки. Туда же были засунуты и шкурки, снятые с убитых накануне нашего отъезда лисиц,— по штуке на каждого. Все точно

соответствовало плану: консервы свидетельствовали о том, что мы не занимались охотой и не варили запрещенной ухи. Пустые бутылки, которые можно было продать на городской толкучке, подтверждали то, что мы — жители Города, возвращаемся в Город и не знаемся с врагами Города — «дикими». А на убитых лисиц имелась специальная лицензия полиции американского сектора с соответствующей визой французского: каждому из пяти перечисленных лиц разрешалось провезти по одной шкурке. Каждый из этих перечисленных лиц имел, кроме того, пропуск на выезд и возвращение в Город.

— Пропуска настоящие,— заметил, прощаясь, Стил,— но вряд ли они понадобятся. У возвращенцев их обычно не проверяют. Содержимое рюкзаков в порядке, внешность не примечательная — вряд ли будут придирки.

Но нам, что называется, «повезло».

Сумерки еще не погасли, на часах у Джемса — наши уже не годились — было что-то около шести, как из-за облака дыма над костром показались три конские морды, а над ними — три серые тени в желтых сапогах, вернее, высоких шнурованных ботинках, какие носят в Канаде или в штатах на севере.

— Пропуска,— сказал полицейский.

Я взглянул в лицо говорившего — сытое, лоснящееся лицо здоровенного тридцатилетнего парня, не лицо, а «будка», как у нас говорят в народе. Взмокшая от пота прядь волос по-гитлеровски пробивалась на лоб из-под фуражки, серой, расшитой золотым галуном типа французского кепи, с длинным прямоугольным козырьком. Золотые нашивки на рукаве, золотые пуговицы куртки и золотой лампас на бриджах дополняли угрожающую золотоносность всадника: в ней был вызов простым, безгалунным смертным.

— Быстрее! — крикнул он, пока мы извлекали из карманов куски желтого картона с нашими переиначенными именами.

Только Мартин сохранил свое полностью. Я превратился в Жоржа Ано, Дьячук — в Толя Толли, а у Зернова просто отрезали непривычное для здешних ушей окончание. Борис Зерн, по разумению Стила, звучало удачнее.

— Все из французского сектора? — спросил полицейский, бегло просмотрев пропуска.

— Все,— сказал Джемс.

— Открыть мешки!

Мы широко открыли рюкзаки. Полицейские, не слезая с коней, заглянули внутрь.

— Сколько шкурок?

— Пять.

— Есть лицензия?

Джемс протянул и лицензию.

Полицейский подозрительно оглядел всех нас и чуть-чуть наехал на меня, стоявшего ближе. Я отступил на шаг.

— Вы что, немые? Почему ты молчишь?

— Вас трое, а говорит один,— сказал я.

Полицейский усмехнулся, но не зло, а просто с сознанием собственного превосходства.

— Прыткий,— процедил он сквозь зубы.— Имя?

— Жорж Ано.

— Чем занимаешься?

— Фотограф,— отвечал я, не задумываясь.

— Пасс.

Я уже знал, что «пасс» означает «паспорт», и ответил, пожав плечами:

— Я полагал, что для загородных прогулок достаточно пропуска.

— Знаток законов,— усмехнулся опять полицейский,— так полагай впредь, что смирение, а не дерзость украшает путника.— Он подождал моего ответа и, видя, что я рот ов усвоить его совет, добродушно добавил: — Ладно, отдыхайте. Омнибус пройдет здесь через час. Не пропустите, а то придется добираться пешком. А это вам не до угла на работу.

Он хохотнул, довольный репликой, и повернул коня. За ним затрусили и его спутники. Вскоре все исчезли за зигзагом дороги.

— С ума сошел! — взъярился Толька.— Зачем было спорить? Всех подвести мог.

— Надо уметь сдерживаться, Анохин,— присоединился к нему Зернов.— Сейчас это умение для нас важнейшее.

— А я не согласен,— тихо, но решительно вмешался Джемс.— Конечно, с «быками» зря связываться не стоит, но Сопротивление — это не только сдержанность. Нет, не только,— с вызовом повторил он.

Как Зернов умел успокаивать эти юношеские страсти-мордасти, по себе знаю.

— Мы младенцы в вашем Сопротивлении, мой мальчик,— сказал он.— Ползунки. Нам надо еще научиться ходить.

И Джемс промолчал, хотя именно он был сейчас нашим начальником. Он не провожал нас до первой полицейской заставы, он шел с нами «в маки».

Вот как это случилось.

Накануне нашего отъезда мне не спалось. Может быть, ностальгия, жаркий вечер, не смягченный даже прохладой, пьянящий запах чужих цветов, мерцание чужих звезд в безлунном, как всегда, небе. Рядом тихо спал Толька, всхрапывал Мартин, ворочался Борис — должно быть, тоже не спал. Наконец он чиркнул спичкой из коробки со шведской этикеткой: «Вега. Стокгольм». Огонек осветил спящих, но никто не проснулся.

— Не спится? — шепнул он.— Пошли на балкон.

— Лучше в сад. Собак нет. Спустимся.

Не одеваясь, мы начали спускаться по лестнице. Полоска света внизу остановила нас: дверь в комнату Стила была открыта. Ступенька под нами скрипнула, мы замерли. Голос Стила спросил:

— Ты закрыл дверь в сад?

Голос Джемса ответил:

— А зачем? Кто войдет? Смешно.

Мы не могли двинуться ни вперед ни назад — скрипучая лестница выдала бы наше присутствие. Получилось бы неловко и стыдно...

А разговор между тем продолжался.

— Значит, решил окончательно? Не передумаешь?

— Нет. Я бы ушел и без них. Не могу оставаться нейтральным.

— Разве мы нейтральны?

— Мне этого мало, пап.

Молчание. И затаенная грусть в голосе Стила:

— Мне будет трудно без тебя, мальчик.

— Останется Люк. И посели у нас Блума с Евой. Они так одиноки в лесу. Да и Люка привяжешь крепче. По-моему, она ему нравится.

— По-моему, она тебе нравилась.

— Давно, пап. Все ушло вместе с детством.

— Рискуешь, Джемс.

— Без риска нет драки.

— А если без них?

— Это моя пятерка. Все уже согласовано.

— Им дадут другого.

— Я им нужнее. Они пропадут без меня. Ничего не знают, на каком шагу могут споткнуться. Они как младенцы, пап. Ползунки.

Я услышал рядом тихий смешок. Должно быть, Зернов тогда же решил вернуть комплимент Джемсу.

А разговор не утихал.

— Не боишься провала?

— Будем осторожны. Мы не спешим.

— А если?

— Пострадает всего одна явка. А место работы и место жительства — это лодка, в которой поплывут они сами.

— Значит, отель «Омон»?

— Конечно. У Этьена в запасе всегда несколько комнат.

— Значит, уже двое: Фляш и Этьен.

— Фляш — это твоя инициатива.

— Я не думал тогда о твоем участии, мальчик.

— Какая разница? С Фляшем они могут даже не встретиться, а Этьен для них только владелец отеля. Я буду связан с ними — не он.

— А если провал не по их вине?

— Моей или Этьена? Ты заговариваешься, пап. Все равно что заподозрить Модюи или Грима.

— Тсс... без имен, сынок.

— Но мы одни.

— Все равно. Никогда и нигде не называй имен без крайней необходимости.

— Хорошо, отец.

— Может быть, пройдем в сад. Побродим вместе в последний раз.

В полоске света перед нами мелькнули две тени. Скрипнула входная дверь.

— Слыхал? — шепнул Зернов.

— Этьен и «Омон»?

— Он уже не портье.

— Растут люди.

— Какой ценой?

— А нам не все ли равно? Память же у него блокирована.

— Смотря какая память.

Не сказав больше ни слова, мы вернулись к себе. Легли — не хотелось будить ребят. А думали, вероятно, о том же: слишком уж знакомо приоткрывалась завеса будущего. Парижский отель «Омон», где розовые «облака» показали нам самую страшную из своих моделей — модель воспоминаний гестаповца Ланге и его агента Этьена. Мы, живые, прошли сквозь эту гофманиаду, искромсав и сломав ее. В реальной жизни Этьен повесился, здесь он преуспевает. Конечно, он не сохранил памяти своего земного предшественника, и встреча с ним нам ничем не грозит. А если? Не преднамеренна ли эта встреча, не подготовила ли ее чужая воля, как и все наше путешествие в никуда.

Мысль об этом не покидала меня до отъезда — мы расстались с «сердцем пустыни», когда еще не забрезжил рассвет. Я так и не сомкнул глаз, а потом двухчасовое лодочное путешествие вверх по реке, затем в плавнях, долгий пешеходный маршрут по лесу, где Джемс шел, как герой Фенимора Купера, не хрустнув веточкой, не сломав сучка и ни разу не запутавшись в подозрительно схожих тропках, пока мы, наконец, не вышли на просеку, где пролегала дорога, по которой циркулировали полицейские и омнибусы. Омнибус наш еще не подошел, а «быки» уже скрылись из виду, оставив на душе каждого тревогу и отвращение.

— В Канаде тоже конная полиция на дорогах,— сказал Мартин.

— Не такая.

— Полиция везде полиция.

— Это фашистская,— убежденно произнес Толька.— Серые эсэсовцы.

Ни один из нас не видал живого эсэсовца, но каждый выражал свою тревогу по-своему.

— Может быть, действительно моделирован фашистский режим? — подумал вслух я.

Зернов не согласился.

— Не следует механически переносить привычные социальные категории,— сказал он.— Фашизм — это порождение определенных экономических условий и политической ситуации. А здесь, скорее всего, что-то вроде диктатуры гаитянского божка с его тонтон-макутами.

Тут только я вспомнил о присутствии Джемса — все о нем забыли, говорили по-английски по привычке для Мартина, не для него. А он, конечно, и половины не понял. Но стоило поглядеть на него в эти минуты: такое жадное внимание светилось в глазах его, такое пылкое желание понять, вобрать в себя все услышанное, стать как бы в уровень с нами, что сразу исчезла и напускная его серьезность, и мальчишеская игра в «отца-командира». Он был удивительно красив, этот юноша,— не лицом, нет, а своей всем открытой душевной чистотой. Интересно, гордились ли «облака» таким цельным и чистым созданием и неужели не видели разницы между ним и полицейским, поучавшим меня послушливому смирению? Нужно ли было повторять мир, в котором существовали рядом и эта горилла в золотогалунном мундире, и Феб в ковбойке, может быть встретившиеся на Земле где-нибудь на уличной демонстрации?

Мысль оборвал донесшийся издалека металлический лязг; сквозь него пробивался частый стук копыт, подкованных толстым железом. Такие подковы, должно быть, и увечили и без того уже изувеченную дорогу. Джемс вскочил:

— Собирайте рюкзаки, тушите костер. Омнибус! — И выбежал на проселок с криком, издревле останавливавшим дилижансы, воспетые Андерсеном и Диккенсом.

Но такого они, вероятно, не видели. Обыкновенный автобус, облупленный и запыленный, с двойными колесами на стертых резиновых шинах, но запряженный шестеркой рослых лошадей цугом. На передке, не совсем обычно для автобуса, восседал кучер с длинным, похожим на удочку бичом — единственной диккенсовской деталью

в этой смеси времен и транспортной техники. Истошный вопль Джемса заставил кучера придержать лошадей — громадина дрогнула и остановилась. Интересно, что в Москве или Париже мы не назвали бы ее громадиной: любой городской автобус воспринимаешь повсюду как норму уличного движения. Но здесь, в лошадиной упряжке с двумя гигантскими оглоблями, он показался нам чудовищных размеров каретой. Но делиться впечатлениями было некогда: мы втащили рюкзаки в открытую без пневматики дверь, кондуктор-негр оторвал нам розовые талончики и равнодушно отвернулся к окну. Больше никто не взглянул на нас; бич свистнул, и лесная прогалина за окном потянулась назад.

И внутри омнибус, насколько позволяли разглядеть две оплывших свечи в закопченных стеклянных фонарях в голове и хвосте вагона, выглядел даже не двоюродным братом, а прадедом наших московских автобусов. Только пассажиры были похожи: бородатые парни в джинсах и шортах, девчата с короткой стрижкой, полуобнявшиеся парочки. Впереди кто-то бренчал на гитаре, доносился знакомый мотив французской песенки, что-то вроде «миронтотон-тон, миронтэн»; кто-то смеялся, кто-то спал.

Я тоже попытался заснуть, измученный долгим и трудным походом, но каждый раз просыпался, когда вагон жестоко встряхивало на средневековых ухабах. И каждый раз в открытое окно доносился свист бича, мерный стук копыт и тяжелое конское дыхание, а сверху мигала мне незнакомая россыпь звезд, посреди которой чуточку ярче мерцал двойной звездный гриф, расширяющийся книзу восьмеркой — профилем большой концертной гитары. На ней, вероятно, играл какой-нибудь здешний космический великан.

Так завершилась прелюдия к фильму, какой мне никогда не удастся заснять.

Часть вторая

ГОРОД ПЕРВОГО ВЕКА

Глава XIII

ФОТО ФЛЯШ

Я проснулся от очередной встряски. Омнибус стоял. Обе свечи погасли, но в окно струился неяркий желтый свет невидимого светильника. Я выглянул в окно, высунувшись чуть ли не до пояса. Светильник оказался невысоким уличным фонарем, видимо газовым, какие я видел в старых американских фильмах, блекло освещавшим часть улицы и впадавшего в нее переулка, где и стоял наш омнибус. Во всю длину переулка, насколько позволял видеть фонарь, тянулись не дома, а такие же вагоны, поставленные вместо колес на толстые деревянные брусья. От дверей на землю спускались лесенки. Частые окна светились прямоугольными клеточками. Казалось, не переулок это, а пригородная платформа, по бокам которой стоят два последних ночных дачных поезда — встретились и вот-вот разойдутся. Дома по улице, большие, бревенчатые, уходили в темноту, поблескивая тусклыми огоньками в окнах. Что-то не настоящее, не современное показалось мне в этой улице, похожей на улицу из американского вестерна вроде «Великолепной семерки».

— Что это? — спросил я кондуктора.

— Застава,— сказал он, зевнув.

— Где?

— На другой стороне. Все уже сошли, а вы спите,— засмеялся он и вдруг засвистел в подвешенный на груди свисток.

Ребята вскочили.

— Что случилось?

— Приехали,— сказал я.

Выходить что-то не хотелось. Неизвестность пугала.

— А кто живет в этих вагончиках? — спросил я у Джемса.

— Полицейские,— нехотя процедил он,— заставники и отпускники.

Я догадался, кто такие заставники и отпускники, и больше не спрашивал. Но кондуктор подхватил тему.

— А им что? — сказал он.— Отпустили на покой — и живи. И дом и стол — все задаром. И заставникам до работы рукой подать.

— А вам далеко? — дипломатично осведомился я.

— На конный двор. А утром домой. В Гарлем,— прибавил он.

Мы с Мартином переглянулись. Неужели Нью-Йорк? Но какой? Начала прошлого века или голливудский из павильона «Туэнтис сенчури фокс»?

Застава оказалась бараком из рифленого железа, с длинным прилавком, перегораживающим комнату. За прилавком на дубовом столе без скатерти и клеенки четверо «быков» резались в покер. Это были все те же золотогалунные тридцатилетние парни. Только один из них, длинный и тощий, был старше по крайней мере лет на десять. И не две, а три золотые нашивки украшали его рукав.

— Пропуска! — буркнул он, не вставая.

Мы выложили на прилавок свои кусочки картона.

— Конни,— сказал он младшему,— поди проверь. Кажется, это последние.

Конни внимательно посмотрел пропуска, сверил их с записями в толстой книге и сказал тощему:

— Все из французского.

— Так позвони и проверь.

Я обратил внимание на телефонный аппарат под прилавком — обыкновенный черный аппарат без диска. А ведь Стил говорил, что телефонной связи в Городе нет. Но Конни преспокойно поднял трубку — нормальную трубку с мембраной и микрофоном,— назвал странно короткий номер, что-то вроде «один-тринадцать», подождал и спросил:

— Французский? Кто говорит? Сержант Данэ? Новенький.

— Какое тебе дело? — нетерпеливо вмешался тощий.— Сверяй имена.

Конни продиктовал наши имена с карточек своему коллеге из французского сектора и отметил в регистрационной книге: «Четверо с улицы Дормуа, один с Риволи», мотнул головой и положил трубку.

— Последние,— удовлетворенно сообщил он тощему с двумя нашивками,— все прошли. Пропавших нет.

— Слава Иисусу. Твоя сдача,— сказал тощий и прибавил, даже не взглянув на нас: — Можете подождать здесь до утра, только молча. А хотите разговаривать — ступайте на улицу.

Мы вышли на улицу. Чужой город мог не волноваться, удостоверившись, что мы не пропали. Смешно!

— Твой отец сказал нам, что телефонной связи в Городе нет, а что это за аппарат, по которому нас проверяли? — спросил я Джемса.

— Тебя ни к одному аппарату не подпустят,— процедил он сквозь зубы.— Телефон есть, а связи нет. Полиция присвоила изобретение, ограничила связь сотней номеров и запретила распространение.

— А почему нас так проверяют? Как в тюрьме.

— Потому что из тюрьмы бегут. За девять лет численность населения Города сократилась почти на четверть.

— А какова же численность?

— Перепись проводилась три года назад. Данные не публиковались. По слухам, больше миллиона.

Я вздохнул: миллион робинзонов, более счастливых, чем Крузо, потому что обладали многими благами жизни, какие ему и не снились, и более несчастные, потому что они не имели единственного, что имел он,— свободы распоряжаться тем, что имеешь. О чем думали мои товарищи, я не знаю. Они сидели рядом на ступеньках деревянного крыльца, вглядываясь в полоску света от фонаря, таявшую в черной глубине улицы.

— Одноэтажная Америка,— сказал Зернов.

— Дальний Запад,— сказал Мартин.

— Кинематографический,— сказал я.

Джемс, верный своей манере не спрашивать нас о том,

что ему непонятно, прибавил, поясняя картину, проступавшую из темноты:

— Город растет только в эту сторону — на юг. На севере — горы и рудники, железная дорога к шахтам и колючая проволока. Ни селиться, ни бродить здесь не разрешается. Восточный лес считается непроходимым — сплошные завалы и полчища всякой твари — пауки, муравьи, змеи. Заречье облюбовано «дикими», но для горожан и полиции это далеко и тоже труднопроходимо из-за чащобы и плавней. А к югу лес реже и безопаснее, есть дороги, ходят омнибусы.

— А запад? — спросил Зернов.

— Запад закрыт и патрулируется полицией, оттуда идут грузовики с продуктами. Линия патрулей начинается у самой заставы и тянется от гор на севере до пустыни на юге. Пустыня тоже непроходима — зыбучие пески и безводье. Ни ключей, ни колодцев. Туда не посылают даже геологов.

— Так почему же Город растет, если население его уменьшается?

— Трудно жить в центре. В небоскребах американского сектора заселены только первые этажи: вода не подается выше бельэтажа. Лифты не действуют. А у французов на третьем и на четвертом живут только бедняки: воду приходится носить самим из уличных водоразборных колонок. А выше четвертого этажа в Городе сейчас никто не живет.

Мы переглянулись с Зерновым, вероятно подумав об одном и том же: откуда сие? Почему захирел Город, смоделированный с земных образцов с математической точностью? Почему естественный с годами технический прогресс здесь обернулся регрессом? О чем забыли, что недодумали «облака», воспроизводя детали непонятной им человеческой жизни? На эти вопросы Джемс нам ответить не мог — ответы надо было искать самим.

— Почему мы должны ждать утра? — вдруг спросил Мартин.

— Ночью нет транспорта,— ответил Джемс.— Нет света. Фонари только у полицейских застав.

— Средневековье,— заметил я мрачно.

Никто не откликнулся, хотя я и произнес это не

по-русски, на понятном для всех, но родном только для Джемса и Мартина, привычном уже и все-таки чужом для меня языке. Да я и сам себе стал чужим, с переиначенным именем, придуманной биографией и неистребимой тоской по дому. Что отделяло меня от него — цифры с кишкой нулей или ничто, вакуум, быть может, неведомое силовое поле? Но даже эту дорогую тоску приходилось прятать здесь, в чужом мире с чужими закатами и рассветами. Вот уже заалел над рыжими от дождей домами, над близкой синевой леса этот рассвет, опять обещавший нам что-то новое. И первый свист бича тронул розовую тишину утра — из-за дома позади нас выехал кучер-негр, в канотье и очках, на передке легкого кеба с большими и маленькими колесами, как в древних немых фильмах с Гарольдом Ллойдом. Но Ллойда не было, кеб еще только выезжал на работу. Мы окликнули возницу. Он оглянулся, посчитал, сколько нас, покачал головой и, сверкнув белыми зубами, пробормотал что-то не очень понятное.

— Сленг,— пояснил Мартин.— Соглашается везти только до первого встречного экипажа, а там двум придется пересесть — лошадь, говорит, старая, не довезет.

Второй кеб догнал нас на ближайшем углу, и мы, уже разделившись — Джемс с Мартином впереди, мы трое сзади,— с непривычным скрипом рессор и старой пролетки, громыхающей по тесным камням мостовой, двинулись вперед, к еще сонному центру города.

Город просыпался, как все города, медленно и похоже. Мальчишки-газетчики везли на ручных тележках кипы свежих газет к еще не открывшимся уличным киоскам. Полисмены выходили на посты в черных дождевиках: небо с утра подозрительно хмурилось. Грузовики забирали мусорные контейнеры, выставленные по обочинам тротуаров, а там, где асфальт сменил каменную брусчатку, работницы с подоткнутыми подолами мыли половыми щетками мостовую. Но во всем том было нечто свое, индивидуальное, присущее только этому Городу. Газетчики не бежали и не выкрикивали новостей, как все газетчики мира, а катили свои тележки молча и не спеша. Постовые полицейские и не собирались регулировать уличное движение, они просто прогуливались не торопясь вдоль улицы, внимательно оглядывая проходящих и про-

езжающих. На спине у каждого поверх дождевика болтался вполне современный автомат с коротким дулом и длинным магазином. Редкие велосипедисты спешили на работу или на рынок, но, поравнявшись с полицейскими, обязательно замедляли ход. У грузовиков-мусорщиков торчали по бокам два безобразных цилиндра — источник не бензинного, а древесного топлива, и за каждой машиной тянулся черно-серый хвост дыма. А когда Толька выразил вслух свое удивление тем, что мойщицы мостовой пользовались ведрами, а не шлангом, наш молодой возница тотчас же пояснил, что мы должны были бы знать, как страдает Город от нехватки воды, что вода порой дороже свечей и масла, а владельцы бистро во французском секторе уже давно ополаскивают стаканы не водой, а вином.

Каждые триста метров Город менялся, вырастал вверх, дома вытягивались на целый квартал, появились первые небоскребы — знакомые соединения стекла и металла. Запестрели стеклянные квадраты витрин, замысловатые вывески еще не открывшихся с утра магазинов и баров, цветные вертушки парикмахерских, модели причесок в окнах, гигантские рекламы на фасадах и крышах — тоже знакомое: американский верблюд с сигаретных пачек «Кэмел», бокалы с коричневой жидкостью — «Пейте пепси-колу», драг-сода, часы «Омега». Но и здесь проглядывало что-то свое, невиданное. Окна были открыты и чисто вымыты только в первых двух этажах, а выше до самых крыш оконные стекла покрывала густая серая пыль: никто не жил и стекол не мыли. Не подновляли и реклам: многие давно уже облезли и выцвели. И ни одной электролампочки на фасадах, ни одной неоновой трубки — должно быть, по вечерам здесь светились только редкие и тусклые фонари.

Иногда, помимо реклам и вывесок, в самом облике города вдруг мелькало что-то запомнившееся, словно я уже видел этот дом или уличный перекресток где-то в кино или в журнале. Мартин потом подтвердил это. Ему все казалось, что он видит Нью-Йорк — не то Таймс-сквер, не то часть Ленсингтон-авеню, но словно обрезанные и склеенные с каким-то другим уголком города. Ему даже почудилось, что воскрес Сэнд-сити со знакомой

бильярдной и баром, воскрес и растворился в каких-то иных урбанистических сочетаниях. Мне вспомнились голубые протуберанцы в Гренландии, где наши гости из космоса так же причудливо и прихотливо монтировали Нью-Йорк и Париж. «Джиг-со» — назвал эту игру Мартин. Мозаика из цветного пластика. Сложишь так — Бруклинский мост, сложишь иначе — Триумфальная арка.

Мы ее и увидели, въехав на широкий, типично парижский бульвар, окаймленный шеренгами старых платанов. Но за аркой вдали подымался лесистый склон — парк не парк, а что-то вроде высокогорного заповедника, круто взбирающегося к какому-нибудь альпийскому санаторию. Нет, не Париж, как захотелось мне крикнуть, а неведомый французский сектор, парижская фантазия «облаков», сложивших свое джиг-со из чьих-то воспоминаний. Но вблизи эта подделка легко обманывала своим картинным подобием парижских тротуаров, почти безлюдных в эти утренние часы, и парижских вывесок на еще закрытых рифленым железом витринах. Наше фотоателье тоже было закрыто, но оно было именно тем, какое нам требовалось. «Фото Фляш» — лаконично объявляла дряхлая вывеска на спящей улице Дормуа. Сонное царство перезрелой красавицы встретило нас тишиной и безлюдьем, не прокатил ни один велосипедист, никто не прошел мимо. Джемс тотчас же уехал, обещав встретиться с нами завтра; свой экипаж мы отпустили, расплатившись с возницей. Кстати, здешние доллары, которыми снабдил нас Стил, не возвращали на землю подобно продовольственным этикеткам — они были выпущены с эмблемой в виде Триумфальной арки загадочным Майн-сити банком с не менее загадочной надписью: «Обеспечиваются полностью всеми резервами Продбюро». В суматохе отъезда мы не спросили об этом у Стила, а сейчас спрашивать было некого: кучер молча отсчитал сдачу пластмассовыми фишками, свистнул бичом и удалился, еще не раз громыхнув по мостовой. Но никого в сонном царстве не разбудил: не скрипнула поблизости ни одна дверь, ни одна оконная рама.

Я нажал кнопку звонка. Никто не откликнулся, даже звонка не было слышно. А какой тут, к черту, звонок, когда у них электричества нет. Я ударил ногой в дверь — она задребезжала.

— Так всю улицу разбудишь,— сказал Толька,— звони дальше.

— Тока же нет.

— Почему нет тока? Простейший электрический звонок на гальванических элементах. Звони.

Я, должно быть, минуту или две нажимал кнопку звонка, уверенный в его бездействии. Но вдруг за дверью что-то лязгнуло — должно быть, открыли внутреннюю дверь, потом щелкнул замок наружной, и в дверную щель выглянуло чье-то заспанное и злое лицо.

— Вам кого? — спросил женский голос.

— Фото Фляш.

— Ателье открывается в шесть утра, а сейчас три.— И дверь заскрипела, угрожая захлопнуться.

Я просунул ногу в щель.

— Впустите, не на улице же разговаривать.

— О чем?

— Нужны четыре отдельных фото и одно общее,— сказал я.

Молчание. Голос за дверью дрогнул:

— Подумайте, это недешево.

— Деньги еще не самое главное.— Я уже не скрывал торжества.

Тогда дверь открылась, и мы увидели девушку, почти девочку, в пестром халатике поверх ночной рубашки, непричесанную и неумытую: наш звонок поднял ее с постели — она даже глаза протирала, стараясь нас рассмотреть.

— Проходите,— наконец сказала она, пропуская нас вперед.— На улице никого не было?

— Кроме кучера, никого.

— Надо было отпустить экипаж, не доезжая по крайней мере квартал. Неужели вас не предупредили?

— Он уже уехал, когда мы звонили. Не тревожьтесь, «хвостов» нет,— сказал я.— На улице тихо, как в мертвецкой.

Ателье оказалось меблированным в духе старомодной парижской гостиной: дедовский диван на восемь персон, стульчики рококо, на столе мореного дуба ваза с фруктами и чашечки с коричневой жидкостью — должно быть, вчерашний кофе. Кругом фотоснимки, какие найдешь в лю-

бом фотографическом заведении, аксессуары съемки — высокая тумбочка, подвешенные к потолку качели, гитара, скрипка, шкура тигра, какая-то книжка в пестрой обложке, телефонный аппарат без провода.

— Интересно,— шепнул я по-русски Зернову,— почему это «облака» моделировали ателье в духе наших бабушек?

— «Облака» не моделировали этого ателье,— буркнул сквозь зубы Зернов,— его обставили владельцы сообразно своему вкусу. Не всякому нравится мебель модерн и абстрактная живопись.

Девушка не слышала нас — она заспешила к лестнице на второй этаж и уже с верхних ступенек крикнула:

— Подождите минутку, сейчас вернусь. Кто бы мог подумать, что вы явитесь ночью!

Я так и не мог рассмотреть ее — она то поправляла волосы, то протирала глаза. Замарашка из детской сказки. Но, честно говоря, не она привлекала наше внимание, а ваза с фруктами, к которой мы бросились, оставшись одни. Я схватил банан и едва не сломал зуб, так и не прокусив цветной пластмассы: ваза тоже оказалась аксессуаром съемки, да и от кофе подозрительно пахло охрой.

С досады Толька снял со стены гитару и забренчал, а меня заинтересовала книга на полочке. То был томик стихов на французском языке без имени автора на обложке. Стихи я перелистал: показалось, что узнал Элюара, но без уверенности — знатоком французской поэзии не был, просто среди моих языковых французских пособий стояли на полке и стихи Элюара и Арагона. По всей вероятности, это был воспроизведенный по памяти сборник — поэтический набор кому-то памятных строк.

— А есть ли у них свои поэты? — подумал я вслух.

— Почему же нет? — откликнулась за моей спиной девушка.

— Потому что нет поэтических традиций,— сказал я, не оборачиваясь.

— А то, что вы держите?

Я обернулся и обомлел. Замарашка превратилась в Золушку на балу у принца, еще не потерявшую свой хрустальный башмачок. Тоненькая до худобы, с резко

выпирающими ключицами, с неправильными чертами лица, она казалась привлекательной, даже красивой именно своей неповторимой ассиметричностью.

— Я тоже пишу стихи,— сказала она с вызовом.

— Так прочтите! — закричал я.

Она засмеялась. Лед был сломан.

— Ну зачем же начинать со стихов? Начнем с документов. Кто из вас Жорж Ано?

Я поклонился и получил книжечку в синей обложке с моим новым французским именем. Такие же книжки получили и мои переименованные друзья. Девушка сделала книксен и заключила:

— А я Маго Левек. Теперь вы знаете меня, а я вас. Значит, четыре отдельных фото? — подмигнула она.— Заказ выполнен.

— И одно общее,— прибавил я.

Она тотчас же ответила:

— Отель «Омон». Тихий, недорогой пансионат. Полиция туда почти не заглядывает — уважает хозяина. Вам отведен двухкомнатный номер — больше не смогли: отель переполнен. Зато на втором этаже и с водой.

— Что будем делать? — спросил Зернов.— Нужно еще с кем-нибудь встретиться?

— Нет. По вопросам, связанным с работой и жительством, будете иметь дело со мной. Надеюсь, что недоразумений не будет. Вы, например, получаете довольно почетный пост. Когда мы обсуждали вопрос о вашей работе, выяснилось, что мэру нужен ученый секретарь. У мэра хобби: история Города во всех ее аспектах — промышленном и социальном. По-моему, именно то, что вам требуется. Вы знаете стенографию?

Зернов кивнул. Все знал этот человек!

— Кто из вас специалист по фото?

Теперь кивнул я. Что-что, а это мы умеем.

— Вы будете работать по заданиям нашего ателье. Соглашение подпишем завтра. Теперь вы...— Она повернулась к Мартину и невольно залюбовалась им: привлекателен был, собака.— Мне говорили...— продолжала она,— что вы могли бы управлять грузовиком?

— На чурках? — усмехнулся Мартин.— Не пробовал. Но думаю, справлюсь.

— А вот как быть с вами — не знаю,— заключила она, обращаясь к Тольке.— Пока ничего не подыскали.

— Разве у вас нет института прогнозов?

Она явно не поняла вопроса.

— Прогнозов погоды,— пояснил Толька.

— А что такое «прогнозов»?

— Предсказаний.

— У нас предсказывают погоду только ревматики,— улыбнулась Маго и вдруг увидела на столе мой надкушенный пластмассовый банан.— Неужели пробовали? — спросила она сквозь смех.

— Попробуешь, если со вчерашнего вечера ничего не ел.

Она засуетилась.

— Есть вчерашние сандвичи с сыром и немного бренди. Не возражаете?

Мы не возражали, набросившись на сандвичи, как голодные коты. Благодушие возвращалось вместе со съеденным сыром. А Толька, проглотив свою порцию, даже забренчал на гитаре.

Он запел свою песенку о всадниках ниоткуда, одно время самую популярную на Земле. Он пел ее по-французски, придыхая и грассируя. Я вспомнил Париж и ахнул: Толька никогда не пел ее так, а ведь это был шлягер!

Маго не могла понять смысла, но свое восхищение выразила по-своему: обняла и поцеловала смущенного Тольку.

— Есть профессия,— сказала она решительно,— и никаких споров! Вы — шансонье.

Глава XIV

ЗОЛОТОЙ ГАЛУН

В открытое окно отеля, выходящее на узкую темную улочку, почти не заглядывает солнце. Только рано поутру. Но я обычно просыпаюсь позже и вижу в окно облысевший каштан и кирпичную стену. Света не больше, чем в колодце. В плюшевых портьерах гнездится пыль. Как все

знакомо здесь, вплоть до памятных канделябров на камине с толстыми свечками! Такие же свечи в люстре над столом. По вечерам их зажигает специальный служитель. Он же тушит их в полночь, наступающую по-здешнему в девять часов. Есть и еще отличие от земного «Омона» — на стенах нет картин. Их заменяют фотографии Города и огромная афиша с портретом Тольки и анонсом: «Олимпия». Ежевечерне — Толли Толь».

Сам Толли Толь уже встал, хотя до завтрака еще полтора часа, а завтракаем мы, как и у Стила, в шесть утра, спешить нам обоим некуда. Он тихо бренчит на гитаре, подбирая мелодию к французским словам. Говорит по-французски плохо, но произношение у него превосходное, и поет с чувством. Только что именно — разобрать не могу: бурчит вполголоса себе под нос.

Всплывает в памяти знакомая картина: именно так родилась песня о «всадниках», когда я дремал под его бренчание.

Я лениво потянулся на скрипучем диване и спросил, не открывая глаз:

— Новая песня?

— Не знаю. Может быть.

Я открыл один глаз.

— Почему такая неопределенность?

— Потому что эти стихи еще не стали песней.

— Твои?

— Нет, Маго.

Я знал, что Маго помогает Тольке сочинять песни, но своих стихов никому не показывает. И вдруг — такое доверие. Почему не мне? Мы с ней чаще видимся и как будто дружим.

— Что-нибудь в духе Элюара? — спросил я обиженно.— Кажется, девочка заболела сюрреализмом, понятия о нем не имея.

— Жалкая, ничтожная личность! — бросил мне Толька и прочел стихи по-французски с той же яростью, с какой они были написаны, и тут же продолжил без паузы: — Ведь это же тоска по слову. Ведь они с самого гнусного их Начала — как слепые глухари. Знают слова и не знают смысла. Ощупью доискиваются, а иногда и совсем не доискиваются. Я начинаю ненавидеть «об-

лака» за то, что они у людей отняли так много.— Он помолчал и прибавил: — Я даже по-русски их перевел. Прочти.— И смущенно протянул мне листок с переводом.

Я прочел перевод и задумался. А ведь был у нас с Маго такой разговор об утраченной семантике языка. «Почему арка Триумфальная, Ано? Откуда триумф?.. Почему гитара гавайская?.. Почему телефон — это телефон, а не звукопровод?.. Почему ипподром — это ипподром, а не скаковое поле?.. Почему химический комбинат Мартина называется «Сириус»? Что это, имя собственное или нарицательное? И что оно означает?.. Почему мысль выражается в словах, порой совсем непонятных?.. Почему в слове всегда какая-то тайна? Почему, Ано?»

Я молчал: мы подходили к запретной теме — блокаде памяти,— и, подобно Тольке, начинал ненавидеть «облака» за то, что они отняли у людей так много. Эту яростную тоску Толька не сумел передать с такой же силой, но отдельные строфы прозвучали верно. Я еще раз прочел про себя:

«Где-то ощупью бродит опыт... как в бессоннице и в игре... Кто откроет тайные тропы... где встречаются мысль и речь?.. Кто откроет, чем Город город... и что облачно в «облаках»... как назвали Горами горы... и как стала Рекой река?»

Пропустив несколько строф, я еще и еще раз прочитал последние:

«В этой млечности мглы и света... в этой поступи дум и лет... следопыты с чутьем поэта... ищут слово, как взятый след... Слово чистое и нагое... слово — пламень и слово — лед, то, что выстрелит и нагонит... обессмертит или убьет!»

Толька опять забренчал, ища мелодию, а я думал о Маго. Какая неутомимая ярость клокотала в душе этой хрупкой, некрасивой, но обаятельной женщины! О многом она говорила с сердцем, со страстью, с высоким, почти исступленным гневом: «Почему мы так медлим, Ано? Почему все только подготовка, подготовка и подготовка? Собираемся, читаем, заучиваем. Кто написал эти книжки, не знаю. Кто пересказал их нам, сохранив их в памяти, не могу сказать — у нас это не принято. Без имен. Но я уже усвоила: классовая борьба, прибавочная стоимость,

идеализм и материализм. Все это слова, Ано, а я хочу действия. Почему не отнять у полицейского пистолет? Что дальше? Стрелять. Нет, нет, не читайте мне лекции о бессмысленности террористических актов. Все знаю. А если убить главного? Хотя бы Фронталя. Не знаете? Тот, кто подписывает приказы от имени Главного полицейского управления». Голос Маго снижался до хрипа, она уже не слышала моих возражений. «Будет другой? Убьем другого. Надо, чтоб нас боялись, Ано. А они боятся не книг, а пуль». Она стискивала зубы и смотрела сквозь меня. Аргументация моя стреляла мимо.

С Толькой ей было легче. Он не учил и не настаивал, а сам спрашивал и учился. И он нес ее слова с концертной эстрады. На эзоповском языке Толькиных песен она вербовала единомышленников. Среди рабочих ребят, среди бородатых парней — «облака» и таких приметили — песни эти озорно и настойчиво сеяли семена протеста. Так продолжалось до тех пор, пока Тольку не пригласили в «Олимпию». Он отказался. «Олимпию» облюбовала полицейская знать и промышленная аристократия. Но Сопротивление решило иначе: Тольке было предложено взять отказ обратно и стать полицейским любимцем. Он подчинился.

Теперь он пел другое. Не без помощи Маго, конечно,— она тоже подчинилась,— но смысл и адрес песенок изменился. Я как-то зашел в этот официозный ресторан и услышал песенное обращение Тольки к сидевшим в зале галунщикам: «...нам писать ночных патрулей повесть... не грусти, для грусти нет причины... мы не знаем, что такое совесть... нас без промаха стрелять учили». И зал пьяными голосами подхватывал ухарский, разбойный припев. А через неделю — то была уже третья неделя нашего пребывания в «Омоне» — имя Толли Толя с уважением произносил каждый галунщик. Но зачем это нужно было Сопротивлению, никто из нас, кроме Зернова, не понимал.

Да и Зернов объяснял загадочно: «Политика дальнего прицела. Придет время — поймете». Это «придет время» он повторял не раз, когда его спрашивали и о его работе у мэра. «Придет время — обсудим. Еще не все ясно». Самое интересное, что мэром оказался Томпсон, не однофамилец нашего, а его дубликат, именно та самая ко-

пия, встреча с которой так пугала адмирала три года назад. Здешний Томпсон оказался таким же решительным, упрямым и, по-видимому, порядочным человеком, хотя Зернов все время подчеркивал, что «выводы делать рано». Земной адмиральской памяти у здешнего главы Города, естественно, не оказалось, но профессиональная память администратора, сохранившая умение командовать, руководить и распоряжаться, не подвела его и в новой роли, запрограммированной для него «облаками». Распоряжался он, по словам Зернова, не ведая сомнений и колебаний, но главой Города не был. Его делали подставной фигурой какие-то другие, более влиятельные лица. Но кто именно, Зернов не знал: «Выясняю понемножку, по ниточке; а куда ведут эти ниточки, кто их скручивает в клубок, пока неизвестно. Словом, рассказывать нечего». Принял он Зернова любезно, но почему-то долго присматривался к нему, прежде чем начать разговор, а в конце концов сказал: «Отпустить бородку и волосы подлиннее — так будет лучше». А на вопрос Зернова «Зачем?» ответил: «Это приказ».

С того дня Зернов почти не бывал дома. Иногда Томпсон не отпускал его даже на ночь: их разговоры продолжались до рассвета, а днем Зернов все это вкладывал в «Историю Города со слов очевидца». Сумбурно складывались сутки и у Мартина. На своем дымящем грузовике он колесил по городу и днем и ночью, с товаром и порожняком и вместо «тоски по слову», о котором говорил Толька, заболел «тоской по нефти»: «Можно прожить без памяти, а без нефти нельзя. Полжизни отдашь за двигатель внутреннего сгорания».

Со слов Мартина мы ближе узнали Город. Город-ублюдок — называл его Дон. Париж склеили с Манхеттеном, Сен-Дизье — с Сэнд-сити, а все вместе с макетом из голливудского вестерна. Мне вспоминался Париж на фоне гор, который мы с Толькой наблюдали в Гренландии за голубыми протуберанцами. Там был почти весь Париж — с Ситэ и Монмартром, аркадами Лувра и собором Парижской богоматери. Здесь Париж съежился, деформировался, как отражение в кривом зеркале. «Облака» не воспроизвели ни Лувра, ни башни Эйфеля. Уцелели набережные и часть улиц, расходящихся от Триумфальной

арки. Но за ней, как я уже говорил, подымался лесистый склон, застроенный самодельными деревянными хатами — не то поселок лесорубов из Орегона, не то индейская резервация где-нибудь на границе с Канадой. «Облака» склеили и слепили все им запомнившееся, иногда целые улицы и улочки со всеми домами и магазинами, иногда обрубали их где придется, соединяя с другими и не заботясь при этом ни о красоте, ни о целесообразности. Бессвязное косноязычие архитектурных стилей и форм выпирало на каждом шагу, но никого из горожан не коробило. Даже Сена не была только Сеной, а комбинацией из нескольких подсмотренных на Земле рек. А кое-какие мосты напоминали скорее пражские, чем парижские, но по ним ездили и ходили, не заботясь о дисгармонии окружающего пейзажа. Я все время думал: чем руководствовались создатели этой экспериментальной городской какофонии? Вероятно, количеством и многообразием, воспроизводя непонятную им жизнь по образу и подобию воспроизводимой природы. Большой разницы между лесом и городом они, вероятно, не видели и расселяли людей по тому же принципу, как расселяли в лесу скопления его обитателей. В результате Город был приготовлен, как салат из крабов: всего понемногу — и горошка, и картофеля с закраской из крабовых долек. Так небоскребы закрашивали американский сектор, а Большие бульвары — французский. А ведь жил этот монстр, как любой земной город,— ел, работал, изобретал и строил, грязнил реку промышленными отходами, истреблял и оттеснял лес: что-то рождалось в нем и умирало с естественной для человеческого скопления закономерностью. Что видели в этом «облака», какие делали выводы, не знаю. Но они почему-то позвали нас.

Я не встречался с рабочими крупных компаний вроде «Сириуса», их знал Мартин, уверявший, что нашел бы таких и у Форда, и у Рокфеллера. Но тружеников знал и я. Вместо того чтобы снимать в ателье женихов и невест, я выполнял поручения редакции журнала «Экспресс», куда меня пристроил Джемс, и, мотаясь по городу с фотокамерой, успевал пообедать в русском аррондисмане в ресторанчике некоего Нуара, как-то признавшегося мне, что настоящая фамилия его не Нуар, а Чер-

нов. С кого его скопировали «облака», я не знал, вероятно, с такого же владельца дешевого ресторанчика или бистро на парижской окраине, давно порвавшего с традициями русского белоэмигрантского болота и даже помогавшего сопротивленцам в дни гитлеровской оккупации. Но мой Нуар, не помнивший жизни своего земного аналога, знал только Начало, свои и чужие горести и еле-еле сводил концы с концами, потому что и в этой «облачной» обители было совсем не легко жить.

В его тесном трактирчике в часы обеда собирались заготовщики из ближайшей обувной мастерской и мастера-часовщики, могущие вам рассказать о часах все, кроме того, где их делали они до Начала. О чем они говорили в эти минуты недолгого отдыха? Да, наверно, о том же, о чем говорят в парижском бистро на окраине или в аптеках Бруклина и Бронкса. О том, что труднее стало жить: у Жаннеты родился третий; что папаша Луи наконец получил работенку — моет стекла где-то в американском секторе; что у Поля горе — дочка сбежала с каким-то, говорят, непутевым парнем, а «малышка» Пьер вот уже третий месяц толчется на бирже безработных у Восточной заставы. О полиции говорили неохотно и с неприязнью — тоже не новость: и на Земле едва ли любят или уважают полицию. Но в этом полицейском Городе-государстве ей была предоставлена власть хищника на охоте, тюремщика в камере и палача в застенке. Любой «бык» мог вас оскорбить, избить, даже застрелить неподсудно и безнаказанно. Чересчур театральной, несерьезной могла показаться лишь форма галунщиков, придуманная совсем не «облаками», а кем-то из первых начальников полиции, возжелавшим, чтобы верные псы его «подавляли и ослепляли». Они и подавляли любой протест, любое недовольство: даже косой взгляд на улице, брошенный на проходившего мимо галунщика, мог закончиться избиением в полицейском участке.

Мой случай мог закончиться хуже. Как-то я забежал в погребок Нуара не днем, а вечером. Следом за мной вошел полицейский, выпил кружку пива прямо у стойки и выплеснул остатки в лицо сидевшему поблизости старику. Никто не двинулся с места, никто не сказал ни слова. Я не выдержал, сорвался: моя кружка с размаху

ударила полицейского прямо в зубы. Мы даже не успели разглядеть друг друга — так быстро все это произошло. Он только вскрикнул от боли, как погас свет и чьи-то незнакомые руки мягко, но решительно повели меня к выходу.

— Шагай, не медли,— шепнул кто-то мне на ухо, и я зашагал.

О продолжении этой истории я узнал совсем неожиданно на другой же вечер. Маго ушла, а я проявлял в лаборатории сделанные за день снимки. В этот момент кто-то открыл входную дверь своим ключом и почти бесшумно вошел в приемную.

— Кто? — вскрикнул я, бросаясь навстречу неизвестному в темных очках и надвинутой на лоб кепке.

— Тихо! — сказал он и прибавил по-русски: — Я вспомнил еще кое-что, сынок, что было уже после войны.

И тут я узнал его. Ночной друг Джемса в полицейском мундире и законспирированный владелец нашего ателье стоял передо мной, пристально и строго меня оглядывая.

— Между прочим, труп полицейского с выбитыми зубами выловили сегодня из воды у Центрального моста,— сказал он уже по-французски.— За Нуара не беспокойся. Это на другой стороне Города.

— Вы русский или француз? — спросил я.

— Я знаю о них уже давно, когда начала возвращаться память. Но кем был до Начала, не помню. Может быть, русским солдатом, сбежавшим из нацистского лагеря и присоединившимся к какой-нибудь группе Сопротивления. Впрочем,— усмехнулся он,— это я сочиняю себе биографию. Честно говоря, ничего не помню...

Теперь уже улыбались мы оба.

— А ведь вы обещали при встрече меня не узнать,— вспомнил я.

— Времена изменились, сынок.

— Чем?

— Ты теперь не просто друг Джемса, а боевая единица Сопротивления. Тебя уже знают и на тебя рассчитывают.

— Потому я и снимаю здесь разбитных девиц и старых подагриков.

— Не доволен?

— Я думаю!

Он вздохнул.

— Хочется отнять у галунщика пистолет и подстрелить Томпсона или Фронталя?

Я вспомнил о Маго: говорить или не говорить? Нет, сказать честнее.

— Это было бы непростительной глупостью и ошибкой, но кое-кто у вас об этом подумывает.

— Маго — девочка,— сказал он.— Нельзя же ее принимать всерьез.

Как мы потом жестоко ошиблись!

— Мне сказали, что ты иногда называешь себя пятиборцем. Что это значит?

— Спортивный комплекс,— пояснил я.— Уметь фехтовать, стрелять, бегать, плавать и ездить верхом.

— Хорошие качества. Каждое пригодится.

— Почему-то их не используют.

Он не обратил внимания на мою реплику. Помолчал, прошелся по комнате и начертил пальцем скачущего на лошади человечка на запотевшем стекле.

— Ездить верхом...— задумчиво повторил он.— У тебя, кажется, завелись знакомства на скачках?

— Только в конюшне. Снимал жокеев-призовиков для «Экспресса».

Он опять прошелся по комнате, опять подумал и сказал:

— Есть предложение. По воскресеньям на скачках любительский гандикап. Вместо жокеев-профессионалов скачут спортсмены-любители. Преимущественно «быки» и те, кто рассчитывает поступить на службу в полицию.

— Какая же связь между скачками и полицией? — перебил я.

— Полицейский комплекс, как и твое пятиборье, требует умения стрелять, плавать и ездить верхом. Хорошо ездить. А Корсон Бойл — скаковой меценат, умеющий отличать победителей.

— Кто это — Корсон Бойл?

— Начальник продполиции.

— Правая рука Фронталя?

— Кто знает, у кого чья рука,— загадочно сказал

Фляш,— но Корсон Бойл — это личность, от которой зависит многое.

— А при чем здесь я?

— Примешь участие в гандикапе.

— Я?

— Ты.

— Ничего не понимаю. Зачем?

— Это приказ.

Я задумался. Фляш тоже молчал, ожидая ответа. Наконец я сказал:

— Приказы, конечно, не обсуждают, но разумные люди не отдают приказов, не объяснив их цели.

— Хорошо. Проверим, насколько ты разумен. Сначала приказ. Завтра с утра, как только начнется движение по Городу, ты поедешь на ипподром. Спросишь жокея Бирнса. Хони Бирнс. Запомни.

— Я его знаю.

— Тем лучше. Скажешь: Фляш просил подобрать экстра-класс. Понял?

— Я не идиот. Дальше.

— Он даст тебе лошадь, проверит тебя на дорожке и решит, будешь ты участвовать в гандикапе или нет.

— Допустим, что буду.

— Тогда все зависит от того, каким по счету ты придешь к финишу.

— А если первым?

— Тебя проведут в ложу и представят самому Корсону Бойлу. Держись скромно, но с достоинством. Молчи. Дождись вопроса.

— О чем?

— Он обязательно спросит тебя, чего бы тебе хотелось. Боги любят иногда снизойти к смертным.

— А чего именно мне бы хотелось? — спросил я в упор.

Фляш улыбнулся, как фокусник перед тем, как поразить зрителей:

— Поступить в полицию.— И продолжал улыбаться, явно наслаждаясь моей немотой.

— Но зачем, зачем? — вырвалось у меня.

— Нам нужен свой человек в полиции. В продоли-

ции,— отрубил Фляш.— Опыт с Толли пока ничего не дал.

— Значит, серый мундир,— спросил я, уже ни на что не надеясь.

— Серый мундир,— безжалостно повторил Фляш.— Придется надеть.

— И галун?

— И галун.

— Только этого мне еще не хватало. Лучше сдохнуть,— зло проговорил я.

Глава XV

ЧЕТЫРЕ ТУЗА И ДЖОКЕР

Очередная встреча мушкетерской четверки состоялась, как обычно, в «казарме» — нашем отдельном обиталище на втором этаже с водой. Сообщение д'Артаньяна о предложении поступить в гвардию Ришелье встретили бурно. Портос громыхнул:

— Вот это да!

Лучше других знакомый с нравами кардинальских гвардейцев, Арамис брезгливо поморщился:

— Хуже для тебя ничего не могли придумать?

Только Атос, поразмыслив, высказал нечто совсем необычное:

— Вот как раз то, что нам нужно.

Наступило настороженное и длительное молчание. Мне было совсем не весело.

— Кажется, уже пришло обещанное мной время кое-каких объяснений и выводов,— сказал Зернов.— Я долго кормил вас завтраками. Зато сейчас угощу обедом.

— Все уже ясно? — ехидно спросил я.

— Без ехидства, Юра. Я не зря молчал. Многое было туманно и только потом прояснилось. Начну с вопроса: как вы думаете, для чего нас сюда пригласили? Я имею в виду акцию наших космических друзей. Для участия в Сопротивлении? Что же они, по-вашему, без нас не справятся? С нами или без нас, а диктатуре галунщиков придет конец. Мы только поможем ускорить его, не боль-

ше. Но это уже наше частное дело и совсем не то, чего ждут от нас «облака». Эксперимент их не удался, и, должно быть, они это поняли. Но в чем ошибка? Почему синтезированная ими цивилизация идет к упадку? В чем причины ее технического регресса? И почему ее эволюция не повторяет земную? «Облака» не поняли многого в нашей жизни, не поняли законов ее развития — и в экономике, и в социологии, а может быть, даже в технике. Простой пример: люди создали искусственный рой или муравейник и наблюдают, не вмешиваясь в его эволюцию. Опрокинем пример: суперцивилизация пчел или муравьев создает искусственный город. Но город развивается по другим законам, чем муравейник, и если не знать этих законов, то и получится, что жизнь искажается, как в кривом зеркале. Анохин и Мартин удивляются архитектурному косноязычию Города. Но повинны в этом не «облака», а его население. «Облака» довольно умело склеили несколько нью-йоркских и парижских кварталов, а Город расползается, как жидкое тесто. Из благоустроенных небоскребов, с верхних городских этажей жители бегут на окраины, вырубают лес, строят хибары или просто поселяются в брошенных трамвайных вагонах. Мы-то с вами знаем почему, но знают ли «облака»? Десятый год они наблюдают, как созданные ими по земным образцам существа ломают и переделывают все или почти все, воспроизведенное, казалось, с техническим совершенством. Идеально скопированные двигатели внутреннего сгорания превращаются в неуклюжие газогенераторы или паровые топки. В автобусы запрягаются лошади, а электрическое освещение заменяется свечами или газом. Вы думаете, что этот процесс не тревожит авторов эксперимента? Наше появление здесь — свидетельство этой тревоги. И не только тревоги, но и уважения к человеческому разуму. Да, да, сверхразум капитулирует. Он спрашивает нас, и в нашем лице — человечество: где и в чем он ошибся? И во имя человечества — не бойтесь пафоса,— во имя человечества, повторяю, мы должны, мы обязаны им ответить.

— А ты знаешь ответ? — прервал я его.— Ты видишь эти ошибки?

— Вижу. Многое давно видел, а в бессонные ночи с Томпсоном докопался до главного.

— Несовершенство моделированных структур?

— Они абсолютно совершенны. И живые и неживые. Но человеческий коллектив — это не сумма отдельных личностей, город — не сумма зданий, а технический уровень жизни современного человека — не сумма вещей, его окружающих. Трудно понять, как мог ошибиться здесь этот сверхразум, но он ошибся.

Я открыл было рот, но Зернов поднял руку.

— Не перебивай. Я не хочу отклоняться. Я все суммировал и боюсь упустить что-либо. Начнем с мелочей. Для «облаков», по-видимому, нет проблем надежности. Воспроизвели автомобиль с его запасом горючего, но не подумали о том, что у нас запас этот не вечен. Воспроизвели водопровод — все подземное и наземное его оборудование,— но не учли необходимых мощностей: парижские насосы, скажем, не годны для небоскребов Нью-Йорка. Я беру только одну деталь, а их сотни. Воспроизвели электрохозяйство города, даже гидроэлектростанцию возвели на реке, а в простейшем расчете ошиблись: рост промышленности сузил энергетическую базу. Наличие энергетических мощностей оказалось недостаточным для индустриальных и муниципальных нужд. А в результате — в квартирах погасли лампочки, а на улицах фонари.

Когда мы с Томпсоном подсчитали промышленные ресурсы Города в первые дни Начала,— продолжал Зернов,— мы ужаснулись. Большой химический комбинат, правда, мощный и модернизированный, производивший многое из потребного человеку, от пластмасс до каучука, пять-шесть крупных заводов и с десяток мелких сами по себе могли создать индустриальное обрамление любого крупного европейского города и все же не обеспечить привычный для Земли технический уровень жизни. Такой уровень создает производство всей страны, да еще ввоз из-за границы. А Город начал жить буквально в промышленном вакууме. Не было ни трубопрокатных, ни подшипниковых, ни ферросплавных заводов, ни огнеупорного кирпича, ни коксующихся углей, ни цемента, ни гвоздей. Я перечисляю на выбор, наудачу. Не было многого необходимого человеку. Но профессиональная его память, усиленная за счет блокированной памяти прошлого, творила чудеса. Стил уже рассказывал нам об этом,

я только добавлю, что за десять с лишним лет Город сам создал свою металлургию и машиностроение, научился делать бумагу из дерева, строить дома, ковать подковы и гвозди, шить платья и мостить мостовую брусчаткой. Могу, между прочим, порадовать Мартина: к Томпсону уже поступил проект о производстве бензина из горючих сланцев. Остается только заинтересовать промышленников.

— А деньги? — вдруг спросил Мартин.— Откуда они берут деньги? Кому продают? Где покупают? На днях проезжал мимо биржи — вавилонское столпотворение даже у входа. Откуда?

— От верблюда,— откликнулся по-русски Зернов.— Извините, Дон, в переводе это будет примерно так: подумай, прежде чем спрашивать. Ведь «облака» смоделировали в миниатюре капиталистическую систему с ее экономикой, финансами, денежным обращением и товарооборотом. Помните рассказ Стила о том, как он проснулся, забыв все, что было до этого. Но о том, что ему надо идти на работу, не забыл. А ведь одновременно со Стилом проснулись и хозяева «Сириуса», и акционеры банков, и телетайпы биржевых маклеров заработали, и в директорские кресла уселись директора. С рождением Города не началась концентрация капитала, она просто продолжалась, как бы уже когда-то начавшаяся. Не остановило ее и бурно растущее мелкое производство. Томпсон подсчитал, что только за первый год открылось более тысячи различных мастерских и кустарных фабричек. А ведь еще Ленин сказал, что мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Между прочим, эти же слова процитировал мне Томпсон. Он только не помнил их автора, но профессиональная память социолога — ведь он не просто администратор — сохранила когда-то поразившую его истину.

«Где же ошибка?» — подумал я. Подвернулся «облакам» клочок капиталистической системы — они его и смоделировали. Кое-что недоделали — люди дополнили. Кое-что недодумали — люди поправили. Бизнес так бизнес — Сити для маленьких. Для чего мы понадобились, когда все и так ясно? И тут же сообразил, что не все еще ясно.

А чем обеспечивается денежное обращение, смоделированы ли банковские золотые запасы?

— Нет,— пояснил Зернов,— золота в Городе нет: только украшения, смоделированные вместе с личным имуществом жителей. Видимо, «облака» не заинтересовались складами непрочного желтого металла, не показавшегося им особенно нужным. Бумажные деньги они смоделировали, как человеческую прихоть, как игральные карты, не разгадав их истинного значения. Юра правильно поставил вопрос. Синтезированному Городу угрожала бы неминуемая инфляция, если бы не было найдено нечто более совершенное, чем желтый металл.

На наш единодушный вскрик «Что?» Зернов улыбнулся, помолчал и, наслаждаясь эффектом, как фокусник, сказал:

— Пища. Некий всеобщий эквивалент, в котором, как в золоте, может быть выражена стоимость всякого другого товара.

Каюсь, мы сначала не поняли. Сказалась разная подготовка к вопросу спора. Мы делали свое дело, не особенно раздумывая над тем, что встречали и слышали. Зернов же, создавая с Томпсоном социологическую историю города, мучительно обдумывал все предложенное ему для размышления и обработки. «Время выводов пришло»,— сказал он в начале нашего разговора. Оно действительно пришло.

— Сейчас мы подходим к той акции «облаков», что внесла нечто новое в смоделированную ими земную цивилизацию,— продолжал он.— Что ищет пчела, летая от цветка к цветку? Пищу. Что ищет человек, начиная день? Пищу. Без пищи не может существовать ничто живое в любом уголке Вселенной. С этой аксиомы они и начали. Моделируя заинтересовавшее их общество, они решили облегчить его дальнейшую эволюцию — создали завод для изготовления потребной Городу пищи. Я прибегаю к земной терминологии — другой у нас нет,— но завод, вероятно, вечный, автоматический и саморегулируемый. Отсюда и разнообразие продуктов, и неистощимое соответствие любому спросу, и даже знакомые нам этикетки. Если бы «облака» моделировали социалистическое общество, это был бы оптимальный план, но они не разобрались

в классовой природе моделируемой ими цивилизации. Попробуйте теперь представить себе, что случилось в первые дни. Автоматические, где-то заполненные всем потребным для человека продовольствием, от хлеба до деликатесов, грузовики выходят на шоссе, дистанционно управляемые Вычислительным центром, а здесь их уже поджидают полицейские тройки, запрограммированные для сопровождения грузовиков в пути и разгрузки их на стоянках. Вы спросите: а зачем «облакам» полиция? А зачем в муравейниках особый вид муравьев-солдат с особыми функциями? Это функциональное понимание жизни «облака» механически перенесли и на человеческий муравейник, только одного не учли — денег. Передавая товар магазинам, полицейские получали наличными или банковскими чеками — в сумме окружавших человека вещей банковские книжки едва ли были забыты. Ну а что произошло дальше, понятно. Приток денег был узаконен, отрегулирован и присвоен полицейской верхушкой. Создалась новая капиталистическая монополия, синдикат, но более мощный, чем все остальные, и притом обладающий большей ценностью, чем любой золотой запас. И вполне естественно, что подкрепленная такой экономической мощностью полицейская верхушка сразу же получила реальную неограниченную и бесконтрольную власть.

— А мэр и его совет олдерменов? — спросил я.

— Пешки.

— Есть еще Фронталь, подписывающий приказы.

— В лучшем случае — офицер, которому разрешают двигаться по той или иной диагонали.

— А Корсон Бойл?

— Темная лошадка. Томпсон не знает, как велики его полномочия.

— Кто же у власти?

— Те, кто командует Вычислительным центром и прячется за спины подставных лиц. Есть даже фразочка: четыре туза и джокер. А джокер, как и в картах, может занимать любой пост, даже не очень высокий. Оттуда ему виднее.

— Значит, четыре туза и джокер,— повторил я.— Спрашивается: кто, где, кем и как?

— Я бы иначе сформулировал,— возразил Зернов.—

Задача другая: с двумя неизвестными. Икс — Продзавод, игрек — Вычислительный центр. А вопросы те же: где находится, кто командует, кем приводится в действие и как охраняется.

— Снимаю вопрос «кем». Полагаю, автоматика.

— Даже автоматика не исключает сотрудничества человека.

— Убедил,— сказал я.— Будем искать ответы.

— Теперь понимаешь, почему ты меняешь позицию в нашей шахматной партии, которую мы играем вместе с Сопротивлением? Наши задачи сейчас совпадают с его тактикой. Сформулировать их можно так: ладья Анохина вторгается в глубокий тыл противника и действует в зависимости от обстоятельств. Я и Дьячук остаемся на прежних позициях, определяя тактику теми же обстоятельствами. Мартин ходом коня закрепляется в баре «Олимпия». Дон, не смущайтесь. Толя молчал, но я уже знаю, что именно может обеспечить коню атакующую позицию.

— Неужели Марию нашел? — догадался я.

— Нашел,— признался Мартин.— Совсем земная. А этот щекастый фараон и здесь ее обхаживает. Я его мельком два раза видел. Почему-то в штатском, но это ему не поможет — отошью.

— Не советую,— предостерегающе заметил Зернов.— Здесь он покрупнее земного.

Мартин пренебрежительно сплюнул, уверенный в своей неотразимости, даже не столько в лично своей, сколько в неотразимости свободного человеческого разума рядом с умом блокированным да и в оригинале ничтожным.

— Подумаешь, сержантишка! В крайнем случае, лишнюю нашивку нацепил.

— А если генеральскую?

— Кто?! Он? Смит паршивый!

— Не Смит, а Бойл,— сдержанно поправил Зернов.— Корсон Бойл. Запомните, Дональд.

Мартин так рванулся с кресла, что оно затрещало.

— Этот щекастый оборотень?

— Сейчас это не оборотень. Моделирована не полицейская функция, а человек, как и все в этом мире,

и, кроме того, умный, расчетливый и очень опасный. Блокированная память ему не мешает: наоборот, я думаю, она только облегчила ему путь к власти.

Мартин сразу сник, да и мне стало кисло. Ведь на орбиту Бойла меня выводило не только Сопротивление: где-то на этой орбите мы могли найти ответ на все наши вопросы.

— На ближайшей неделе,— продолжал Зернов,— в его летней резиденции состоится встреча... ну, скажем, королей и ферзей. Томпсон не приглашен. Но приглашена Мария. Официально — смешивать коктейли в домашнем баре, неофициально — каприз хозяина. Ну а мы противопоставим ему каприз гостьи: приглашение должен получить и Толли Толь.

— У меня есть человеческое имя, Борис Аркадьевич,— обиделся Толька.

— На Земле вернемся к человеческим,— отмахнулся Зернов.— А ваша задача, Мартин, убедить Марию.

— Только без покушений,— предупредил Дьячук,— иначе — отказываюсь.

Что-то в голосе его насторожило меня: как и в Антарктиде, он готов был запсиховать, не подумав. Но Зернов погасил вспышку:

— Надо соображать, Дьячук. Ничего подобного мы не планируем. Все, что вы должны делать в резиденции Бойла,— это петь, слушать и запоминать.

Я невольно зевнул: усталость брала свое, а на ипподром путь лежал вместе с рассветом.

— А теперь спать,— сказал Зернов.— Анохин уже зевает. Кстати, учти: тебе еще вес сгонять. А это не очень приятная процедура.

Глава XVI

СКАЧКИ

Процедура оказалась действительно неприятной. Горячий пар ел глаза и щекотал горло. Дышалось трудно и непривычно. Паровая баня была похожей на нашу разве

только тем, что в клубах жаркого и плотного тумана я почти ничего не мог рассмотреть. Не было ни мочалки, ни мыла, ни березовых веников. Зато надо мной, вдавленным в губчатый резиновый мат, яростно орудовал массажист, растирал и разминал меня до боли во всем теле. Я только пыхтел и глотал соленый пот, стекавший мне в рот. В конце концов массажист или умаялся, или решил, что с меня достаточно, и разрешил мне сесть.

Напротив, на другой койке, тотчас же поднялся мой визави, которого мяли и терли одновременно и в том же темпе. Он вздохнул, выдохнул и спросил что-то по-французски, но с незнакомым, неамериканским акцентом.

Или горячий туман рассеялся, или сидели мы слишком близко друг к другу, но я вдруг хорошо разглядел его. Белотелый, как женщина, с медно-красными от загара лицом и руками, он выглядел чуть постарше и пошире меня, а в черноватых подстриженных усиках на верхней губе мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Я мысленно продлил их и закрутил кверху, как у «гусар-усачей» из дореволюционной солдатской песни, и тут же узнал его. То был скакавший рядом со мной в моделированных кинопроектах Каррези швейцарский рейтар, капитан в рыжих ботфортах. Это он перебросил мне свою шпагу перед дуэльным шантажом Монжюссо-Бонвиля. Так же покровительственно улыбаясь, он повторил свой вопрос:

— Оглох, что ли, от пара? Сколько сбрасываешь?

— Два кило,— сказал я.

— Счастливчик. А мне — троицу. Ты уйдешь, а мне еще час париться. Градусов семьдесят по Цельсию.

— Что значит «по Цельсию»? — лукаво спросил я.

— То и значит. Говорим так. Только дураки спрашивают почему. Случайно не уронили в родильном?

Я вспомнил нашу лихую скачку по горной дороге и вздохнул с опаской: «Ну и ну, послал бог соперничка!»

— Ты не обижайся, я так. Каким номером записан? — спросил он.

— Седьмым.

— Вместо Реньяра. Вчера его кто-то так напоил — сегодня подняться не мог.

Значит, Реньяра убрали, чтобы просунуть меня. Оперативно действует Сопротивление, ничего не скажешь.

— Из какого патруля? — опять спросил он.

— Что — из какого патруля? — не понял я.

— Ты из какого патруля? — рявкнул он.— Мозги выпарило?

Мозги мне не выпарило, но я сознательно тянул, не зная, какой мне придерживаться тактики. Притвориться, что я полицейский? Могут разоблачить. Открыть карты сопернику? А что последует?

— Я не из полиции,— наконец рискнул я.

— Шпак,— сказал он, сплевывая соленый пот.

Он сказал, в общем, что-то другое, но иначе по-русски я перевести не мог. Шпак, штафирка. Он выражал этим полное пренебрежение галунщика к простому смертному, не обшитому золотой тесьмой.

— Значит, пять «быков» и три шпака,— подсчитал он на пальцах,— шесть первоклассных скакунов и два одра.

Я не понял его арифметики.

— «Быков» пять, а скакунов шесть?

— Из нас троих опасен только Фиц-Морис, сын банкира. У красавчика Кюрье лошадка старовата — не вытянет. Ну а тебе, наверно, одра дадут.

— Почему? — Я решил сопротивляться даже здесь, в бане.

— Кто тебя опекает, Шорти или Хони?

Хони — это Бирнс, вспомнил я. Но рещил сыграть.

— Не знаю.

— Шорти, наверно. Ему всегда новичков подбрасывают. Подберет тебе вислозадую или коротконожку с большими бабками. Шея колесом, а дышит надсадно. Наглотаешься грязи, когда обгонять будут. Я лично полный шлепок обещаю, если вырвешься.

Я опять не понял.

— Какой шлепок?

— Полный, слыхал уже. Моя кобылка задние ноги выбрасывает, дай бог. Умоешься на обгоне.

Я догадался наконец, что он говорит о лошади, которая, обгоняя, забрызгает меня грязью. Что ж, переживем. Еще неизвестно, кто будет грязь жрать.

— Камзол лиловый, бриджи белые? — снова спросил он.

— Не знаю.

— Наверняка. Реньяра цвета. Если б тебе вместе с камзолом его коня дали, ты бы не три, а десять кило с радости сбросил. Только он коня даже отцу родному не даст. Не конь — птица. Ну а теперь моя кобылка вперед выходит. Поглядишь на нее — скакать не захочешь, какого бы одра ни дали.

Я молчал. Голый галунщик был не менее противен, чем одетый.

— Ну, скачи, скачи, только носа не задирай,— покровительственно прибавил он,— а то после скачек напомню. Шнелль дерзких не любит.

Мой массажист в это время уже набросил мне простыню на плечи. Нужно было идти на весы. Там уже дожидался Хони Бирнс в нейлоновой маечке, сухонький, крепенький, не человек — гномик.

— Два с половиной,— сказал он, взглянув на весовую шкалу.— Сбросили. Вина не пил?

Я удивился:

— Почему?

— Некоторые в бане не могут без шампанского со льдом. Быстрее потеешь, больше сгоняешь. А лошадь заметит обязательно. Запах почувствует и рассердится. Лошадь, как циркачка,— нервы на пределе. И никаких новых запахов: хмельное учует — сбросит. Ну-ну,— он легонько подтолкнул меня в спину,— можешь одеваться, жокей.

Это означало, что лишний вес сброшен и я могу влезть в реньяровский лиловый камзол и белые бриджи. Хони Бирнс был доволен: он смотрел на меня снизу вверх, едва доставая мне до плеча, и дружески улыбался. И мне вспомнилась наша встреча рано утром, когда я, которого он знал как фотокорреспондента «Экспресса», снимавшего его для журнальной обложки, вдруг выпалил пароль Фляша. Он долго и угрюмо молчал, оглядывая меня со всех сторон, потом сказал, сплевывая табачную жвачку.

— Другой дылды они не могли выбрать?

Впервые за всю мою жизнь мне было стыдно своих ста семидесяти восьми сантиметров. Я виновато пожал плечами: приседай не приседай — не поможет. Хони еще раз оглядел меня, пощупал мускулы ног, послал меня на внутреннюю скаковую дорожку, параллельную главной,

и скрылся в конюшнях. Через пять-шесть минут он медленно вышел, держа на поводу гнедого высокого жеребца с длинными ногами, даже ключеватого чуть-чуть, хоть ребра считай. Конь ничем не выражал своего волнения, только ноздри вздрагивали. Увидев мое вытянувшееся лицо, Хони тихонько усмехнулся:

— Не нравится?

— Не очень.

— Красоты нет? — Насмешка в голосе Хони звучала сильнее. Сейчас она перейдет в презрение.

Но кое-что в лошадях я смыслил: как-никак два года не вылезал из манежа. Приглядевшись к предъявленной лошади, я подметил и прямую шею, и выпуклые, длинные мускулы ног.

— Виноват,— сказал я,— ошибся.

— То-то,— усмехнулся Хони.— Попробуй. Ну, Макдуфф,— прибавил он, обращаясь к лошади, как к человеку,— покажи этому дылде, на что мы способны.

Я прошел галопом дорожку и вернулся. Макдуфф — кто-то из его хозяев, должно быть, помнил историю о Макбете и о его грозном сопернике — не шел, а летел, как летит ястреб над полем, догоняя зайчишку.

— Чудо! — выдохнул я, спешившись.

— Я еще не пробовал Макдуффа на приз,— сказал Хони.— Рискую. И день не тот, и жокей не тот. Но лошадь и сегодня покажет себя. Такие «быкам» только снятся.

Экзамен я выдержал. Хони Бирнс не сделал ни одного замечания, только послал меня на весы и в парилку. А сейчас, когда подготовка была закончена, я, отдохнув в жокейской на носилках, на которых приносили получивших травмы наездников, облачился в широковатые для меня бриджи, заправил в них пузырившийся на животе темно-лиловый камзол с белой семеркой на спине. Начиналось самое ответственное и страшное. Хони молча держал под уздцы раздувавшего ноздри Макдуффа, уже оседланного и готового к скачке. Я тоже молча вскочил в седло, нащупал правой ногой начищенное до блеска стремя и взял поводья. Мимо меня к пусковой линейке уже проследовали один за другим мои соперники. Я не успел разглядеть их: в пестрых картузах-жокейках под цвет камзолов и бриджей с длиннющими козырьками, они

казались двойниками, сотворенными мне на погибель. Шнелль тоже обогнал меня на своей караковой длинноногой кобыле и весело помахал мне рукой, даже не взглянув на Макдуффа. А тот вздрогнул и повел ушами. «Не нравится, что обгоняют,— подумал я.— Что ж, хороший признак».

Я поехал к линейке последним под напутствие Хони:

— Доверься коню, не мудри — не подведет.

Гнедой был лишь у меня — у соперников моих были вороные и серые; только у Шнелля была чуть темнее моей — почти гнедая с подпалинами в пахах и на морде. Вспомнилась где-то прочитанная арабская сказочка. Отец и сын скачут в пустыне, уходя от погони. Слышен далекий топот. «Какая масть?» — спрашивает отец, не оглядываясь. «Серая»,— отвечает сын. «Не догнать»,— смеется отец. Снова топот и новый вопрос отца: «А теперь?» — «Вороные, отец мой».— «Тоже не догонят». И опять топот погони. Отец оглядывается и говорит: «Дай шпоры коню, сын. Подходят гнедые».

Мы выстроились по линейке восьмеркой, все одинаковые, различимые издали только по номерам и цвету. У Шнелля на желтом камзоле чернела двойка. Фиц-Морис, весь в белом, шел под номером первым на вороном жеребце по кличке Блэки. Караковую кобылу Шнелля звали Искрой.

— Только они две и опасны,— предупредил Бирнс,— остальные не конкуренты.

Но мне все еще было страшно. Даже зубы постукивали — не мог сдержать. А сдержать надо было: Макдуфф почувствовал, вздрогнул — лошади превосходные телепаты. «Спокойней, спокойней»,— уговаривал я себя и все время следил за конем: как ответит он на мою тревогу?

Зазвонил колокол — старт. Макдуфф рванулся и пошел в галоп, почти зажатый шестеркой и тройкой. От них я тут же освободился, угостив грязью жокеев,— Макдуфф тоже умел обгонять, насмехаясь. В последний раз мелькнули трибуны — кусок белого ситца с пестрыми крапинками — и исчезли. Потянулись справа серая лента забора и зеленое поле слева; оно пестрело белыми мужскими костюмами и яркими женскими платьями, как и оставшиеся сзади трибуны. Они снова возникнут сбоку,

но уже на последней прямой. До финиша два километра с лишком, а сколько лишка, я не знал: забыл спросить у Бирнса. Но думалось не об этом — в голову лезло всякое. Хорошо, не стипль-чез — я бы не мог взять препятствие. И сейчас же вспомнилось, что кобылу Вронского звали Фру-Фру. Два «ф» в одном имени. У меня тоже два «ф»: Макдуфф. Как бы чего не вышло... Я тут же обозлился на себя, мысленно выругался, поднял голову от конской шеи — до этого я едва не лежал на ней — и принялся искать глазами ушедших вперед. Их было двое: единица и двойка, как я и думал. Блэки впереди, Искра метра на два сзади. Макдуфф отставал от них на добрый десяток метров. Догонит или не догонит?

Я не пришпоривал лошадь — я доверился ей. Только приник, слился; сладкий стук копыт и свист ветра — и никаких других звуков. «У лошади память как у кошки,— говорил Хони.— Она помнит каждый бугорок на дорожке, каждую ямку. Помнит, где ее обогнали, где обошла она. Это обязан помнить жокей. Но Макдуфф не помнит, и ты не помнишь. Это первая ваша скачка и ваше преимущество перед соперниками. Только ветер в ушах, бегущая навстречу земля и никого впереди. Макдуфф не потерпит обгона».

Но впереди были двое, и расстояние между нами не уменьшалось. Хотя... на подходе ко второму повороту мне показалось, что крутой зад Блэки с коротко подстриженным хвостом и привставший на стременах белый Фиц-Морис стали как будто крупнее, приближаясь с каждой секундой. Только караковая Искра с черно-желтым жокеем уходила вперед. Вот она уже мелькнула на повороте и стала видна в профиль: не лошадь — птица с темно-коричневым оперением, низко-низко летящая над землей.

Теперь Макдуфф и Блэки шли уже голова в голову. Черный конь с крутым задом все еще держал бровку, Макдуфф обходил его справа. Но как обходил! Я был, вероятно, не легче Фиц-Мориса, да и Блэки казался старше и опытнее Макдуффа,— потому это и был гандикап, что участвовали в нем лошади разных возрастов и седоки разных весов,— и никто не подсказывал Макдуффу, где легче и сподручнее вырваться и занять бровку. Но он сделал это именно там, где труднее, на самом повороте

дорожки, где линия обгона справа удлиняется, а держащий бровку легко уходит вперед. Но он не ушел. И Блэки и его седок вдруг рванулись назад, словно их сдуло ветром, а слева навстречу побежало ярко-зеленое поле.

Теперь нас со Шнеллем разделяли не десять, а пять или шесть метров, потом они, вероятно, превратились в четыре или в три — сосчитать на глаз я не мог: просто черно-желтый Шнелль, как и раньше Фиц-Морис, стал как будто крупнее. Он, различив другой ритм скачки настигавшей его лошади и, должно быть, поняв, что это не Блэки, оглянулся и пришпорил свою. Но Макдуфф действительно не переносил зрелища скачущей впереди лошади. Три метра стали двумя, потом голова Макдуффа достала корпус Искры, и Шнелль, яростно оскалив зубы, уже держался со мной рядом, все еще не отдавая дорожки. Но и здесь повторилось то же, что и раньше с Фиц-Морисом. Дождавшись последнего поворота, Макдуфф обошел соперницу справа по удлиненной гиперболе — обошел легко, почти без усилий, только ритм дыхания его, как мне показалось, чуть-чуть участился.

Теперь нас встретил оглушительный рев трибун, уже увидевших победителя. Я не оглядывался, я просто знал, что Шнелль оттягивается назад все дальше и дальше, получив, вероятно, не один шлепок грязи от копыт обогнавшей лошади. «Неизвестно, кто еще грязь жрать будет»,— вспомнилось мне мое сердитое. Теперь это было известно всем.

Истошный звук колокола, взмах флажка судьи на трибуне возвестили о финише. Я с трудом сдержал рвавшегося вперед Макдуффа, но его уже подхватили под уздцы подбежавшие конюхи. Искра подошла к столбу через несколько секунд, когда я уже стоял, отворачиваясь от нацеленных на меня фотокамер моих собратьев по ремеслу. Бирнс что-то говорил мне, но в шуме окружавшей меня толпы я не слышал, да и, признаться, не слушал: я смотрел, не отрываясь, на взмыленного Макдуффа — по сравнению с Искрой он казался менее уставшим и даже улыбнулся мне, обнажив большие белые зубы. «Чудо-лошадь», «Экстра-класс!», «Лошадь-феномен!» — раздавалось рядом, но я-то с начала скачки знал, что это феномен и чудо, и Бирнс еще раньше это знал,

а Фляш попросту был уверен, что иначе и быть не могло.

Первая часть программы была мною выполнена. Оставалась вторая.

Мимо Шнелля, даже не взглянув на него, подошел ко мне полицейский офицер в полной парадной форме: я даже мундира его не видел — только нашивки, аксельбанты, лампасы и пуговицы. Сдержанно поклонившись, он сказал:

— Вас просят в ложу.

Я неуверенно оглядел свой забрызганный грязью костюм.

— Может быть, сначала переодеться?

В ответ он протянул мне платок и расческу:

— Это все, что вам нужно. Пошли.

Глава XVII

АУДИЕНЦИЯ

С кое-как вытертым лицом и приглаженными волосами я появился в центральной ложе. Собственно, это была не ложа, а лоджия — тенистая, с накрытым столом и широченным окном, открывавшим глазу все скаковое поле.

Мой спутник благоразумно остался за дверью, а я вошел и растерялся под обращенными на меня любопытными взглядами. За столом сидело несколько человек — кто в штатском, кто в опереточных галунных мундирах. Судя по обилию золотых нашивок и аксельбантов, высшие полицейские чины. Но хозяин был в кремовом штатском костюме и голубой рубашке без галстука. Я сразу догадался, кто это, по какой-то неуловимой властности, сознанию собственного могущества, которое легко было прочитать и в глазах, и в непринужденной позе хозяина. Я вспомнил описанного Мартином щекастого сержанта в городе оборотней. Нет, описание не подходило. Или это был другой человек, или новая среда и новая роль коренным образом его изменили. Я бы сравнил его с Черчиллем, только что справившим свое сорокалетие. Широкое, пухлое лицо, розовые щеки, сигара в зубах, первые

признаки тучности во всем облике — и властность, властность, властность, наполнявшая даже воздух, которым дышали все в присутствии этого человека.

Пауза была долгой. Я молча стоял, не решаясь ее нарушить. И я слишком устал, чтобы чем-то интересоваться. Бойл или не Бойл, пусть разевает рот первым.

— Чья лошадь? — наконец спросил он, не вынимая сигары изо рта.

— Хони Бирнса,— сказал я.

— Я спрашиваю не о тренере.

Я недоуменно пожал плечами:

— Простите. В таком случае не знаю.

— Выясни,— обратился он к галунщику, сидевшему рядом.— Я бы купил ее.— Потом вынул сигару, бережно, не стряхивая пепла, положил ее на подставку пепельницы и полувопросительно, полуутвердительно произнес: — Жорж Ано. Француз?

— Отец француз, мать из американского сектора.

Он кивнул в знак того, что поверил, только поморщился.

— Акцент остался.

— Я говорю с акцентом на обоих языках,— виновато признался я, продолжая играть.

— Приза не получишь: скачки любительские,— продолжал он, пропустив мою реплику,— но можно наградить и по-другому. Чего бы тебе хотелось — денег? Должность? Я бы мог перевести тебя в большую газету.

Он уже знал все о моей профессии в этом мире. Тем лучше: пойдем, как говорится, ва-банк!

— Я бы хотел поступить в полицию,— решительно произнес я.

Бомба не бомба, но маленькая бомбочка разорвалась за столом. Вероятно, так посмотрели бы на меня, если б я попросил птичьего молока. Только Корсон Бойл не удивился.

— А почему, мальчик, тебе приглянулась полиция? — спросил он с хитрой усмешкой.

На «мальчика» я не обиделся: карта шла в руки.

— Потому что простой патрульный стóит дороже любого служащего.

— А если у служащего текущий счет в банке?

— Мундир патрульного стоит чековой книжки.

Корсон Бойл рассмеялся, но без насмешки, а дружески и поощрительно.

— Значит, мундир патрульного? — повторил он.

— Не совсем,— расхрабрился я.— С аксельбантами.

Аксельбанты носили только продполицейские.

— Ого,— сказал Бойл,— мое ведомство. Чем же оно лучше другого?

— Выше другого.

— Чем?

— Правом распоряжаться жизнью любого прохожего.

— А ты честолюбив, мальчик,— заметил Бойл.— Впрочем, честолюбие для патрульного не порок. Скорее, достоинство.

— Значит, можно рассчитывать на вашу поддержку?

Или я поторопился, или сделал неверный ход, только он ответил не так, как бы мне хотелось.

— К сожалению, даже моя поддержка еще не лицензия на мундир с аксельбантами. В продполицию принимают только сдавших экзамен. А экзамен нелегкий. Даже для победителей гандикапов.

— Я не боюсь.

— Тебя уведомят,— сказал он, уже отвернувшись к окну, в котором промелькнула пестрая группа всадников: начался новый заезд.

Я понял, что моя миссия окончена, неловко повернулся и молча ушел, злой и растерянный. Честно говоря, непредусмотренный экзамен меня пугал. Один неосторожный ответ — и вся затея Сопротивления ставится под угрозу. И не только затея — люди! Хони Бирнс, Маго, Фляш. Да и вообще, мало ли что уготовано мне в этой полицейской клоаке? Вдруг они заставят меня стрелять в человека: может быть, так они проверяют меткость глаза, или крепость нервов, или какую-нибудь палаческую жилку. На лбу у меня выступили капельки пота, хотя на улице было совсем не жарко. Хорошо, что в раздевалке не было Хони Бирнса и я мог ускользнуть незаметно: рассказывать о подробностях своего визита в ложу полицейского мецената мне совсем не хотелось.

По возвращении я никого не нашел в нашей «казарме» и, не задерживаясь, побрел в ателье с тайной надеждой

поймать Фляша, но застал одну Маго. Планы Джемса о «пятерке» и «руководстве», с которыми он пошел с нами «в маки», были кем-то исправлены. С первой встречи в ателье нашей руководительницей стала Маго; лишь Зернова — вероятно, из-за его работы у мэра Города — связали с кем-то другим, спрашивать о котором не полагалось. Потом со мною начал встречаться Фляш, должно быть, в связи с новым моим заданием. Но Маго по-прежнему была нашим общим Виргилием, с готовностью проводившим каждого по кругам здешнего ада. А поскольку передо мной открывался еще один круг, лучшего собеседника, чем Маго, незачем было искать.

— Камзол лиловый, лошадь караковая,— встретила она меня.

— Гнедая,— поправил я.

— Почему же раскис?

Пришлось объяснить почему. О скачках она уже знала. Ее интересовал разговор с Корсоном Бойлом:

— Все, все с самого начала!

Я рассказал с самого начала.

— Все идет по плану.

— А экзамен?

— Детские игрушки. Ты же умнее их в сто раз.

— Смотря что спросят.

— Стрелять умеешь. Хотя... постой, постой: говори, что умеешь стрелять из лука. Только из лука. Ссылайся на глазомер, а «смитывессона» даже в руках не держал.

Она так и сказала — «смитывессона». Я засмеялся.

— А ты знаешь, что такое «смит-вессон»?

— Автомат.

— А почему он так называется?

Она пожала плечами: мало ли почему?

— Потому что изобретателей звали Смит и Вессон.

— До Начала?

— Конечно.

— И ты все помнишь? — спросила она с завистью.— Счастливый. Когда-нибудь и мы все вспомним: Фляш говорил, что память восстанавливается. Иногда подсказка, слово какое-нибудь — и ты вспоминаешь. Какая-то особая память.

— Ассоциативная,— сказал я.

— Вот-вот. Помнишь, ты сказал что-то, а я вдруг вспомнила, как называлась школа, где я училась в детстве. Лангедокская школа. Интересно, почему это — забыто, а вспоминается?

— Ячейки мозга, где записана информация о прошлом, у вас пусты,— постарался я объяснить как можно популярнее.— Информация стерта. Но не совсем, не до конца — какие-то следы все-таки остаются. Тут и приходит на помощь ассоциативная память: она проявляет эти следы.

Мы замолчали оба, думая о своем.

— Знаешь, что бы я сделала на твоем месте? — вдруг спросила она.— Дали бы мне автомат — тебе же дадут,— ну, повернулась бы и вместо цели — по экзаменаторам! Одной очередью.

— Спички, девочка, не тронь. Жжется, девочка, огонь,— перефразировал я Маршака по-французски.— В детстве меня за спички пороли.

— Автомат не спички.

— И тебя не выпорют, а повесят. И это еще не самое худшее.

— А что самое худшее?

— То, что одновременно с тобой повесят и меня, и Фляша, и всех твоих знакомых и соседей по дому, включая консьержку, за то, что не донесла о тебе вовремя.

— Консьержку не жалко.

— А других?

— Один из Запомнивших рассказывал, что в настоящем Сопротивлении, в том, что было до Начала,— сказала она, глядя сквозь меня,— врагов убивали, не считаясь с репрессиями.

Я подумал, что, если тут же не поправлю ее, потом уже будет поздно.

— Во-первых, считались. В подготовке любого покушения всегда учитывались и его целесообразность, и безопасность его участников, и число возможных жертв, и размах ответных репрессий. Во-вторых, нельзя механически сопоставлять события, обусловленные различными историческими ситуациями. То, что годилось вчера, непригодно сегодня, и наоборот.

— Мы все больны собачьей старостью,— вырвалось

у Маго с таким несдержанным гневом, что дальнейший разговор уже не мог состояться.

Я поспешил уйти.

Кем могла быть Маго на Земле? Такой же приемщицей заказов в таком же заурядном фотографическом ателье? Едва ли. Девушки из парижского бытового обслуживания, как правило, стихов не пишут. Студенткой Сорбонны? Судя по ее семантическим интересам, возможно. Но откуда в ней такой ожесточенный, яростный фанатизм? Может быть, это гостья из сороковых годов, воссозданная по воспоминаниям какого-нибудь сопротивленца? А может быть, просто новая Раймонда Дьен? И где подсмотрели ее «облака»? В Сен-Дизье или в Париже, в ячейках памяти подвернувшегося экс-гестаповца, который эту Раймонду замучил? А какая судьба уготована ей здесь, в этом мире, только биологически повторяющем наш, но уже живущем по своему хотению и разумению. Нет, что-то мы с Фляшем в Маго недопоняли.

Размышления мои прервал Джемс, поджидавший меня под кронами Тюильрийского парка, вернее, его уменьшенной и урезанной копии.

— Сядь,— сказал он, оглядываясь. Никого поблизости не было.— Есть разговор.

Оказывается, он тоже знал о скачках.

— Зачем тебе эти скаковые рекорды? Дешевой известности захотелось? Колонки в «Суар» или фото на обложке «Экспресса»? Наш сотрудник — победитель в любительском гандикапе! Звезда «Олимпии» Тереза Клеман увенчивает его золотым галуном, содранным со штанов очередного любовника! А может быть, этот спектакль только повредит нашему делу?

Я понял, что он ничего не знал о задании Фляша. Не знал и о моем разговоре с Корсоном Бойлом. Значит, следовало выкручиваться и молчать: на орбите, вычерченной для меня Зерновым и Фляшем, спутников у меня не было.

— Хороша больно лошадь,— виновато признался я.— Видел ее как-то на съемке. Соблазнился. Не лошадь — вихрь!

— «Вихрь»! — передразнил Джемс.— Ты брось эти фокусы. Мне от тебя нужно другое.

Я полюбопытствовал:

— А что именно?

Он молча раскрыл свернутый трубочкой очередной номер «Экспресса». Какие-то страницы его слиплись. Джемс, воровски оглянувшись, осторожно разъединил их, и я увидел заложенный внутрь газетный листок небольшого формата на тоненькой, почти прозрачной бумаге, на которой обычно печатаются увесистые однотомники и карманные словари. Название листка «Либертэ», колонка курсива под заголовком «Доколе!» и шапка на оставшиеся четыре колонки: «Трупы на колючей проволоке», а под ней шрифтом поменьше: «Массовые расстрелы в Майнсити» — без ненужных пояснений рассказали мне все о газете. У Сопротивления родился печатный орган, и Джемс, подхвативший эстафету отца на поприще журналистики, был одним из редакторов.

— Мне нужны сотрудники,— сказал он.— Я рассчитываю на тебя и на Мартина.

— Мартина не подпускай к агитации: у него опыт бульварной газеты. Держи на хронике,— посоветовал я.

— С Мартином у меня свой разговор. Я к тебе обращаюсь.

— Я не принадлежу себе, Джемс. Как и ты. У меня свое задание.

— Мне важно твое согласие. Кстати, и редакция, и типография у вас под ногами.

— Где?!

— В подвалах «Омона».

Мне показалось, что молния ударила в соседний каштан.

— Этьен знает?

— Конечно. Он же и предоставил помещение.

Я подумал о том, что безоговорочное доверие Джемса к Этьену могло приоткрыть наше инкогнито. А может быть, оно уже раскрыто?

— Я давно хотел спросить тебя: что знает о нас Этьен?

Джемс насторожился:

— А почему тебя это интересует?

— Потому что по условиям связи он ничего знать не должен.

— Он знает только то, что вы «дикие», вернувшиеся к городской жизни.

— Не больше?

— Ты с ума сошел! — вспылил Джемс.— Ты знаешь, кто такой Этьен?

— Не знаю.

— Так я тебе говорю, что он фигура. Любишь сравнивать с шахматами, как Борис? Так он ладья или слон, а не пешка. Он имеет право знать многое из того, что известно нам.

— По условиям конспирации твоя информация для меня недостаточна.

Джемс отчужденно отодвинулся. Простились мы сухо. Он еле дотронулся до моей руки холодными пальцами, процедив сквозь зубы:

— Я не столь педантичен, но спорить не буду.

Я старался скорее уйти: сказанное об Этьене отодвигало все заботы.

Вечером я наконец поймал Зернова.

— Ты все знаешь о «Либертэ», Борис?

— Читал первый номер. Кое-что хорошо, кое-что наивно.

— Я не о том. Ты знаешь, где они печатаются? В подвалах «Омона».

Зернов тихо свистнул:

— С ведома Этьена?

— Конечно. Он все знает.

— Плохо.

— Может, мы несправедливы к нему, Борис? Может быть, это цитата из другого романа? С другой метафорой. Может быть, прожив здесь девять лет...

— Стал другим?

— А вдруг?

— Гадаешь?

— Зачем? Просто высказываю предположение.

Зернов прищурился с откровенной злобой.

— А надо знать точно. Даже малейшего просчета здесь нельзя допустить. Этот Этьен биологическое повторение того. Больше мы ничего не знаем.

— Какой же вывод?

— Создать законсервированную резервную типогра

фию. И с одним непременным условием: Этьен знать не должен.

Я долго молчал, прежде чем ответить.

— Нет, не рискну,— наконец сказал я.— Фляш потребует объяснений. А какие у меня основания? Предположение. Предчувствие. Дурной сон. Нет, не рискну.

— Хорошо, предоставь это мне.

О предстоящем экзамене, обещанном мне Корсоном Бойлом, мы так и не поговорили.

Глава XVIII

ЭКЗАМЕН

Город просыпался уже в три утра, в четыре открывались лавочки помельче, в пять — двери больших магазинов и ворота заводов, а в шесть собиралась в своих канцеляриях вся конторская братия. Дежурный портье поднял меня в четыре утра, когда Мартин еще не вернулся с ночной смены, а Зернов с Толькой мирно посапывали в своих постелях.

— Звонили из фуд-полиции,— почтительно склонился портье; слово «фуд» — «пища» — он произнес при этом с подчеркнутым уважением и даже настороженностью: видимо, в отель «Омон» из продовольственной полиции обращались не часто.— Предупредили, что в пять за вами пришлют экипаж.

В пять я уже, потягиваясь и зевая, прошел мимо снова склонившегося портье и вышел на улицу. Экипаж подъехал почти одновременно — открытый кузов легковой автомашины, запряженный парой рослых и упитанных лошадей с расчесанными гривами. Вместо обрезанного радиатора торчал самодельный облучок-модерн из полых алюминиевых трубок с губчатой подушкой, на которой восседал очередной «бык» в сером мундире с выцветшим желтым шитьем. В лучшие времена оно было золотым, но и здесь мундиры изнашивались скорее, чем люди. Более импозантный галунщик — очевидно, мой телохранитель или конвойный — сидел в машине. Увидев меня, вышедшего к обочине тротуара, он открыл дверцу:

— Мосье Ано?

Я кивнул.

— Прошу.

Он подвинулся, пропустив меня, и за весь получасовой путь по городу не произнес ни слова, явно отягощенный неприятной необходимостью быть внимательным и любезным с каким-то штатским парнем, явно не солидным ни по возрасту, ни по внешности, да еще проживавшим в каком-то второсортном, старомодном отеле. Меня его молчание вполне устраивало, позволяя без глупых вопросов и ответов в одиночку наслаждаться утренней прогулкой по городу. Лошади постукивали по каменной брусчатке, бич кучера-галунщика привычно посвистывал, а Город, удивительный и все еще до конца не понятый, изменяясь на каждом углу, знакомо бежал навстречу. Я сказал — «знакомо», и тем не менее они все еще ошеломляли, эти углы, стыки и переходы, когда тихая провинциальная французская улочка с полуподвальными лавчонками-погребками и распухшими от сидячей жизни консьержками в подъездах вдруг устремлялась к небу бетонно-стеклянным вакуумом небоскребов с матовыми от пыли окнами всех этажей до крыш и огромными, в два человеческих роста, витринами, сверкающими черт знает чем, лишь бы ярким и многоцветным. Разинув рот, вы так и не закрывали его, потому что небоскребная высь тотчас же сменялась одноэтажной Америкой без тротуаров, но с неизменной драг-содой и механическими бильярдами, а та, в свою очередь, сворачивала на древнюю парижскую набережную с лотками цветочниц и фруктовщиков. Фрукты, как и все пищевое, доставлялись по ночам полицейскими, а цветы выращивались в оранжереях и палисадниках подальше от причудливых уличных стыков, где-то возле домов-трамваев и домов-автобусов или в специализированных садоводствах на отвоеванной у леса земле. Мы проезжали мимо прохожих, куда-то спешивших, как спешат по утрам все прохожие мира, обгоняли такие же смешные автоэкипажи, как наш, и не смешные, но просто не современные ландо и фиакры, и уродливые коляски велорикш, и совсем уже не страшные, а привычные машины велосипедистов, обросшие прикрепленными на рамах и багажниках корзинами и рюкзаками. А нас обго-

няли пыхтящие и дымящие дровяные и угольные автомобили-уродцы, по какой-то улице гремела конка с летним, открытым вагончиком и длинной подножкой, по которой взад и вперед сновал продающий билеты кондуктор, и почти на каждом бульваре по земляной, изрытой конскими подковами широкой дорожке ехали верховые галопом и шагом, чаще патрульные и реже штатские, в цветных камзолах и бриджах, как на любительском гандикапе. Странный, чудный и необычайный город, нелепо сшитый и еще нелепее перешитый и дошитый, взращенный искусственно, но все-таки живой и человечный, биологически повторяющий людское обиталище на Земле,— Город, в котором многое хотелось бы изменить и поправить, но только создатели его не знали как.

Управление фуд-полис, или по-русски — продполиции, помещалось в первых двух этажах двадцатиэтажного здания, вытянувшегося по всему кварталу, дощечка на углу которого извещала, что это четырнадцатый блок американского сектора. То был действительно блок, гигантский металло-стеклянный куб, живой только в первых двух этажах и мертвый в остальных восемнадцати, где лежала многолетняя пыль и жили привидения, если их догадались синтезировать наши «всадники ниоткуда». Мимо неподвижных постовых меня провели во второй этаж, в большую светлую комнату, нечто вроде спортивного зала с тиром и гимнастическими приборами, с плоскими матами на полу и скамьями по стенам. За единственным столом с голой пластмассовой крышкой сидели трое, судя по нашивкам — высшие полицейские чины. Мой спутник, стараясь ступать как можно бесшумнее, подвел меня к столу и так же бесшумно исчез, оставив меня наедине с ареопагом экзаменаторов. Только стул, за спинку которого я невольно схватился, отделял меня от моей судьбы в лице трех безликих судей. Я говорю — безликих, потому что все они были на одно лицо: одинаково сухи, морщинисты и выбриты до припудренной синевы на запавших щеках. Именно те стражи, коим и надлежит встречать грешников у врат Дантова ада.

— Мосье Ано? — спросил меня по-французски страж в центре.— Будем говорить на вашем родном языке?

— Предпочитаю английский, мосье.

— Садитесь.

Я сел.

Он нажал кнопку, одну из нескольких, еле заметных на крышке стола, и в дверях возник мой конвоир.

— Пригласите тренинг-экспертов,— сказал старший экзаменатор (я мысленно назвал его старшим, судя по занимаемому им центральному месту).

Конвоир исчез и впустил троих парней, голых по пояс, в серых тренировочных брюках. В наиболее крупном и мускулистом я узнал Шнелля. Он тоже меня узнал, но только глаза его усмехнулись — лицо оставалось каменным.

— Вы занимались гимнастикой? — спросил меня старший экзаменатор и, не дожидаясь ответа, добавил: — Попробуйте турник и «коня».

Я несколько раз подтянулся на турнике и сделал пять-шесть махов на «коне». Маxи получились менее неуклюжими, чем эксперимент на перекладине.

— Три,— сказал Шнелль.

— Четыре,— в один голос откликнулись его спутники.

Судьи пошептались и что-то занесли в свои рапортички.

— Наденьте ему перчатки, Оливье,— сказал экспериментатор слева.

— Разрешите мне,— шагнул вперед Шнелль.

— Вы тяжелее его, Шнелль,— возразил экзаменатор.— Оливье подойдет лучше.

Оливье — голубоглазый блондин моих лет — ловко надел мне боксерские перчатки (интересно, «облака» их смоделировали или проявил самодеятельность какой-нибудь легковес или тяжеловес с незаблокированной профессиональной памятью?) и подлез под канат на белых столбах.

— Боксировал когда-нибудь? — спросил Оливье.

Я отрицательно покачал головой.

— Что-нибудь знаешь? Удар? Стойку?

— Ничего.

— Он никогда не боксировал, капитан,— неуверенно проговорил Оливье, обращаясь к экзаменатору слева.

— Проверим его реакцию,— сказал тот.

Оливье отступил на шаг и шепнул мне:

— Нападай.

Вместо нападения я сымпровизировал что-то вроде боксерской стойки. Оливье легонько шлепнул меня в грудь. Я отшатнулся и, как мне показалось, ударил его в лицо. Но это только мне показалось. Правая моя рука встретила воздух, а кулак противника в черной тугой перчатке сбил меня с ног.

— Один... два... три...— по привычке начал Оливье, но я тут же вскочил.

И снова упал, сбитый таким же точным и сильным ударом. На этот раз я решил не вставать: ну их к черту!

Но считать никто не стал.

— Снимите с него перчатки, Оливье. Одно очко.

— Не больше, капитан.

— Попробуем просто «файт»,— сказал левый экзаменатор.— От «спортинг-файт»,— пояснил он мне,— это отличается тем, что в бою нет никаких правил. Защищайтесь и нападайте, как вам будет угодно: ногами, руками, подножкой, головой...

Я внутренне усмехнулся. Боксировать я не умел, но знал самбо. Рискну. Оглядев моих тренинг-экспертов, я прочел злорадное торжество в глазах Шнелля: он все еще не простил мне поражения на скачках.

— Если попробовать, так с сильнейшим,— сказал я экзаменаторам.— Как противник патрульный Шнелль меня вполне устраивает.

— Ваше право,— согласился экзаменатор.

Шнелль уже с нескрываемым злорадством — он даже торжествующей улыбки не спрятал — вышел не на ринг, а на большой квадратный мат рядом и стал в позе партерного акробата, приготовившегося к прыжку партнера.

— Не подходи к нему слишком близко,— шепнул мне Оливье,— он ударит ногой в пах.

Я знал эти штучки. Шаг. Еще шаг. Шнелль напоминал сжатую стальную пружину. Еще шаг — и ударит. Но я не шагнул, а прыгнул. Вверх и чуть вправо, так что взлетевшая правая нога Шнелля ударила, как и моя рука в схватке с Оливье, только воздух. В ту же секунду я перебросил Шнелля через голову. Он грузно громыхнулся на пол, так грузно, что даже толстый мат не смягчил удара.

— Браво! — крикнул Оливье.— Шесть.

— Пять,— поправил его сосед, до сих пор не принимавший участия в упражнениях.

— Пять? — переспросил, подымаясь, Шнелль.— А хотите нуль?

Он, все еще не понимая, считая свою неудачу случайностью, попробовал сбить меня подножкой. Я ушел. Он повторил прием, открыв руку. Я, ухватив ее, снова перекинул его через голову. Зрительно — это король-прием, эффектнейший из эффектных. Хруст едва не сломанной руки, отчаянный крик боли и грузный шлепок несобранного тела о мат слились в один звук — колокол моей победы.

— Шесть,— повторил Оливье.

Экзаменаторы, не возражая, черкнули что-то в своих рапортичках.

— Стрелять умеешь? — спросил старший.

— Из лука.

— Из автомата не пробовал?

— Нет, конечно: ведь даже в тирах только луки и стрелы.

— Дайте ему оружие, Рой, и покажите, как надо работать.

Третий из трепинг-экспертов, оценивший мою схватку с Шнеллем пятеркой, взял автомат и подвел меня к стойке тира. В двадцати шагах на длинной-предлинной скамье стоял ряд пустых винных бутылок, чуть дальше — такой же ряд жестяных консервных банок, а шагах в пятидесяти — снова бутылки, только реже и выше. На стене над ними ленточкой чьи-то портреты, чуть крупнее газетных.

Рой, не торопясь, объяснил мне устройство автомата, как целиться, спускать предохранитель и нажимать на спусковой крючок.

— Попробуй первый ряд.

Я снял его длинной очередью.

Рой внимательно посмотрел, как я держу автомат, заглянул мне в глаза и молча кивнул на консервные банки.

Я снес и их.

— Вы солгали, Ано,— проговорил старший экзамена-

тор,— так стрелять может только знакомый с огнестрельным оружием.

— А я и знаком. Но вы спрашивали меня об автомате, а я стрелял из охотничьего ружья.

— Когда?

— Когда был «диким».

Ни малейшего удивления не отразилось на лицах моих судей. «Знают»,— подумал я. Значит, и это прошло без промаха.

— А вам известно, что вы признаетесь в государственном преступлении?

— Какое же это преступление, если утро после Начала застало меня в лесу с охотничьей двустволкой в руках?

— Где же она?

— Я потерял ее на переправе. Нас преследовали колонны муравьев. Неоценимая потеря.

— Чепуха,— засмеялся экзаменатор справа, до сих пор не выражавший своего отношения к моим ответам.— Патроны к дробовику скоро бы кончились. Где бы вы их достали? Охоту запретили уже в первые месяцы Начала.

— Вы сказали «нас»...— снова начал старший экзаменатор, не забывший моей реплики.

— Да, я был не один. В лесу я нашел друзей, таких же скитальцев поневоле. Все они сейчас в Городе. Нам помог месье Этьен, директор отеля.

По глазам экзаменаторов я уже видел, что все это им известно. Может быть, экзамен превратился в допрос?

Но этого не случилось. Никто не поинтересовался даже тем, почему мы вернулись в Город лишь спустя девять лет.

— Попробуйте последний ряд,— опять вмешался экзаменатор справа: видимо, его интересовало только то, что было связано со стрельбой и оружием.

Я струйкой пуль снял и третью бутылочную заставу. Ни одна из бутылок не осталась на месте. Рев автомата, звон стекла — и все.

— Шесть очков,— сказал Рой.

— Погодите,— послышался голос в дверях.

Экзаменаторы, как по команде, вскочили. Я обернулся: Корсон Бойл! И снова в штатском — не то директор департамента, не то преуспевающий клубмен.

— Садитесь,— махнул он рукой и подошел ко мне.— Видишь портреты на стенке? Это мэр и его олдермены. По-моему, им совсем не следует любоваться нашими тренировками. Закрой-ка им глазки, сынок.

Я, тщательно прицелившись, нажал на спусковой крючок. Очередь полоснула по стенке.

— Недурно,— сказал Бойл, прищурившись.

Он взял у меня автомат и сделал то же самое.

— Сколько вы мне поставите? — спросил он, возвращая автомат Рою.

— Двенадцать,— нагнул голову Рой.— Шесть за точность и столько же за артистизм.

— Столько же и ему,— сказал Бойл, указав на меня вытянувшимся экзаменаторам.— Подсчитайте.

— Тридцать,— подсчитал старший.— На шесть выше нормы.

— Отлично. Проверим сообразительность.

Он сел за стол — одноцветная сова среди пестрых попугаев. Рядом с ней они еще более усохли и постарели.

— Почему тебя потянуло в полицию?

— Я уже говорил.

— Предположим, что я забыл.

— Власть и сила. Почему я выбрал сильнейшего для участия в схватке? Потому что был качественно сильнее его. Почему вам, количественно более слабым, подчиняется количественно более сильное население Города? Потому что вы сильнее качественно.

Я был уверен, что мой ответ понравится Бойлу, и не ошибся. Он понимающе улыбнулся.

— А чем же обеспечивается эта качественность — оружием? — спросил он.

Провокационный вопрос. Так бы ответил любой на моем месте. Любой некачественный. А я должен был защищать позицию качественности.

— Не только,— ответил я, подумав.— Конечно, сила оружия — решающий фактор в подавлении большинства меньшинством. Но оружие можно отнять или изготовить. На оружие можно ответить оружием. А почему вам подчиняются не только кучера и консьержки, но и директора «Сириуса»? Не выписывают же они свои чеки под дулом наведенных на них автоматов.

Бойл засмеялся.

— Верное наблюдение. А вывод?

— Денег у них не меньше, чем у вас. Но деньги не фишки, у них должно быть какое-то мерило стоимости.

— Что ты имеешь в виду? — прищурился Бойл, на этот раз, как мне показалось, не дружелюбно, а настороженно.

Я вывел свою судьбу на опасный стрежень, но сворачивать не собирался. Возможно, отсюда и не возвращаются. Но я почему-то был уверен, что Бойл в конце концов оценит мою откровенность. С другими бы я подумал, но с Корсоном Бойлом...

— Завод или заводы по изготовлению пищи. Пищевой комбинат вроде химического,— решительно произнес я.— Это бóльшая сила, чем оружие, и бóльшая ценность, чем деньги.

Последовал вопрос, как выстрел:

— А что ты знаешь о заводе?

— Ничего.

— Но ты же знаешь, что это завод?

— Предполагаю. А предположение — не знание.

— Ты с кем-нибудь делился таким предположением?

Спрашивал только Бойл. Тренинг-эксперты давно ушли. Экзаменаторы молчали с серыми, как мундиры, лицами. Вероятно, таких экзаменов еще не было.

— С кем у нас можно делиться? — изобразил я пренебрежение и равнодушие.— С людьми без памяти?

— У тебя есть друзья.

— Они умствований не любят. Обеспечь себя — предполагай что угодно. Вот их кредо.

— А секретарь Томпсона?

— Мы с ним почти не встречаемся. Он очень занят.

— Пишут историю,— скривился Бойл.— А кому нужна эта история? Как трамвай превратился в конку, а в квартире погасли лампочки? Мы восстановили телефон для себя, а Городу он не нужен. Мы замораживаем изобретения только потому, что считаем прогресс преждевременным. Статус-кво — вот что нам нужно. Объяснить?

— Не надо. Но я не уясняю угрозы прогресса.

— Память возвращается, мальчик. Когда-нибудь мы все вспомним, что было и как было. Судный день, как

говорят церковники...— Он посмотрел на меня, как прицелился, и помолчал, словно взвешивая все, что хотел прибавить.— То, что в наших руках пища,— известно. И то, что не любят нас в Городе,— тоже известно. Так почему бы нам не завоевать любовь, когда все так просто? Снизить цены. Пустить продукты по дешевке. Всем, всем, всем. Уменьшатся прибыли? Не так уж страшно...

— Страшно другое,— перебил я.— Поднимется жизненный уровень, повысится платежеспособность. Будут больше покупать, больше продавать и больше производить. Расширится рынок труда. А за счет чего? И еще: судя по товарным этикеткам, завод работал и до Начала. А помнит ли кто-нибудь его мощность? Есть ли уверенность в том, что эта мощность неограниченна и сможет удовлетворить любой спрос? А если нет такой уверенности, значит, вы заинтересованы в стабильности положения, в сохранении нынешнего уровня платежеспособности, в понижении, а не в повышении спроса.

— Соображает,— похвалил Бойл.

— Даже слишком,— поморщился старший экзаменатор: ему явно не нравился такой оборот разговора, и мне он, по-видимому, не верил. Он долго буравил меня своими колючими глазками-шильцами и наконец спросил: — А не коммунист, случайно?

— А что это? — ответил я вопросом на вопрос как мог равнодушнее.

— Не притворяйся. Кто называет себя так в Сопротивлении?

— Это допрос или экзамен?

— Не горячись. За излишнюю горячность мы снижаем очки,— сказал Бойл.— Мы и без тебя знаем, кто называет себя коммунистом, а почему — они и сами не помнят. Мы знаем и о тебе все, что можно знать. Ты не сопротивленец и не бунтарь. Тебе хочется хорошо жить и многим владеть. Но тебе придется столкнуться с сопротивленцами. Вот мы и проверяем твои реакции.

— Я не считаю Сопротивление серьезной угрозой,— стараясь выглядеть как можно более размышляющим, произнес я.— Конечно, можно достать оружие...

— Уже достают,— сказал Бойл.

— Можно отбить грузовик с продуктами.

— Уже отбивают,— сказал Бойл.

— Но пока мерило стоимости в наших руках, любая акция Сопротивления бессмысленна.

Бойл засмеялся дружелюбно и поощрительно.

— Куда его? — спросил он экзаменаторов.

Старший сказал:

— Парень дошлый, умеет думать. Может быть, в Би-центр?

Я счел нужным сыграть непонимание, хотя отлично знал, о чем речь.

— Вычислительный,— пояснил Бойл.

— Это там, где очкарики? — поморщился я.— Не по мне.

— Пусть начинает патрульным,— сказал Бойл.— Мне нужны люди, прошедшие все ступени лестницы.

Экзамен окончился.

Глава XIX

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ

Но не окончилось мое пребывание в полицейских чертогах. В почти ресторанной столовой меня накормили отличным завтраком, подогнали в цейхгаузе новенький золотогалунный мундир, одели в желтые канадские сапоги с отворотами и подвели к контрольному зеркалу. Оттуда на меня взглянул двухметровый — зеркало увеличивало,— обшитый золотом хлыщ, такой напыщенный и нахальный, что мне самому стало противно.

— Не морщитесь,— предупредил оператор.— Что-нибудь не в порядке?

— Да нет, ничего,— вздохнул я.

Меня прижали к стене в нелепой позе, разместив руки и ноги в прозрачных пластмассовых зажимах, почти не отражавшихся в зеркале. Но постовая поза эта меня отнюдь не украсила.

— Зачем все это? — спросил я недовольно.

— Зеркальное отражение фиксируется особым аппаратом и передается в Би-центр.

— Для чего?

— Если будете назначены туда на дежурство, пройдете лишь в том случае, когда совпадет отражение. Мы сообщаем только контрольный номер.

— Канитель,— сказал я.

— Зато верняк. Любой пропуск можно подделать, а отражение — нет.

В словах седого оператора звучала гордость.

— Сами придумали? — спросил я.

— Нет. Я пришел к контрольному зеркалу уже в первое утро Начала. Все забыл, а как работать с зеркалом и фиксировать отражение, помнил.

— И как устроено?

— Этого никто не знает. Сзади герметически закрытый цилиндр без единого отверстия или соединения. Не требует ни ремонта, ни смазки. Видите? — Он показал на табло, на котором проступили какие-то цифры.— Это ваш контрольный номер. Если вас назначат в Би-центр, мы сообщим его по телефону. Вот и все.

— А отражение?

— Никто не знает, как оно фиксируется. Я проделываю только подготовительную работу, все остальное закрыто. Отражение каким-то образом оказывается в Би-центре и сверяется, если понадобится, тамошней контрольной системой.

— Ни одной ошибки за девять лет?

— Ни одной.

Я подумал, что «облака», несомненно, запрограммировали оптимальный вариант снабжения этого мира продуктами. Но зачем такая строгость и сложность контроля? Зеркала-фотоскопы, беспроволочная дистанционная передача изображения, последующие контрольные наложения... Для чего? Неужели «облака» не доверяли людям и сами запрограммировали полицейскую надстройку? Муравьи-солдаты для безопасности муравейника. Безопасность от кого? Тут я совсем запутался, да и нечто новое оборвало размышления.

Я получил назначение в патруль Шнелля.

Почему? Случайно или не случайно? И кто позаботился об этом? Корсон Бойл или сам Шнелль? И с какой целью?

Рискнул спросить об этом у капитана-экзаменатора.

— А вам не все равно? — поморщился тот.

— К сожалению, нет.

— Почему?

— Я два раза обошел Шнелля. В первый — на ипподроме, на скачках, вторично — здесь, на ковре.

— Это не имеет значения. Да и подчиняетесь вы ему только во время рейса. Если будут недоразумения, подайте рапорт. Все.

Капитан снова обращался ко мне на «вы», как и в первые минуты экзамена, и был почему-то подчеркнуто сух и официален. Я понял, что дальнейший разговор бесполезен. С подчинением Шнеллю придется временно смириться и не зевать.

А Шнелль и Оливье уже поджидали меня у входа, оба верхом: Шнелль — на своей караковой Искре, Оливье — на рыжей тонконогой кобылке; мне же достался лениво переступающий с ноги на ногу лопоухий вороной жеребец, дохлый на вид, лишь под кожей играли выпуклые стальные мускулы.

— Опять повезло,— завистливо сказал Шнелль,— лошадку получил стóящую. Хоть меняйся.

Лошадь звали смешно — Уголек. Да и глаза у нее вспыхивали, как угли, когда отражался в них свет ручных фонарей, с какими нас встречали дорожные патрули в лесу. Лес начался прямо за городом и протянулся до Эй-центра, как называли здесь по первой букве английской азбуки загадочный пищевой завод, который к тому же был еще и невидим. Но до встречи с заводом-невидимкой мне еще предстояла трехчасовая скачка вдоль шоссе, покрытого не камнем и не асфальтом, а незнакомым стекловидным пластиком; потом обильный обед на последней полицейской заставе и, наконец, экскурсия на площадку в лесу, где, как призраки, возникали ночные фургоны Эй-центра. Поехали мы сюда еще засветло, чтобы я мог все как следует рассмотреть, и Шнелль, собираясь поразить меня, еще на последнем километре, где редела окаймлявшая дорогу чащоба, предупредил:

— Смотри внимательнее.

Сквозь деревья сверкнуло что-то огненно-голубое — не южное небо и не морская даль, а словно синее пламя

спиртовки, внезапно отрубившее лес. Но чем больше я всматривался, чем ярче блистал этот густо замешанный лазурный огонь, тем решительнее уходило удивление. Все это я уже видел когда-то — за Уманаком на ледяном плато Гренландии.

Точно такая же стена голубых огненных языков тянулась на север, к горам, и на юг, к пустыне, одинаково терявшаяся вдали между небом и лесом. Языки, вытянувшиеся в километровый рост, загибались внутрь и почти сливались с такой же лазурью неба. Как и в Гренландии, эти голубые протуберанцы образовывали будто гигантский кристалл со множеством граней, неодинаковых и несимметричных, за которыми сверкал и струился, как в миллионах газосветных трубок, немыслимой красоты ледяной огонь.

Нигде не было видно ни одного постового, и я знал почему. По всей линии голубого свечения действовало знакомое силовое поле.

— Можешь подойти и потрогать,— сказал Шнелль, не слезая с коня.— Не обожжешься.

— Подойди сам, а я посмотрю,— отпарировал я его незатейливый розыгрыш.

Но он настаивал: ему очень хотелось посмотреть, как невыносимая тяжесть пришлепнет меня к земле.

— Да не бойся: огонь холодный.

— Охотно верю.

— Так подойди.

— Зачем?

— Неужели не интересно? Ну, верхом подъезжай.

— Коня мучить?

— Знал или догадался,— не скрывая разочарования, протянул Шнелль, поняв, что розыгрыш не получится.

— Излучения подобного рода не могут не сопровождаться побочными физическими явлениями,— сказал я.— Или магнитное поле, или что-нибудь в этом духе. Фактически глухая стена. Даже охраны не нужно.

— Силен,— сказал Шнелль с завистью.

— А откуда же грузовики выходят?

— Никто не знает. Близко не подойдешь, а издалека не видно. Принимаем здесь, на площадке. Ночь, видимо-

сти никакой, а они, как черные тени, вырастают перед тобой неизвестно как и неизвестно откуда.

Я поискал глазами по верхнему краю голубых граней и наконец нашел то, о чем вспомнил, — темную, тоненькую, еле заметную каемочку, край фиолетового «пятна». Оттуда, скрытое в ночи, оно передвигалось книзу, снимая силовую защиту в пределах свободного от перегрузок воздушного тоннеля, по которому выезжали на площадку грузовики с продуктами. Эти пятидесятитонные машины, как пояснил Шнелль, выезжали одна за другой с десятиминутными промежутками, чтобы не столкнуться на уличных маршрутах, — около пятидесяти груженых автофургонов за ночь. Полицейские тройки встречали их, оставляли лошадей конюхам и сопровождали дистанционно управляемые машины до возвращения их на заставу. Помогать при разгрузке запланированных на каждой стоянке контейнеров, получать деньги по действующим оптовым расценкам и стрелять в каждого появляющегося в поле зрения нежелательного свидетеля — таковы были наши обязанности с минуты посадки в бронированную стальную кабину с пуленепроницаемыми стеклами. «Зачем это? — опять встревожила мысль. — Неужели угроза нападения была заранее предусмотрена?» Оказалось, что я ошибся. Кабины были реконструированы в недоступном людям Эй-центре на другой же день после первого дорожного инцидента, когда беглецы из Майн-сити, остановив автофургон и перестреляв охрану, вывезли более половины продуктов в лес.

Так начался и мой первый рейс. Бриллиантовая россыпь звезд при всей своей летней яркости все же не давала возможности хорошо разглядеть друг друга в окружавшей нас черноте. На площадке было темно, как в июльские безлунные ночи где-нибудь в Причерноморье. Черное небо и черный цилиндр тьмы с сетчатой звездной крышкой где-то на головокружительной высоте. А странно подвижные стенки цилиндра даже просматривались, то отдаляясь, то суживаясь, как будто смещались, сдвигались, заслоняя и вытесняя друг друга, — гигантские плоские фигуры различных оттенков черноты. Иногда они синели густо замешанным индиго, иногда поблескивали крышкой рояля, скрывая за собой пугавшую тишину но-

чи. Вероятно, то была просто игра ночных теней — кустов и леса, стекловидной площадки и различно нагретых слоев воздуха вблизи невидимого сейчас голубого свечения. Но ощущение чужого мира было здесь еще сильнее, и сердце знакомо защемила тоска по дому, оставшемуся где-то за недоступной нашему знанию мерой пространства и времени. «А вернулся бы ты сейчас домой, если бы вдруг представилась такая возможность?» — строго спросила мысль. И я заколебался: «Не знаю. Пожалуй, нет». Не закончена еще наша миссия в этом мире, не сделано дело, завершения которого ждут друзья наши — «облака»: даже на побывку не отлучишься... И далекое воспоминание об Ирине отодвинулось еще дальше, как солдатская тоска по дому перед ночной атакой.

А темнота впереди вдруг сгустилась огромной тенью доисторического ящера, чиркнула спичка рядом, осветив открытую дверь темной стальной кабины, и голос Шнелля сказал:

— Оливье первым, ты за ним, я замыкаю.

Мы сели, дверь щелкнула, как в «Москвиче» или «Волге», и что-то под нами двинулось, бесшумно увлекая нас по дороге. Кабина была просторна: в центре ветрового стекла прямо передо мной отчетливо виднелась пристрельная щель, открывавшаяся нажимом рычага сбоку.

— По команде «Стреляй» открывай огонь, — предупредил меня Шнелль, — даже если не видишь цели. Ясно?

— Ясно.

Мы ехали не слишком быстро, километров пятьдесят в час, не больше, электричества в кабине не было, а спичка освещала лишь темную гладь стекла и металла — никаких указателей, приборов, часов, даже руля я не обнаружил.

— Вот так и сидим, как крысы в норе, — сказал вдруг Шнелль. — Понадобится — вылезем, а то и отсюда пощелкаем.

Что он подразумевал, о чем беспокоился, я так и не понял. Оливье молчал. Работенка, надо думать, была не из приятных. Что-то тяжелое, непонятное, пугающее угнетало, как ночная прогулка по кладбищу. В воскресших покойников не веришь, а почему жуть так и подхлестывает — не знаешь. «Трусоват был Ваня бедный...» Очевидно, в каждом человеке это заложено.

И тишина... Сквозь броню кабины не доносилось ни звука — ни хруста брошенной на дороге ветки, ни шелеста листьев на ветру, ни шума мотора — да и был ли мотор? — даже шуршания шин. Но опытный Шнелль все же учуял что-то неладное.

— Приглядывайтесь, парни. Ничего не видите?

А мы видели только черные тени леса, подступавшего к дороге, и россыпь звезд на небе.

— Что-то с машиной впереди, по-моему,— забеспокоился Шнелль.

— Неужели видишь?

— Догадываюсь.

Машина почти без толчка остановилась, причем мы тоже скорее догадывались об этом, чем заметили. Шнелль открыл пристрельную щель, и в тишину ворвались глухие голоса издали, а где-то впереди заржала лошадь.

— Кажется, фургон раздевают,— шепнул Шнелль и шагнул в темноту: дверь, должно быть, уже открылась, хотя я ничего, кроме клубящейся темноты, не видел.— Оливье, со мной! — скомандовал Шнелль откуда-то снизу.— Ано считает до пятнадцати, потом жмет на гашетку. Бей под углом вниз, по ногам, по ногам...

Тишина и темнота поглотили обоих. Я сразу сообразил: под прикрытием моего огня из машины, когда они смогут подойти ближе, у них все шансы на внезапность и сокрушительность нападения. Вероятно, они даже смогут стрелять в упор. А в кого стрелять? В «диких» или в беглецов из Майн-сити. Не об этом ли говорил на экзамене Корсон Бойл? Но с кем я? И зачем тогда считать до пятнадцати. Сразу, сейчас, немедленно! И предупредить этим замысел Шнелля. Я не раздумывал. Открыл огонь, но не вниз, а вверх, не по ногам, а по кронам деревьев, очередь за очередью, истошно, бессмысленно. «Может, поторопятся, поспешат,— с надеждой подсказывала мысль.— Есть же у них лошади, есть оружие. Только бы успеть до подхода Шнелля». Я снял палец со спускового крючка и вслушался. Где-то впереди ржали кони, кто-то кричал. Потом хлопнул выстрел, другой, застрекотал автомат. Потом все стихло. Кто кого? Каюсь, я ждал с холодным потом на лбу. И не только на лбу — даже ладони вспотели.

Чьи-то сапоги застучали рядом. Шнелль, уже не понижая голоса, сказал:

— Идиот. Я же приказал считать до пятнадцати. Медленно, не торопясь. Ты только спугнул их.

— Где Оливье?

— Ранен.

— А они?

Шнелль сплюнул — я даже услышал звук плевка на подножке.

— Двоих мы сняли, остальные ушли. Разберем завал.

Минут пятнадцать мы разбирали завал на шоссе с помощью патрульных с подошедшей машины. Охрана фургона, напоровшегося на засаду, была перебита. Шнелль принял наиболее разумное решение в этом положении. Легко раненного Оливье он положил рядом с собой, а меня посадил в машину, оставшуюся без охраны, и отправил в город с напутствием:

— У тебя будет только одна остановка — с ближайшей заставы я передам в Би-центр. Сгрузишь — и обратно. Повтори.

Я повторил.

Дверца новой кабины захлопнулась, и повторилось все с самого начала: ночь, беззвучное скольжение по стекловидному покрытию, без черных теней за стеклом, немигающие звезды на небе.

— Больше ни одного выстрела, что бы ни произошло,— подумал я вслух и закрыл глаза.

А когда открыл их, в ветровом стекле отражалась цепочка уличных фонарей: фургон сворачивал на широкую улицу, должно быть, американского сектора, потому что слепые окна верхних этажей где-то высоко-высоко таяли в ночи. Я узнал их по тоненьким и тусклым линеечкам доходившего до них и умиравшего в них света тех же газовых фонарей, которые позволяли мне видеть улицу. На всем ее протяжении она как вымерла — даже постовых полицейских не было. Какой страшный удел жить все ночи под угрозой комендантского часа, как во вражеской оккупации! Я вспомнил призрачную ночь в Сен-Дизье во время Парижского конгресса три года назад. Неужели «облакам» так понравилась эта чернота обезлюдевших улиц? Или же это создание такого же черного

человеческого разума? Я уже ничего не понимал.

Машина остановилась в конце улицы, у здания, напоминавшего тюрьму или форт. Трехметровый каменный или бетонный забор, наглухо пригнанные ворота и часовые у пропускной будки только дополнили подсказанное памятью сходство. Ворота открылись, однако, без моего предупреждения, и пятидесятитонная махина никем и ничем не управляемая, довольно ловко, даже с каким-то изяществом проскользнула во двор. Фонарь осветил открытый пролет в здании, плоскую тележку на рельсах и полицейских в таких же, как и мой, золотогалунных мундирах.

— Гони путевку,— сказал один из них, подойдя к открытой двери кабины.— Почему один? Где все остальные?

Я кратко объяснил, что произошло на дороге. Он свистнул.

— Второй случай за месяц. Пора бы пришпорить, а то обнаглеют.

Кого пришпорить и кто обнаглел, я, честно говоря, не понял, а спросить не рискнул. Тем временем полицейские без моей помощи довольно быстро разгрузили фургон. Задние двери его, как и кабины, открывались автоматически на любой остановке, и мне сразу стала ясна механика ночного набега. Нападавшие забаррикадировали дорогу, вызвали вынужденную остановку машины, перебили охрану и до нашего прибытия успели перегрузить часть ящиков и мешков на поджидавших у шоссе лошадей. Вероятно, не более тонны, потому что полицейские, принимавшие груз, казались не слишком встревоженными; а угроза пришпорить кого-то прозвучала, пожалуй, чисто риторически, потому что путевка с печатью тут же вернулась ко мне обратно, двери автоматически щелкнули, свет погас, и машина моя с такой же ловкостью проскользнула в открытые ворота на улицу. А куда я привез продукты, так и осталось нерешенной задачей — очевидно, не в магазин, и не в ресторан, и даже не в тюрьму, потому что явно не для заключенных предназначались контейнеры с консервированной высокосортной рыбой, полиэтиленовые мешки с жареными цыплятами и ящики с типично французским коньяком и шампанским.

Глава XX

ПОКУШЕНИЕ

Решение задачи пришло на очередной встрече четырех, вновь собравшей нас под одной крышей. Мой доклад, как наиболее обстоятельный, заслушивался последним. Начал Мартин, и начал с тревожного сообщения.

От Марии он узнал, что несколько дней назад из Майн-сити бежало более ста человек. Побег был тщательно подготовлен, отлично организован и удачно выполнен. Одной группе заключенных удалось взорвать лагерную электростанцию; в результате вышли из строя все прожектора на сторожевых вышках, обесточились проволочные заграждения и погас свет в полицейских казармах. Другая группа ворвалась на склад оружия, перебила охрану и ушла в лес, соединившись с первой. Более полусотни стражников было убито во время преследования, многие погибли при взрыве электростанции.

Тревожил, конечно, не сам побег, а последовавшие за ним репрессии. В Городе начались аресты. За один день только на заводах компании «Сириус» исчезло более восьмисот человек. Их видели в цехах, но ни один из них не вернулся домой. Мария рассказывала, что Корсон Бойл накануне в баре «Олимпии» назвал сопровождающим его бизнесменам из Клуба состоятельных цифру предполагаемых арестов. «Ди-центр,— сказал он,— ощиплет перышки с двух тысяч петушков».

— Что за Ди-центр? — спросил я.

— Не знаю. И Мария не знает.

— Я знаю,— сказал Зернов.— Они помечают свои секретные организации буквами английского алфавита. Ди-центр, между прочим, от слова «дефенс» — «защита», нечто вроде здешнего гестапо.— Зернов нахмурился и вдруг встревоженно спросил Мартина: — А ты говорил кому-нибудь о цифре арестов?

— Только Маго.

— Зря.

— Я никого из вас не нашел.

— А кому же сообщать? — пришел на помощь Мартину Толька.— Она же связная.

Я знал Зернова. Он явно сдерживался, чтобы не сказать резкость. Но резкость эта все же прозвучала в ответной реплике.

— Ваше слово, Дьячук. Рассказывайте.

И Толька сделал поистине сенсационное сообщение. Он был на вечере у Корсона Бойла. Он пел любимые песенки галунщиков. Его накормили, напоили и увезли с величайшим почетом. Ничего особенного он не услышал — солдатские анекдоты и сплетни. Но он увидел.

— Вы все обалдеете, когда узнаете, кого я увидел.

— Кого? — взревели мы все.

— Бориса Аркадьевича собственной персоной.

Мы молча переглянулись. Толька явно сошел с ума.

— Меня? — осторожно переспросил Зернов.

— Вас.

— А вы не ошиблись, Дьячук? В тот вечер я был у Томпсона.

— У Томпсона гостевал некто Зерн, писарь с козлиной бородкой,— лукаво подмигнул Толька,— а у начальника фуд-полиции был Зернов. Чисто выбритый московский Борис Аркадьевич Зернов. Выдающийся ученый Города и директор Би-центра. Усекли?

Мы усекли. Вероятно, каждый вспомнил трагически окончившуюся встречу двух Зерновых в кают-компании Мирного. Что скажет сейчас Зернов, вернее, Борис Зерн, писарь личной канцелярии мэра?

И он сказал:

— Теперь я понимаю, почему Томпсон посоветовал мне отрастить бороду. Он знал.

— А я одного не понимаю,— недоумевающе протянул Толька.— Вы же ледовик по специальности, Борис Аркадьевич. А здешний — кибернетик, хозяин счетной машины Города.

— Выучился,— равнодушно сказал Зернов.— Может, его таким и запрограммировали. А биологически я и он идентичны. Тот же характер, те же способности. Даже усиленные за счет частичной блокады памяти.

Мне захотелось поддеть эту профессиональную самоуверенность.

— Может быть, о характере уточним, Боря? Твой дубль с аппетитом ест из хозяйской миски.

Но Зернов не пошел на подначку.

— Не думаю, чтобы с аппетитом. Блокада памяти — не решающий фактор в изменении характера. Среда тоже. Может быть, здесь известную роль играет научная одержимость?

— Он даже спит в аппаратной,— подтвердил Толька.

Но Зернов не откликнулся. Он уже не объяснял, а размышлял вслух.

— Научная одержимость,— задумчиво повторил он.— Но разве ее не было у Эйнштейна или у Оппенгеймера? Или у Жолио Кюри?

— Быть может, он таким и задуман? Ты уже упомянул о программировании,— перебил я.

— Только в одном смысле. Моделируя, они учитывали склонность, призвание, если хотите. Кстати, я не мечтал быть гляциологом. Это получилось, в общем, случайно.

— А если в нужную им модель они внесли и нужные им черты характера?

— Кто? «Облака»? Эй-центр и Би-центр — единственное, что внесли они в моделируемый ими мир в отличие от земного. Но это же чистейшая автоматика. А систему контроля, я убежден, придумали сами люди. И характер им не придумывали: у них был свой. Так что у моего двойника...— Он не закончил.

— По-моему, над этим стоит подумать,— сказал я.— Твой аналог в перспективе...

— Нет, нет,— оборвал меня Зернов,— не сейчас. Не будем отвлекаться. Твоя очередь, Юра. Ждем.

Я рассказал со всеми подробностями об экзамене и последовавших рейсах. Реагировали они по-разному. Зернова больше всего интересовал разговор с Бойлом, он все время перебивал и расспрашивал о деталях. Тольку и Мартина привлекали главным образом действенные, или, как говорят в кино, остросюжетные, эпизоды.

Смущавшую меня загадку первого рейса, когда я привез продукты в здание, напоминавшее казарму или тюрьму, Зернов разъяснил сразу.

— Это же холодильник, Си-центр, от слова «колд» — «холод». Не в чистом виде рефрижератор, а еще и склад, запасец, так сказать, на черный день. Ты правильно заметил в разговоре с Бойлом, что они не знают пределов

мощности своего пищевого завода, не уверены они и в проблеме его надежности. Отсюда совершенно правильный вывод об экономичности статус-кво, о стабильности спроса и предложения, о сохранении пониженной платежеспособности населения. С выводом Бойл согласился, но дополнений не сделал. Ну а если завод остановлен, что тогда? Город остается без хлеба и мяса, деньги обесцениваются, горит промышленность, закрываются банки, а население частично вымирает от голода, частично превращается уже не в «диких», а в дикарей. Думаешь, Корсон Бойл этого не понимает? Все понимает и учитывает. Отсюда и холодильник с двухлетним запасом продуктов, и зачатки сельского хозяйства, которое за эти два года уже может давать Городу хлеб и овощи.

— Но ведь сельское хозяйство запрещено местным законодательством,— возразил я.

— Ты в этом уверен? А откуда, по-твоему, берется овес для лошадей? Где достают его конские заводы? А ты знаешь, что в Городе более ста предприятий извозного промысла и два десятка фирм, поставляющих им овес? Где, по-твоему, они берут его? Твои грузовики развозят по Городу хлеб. Но хлеб не положишь на двухлетнее хранение в амбары — нужна мука. Без зерна ее не получишь, без мельниц не смелешь. А почему, ты думаешь, не караются «дикие»? Официально они под запретом, но за последние годы не предпринято ни одной карательной экспедиции в лес. Если остановится пищевой завод, «дикие» образуют основу будущего фермерского хозяйства. Этого тебе Корсон Бойл не сказал. А сказал ли он о том, чем поддерживается пресловутое статус-кво? Сохранением цен? Кстати, цены на товары не сохраняются, а повышаются. Зато сокращается число едоков. Интересуешься, каким способом? А вспомни Мартина: с двух тысяч петушков будут ощипаны перья. И петушков можно ощипывать ежегодно, поквартально, ежемесячно.

Лицо Зернова побелело от ярости — таким я его еще не видел. Может, у меня будет такое же, когда я смогу поставить к стенке Этьена и Шнелля?

— Второй двигатель полицейского статус-кво,— продолжал Зернов,— это искусственное торможение технического прогресса.

Я вспомнил о замораживании изобретений в бюро патентов: кажется, даже телеграф заморозили.

— Только ли телеграф! — воскликнул Зернов с ноткой горечи: ярость уже погасла.— Энергетическая база не расширяется, электроэнергия поглощается крупной промышленностью, а в домах жгут свечи и масленки, как при Карле Девятом. Геологическая разведка не ведется. Недавно еле-еле вырвали лицензию на производство бензина из горючих сланцев. И то лишь потому, что это процесс длительный и дорогостоящий. А электромобили затормозили. Превосходный проект двигателя на воздушно-металлических аккумуляторах. Энергоемкость в сто десять ватт-часов на килограмм веса. Даже у нас на Земле изобретение стóящее, а здесь прямо-таки бесценное. Так нет — угроза пресловутой стабильности: зачем электромобили, когда извозчиков девать некуда? Не умирают простаковы и скотинины!

— Тебе все ясно,— вздохнул я.

— И тебе. В Сопротивлении люди не глупее нас с тобой и тоже по-своему политически грамотны. Рано или поздно эта мерзкая полицейская клика найдет свой конец на десятом или одиннадцатом году своей истории. Может быть, и позже, но найдет обязательно. Не помогать этому было бы непорядочно и нечестно, но у нас есть и свои задачи. Анохин удачно разыграл дебют, партия переходит в миттельшпиль. Мы знаем теперь, где находится тайное тайных галунной хунты. Остается продумать, как туда проникнуть.

В этот момент кто-то проник к нам с такой стремительностью, что незапертая входная дверь завизжала и грохнула.

— Кто?! — крикнул я, бросаясь в соседнюю комнату.

Передо мной стоял Джемс — без фуражки, всклокоченный и грязный. Половина его серого пиджака стала рыжей от жидкой глины, словно он только что вывалялся в сточной канаве. К виску он прижимал платок, побуревший от крови.

— Не пугайтесь, «хвоста» нет,— сказал он тихо.— Я, кажется, ушел от них.

— От кого?

— Кто у нас с автоматами? Смотри.— Он отнял пла-

ток от лица: по виску алел кровоточащий след пули.— Только скользнула по кости,— хрипло рассмеялся Джемс, словно речь шла о забавной лесной охоте.— Я через забор — и в канаву. С головой в рыжую жижу. Они мимо. Сколько я там пролежал, не помню. Потом переулками сюда. К счастью, даже портье не было — никто не видел.

Мы, окружив его, молчали в полной растерянности. Лишь Дьячук нашелся.

— Бинт! — не сказал — приказал он.

Рану промыли и перевязали, грязный пиджак сменили на Мартинову шоферскую куртку. Джемс впервые облегченно вздохнул — только сейчас мы заметили, каких усилий стоило ему только что пережитое.

— Что же все-таки произошло? — спросил Зернов.

— Вы знаете, что у Маго был автомат?

Я не знал, но Толька Дьячук подтвердил, что был.

— Его достал кто-то из друзей Маго, обучили стрелять ее в подпольном тире.— Джемс медленно оглядел всех нас и спросил: — Кто сообщил ей о предстоящих арестах?

— Я,— сказал Мартин.

— Это и довело ее до точки кипения. Мы должны были встретиться с ней под кронами Тюильрийского парка, там, где я обычно назначаю свидания связным. Пришел вовремя — ее нет. Подождал, потом пошел навстречу. Дорога к парку по бульвару мимо полицейского управления. И тут я увидел ее.

Он закрыл лицо руками и закачался, как от нестерпимой боли.

— Она шла навстречу тебе? — спросил я, предчувствуя недоброе.

— Нет, стояла у витрины универмага близ входа в полицию. А там дожидался экипаж, который знают все в городе: беговая американка без кучера на велосипедных колесах — выезд Анри Фронталя,— только он один предпочитает такой способ передвижения по Городу. У Маго в руках был скрипичный футляр. Она поставила его на гранитную каемочку у витрины и почему-то замешкалась. Все выглядело естественно и обычно: девушка идет на репетицию в оркестр или в музыкальную школу. Охранники у входа, по-моему, даже на нее и не взглянули. И в эту минуту вышел Фронталь с адъютантом. Я оста-

новился не доходя — не в моих правилах искать сближения с полицией даже пространственно. Стояла и Маго спиной к полицейским, поспешно открыла футляр. И когда Фронталь уже уселся в своем экипаже, широко расставив ноги и поманив адъютанта — вероятно, хотел что-то сказать ему, между ним и Маго никого не было, ни одного человека из охраны. Все произошло в какие-то десятые доли секунды. Из футляра Маго извлекла не скрипку, а полицейский автомат без ремня, нажала гашетку и срезала одной очередью и Фронталя, и адъютанта. Но уйти не ушла, а могла бы. Испуганная лошадь понесла, тело Фронталя, зацепившегося носком сапога, протащило по мостовой метров двадцать, и растерявшиеся постовые не сразу пришли в себя. Но один из них все же успел открыть огонь, как только Маго снова нажала гашетку. Второй охранник упал, даже не вскрикнув, но первый на какое-то мгновение предупредил свою смерть: Маго упала раньше.

Джемс закрыл глаза, должно быть стараясь зрительно представить себе увиденное. Никто из нас не решался прервать его.

— Я побежал, когда уже начали оцеплять улицу,— почти шепотом закончил он: у него уже не было голоса.— Полицейский промазал, когда я перемахнул через забор. Остальное вы знаете.

— А Маго, Маго?! — не закричал — взвизгнул Толька.

— Я же сказал: упала.— Джемс даже не поднял головы.

— Живая?

Мы молча посмотрели на Тольку. Нужно ли отвечать на этот вопрос?

Джемс и не ответил.

В тишине, повисшей почти осязаемой тяжестью, вдруг раздался тоненький, протяжный звук. Это плакал Толька. Не по-мужски — по детски, заливчато и жалобно.

Глава XXI

Д'АРТАНЬЯН И РИШЕЛЬЕ

Я отвел Тольку в ванную — пусть выплачется и умоется. Пиджак Джемса в рыжей грязи засунул под ванну. Но где спрятать самого Джемса?

— Уходить нельзя,— решил Зернов.— На улицах, вероятно, уже идут облавы. У Джемса пустяковое, но пулевое ранение. Разбинтуют и сразу поймут, что к чему. Здесь оставаться тоже рискованно — отель не застрахован от обыска. Если не считать переулков, мы на одной магистрали с бульваром.

— А если в подвале? — спросил я.— В типографии. Там сейчас никого нет.

Джемс поднял голову.

— Дверь в стене хорошо пригнана,— вспомнил он,— но щель все-таки заметна. Когда мы работаем, кто-нибудь из оставшихся шпаклюет щель и подбеливает. Ни черта не заметно, разве только с лупой и разглядишь.

— Вода там есть? — спросил Зернов.

— Есть.

— Возьми сыр и свечи.

Мы спустились в подвал по черной лестнице — я страховал их на пролет впереди. Дверь в подвальной стене закрывалась плотно. Но, пропустив Джемса внутрь, мы все-таки замаскировали еле заметную щель. Полоска свежих белил легла действительно незаметно. Даже придирчивый обыск едва ли бы ее обнаружил.

— Порядок,— облегченно вздохнул Мартин.

— Как сказать,— усомнился Зернов.

Тольки с нами не было. Он сидел у стола, положив голову на руки, и никак не реагировал на наше возвращение. Даже о Джемсе не спросил.

— Толя,— сказал я по-русски,— ты все равно бы вернулся домой без нее.

Он смотрел на меня сухими, без слез, ненавидящими глазами.

— А ты спроси: вернулся бы я вообще?

— Тебя бы вернули. Мы здесь гости, Толя. Расставание неизбежно.

— Но не такое.

— Анохин,— позвал меня Зернов из соседней комнаты,— оставь его. Он все поймет без нашей подсказки.

Мы перешли на английский язык.

— Я не верю Этьену, Дон.

— Я тоже.

— Если найдут Джемса, найдут и подпольную типографию. И наоборот. Этьен не пойдет на это.

— У него не будет выхода. Убийство Фронталя — повод к репрессиям. Галунщики жаждут крови.

— Фронталь — пешка,— сказал я.

— Жертва пешки обещает атаку. А с Этьена потребуют взнос.

— Гибель Джемса — это гибель газеты.

— Нет,— сказал Зернов.

— Нужна новая типография.

— Она есть.

— А редактор?

— Есть и редактор.

— Кто? — заинтересовался Мартин.

— Ты.

— Злая шутка, Борис.

— Я не шучу. Ты в резерве, запомни. А потом, обыск еще не начался.

Но Зернов ошибся. Обыск уже начался. К нам в дверь без стука ворвались четверо полицейских с автоматами на изготовку.

— Руки! — крикнул ближайший.

Все, кроме меня, подняли руки.

— А ты? — Он чуть не ткнул меня автоматом.

— Болван,— сказал я.— Формы не видишь?

— Стреляю.

— Попробуй.

— Погоди,— сказал кто-то за ним знакомым голосом. Оттолкнув автоматчика, вышел Шнелль.— Ты? —удивился он.— Что ты здесь делаешь?

— Живу.

— В «Омоне»?

— Об этом сказано в моей личной карточке.

— А эти кто? — Он кивнул на стоящих с поднятыми руками товарищей.

— Мои друзья. Одного ты, наверное, знаешь.— Я показал на Тольку.

— Толли Толь? — Шнелль растерялся.

— Личный гость Корсона Бойла,— прибавил я.— И убери своих дураков.

— Отставить! — закричал Шнелль сопровождавшим его галунщикам.— Везет тебе, Ано,— заключил он загадочно и вышел, не прощаясь.

Дверь захлопнулась. Мартин тотчас же открыл ее.

— Зачем?

— Хочу знать, что происходит в отеле.

А «Омон» гудел, как воскресный рынок. Кто-то бегом проскочил по коридору. Кто-то кричал. Где-то громыхнули выстрелы. Стучали по лестницам подкованные солдатские сапоги. Кто-то совсем близко тоненько взвизгнул: «Не смей бить! Не смей!» Зазвенело стекло.

Еще одна автоматная очередь и грохот сапог на лестнице в холл. И хриплый крик в нашем коридоре: «Проходи, проходи: здесь уже были!»

«Омон» постепенно затихал. Звуки гасли в портьерах, перинах, коврах. По грохотавшим коридорам и лестницам разливалась пугливая тишина.

— Пойду понюхаю,— сказал Мартин и выскользнул за дверь.

Через полчаса он вернулся. За ним шел старик с зонтиком, мокрым от дождя.

— Разве на улице дождь?

Вопрос прозвучал глупо, потому что всех интересовал гость, а не его зонтик. Старик выпрямился и улыбнулся. Очень знакомой была эта улыбка.

— Фляш! — обрадовался я.

— Тссс...— остановил меня гость,— не так громко. Считайте, что я постарел на десять лет, и не узнавайте. А дождь, между прочим, идет.

— Как вы прошли сюда? — удивился Зернов.— Патрули повсюду.

— Старик с мокрым зонтиком всегда может зайти в лавочку. А из одной в другую, не выходя на улицу. Из соседней, между прочим, можно пройти в здешнюю гардеробную. Швейцар в таких случаях закрывает глаза.

— Этьен знает о вашем приходе?

— Все то, что он знал, он уже выдал.

— Я вас предупреждал.

— И я,— сказал я.

Фляш смущенно погладил фальшивые баки.

— И счетные машины иногда ошибаются. Все ему верили.

— Джемс внизу? — спросил я у Мартина.

Мартин отвернулся.

— Джемс уже на пути в Майн-сити, если только остался жив,— проговорил Фляш с такой горечью, что мы только сейчас поняли, как тяжело переживает он новый провал.

— Что-нибудь уцелело?

— Все вывезли — и шрифт, и бумагу.

— Как же они нашли? Мы загрунтовали все стыки.

— Всегда найдешь, если знаешь, где и что надо искать.

— Газета выйдет,— сказал Зернов.

— Знаю,— усмехнулся Фляш,— я даже успел поговорить с ее новым редактором.

По коридору за стеной знакомо застучали тяжелые сапоги. Одним прыжком Фляш очутился на подоконнике.

— Окно выходит в переулок. Под нами балкон. Все уже освоено,— сказал он тихо.— Задержите его, если это за мной.

В дверь постучали. Я открывал медленно-медленно, умышленно возясь с замком.

— Ключ не поворачивается. Минутку.

За дверью ждали. Кто? Дальше тянуть было нельзя, и я, выпятив расшитую золотом грудь, открыл наконец дверь.

У входа стоял галунщик.

— Лейтенант Ано? — вежливо спросил он.

Я важно кивнул, хотя и не был лейтенантом. Когда это меня произвели?

— Войдите,— пригласил я его.

Что еще можно было сказать? Я попросту тянул время.

Но он даже не вошел в комнату.

— Поторопитесь,— козырнул он.— Вас ждут, лейтенант.

Бессмысленно было спрашивать, кто меня ждет в этот

безумный, безумный день. Но я не торопился, я еще пошел к окну.

— Порядок,— шепнул Зернов.— Ушел благополучно.

— Слава богу,— сказал я по-русски.

— Какому? Христианскому или буддийскому?

— Все равно. Меня тоже коснулась его десница. Становись во фрунт, Боря. Я уже лейтенант.

— Знаю, перспектива не увеселяет.

— Не дрейфь, Юрка, и возвращайся, как только сможешь,— подал голос Дьячук.— Будем ждать.

— Будем ждать,— повторил по-английски Мартин.— Я все понял, Юри. Перевода не надо.

Как хорошо, когда у тебя такие друзья! Может быть, потому мне хотелось сесть верхом на лестничные перила и, как это делают все мальчишки, съехать вниз.

Но лейтенанту это не полагалось. А меня действительно они ждали — спать никто не спал, когда я вернулся ночью во время комендантского часа. Вернулся, как и выехал, верхом, с тем же сопровождающим, который и увел моего взмыленного коня.

Встретили меня молча и настороженно. Говорить должен был я. И я сказал что-то весьма торжественное о шаге, еще более приблизившем нас к поставленной цели. А потом пришлось описать этот длинный и неожиданный трехчасовой шаг.

Ехали мы не в Главное управление, где погиб сегодня Анри Фронталь, а в уже знакомое мне экзаменационное узилище в четырнадцатом блоке американского сектора. Ехали галопом по скаковой дорожке, проложенной здесь посреди большинства бульваров и авеню,— кстати говоря, неплохое нововведение, которое пригодилось бы и в наших земных городах для поощрения уже почти забываемого конного спорта.

Принял меня, как я и предполагал, сам Корсон Бойл в своем кабинете, похожем на все начальственные министерские кабинеты, какие мне приходилось видеть. Только портретов не было — голые, под дуб, стены, огромная карта Города над столом, многократно пересеченная красными стрелами продовольственных маршрутов. Я разглядел Эй- и Би-центры, нашел холодильник, куда занесла меня нелегкая в первый же рейс, и даже Майн-сити,

расположенный совсем в другой стороне. Он был заштрихован решеткой, случайно или специально напоминавшей о его назначении.

Заметив мой интерес к карте, Корсон Бойл взял палку-указку и, не вставая, ткнул ею в крохотный кружок рядом с большим красным кольцом с буквой «А» в центре.

— Догадываешься? — спросил он.

— Наша застава,— сказал я.

— В связи с событиями, весьма прискорбными и тебе хорошо известными, мы передвинули на место покойного Фронталя начальника твоей заставы. Его же пост пока не замещен.— Бойл заговорщицки подмигнул мне.— Уясняешь?

— Я, должно быть, круглый дурак,— сказал я.

— Ты не дурак. Просто у тебя есть такт и чувство дистанции. Предпочитаешь не догадки, а прямые распоряжения. Отлично. Я назначаю тебя начальником заставы.

Я встал.

— Готов...

— Сядь. Я знаю, к чему ты готов.

— Когда приступать?

— Завтра ночью, как обычно. Но обязанности не легкие. Мы сменяем патрульных. Тебе придаются отборные головорезы со всех участков. Случаи, подобные твоему в первом рейсе, не должны повторяться. Любое нападение вы обязаны отразить с полным разгромом противника. Ни одного грамма продуктов не должно быть потеряно.

— К сожалению, двери кузова открываются автоматически на любой остановке,— сказал я.

— Раздели патрульных. Помести по двое в кузов, одного у смотровой щели. И никаких вылазок. Любой фургон — крепость. С последней машиной в Си-центр поедешь сам. Спутников подбери понадежнее.

— Будет сделано, генерал.

— Комиссар. Только комиссар фуд-полиции.

Какого черта он скрывает от меня свою истинную роль? На место Фронталя передвигается другая пешка, а король прячет корону в портфель. Всего только скромный фуд-комиссар, джокер в любой карточной комбинации. Не в того целилась Маго, бедная, наивная девочка, так и не

сумевшая распознать хитроумную комбинацию замаскированного диктатора.

Лицо мое при этом было непроницаемо — образец служебной послушливости, так что Бойл вполне мог оценить меня как хорошо запрограммированного робота.

— Если оправдаешь доверие,— прибавил он,— будешь капитаном через две недели в «Олимпии».

Единственно, что заинтересовало меня,— это место моего назначения. Не выдержал характера — любопытство пересилило,— спросил:

— Почему в «Олимпии»?

Бойл захохотал:

— Я ожидал этого вопроса, лейтенант. В «Олимпии» мы отмечаем десятую годовщину господства в Городе. А почему капитаном, не спрашиваешь? Для моего адъютанта, каким ты будешь к тому времени, лейтенантских нашивок мало.

Я вытянулся:

— Счастлив заслужить капитанские нашивки, комиссар.

Он кивнул, милостиво отпуская меня. По-видимому, я делал головокружительную карьеру — так откозыряли мне всезнающие дежурные и так почтительно подвел под уздцы мою лошадь сопровождавший меня сержант. Я вспомнил д'Артаньяна и Ришелье. Д'Артаньян не согласился на предложение кардинала — я его принял. Но мы затевали со здешним диктатором более сложную и тонкую игру, чем герои Дюма с тогдашним повелителем Франции. Мы собирались проникнуть в тайну Корсона Бойла, дававшую ему почти божественную власть в этом мире,— тайну, которую здесь никто, даже он сам, не знал, но узнать которую мы могли, уже почти ничем не рискуя.

Трудно назвать случаем все со мной происшедшее — в нем было слишком много расчета. Сопротивление точно рассчитало мое проникновение в личное окружение Корсона Бойла, предвидя возможность атакующей комбинации, хитроумного разведывательного маневра. Но Зернов смотрел шире и видел больше.

— По аналогии с шахматами,— сказал он,— партия переходит в эндшпиль. Пешка Анохин (я не обиделся на него за эту «пешку») достигает последней линии и пре-

вращается в ферзя. Сопротивление даже не предполагает последствий, какие открывает ему эта возможность. При некоторых ситуациях можно создать матовую сеть для противника. Но пока об этом рано. Нужен план-минимум. Наш план.

И план родился.

Глава XXII

КОЭФФИЦИЕНТ ШНЕЛЛЯ

Приняв вечером дела у начальника заставы, я сказал окаменевшему от зависти Шнеллю:

— В патруль пойдешь со мной. Последним рейсом без остановок в Си-центр. С кем в паре?

— С Оливье.

— Оливье мелковат. Подбери кого-нибудь из новеньких. Позубастее. Чем больше голов у него на счету, тем лучше.

Шнелль осклабился: понятно, мол, подберу. Я так и знал, что он подберет самого что ни на есть гнусняка. Дрянной человечишка был этот Шнелль, даже в полиции его не любили. Я все думал: да существовал ли он в действительности на Земле, не выдумал ли его Каррези для фильма? Но смоделировать абстрактно «облака» не могли: им требовался оригинал. Значит, Каррези знал или видел где-нибудь эту падаль.

Я проверил списки патрулей, число явившихся на дежурство, проводил первые машины в Город и поспал часок у себя в кабинете, а остаток ночи провел за покером в компании с Оливье, Шнеллем и новым компаньоном в предстоявшем нам рейсе — узколобым крепышом, откликавшимся на кличку Губач: нижняя губа его была рассечена надвое и плохо срослась. «Покалечили в лагере, бывает», — пояснил мимоходом Шнелль, представив мне подобранного им спутника. Я не почувствовал никакого сожаления ни к его порезанной губе, ни к ожидавшей его участи.

Но что-то вроде тревоги кольнуло меня, когда я при-

смотрелся и прислушался к Шнеллю. В его отношении ко мне всегда была отчужденность и неприязнь. Невзлюбил он меня с той минуты, когда получил от Макдуффа первый ком грязи в лицо. Неприязнь перешла в откровенную враждебность, когда я два раза швырнул его на ковер, а враждебность — в стойкую ненависть, когда симпатия или каприз Корсона Бойла вручили мне в руки судьбы трехсот патрульных заставы. Шнелль подчинился и даже сыграл дружеское восхищение молниеносной карьерой товарища. Плохо сыграл. Когда он смотрел мне вслед, я, не оборачиваясь, чувствовал этот взгляд, как иногда затылком чувствуешь неведомую опасность.

Сейчас, во время затеянной нами игры, мне показалось, что в эту устойчивую, плохо скрываемую ненависть вклинилось что-то новое. Шнелль словно в чем-то подозревал меня, чему-то не доверял, чего-то боялся. Он искоса следил за каждым моим движением, прислушивался к каждой моей интонации. Так присматривается к партнеру боксер на ринге, опасаясь нокаутирующего удара. Но чего опасался Шнелль? Последнего ночного рейса, в котором я заменил Оливье Губачом. Нашего плана он разгадать не мог, он даже подумать не посмел бы, что кто-то замышляет проникнуть за строй голубых протуберанцев. А вдруг это не подозрение, не страх, не предчувствие опасности, а просто злобная радость, предвкушение возможности от меня избавиться? Может быть, опасность в той же мере угрожает и мне: вдвоем с Губачом они ликвидируют меня еще раньше, чем подоспеют Зернов и Мартин. В общем, кто кого. «Будем посмотреть», как говорит Толька.

Он очень огорчался, что ему не нашлось роли в задуманном нами спектакле. Ничто его не убеждало.

— Патруль на машине — это тройка, а не четверка, — говорил я.

— А кто будет проверять? Машины не возвращаются.

— Пойми, мы не имеем права даже на одну сотую риска.

— Вы что затеваете? Авантюру. А где ты видел авантюру без риска?

Наконец вмешался Зернов:

— Сопротивление дало прямое указание беречь вас,

Дьячук. Вы понадобитесь. И учтите, вам придется сыграть очень трудную и опасную роль. Сопротивление готовится к большим делам, вы знаете.

— Ничего я не знаю.— Толька плюхнулся на диван и отвернулся: он был очень обижен.

Ну а мы? Мартин поехал доставать полицейские мундиры для себя и для Зернова, а я отправился на заставу.

Мы не предполагали, конечно, что в нашу задачу войдет новый коэффициент, коэффициент Шнелля — непредвиденной опасности. И сейчас, кроме меня, об этом никто не знал. Значит, решать должен был я, и решать быстро. А думать мешала игра, сдача за сдачей, и мое совершенно непонятное везение. Я не очень люблю карты, тем более покер — игру азартную и сложную, где выигрывает не только комбинация карт, но и чистый блеф, игра втемную, с рискованным и нахальным обманом. Я не умел блефовать и всегда проигрывал. Но сейчас меня выручала карта: она шла ко мне, как крупная рыба на снасти бывалого рыбака.

— Везучий ты, парень,— вздыхал Оливье, бросая карты.

А Шнелль злился:

— Ему уже давно везет.— И, скривившись, прибавил: — День везет, два везет, на третий сорвется.

Оливье подвинул ко мне кучу денежных купюр — весь мой выигрыш. Я отодвинул ее обратно.

— Организуй банкет в честь нашего благополучного возвращения. Только не в «Олимпии». Где-нибудь потише и поскромнее.

— Патрульному Оливье уготована роль интенданта,— съязвил Шнелль.

А я поправил:

— Патрульному Оливье уготована другая роль. Он остается моим заместителем до конца рейса.

— Почему Оливье? — Шнелль уже перестал сдерживаться.

— Потому. Приказы начальника не обсуждают. Кстати, Оливье,— прибавил я,— если я не вернусь из рейса, вернувшиеся без меня будут расстреляны. Это приказ комиссара Бойла. Перед исполнением можете запросить подтверждение. Если я вернусь в одиночестве, отправьте

меня под конвоем в четырнадцатый блок. А сейчас проверьте рапортички вернувшихся.

Я искоса взглянул на Шнелля. Лицо его снова окаменело. Губач скривился, словно в приступе зубной боли. Но оба молчали. Только когда Оливье вышел, Шнелль спросил:

— На пушку берешь?

Он употребил свою идиому — я лишь передаю его смысл по-русски. Слова «пушка» в словаре его не было. В ответ я улыбнулся и предложил:

— Не веришь? Позвони в Продбюро и спроси начальника.

— Мало ли что в пути может случиться?

— Вот именно. Приказ Бойла устраняет случайности. Будем беречь друг друга, как самого себя.

— И все-таки я не верю. Твои штучки. Не мог Бойл издать такого приказа.

— Поверишь, если вернешься без меня. А сейчас и в пути приказываю я. Встать и все подготовить.

Время выезда приближалось. Когда налитый злобой Шнелль и загадочно причмокивающий Губач вышли, столкнувшийся с ними в дверях Оливье спросил меня:

— Ты правду сказал о приказе Бойла?

— Не совсем. Мне хотелось припугнуть их.

— Опасаешься?

— Есть основания.

— Вижу, что есть. Оставь Шнелля вместо меня.

— Нет. Я хочу наконец раскрыть этого парня с двойным дном. Мне надоели его козни исподтишка.

— Их двое, Ано.

— Как-нибудь справлюсь. Постараюсь не создавать выгодной для них ситуации. А там посмотрим.

С этими словами я вышел в ночь к лошадям, уже сопевшим у крыльца. Поехал сзади, хотя и знал, что сейчас, до появления машины, они не рискуют напасть: слишком близко от заставы, да и объяснить мою гибель трудно. Кто напал, кто защищался, почему стрельба? Нет, нападут они, конечно, в лесу, и если я не приму мер, то по дороге в Город.

Машина вышла в точности минута в минуту, когда мы подъехали к пункту. В темноте ее не было видно — только

что-то более черное, чем ночь, вдруг выросло перед нами. Свет ручных фонарей вырвал из мрака дверцу кабины и заиграл в ее черном полированном зеркале.

— Погоди,— остановил я Шнелля, уже поставившего ногу на подножку.— Отставить.

Он обернулся, видимо не поняв.

— В кузов,— сказал я.— Двое в кузов. Если по дороге вдруг откроются двери, на шоссе не выходить. Забаррикадируйтесь и ведите огонь по любой движущейся тени. Ничего не увидите — стреляйте в темноту без прицела.

— А ты?

— Я в кабине, у прицельной щели. Инструкции те же.

— Чьи? — дерзко спросил Шнелль.

Ни он, ни Губач не двигались.

Или я был плохим начальником, или мои лейтенантские нашивки не убеждали их в необходимости подчиняться. Любой ценой я должен был утвердить свой авторитет.

— По возвращении пойдете на гауптвахту,— сказал я.— За неуместные вопросы. А сейчас выполняйте приказ. Не заставляйте меня заменить вас немедленно.

Оба смутились. Мне подсказало это их молчание. Я угадал их план и сорвал его.

— Один вопрос, лейтенант,— наконец прошамкал Губач: зубов у него не было.

— Говори.

— Обратно поедем тоже в кузове?

— Зачем? — спросил я как можно естественнее: не показывать же им, что я чего-то боюсь.— Обратно охранять нечего.

Мне показалось в темноте, что Шнелль легонько толкнул Губача. «Ничего, на обратном пути отыграемся»,— только и мог означать этот толчок. Но может быть, все это мне только показалось: у страха глаза велики.

Уже не возражая, Шнелль и его подручный полезли в открытые двери фургона. Я сел в кабину.

Так начался рейс.

Глава XXIII

ФИОЛЕТОВОЕ «ПЯТНО»

Он мало чем отличался от моего первого рейса, когда меня одного пересадили в пустую кабину и я в полудреме проехал по Городу до каменных складов Си-центра. Только сейчас я не дремал, пристально всматриваясь в поблескивающую даже в ночи стекловидную пленку шоссе: не промелькнет ли с краю какая-нибудь скользящая тень и не перегородит ли путь поваленное дерево? Я знал, что машина «увидит» это раньше меня, и все-таки всматривался: ничто не должно было помешать сегодня так тщательно выработанному нами плану.

Но путь был свободен, ни одно дерево не упало на шоссе, машина бесшумно уходила в темноту, не встречая препятствий. Так мы доехали до Города, мелькнули стены въездной полицейской заставы, освещенные двумя тусклыми «газовками» на столбах; потянулась цепочка редких и тусклых городских фонарей; как река ночью, плыли навстречу темные и безлюдные, будто вымершие улицы, слепые дома и витрины за железными шторами. «Сен-Дизье,— еще раз подумал я.— Сен-Дизье. В такой же безлюдной ночи сидели мы с Мартином подле офицерского казино, пока женщина в шуршащем шелковом платье не вышла на улицу — принести нам свет, свободу и жизнь». За одну эту вымершую пустыню таких, как Бойл и Шнелль, следовало вешать, вешать и вешать, как вешали палачей из зондеркоманд — всю эту гестаповскую скверну. Но пока еще неприступной крепостью тянулись по улице глухие стены Си-центра, горел фонарь над пропускной будкой и послушные галунщики открывали ворота нашей машине.

А далее — все как обычно. Шнелль и Губач помогали сгружать на весы ящики и контейнеры, а я заполнял рапортичку, обмениваясь репликами с дежурным по складу.

— На этот раз благополучно?

— Вполне.

— Опять урезали мясо и птицу.

— Разве? Я не в курсе.

— Весы показывают. А шампанское и коньяк уже не в одном, а в двух контейнерах, и деликатесов более восьми тонн. Поди посмотри.

Но смотреть мне не хотелось, кроме того, я ему верил и, сыграв наивность, спросил:

— А почему?

— Мы кто? — засмеялся дежурный.— Мы запасник. А для кого запасать? Для себя.

Я заметил, что Шнелль прислушивается к нашему разговору, и скомандовал:

— По местам!

Шнелль уже пропустил Губача в кабину и ждал меня.

— Возвращаемся рядышком, Ано. Выполняю приказ,— сказал он с наигранной почтительностью.— Так что проходи и садись посередке, как старший.

Я все еще медлил.

— Или боишься?

Не мог же я показать этой твари, что и в самом деле боюсь. Но сесть между ними — это конец. Я подумал и ответил:

— Ладно. Проходи ты. Я сяду с краю.

Он пожал плечами с подчеркнутым равнодушием:

— Твое дело.

Мы выехали на стрежень проспекта и вновь поплыли по нему — по все той же тихой и темной реке: крытые высокие берега, безлюдье, тишь. Машина вернется в последние предрассветные минуты, значит, Шнелль с напарником постараются напасть ночью. Бессмысленно гадать, на каком километре, в лесу или в городе. Фактически никто не помешает им застрелить меня на этой же улице и, раздев, выбросить голого на мостовую. Мало ли как можно объяснить происшедшее: Шнелль придумает.

Я вынул приготовленный пистолет из кармана и несильно ткнул ему в бок:

— Спокойно, Шнелль. Пошевелишься — стреляю.

— С ума сошел.

— Молчи. Я уже давно обо всем догадался. Предупреди напарника, чтоб тоже сидел смирно. Тебе спокойнее.

Предупреждение было излишне. Губач все слышал и молчал. Он даже не пошевелился, разумно решив, что выгоднее.

— Я подам рапорт.

Не отвечая, я только сильнее вдавил ему в бок стальное дуло. Он тотчас же замолчал. Так мы пересекли Город, проехали мимо въездной заставы и свернули на лесное шоссе. Когда мы проезжали постовых, я думал, крикнет ли Шнелль, попытавшись поднять тревогу. Что будет? Ничего не будет. Машина, не снижая скорости, уйдет вперед, постовой не рискнет покинуть поста, в крайнем случае, выстрелит в воздух. Пока выяснят причины тревоги, пока с заставы позвонят Оливье, машина уйдет еще дальше, и догонять ее никто не станет, да и верховые все равно не догонят. Вероятно, о том же подумал и Шнелль, но промолчал, понимая бессмысленность любого сигнала о помощи. Да и любая помощь только сорвала бы его план, а со мной одним у него еще был шанс справиться.

— Не глупи,— начал он.— Оставь пистолет. Еще час ехать — рука устанет.

— Не твоя забота.

Я знал, что ехать осталось не час, а минуты. Где-то впереди нас ждал завал, а у завала — Зернов с Мартином. Машина медленно остановится, автоматически распахнутся дверцы кабины. Губач спрыгнет в темноту, напорется на свет фонаря и автоматную очередь Мартина. Одновременно я нажимаю курок пистолета — так было скорее и безопаснее. Но я уже знал, что не выстрелю первым. Еще при обсуждении нашего плана я куксился, уверяя, что едва ли сумею застрелить несопротивляющегося человека. «Даже заведомого мерзавца?» — спросили меня. Я промолчал. «Тогда выскакивай из кабины и ложись под колеса — я срежу обоих». Я вспомнил Сен-Дизье, и мне стало стыдно. Чем Шнелль лучше Ланге?

Но сейчас, когда он покорно, не шевелясь, сидел рядом, я понял, что первым все же не выстрелю. Не смогу. От волнения у меня даже дрогнула рука с пистолетом, и Шнелль испуганно повторил:

— Не сходи с ума, не сходи с ума.

Быть может, он уже предчувствовал свой конец, даже считал минуты. Я тоже считал минуты, вглядываясь в синюю чащу леса и мысленно спрашивал себя: «Когда же, когда?»

Черная тень поваленного поперек дороги дерева двинулась навстречу сквозь сумрак. Стекловидная пленка шоссе, скупо отражавшая звезды, сразу укоротилась.

— Что это? — спросил Шнелль, не двигаясь.

Ответом была внезапная остановка машины и тихое пощелкивание открывающихся дверей. Губач, как я и предполагал, сразу выскочил в темноту. Сверкнул фонарь, грохнул автомат, и молчаливый напарник Шнелля беззвучно плюхнулся наземь. Продолжалось это секунду, не больше, но я не выстрелил. Я тоже выпрыгнул и прижался к огромным колесам машины. Шнелль тут же из кабины открыл огонь, но никто не ответил. Он подождал и осторожно выбрался из машины. Снова сверкнул фонарь — самодельный электрический фонарь Мартина. Но очередь не поспела: Шнелль выстрелил и, перемахнув кусты, скрылся в чаще. Я выстрелил вслед ему в темноту. Он ответил — я даже услышал, как пули скрежетнули по двери кабины. Снова вспыхнул фонарь Мартина, прощупывая ближайшую полоску кустов. Но Шнелля он не нащупал. Не раздалось и ответной очереди: Шнелль не стрелял, полагая, что уйдет в темноте. Вероятно, об этом подумал и Мартин, потому что его автоматные очереди уже вслепую крошили кусты, за которыми скрылся Шнелль. Ничто живое не могло уцелеть за ними, но мы не услышали ни стона, ни шороха.

Омерзительный стыд охватил меня: «Интеллигентский хлюпик, трус!»

— Не стреляй,— сказал я, подымаясь.— Он где-то здесь. Я найду его.

Не раздумывая больше, я двинулся напролом сквозь кусты и чуть не ударился лбом о ствол торчавшего в кустарнике дерева. Но что-то я, во всяком случае, задел, и это что-то скользнуло по стволу вверх.

Я посмотрел туда, уже привыкший к темноте, и разглядел словно ноги в сапогах, прижавшиеся к дереву. Потому и промазал автомат Мартина, что Шнелль успел подняться по стволу над кустами. Сейчас я уже не терял времени: пистолет грохнул несколько раз, и грузное тело сорвалось вниз, с треском ломая кусты.

— Готов, кажется. Полголовы снес,— сказал, освещая упавшего, Мартин.

Я отвернулся к Мартину — глядеть на убитого Шнелля мне не хотелось, а Мартин выглядел почти неотличимо от Шнелля, с таким же галуном на мундире и в таких же сапогах. Только их и лампас на штанах вырвала из темноты тоненькая струечка света.

— Где Борис? — прохрипел я: голос мне едва повиновался.

— Ждет нас у поваленного дерева. Надо открыть шлагбаум.

Мы оттащили в сторону срубленный ствол — трое в серых мундирах, ординарный полицейский патруль. Я только подумал: «Что будем делать, когда машина остановится у поворота к голубым протуберанцам? Нажать рычаг ручного стартера и продолжать путь? Но постовые с лошадью могут поднять тревогу. Правда, обычно в эти часы постовых на конечном пункте уже нет и патрульные последней машины добираются до заставы пешком. Ну а если нас встретит сам Оливье, у которого есть все основания тревожиться, или пошлет навстречу нам верховых с запасными лошадьми?»

Я поделился своим беспокойством с друзьями.

— Ну и что? — равнодушно заметил Мартин.— Мы пройдем сквозь «пятно», а они нет.

— А если не пройдем?

— Уйдем в лес или будем отстреливаться.

— От кого? От Оливье? — спросил я таким тоном, что тут же вмешался Зернов:

— Он твой друг, Юра?

— Почти.

— Порядочный?

— А с кем я могу дружить, по-твоему?

— Значит, на него можно рассчитывать?

— В каком смысле?

— В прямом. Не подведет?

— Думаю, нет. Ко мне он относится по-товарищески.

— Тогда рискнем.

Так и произошло. На конечной остановке нас ждал с лошадьми Оливье.

Я вышел один.

Близился рассвет, окружавший сумрак синел, тени становились все различимее. Даже виднелись голубые

протуберанцы вдали. Они казались низвергающимися с неба темно-синими, почти черными водопадами.

Оливье издали заглянул в кабину:

— Ты один?

— Нет.

— Почему же они не выходят?

— Это не они. Тебе можно довериться, Оливье. Больше друзей у меня в полиции нет. Шнелль и Губач пытались меня прикончить. Но вышло наоборот. Теперь я в твоих руках, Оливье.

Он засмеялся:

— Их никто не пожалеет, Ано. Будь покоен.

— А теперь оставь меня, Оливье. Ты замещаешь меня на заставе до завтра. И ничего не спрашивай: все расскажу потом.

— А сейчас?

— Еду дальше.

— Куда?

— До конца с этой машиной. Туда, откуда они выходят.

— Не пройдешь. Воздушный заслон. И сила, понимаешь ли, Ано,— сила, которая прижимает тебя к земле. Ты еще не знаешь...

— Знаю.

Я поднялся в кабину и крикнул все еще недвижимому Оливье:

— И никому ни слова до завтра.

— А если Бойл? — услышал я.

— Скажи: взял отпуск до вечера.

Ответа я не услышал. Мартин уже нажимал ручной стартер, дверца автоматически захлопнулась, и машина бесшумно свернула к черным сияющим водопадам.

Они двигались нам навстречу, но ничто не останавливало нас, только светлое пятно в темно-синей стене становилось все шире и ярче.

— Фиолетовое «пятно»,— прошептал Зернов.

Слов не было. Мы молчали, когда наша черная бесшумная махина прошла сквозь лиловый туман и по глазам ударил выплеснувшийся из ночи день.

Как старый библейский бог, кто-то сказал: «Да будет свет»,— и стал свет.

Часть третья

ПЯТЬ ХЛЕБОВ И ДВЕ РЫБЫ

Глава XXIV

НА БЕРЕГУ «ГЕНИСАРЕТСКОГО ОЗЕРА»

Но свет был красный, почти розовый, свет утренней зари, когда еще не взошедшее солнце разливает багрянец по небу. Он окружал нас туманным куполом, вызывая смутно знакомые воспоминания. Машина остановилась сама, и дверцы распахнулись, как бы приглашая нас выйти. Мы выскочили один за другим и даже не заметили, как и куда исчез доставивший нас экипаж. Он просто растаял или провалился сквозь землю, оставив нас посреди розового купола.

Я оглянулся: фиолетовая пленка, тугая и непрозрачная, медленно затягивала отверстие в куполе, словно лепестки диафрагмы объектив фотокамеры. Они чуть вздрагивали, как от легкого ветерка, а «пятно» становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не превратилось в едва заметную точку на матовой стенке купола. А потом и она исчезла, растаяв в красноватом тумане.

— Кажется, влипли,— произнес Мартин.

Никто не ответил. Мы все еще переживали внезапную потерю свободы. Такое же чувство, наверно, испытывает узник, глядя на тяжелую дверь тюремной камеры, отрезавшую его от мира. Что ждет нас? Как долго пробудем мы в этом пугающе непонятном, но чертовски заманчивом заключении? Что оно сулит нам? Новые приключения в стране моделированных призраков, ворвавшихся однажды не в здешний, а в парижский отель «Омон»? Похоже на то. По крайней мере, по цвету.

Глаза уже привыкли к красноватому освещению нашей

ни на что не похожей темницы. Метров двадцати в длину, она, если приглядеться, могла показаться выпуклой линзой, разрезанной по диаметру. В нескольких шагах перед нами алый туман сгущался, образуя ровную, без просветов стену. Я говорю «стену» только потому, что у меня нет более подходящего слова. Тонкая пленка на густеющем клее или поверхность изгибающейся желеобразной массы.

Я шагнул вперед и протянул руку. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина.

— Фокусы из Сэнд-сити,— пренебрежительно сказал Мартин, повторив мой жест.

— Откуда? — не понял Зернов.

— Из Сэнд-сити. Помните, я писал Юри? Такая же упругая чернота, заполнявшая моделированные дома. Здесь тот же трюк, только цвет другой.— Он слегка прислонился к «стене» и тут же наполовину исчез в ней, как пловец на спине в стоячем пруду.

— Осторожно! — предупредил Зернов.

— А зачем осторожничать? — весело отозвался Мартин.— Я в таком киселе от полиции прятался. А здесь...

Он не закончил. Нелепо взмахнув руками, он провалился сквозь «стену» — только мелькнули ноги в желтых сапогах. Не раздумывая, мы бросились за ним.

Было похоже на прыжок в воду: так же сдавила тело влажная тугая среда, так же захватило дыхание, закололо в ушах. Ощущение было настолько сильным, что я невольно развел руками, как пловец, одновременно оттолкнувшись ногами от пружинящего «дна» под «водой». Внезапно пальцы нащупали что-то жесткое и прямое: палка не палка — не разобрал, но судорожно ухватился за это «что-то» и рванулся вперед. Малиновое желе вытолкнуло меня, как пробку, чьи-то сильные руки подхватили меня, и я уткнулся носом в серый мундир Мартина. Он по-мальчишески захохотал, радуясь моему приключению.

— Гляжу, из стены рука. Тянется, тянется — и хвать меня за локоть. А с ней голова: глаза моргают, морда испуганная, ничего не соображает,— в рай или в ад попал?

Я неприязненно откашлялся: во рту першило.

— Кончай клоунаду. Где Борис?

— Я здесь.

Зернов тоже возник из стены.

— Занятный трюк,— засмеялся он и снова пропал в малиновой гуще.

Не скрою, было забавно смотреть, как человек медленно появляется из стены: сначала нога, потом руки, тело, лицо. Зернов остановился, перерезанный пополам красной плоскостью.

— Сам себе барельеф,— усмехнулся он и вышел из стены полностью.— Светозвукопроектор. Великолепная изоляция! — с ноткой зависти резюмировал он — зависти земного ученого к неизвестному на Земле открытию.

— Уплотненный воздух? — спросил Мартин.

— Не обязательно воздух. Скорей всего, газ или коллоид без запаха. Может быть, тот, который они использовали при моделировании крупных объектов. Например, городов или заводов.

— Или отелей,— добавил я.— Скачки с препятствиями и клинок в горле.

— А что нам грозит? — безмятежно вопросил Мартин.— Тишь да гладь. Малиновый оазис в царстве волшебников. Оглянись да полюбуйся.

Огромный зал, метров сорока в поперечнике, был совершенно пуст. Уже знакомые красные стены его светились изнутри теплым матовым светом, создававшим ощущение вязкости и густоты воздуха в зале. Но ощущение было обманчивым: дышалось здесь легко и привольно, как в лесу или в горах поздней осенью.

Зал был не квадратным, не круглым, а неровным и зыбким, словно растекшаяся по стеклу гигантская капля воды. Малиновый газ у стен то сгущался, то снова таял в воздухе, и от этого казалось, что стены дышат. Но самым странным был пол. Он чуть подрагивал через равные промежутки времени, и дрожь эта вызывала на его поверхности мелкие барашки волн, как будто легкий ветерок проносился над черным зеркалом озера. Он и впрямь походил на озеро с неровными пологими берегами, прозрачное по краям и матово-черное в глубине, где даже хороший пловец не достанет дна. Я невольно поежился:

меня отнюдь не прельщала сомнительная перспектива очутиться в его, может быть, ледяной воде с ключами и омутами.

— Страшновато? — ободряюще улыбнулся Мартин.— Мне тоже.— Он помолчал и прибавил, словно прочел мои мысли: — Как озеро, правда? И ветер свистит в камышах.

Я прислушался. Чуть слышный протяжный свист пронесся над колеблющейся гладью озера. Секунду спустя он повторился, стих и снова возник, будто кто-то невидимый, сложив трубочкой губы, насвистывает ритмически несложный мотив.

— Это не озеро,— сказал до сих пор молчавший Зернов.

Он присел на корточки, пристально всматриваясь в его непрозрачную зыбкую черноту. Потом протянул руку и коснулся его неровной поверхности. Из-под пальцев тотчас же побежали мелкие барашки волн, а свист усиливался, окреп на секунду и опять затих.

— Знаете, на что это похоже? — Зернов произнес это уверенно, как разгадавший загадку.— На зыбучие пески. Волны и свист...— Он передернулся.— Неверный шаг — и конец. Засосет намертво.

— Что же делать? — почему-то шепотом спросил Мартин.— Бежать?

— Куда? — усмехнулся я.

— И зачем? — сказал Зернов.

Сейчас он походил на человека, что-то решившего, но еще колеблющегося. Он стоял, раскачиваясь на носках, с отведенными назад руками. Так стоишь перед канавой или ручейком, раздумывая, сможешь ли перепрыгнуть. Потом снова присел на корточки, снова коснулся «озера», прислушался к свисту и вдруг, выпрямившись, быстро шагнул вперед. Я не успел задержать его, а он уже шагал по «воде», уверенно балансируя на ее зыбкой поверхности.

— Стой! — хрипло крикнул Мартин.

Зернов остановился. Волны, вызванные его шагами, медленно опадали, превращаясь в уже знакомую мелкую рябь.

— Зачем? — повторил Зернов и шагнул дальше.— Пошли. Не век же здесь отсиживаться.

Переглянувшись, мы осторожно последовали примеру Зернова, ступив на «воду» и убедившись, что она держит, как батут. Не знаю, что испытывал Христос, шагая по зыбкой глади Генисаретского озера, но думаю, что особого удовольствия ему это не доставило. Тугая пленка под ногами то уходила вниз воронкой, то вспучивалась пузырем, и если бы не Мартин, я бы давно растянулся на глянцевых «волнах» этого «озера». А Зернов шел балансируя, словно канатоходец на проволоке, ловко и элегантно: только шест в руки — и на арену. Где-то посреди этой пленки он вдруг остановился и указал под ноги:

— Смотрите.

Я вгляделся и замер от удивления. Прямо под стекловидной оболочкой «озера» текла и вспучивалась густая огненно-красная масса. Она медленно переваливалась, как под лопастями гигантской мешалки, и на ее поверхности то и дело вздувались и лопались светящиеся пузырьки.

— Если б мы были на Земле,— размышлял вслух Зернов,— я бы сказал, что все это похоже на плазму, запертую в магнитной ловушке. Такая штука называется плазмотроном и применяется, например, для химического синтеза... Но мы, к сожалению, не на Земле.

По-видимому, он хотел сказать, что земной ученый объяснить этого не сможет, и, не продолжая, пошел вперед. Пленка прогибалась и вспучивалась, а он все шел, и каждый шаг его вздымал ровные гребешки «волн». Мне вспомнился фильм Пазолини: темная гладь Генисаретского озера, лодка с апостолами вдали и черная фигурка Христа. Картина повторялась, только на этот раз в цвете.

— Ты что-нибудь понимаешь? — толкнул меня Мартин.

— Я — нет.

— А он?

Я слишком хорошо знал Зернова, чтобы догадаться: он что-то придумал. И, как всегда, хочет сначала проверить догадку, прожевать и переварить ее, прежде чем поделиться с нами. Я объяснил это Мартину, держась за него, чтобы не упасть. А мы шли, ничего не видя, кроме

малиновой стены, такой же, как и у входа в зал, вернее, места, откуда провалился Мартин и откуда, как факир из пламени, вышел Зернов. Сейчас он дошел до стены и, обернувшись, поощрительно махнул рукой.

— Догоняйте!

Я нырнул в малиновую дымку, издали казавшуюся совершенно непроходимой.

На этот раз путешествие сквозь стену показалось мне короче и будничнее. Не было ни страха, ни удивления. Я просто шагнул в спрессованный газ и, задержав на минуту дыхание, вышел с противоположной стороны. Вышел и... ничего не увидел.

Меня окружал знакомый красный туман, такой же густой и плотный, как на лестнице в парижском отеле «Омон». Я не видел ни Зернова, ни Мартина. Может быть, они еще не вышли из газовой стены, а может быть, молча стояли рядом, в двух шагах, и меня тоже не видели. Я поднес руку к глазам. Сквозь красную муть проступили еле заметные очертания растопыренной пятерни. Так видно сквозь черное стекло защитной маски электросварщика. Вся разница заключалась в том, что стекло было красным.

— Борис! Дон! — позвал я.

— Юри? — Голос Мартина прозвучал сзади.— Ты где? — Чья-то тяжелая рука нашла мое плечо, и голос Мартина удовлетворенно произнес: — Нашел! Туман проклятый.

— А теперь найдите меня,— воззвал невидимый Зернов. Судя по голосу, его крайне забавляла создавшаяся ситуация.

Я пошарил рукой в окружавшем нас малиновом киселе и поймал руку Зернова, ощутив легкое пожатие его пальцев. Он словно говорил мне: «Все в порядке, Юрка. Нам ничто не грозит — сам знаешь...»

Да, я знал, что нам ничто не грозит. Знал и то, что мы участвуем в гигантском спектакле, поставленном нашими знакомцами из Антарктиды. Но в качестве кого? Судя по первому действию, в качестве актеров. С заранее написанными ролями. Где надо — удивиться. Где надо — испугаться. А сколько актов в этом спектакле? Что будет с его героями? Трагический финал или хэппи энд? На-

верняка даже всезнающий Борис не мог бы ответить на эти вопросы. Что ж, подождем. У нас еще многое впереди. Много времени и много событий.

Мы стояли, взявшись за руки, невидимые друг другу, топтались и молчали. Каждый мучительно соображал: что же дальше? В общем-то, сомнений не было: надо идти. Стоять и ждать «видения, непостижимого уму» явно бессмысленно. Красный кисель придуман не для нас и не минуту назад. Он чем-то служит в этой дьявольской кухне, как и огненная каша под магнитной пленкой «Генисаретского озера». Но куда идти? В какую сторону? Мы оказались в нелегком положении витязей на распутье: направо пойдешь — в беду попадешь, налево двинешься — с бедой не разминешься. Беда не беда, как говорится, но идти наобум было страшновато.

Молчание нарушил Зернов:

— Стоянка отменяется. Пошли.

— Куда?

— Куда глаза глядят, если применимо сейчас это понятие.

Мы двинулись ощупью, как слепые, крепко взявшись за руки, долго пробуя ногой пол, прежде чем сделать очередной шаг. Невольно вспомнилось когда-то прочитанное: «Я спотыкаюсь, бьюсь, живу, туман, туман — не разберешься...» Сколько времени мы шли? Полчаса? Час? Я перестал ощущать время, как запертый в сурдокамере. Не всякий кандидат в космонавты выдерживает это испытание, оставленный один на один со своими мыслями, страхами и надеждами.

Куда мы шли, а вернее, плыли в этом желе, я не знал. Просто шел, механически перебирая ногами, чтобы только не останавливаться, не терять ощущения реальности. Внезапно Зернов, шедший впереди, отшатнулся.

— Что случилось?

— Некуда дальше — стена.

— Так иди сквозь. Это же кисель.

— Был кисель. А сейчас резина. Я кулак отшиб.

Я попробовал пройти и наткнулся на нечто твердое, как протектор.

— Значит, назад под купол?

— Подождем,— философски заметил Зернов.— Стена

у «Генисаретского озера» тоже не сразу открылась. Повторим опыт Мартина.

— Какой опыт?

— Прислонюсь.— Он молчал.— Провалюсь — подам голос. Все на ощупь, как в стране слепых. Небольшое удовольствие для зрячего.

— А как вы догадались, что стена именно здесь? — спросил Мартин.

— Логически. Если сзади вход, впереди выход.

— А если это не выход?

— Будем искать.

Перспектива снова бродить в багровом тумане мало прельщала. Я уже хотел было объявить об этом Зернову, как он закричал:

— Стена открылась! Скорее!

Шаг вперед — и плотный багровый газ снова сменился розовой дымкой, в которой все стало видно — и наши сцепившиеся в тревоге руки, и наши лица, на которых радость боролась с только что пережитым испугом.

Глава XXV

ШАГИ ПО ЛИЦУ

Перед нами был зал, большой и высокий, как закрытый теннисный корт стадиона «Динамо». Холодный и мрачноватый, он освещался множеством нелепых светильников, в беспорядке расставленных на полу. Они напоминали бесформенные мешки, набитые чем-то вязким и блестящим, как рыбья чешуя. Она и была источником этого холодного серебристого света, позволявшего видеть привычно красные стены зала, его неровный, но твердый пол и растекшееся золотое пятно посреди, такое большое, что, казалось, здесь вылили, по крайней мере, цистерну золотой краски, которой подновляют изделия из папье-маше в декорационных мастерских Большого театра.

Не скрою, это было красиво: мерцающие серебряные фонари и гигантская золотая монета, небрежно брошенная Гулливером на черный пол Лилипутии.

— Усиление пульсации,— подметил Зернов.— Что это? Начало нового действия?

— Ты о чем?

— «Мешки» пульсируют.

Я присмотрелся. «Мешки» действительно пульсировали, но не все и по-разному. Пульсация одних походила на равномерное и медленное дыхание, словно в них периодически то накачивали, то выпускали воздух. Другие «дышали» часто и неровно, а серебристое сияние в них в такт этим «вздохам» то усиливалось, то слабело, почти угасая. Лишь еле заметные искорки пробегали тогда по гладкой коже «мешка».

— А вдруг они живые? — насторожился Мартин.

— Любопытная штука,— продолжал, не слушая его, Зернов.— Посмотри-ка сюда: у стены, третий слева.

С третьим слева «мешком» происходило действительно что-то странное. «Дыхание» его стало мелким и частым, вероятно, больше ста «вздохов» в минуту, а мерцающее сияние превратилось в ровный, особенно яркий свет. И оно все усиливалось, а «мешок» уже не дышал, он словно подскакивал на месте, и скачки с каждой секундой становились все отчетливее. И вдруг он, сорвавшись с места, большими прыжками стал продвигаться вперед, лавируя между светящимися собратьями.

Он направился к золотому пятну, с каждым разом удлиняя прыжок. Зернов схватил меня за руку и даже пригнулся, наблюдая за ожившим светильником.

— Сейчас, сейчас...— бормотал он.— Ну еще немного, еще...

И, словно услышав его слова, «мешок» сделал гигантский прыжок, точно опустившись на золотое пятно. Пульсация его тут же прекратилась, он вспыхнул уже не серебристым, а белым, как от накала, светом — и пропал. Загадочно и бесследно, будто его не было и в помине.

— Финис,— по привычке сказал Зернов.— Ну а где следующий?

Он явно не удивился ни поведению взбесившегося «мешка», ни его загадочному исчезновению. В глазах его я читал только любопытство — не праздное любопытство зеваки, охочего до необычных зрелищ, а пытливое любопытство ученого, встретившегося с Неведомым.

— Куда же он делся? — спросил Мартин.

— Сгорел в пещи огненной,— сказал я.

— Она же холодная.

— А ты пощупай.

— Что-то не хочется,— засмеялся Мартин.

— И не советую,— вмешался Зернов,— не подстрекай, Юра. Все здесь сложно, необычно и небезопасно. Может быть, даже очень опасно. Экспериментировать не будем, тем более что готов еще один подопытный кролик.

Еще один «мешок» в точности повторил действия своего предшественника. Так же медленно разгорался, лихорадочно пульсируя и подпрыгивая, так же бодро допрыгал до середины золотого пятна, так же вспыхнул напоследок и пропал, не оставив ни гари, ни копоти.

— Мне кажется,— заметил Зернов,— что воздух к пятну должен нагреваться.

— Почему?

— Давай проверим.

— Может быть, не стоит,— нерешительно возразил я.— кто знает, что это за фокус!

Но Зернов уже пробирался к золотой кляксе, лавируя среди агонизирующих «мешков».

— Так и есть.— Он обернулся и помахал нам рукой.— Жара, как в парилке, и никаких ужасов!

Я последовал его примеру и сразу почувствовал, как нагревается воздух.

— Как ты догадался? — крикнул я Борису.— Оно действительно горячее.

— Опять промазал,— усмехнулся он.— Пятно само по себе отнюдь не горячее.— Он тронул ладонью край золота.— Ледышка. Горяч только воздух.

— Странно.

— Не очень. Телепортация[1] сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Воздух мгновенно нагревается.

— А откуда ты взял, что это телепортация?

— Не знаю,— осторожно ответил Зернов.— По-моему,

---

[1] Телепортация — идея мгновенного перемещения в пространстве. Английский ученый и писатель Артур Кларк допускает, что телепортация материи будет достигнута человеком к концу следующего века.

похоже. Впрочем, можешь выдвинуть встречную гипотезу.

Я благоразумно промолчал: попробуй поспорь с Борисом, а его внимание уже отвлек новый «подопытный кролик», прыгающий к золотому центру. Приземлившись, он ярко вспыхнул и тоже исчез. Воздух над золотом накалился еще сильнее.

— Видишь? — обернулся Зернов.— Один — ноль в мою пользу.

Я начал подыскивать в уме собственную гипотезу, которая могла бы опровергнуть всезнайку, но Мартин опередил меня.

— Они сгорают? — спросил он.

— «Мешки»? Нет, конечно. Они сейчас где-нибудь в соседнем цехе — продолжают цепь превращений.

— Почему превращений?

— Потому что это процесс производства. «Мешки» могут быть и машинами, способствующими эволюции материи, образующей на конечном этапе нужный продукт, а могут быть и самой материей, претерпевающей какие-то изменения в ходе процесса. Впрочем, это только домысел, а не гипотеза.

— А свет? Вспышки?

— Побочные явления. Может быть, действующая часть физико-химического процесса. Кто знает? Я — пас, как говорится.

Мартин подумал и спросил. Именно то, что мог спросить Мартин:

— А человек может пройти телепортацию?

— Вероятно. Только я бы не рисковал.

— А я рискну,— сказал Мартин и, прежде чем мы успели остановить его, одним прыжком очутился в центре золотого пятна.

«А если вспыхнет?» — ожгла страшная мысль. Но Мартин не вспыхнул — он просто исчез. Все произошло в какие-то доли секунды: был человек — нет человека. Только горячий воздух дрожал и отсвечивал над золотым подобием круга, прихотливо искажая очертания серебристо поблескивающих «мешков».

Помню, что я кричал и вырывался из рук Зернова, а он удерживал меня и шептал какие-то успокаивающие слова. Я их просто не слышал, томимый одним желани-

ем — догнать Мартина. А потом я сидел на холодном полу, бессмысленно вглядываясь в багровую дымку зала, а Борис все еще что-то говорил мне, и опять слова не доходили, угасая где-то на полпути. Я поднял голову и посмотрел в его близорукие глаза. Возможно, мне показалось, что в них стояли слезы. Впрочем, наверное, только показалось.

— Что ты говоришь? — выдавил я сквозь зубы.

— Идти, говорю, надо.— Он разговаривал со мной, как с больным ребенком.— Искать надо. Мартин жив. Где-то он ждет нас.

— Где? Под золотым пятном? Значит, туда?

— Нет. Другим путем. Я убежден, что найдем. Живого и невредимого.

Верил ли он сам тому, что говорил, не знаю. Но и мне хотелось этому верить. Шагнем куда-нибудь — и вдруг услышим смех и самоуверенное, как всегда у Мартина, восклицание: «Рано хороните, мальчики! Даже бывшие летчики так просто не подыхают». Слишком дорого пришлось заплатить за то, чтобы мы поняли, как близок стал нам этот парень, иногда утомлявший, подчас раздражавший, но всегда готовый прийти на выручку,— друг, на которого можно положиться в беде. Расхождений у нас с Зерновым не было — мы думали о Мартине одинаково.

— Надо искать, Юра,— повторил он.

Я тяжело поднялся, опираясь на его руку. Не оглядываясь и не разговаривая, мы подошли к стене и прошли сквозь нее, как и раньше, уже в четвертый раз на нашем пути. В соседнем пространстве Мартина тоже не было. Пустой и неприветливый зал, пожалуй, больше предыдущего походил на заводской цех — старый цех с тусклыми, грязными окнами, откуда давно вынесли все оборудование. Мне почудился даже запах пыли и ветоши, сгустившийся в темных, холодных углах.

— Не туда вышли,— вырвалось у меня.

— Помолчи,— предупредил Зернов.

Откуда-то из глубины этого замкнутого пространства доносилось нараставшее гудение, нарушая сонную, неподвижную тишину, словно где-то поблизости работали спрятанные или просто невидимые машины.

— Что это?

— Помолчи,— повторил Зернов.

Сейчас он походил на охотника, почуявшего добычу. Но «добыча» опередила его. Внезапно вспыхнул ярчайший свет. Даже ярчайший — не то слово: вспыхнули тонны магния или взорвалась бесшумная бомба. Пол отвалился назад, стены качнулись и сдвинулись над нами, угрожая опрокинуть и раздавить. Я оперся руками за ускользающий пол, но не удержался и пополз вниз, как на палубе суденышка в двенадцатибалльный шторм. А пол уже изогнулся горбом и встал на дыбы. Я тоже вскочил и закачался, нелепо размахивая руками. «Мир вывихнул сустав»,— вспомнил я Шекспира. Все было вывихнуто в этом мире — и кости, и мускулы.

— Борис! — кричал я.— Борис! — Но крик мой тонул в непрерывном гуле, сменившем безмолвие взрыва.

Наконец я очень удачно докатился до того, что мы называли стеной, поднялся опять и, с трудом сохраняя равновесие, огляделся вокруг. Зернова я не увидел — должно быть, он все еще боролся с «приливами» и «отливами» пола; они утихали помаленьку, да и гудение постепенно стихало, превращаясь в прежний «рабочий шум». В зале образовался добрый десяток воронок, гасивших кульбиты пола, и с каждым новым кульбитом в воронках зажигались сотни ячеек, будто зеркальных стеклышек, которыми оклеивают картонные шары в школьных физических кабинетах. А в центре зала растекалось по полу золотое пятно — пятно-двойник или, по крайней мере, близнец того, в котором исчез Мартин.

Я медленно пошел вдоль стены, не отрывая глаз от ближайшей воронки, в зеркальном нутре которой, как в ванночке с проявителем, проступали расплывчатые контуры человеческого лица.

Я знал, чье это лицо. Я знал, не верил своим глазам, настолько нелепым и страшным было то, что отражалось в сотнях зеркальных ячеек пятиметровой радужной ямы. Вернее, не отражалось, а подымалось откуда-то из глубины зазеркалья, гримасничая и подрагивая, как отражение в мутной речной воде. Это было лицо Дональда Мартина, плоское, как лица на полотнах Матисса, увеличенная раз в десять маска без затылка и шеи. Она

подмигивала, кривлялась, беззвучно открывая перекошенный рот, и все наплывала и разрасталась, пока не заполнила целиком граненую линзу воронки.

Я невольно зажмурился, втайне надеясь, что это галлюцинация, что кошмар исчезнет, но он не исчез, не растаял в багровом тумане. Гигантская маска Мартина по-прежнему кривлялась под ногами, и я тщетно пытался прочитать что-либо в ее огромных глазах.

— Юрка, сюда!

Я вздрогнул и обернулся. Зернов стоял в нескольких метрах от меня, вглядываясь в глубь другой такой же зеркальной воронки. Я знал, что он видит в ней и что чувствует. «Вдвоем разберемся скорее, да и легче будет вдвоем-то»,— подумал я и, не раздумывая, побежал, подскакивая на прыгающем полу. Ни тревоги, ни страха в глазах его я не прочел — они смотрели на меня спокойно и рассудительно.

— Ты бы рискнул объяснить все это? — спросил он меня. А когда я заглянул в воронку, нетерпеливо добавил: — Ты кругом посмотри.

В превеликом множестве таких же радужных воронок вокруг нас отражалось то же многократно повторенное лицо Мартина. Искаженное до неузнаваемости, как в кривых зеркалах комнаты смеха, оно беззвучно кричало множеством ртов, словно умоляло о помощи. Я сказал — беззвучно, потому что тишина окружала нас, стихло даже монотонное гудение, сопровождавшее внезапно рожденное лицо.

— Может быть, оптическая иллюзия? — задумчиво предположил Зернов.

Он протянул руку к маске Мартина. Я невольно вздрогнул: лицо дернулось, отшатнулось, словно испугалось безобидного жеста. Борис поспешно убрал руку, и лицо снова начало расплываться и подрагивать.

— Нет, не иллюзия,— сказал Зернов,— оно реагирует на внешние раздражители.

— Значит, он жив?

Зернов укоризненно взглянул на меня. Лицо его осунулось и потемнело.

— Зачем ты спрашиваешь? Я не хочу, не могу думать иначе.

Он снял очки, усталым движением протер глаза и снова стал прежним Борисом, спокойным и невозмутимым, каким я привык видеть его на конференциях, дружеских собеседованиях и даже в тревожных встречах с призраками из Сен-Дизье.

— Мне думается,— сказал он,— что эта линза не что иное, как своеобразный телеглаз с эффектом присутствия.

— Чьего присутствия?

— Нашего, Юрка. Мартин сейчас где-то в другом месте, может быть, далеко. Кто знает, какова протяженность автоматических линий их производственного процесса? Попал он туда не по законам евклидовой геометрии. Что такой нуль-переход, какими физическими законами он обусловлен, наша наука не объяснит. Раз — и ты в другом месте! А нас видишь. И даже пытаешься говорить с нами. Так и Мартин. Иначе всей этой чертовщины объяснить не могу.

— А воронки?

— Вогнутые линзы? Телеэкраны.

— Значит, он нас видит?

— Конечно. Ты заметил, как он отшатнулся, когда я протянул руку к его лицу?

— Так ведь... зеркало,— нерешительно возразил я.— Стекло, как в телевизоре.

— Человек, сидящий у телевизора, не испугается даже пистолета, наведенного на нас с экрана. Телевизор не создает полного эффекта присутствия. А Мартин испугался, вернее, просто отшатнулся — естественная реакция человека, которому тычут в лицо. Вполне возможно, что не только видит, но и с интересом прислушивается к нашей беседе.

Как мне хотелось, чтобы Зернов оказался прав! И кто мог знать, что даже верные в основе предположения не всегда приводят к желаемым выводам!

А он, увлеченный вероятностью гипотезы, продолжал все более убежденно:

— Представь себе автоматическую линию — пусть автоматы будут и не такими, какими мы их знаем у себя на Земле, но линия есть, и она контролируется каким-то вычислительным устройством. Пока все идет нормально, устройство это не вмешивается в деятельность автомати-

ческого потока. Но вот что-то нарушило ритм работы, и центр мгновенно отключает линию, пересматривает всю систему в поисках ошибки. Аналогия проста: «мешки» — это сырье или автоматы завода, а Мартин — ошибка, дополнительный фактор. И вот мозг завода, это неведомое нам вычислительное устройство, выключает систему, стараясь найти и поправить ошибку, то есть...— Он замолчал, пораженный внезапной догадкой.

— Не заикайся,— подтолкнул я его.

— То есть Мартин должен вернуться тем же путем... Как я раньше не догадался!

Он снова заглянул в воронку и застыл. Лицо Мартина в ней бледнело и расплывалось, как изображение на телеэкране, а вместе с ним бледнело и гасло белое свечение воронки. В зале становилось заметно темнее, лишь багровый туман у стен светился изнутри, как еще не погасший камин.

— Линзы гаснут,— сказал Зернов.

Лицо в воронке уже почти исчезло, оставались только смутные контуры, но и они пропадали, как круги на воде. Погасла и сама линза, теперь она казалась глубокой ямой на земляном полу. Он походил сейчас на скошенный осенний луг, покрытый странными черными воронками.

— Смотри! — воскликнул Зернов.

Я взглянул и обомлел: в центре уже потускневшей золотой кляксы лежал Мартин.

Автоматы его возвратили.

Глава XXVI

СХВАТКА С НЕВИДИМКАМИ

Он даже не застонал, когда мы бросились к нему и начали тормошить, пытаясь привести в чувство. Глаза его были закрыты, губы сжаты, даже дыхания не было слышно.

Зернов торопливо расстегнул ворот его рубашки и приложил ухо к груди.

— Жив,— облегченно вздохнул он.— Просто шок.

Вдвоем мы перенесли его на более ровный пол, подложив под голову мою куртку. Он по-прежнему лежал без сознания, но щеки уже розовели, а ресницы чуть вздрагивали, как у человека, просыпающегося после крепкого сна.

В окружающую тишину снова ворвалось знакомое монотонное гудение. Зал оживал. Вновь вспыхнули радужные воронки-линзы, и совсем было погасшее золотое пятно слабо осветилось внутри ровным, будто струящимся светом.

— Ошибка исправлена,— усмехнувшись, сказал Зернов.— Производственный процесс продолжается, линзы горят, дополнительный фактор лежит без сознания...

— Вношу поправку,— перебил я.— Дополнительный фактор уже очнулся.

Мартин тяжело повернулся, неловко шаря руками по полу, потом открыл все еще не понимающие глаза и сел, никого и ничего не узнавая.

— Сейчас спросит: «Где я?» — шепнул мне Зернов.

— Где я? — хрипло спросил Мартин.

— На заводе,— с иронической ласковостью пояснил я.— Все на том же месте, где вы, сэр, сунули голову под приводной ремень.

— Какой ремень? — не понял иронии Мартин.— Я чуть не сдох, а они шутят. Поглядите как следует. Я жив или нет? Руки и ноги целы? Я уже ничему не верю. Глазам не верю, щипкам не верю...— Он ущипнул себя и засмеялся. Но смех был невеселым.— Ведь я себя не видел — ни рук, ни ног. И вообще ни черта, кроме вас: отовсюду — спереди, сзади, сверху, снизу — ваши рожи, как в кривом зеркале.

— Погодите, Мартин,— остановил его Зернов.— Не все сразу. Начнем с пятна.

Мы присели рядом на корточки, готовые выдавить из него все, что можно.

— С пятна? — переспросил он.— Можно и с пятна. Шагнул на эту золотую размазню — и пропал.

— Это мы видели.

— Что вы видели? — обозлился Мартин.— Фокус вы видели. А я действительно пропал, для себя пропал. Рас-

таял. Ничего не вижу, ничего не могу — ни встать, ни сесть, ни пошевелиться, ни крикнуть. Голоса нет, языка нет, и вообще ничего нет, только мысли ворочаются. Значит, думаю, жив.

— Понятно,— сказал Зернов,— сознание не угасло. А потом увидели?

— Да еще как! Весь зал с разных точек одновременно. И вас тоже. Каждое ваше движение — до мелочей. Даже как волосы на голове шевелятся, как губы дергаются — и все искажено, искривлено, изуродовано. Вы руку вытянули — она в лопату вырастает. Шагнули вперед — и вдруг сломались, пошли волнами, как отражение в воде. Я плохо рассказываю, но поверьте, мальчики, все это было страшно, очень страшно,— прибавил он совсем тихо.

Но Зернова не удовлетворило рассказанное.

— Попробуем уточнить,— нетерпеливо проговорил он.— Вы шагнули в эту золотую лужу и сразу вошли в состояние умноженного видения.

— Не сразу,— возразил Мартин.— Зрение возвращалось постепенно: окружающее возникало не резко, расплывчато, а потом все ярче, как в проявителе.

— Долго?

— Не помню. Минуты две-три.

— Совпадает,— удовлетворенно сказал Зернов.— Ваше лицо в этих линзах-воронках тоже проявлялось две-три минуты.

— Мое лицо? — удивился Мартин.

— Ваше. Вы видели нас, а мы — вас. Вероятно, линзы или воронки — это своего рода телеинформаторы.— Он повернулся ко мне.— Помнишь аналогию с заводом-автоматом? Ошибку их контрольное устройство нашло сразу, вернее, причину ошибки. Лицо на сигнальных экранах — это информация о нарушенной связи в цепи логических действий системы. Так сказать, сигнал о неисправности.

Все, что говорил Зернов, казалось вполне логичным, но очень уж по-земному. Только в этой логически обоснованной картине не хватало одного пункта.

— Для кого предназначалась эта информация?

Зернов ответил быстро, почти не раздумывая:

— Для нас. Сегодня мы — их контролеры. Не слу-

чайные, а облеченные всеми полномочиями. Впрочем, и нарушение произошло по нашей вине: Мартин склонен к рискованным экспериментам.

Мартин смущенно рассмеялся:

— Я хотел рискнуть. Думал, найду проход... Мы же ничего не знаем, что здесь творится.

— Кое-что знаем. И кстати, не без вашей помощи. Только в будущем воздержитесь от подобных опытов. Говорю категорически.

— Слушаю, шеф.— Мартин без всякого наигрыша вытянулся по-военному и откозырнул. Он был великолепен в своем золотогалунном мундире, правда, немного помятом в последнем его приключении, но все же невообразимо эффектном.

Мы засмеялись.

— Смеетесь,— обиделся Мартин,— а что все-таки произошло со мной, так и не объяснили. Клиническая смерть с последующим воскрешением? Растворение тканей? У нас на Земле телепередачи происходят менее загадочно.

Зернов ответил не сразу и без прежней уверенности:

— Не знаю, Дональд. Буду знать — объясню.

— А уверен, что будешь? — Это уже вмешался я.

— Уверен. От нас ничего скрывать не собираются.

Пожалуй, я и сам в это поверил. Недаром так легко открывались перед нами и фиолетовые ворота купола, и красные стены цехов. Мы могли идти в любую сторону — вправо, влево, стены раздвигались перед нами даже без заветного «Сезам, отворись». Конечно, нам не гарантировалась веселая экскурсия с безвредными аттракционами: неземная техника эта не была рассчитана на вмешательство человека даже в роли свидетеля-экскурсанта. Возвращение Мартина — удача. А таких удач много не будет. У меня до сих пор побаливает рубец на горле, оставленный жестокой шпагой Бонвиля-Монжюссо. «Облака» слишком поздно замечают наши реакции. Со сдвигом по фазе. И очень часто за этот сдвиг приходится расплачиваться собственной шкурой. И за знание тоже надо платить, хотя бы участием в опасных аттракционах.

Один из таких аттракционов начался сразу же после

того, как мы покинули «цех радужных ям». Красная стена легко пропустила нас сквозь себя, и мы очутились в широком коридоре, конец которого тонул в уже привычном малиновом полумраке. Но странное дело: ощущение тяжести, возникшее в проходе сквозь багровый кисель стены, не исчезло. Тяжесть навалилась откуда-то сверху, пустяковая — каких-нибудь две-три десятых «же» сверх нормы,— но с каждым шагом она становилась все ощутимее, словно в рюкзак, подвешенный за плечи, какой-то шутник подкладывал кирпичи. И с каждым шагом мы сгибались все ниже и ниже, и каждый «кирпич» уже давался с трудом.

С трудом разогнувшись, я вопросительно посмотрел на Зернова, но тому было явно не до ответов на мои школярские «почему». Он тяжело дышал, еле двигался и плохо видел, поминутно протирая запотевшие стекла очков. Но даже это давалось ему нелегко: шагнув, он останавливался, опираясь на мое плечо и, в свою очередь, давая мне отдохнуть. Что и говорить, наш товарищ не был спортсменом, если не считать первого разряда по шахматам, но манипуляции с шахматными фигурами мускулатуру не развивают. Тут на помощь подоспел Мартин. Вдвоем мы рванули Зернова назад.

— Куда? — запротестовал он.— Вперед. Сейчас они снимут перегрузки.

— Нет, Борис,— возразил решительно Мартин.— На этот раз «сезам» не откроется. Пять «же». Как на центрифуге.

Он, единственный из нас, держался молодцом — сказывалась летная практика,— но и у него отвисли щеки и отекла шея. И он понимал, что дальше мы не пройдем. То, что он сделал, было, пожалуй, наиболее верным в создавшейся обстановке. Как в хоккейной баталии, он всем корпусом отшвырнул нас с Зерновым назад к стене. Здесь было полегче. Я растянулся рядом с притихшим Борисом и вздохнул свободнее.

— Подождем,— сказал Мартин.— Снимут перегрузки — так мы заметим. А спешить незачем.

Да мы и не могли. Силы возвращались постепенно, с уменьшением тяжести. Через две-три минуты, показавшиеся нам вечностью, стало легче дышать. Мы перегля-

нулись с Мартином и, подхватив под руки Бориса, помогли ему встать.

— Идти сможешь?

Вместо ответа он молча шагнул вперед. Мы с Мартином, бок о бок с ним, двинулись, не отставая. Тяжесть совсем исчезла, и даже ветерком как будто пахнуло, свежим таким и солоноватым, как утренний бриз где-нибудь под Одессой. Только здесь была не Одесса, и загадочный ветерок нас не успокоил, а напугал.

— Откуда? — спросил я чисто риторически, зная, что мне все равно никто не ответит.

Никто и не ответил. Вместе с ветерком из глубины коридора доносился и еле слышный звук — не то свист, не то шуршание, словно ветерок по пути шелестел в камышах. Не безобидно шелестел — тревожно. Кто-то предостерегал нас или угрожал, приказывал отступить, вернуться, не переходить какой-то неведомой нам границы. И вдруг не Мартин, который обычно рисковал первым, а я самонадеянно шагнул вперед.

И получил сильнейший удар под ложечку, причем так больно и неожиданно, что согнулся вдвое, судорожно скривив рот,— даже дыхание перехватило.

— Что с тобой? — удивился Мартин.

Он не успел продолжить, а я ответить. Нелепо взмахнув руками, он отлетел назад и грохнулся навзничь. Что было с Зерновым, я не видел: новый удар, на этот раз по ногам, бросил меня в нокдаун. И самое интересное: мы не видели нападающих. Невидимка наносил удары, а мы валились, как чурки. Преодолевая тупую боль в затылке, я снова поднялся, готовый к отпору. Мартин стоял рядом, ощупывая челюсть.

— Не вывихнул?

— Цела. Посмотри, что с Борисом.

Зернов лежал поодаль ничком и, по-видимому, без сознания. Невидимка сбил и его. А может, их несколько? И почему «было»? Они же, наверное, перед нами. Я протянул руку и встретил воздух. Шагнул к Зернову — и новый удар едва не свалил меня опять. Но я уже был подготовлен психологически и ответил ударом... в воздух. А юркий невидимка полоснул меня по спине сверху вниз с оттяжкой, как плеткой с металлическим наконечником.

Мне показалось, что ремень рассек и мундир, и рубаху и даже кожи на спине уже нет. Я обернулся, и в глазах потемнело от боли: невидимка ударил меня в лицо. Этот удар был последним: колени у меня подогнулись и, уже теряя сознание, я инстинктивно вытянул вперед руки, чтобы, падая, не разбить голову.

Очнулся я от того, что кто-то мягко, но настойчиво хлестал меня по щекам. Открыв глаза, я увидел над собой встревоженные лица Зернова и Мартина.

— Каков нокаут! — подмигнул мне Мартин.— Пять минут привожу тебя в чувство.

— Что это было? — спросил я, еле ворочая языком.

— Поля,— коротко ответил Борис.— Силовые поля с определенной концентрацией направления.

— Для чего?

— Полагаю, не для нашего развлечения.

Я только поежился от боли: все тело ныло, как после крепкой тренировки на ринге.

— Незачем было лезть в драку,— наставительно заметил Мартин.— Они лежачих не бьют. Вот я и отлеживался, пока они не исчезли.

— Их уже нет,— коротко пояснил Зернов, помогая мне встать.— И перегрузок нет. Путь свободен.

Зернов ошибся: впереди был тупик — красная стена, как и в начале коридора. Пройдем мы ее или нет?

Глава XXVII

ИДИЛЛИЯ

Прошли, но с трудом. Стена оказалась покрепче прежних — жесткая плоскость с ничтожной упругостью. То ли в механизме проходимости что-то заело, то ли нас действительно не хотели пускать, но проторчали мы в коридоре довольно долго. Открылся проход внезапно, когда мы меньше всего ожидали этого, уселись перед ним, чтобы обсудить положение. Да и открылась стена по-иному: не размякла, а растаяла, оставив в воздухе лишь розовый туман.

То, что открылось за ней, показалось бредом, галлюцинацией, волшебным миражем в красной пустыне. Впрочем, и просто пустыни не было, не только красной. Перед нами расстилалось зеленое поле, расшитое бело-розовыми стежками клевера и золотистыми пятнышками ромашек. Обыкновенное земное поле, широкое и холмистое, как в Швейцарии или в Подмосковье у Звенигорода. И голубая речушка вдали, почему-то очень знакомая, и виданый-перевиданый поселок, сухой и пыльный, с накатанными колеями от полуторок и трехтонок. Даже мост через речонку — не бетонный и не стальной — встречал знакомыми нетесаными бревнами. А за рекой, за дорогой — что за наваждение! — паслись коровы, белые, рыжие, пятнистые, с колокольчиками на шее, с надпиленными рогами, меланхоличные, разомлевшие от жары. И уже совсем далеко виднелась темно-зеленая полоска леса, не похожего на здешние даже издали.

И все-таки в пейзаже было что-то странное и чужое. Я сразу понял что: не было следов человека и его дел. Ни телеграфных столбов вдоль дороги, ни линии высоковольтной передачи, ни пастуха с подпасками, ни удочек, закинутых над черными заводями, ни грузовиков на дороге, ни путников — никого.

Из коридора в поле вели ступеньки — деревянные, щербатые, потемневшие от времени и дождей. Они противно скрипели под ногами. Я первым ступил на траву, побежал навстречу теплому ветерку и крикнул:

— А ну сюда!

И осекся. Зернов и Мартин уже сошли со щербатых ступенек, но еще не видели, что и ступеньки, и розовая вуаль стены, и коридор за ней, и вообще все, что могло хоть приблизительно напоминать покинутый нами завод,— все исчезло. Позади простиралось то же поле, и дорога, поворачивая прихотливой петлей, ползла к горизонту с такой же полоской леса. Это было так страшно, что я вскрикнул. Мартин потом говорил, что у меня был вид человека, узревшего привидение. Не знаю, как выглядел я, но у Мартина с Зерновым вид был не лучше.

— Трансформация интерьера,— задумчиво произнес Зернов,— как в Сен-Дизье,— и замолчал.

Мы не знали, радоваться нам или плакать. Радоваться идиллическому концу нашего путешествия — а впрочем, конец ли это? — или плакать по так и не открытой тайне завода. Мы сидели на росистой траве и молчали. Не помню, сколько прошло времени — полчаса, час? Не хотелось ни думать, ни говорить: слишком резким был переход от сверхпроводимости и невидимок к этой зеленой идиллии.

Но Зернов оставался Зерновым: он посмотрел на часы и сказал:

— А солнце-то бутафорское.

Мы поглядели на солнце и ничего не поняли: солнце как солнце — желтое, пламенеющее, с белесым ореолом вокруг диска.

— Я уже давно слежу за ним,— продолжал он.— Не сдвинулось ни на метр. Висит, как люстра.

— Как ты это заметил? — спросил я.

— По тени.— Он указал на тоненькую тень от ножа Мартина, упиравшуюся точно в стебель ромашки.— Как была, так и осталась.

— А нож откуда?

— Я воткнул,— подал голос Мартин.— Сидеть неудобно было — мешал.

— А я еще обратил внимание на тень от ножа,— засмеялся Зернов.— Очень уж точно она в ромашку пришлась. А потом случайно взглянул — на том же месте лежит, ни на миллиметр не сдвинулась.— Он снова засмеялся беззаботно и весело, как будто его ничуточки не удивляло ни исчезновение завода, ни загадочное поведение солнца.

— Не понимаю, чему ты радуешься.

— Ясности, Юрий, ясности.— Он вытащил из земли нож, щелкнул тоненьким лезвием.— Ничто не исчезло и не растаяло. И никуда мы из завода не выходили. Просто перешли в следующий цех сквозь очередную неправдоподобную стену. И не наша вина, что этот цех оказался таким... обычным. И травка, и коровки...

— Тоже бутафорские?

Я не включался в игру. А он продолжал с этаким гидовским превосходством:

— Почему бутафорские? Настоящие. Только солнце

иллюзорное, а все остальное — и лужок, и буренки — вполне добротная модель. Даже молока, я уверен, можно попробовать. Ну, кто умеет доить коров?

Вызвался Мартин: приходилось у отца на ферме.

Я с детства побаивался коров и не рискнул бы пройти сквозь стадо, но эти буренки так равнодушно встретили нас, что я осмелел. А Мартин и совсем бесстрашно ощупывал набухшее вымя.

— Давно не доены,— сказал он.

Зернов не удивился:

— Так и должно быть.

Он по-прежнему говорил загадками, ничего толком не объясняя. Я так ему и сказал.

— Не обижайся,— улыбнулся он.— Я и сам еще не все понимаю. А непрочными гипотезами бросаться не хочется.

Мы подошли к Мартину, уже попробовавшему молока от флегматичной пеструшки. Попробовали и мы, благо ведро оказалось под боком, словно невидимые хозяева предвидели и такую возможность. И молоко оказалось настоящим, вкусным, жирным и теплым — чудесное парное молоко от ухоженной коровы. Не хватало лишь доброго каравая с хрустящей корочкой сверху. Вероятно, Мартин подумал о том же, потому что спросил:

— А если нас продержат здесь не день и не два, что есть будем?

— Думаю, и об этом позаботятся,— сказал Зернов.

Он пристально всматривался в березовую рощицу поодаль — левитановский холст, спроецированный в трехмерное пространство. Что-то похожее на стог сена высилось на опушке.

— Может быть, шалаш? — предположил Мартин.

Но вблизи шалаш оказался погребом, старым, но прочным, какие строят рачительные хозяева. Тяжелая, почерневшая от времени дверь была чуть приоткрыта, а из щели несло сыростью. Мы распахнули ее, и к запаху сырости присоединился запах винного погребка. Древние ступеньки, покрытые сизой плесенью приглашали спуститься. «Сойдем?» — спросил взгляд Мартина. «Сойдем»,— кивнули мы, и все трое, заинтригованные новой загадкой, подошли к другой двери, уже под землей. Она

тоже была приоткрыта. Мартин чиркнул было спичкой, но Зернов остановил его:

— Не надо. Там свет.

Дверь открылась почти без усилий, пропустив нас в большой длинный зал с низкими темными сводами. Пять-шесть свечей, расставленных где попало, слабо освещали часть каменной кладки, сырой земляной пол и вдоль стен, одна на одну в три яруса, огромные смоляные бочки. В тусклом, неверном свете чуть поблескивали медные краны, а над ними на крепких днищах бочек белой масляной краской кто-то вывел порядковые номера. Видимо, зал был чем-то вроде дегустаторской, если в бочках действительно «отдыхало» вино. Разные номера, разные индексы, разные вина. А между бочками темнел проход, широкий и длинный.

— Любопытно, что там в бочках? — спросил я.

— Вино,— сказал Мартин.

— Не убежден. Почему ты решил, что в бочках вино?

— А что?

— Все, что угодно: вода, спирт, масло.

— Или вообще ничего нет,— добавил Зернов.

Я постучал кулаком по днищу бочки. Ответил сухой и короткий звук.

— Полна.

— Теперь только попробовать содержимое,— облизнулся Мартин,— и спор разрешен. Ну, кто пробовать будет?

— Никто,— оборвал Зернов.— Хватит рискованных экспериментов. Меня больше интересует, что над нами.

— Как что? — не понял Мартин.— Небо, трава, коровы.

— Мне бы вашу уверенность,— усмехнулся Зернов и полез наверх.

На последней ступеньке он остановился:

— Готовы? — и открыл дверь.

В погребе сразу стало светло. Мы с Мартином переглянулись: все, мол, ясно. Хоть и бутафорское солнце, но светить — светит! И коровы, вероятно, пасутся.

Глава XXVIII

ШАЛОСТИ СПЕКТРА

Но не было ни коров, ни солнца. И сельского пейзажа не было. И свет был не дневной.

Мы снова оказались в гигантском цеху. Пылали печи, в их раскаленных духовках можно было зажарить целого быка, не заботясь о разделке туши. Длинные языки пламени лизали металлические решетки заслонок, а за ними ухали и трещали, сверкая фейерверком искр, могучие бревна, срубленные в лесу, каким-нибудь легендарным Полем Беньяном. Это пышное празднество огня освещало поистине лукуллово великолепие: на длинных столах у печей в беспорядке были навалены туши баранов, индейки, цыплята, рябчики, куропатки. Разноцветными грудами высились багряные, плотные помидоры, пупырчатые огурцы, бело-зеленые головки цветной капусты, золотистые ядра лука, заостренные столбики розовой моркови,— чего только не было в этой овощной лавке! Да разве только овощной? Белые конусы сахарных голов, слежавшиеся глыбы поваренной соли, зеленые бутыли с растительным маслом, пузатые глиняные горшки со сметаной и молоком. А фрукты? Я нигде не видел такого множества отборнейших фруктов: красно-желтые яблоки, полированные дыни, похожие на мячи для игры в регби, полосатые арбузы — только-только из Астрахани, клубника в корзинках, груши, светящиеся, как электрические лампочки...

Когда-то я читал книгу, герой которой проникал в висевшую на стене картину. В какую картину мы попали — Рубенса или Снайдерса,— я не знал, но ощущение ирреальности, искусственности не покидало меня. Казалось, что мы смотрим спектакль из жизни современников Гаргантюа и Пантагрюэля, когда они, проголодавшись, съедали по барану в один присест, а не вертели брезгливо бифштекс по-деревенски. Мы стояли у истоков пира, Пиршества с большой буквы, об искусстве которого давно забыли в нашем суетливом веке столовых самообслуживания.

— Ну и ну! — Мартин даже языком прищелкнул.— Жили же люди!

Я машинально ответил, что он сказал «жили», а не «живут»: он тоже не связывал эту кухню гурманов с нашими днями. Но откуда она появилась там, где еще недавно бродили коровы по нескошенной траве и текла обыкновенная, а не молочная река, с илистыми, а не кисельными берегами? И почему Зернов догадался о предстоящей смене декораций в этом спектакле?

— Почему? — усмехнулся он.— Интуитивно. Нас никогда не возвращают туда, где мы уже были.

— Но дверь,— не сдавался я,— это же не красная стена. Она не расползлась и не растворилась. Мы вошли в нее с пастбища и должны были туда же выйти.

— В нашем трехмерном мире — да. Но если этот огромный цех — часть четырехмерного пространства? Говоришь, дверь погреба — не красная стена. Неверно. Красная стена — та же дверь, и не надо приписывать ей никаких мистических свойств. Там, где царствует физика, мистике места нет. А физические свойства четырехмерного мира предполагают и не такие парадоксы. Можно дважды, трижды выходить через одну и ту же дверь, каждый раз попадая в другое место. Я уверен, что территория завода по крайней мере в десять раз больше, чем кажется. А голубой купол — только видимая нам его часть, как для людей двухмерного мира видимой частью куба была бы одна его плоскость.

Он замолчал, близоруко всматриваясь в пестрое великолепие кухонных столов. Потом взял со стола большую, желтую, чуть светящуюся грушу и откусил, причмокнув от удовольствия. Мы с завистью посмотрели на него, но последовать ему не решились.

— Одного не пойму,— сказал Мартин,— это же не наш, не земной завод — и вдруг кухня и винный погреб!

Зернов отшвырнул огрызок груши.

— Это же демонстрационный зал для проголодавшихся экскурсантов. Неужели не ясно?

— Так почему здесь все в сыром виде? «Облака» не моделировали кафе самообслуживания под вывеской «Вари сам!».

— Значит, лаборатория,— согласился Зернов.— Последняя проверка готовой продукции.

— А где лаборанты?

— А мы с тобой. Груша — само объедение. С удовольствием подпишу приемо-сдаточный акт.

Я часто не понимал Зернова: шутил ли он или говорил серьезно? Вот и сейчас он улыбался, но глаза неулыбчиво поблескивали.

— Дальше потопаем? — подал голос Мартин, которому уже надоело гастрономическое изобилие зала.

— Куда? — спросил я.

Он показал в дальний угол: за столом с овощами, в стороне от пышущих жаром печей, виднелась тоже вполне земная деревянная дверца. Мартин нырнул в нее первым. Я пропустил вперед Зернова и замкнул колонну. Дверь скрипнула позади, и все стихло. Я невольно оглянулся и увидел знакомую красную «стену». Деревянной дверцы не было и в помине.

— А ты ожидал другого? — услышал я насмешливый вопрос Зернова.— Представление продолжается. Новое действие — новый цех.

То был совсем необычный цех, даже в сравнении с тем, что мы уже видели. Мне сразу вспомнился когда-то виденный итальянский фильм Антониони «Красная пустыня». Он был сделан в цвете, и цвет в нем являл часть режиссерского замысла. Сочные и яркие краски, чистые пастельные тона создавали по желанию режиссера любую иллюзию. Цвет господствовал над зрителем, подавлял и поражал его, заставлял смеяться и плакать, изумляться и радоваться. Именно это смешанное чувство удивления и радости, ни с чем не сравнимое чувство открытия нового мира испытал я, оглядевшись вокруг.

Впрочем, если быть точным, сперва я ничего не увидел. Как человек воспринимает полярное сияние единым радужным колесом, прежде чем различить в нем отдельные цвета, так и я увидел мелькающий перед глазами спектр. Что-то похожее на холсты художников, которые принято хулить только за то, что они ничего не изображают, кроме игры красок и форм. Или, точнее, на то, что порой хочется в них найти. Присмотришься — и вдруг найдешь какие-то заинтересовавшие тебя сочетания, и,

если есть воображение, можно увидеть в них и свое, только тобой открытое. То вырвется из лазури моря и неба алопарусный фрегат гриновского Артура Грэя, то синяя птица призывно махнет крылом, то остров Буян блеснет пряничными куполами своих золотоглавых церквей. Воображение подскажет, а универсальный индикатор — глаз уточнит нужную локальность цвета в бессмыслице линий и пятен.

Он не подвел меня и на этот раз, мой «универсальный индикатор». Мелькающий спектр распался на множество цветных линий — спиралей и кохлеоид, синусоид и серпантин, словно прочерченных светом фар в черном воздухе ночного города. Все было ярко, разномасштабно и — да простят меня физики за это сравнение — разнопространственно. Все эти цветные линии выходили откуда-то из глубины зала, фактически возникая в тающей дымке, метались перед нами в яростном танце, вращались и расплывались в блеклые пятна, застывали в стремительном движении, как бы воплощая собой смутный образ текучего времени.

Только пятна и линии — больше ничего не было в этом зале. Да и самого зала не было. Высился гигантский аквариум без стенок и дна, параллелепипед зеленой воды, вырезанный из океанской толщи, пространство, сплетенное из цветных молний, в котором замерли в изумлении три маленьких человечка. Величественная и унижающая картина!

Неожиданно пестрая карусель молний резко замедлила бег. Цветные линии стали сливаться, расширяться, принимать странную форму — лент не лент, а каких-то цветных поясов. На поясах появилось множество черных точек, как дырочек в перфоленте. И начался новый самостоятельный танец точек. Они менялись местами, группировались, пропадали в темноте и возникали вновь, словно кто-то пытался сложить из черных стеклянных шариков строгий мозаичный рисунок. Он странно повторялся, этот зародыш рисунка: точки группировались через равные промежутки в одинаковые скопления.

И вдруг кто-то смазал все, плеснув на абстрактный рисунок грязную воду из ведра, краски смешались и растеклись, а потом из бесформицы цвета вырвались уже

знакомые пояса и замелькали перед глазами, вытягиваясь в строго выверенные ряды. И тут я совсем уже перестал понимать: мимо нас текли цветными струями ленты рекламных этикеток. «Молоко сгущенное», «пастеризованное», «повышенной жирности», «сладкое», «порошковое». Головы рыжих и черных коров, глазастые и рогатые, поворачивались к нам и в фас и в профиль. Я сам покупал молоко с такими этикетками в лавчонке напротив нашего «Фото Фляш». И тушенку с веселым поросячьим пятачком, и сок с пунцовым бокалом на этикетке, и сигареты с привычными земными названиями и примелькавшимися рисунками на пачках. Почти у моего лица будто выстрелила и развернулась, устремляясь в глубину зала, лента с повторяющимися, как припев, словами: «Кока-кола», «Пепси-кола», «Оранжад», «Лимонад», и тут же нагнали ее, сформировавшись из линий и пятен, ленты, такие же многоцветные, рекламирующие конфеты и сыр, вина и колбасу, шоколад и мясные консервы.

Приглядевшись, я заметил, что возникавшие ниоткуда и пропадавшие в никуда ленты содержали не только рисованные этикетки. Реклама сыра материализовалась в сырные брикетики в цветной обертке, реклама конфет — в гран-рон конфетных коробок, ленточки этикеток с серебряными рыбками — в жестяные струи коробок с сардинами. Танец красок с каждой минутой открывал нам свои тайны. Я протянул руку к параду желтых консервных банок с черной надписью «Икра»: тайна их зарождения заинтриговала меня. И вдруг эта тайна обернулась прямым вызовом второму закону Ньютона. На протянутую руку тотчас же легла одна из этих летящих банок. Я повернул руку ладонью вниз, но банка не упала — она по-прежнему давила на ладонь своей трехсотграммовой тяжестью. Я вопросительно взглянул на Зернова, а тот только рукой махнул: сам, мол, не понимаю. Я легонько подтолкнул банку, чтобы проверить, не прилипла ли. Она так же легко сорвалась и полетела догонять свою ленту.

Я даже удивиться не успел — новое чудо возникало в сверкающей пляске красок и лент. Из глубины зала, ритмично подпрыгивая, как танцоры в «летке-енке», быстро-быстро прямо на нас полз в воздухе розово-серый

червяк. Кто и для чего вдохнул жизнь в эту бесконечную связку сосисок, не знаю, но она была живой и агрессивной. Изогнувшись подобием логарифмической кривой, она наступала на Мартина. Тот стоял разинув рот, как завороженный, а я, испугавшись за него, схватил ее и дернул. И тут же выпустил, вскрикнув от боли в плечевом суставе. Связка рванула, как автомобиль, несущийся с превышенной скоростью.

Я пошевелил рукой — боль несусветная. Еле-еле протянул ее Мартину:

— Дерни.

Мартин дернул. Я вытерпел и эту боль. Сустав стал на место, рука опухла, но боль уже утихала.

— Железные они, что ли? — сказал я сквозь зубы.

— Такие же, как в любом гастрономе.— Зернов не отрываясь следил за движением гирлянды: скачок — полметра, скачок — полметра.— Ухватись ты за ленту конвейера, да еще так натянутую, как эта связка,— не слабее дернет.

Мартин предусмотрительно отодвинулся, уступая дорогу агрессивным сосискам, а они уже исчезали в стене из струящегося сурика. Какие-нибудь четверть часа назад эта «стена» была дверью, ведущей на кухню, набитую всякой снедью, в которой я, впрочем, не видел сосисок, а сейчас они чудовищным червяком устремлялись на ту же кухню. Только на ту ли? В этом дьявольском луна-парке можно было сделать два шага, переместившись на километр. Или совсем пропасть, как Мартин в соседстве с прыгающими «мешками».

Вы не верите в материализацию мыслей? Я поверил, потому что Мартин опять исчез. Человека не было: в красноватом воздухе висела только голова, увенчивающая вместо тела тонкую огненную спираль. Внутри спирали что-то вспыхивало и переливалось, освещая голову без тела, а потом снова гасло, и спираль казалась уже обыкновенной красной ниткой, которую можно было дернуть и оборвать. Памятуя свой опыт с сосисками, я этого не сделал, а только растерянно спросил Зернова:

— Опять дополнительный фактор?

— Процесс же не остановлен,— отозвался он.

— А голова? Опять телепортация?

— Болтуны! — взревела голова. — Да помогите же, наконец!

Из разведенного сурика к нам протянулась пятерня Мартина, за которую мы и ухватились, рискуя вывихнуть сустав и ему. Что-то крепко держало его в невидимом нам пространстве. А голова морщилась и ругалась:

— Не пускает, собака!

— А что это, Дон?

— Черт его знает. Держит, и все.

— Не унывай, старик, вытащим.

— Давай-давай, ребята.

Мы и «давали», выигрывая понемножку, по сантиметру, но все же выигрывая. Так «давали», что минуту спустя Мартин выкатился из пустоты, чуть не свалив нас на землю или, вернее, на такой же красный, как и «стены», но, по крайней мере, твердый пол. Что с ним случилось, он так и не понял. Повернулся неловко и попал в какой-то капкан, одновременно исчезнув из трех измерений. Даже всезнающий Зернов молчал, ошарашенный этим вихрем загадок.

А в зале что-то неуловимо менялось. По-новому перестраивались цветные линии, уплывали в темноту пестрые ленты этикеток, зал суживался, превращаясь в коридор, ровно очерченный горизонтальными рядами трубок. Сначала они просто казались окрашенными в разные цвета, потом, приглядевшись, мы заметили, что внутри их струится не то жидкость, не то газ, то и дело меняющий цвет. Красные, желтые, оранжевые, и лиловые струи как бы указывали нам новое направление.

Значит, о нас помнили, нас приглашали дальше смотреть и учиться, удивляться и познавать. От нас хотели, чтобы мы во всем разобрались, и нам верили, что мы разберемся и поймем. В конце концов, все здешние чудеса служили определенной цели — поддержать созданную на этой планете жизнь. Следовательно, нам ничто не угрожало здесь, кроме собственной неосторожности.

Не сговариваясь, мы только переглянулись и пошли дальше в знакомом красноватом тумане, следуя разноцветным ариадниным нитям, которые кто-то развесил, может быть, и для нас.

Глава XXIX

ЛОВУШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

— Скорее всего, нет,— сказал Зернов.

— А для кого?

— Вероятно, это сеть коммуникаций, сконцентрированных в общем коллекторе: энергопитание, подача реагентов или даже готовой продукции. Может быть, в этих цветных трубках течет вино или молоко? А винные бочки и коров мы уже видели.

— И этикетки.

— Почему же в других цехах не было трубок? — усомнился Мартин.

— Даже на Земле пользуются скрытой проводкой,— рассуждал Зернов: видимо, он пытался объяснить это себе.— Да и кто может поручиться, что такой общий коллектор не идет вокруг каждого цеха, каждой камеры, разветвляясь на сотни ходов, по которым протянуты необходимые производству инженерные сети.

— По-твоему, мы попали в такой коллектор?

— Возможно. По крайней мере, он нас куда-нибудь выведет.

— А если нет?

— Забыл Сен-Дизье? — возмутился Зернов.— Откуда этот пессимизм?

— Однажды, еще мальчишкой, я заблудился в лабиринте. В увеселительном парке в Майами,— вспомнил Мартин.— Меня нашли только к вечеру, когда я уже охрип от крика.

— Жалеете голос? — усмехнулся Зернов.

— Нет, просто с тех пор не люблю лабиринты.

С лабиринтами я был знаком только по разделу «Для смекалистых» в научно-популярных журналах. К смекалистым я себя не причислял и никогда не мог увести мышь от кошки или козу от волка — фантазия журнальных смехачей не шла дальше курса начальной зоологии. Слыхал от кого-то, что в лабиринтах следует всегда поворачивать только направо: путь, правда, длиннее, зато наверняка доберешься до выхода.

Этими сомнительными данными я и козырнул у пер-

вого поворота. Коридор разветвлялся на три узких отростка, совсем как в старой сказке: три пути от придорожного камня, перед которым стоит растерянный витязь. Но я не растерялся, решительно повернув вправо. Мартин и Зернов нерешительно, но все же не споря последовали за мной.

Коридор был заметно уже прежнего, и сразу бросилось в глаза исчезновение зеленых трубок. Красные, синие, желтые по-прежнему тянулись вдоль стен, подмигивая нам золотистыми искрами, а зеленых не было. Я вспомнил рассуждения Зернова. Быть может, он и прав: цветные трубки в лабиринте — это кровеносная и нервная системы завода. Зеленые, допустим, протянуты в цех синтеза, а в дегустаторской они, скажем, и не нужны. И все же я сомневался. Не в назначении, а в направлении трубок. По логике они должны вести в какой-то общий коллектор. Но ведь логика-то земная! А здесь и разум чужой, и логика чужая, и даже мои повороты направо могут привести нас бог знает куда. Я невесело усмехнулся запоздалому озарению.

Зернов тотчас же это подметил:

— Сомневаешься?

— Сомневаюсь. Как бы не оказаться Сусаниным.

— Один конец,— вздохнул Мартин.— Другого же выхода нет.

— Есть,— сказал я.

— Какой?

— Старый способ: через «стену» — и в другой зал!

— А трубы?

— Бутафория.— Я резко остановился.— Попробуем?

— Попробуй,— улыбнулся Зернов.

Я шагнул к стене и, протянув руку, коснулся красной трубки, в которой искрилось что-то жидкое и холодное. Материала трубки, стекла или пластика, я не почувствовал: струя касалась руки — жидкость не жидкость, а какой-то странно упругий шнур. Рука разрезала шнур надвое. Он вошел в ладонь и вышел с тыльной ее части, но боли я не почувствовал, и ни капельки крови не выступило. Шнур был нематериальным, иллюзорным, не существующим и в то же время ощущался на ощупь.

Мартин боязливо повторил опыт: сначала коснулся

пальцами, пробормотав: «Холодный, черт!», потом сжал шнур в кулаке. Упругая струя прошла и сквозь кулак.

— Задача из курса проницаемости, — насмешливо заметил Зернов.

Я удивился:

— Есть такой курс?

— Пока нет, но я бы с удовольствием написал его, если б мне подарили по куску таких цветных ниточек.

Мартин отпустил шнур и осмотрел руку.

— Трюк, — сказал он, — фокус.

Это было бы слишком просто. Руку у меня все-таки покалывало.

— Может быть, это газ, особый газ для химических реакций? — предложил я.

— Может быть, и газ, — согласился Зернов, — аммиак или метан. Только почему он пронизывает, а не обтекает руку? Странно. Проницаемость проницаемостью, но рука не малиновое желе. Скорей всего, это какие-нибудь функциональные группы, свободные радикалы или гамма-кванты, — я не фантаст, в конце концов.

В том-то и дело, что Зернов не был фантастом. Все, что он предполагал, было достаточно обосновано и могло сойти за рабочую гипотезу. Иногда он ошибался — в такой дьявольщине любая ошибка простительна, но умных догадок было гораздо больше, а его гениальной догадке на Парижском конгрессе аплодировал весь ученый, да и не только ученый, мир. Но догадку о гамма-квантах я отбросил: газ был предпочтительнее — хотя бы просто потому, что понятнее.

— А где же течет этот газ, если это газ? — спросил я. — Трубка не трубка, шнур не шнур. Может быть, тоже магнитная ловушка?

— Я не уверен, что это газ, — возразил Зернов, — но даже если так, он нигде не течет.

— То есть как нигде?

— А разве потоку нейтрино нужны коммуникации?

— Вряд ли это нейтрино.

— А способность проникать сквозь любую среду, не нарушая ее структуры, по существу, та же. Если бы мы решили проблему проницаемости, то давно пустили бы в утиль любой трубопровод. Как перегоняют нефть от сква-

жин к портам? По трубам. А если просто пустить струю нефти из скважин под землей сквозь глину и камень? Чуешь? А воду в города? Под мостовой сквозь стены прямо в кран. А водопровод в музей коммунхоза! Ясен принцип? Тогда шагай — не зевай. Время не терпит.

А время терпело: оно было самым терпеливым здесь, в мире, не знавшем покоя. Оно просто не шло. Часы наши остановились с первых шагов под куполом, когда фиолетовая пленка затянула входной тоннель. Я не совсем понимаю, зачем нашим любезным хозяевам потребовалось отделить пространство от времени. А может быть, стрелки часов остановило магнитное поле? Мы даже не могли определить, сколько часов прошло в этих багровых коридорах и залах с чудесными превращениями. Шесть часов, десять или сутки — не знаю: мы не видели ни настоящего неба, ни настоящего солнца. А если солнце над пастбищем было все-таки настоящим? Может быть, оно не двигалось только потому, что мы сами оказались вне времени? Сто тысяч «может быть» с вопросительным знаком в конце предложения. А мне нужна была точка или хотя бы запятая перед очередным нуль-переходом в другое пространство, скупо освещенное разноцветными шнурами и струями или залитое ярким светом невидимых юпитеров и софитов.

Я не оборачивался — знал, что друзья идут следом, только ускорял шаг, торопясь пройти этот бесконечный коридор-лабиринт. Поворот налево, поворот направо, снова налево, опять направо... Я шел автоматически, не раздумывая, куда же все-таки приведет нас ариаднина нить, тянувшаяся рядом. Она не обрывалась и не пропадала, подмигивая золотистыми светляками огней, завораживала пульсацией света и тени, усыпляла тревожную мысль о том, что ожидает нас, когда она погаснет и оборвется.

Я опомнился, пройдя добрый десяток поворотов,— что-то вдруг остановило меня. Как подсознательный сигнал, как удар в спину. Я обернулся и никого не увидел.

— Борис! Дон! — закричал я.

Никто не откликнулся. Только красная струйка по-прежнему текла рядом. Где-то я потерял их, где-нибудь позади она разветвлялась, разделив нас в этом гоф-

мановском лабиринте. Не раздумывая, я побежал назад, следя за струйкой. Нигде она не раздваивалась, и нигде не отзывались на мой зов ни Зернов, ни Мартин. Лабиринт молчал, стойко охраняя мое невольное одиночество. Даже эхо не откликалось в темно-красных проходах: голос тонул в них, как в вате, а я все звал, звал, звал, чувствуя, как немеют губы и сдает сердце.

Самое страшное, что я не знал, куда идти дальше. Вспомнилось земное: «Если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре ГУМа у фонтана». Смешно. Где здесь этот спасительный фонтан, у которого дожидаются насмешливые друзья? «Надо думать, куда идешь...» — это Зернов. «Воробьев считал?..» — это Мартин. А может быть, это все просто ошибка хозяев, как шпага Бонвиля, сотворенная из того же тумана, в котором бесследно пропал Зернов? Сколько их уже было, таких ошибок,— и в прошлом, и теперь! Уже исчезал и возникал размноженный Мартин, смыкались стены, закрывались проходы, били наотмашь силовые поля. Не много ли для одного путешествия хоть и в Неведомое, но не гибельное, иначе не было бы смысла пропускать нас сюда без предупреждения...

Во всем, что происходило, был свой, особый смысл. Должно быть, есть смысл и в моем одиночестве. Надо только найти этот смысл — и все станет на свое место: коридор снова соединит нас, и лекторский голос Зернова объяснит, что именно произошло, почему и зачем. Я снова внимательно и пытливо огляделся вокруг и в ужасе отшатнулся. В полуметре от меня на уровне моего лица прямо в воздухе, никем и ничем не поддерживаемая, висела свеча. Не тоненькая церковная свечечка, а толстая, с золотыми полосками-кольцами, точь-в-точь такая же, какими московские модники освещают свои вечеринки и ужины. Острый язычок пламени чуть вздрагивал, колеблемый ветром, но ветра не было. Еще одно наваждение! Не долго размышляя, я схватил эту загадочную свечу-призрак, и... она оказалась совсем не призраком, а вполне реальной свечой, тепловатым на ощупь, оплывшим столбиком стеарина или воска. Я взял его с воздуха, как со стола или полки,— тоненький огонек задрожал, и горячая капля упала мне на руки.

Я разжал пальцы, и... свеча не свалилась на пол, а осталась висеть.

Мистика? Чушь! Ведь свеча появилась именно в тот момент, когда я подумал о том, что найти их в багровых сумерках без фонаря или свечки будет совсем не просто, даже если бы они без сознания лежали рядом. Я подумал именно о свечке, может быть, потому, что в этом мире она заменяла людям электролампочку, и вдруг увидел ее воочию. Что это? Исполнение желаний? Материализация мыслей? Неожиданная способность творить чудеса? Но свеча была лишь частью желания — я просто хотел выбраться из этого лабиринта. А может, хотение не было достаточно ясно мысленно сформулировано?

Я тотчас же сконцентрировал все внимание на неподвижно висевшей свече, грозно нахмурил брови и, как в детской сказке, мысленно приказал: «Хочу немедленно выйти из лабиринта».

Свеча чуть подпрыгнула в воздухе, огонек качнулся и погас. И ничего не произошло больше, даже сказочный джинн не вырос из потухшего пламени. И стены лабиринта не распались, и цветные струи коммуникаций по-прежнему убегали в чернильно-красную мглу коридора, а я все так же стоял, тупо разглядывая погасшую, но не падавшую свечу. «Борис бы, наверно, нашел объяснение, — подумал я. — Частичная материализация желаний. Воспроизведение мысленно воображаемых объектов». Самым желаемым из воображаемых объектов был, конечно, он сам. Плюс Мартин с его кулачищами и безрассудной смелостью. Все-таки где они? Быть может, где-нибудь рядом, в таком же немыслимом зале с прыгающими «мешками» и висящими свечками? Я представил себе, как Зернов что-то внушает Мартину, а тот внимательно слушает, согласно кивая. Потом Борис командует: «Вперед!» — и оба устремляются между такими же струями искать меня, для них бесследно исчезнувшего.

Я так ясно представил себе эту картину, что она вдруг возникла передо мной в клубящемся тумане стены. Сквозь его сумеречно-красную дымку я действительно увидал Мартина, внимательно слушающего явно горячившегося Зернова. Голосов я не слышал: что-то глушило их.

— Борис! Дон! — снова закричал я.

Они даже не вздрогнули, даже не обернулись. Мой голос также не долетал до них, и я в отчаянии обрушился на прозрачную стену — прозрачную, но непроницаемую. Этот знакомый клубившийся дым-туман не то кровавого, не то малинового оттенка отталкивал вроде батута, на котором я прыгал, бывало, в институтском спортивном зале. Отталкивал и швырял на пол, как взбесившиеся силовые поля-невидимки, пока я наконец, совсем обессиленный, так и остался лежать, не подымаясь. А туманное «окно» в стене уже погасло, как экран телевизора, выключенного из сети.

Вот и все. Последнее желание исполнено: показали, успокоили, и, как говорится, хорошего понемножку. Шагай дальше, если знаешь, куда шагать. А я не знал. И сидел на полу, в сотый раз спрашивая себя: «Что делать? Что делать? Что делать? А вдруг это конец? Вдруг я никогда уже не увижу ни голубого неба над головой, ни травы или хотя бы камней под ногами, ни друзей, так странно пропавших в этом гибельном лабиринте?»

— А почему гибельном? Почему пропавших? Почему не увидишь? — спросил меня где-то рядом до жути знакомый голос.

Глава XXX

ЗДРАВСТВУЙ, ЮРКА!

Я медленно обернулся, боясь, что ничего не увижу, но, увидев, отшатнулся, словно к лицу поднесли зажженную спичку. Он стоял и щурился, хитренько посмеиваясь, совсем как в Гренландии, когда я увидал его в салоне неожиданно возникшей на льду «Харьковчанки». Да, сомневаться не приходилось — то был мой земной аналог, Анохин-второй, воссозданный вновь неизвестно для какой цели. И он явно наслаждался моим замешательством — не отражение, не Алиса, выглянувшая из Зазеркалья, а я сам, раздвоившийся, как на снегу в Антарктиде. Он был со мной до конца, до самых глубин сознания, и я это знал не хуже его.

— Ну, что уставился? — спросил он.— Думаешь, встретил призрака в этом царстве теней? Можешь пощупать. Настоящий.

Шок мой прошел, как и в прежних наших встречах.

— Не притворяйся,— сказал я.— Ты отлично знаешь, что я думаю, и я знаю, что ты это знаешь. К тому же я заблудился, что ты, наверное, тоже знаешь.

Он не ответил — я был прав: знал он все и все понимал отлично. Именно потому и возник, что потребовался контакт. Мне или им? Я пригляделся к нему повнимательнее. Как в зеркале? Нет, пожалуй. В зеркале я был бы иной. Что-то новое появилось в облике моего повторения.

— А ты постарел, Юрка,— сказал я.

— Как и ты. Три года прошло.

Почему три? Для меня — три, а для него — десять. Скоро юбилей может справлять вместе с Бойлом.

— Три,— повторил он.

Пришлось объяснить упрямцу, в чем разница. Он слушал равнодушно, словно все знал заранее.

— Азбука,— зевнул он.— На Земле — три года, здесь — десять. Почему? Честно, не знаю. Но сейчас я в ином качестве — опять твой дубль. Значит, и для меня — три.

— А в своем качестве ты существуешь? Или роль связного пожизненна?

— Балда,— отрезал он.— Связной я не всегда и не по своей воле. А что я делаю в Городе в настоящее время, не знаю. Не помню.

— Десять лет прожил и все забыл?

— На какие-то часы или минуты — да. Не спрашивай об этих годах — не вспомню. Да и не для того мы встретились. Не для взаимных воспоминаний.

— А для чего?

— Подумай,— улыбнулся он дружески и доброжелательно. Так улыбаюсь я приятному собеседнику или обрадовавшей встрече.

— И думать нечего. Я заблудился, а ты выведешь.

— Эгоист, как всегда. О друзьях забыл?

— Ничуть. У тебя не постная физиономия. Значит, они где-то рядом.

— Это вторая часть задачи. Не плачь — выведу. Толь-

ко сначала поговорим.— Лицо его напряглось, словно он приложил к уху микрофон невидимой телефонной трубки.

— Внимаешь приказу?

Он не ответил.

— Это о н и так считают?

Он нахмурился.

— Не повторяй прежних догадок. Я знаю то, что мне нужно знать в настоящую минуту. А теперь слушай. Помнишь, что говорил на Парижском конгрессе американский фантаст? Не помнишь — напомню.— Он процитировал: — «Мне радостно думать, что где-то в далях Вселенной, может быть, живет и движется частица нашей жизни, пусть смоделированная, пусть синтезированная, но созданная для великой цели — сближения двух пока еще далеких друг от друга цивилизаций.

— А что последовало? — спросил я, не скрывая иронии.

— Наивный вопрос. Вы видели. Они все-таки создали мир по земным образцам, высшую форму белковой жизни, сиречь гомо сапиенс. Разве Город с его окрестностями не благодатный слепок с Земли и землян, с их буднями и праздниками, мечтами и надеждами?

— Ты спрашиваешь как моя копия или как их связной?

— Не разделяй,— поморщился он.

— Тогда единственно возможный ответ: нет! Не благодатный слепок.

— Погоди,— перебил он меня,— я еще не закончил. Людям этого мира было дано все для дальнейшей разумной эволюции — земная природа, земные жилища, земной транспорт, земная техника и — самое главное — земная пища в неограниченном объеме с неограниченным воспроизводством.

Мне надоела эта подсказанная извне преамбула. Ограниченная мысль технически сверхвооруженных копиистов нашего мира действительно не понимала, что она недодумала.

— А что же дал этот созидательный опыт, товарищ связной? — Я поднял брошенную мне перчатку.— Каждому по потребности? Кучка подлецов в серых мундирах

по-своему поняла этот принцип. Потребности у них — будь здоров! А народу — дырка от бублика: боится вздохнуть в этой уродской утопии. Ваши сверхмудрецы создали модель капиталистической цивилизации в ее наихудшем, диктаторском варианте. Воспроизведена природа тоже не очень грамотно. Воспроизведено общество, социальной структуры которого модельеры так и не поняли.

— Я знаю,— сказал он грустно.

— Сам допер или запрограммировали?

Он не принял шутки. Он был не мной, а связным пославших его ко мне.

— Они уже осознали, что в чем-то ошиблись,— продолжал он, как лента магнитофона,— но в чем, как и когда — они не знают. Эксперимент не удался, но остановить его здесь уже нельзя. Это как цепная реакция: не вмешаться, не задержать, не повернуть.

— Повернуть можно,— сказал я.

— Как?

Что я мог подсказать без Зернова? Мы еще не сделали всех необходимых выводов. Единственное, что я мог взять на себя,— это совет не мешать людям. Любое вмешательство извне неминуемо приведет к новым ошибкам. Человек не научит пчелу строить соты, и никакая суперпчела не построит идеального человеческого общества.

— Рано советовать,— сказал я.— Если нас и пригласили как экспертов, то мы еще мало знаем, чтобы дать разумный совет.

— Ты готов его дать?

— А ты знаешь какой?

— Конечно.

— Так о чем же разговаривать? Кому и зачем нужна эта встреча?

Он обиженно нахмурился — снова Юрка Анохин, дубль, двойник, человек. И как похож на меня — и в радости, и в обиде. Но честное слово, я не хотел его обижать.

— Ты меня не понял, старик. Кому вообще нужны наши советы? «Облакам» или их созданиям? Если об этом просят твои хозяева, скажи: не вмешивайтесь! Люди сами найдут отправную точку прогресса. И советы им не нуж-

ны. С нами или без нас (я невольно повторил Зернова), а они свое дело сделают. Подождите.

— Как долго?

— Я не пророк. Революцию не предсказывают — ее делают.

— Кто делает?

— Ты явно глупеешь, Юрка, когда перестаешь быть мной. Люди, сами люди, дружок, делают революцию. Обыкновенные люди. Встретишься на улице — не обернешься.

Я замолчал. Он, двойник, конечно, понял меня. Он, связной, посланец другой цивилизации, еще раздумывал. Может быть, мои ответы через него снимали чьи-то рецепторы. Могли ли о н и понять, что не вожаки, а массы куют победу, что матч выигрывает не центрофорвард, забивший решающий гол, а вся команда, девяносто минут готовившая этот гол.

— Эксперимент давно уже вышел из-под контроля экспериментаторов, — помолчав, прибавил я. — Он продолжается сам по себе. Как ты сказал? Цепная реакция? Что ж, верная мысль. Теперь нужно ждать взрыва.

— Когда?

— Скоро.

— И тогда вы уйдете. — Он вздохнул: это был не вопрос, а вывод.

— Ты думаешь?

— Знаю, — повторил он. — Когда ты перестанешь спрашивать меня о субзнании?

Значит, скоро домой. Теперь и я вздохнул. Радость и горе стали рядом, вместе заглядывая в будущее. Радость встречи с Землей, с родным небом, близким и любимым, и делом, которому ты служил. И горечь расставания с людьми, которых ты тоже успел полюбить, и делом их, которое тоже стало твоим. Что связывает бойцов, снова встречающихся в День Победы? Воспоминания? Поиски прошлого? Или память о погибших друзьях? Нет, пожалуй, счастье самой победы, добытой вместе, в одном строю. Я не могу, не хочу уйти раньше.

— Только нам не встретиться в этот день, — грустно улыбнулся он, — ни завтра, ни спустя годы. Да я бы и не узнал тебя.

Мне вспомнилась вдруг случайная встреча на улице — даже не встреча, а какой-то кинопроход: взглянули друг на друга в толпе и разошлись, не вспомнив, не узнав.

— Это был ты?

— Возможно... — Он пожал плечами. — Сейчас я не знаю, чем занимаюсь в Городе, как называюсь, где живу.

— Но ведь ты знаешь Город? — настаивал я.

— В данную минуту только через тебя. Таким, каким его знаешь ты. А вообще, вероятно, даже лучше. Но сейчас не помню, не спрашивай. И не спрашивай о заводе: я знаю его таким, каким его увидел и понял ты. А мое личное бытие началось, как и в прежних встречах, в гуще красного киселя. В первичной материи жизни, как говорит Зернов. Я еще разок хлебну этой кашки, если все же придется встретиться.

— Вероятно, уже в последний раз.

— Возможно.

— Гренландский вариант?

— Кто знает?

— А сейчас?

— Иди вперед, не пугайся туманов — пройдешь. Тебя давно ждут.

— А ты?

— Сам знаешь. Связной перестает быть связным, когда отпадает в нем надобность. Иди и не спрашивай.

Я послушался. Не прощаясь и не оглядываясь, шагнул в темную извилину широкой трубы, чувствуя шестым, или седьмым, или бог знает каким чувством на себе его пытливый, внимательный взгляд: не дубля — товарища. Но и это ощущение исчезло. Туман вокруг густел, обтекая, подобно холодному резиновому клею. Нечто вроде тончайшей, нерастворяющейся среды не позволяло ему коснуться кожи. Я шел вслепую, ничего впереди не видя и не стараясь оглянуться назад. Я даже помогал себе, разгребая руками этот захлестывающий малиновый кисель, пока не ударил в глаза дневной свет и не прозвучало в ушах полурадостное-полутревожное восклицание:

— Юрка! Наконец-то!

Глава XXXI

ЗАВТРАК НА БАСТИОНЕ СЕН-ЖЕРВЕ

Первые минуты я ничего не видел. Меня обнимали и тискали, как вернувшегося из многолетней командировки. Потом огляделся. Помню, как-то в детстве, впервые заглянув в церковь, я увидел на стене седовласого Саваофа, восседавшего, скрестив ноги, на прочно закрепленных облачных комьях. Эти же комья клубились вокруг, замыкая бога-отца в некий межоблачный вакуум. В таком же розовом вакууме находились и мы, все трое, ухитрившись довольно прочно стоять на загадочной стереометрической поверхности. Объем нашего вакуума трудно было определить или измерить: то он казался огромным, как ипподром, то замыкался вокруг нас, как розовая артистическая уборная оперной примадонны. Только не было ни зеркал, ни стола, ни брошенных на него принадлежностей туалета. Пустота. Солнечное убежище Саваофа, пожелавшего отдохнуть вдали от беспокойной Земли.

Мне тоже захотелось отдохнуть, и я присел на край облака.

— Как это вы пропали?

— Ты свернул, мы за тобой. А в коридоре пусто. Кругом тишина, оглядываемся — никого. Подумали: ты в стену,— и мы в стену! Блуждали, блуждали, коридорам счет потеряли — нет тебя, испарился, растаял. Остановились в этой скорлупе без яйца, а ты — как джинн из бутылки!

Выпалив все это, Мартин моего плеча все же не выпустил: а вдруг опять пропаду? Теперь мне предстояло рассказывать. Но я тянул. Честно говоря, хотелось есть — с утра куска не перехватил. Зернов хоть грушу съел не то в «Охотном ряду», не то в «лавке Снайдерса» — как еще назовешь эту кухню, сквозь которую мы прошли, как очередной круг ада, даже ничего не успев пощупать? А сейчас желудок неумолимо напоминал о себе. Я, глотая слюну, тут же представил себе аппетитный кусок мяса с поджаристой корочкой и гарниром из хрустящего на зубах картофеля. Представил и обомлел.

Прямо передо мной повисла в воздухе пластмассовая тарелка с вожделенным бифштексом. Он был именно таким, каким я его вообразил: поджаристым, сочным, в венке из румяной соломки картофеля.

Я не слишком удивился: львиная доля удивления пришлась на материализованную в лабиринте свечу. А бифштекс был уже повторением пройденного. Но на моих друзей волшебное появление тарелки с мясом произвело ошеломляющее впечатление. Мартин, онемев, воззрился на чудо, а Зернов пробормотал:

— Что за фокусы?

— Это не фокусы,— сказал я небрежно.— Это бифштекс.

— Откуда? — взревел Мартин.

— Заказал,— продолжал я игру.— Есть что-то захотелось.

И снова обомлел.

Рядом с моей тарелкой повисла другая, с таким же бифштексом, только посыпанным жареным луком. Зернов самодовольно посмеивался.

— Разгадал?

— Конечно. Все-таки вы пижон, молодой человек. Запишите на память: любое открытие может быть повторено в таких же лабораторных условиях. К сведению Мартина, который таращит глаза на чудо. Это не чудо, а элементарная материализация мысленной информации. Когда-нибудь мы с той же легкостью будем творить такие же чудеса на Земле. Футурологи относят эту возможность примерно к двадцать первому и двадцать второму веку. Ну а здесь пораньше справились — вот и все.

— Интересно,— подумал я вслух,— а почему эти чудеса не творятся в Городе? Проще ведь, чем гнать грузовики и обогащать полицейских.

Зернов взглянул на меня с сожалением.

— Что ж, по-твоему, эти бифштексы возникли из ничего?

— Почему из ничего? Из воздуха.

— Кол тебе по физике. И по химии тоже. Два кола. Из воздуха только мыльные пузыри делают, и то пополам с мылом. А воспроизведение реальных предметов, по существу, даже не новость. Скажем, в электронике моно-

литные схемы для электронных приборов создают с помощью «намыления» атомов. Процесс этот управляем, и управление полностью автоматизировано. Продолжим мысленно линию развития и вместо схемы для прибора получим все, что угодно.

— Например, свечу,— засмеялся я и рассказал о происшествии в лабиринте.

— Ну а сейчас бифштекс,— сказал Зернов.— Тот же принцип. А что это с Мартином?

Тот кряхтел, моргал, шевелил губами и надувался от напряжения.

— Не получается,— жалобно признался он.

— Что не получается?

— Бифштекс.

Каюсь, мы не удержались от смеха.

— А ты представь себе его,— посоветовал я.— Закрой глаза и представь.

Мартин безнадежно махнул рукой:

— Не выходит. Лезет в голову чушь какая-то.

— В этом и все дело,— сказал Зернов.— Мартин не дает чистой мысли, а устройство не реагирует на «грязную» информацию. На информационную основу ложатся посторонние наслоения: корова на лугу, официант из ресторана, газовая конфорка.

Я не знаю, что именно лезло в голову Мартина, но чистой информации — бифштекса с его внешним видом и вкусом — не было.

— Еще один цех,— усмехнулся я.— Лампа Аладдина или скатерть-самобранка.

— Вот именно,— подхватил Зернов,— еще один цех, так сказать, индивидуальных заказов. «Облака» предусмотрели все потребное человеку, но в этом потребном далеко не все годится для поточного производства. Бифштекс с луком или седло из барашка — это не сосиски или этикетки. Их поточное производство не рационально и не экономично. Вот в этом цехе и запрограммировано выполнение таких индивидуальных заказов. Наши выполняются, потому что мы здесь; все остальное — по требованиям из Города. Фактически этот цех — репликатор, изготовляющий любой продукт, какой только человек в состоянии пожелать или придумать. Материал — все из-

вестные и неизвестные на Земле химические элементы, механизм производства: уже давно знакомое нам розовое месиво, когда туман, когда взвесь, когда кисель или желе. И мы не в вакууме и не в скорлупе, а у пульта машины. Не знаю какой — биоэлектронной, биокибернетической, но — машины.

Зернов уже не обращался ко мне. Он просто размышлял вслух, открывая нам процесс рождения гипотезы.

— Вероятность вероятностью, но должен же быть какой-то критерий. Иначе производство свелось бы к хаосу и бессмыслице. Какой же критерий позволит достичь оптимума? Пожалуй, расход продуктов. Как раз это величина, легко поддающаяся учету. И очень точному учету. А учет отпадает, потому что расход продуктов — постоянная величина. Абсолютная нелепость. Переменная величина стала стабильной. Искусственно стабилизированной.

Мы слушали буквально разинув рты. Два давно остывших бифштекса были прочно забыты. Зернов выводил теорию гигантского замысла пришельцев, теорию неограниченной мощности завода, искусственно ограниченной невежественными захватчиками.

— Прирост населения, смертность, какие-то катаклизмы изменяют этот критерий,— задумчиво продолжал он.— Я бы не взялся экстраполировать в будущее график расхода пищевых продуктов у нас на Земле — слишком много побочных факторов, которых не учтешь. Но эту величину можно измерить на какой-то определенный день. Измерить и ввести в память кибернетического мозга завода. Изменится программа — изменится и режим работы. «Облака» моделировали жизнь Города по земным образцам. Они должны были учесть, что его население будет расти с каждым годом. Первоначальной мощности завода не хватило бы уже через год. Я не допускаю, что технология была ошибочной.

Я рискнул вставить свое замечание:

— Я давно подозревал, что мощность завода искусственно ограничена. Она постоянна уже десять лет. Значит, смертность в Городе выше рождаемости.

— Конечно. Таким образом и поддерживается уже известный тебе статус-кво. Хозяева Города безумно

боятся, что неведомый для них завод может встать. Отсюда и переполненные бараки Майн-сити, и попустительство «диким», и запасы Си-центра. А все это ни к чему. Завод создан для того, чтобы люди ели. Досыта, до отвала, не ведая забот о хлебе насущном. Собственно, это и не завод. Это непрерывно увеличивающийся континуум с неограниченной мощностью, самоорганизующееся производство, способное видоизменяться и совершенствоваться в зависимости от условий и требований. Помните евангельскую легенду?

И в воздухе рядом с бифштексом повисло блюдо с пятью булками и двумя живыми, еще трепещущими золотистыми карасями.

— Вот так и без божьей помощи можно накормить даже не тысячи, а миллионы людей.

— Только они есть не будут,— сказал Мартин, откусив и тотчас же выплюнув кусочек бифштекса.

— Почему? — удивился я.

— Пробка. Факир из тебя неважный.

— Неудача начинающего материализатора,— усмехнулся Зернов.— Ограничился внешним видом, запахом и забыл о вкусе. Самое трудное, между прочим, представить вкус.

— Попробую.

— Не надо,— взмолился Мартин.— Поджарьте лучше рыбок, мальчики.

— Я ему сейчас шашлык сотворю,— сказал я и театральным жестом убрал висевшие в воздухе тарелки.

Затем мысленно представил себе кусочки сочной, прожаренной баранины, мысленно же ощутил ее запах, еще кровяной вкус, чуть-чуть кисловатый от уксуса, насадил куски почему-то не на шампур, а на шпагу Бонвиля-Монжюссо, утроил шпаги и воочию увидал их в действительности. Весь процесс длился не более минуты.

Мартин боязливо откусил кусок мяса, не снимая его со шпаги, пожевал, причмокнул и улыбнулся. У меня отлегло от сердца.

— Завтрак на бастионе Сен-Жерве,— сказал Зернов, принимая от меня другую шпагу, пронзившую нежнейшие куски мяса.— Д'Артаньян рассказывает о своих приключениях.

Глава XXXII

КОНТИНУУМ

— Д'Артаньяну рассказывать нечего, кроме одной встречи, пожалуй...

Слушатели насторожились.

— Третья встреча,— сказал Зернов. Он уже все понял.

— Будет и четвертая,— прибавил я.— На прощанье. В общем, миссию нашу считают законченной.

Пришлось объяснить все Мартину, потому что он не был Зерновым.

— Все встретимся? — спросил он.

— Вероятно. Не спрашивай где — не знаю. Мешать ничему они не будут. По-моему, это главное.

— Главное — выбраться,— вздохнул Мартин.

Он был прав. После встречи со связным наших хозяев нас уже ничто не удерживало на заводе. Самое существенное мы уже знали. Но меня интересовали детали. Объяснил ли себе Зернов все нами увиденное или многое осталось для него такой же загадкой, как и для нас? Прыгающие «мешки», золотое пятно, цветные струи коммуникаций, параболы этикеток и консервных банок, прыжки пола и удары силовых полей... Что все это значило, чему служило, откуда возникало и куда исчезало — таких вопросов я мог бы задать десятки. Вероятно, у Зернова есть какое-то объяснение или гипотеза. Пусть съест шашлык, «распылит» шпагу-шампур и поделится наверняка уже разгаданными тайнами.

Все это я ему и выложил.

— Что тебе особенно непонятно? — спросил он.— По-моему, многое уже выяснилось по пути.

— Для тебя. Мне хочется детализировать. Скажем, начиная с «Генисаретского озера».

— Плазма в магнитной ловушке. Я уже говорил.

— Для чего?

— Я могу только предполагать. Вероятно, это «печь». Плазменный реактор. Плазма может служить каким-то целям и при сравнительно низких температурах, порядка десятков тысяч градусов. Химический синтез в такой струе легко поддается управлению. А магнитное поле

нечто вроде сосуда для таких реакций. Его давление может достигать оптимальных вариантов. Возможно, именно оно и образовало пленку, по которой мы прошли, яко посуху.

— Значит, все-таки синтез? — закинул я удочку.

Он поймался:

— Вероятно. Даже на Земле химический синтез давно не новинка. Синтетические жиры производились в Германии уже в сороковые годы. Существует микробиологический способ получения белков из углеводородов нефти. Не решена только проблема синтеза углеводов, но это вопрос времени.

— А почему мы переносим нашу научную методологию на их процессы? — спросил я. — Может быть, у них все иначе?

— Конечно, иначе. Но общие, единые для Вселенной принципы неизменны и на Земле, и на какой-нибудь альфа Эридана. Периодическая система элементов может быть записана по-разному, но смысл ее от этого не изменится. Технология синтеза у «облаков» наверняка иная, но сущность его та же, что и у нас.

— Ладно, с синтезом ясно. Истоки — в плазме. А дальше?

— Что дальше?

— Кисель, — сказал Мартин. — Или желе. Почему оно красное, малиновое или пунцовое? Все оттенки сурика или кармина.

— Опять только предположение, — вздохнул Зернов. — Красный цвет в той или иной концентрации присутствует в каждом цехе. То дымок, то кисель, то каша. Верно. Думаю, это — катализатор, ускоряющий производственные процессы. Кстати, и при моделировании земных объектов они применяли тот же красный кисель, только степень его концентрации зависела от задачи.

— Был и совсем непроходимый кисель, — вспомнил Мартин.

— Был. Естественный вопрос: зачем? Что моделировалось? А вдруг ничего не моделировалось? Просто склад, запасы катализатора.

Каюсь, я не подумал о такой возможности. Пороху не хватило.

Зернов рассмеялся:

— Сейчас о «мешках» спросишь. А если это элементарные емкости с переходными материалами?

— Так почему они прыгают?

— А почему тарелка с бифштексом висела в воздухе? Управляемая гравитация. Способ транспортировки или изоляции моделируемого объекта. Многое, конечно, объяснить нелегко. Зачем, например, заводу лаборатория?

— Ты же сказал: для нас.

— В ту минуту. Сегодня. Но разве мы каждый день появляемся в коридорах континуума? А лаборатория существует не с сегодняшнего утра. Недаром охрана упорно не пропускала нас.

— Какая охрана?

— Силовые поля.

— Их же выключили в конце концов.

— Выключили. А почему они включились? С какой целью?

Если Зернов еще мог отвечать на мои вопросы, то мы с Мартином только помалкивали. Да и спрашивал он чисто риторически. Сам спрашивал, и сам отвечал.

— А не существуют ли на заводе моделированные лаборанты для проверки готовой продукции? Оборотни без личности. Биомашины с определенной программой: пробовать и переваривать пищу. Один желудочно-кишечный тракт, без мозга, с одной только реакцией: проверка качества продукции. Бесчеловечно? Отбросьте земные определения: здесь они не годятся. Синтезированная пища предназначается для людей — значит, дегустировать ее должны человеческий вкус и желудок.

— Почему же все-таки включились силовые поля? — недоумевал я.— Как они отличили нас от привычных для них экспертов?

— А ты уверен, что мы похожи? Что у нас один цвет, один запах, одни биотоки? А может быть, есть определенное время для такой дегустации, определенный режим? Мы, вероятно, нарушили этот режим, за что и были наказаны. Все ясно?

— Не все. А потемкинская деревня с бутафорским солнцем и живыми коровами?

— Тоже лаборатория. Мы не знаем вкуса синтезиро-

ванного парного мяса. Может быть, целесообразнее зарезать синтезированную корову? А может быть, это только проба? Для сравнения с готовой кулинарной синтетикой. Есть еще вопросы?

Ему уже надоело играть роль терпеливого гида. Но я все же рискнул.

— Два,— сказал я.— Сосиски и этикетки.

— Поточные линии. Мы еще не видели ни шоколада, ни жареных кур, ни серебряной фольги. Все это тоже где-то формируется, охлаждается и плывет на склады. Спросишь: где склады? Вероятно, там, где загружают машины. У выхода в Город.

Он встал со своего застывшего облака и заковылял в розовое пространство, неизвестно куда. Страх, что он тут же исчезнет, мгновенно погнал нас за ним. Я даже шашлык не доел — так и бросил вместе со шпагой.

В наш розовый вакуум вдруг ворвалось что-то темное и большое, возникнув горой не горой, а каким-то непонятным пригорком или камнем, преградив путь. Я отшатнулся, почувствовав, как дрогнуло у меня под рукой плечо Мартина. Темная масса не двигалась.

— Не узнал? — услышал я насмешливый шепот Зернова.

Впереди чернел кузов продовольственного фургона.

Мы подошли ближе. Кабина была пуста, и все дверцы плотно закрыты. По-видимому, загрузка фургона произошла раньше и где-то в другом цеху. Я встал на подножку и попробовал открыть дверцу — ничего не вышло.

Я едва успел отскочить, как черный автофургон беззвучно двинулся в сторону.

Куда? В розовой дымке уже возникали очертания знакомого фиолетового «пятна». Оно темнело, как вход в тоннель, открывшийся в мутных клубах распыленного в воздухе сурика. Откуда-то издалека пахнуло ночной сыростью, влажной листвой — запахами близкого леса. Какое-то мгновение черная тень фургона была еще видна в лиловом тоннеле, и мне даже показалось, что где-то над ней в разрыве прикрывающей тоннель пленки высоко-высоко мелькнула еле заметная звездочка. Я вспомнил о колючих кустах по краям стекловидного лесного шоссе, росистую траву под ногами, ржание ожидавших в темноте

лошадей — видение живого мира за голубыми протуберанцами континуума обрадовало до предательской слезы на глазах. Хорошо, что ее никто не увидел.

Потрясенный, я даже не расслышал, о чем говорили между собой Зернов и Мартин,— только последние слова:

— Проморгали машину!

— Успеем!

Только теперь я разглядел в центре окружавшего нас пустого пространства знакомое золотое блюдце, тускло поблескивавшее посреди смятой розовой скатерти. Точно в таком же исчез и возник снова во время нашей недавней экскурсии Мартин.

— Телепортация,— вырвалось у меня.

И, как бы в подтверждение моих слов, посреди золотой плоскости возник новый черный фургон. Он стоял на месте прежнего, только тогда, возволнованные увиденным, мы не разглядели под ним золотого пятна. Новый фургон появился сразу, как чертик из ящика,— просто возник, и все, привычный, массивный, с длинным широким кузовом и просторной кабиной с большим смотровым стеклом.

Вдруг дверцы кабины открылись, и мы, уже не спрашивая ни о чем друг друга, не удивляясь и не пугаясь, полезли внутрь один за другим. Я не помню, открылись ли вместе с кабиной и дверцы кузова. Думаю, что нет: едва ли здесь перед выходом за пределы континуума фургоны вообще открывали свои дверцы. Для кого? Все дегустации и проверки были уже давно сделаны. Нет, сезам «облаков» открылся специально для нас, выпуская на свободу в Город. Миссия наша, предпринятая без согласования с «облаками», но, очевидно, ими одобренная, была закончена.

— А где они загружаются? — вдруг спросил Мартин.

Зернов только плечами пожал: не все ли равно теперь? Мы уже этого не увидим. Дверцы кабины захлопнулись, тихо щелкнув, и фургон так же беззвучно и плавно, как и предыдущий, двинулся к фиолетовому тоннелю.

— Финис,— щегольнул любимым словечком Зернов.

Но мы-то знали, что до конца еще далеко.

Часть четвертая

ПЕПЕЛ КЛААСА

Глава XXXIII

ГНЕВ КАРДИНАЛА

Возвращались мы сквозь толщу фиолетового тумана или взвеси, не мешавшей дышать, но мешавшей видеть и слышать, как мне показалось, несколько дольше, чем когда въезжали в континуум. Может быть, с нас снимали какие-нибудь энцефалограммы с записью мыслей и выводов о модели земной жизни, построенной «облаками» в неизвестно каком уголке нашей или не нашей галактики. Не впечатление же наше о заводе-континууме интересовало «всадников ниоткуда» — тут для них все было привычно и слаженно. Неслаженной была жизнь, к которой мы возвращались.

Незаметно туман почернел, сгустился до ночной темноты, блеснули незнакомые звезды на небе, к которым я так и не мог привыкнуть, вблизи и вдали легли зубчатые тени леса. Мы выехали к повороту на шоссе, и машина остановилась. Тихонько щелкнув, открылись двери кабины; из лесной благостной тихости вдали донеслось конское ржание и совсем близко чьи-то слова и смех; машину, как обычно, поджидали спешившиеся патрульные. Зная, с какой стороны они подойдут к открытой кабине, мы выскочили с другой в темноту.

— Никого,— сказал, как мне показалось, разочарованно и тревожно голос подошедшего Оливье, а незнакомый голос очередного патрульного — я мало кого знал на заставе — спросил:

— Вы о чем, лейтенант? Ведь это же отъезжающая, а не прибывающая машина.

Оливье вздохнул; я отчетливо услышал, как он щел-

кнул сейчас же пальцами — признак тревоги и нетерпения,— и, честно говоря, обрадовался: беспокоится парень.

— Так,— сказал он патрульным,— порядок. Поезжайте.

И машина уже без нас растаяла в окружающей темноте.

Тень Оливье молча двинулась к лесу, где ждали стреноженные лошади. Он прибыл один вместо конюхов, и не за тем, чтобы только отвести лошадей на заставу, а потому что втайне надеялся на мое возвращение.

— Оливье! — позвал я.

Тень впереди остановилась.

— Ано?

Удивление, оборвавшаяся тревога, вмиг снятое напряжение и просто радость слились в этом негромком вскрике.

— Как видишь или, вернее, слышишь,— засмеялся я.

— Неужели оттуда?

— Оттуда.

Зернов и Мартин подошли ближе. Незачем было прятаться и оттягивать встречу.

— Эти с тобой? — спросил Оливье.

— Со мной. Это Борис.— Я дотронулся в темноте до Зернова.— А это Дон. Не зажигай фонаря — это не обязательно. Верные друзья и добрые парни.

— Плохих не выберешь,— отозвался Оливье.

— Их нужно поскорее отправить в Город. Мундиры, сам понимаешь, липовые. Включи по одному в патруль и отправь с какой-нибудь подходящей машиной.

— Куда?

— На улицу Дормуа.

Я имел в виду «Фото Фляш» — ателье, которое после гибели Маго и ухода Фляша в глубокое подполье удалось арендовать Зернову не без помощи Томпсона. Там он с Мартином мог переодеться и переждать до утра — не в полицейских же мундирах являться в «Омон».

— Посмотри маршруты рейсов и подбери парочку с остановками поблизости,— прибавил я.

— Зачем? Я их наизусть помню. Одиннадцатый и двенадцатый рейсы. Остановки у булочной Фрейзера и у кафе Марди. Там близко.

Меня больше тревожило, как Зернов доберется до заставы: ездить верхом он так и не научился. Но Мартин меня успокоил:

— Доберемся. Езды всего четверть часа. Темно, и смеяться некому.

Так и добрались. Оставив друзей дожидаться у дороги — незачем было им привлекать внимание в полицейской казарме,— мы с Оливье прошли в дежурку.

— Включаюсь,— изрек торжественно Оливье.

Я сделал вид, что не понял.

— Во что?

— Во все, что бы ты ни предпринял. На меня тоже можно положиться.

— Верю. Но пока тебе лучше оставаться в стороне. Дело опасное, и рисковать не стоит.

Оливье обиделся:

— Я, кажется, никогда не был трусом.

— Знаю. Но ты не знаешь, на что мы идем.

— На грязное дело ты сам не пойдешь.

— Не пойду. Но сейчас, подчеркиваю, сейчас лезть в огонь незачем. Договоримся позже. Обязательно договоримся — обещаю. Пока же тебе, полицейскому, лучше не знать всего, что мы знаем.

— Ты тоже полицейский.

«Сказать или не сказать? Все равно сказать придется, если ищешь союзника. Для врага же Оливье и так знает больше, чем нужно. Достаточно для того, чтобы всех нас поставить к стенке. Рискну».

— Я разведчик во вражеском лагере,— не сказал — выдохнул я.

Но эффекта не получилось. Слова «разведчик» в нашем его понимании в словаре Оливье не было. Пришлось пояснить.

— Я из Сопротивления, понял?

— Я давно это понял,— сказал Оливье.— Добрые люди не идут в полицию.

А ты?

Я знал, что Оливье — сын полицейского, и Оливье знал, что мне это известно. Но мне хотелось услышать его ответ.

— Я в мать, а не в отца,— признался он.— Галун

меня не тешит. Тем более дела.— Он вздохнул и прибавил: — Я с тобой, Ано, что бы ни случилось дальше. И так уж случилось многое.

Он многозначительно замолчал, ожидая обещанного рассказа. И я рассказал обо всем, что мы видели за голубыми протуберанцами. О тайном тайных, неведомом даже самому Корсону Бойлу. То, что Оливье не понял, я обещал объяснить впоследствии: о «всадниках ниоткуда» походя не расскажешь. Но о заводе-континууме, созданном до Начала, пришлось выложить.

— Почему вы называете это континуумом? — спросил Оливье.

Объяснить было трудно: Оливье латыни не знал.

— Ты слушал когда-нибудь мессу?

— Конечно.

— На каком языке говорит кюре?

— На церковном.

— Это латынь,— сказал я.— А «континуум» по-латыни — нечто постоянное, вечное. Этот завод никогда не остановится и никогда не иссякнет.

— А если увеличится население?

— Увеличится и объем продукции. Сколько затребуем, столько и получим.

— Значит, не нужно уменьшать прирост населения?

— Конечно.

Оливье задумался: он получал и переваривал свой первый урок политграмоты.

— И можно снизить цены?

— На продукты? Бесспорно. Хоть вдвое. Можно даже раздавать их бесплатно, но тогда придется коренным образом изменить экономику Города. Сразу это трудно.

— Я не очень хорошо тебя понимаю,— растерянно признался Оливье.— Но по-моему, Бойл ничего не захочет менять.

— Почему?

— Потому что это... ну, в общем... невыгодно.— Оливье нашел нужное слово.

— Кому невыгодно? Городу?

— Ему самому невыгодно.

— Соображаешь,— усмехнулся я ободряюще.— Поше-

велим мозгами — и все поймем. Конечно, Бойл ничего не захочет менять.

— А если ему рассказать?

— Зачем?

— Убедить. В их же интересах понизить цены.

Еще бы! Если бы Корсон Бойл действительно убедился в неистощимости дарованного ему богатства, он бы кое в чем реформировал экономику Города. Может быть, даже и политику. Это бы только повысило и его личный престиж, и престиж его хунты. Из замаскированного диктатора он вырос бы до живого бога. Но какой правитель поверит голословному утверждению трех, с его точки зрения, авантюристов? Кто подтвердит наш рассказ? Кто проверит его, если сквозь фиолетовый коридор можем пройти только мы. Уже за одно это нас повесят на первом лесном суку. Опасных свидетелей не оставляют в живых.

Я сказал все это Оливье, в заключение добавив:

— Что в наиболее выгодном для Города случае сделает Корсон Бойл? Сменит ценник в продовольственных магазинах. Не лучше ли сменить его самого?

Моя реплика не испугала и не удивила меланхоличного Оливье. Он просто обдумал ее и спросил:

— А на кого? Одного убили, придет другой. Какая разница?

«Соображает,— подумал я.— Трезвый ум. Такого не соблазнишь романтикой покушения».

— Сменить всю клику,— сказал я вслух.

— С чем? С луками против автоматов?

— Найдутся и автоматы.

Оливье снова замолчал, размышляя.

— Трудно, очень трудно,— вздохнул он.

— Такие победы легко не даются,— сказал я и покраснел: ну и штамп!

Хорошо, что хоть Оливье не смотрел на меня, а быть может, и не вслушивался. Он просто молчал. Я почти догадывался, что с ним происходит. Он выбирал: с кем? С нами или остаться нейтральным? И я почти предугадал вопрос, который наконец последовал:

— Что же мне делать?

— Пока жив — молчи. И помни: пока молчишь — жив.

— Угрожаешь?

— Не я. Твое же начальство тебя не помилует. За одни раздумья.

— А где Шнелль? — вдруг спросил он.

— Лежит в лесу под придорожным кустом, если лисы не съели.

— И Губач?

— Я уже говорил тебе. Забыл или жалеешь?

— С ума сошел! Как справился?

— Пощелкали. Я разгадал их тактику сразу после Си-центра.

— А если начнется следствие?

— Скажу правду. А ты подтвердишь, что слышал, как они договаривались меня прикончить.

Вовремя вспомнил Оливье о Шнелле, вовремя я подсказал ему легенду.

Дверь с грохотом распахнулась от удара ногой, и в дежурке появился сам Корсон Бойл. Он был в парадном мундире, но в грязных сапогах — должно быть, ехал верхом. Судя по красноватым белкам и воспаленным припухлостям под нижними веками, он производил впечатление кутилы или картежника, смахнувшего со счетов еще одну бессонную ночь. Но он не был ни тем ни другим — значит, что-то случилось все-таки, если даже розовые щеки его подтянулись и посерели.

— Оставь нас,— бросил он Оливье.

Тот вышел. Корсон Бойл прошел мимо, искоса и, как показалось мне, без прежнего дружелюбия взглянул на меня. Он сел в мое кресло и кивком указал на противоположный стул:

— Садись.

Я сел.

— Кто вчера привел последнюю машину? — рявкнул он, как выстрел.

Я вскочил:

— Я.

— Можешь отвечать сидя. Кто был в патруле?

— Шнелль и Губач.

— Кто это — Губач?

— Патрульный из Майн-сити.

— Почему переведен сюда?

— Заключенные вынесли ему смертный приговор.

— Где оба?

— Убиты.

— Кем?

Мне показалось, что он все знает, и я пошел напролом.

— Мной. Я убил обоих, защищаясь на первых километрах лесной дороги.

Бойл, должно быть, не ожидал такого ответа. Он пожевал губами и спросил уже мягче:

— Что значит — защищаясь?

— Как защищаются, комиссар, когда на тебя нападают?

— Они стреляли, верно. Мы это проверили.

Хвала Мартину, предварительно опустошившему магазины автоматов.

— Но в кого они стреляли, Ано?

— Они еще до отъезда сговорились меня прикончить.

— Откуда знаешь?

— Меня предупредил Оливье. Он слышал их разговор на крыльце. Дверь была открыта. Он еще вчера написал рапорт на ваше имя. Я задержал его: хотел объяснить лично.

Бойл долго молчал. В холодных глазах его не промелькнуло ни доверия, ни теплоты.

— Все-таки странно, — наконец сказал он. — Их было двое против одного. А Шнелль стрелял без промаха.

— Я все время был начеку с отъезда из Си-центра, как только они оба перебрались в кабину. Там они не рискнули меня пристрелить: я не выпускал из рук автомата. Но я ожидал какой-нибудь штучки вроде завала. И дождался. Кто срубил дерево, не знаю. Вероятно, у них был сообщник. Но когда машина остановилась, я не выскочил первым, на что они, вероятно, рассчитывали, а предложил им выйти и посмотреть, что случилось. Они не выстрелили сразу — в этом была их ошибка, — а позвали меня. Якобы на помощь. Я выпрыгнул и мгновенно плюхнулся на шоссе под колеса. Грохнули две очереди, но поверх меня. По звуку выстрелов я понял, откуда, и ответил. Кстати, я тоже стреляю без промаха, комиссар.

Бойл все еще сомневался:

— Я давно знаю Шнелля. Шнелль и убийство товарища — это несовместимо.

— Он невзлюбил меня после скачек, затаил злобу после экзамена и возненавидел, когда начальником заставы стал я, а не он.

— Может быть, и зря, что не он,— задумчиво произнес Бойл.— Может быть, я ошибся. А теперь начальником я назначу Минье из Майн-сити.

Я слыхал о Минье, заместителе начальника лагеря,— тупом и жестоком солдафоне, яростно ненавидимом заключенными. Почему его переводят сюда? Из-за меня? Едва ли.

Внутренне даже довольный, что расстаюсь с опротивевшей мне казармой, я поднялся.

— Разрешите вопрос, комиссар.

— Мог бы задать его сидя.

— Я разжалован, комиссар?

— Пока еще нет. Есть шанс сохранить лейтенантские нашивки.

— Тогда еще один вопрос, комиссар. Почему Минье, а не Оливье?

— Оливье поедет вместе с тобой.

Я знал, что спрашивать больше не полагалось, но у меня вырвалось:

— Куда?

— В Майн-сити.

Теперь уж я сел без всякого разрешения, донельзя растерянный и ошеломленный. Вероятно, это отразилось у меня на лице, потому что Корсон Бойл засмеялся. Кстати, впервые после его появления в дежурке.

Гроза прошла мимо.

— В Майн-сити готовится бунт,— пояснил Бойл.— Нам сообщили об этом информаторы — у нас есть свои в каждом бараке. Но когда именно, выяснить пока не удалось: на другой день трех информаторов нашли задушенными в шахте. Одного убили куском угля. А на столе у себя Минье нашел свой смертный приговор, изложенный печатными буквами. Он так испуган, что рассчитывать на него в лагере уже не приходится. Конечно, можно расстрелять каждого десятого или пятого, но что мы узнаем? Ничего. Кроме того, нам сейчас нужны рабочие — необ-

ходимо форсировать добычу угля. Потому я и посылаю тебя на место Минье. Бриск, начальник лагеря, тяжело болен, толку от него мало. Значит, тебе понадобится помощник. А лучше Оливье не найдешь.

Я не выразил ни угодливой радости, ни служебной готовности.

— Не доволен? — спросил Бойл.

— Не очень,— честно признался я.— Дела я не знаю, а дело нелегкое. И лагерники, по-моему, отлично организованы.

— Вот ты и докопаешься до организации бунта, сорвешь его подготовку и ликвидируешь зачинщиков. Как? Дело твое. В качестве начальной меры могу подсказать. Смени связь с Городом. Связь поддерживается через вольнонаемных шоферов, подвозящих продукты для кухонь. Смени всех. Связи в Городе есть? Есть. Значит, и люди найдутся. Вмешиваться не буду.

Я постарался сдержать улыбку. Люди, конечно, найдутся: Фляш подберет их сколько угодно. Неплохо одним из водителей послать Мартина. Совсем не плохо. Я наконец разрешил себе улыбнуться: нам потрясающе везло.

Бойл вскинул брови.

— Рано.

Я не понял.

— Улыбаться рано. Вот взгляни.— Он желчно усмехнулся и протянул мне сложенный вчетверо газетный лист.

То был очередной номер подпольной газеты сопротивленцев «Либертэ», вернее, ее английский дубликат «Фридом» — детище предусмотрительности Зернова и активности Мартина. Последнего я узнал по перу в фельетоне «Игра с джокером», высмеивающем самого Бойла. Как джокер, подменяющий любую карту, всесильный диктатор появляется то в мундире начальника фуд-полиции, то под личиной скакового мецената и коннозаводчика, то под еще более скромной вывеской владельца ресторана «Олимпия» (последнее Мартин узнал, конечно, от своей барменши). Хроника рабовладельческих нравов в Майн-сити плюс статистика систематического сокращения населения Города объясняли и резкость Бойла, и его несдерживаемое раздражение. Но тревожило его другое.

— Сослали редактора, разгромили типографию, даже

бумагу вывезли, а пакость эта выходит,— вдруг сказал он.

Я понимал недоумение Бойла. Профессиональная память его не знала опыта борьбы с революционным подпольем: в Сэнд-сити такого подполья не было. Полисмены Сэнд-сити чинили расправу над коммунистами, неграми и, если требовалось, над мелкими нарушителями общественного благополучия — крупных гангстеров они не трогали. Если бы «облака» смоделировали жандармского умельца Медникова из московской охранки, тот сразу понял бы, что перед ним продукт хорошо организованного подполья. Бойл этого не знал, считая Сопротивление чем-то вроде гангстерской шайки. Но оно уже начинало его тревожить.

Глава XXXIV

ПЛЕТКА И ШОКОЛАД

Мы выехали в Майн-сити на рассвете по окружной дороге в сопровождении эскорта патрульных с автоматами. Вдвоем было небезопасно: одинокого полицейского здесь часто подстерегали или нож, брошенный из-за куста, или стрела, пущенная с дерева. Заехать в Город Бойл не разрешил — торопил скорее ознакомиться с положением в горняцких поселках, и я поэтому не мог повидаться с друзьями и Фляшем. Кажется, мое назначение опередило события. Бойл сказал: готовится бунт. Вероятно, он имел в виду локально ограниченный мятеж в одном из бараков, обеспечивающий побег, может быть, и значительной группе заключенных, но всего только побег. Такие побеги случались: лес был наводнен группами одичавших беглецов, время от времени нападавших на патрули и машины с продуктами. Но с моей помощью Сопротивление могло превратить мятеж в восстание, отнюдь не ограничивая его цели побегом. Сложность заключалась в том, что организация побега уже началась (у Бойла были такие сведения), а я не мог связаться с Фляшем: без соответствующих паролей и явок нечего было и думать о связи с лагерными подпольщиками. Даже выданные им списки

провокаторов они, в свою очередь, могли посчитать провокацией. Правда, меня знал Джемс, но при его недоверчивости и пылкости моя самодеятельность могла иметь самые пагубные последствия. На подобную самодеятельность без директив Сопротивления я не имел никакого права.

С такими мыслями я ехал в лагерь, опасливо поглядывая на окружавшую нас чащобу. К счастью, она редела по мере нашего продвижения по горной дороге, и я еще раз мог наблюдать, в каком своеобразном преломлении воспроизвели «облака» нашу земную природу. Не знаю, какова она в их родном уголке Вселенной, но самая суть природы нашей планеты — ее хаотичность, стихийность и беспорядочность — осталась ими непонятой. Или, быть может, они захотели ее улучшить по-своему, подбирая однородность видов и форм. Мы проезжали сосновые корабельные чащи, насквозь пронизанные солнечным светом, дубовые и кленовые перелески, рощи голубых елей и белых акаций. Казалось, все это было посажено упрямым садовником, чуждым всякой эстетики, но поклонником однородного музейного принципа. А если, скажем, среди голубых елей пробивался молодой дубок, а в кленовом лесу — заросли боярышника или барбариса, то это сама воссозданная природа вносила коррективы в замысел ее создателей. Пройдет пять-шесть десятилетий, и эти коррективы полностью изменят лик окружающего питомника. На неведомой планете зашумит подлинно земной лес, где будут шастать грибники и охотники.

Были и приключения, заставлявшие нас ехать в объезд и делать многокилометровый крюк по звериным, нехоженым тропам. Участок высохшего почему-то кустарника облюбовали полчища змей, висевших на голых ветках, как куски провода или каната. Ядовитость их мы не проверяли, свернув на первую попавшуюся тропу. Кони сами выбирали дорогу, загодя чуя опасность. Так мы избежали встречи с тучей пчел, жужжавших над полем цветов, словно проходившая под облаками эскадрилья скоростных самолетов. Я взглянул на лица сопровождавших нас патрульных: они посерели от страха. Значит, я просто не представлял себе масштабы подстерегавшей нас опасности.

Близость человеческого поселения стала заметной по мере нашего приближения к лагерю, показались конские табуны на лугах, обнесенных высоким забором, зеленожелтые массивы овса и плантации роз, явно посаженных человеком.

— Участки полицейских-отставников,— пояснил Оливье,— заготовка розового масла.

К лагерю мы подъехали не со стороны железной дороги, отделенной от леса колючей проволокой, а по грунтовке, изрезанной колесами и копытами, которая и привела нас к воротам в серой бетонной стене с лаконичной надписью «Уголь». Оливье разъяснил, что на таких же воротах к югу красуется надпись «Железо», а выше в горах — «Медь», в зависимости от того, на какие разработки ведет дорога. Я вспомнил роман Синклера: мы въезжали в царство «короля-угля», только здешний король был во много раз свирепее синклеровского.

Однако поселок за воротами производил даже симпатичное впечатление и чем-то напоминал виденное мною во Франции. Оттуда, вероятно, и были скопированы эти дома с черепичными крышами и цветными палисадниками, уцелевшими со времен второй республики, одноэтажные коттеджи модерн, нечто вроде мэрии в центре маленькой площади и трактир с вынесенными на улицу столиками под курортно-полосатым тентом.

— Административный поселок,— подсказал Оливье,— комендатура, службы, техническое управление и ресторан для нашей услады.

— А рабочие?

Даже сопровождавшие нас патрульные заржали, как лошади:

— Ты еще бараки не видел. И плеточный плац, и собачий питомник.

— Зачем питомник? — поинтересовался я.

Оливье ответил лаконично и грустно:

— Увидишь.

Но я ничего не видел, кроме пустой улицы и нескольких человек в шортах за столиками под тентом. Никто из них даже не обернулся.

— Чины,— усмехнулся Оливье.— Коньяк со льдом хлещут. Жарко, сам понимаешь.

Освенцим и Маутхаузен мы увидели позже, когда осматривали шахтерские обиталища в блоках-бараках, возглавлявшихся блок-боссами. Кто придумал концентрационные лагеря, до сих пор не знает история. За несколько десятилетий до гитлеровцев их с успехом применяли англичане в Южной Африке, сокращая количество военнопленных в годы англо-бурской войны. Историки ее уверяют, что прообразом для таких лагерей послужили каторжные поселения английской короны в Австралии. Говорят, что такие же поселения создавались и рабовладельцами Древнего Рима в их колониальных владениях, что упоминание об этом будто бы можно найти у Тацита или у Флавия. Впрочем, не это существенно. Существенно то, что «облака» смоделировали человеческую жестокость, а человеческая жестокость придумала и оборудовала Майн-сити. То, что мы видели в бараках, кухнях и на плеточном плацу, где наказывали провинившихся окованными медью ременными плетками, можно сравнить с любой гиммлеровской фабрикой смерти и описание увиденного заимствовать из любого документального фильма, смонтированного по материалам Нюрнбергского процесса. Будет очень похоже. Несколько архаично, не столь модернизированно: не было печей, газовых камер, изделий из человеческой кожи, стерилизации... Но древние формы человекоистребления, вплоть до травли собаками, применялись здесь ревностно и успешно.

Собак, впрочем, я отменил, плетки тоже. На самом большом плацу я собрал всех блок-боссов — типичнейших капо с выражением жестокости и хамства на лицах. Они были в таких же серых мундирах, обшитых вместо галуна черной тесьмой. В отличие от «золотарей-галунщиков», в лагере их называли могильщиками. За голенищем у каждого торчала плетка. Плетки были первое, что я увидел.

— Вынуть плетки! — скомандовал я.

Недоуменно, но послушно плетки были извлечены из сапог.

— Теперь выбросьте их на два шага вперед.

Перед строем мундирных блок-боссов легла почти ровная линия ременных треххвосток с медными наконечниками.

У меня в комендатуре был не то управдел, не то пи-

сарь, почти мой однофамилец — Онэ. Он тут же вел записи для приказа. Если первое мое распоряжение вызвало у него, как и у всех, только недоумение, то последующее повергло в ужас.

— Плетки сжечь, а все плацы уложить дерном, — приказал я. — Пусть будут лужайки для отдыха.

Наступила глубокая тишина, которую Онэ прервал не сразу, но все-таки прервал.

— Пункт седьмой охранительного устава гласит: плетка с тремя хвостами считается непременным условием всякого наказания, — деревянным голосом произнес он.

— Пункт седьмой временно отменяется, — сказал я.

Онэ вскочил:

— Кем отменяется?

— Мной. Не задавайте лишних вопросов.

Молча стоял каменный строй блок-боссов.

— Почем вы ходите всюду с собаками? — спросил я.

Онэ снова подпрыгнул, как чертик из ящика.

— Пункт восьмой... — начал он.

— Пункт восьмой временно отменяется, — перебил я. — Собаки используются только за колючей проволокой. Никакой травли людей на территории лагеря. Все.

Так было покончено с плетками и собаками. Кроме того, я закрыл все карцеры — земляные норы без света и воздуха, ввел наблюдение за безопасностью работ на лесоповале и в шахтах и увеличил дневной рацион для рабочих. Порядок в столовых и лазаретах наводил Оливье. На большее я пока не рискнул, да и реформы вводил не для того, чтобы задобрить рабочих и вызвать у них признательность к новой начальственной метле, а с тем чтобы внести некое смятение в умах, отсрочить тем самым подготовку мятежа. Мятеж не должен начинаться до вмешательства Сопротивления. Джемса я в бараках не нашел, но имя его в списках видел. Значит, Джемс был жив и, по-видимому, относительно здоров, потому что в больнице не числился.

Мой интерес к нему тотчас же привлек внимание Онэ: мои предшественники не интересовались заключенными.

— Вы знаете, кто этот Джемс Стил? — спросил он.

— Знаю, — ответил я хладнокровно. — Бывший редактор подпольной газеты.

Онэ сейчас же насторожился: что это я затеял?

— Собираюсь расширить канцелярию,— небрежно заметил я.— Объем работы увеличивается, один вы не справитесь. А из бывшего редактора может выйти хороший писарь.

Онэ промолчал. Он копил наблюдения для доноса. Кому? Больному Бриску, которого я замещал, или самому Бойлу? Бриск меня не пугал, но вмешательство Бойла могло сорвать мои планы. Онэ становился опасным, а наш раунд — решающим. Противника, как говорят на ринге, надо было нокаутировать.

Для начала я послал его в нокдаун:

— Вы готовите рапорт, Онэ? О моих действиях и через мою голову. Но учтите: первым об этом узнаю я.

Он взглянул на меня исподлобья, как бы оценивая мою угрозу.

— Вам еще не выносили смертного приговора? — спросил я.

— Ннн-нет...— заикнулся он.

— В таких случаях полицейских спасают. Переводят в другое место — как Минье, например. Так запомните: вас не переведут. Это я вам обещаю.

Я мог спокойно считать до десяти, как на ринге. С Онэ было покончено. Требовался кислород, и я его дал.

— Мне поручено, Онэ, любыми средствами — я подчеркиваю: л ю б ы м и — поднять добычу руды и угля. Сделать это можно при помощи кнута и пряника. (Я перевел «кнут» как «плетку», а «пряник» как «плитку шоколада».) Мои предшественники предпочитали плетку, и добыча падала. Поэтому я решил попробовать шоколад.

По-видимому, он понял, потому что мое требование разыскать и доставить Джемса бросился выполнять сам. Сейчас предстоял разговор потруднее.

Джемс вошел в зеленой куртке каторжника: до полосатых местные гиммлеры не додумались. Сначала я даже не узнал его, настолько он изменился. Работа в Майн-Сити действительно сокращала прирост населения.

— Садись,— сказал я, придвигая стул.

Он сел, не отводя устремленных на меня глаз. В них я читал презрение и недоверие.

— Не веришь?

— Не понимаю вопроса.

— Прекрасно понимаешь. Только считаешь, что я предатель и делаю карьеру в полиции.

— А разве это не так? — скривился он.— Мне что-то не известно от Сопротивления о твоем назначении.

— Будет известно,— сказал я.— Оно произошло неожиданно для меня самого. Связаться с руководством и получить директивы еще не успел.

Он молчал. Сжатые губы его по-прежнему презрительно кривились: не верил ни одному моему слову.

— Не доверяешь?

— Не доверяю.

— Ты прав,— вздохнул я.— Доверие не просят, а завоевывают. Подождем. Где ты работаешь?

— На седьмой-бис.

— В шахте?

— Конечно. Думаешь, буду восхищаться твоими реформами? Они, конечно, гуманны, но в создавшемся положении приносят больше вреда, чем пользы.

Так и есть: смятение в умах уже началось. Надо развивать партию. Шах королю!

— Ты ошибаешься и скоро осознаешь свою ошибку,— сказал я.— А пока перевожу тебя из шахты.

Он вскочил испуганно:

— Куда?

— Сюда. В канцелярию. Ты должен быть у меня под рукой.

— А если я не хочу?

Я усмехнулся.

— Оставь меня в шахте, Ано. Прошу. Сейчас это очень для меня важно.— Голос его дрожал, он почти умолял, этот голос.

— Нет.— Я решительно отверг его просьбу.— Ты сам поймешь, где ты нужнее.

— Никогда! — крикнул он.— Никогда не пойму

Я решил добить его: у меня не было выхода.

— Ты и раньше мало что понимал. Из-за непонятливости и газету погубил.

Он сразу сник, даже голову опустил, как провинившийся школьник.

Я не обвиняю тебя в предательстве, потому что

знаю предателя,— сказал я.— Но твое недомыслие и доверчивость, столь же легкомысленные, как и сейчас твое недоверие, привели к провалу.

Он вздохнул и выдохнул. Казалось, он задыхался.

— Ты знаешь предателя? Кто?

— Этьен. Я же предупреждал тебя.

— Но ведь он сам оборудовал типографию.

— Был в одной стране — до вашего Начала, конечно,— некий провокатор по имени Евно Азеф. Он организовывал революционные акции, чтобы потом донести полиции. Этьен помельче, но из той же породы.

Джемс уже не отвечал, не глядел, не кривился. А я выдавливал из него упрямство, как зубную пасту из тюбика.

— Кстати, газета выходила и выходит без перерывов. Была оборудована резервная типография, о которой не знали ни ты, ни он. И редактирует ее неплохо один наш общий знакомый.

— Кто?

— Мартин.

— Твой Мартин?

— Наш Мартин,— сказал я.— Такие-то пироги, юноша. Забирай свои пожитки и переселяйся в административный барак.

— И все-таки не верю,— повторил Джемс, но уже без прежней уверенности.

— Поверишь,— усмехнулся я.— Даже плечики опустишь, когда увидишь очередной номер. Мат!

— Что? — не понял Джемс.

— Ничего,— сказал я, уже думая о другом.

Теперь мне нужен был только повод для отъезда в Город. Время работало на нас.

Глава XXXV

ГАМБИТ ЭТЬЕНА

Повод нашелся. Нужно было сменить вольнонаемных шоферов, подвозивших из Си-центра муку ручного помола, из которой замешивалась лагерная похлебка для ку-

хонь, и деликатесные продукты для администрации и охраны. Я выехал ночью, рассчитывая застать Зернова или, в крайнем случае, Мартина. Конечно, жаль было подымать их с постели, но кто-нибудь — или Борис, или Дон — нашел бы способ добраться до Фляша. А с Фляшем требовалось связаться до вечера: времени у меня не было.

Конюшня отеля была на замке, конюхи спали, и я, привязав лошадь к афишной стойке, прошел в вестибюль «Омона», не рискуя никого удивить,— мой мундир был идеальным ночным пропуском. Но и удивлять было некого — швейцар дремал у себя в каморке, а портье просто спал, положив голову на руки. Тоненькая струйка слюны текла по губам на полированный дуб, и требовалось что-то погромче стука моих сапог, чтобы разбудить спящего. Так я и добрался незамеченным до нашего номера, тихонько открыл дверь собственным ключом и вошел.

Вошел и отшатнулся. На меня из соседней комнаты прыгнул с безумными глазами Мартин. Он был одет, в руке сверкнул знаменитый нож. Прыгнул и тоже отшатнулся — я стоял ярко освещенный трехсвечником на камине.

— Будь ты проклят! — воскликнул Мартин и сплюнул.— Галунщик чертов! Как вошел?

— У меня же ключ,— удивился я.

— Почему ночью?

— «Почему, почему»! — обозлился я.— А почему ты одет? И кто там в комнате?

— Ну, входи,— сказал он, подумав, и пропустил меня вперед.

В комнате было так накурено, что даже десяток свечей не позволил сразу рассмотреть лиц собравшихся. Я никого не узнал, но все вскочили, различив мой проклятый мундир.

— Порядок,— сказал Мартин.— Тревога отменяется. Это Юри Ано лично и срочно.

— Ну и напугал ты нас, Юрка! — услышал я в дыму голос Зернова.

— Меня он не помнит,— засмеялся сидевший ближе всех Стил.

— А меня не узнает,— откликнулся Фляш.

Теперь я разглядел всех и даже узнал сидевшего на диване Томпсона, такого же седого и худощавого, каким я знал его на Земле.

— Я о вас столько слышал, молодой человек,— сказал он,— что горю нетерпением узнать вас поближе.

Даже голос его был знакомый, томпсоновский. И все же это был другой Томпсон, что-то в нем изменилось. Я скорее угадал это, чем понял.

— Простите, господа, если помешал. Я не знаю ни причин, ни целей этого ночного собрания и могу сейчас же уйти, но мне именно срочно, как сказал Мартин, нужен Фляш. Разрешите, я оторву его на несколько минут,— выпалил я все разом.

— Отрывать незачем,— ответил Фляш,— здесь все равны.

— Кроме меня. Я могу выйти,— сказал Мартин.

— Не дурите, Мартин. Вы специально приглашены, как и Ано, хотя мы и не могли с ним связаться.

— Я назначен комендантом Майн-сити,— объявил я.

И все умолкло. Как долго длилось молчание, я не могу сказать, но в эти минуты каждый, вероятно, обдумывал и рассчитывал перспективы, которые открывало мое назначение. Наконец Фляш спросил:

— Давно?

— Уже несколько дней, как я в лагере,— поспешно проговорил я.— С подпольем связаться не могу: нет ни паролей, ни явок. А без них по вполне понятным причинам не доверяют. Даже Джемс.

— Вы видели мальчика? — взметнулся Стил.— Как он выглядит?

— Плохо. Кто же в бараках хорошо выглядит, кроме собак и блок-боссов? Впрочем, я перевожу его к себе в канцелярию.

— Оставьте его в шахте,— жестко потребовал Стил, и я, конечно, знал почему.

— Бессмысленно. Корсон Бойл уже знает о предстоящей акции. Ее надо готовить иначе и в других масштабах.

— Гамбит Анохина,— усмехнулся Томпсон.

Я вздрогнул. Откуда он знает мою фамилию? От Зер-

нова? От Стила? Кто же он? И почему Фляш сказал, что здесь все свои?

— Мы обдумаем его часом позже. Ночь велика,— продолжал Томпсон.— Сейчас надо рассчитать другой гамбит. Гамбит Этьена.

— Отказанный,— поправил Зернов.

— Люблю шахматные метафоры Бориса.

Меня уже не резануло знакомое имя с ударением на «о»: еще в Париже привык, но что-то новое привлекло внимание в интонациях Томпсона.

— Этьен, как и вы с Мартином, приглашен на заседание Малого Совета Сопротивления, которое должно состояться в другое время и в другом месте. Гамбит Этьена разгромный: головка Сопротивления отсекается одним ходом. Этот ход он уже сделал и спокойно спит сейчас в своем номере люкс. Но мы,— продолжал Томпсон,— ответили неожиданно. Заседание совета перенесли сюда и на этот час. Сию минуту мы пригласим господина Этьена. Я думаю, что полицейский мундир Анохина внесет кое-какие коррективы в наш план: мы сможем переставить фигуры.

— Зачем? — обиделся Мартин.— Я и один справлюсь.

— Золотой галун справится лучше. Вы сейчас потушите фонари в коридорах и проводите Анохина до апартаментов Этьена. Откройте дверь — ключ у вас — и погасите свечи на черной лестнице. У вас есть спички, Анохин? Возьмите коробку. Зажгите свечу на камине, разбудите спящего и пригласите его следовать за собой. Сначала он испугается, потом удивится, потом будет уверять, что это ошибка, попросит разрешения позвонить Бойлу — у него одного в отеле есть телефон. Но вы не разрешите и пригрозите, что при малейшем шуме пристрелите его на месте. Кстати, и пристрелите, если другого выхода не будет. Но Этьен — трус и после такого предупреждения последует за вами куда угодно. Ведите его к черной лестнице. Почему не к парадной — придумайте сами. Когда спуститесь, столкните его в подвал. Шума не будет — его подхватит Мартин и впихнет в дверь, где была типография. За ним войдете и вы.

Томпсон придумал и рассчитал все это с быстротой электронной машины. Теперь я понял, что изменилось в

нем. Земной Томпсон был чуточку медлительнее и не то чтобы туповат, но тяжелодумен: сказывался возраст. Здешний Томпсон не казался моложе, но возраст его не обременял мышления. Биологически это была та же человеческая структура, но психологически уже иная, в другой среде, в других условиях психологический облик мог приобрести с годами и другие черты. А может быть, изменилась и биологическая структура. Может быть, реконструируя, «облака» исправляли ее, обновляли «уставшие» клеточки мозга, склеротические сосуды, сердечные клапаны. Сидевший передо мной Томпсон был просто совершеннее своего земного аналога, а в связи с блокадой каких-то ячеек памяти деятельность других приобрела бóльшую активность и направленность. Должно быть, и в земном Томпсоне где-то жило тяготение к передовой, прогрессивной мысли — быть может, неосознанное, запрятанное в неконтролируемые глубины подсознания. «Облака» извлекли и освободили его, вот и родился новый Томпсон — с той же внешностью, но с другим сознанием и мышлением.

— Пошли,— сказал Мартин, выводя меня из задумчивости, должно быть уже затянувшейся.— Не боишься? — спросил он уже в коридоре.

— Кого? — усмехнулся я.— «Омон» не континуум. Чудес не будет.

— Грязная работа,— вздохнул Мартин.— А начинать и заканчивать ее будем мы.

Мне стало не по себе. Должно быть, Мартин заметил это, потому что прибавил уже другим тоном:

— В Сен-Дизье мы не дрогнули. А ведь Этьен здесь такой же подонок. Даже хуже.

Молча мы погасили фонари в коридоре, молча дошли до тупичка, где находились комнаты Этьена, молча открыли дверь ключом, оказавшимся у Мартина, и расстались. Мартин ушел в темноту коридора, а я — в полутьму передней, куда проникал свет из комнаты: на камине в ней догорал крохотный огарок свечи. Вероятно, Этьен перед сном забыл погасить его и уже не просыпался. А спал он странно тихо, почти беззвучно, на спине, мертвенно-жéлтый, застывший, словно покойник.

— Этьен! — позвал я негромко.

Он открыл глаза и долго всматривался, видимо полагая, что это сон. Наконец он разглядел мой мундир и сел на постели.

— В чем дело?

— Потрудитесь одеться и следовать за мной,— произнес я в стиле ходких детективных романов. Рука в кармане нащупала пистолет.

Должно быть, Этьен заметил этот жест.

— К-к-куда? — спросил он, заикаясь.

— В Главное управление.

— Это ошибка,— сказал он твердо.

— Выполняйте приказ.— Я добавил металла в голос.

— Уверяю вас, что это ошибка,— повторил он.— Разрешите, я при вас позвоню комиссару.

— Не торгуйтесь,— оборвал я его.— Экипаж ждет. Мигом.

— У вас будут неприятности,— предупредил он, уже одеваясь.

Испуг его прошел, остались лишь злость и уверенность в том, что в полиции все разъяснится и мне же влетит. Приказ спуститься по черному ходу несколько изумил его, но я объяснил, что не стоит ему попадаться на глаза под эскортом полицейского. А далее все произошло точно так, как наметил Томпсон. У выхода я столкнул его по лестнице в подвал, а Мартин внизу подхватил, зажав ему рот так, что он даже не вскрикнул.

В бывшую нашу редакцию мы вошли вслед за влетевшим Этьеном. Он еле держался на ногах от пинка Мартина и сейчас оглядывался растерянно и недоуменно, явно ничего не понимая. У стеллажей, заставленных ящиками с вином и консервами — типографию нашу Этьен превратил в склад для хранения непортящихся продуктов,— за непокрытым деревянным столом, где лежали раньше наши первые гранки и куда сейчас сгружались с полок коньяк и сардины, сидел Малый Совет Сопротивления, заседание которого, как точно было известно Этьену, должно было состояться на шесть часов позже и совсем не в подвале его гостиницы. Удивило Этьена, как, впрочем, и меня, присутствие Зернова в четверке Совета — для владельца «Омона» и тайного полицейского агента Зернов был малоприметным писарем мэрии, сбе-

жавшим от «диких» к радостям городской жизни. Удивленно посмотрел Этьен и на Томпсона: видимо, о том, что он тоже входил в Совет, провокатор не знал.

— Дайте ему стул,— сказал Фляш.

Мартин, стоявший рядом со мной у двери, подвинул стул. Этьен сел, внимательно разглядывая сидевших против него. Два трехсвечника создавали довольно сносное освещение.

— Может быть, мне объяснят, что означает этот спектакль, в котором участвуют псевдошоферы и лжеполицейские? — спросил он высокомерно.

Если бы он знал, что одним только этим вопросом, разоблачающим мою роль в полиции, он сам выносит свой смертный приговор!

— Оставьте этот тон, Этьен,— сурово сказал Фляш.— Не время дурачиться!

— Я хочу знать: что здесь происходит?

— Суд.

— Кого же судят?

— Вас.

Мертвенно-желтое лицо Этьена не выразило ни удивления, ни гнева.

— Могу я ознакомиться с обвинительным заключением?

— По известным вам обстоятельствам мы избегаем документации. Все, что вас интересует, будет изложено устно. Вас обвиняют в прямом предательстве акций Сопротивления.

— Каких именно?

Я даже залюбовался тем хладнокровием, с каким вел страшную для него беседу Этьен. Неужели он так верил в свою безнаказанность?

— Руконись статьи Стила, известная только вам и оказавшаяся в руках полиции. Стил, как вам известно, вынужден был бежать из Города.

— Не помню. Это было так давно. Память...

— Есть события более поздние. Разгром газеты.

— Она выходит.

— Вопреки вам.

— Я сам оборудовал ее типографию.

— И дали адрес полиции.

— Почему я? Где доказательства?

— Нас давно предупреждали о вас как о потенциальном предателе. После ареста Джемса за вами было установлено наблюдение. О завтрашнем заседании Совета все известно полиции. Дом уже с вечера оцеплен.

— Все это еще не доказательства.

— О завтрашнем заседании Совета, кроме вас, знали только мы четверо.

— Так поищите виновного среди четверых. Может быть вы? — Смешок в лицо Фляшу.— Или он? — кивок в сторону Томпсона.

Члены Совета переглянулись. Неужели они отступят перед спокойствием Этьена? Ведь спокойствие — это его оружие. Но я ошибся.

— К чему эта канитель? — сказал Стил.— Оставьте нас вдвоем. Я задушу его вот так.— Он поднял скрюченные пальцы.— И рука не дрогнет. За мальчика.

— Вы будете обыкновенным убийцей, Стил. Едва ли вас это украсит,— пожал плечами Этьен.

Члены Совета молчали, что-то обдумывая. Что?

— Если они его пощадят,— шепнул я Мартину,— я убью его здесь же, при всех.

— Я сделаю то же, только бесшумно,— шепнул в ответ Мартин, выразительно хлопнув себя по карману.

Вероятно, о том же подумал и Стил — с такой лютой ненавистью впивались в Этьена его глаза.

— Мне очень интересно, у кого это возникла мысль о моем потенциальном предательстве,— невозмутимо заметил Этьен.

— У меня,— сказал Зернов.

— И у меня,— прибавил я.

— Почему?

— Потому что мы знаем вас до Начала: вы утратили память, а мы — нет. Вы всегда были предателем — должно быть, это у вас в крови.— Я говорил, уже не различая Этьена здешнего от Этьена земного.— Вы предали гестапо даже любимую женщину, а когда не удавалось предательство и вас били по щекам, как мальчишку, вы только холуйски кланялись: «Хорошо, мосье, будет сделано, мосье...»

Этьена не заинтересовало слово «гестапо», наверняка

ему незнакомое, он пропустил мимо ушей и «любимую женщину». Он только спросил:

— Когда это было?

— Более четверти века назад.

— Где?

— В Сен-Дизье.

Нашу дуэль слушали в абсолютном молчании, только у Зернова блуждала на губах знакомая ироническая улыбка: казалось, что мой экспромт доставлял ему удовольствие.

— Сен-Дизье... Сен-Дизье...— повторил Этьен, мучительно наморщив лоб, и вдруг воскликнул громко и радостно: — Вспомнил! — И даже с каким-то облегчением, словно прошла терзавшая его боль, уверенно повторил: — Теперь вспомнил. Хорошо. Все. Спасибо.

Никто не ответил. Я стоял пораженный, не зная, что сказать и нужно ли говорить: может быть, самое важное уже сказано?

— По-моему, здесь же, в «Омоне»... совсем недавно я опять встретил ее. Я не мог жить больше...

Боюсь, что Стил и Фляш ничего не поняли: я поймал удивленный взгляд, которым они обменялись. Томпсон молчал непроницаемо, словно все сказанное Этьеном его ничуть не поразило.

— Вы хотите, чтобы я сам все кончил? — спросил Этьен, обращаясь только ко мне.

И я ответил:

— Вы угадали.

Я вынул пистолет, высыпал на руку все патроны, оставив один-единственный, спустил предохранитель и сказал присутствовавшим:

— Выходите.

Все поняли и молча вышли один за другим. Только Мартин шепнул мне на ухо:

— Я останусь у двери, ладно?

Этьен сидел, положив голову на руки. О чем думал он в эту минуту? О прошлом своего земного аналога или о смерти, которая избавит его от мук возвращенной памяти? Я тихо положил на стол пистолет и сказал:

— Здесь только один патрон. Не трусьте. Иначе все будет противней и дольше.

И ушел. Мартин остался стоять у двери.

Потом раздался выстрел.

Мартин нашел нас в комнатах наверху: выстрел мы слышали и не сомневались. Но он все-таки сказал:

— Не промахнулся. Жаль только, что не оставил записки.

Глава XXXVI

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

— Ассоциативная память,— повторил Зернов. Но то, что он произнес дальше, буквально заставило меня вздрогнуть: — Этьен возник здесь биологически тот же, со всем объемом своей земной памяти. Лишь отдельные участки ее были заблокированы. Я думаю, блокада не была постоянной, что-то ослабляло ее — время или воздействие внешней среды. «Память возвращается»,— любит говорить Фляш, только механизм этого возвращения нам неизвестен. Неразгаданная тайна мозга. Таких тайн много: как возникает воспоминание, что его вызывает, почему в одном случае возникают у человека слуховые, в другом — зрительные образы? Я не специалист, но специалисты высказывают предположение, что на височных долях больших полушарий нашего мозга находятся участки, связанные каким-то образом с механизмом воспоминания. Под действием очень слабых электрических импульсов на эти участки человек вспоминал давно забытое, причем всегда одно и то же, если воздействию подвергались одни и те же участки. Может быть, в данном случае роль электрического импульса сыграла цепочка ассоциаций? Одно слово — и эта цепочка освободила заблокированные участки. Помните радость, какой осветилось его лицо, когда Анохин назвал Сен-Дизье? «Вспомнил,— сказал Этьен,— я все вспомнил».

— А что такое Сен-Дизье? — спросил Фляш.

— Городок во Франции, где Этьен, или, вернее, его земной аналог, работал портье во время войны. Там он стал предателем — не по доброй воле, конечно: душевная

слабинка, трусость, унижение — мало ли что толкает человека на подлость! А конфликт с совестью, если есть эта совесть, редко проходит бесследно. Воспоминание всегда мучительно.

— Так чему же он обрадовался?

— Тому, что освободилась память. Вы радовались, когда воспоминание о второй мировой войне подсказало вам многое из забытого. А у вас убили сына. И все же блокада памяти тяжелее воспоминаний.

— Но это не его память.

— Он не мог отделить себя от земного Этьена. Механизм идентичной памяти толкал обоих к самоубийству. Кроме того, у здешнего не было выхода. Он знал, что его ожидает.

— А когда я узнал, что все то новое, или, вернее, старое, что подсказывает мне память, — это не моя память, что мое, пусть забытое, прошлое — не мое прошлое, стало невыносимо горько, — вздохнул Фляш. — Не улыбайтесь: вам просто этого не понять. Родиться взрослым с чужой памятью, чужим опытом, информацией, как вы говорите, не тобой накопленной, а списанной с чужих шпаргалок! И опять чушь. Не было у нас шпаргалок — сразу родились обученными. Как у вас такие называются? Андроиды, киберы, роботы?

Я слушал этот разговор с подавленным чувством удивления и жалости. Кто мог рассказать этим моделям об их повторном существовании? Неужели Борис? Зачем?

Мое недоумение разрешил Томпсон.

— Я читаю удивление в глазах нашего лжеполицейского, — засмеялся он. — Должно быть, он все еще полагает, что мы поверили сочиненной вами легенде. Мы не столь наивны, мой друг. Вашу газету мы зачитали до дыр, но чем больше читали, тем труднее верилось в то, что наш мир оторвался от вашего. Космическая катастрофа? Возможно. Но почему на шестнадцати страницах газеты мы не нашли даже упоминания о такой катастрофе? А ведь вместе с ней исчез огромный город и более миллиона жителей. Какие предположения вызвало это исчезновение, как оно отразилось в жизни оставшихся? Ни одного слова, ни одного намека. И где находился у вас этот исчезнувший город, в какой стране, на каком континенте? Во

Франции? Но в нем говорят на двух языках. В Канаде? Я задал несколько наводящих вопросов Борису и выяснил, что никакого Парижа в Канаде нет. А в вашей парижской газете я нашел названия наших улиц и наших отелей. И даже снимок Триумфальной арки и гранитных парапетов наших набережных. И нашел еще кое-что, окончательно разбившее вашу легенду, — заметку о звездах какого-то любителя астрономии и карту звездного неба обоих полушарий с пунктирным маршрутом искусственного спутника. Последнее я не понял, но в небе и звездах разобрался. Другое небо, другие звезды.

— И начали ловить меня, — улыбнулся Зернов.

— И поймал.

— С Советом Безопасности.

— И с Генеральной Ассамблеей. Борис в это время расшифровывал наши записи по истории Города и отвечал машинально, не задумываясь над тем, что даже многие слова в его объяснениях мне незнакомы и непонятны. Я спросил, чем занимается Совет Безопасности. Вопросами войны и мира. Когда возникают локальные войны, Совет вмешивается, применяя санкции. Если санкции не достигают цели, созывается Генеральная Ассамблея. Я подумал и спросил сначала, что такое локальные войны, подбирая вопросы, как ключи к замку. Борис, не отрываясь, ответил, что те же войны, только в миниатюре: с артиллерией, танками, реактивными самолетами, напалмом и ракетами. Я не спросил его ни о сущности санкции, ни о том, что такое танки, артиллерия, напалм и ракеты. Наш единственный оружейный завод изготовляет только автоматы и пистолеты с автоматической подачей патронов. Борис, конечно, знал об этом, он просто забыл, с кем разговаривает и как надо мне отвечать. Поэтому я и выбрал ключевой вопрос, а задал его почти равнодушным, незаинтересованным тоном: а сколько, мол, стран представлено в Генеральной Ассамблее? Борис, даже не думая, буркнул: что-то около ста, точно, мол, не помнит. Ответил и сообразил, что влип. Ну, я и сказал: «Выкладывайте правду, Борис. Ваша легенда — чепуха, а мы не дети, чтобы верить сказкам». Тогда он сказал, что нам придется поверить сказке еще более чудесной, и дал мне черновик своего предисловия к нашей истории Города.

— И вы прочли и упали духом? — спросил я.

— Нет. Конечно, требовалось мужество, чтобы осознать и примириться с тем, что ты родился уже взрослым, с готовым жизненным опытом и накопленной информацией. Но чувства неполноценности не было. Какое мне дело до того, что где-то в неведомом уголке Вселенной живет мой двойник с моим умом и характером. Ведь его мир — это не мой мир, и его деятельность — не моя деятельность. А мое здесь принадлежит мне и диктуется моим сознанием и мышлением. Пусть его прошлое скрыто от меня, но то, что я помню и вспоминаю, становится моим неотъемлемым и присущим только мне в этом мире. Фляш психует, потому что исторические события, восстановленные его памятью, не стали и не станут событиями его жизни. Но к этому придется привыкнуть. Все, что мы знаем о Земле и узнаем в дальнейшем, пойдет на пользу нашему миру и будущим его поколениям, у которых уже нет никаких аналогов в космосе.

— Сдаюсь,— сказал Фляш.

— С тех пор в терминологию нашего Сопротивления вошел Совет Безопасности — наш Малый Совет. А Большой — нашу Генеральную Ассамблею — мы созовем уже после победы. Только не ООН, а ООС — Объединение Организаций Сопротивления.

С этими словами Томпсон встал и рванул оконную штору. За окном темнела, как всегда здесь, безлунная ночь. Даже звезд не было видно — над Городом шли грозовые тучи. Повеяло не прохладой, а жаром от нагретого за день камня.

— До рассвета есть еще время. Фляш и Стил уйдут, как обычно, через окно. За мной приедет фиакр из мэрии: забыв ночной пропуск, я заночевал в номере у моего секретаря. Это, кстати, подтвердит, если понадобится, и наш лжеполицейский. У Толи железное алиби: он ночует после концерта в «Олимпии». А Этьена начнут искать не раньше полудня, когда обнаружится, что заседание в указанном им месте не состоялось. О том, что оно состоялось здесь, никому не придет в голову. Поэтому мы имеем все основания его продолжить, заслушав нового коменданта Майн-сити.

Предложение Томпсона было принято без возражений.

Я вкратце изложил свои соображения о подготовке восстания в лагере. Споров не было. Мне тут же дали пароли и явки к подпольщикам. Мартину поручили возглавить группу вольнонаемных шоферов и кучеров, которых взялся подобрать Фляш. По первому впечатлению начало предстоящей операции в лагере складывалось удачно. Но Мартин усомнился:

— Не рано ли?

— Там уже многое сделано,— сказал Фляш.— Кроме того, сама ситуация требует спешки. Бойл может сменить Ано, и все сорвется.

— Несколько тысяч патрульных — целая армия,— все еще колебался Мартин.— Не считая внутренней охраны бараков.

— Охрану мы разоружим или уничтожим на месте,— сказал я.

— А где возьмешь оружие?

— На складе. Там, по описи, три тысячи автоматов, не считая мелочи. Не забывайте, что небоскреб фуд-полиции в четырнадцатом блоке — тоже склад.

— Небоскреб — это уличные бои.

— Во-первых, уличных боев не избежать, а во-вторых, вооруженные шахтеры Майн-сити — это тоже армия.

— «Дикие» могут захватить заставу и шоссе из континуума,— предложил Стил.

Но Томпсон почему-то не согласился:

— «Диких» лучше использовать на других подходах к заставам. Есть железная дорога в Майн-сити, есть омнибусная линия.

— Продтрасса важнее.

— Именно поэтому я бы направил сюда наиболее стойких. Континуум не только источник жизни, но и ключ к власти.

Наиболее стойких поручено было подобрать мне и Фляшу. У нас обоих были крупные рабочие резервы: у него — на заводах, у меня — в лагере. И все же порой мне казалось, что наш разговор, обсуждавший грандиознейшую, по сути дела, операцию — захват власти в организованном полицейском государстве,— не соответствует поставленной цели. Как будто шло совещание режиссуры, планирующей постановку очередного спектакля, или

совета тренеров перед матчем, ответственным, но не роковым. Дотошно, деловито расставляли игроков, намечали задачи нападения и защиты, инструктировали вратарей. А ведь ставкой в этой игре был не титул чемпиона и даже не кубок «Золотой богини», а будущее этого мира и Города. Когда же я высказал это своим собеседникам, они засмеялись.

— Ни у кого из нас нет опыта в подготовке восстаний,— заметил Томпсон,— но спорь не спорь, шути не шути, а ошибаться нельзя: к шабашу в «Олимпии» все должно быть готово.

Под шабашем он подразумевал полицейское празднество, о котором мне говорил Корсон Бойл. До шабаша оставалось всего десять дней.

— Анохин,— вдруг сказал Томпсон,— я назвал вас так, чтобы вы поняли, что мы знаем вас и все о вас, что нам нужно. Но время для раскрытия псевдонимов пока не пришло. Так вот, несколько запоздалых мыслей, Ано.

— Слушаю,— отвечал я.

— Подпольному комитету лагеря вы передадите не совет, а приказ. Любой ценой выработка, хотя бы в отдельных шахтах, должна быть повышена. И немедленно. Эта подачка Бойлу развяжет нам руки.

— Есть,— сказал я.

— Блок-боссов пока не трогать. Их уничтожат в начале восстания.

— Есть.

— Информаторов тоже.

— Я предполагал передать их списки подпольщикам.

— Не надо. Пусть информация по-прежнему поступает к вам. Но Онэ уничтожить. С каждым днем он будет опаснее.

— Есть.

— Цейхгауз и склад оружия поручить Оливье. На него можно положиться?

— Как на меня.

— Тогда пусть подберет два десятка полицейских мундиров и передаст Мартину.

— Будет сделано.

Вспышка молнии за окном осветила на мгновение наши лица. Те, что увидел я, были торжественны, как на

празднике. Почти догнавший вспышку удар грома заглушил все шорохи ночи. Гроза начиналась прямо над Городом.

— Пепел Клааса...— сказал я.

— ...стучит в мое сердце,— докончил Фляш.

— Откуда вы знаете об этом романе?

— Разве это роман? Я думал — революционный лозунг.

— Я тоже так думал до этой ночи,— послышался позади знакомый голос.

Мгновенно обернувшись, я тут же узнал говорившего. Он стоял в тусклой полоске света, отбрасываемого с камина трехсвечником. Борис Аркадьевич Зернов собственной персоной, как всегда на Земле, в светлом костюме — он не любил темных тонов,— и все-таки не наш. Не наш, с козлиной бородкой и рыжей небритостью на щеках, а чисто выбритый, даже, если хотите, более молодой, московский Зернов. Все, кроме Томпсона и самого Зернова, не могли скрыть изумления — так неожиданно и странно было увидеть вдруг раздвоившегося человека. Отсутствие бородки и небритой щетины на щеках не многим отличало вошедшего от сидевшего за столом его отражения.

— Не удивляйтесь,— сказал Зернов-двойник,— ночной пропуск у меня есть, а дверь у вас не заперта. («Забыл замкнуть Мартин, поднявшийся из подвала последним»,— вспомнил я.) Ну, а гром, который вы все слышали, заглушил шаги. Так что я не мираж и не привидение.

— Вы понимаете теперь, почему я настаивал на вашей бородке? — шепнул своему писарю Томпсон.

— Я давно это знаю.

— Тем лучше,— вмешался Зернов-двойник,— значит, визитных карточек не потребуется.

— Откуда вы узнали о нашей встрече? — насторожился Фляш и мигнул Мартину.

Тот незаметно отошел к двери.

— Я и сейчас не знаю о вашей встрече,— ответил вошедший,— я знаю только то, что мой земной аналог находится в отеле «Омон».

— Когда ты узнал об этом? — спросил наш Зернов: ни

удивления, ни испуга не было в его голосе — только любопытство.

— Когда застрелился Этьен. Должно быть, его выстрел и разбудил меня или приказ проснуться. Не спрашивай чей — не знаю. Только проснулся я, уже зная все, что он знает.— Он кивнул своему «отражению».

— И вы не сообщили полиции? — все еще недоверчиво спросил Фляш.

— Зачем? Ведь он — это я, и наоборот. Вы не сердитесь, товарищи...— Он сказал «товарищи», как будто встреча наша состоялась в Москве, а не в синтезированном иным разумом мире.— Я скоро уйду. Можете рассчитывать на меня во всем...— Он подчеркнул, повторяя: — Во всем, как и на моего земного аналога. А пока, извините, мне хочется сказать ему несколько слов на нашем родном языке.

Он подвинул стул и сел на него верхом, как в каюткомпании Мирного.

— Между прочим, этот стул,— сказал он по-русски,— исчезнувший тогда вместе со мной, и сейчас стоит у меня в лаборатории. Я до сих пор не мог понять своей к нему привязанности, зато теперь знаю.

— Почему ты стал кибернетиком? — спросил Зернов тоже по-русски.

— Сейчас легко ответить, а спроси ты меня раньше, когда я в первый день Начала пришел в Би-центр, как в наш институт, как будто ничего другого никогда не знал и не видел, я бы глазами хлопал. Вероятно, спросил бы в ответ: «Почему стал? Я всегда был». Даже слова «гляциолог» не помнил.

— Заблокировали профессиональную память?

— Почему? Была ведь отдушина. Помнишь наши математические олимпиады? Как решали дифуры в десятом классе и мечтали сконструировать кибера с электрозарядкой от обыкновенной розетки?

— Детские забавы.

— Не знаю. Может быть, мне подключили какие-то знания, каких у тебя не было, может, развили заложенные, но за девять с лишним годков в Би-центре я стал математиком, от которого не отказался бы сам Колмогоров. В моей лаборатории — туда никто не войдет, кроме

меня, — я уже подхожу к проблеме их силового поля. Математически я его вижу, не хватает немногого, чтобы рассчитать. Заходи, покажу тебе такие уравнения — ахнешь. Издашь в Москве — скажут, советский Бурбаки.

— Как же зайти, когда, кроме тебя, никому хода нет?

— Сбрей эту дурацкую бороду — пройдешь. Ни одно зеркало ни остановит. Ты ведь на это и рассчитывал?

— Рассчитывал.

— Подменить? Смысла не имеет. Вдвоем лучше получится.

— А почему ты работаешь с этой камарильей? — нахмурился Зернов.

— Я работаю с вычислительными машинами. Понятия не имею о том, что происходит в Городе.

— Была у меня такая страстишка, — задумчиво произнес Зернов (изучая свое второе «я», он словно оценивал сам себя, свою молодость, свои ошибки и промахи), — научное червячество. Я-то освободился от нее, а у тебя ее гипертрофировали.

— Вероятно, надеялись, что преданность науке все определит и направит.

— Направить направило, — усмехнулся Зернов. — На запасной путь. В тупичок. Никчемный вышел из тебя социолог. Кстати (хотя то, что он спросил, было совсем некстати), из твоего Би-центра можно закрыть вход в континуум, лишить Город продовольствия.

— Можно, — согласился Зернов-дубль, — есть такая Энд-камера. Между прочим, даже я туда не могу войти. Этим правом обладает только один человек в Городе.

— Ну что ж, — вздохнул Зернов, — подумаем, поразмыслим.

О чем он хотел поразмыслить, я так и не понял, но его дубль догадался. Он понимающе улыбнулся, встал и, не прощаясь, пошел к выходу.

— Искать меня не надо. Найдешь, когда вспомнишь.

— Знаю.

Мартин угрожающе шагнул навстречу.

— Пропустить? — спросил он.

— Конечно, — сказал Зернов, — ведь это я.

Долго длилось молчание, в котором только мы с Мартином участвовали из вежливости. Для жителей Города,

никогда не видавших своих земных аналогов, было даже страшновато наблюдать эту встречу. Но она освободила каждого от гнездившегося где-то в сознании чувства неполноценности. Сейчас они убедились в том, что их земные предшественники и они сами, в общем-то, живут и развиваются по-разному, биологически идентичные, но психологически независимые, каждый со своим миром, своей мыслью и своим путем в жизни. Никто не спросил Зернова, о чем они говорили,— все понимали, что разговор был личный и не враждебный, но, несомненно, важный, потому что Зернов — это было ясно для каждого — что-то подсчитывал или рассчитывал в уме: даже губы его шевелились.

— Что-нибудь важное? — спросил Томпсон.

— Очень. Он напомнил мне о том, что может способствовать или помешать нашей победе.

Я-то знал, но другие переглянулись, не понимая.

— О Вычислительном центре,— сказал Зернов.

Глава XXXVII

СУДЬБА ОНЭ

Я вернулся в городок за колючей проволокой, не повидавшись с Корсоном Бойлом, но выполнив его первый приказ. Одиннадцать водителей и тридцать четыре возчика, педантично подобранные Фляшем — целый отряд разведчиков,— уже просачивались на территорию лагеря. Непрерывная связь с руководством Сопротивления уже была обеспечена.

Оливье в своей обычной доверительной и скромной манере изложил новости. Они были не из приятных, но как заметил заглянувший в кабинет во время нашего разговора Онэ, вполне типичных для рудничного лагеря. В шахте «Эльза» потребовали немедленного исправления уклона пути: вмешались стражники. В столкновении были убиты и тяжело ранены несколько человек. Четверо уже умерли в местной больнице. На лесоповале и в открытых карьерах медного рудника понизилась выработка. В ка-

меноломнях нашли заваленный камнями труп убитого провокатора или информатора, как их здесь называли, — он уже три дня назад исчез из барака. Блок-боссы вместо плеток вооружились стальными прутьями. Формально их нельзя было упрекнуть: я запретил плетки, а не телесные наказания, и они тут же меня перехитрили. Трудно быть комендантом-гуманистом, да еще в лагере с территорией, почти в два раза превышающей освенцимскую.

Онэ с каменным выражением чиновничьей послушливости положил передо мной списки информаторов — несколько страниц, мелко исписанных ровным писарским почерком, — перечень кличек и лагерных номеров.

— Кто работает непосредственно на Бойла? — поинтересовался я.

Он с деланным недоумением пожал плечами: не знает. Я сунул списки в стол, что позволило Онэ, уходя, елейно заметить: списки, мол, должны храниться в сейфе и никто в лагере, кроме меня и его, не должен знать об их существовании. Через секунду он вернулся и доложил, что в приемной ожидает вызванный мною Джемс.

Он и сейчас глядел на меня волк волком, даже отросшие его волосы по-волчьи топорщились. Письмо отца он прочел внимательно, вглядываясь в каждую букву, даже на свет смотрел.

— Где написано? — спросил он.

— У тебя в номере. Думаешь, подделка?

— Нет, просто я знаю цвет чернил в «Омоне».

— Все еще не веришь?

— Чему? То, что ты связан с Сопротивлением, я знал еще в Городе. Но в степень твоей искренности — прости...

Я оставил яд реплики без внимания.

— Содержание письма мне известно. Ты должен связать меня с руководством подпольщиков.

— Ничего я не должен. Совет отца — это еще не приказ комитета.

Тогда я сказал, подчеркивая каждое слово:

— В ясный день друзья улыбаются, юноша.

Джемс качнулся на стуле, заметно побледнел и вскочил:

— Как ты...

— Отзыв! — гаркнул я.

Он сник и тихо, еле слышно ответил:

— Улыбка друга радует и в ненастье.

— Когда и где? — спросил я.

— В заброшенной каменоломне у Голубой рощи. Там есть заросшие бурьяном карьеры. А вот когда... — Он задумался.

— Сегодня.

— Лучше завтра.

— Начнешь работать с Онэ. Не спускай с него глаз. Я подозреваю его в работе на Бойла. Связи с Городом у него нет, но он будет ее искать. Единственный телефон у меня в кабинете. Следи в оба, когда меня нет.

— Хорошо.

— Узнай по всем секциям, с кем связан Бойл во время его инспекций. Кто из администрации навещает его? Мне нужны клички и номера к встрече с комитетчиками.

— Хорошо.

Я вызвал Онэ.

— Этот юноша — сын моего друга, редактора. Я хочу облегчить его жизнь. Введите его в курс дела, Онэ, и не ссорьтесь.

Онэ переминался с ноги на ногу, с сомнением поглядывая на Джемса.

— Мне нужно кое-что сказать, комендант.

— Говорите. Джемс теперь наш работник. И запомните: Джемс, а не триста двадцать семь дробь шестнадцать.

— Вы заменили всех шоферов и возчиков. Мне бы хотелось сохранить одного.

«Ищет связи с Городом», — подумал я. В глазах Джемса прочел ту же мысль.

— Командует патрулем связи Дональд Мартин. Сообщите ему.

— Он говорит, что все уже укомплектовано.

— Подумаем. Как зовут вашего протеже?

— Тик.

«Еще один провокатор. Не выйдет», — злорадно подумал я и сказал вслух:

— Отпуска пока отменяем.

— Мне потребуется только один день, комендант.

— Когда?

— Я сообщу.

— Подумаем, — повторил я, а подумал о том, что никакого отпуска Онэ ни в коем случае не получит. Тогда у него останется только телефон — и ловушка захлопнется.

Впрочем, у меня был еще один тест, как любил говорить Мартин, однако я не сообщил о нем даже Джемсу. Тест был рискованный, и в случае неудачи все могло окончиться с трагическим для меня результатом.

На другой день Джемс сдержал слово. К вечеру — я здесь так и не научился точно рассчитывать время: отмечал его по-земному и потому всегда ошибался, — когда уже смеркалось и на горячую, иссушенную землю ложились тени таких же горячих сумерек, мы с Джемсом, будто бы на инспекционной прогулке, пошли по «тропе стражников», завивающейся вокруг лесной горы, напоминавшей наши приморские сопки. Жидкий лес, каменные осыпи, рыжий серпантин тропы. Идти было нелегко, да был и путь короче и ближе, но я намеренно выбрал эту тропу, приводившую к каменной лестнице, круто спускавшейся в заросли сизого кустарника в заброшенном карьере каменоломен. Выбрал именно потому, что с этой лестницы отчетливо просматривалась та, другая тропа, приводившая в горы, в тот же карьер. В сумерках хорошо была видна светлая ленточка, по которой двигалось какое-то пятнышко — не то зверь, не то путник. Для зверя движущееся пятно слишком вытягивалось вверх, подымаясь под окаймлявшими дорогу кустами, — значит, это был человек.

— Он? — шепотом спросил Джемс.

Я кивнул и улыбнулся, зная, что знакомый нам человек до конца не дойдет. Еще утром я приказал взорвать этот конец пути, так что Онэ, если это был он, смог бы только едва-едва разглядеть людей, пробиравшихся сквозь бузинник внизу, и не смог бы услышать ни одного слова. Это и был мой тест.

Как и рассчитал мой спутник, мы все встретились внизу, различив и уточнив площадку в кустарнике. Мне пожали руки пять или шесть человек — я уже запутался в окружавшей темноте: фонарей мы, понятно, не зажигали. Один только представился кличкой или уменьшительным именем — Бент, другие — номерами. Но я и не

стремился к близкому знакомству: мое дело было подготовить взрыв, а имена и лица заговорщиков мне были совсем ни к чему.

Вспоминая потом эту встречу, я долго думал о тех, чья мысль создала эту тюрьму за колючей проволокой. «Облака», вероятно, даже не понимали, почему надо трудиться под угрозой плетки или пули и почему при наличии продовольственного континуума рабочие должны были питаться баландой из гнилой муки. Я не знаю условий труда и быта в американских лагерях для военнопленных, но едва ли они послужили образцом для создания Майн-сити: ничего специфически американского, кроме терминологии, я здесь не нашел. С Майданеком и Треблинкой его роднили только беззаботность к сроку человеческой жизни и садистская жестокость карателей. Но кое-что и отличало. То был лагерь потогонного, принудительного труда, рабство, созданное местными королями меди и угля, хозяевами лесных и каменных разработок, ближайшими родственниками эксплуататоров, когда-то выпестованных на Земле промышленной революцией. Если бы «облака» знали Маркса, они не удивились бы появлению такого лагеря. Но урок политэкономии должны были преподать им мы, а материалы для такого урока собирал и я на посту коменданта Майн-сити.

Конечно, я не делился этими мыслями на встрече с подпольщиками в бузинных зарослях заброшенного карьера. После обмена паролями мы с Бентом — а он, видимо, и был наделен полномочиями — сразу перешли к делу. Зернов приучил меня к шахматным аналогиям, и мне очень хотелось бы сравнить наш разговор с испанской партией, выдвигающей уже в дебюте слонов и коней, причем роль слонов играли бараки в рудничных поселках железа и меди, а более маневренных коней — разбросанные участки: лесоповал, каменоломни, открытые карьеры угля и марганца и заготовки угля древесного. В царстве каменноугольных шахт сжимался самый мощный кулак, а забытые тут же подали голос:

— Больница и лазареты тоже могут выделить добровольцев.

— И могильщики.

Никто не засмеялся: могильщики в Майн-сити составляли массивный и подвижной отряд.

— Могильщиков мы используем... — сказал Бент. — Не по специальности, конечно, — впервые допустил он вызвавшую усмешки шутку. — А больницу и лазареты в поселках надо укреплять, а не разбазаривать. Драться придется везде: будут убитые и раненые. Всех бывших санитаров и фельдшеров, не говоря уже о врачах, которых в целях наказания используют кое-где и в каменоломнях и в шахтах, — обратился он ко мне, — необходимо перевести в больницу и в лазареты. Поручите Джемсу — он сделает это постепенно и осторожно.

О директивах не спорили: ни о сроке восстания, ни о его характере — массовом, внезапном и одновременном. Первоначальная атака сосредоточивалась на складах, причем винный решили взорвать, а вещевой и оружейный разгружать постепенно уже в ближайшие дни. Полицейские мундиры, помимо уже выданных Мартину, также надо отправить в Город, а форму стражников, несколько отличную от патрульной, использовать тут же для ударных отрядов. Их же вооружить полностью до начала восстания. На складе по спискам находилось свыше трех тысяч автоматов, столько же пистолетов с многопатронными магазинами и великое множество ножей и пик, которыми подгоняют рабочих на каменоломнях.

— Мы можем создать пятитысячную армию для удара по Городу. Тысячи две вооружим для охраны порядка в лагере. Понадобится — дадим больше, — сказал Бент.

Я высказал предположение о побочной опасности, какую может создать даже победоносная операция. Могут начаться погромы и грабежи в административных поселках, поджоги бараков и складов, а массы освобожденных рабочих, для которых не найдется оружия, разбредутся кто куда, бросив на произвол судьбы рудничные богатства. Бент сказал, что это предусматривается. Для предотвращения возможных эксцессов и создается внутренняя охрана; рабочим разъяснят, что ни Город, ни мы их не прокормим, а лагерь перестанет быть лагерем: колючую проволоку удалят, по всей территории городка восстановят полную свободу передвижения, на рудниках и в шахтах введут нормальный рабочий день и сдельную оплату

труда, а когда позволят обстоятельства, то снесут бараки и предоставят рабочим земельные участки для постройки собственных и кооперативных домов. Не все поверят, конечно, но и неповерившие вынуждены будут вернуться, когда не найдут работы в Городе. А труд шахтера будет, естественно, выше оплачиваться, чем труд городского ремесленника.

Я внутренне усмехнулся, вспомнив зерновские слова о том, что с нами или без нас обитатели этого мира сами решат все свои проблемы, а нам требуется только подсказывать, если подсказка требуется. Ну, я и подсказал в соответствии с решениями нашего Совета Безопасности после захвата власти в лагере повстанческим отрядам овладеть железной дорогой и товарной станцией с примыкающим к ней Си-центром. Продуктовые запасы Си-центра, пояснил я, настолько велики, что могут обеспечить по меньшей мере десяток таких городков, как Майн-сити. Со мною согласились, равно как с предупреждением, что все действия, в свою очередь, должны быть согласованы с действиями повстанческих отрядов в Городе.

Я передал Бенту список информаторов вместе с пожеланием Томпсона никого не трогать до начала восстания.

— А семерых убрать немедленно, — прибавил я.

Эти семеро были чиновниками, с которыми общался Бойл во время своих инспекционных поездок по рудничным поселкам. В защиту их не прозвучал ни один голос. Не вызвала споров и судьба Онэ. «Первый доносчик», «жаба», «торгует пайками, должностями и привилегиями»... Голоса в темноте не скупились на характеристики. Но когда я рассказал о том, что видел человека на лесной тропинке по дороге сюда, все смолкли: прямо над нами обрывалась эта тропинка на срезанной взрывом каменной осыпи. Я рассказал и о взрыве, заранее подготовленном, чтобы остановить любителей подслушивания и слежки.

— А может быть, он и сейчас там? — предположил кто-то.

— Сомневаюсь, — не согласился Бент. — Скорей всего, он сразу удрал, как только убедился, что подслушать

нельзя. Странная прогулка. Вероятно, он рискнул на нее, потому что увидел вас с Джемсом.

Люди встревожились.

— А вдруг он уже поднял шум и собирает стражников?

— Нет, — сказал я. — Во-первых, он действительно видел меня, а во-вторых, я напомнил ему о возможности смертного приговора за излишнее полицейское усердие.

— Я вообще удивляюсь этому трусу, — вернулся к высказанной мысли Бент. — Ведь он никуда не ходит один — только к себе в канцелярию да в ресторан для служащих, где и торчит до вечера.

— А вечером?

— Идет домой. Не один. Всегда с кем-нибудь.

— Пусть этим «кем-нибудь» будет Джемс.

— Не выйдет, пожалуй, — усомнился Джемс. — Не доверяет он мне. Даже разговаривая, сквозь зубы цедит.

— А ты шепни ему по секрету, что я отослал тебя с полдороги в каменоломни. Сыграй подозрение: почему каменоломня, почему ночью? Спроси совета... Возможно, клюнет. Он — недоверчивая скотина, но твой наивный испуг может подействовать. Ты, конечно, скажешь, что благодарен мне за твой перевод в канцелярию, но подозреваешь в этом и какой-то непонятный тебе умысел. Важно, чтобы ты проводил его до дому из ресторана. Улица освещается?

— У дома? Нет.

Участь Онэ была решена.

Глава XXXVIII

НАЧАЛАСЬ УВЕРТЮРА

Решена, но отсрочена. И не по нашей вине. Корсон Бойл любил неожиданности.

Он примчался верхом, как обычно, но на этот раз, несмотря на неблизкий путь и нелегкую скачку, не обнаружил и тени усталости. Глаза даже улыбались, но не весело и не добро. Возраставшая тучность, казалось, совсем не стесняла его: он сел даже не в кресло, а на

скамью, подвинув ее углом к столу без особых усилий и без одышки.

Я встал.

— Сядь, пока кто-нибудь не сел на твое место.

Кардинал гневался, и я знал почему. Онэ все-таки сумел воспользоваться телефоном.

— С кем ты встречался в каменоломне? — спросил он в упор без всяких подходов.

— С главарями очередного возмущения в Майн-сити. — Я не замедлил ни секунды с ответом.

Этого он не ожидал, даже растерялся, уронил и поймал сигару. Я никогда еще не видел растерянного диктатора и не преминул насладиться зрелищем.

— Сформулируйте все ваши вопросы, комиссар, — осмелился я продолжить ледяным тоном. — Полагаю, что все они относятся к моему поведению в лагере. Мне будет проще ответить, а вам легче понять.

Бойл уже овладел собой.

— Смелость хороша, пока не становится глупостью. А глупость отнюдь не способствует долголетию.

Я улыбнулся: страшно не было. В папке в столе у меня лежал верный выигрыш.

— Я знаю, что вы хотите спросить, — сказал я, игнорируя его реплику. — Почему я отменил собак и плетки? Почему перевел Стила в канцелярию? Как и зачем связался с подпольщиками?

— И еще вопрос... — перебил Бойл.

— Знаю. Почему убиты семеро чиновников, непосредственно вам подотчетных?

Он молча пожевал губами. А что ему еще оставалось делать? Ведь я перечислил все, что донес по телефону Онэ.

— Вспомните нашу директиву, — продолжал я, не давая ему возможности перейти в контратаку. — Самое важное сейчас — это повысить выработку на всех участках. Для этого я отменил собак и плетки. Для этого и перевел Стила к себе: без него я не сумел бы связаться с зачинщиками побега. Они согласились на встречу в темноте с полной гарантией безопасности. Я дал эту гарантию в обмен на отсрочку побега и повышение суточной выработки. Правда, семерых служак пришлось принести в жертву, но ставка стоила выигрыша.

— А где же выигрыш?

Я молча протянул ему неизвестный Онэ листок с показателями суточных норм выработки на всех участках лагеря. Бойл заглянул, перечел еще раз и спросил все еще недоверчиво:

— Сначала Шпелль, теперь эти семеро. Не много ли на себя берешь?

— А если игра пойдет крупнее?

— Ну, играй, если выигрываешь. Только береги наиболее ценных.

— Я берегу вас,— сказал я.

Может быть, поэтому он и не стал уточнять. Но я знал, кого он имел в виду, и усмехнулся при мысли, что именно Онэ будет очередной жертвой. К вечеру, когда Бойл был уже в своей городской резиденции, я вызвал Онэ.

— Вы просили о поездке в Город,— начал я, смотря ему прямо в глаза, буквально излучавшие служебное усердие.— Я говорил с комиссаром. Он разрешил.

Служебное усердие сменилось удивлением и растерянностью. Поездка в Город была уже не нужна. Я угадал.

— Сейчас в этом уже нет надобности,— подтвердил мою догадку Онэ.

Я сыграл высокомерное недовольство.

— Не понимаю вас, Онэ. То вы просите о поездке, то вдруг от нее отказываетесь. Мне надоели ваши капризы. Комиссар разрешил вам однодневный отпуск — так выполняйте.

Он задумался: мавр сделал свое дело — зачем же ему уходить?

— А можно отсрочить?

— Нет,— отрезал я.— Выезжайте с очередным угольным эшелоном. В служебном вагоне. Все.

— Но ведь эшелон уйдет только поздно вечером.

— Подождете до утра на товарной станции.

— Но я ничего не вижу в темноте.

— Возьмите провожатого. Джемс охотно проводит вас.

— Я предпочту кого-нибудь из блок-боссов,— сухо ответил Онэ. Он уже понял, что выхода нет.

— Послезавтра утром быть на работе,— сказал я, зная, что никакого «послезавтра» для него уже не будет.

Онэ вышел, даже не взглянув на поджидавшего в

канцелярии Джемса. Тот всегда дожидался ухода Онэ, чтобы поговорить со мной.

— Слыхал? — усмехнулся он, кивнув на грохотнувшую дверь.

— Не клюет? — спросил я.

— Не клюет. Сообщил ему о твоей ночной экскурсии, а он: «Не дело писаря следить за начальством». Предложил поужинать — «С подчиненными не ужинаю». Вчера вечером ушел из ресторана с Пикэ.

— Кто этот Пикэ?

— Блок-босс из седьмого.

— Не жалко.

— Кого?

— Обоих. Онэ сегодня вечером уезжает с угольным эшелоном в Город. Ужасно не хотел.

— Понятно. С кем пойдет к поезду?

— Предложил тебя. Отказался.

— Значит, с Пикэ. Ты прав: не жалко. Эшелон уходит в одиннадцать. Успеем.

— Учтите: в бараке, кроме блок-босса, дежурит и постовой.

— После ухода Пикэ в седьмом останутся двое. А у нас есть спирт и брага.

— Все равно действуйте осторожней. Дорога к поезду мимо шахт за полкилометра простреливается.

— За шахтами перелесок и ни одного патрульного.

— Не промахнитесь. Ошибка недопустима.

Джемс только засмеялся в ответ.

А я представил себе, что произойдет утром. Онэ и Пикэ исчезнут. В Городе их не ждут — беспокоиться некому. Дежурного и постового за пьянку я отправлю на лесоповал. Телефон только у меня, а если позвонит Бойл во время моего отсутствия, трубку снимет Оливье или Джемс.

До «золотого дня», как официально именовался предстоящий праздник, оставалось четверо суток, а увертюра к «опере нищих» уже началась. Завтра я рапортую Бойлу о новом повышении выработки на рудниках и в шахтах и смогу сдать все явные и тайные дела Оливье.

В эти дни я должен быть в Городе.

Глава XXXIX

НА ВЫСТАВКЕ «СПЯЩИХ»

Я выехал в воскресенье на рассвете, рассчитывая попасть к началу занятий в мэрии. По воскресеньям в мэрии, как и повсюду в Городе, был выходной день, но мэр работал, диктуя Зернову свои записки по истории Города или принимая посетителей, с помощью которых восстанавливалось в памяти то или иное существенное для заметок событие. Происходило это уже давно и никаких подозрений, естественно, не вызывало. Поэтому здесь и доводились последние приготовления к операции, до начала которой оставались считанные часы. Сюда спешил и я, зная, что и мое появление не привлечет внимания дежурных служителей.

Шоссе, мощенное большими каменными плитами, плотно пригнанными друг к другу, было, вероятно, очень похоже на дороги, проложенные римскими легионами на окраинах империи. В глухом галльском лесу тянулась прямая каменная лента, достаточно широкая для того, чтобы могли проехать по ней боевые колесницы цезарей или местные омнибусы в шесть лошадиных сил. Встречным уже приходилось съезжать с дороги, приминая подкравшуюся к тесаному камню молодую лесную поросль. По этой дороге я и выехал прямо во французский сектор, минуя сытых и вялых, как осенние мухи, патрульных. По моим расчетам, армия шахтеров Майн-сити, наступая двумя колоннами, могла с ничтожными для себя потерями овладеть и железной дорогой, и этим древнеримским шоссе, опрокинув и уничтожив по пути все конные и пешие заставы галунщиков.

Видимо, французы как человеческий материал оказались хозяйственнее и эстетически одареннее многих других, с которых лепилось это подобие земной жизни, — я судил по окраинам сектора, создававшимся людьми, а не «облаками», я видел не «гуверлилли» из залатанных и помятых автобусов без колес и не лачуги из ящиков едва ли удобнее диогеновской бочки, а чистенькие домики из камня с черепичными крышами (научились здесь и об-

жигать черепицу для кровель) и благоуханием роз в ухоженных палисадниках.

Следы этого незапрограммированного трудолюбия и проснувшейся памяти я наблюдал и дальше, по мере того как по скаковой дорожке, сворачивая с улицы на улицу и обгоняя ранних прохожих и велосипедистов, продвигался все глубже и глубже в Город. Вдоль бронзовой ограды парка, почти вплотную примыкавшего к мэрии, мое внимание привлекли картины, которые привозили и расставляли люди в замазанных краской рубахах и блузах, точь-в-точь таких же, какие я видел на импровизированных уличных выставках в Париже и Лондоне. И картины развешивались и расставлялись так же бессистемно и беспорядочно, а хозяева их сидели так же равнодушно рядом на табуретках и стульчиках. Но любопытны были картины, а не люди. Я знал, что в городе нет ни картинных галерей, ни художественных салонов, где выставлялись бы для продажи произведения живописи. Мы давно уже пришли к убеждению, что органически лишенные чувства прекрасного розовые «облака» не поняли назначения изобразительного искусства и не сочли его жизненно важным для развития смоделированного ими земного шара. Оно само возникало здесь по мере необходимости — для рекламных афиш и проспектов, плакатов и иллюстраций в печатных изданиях. Именно об этом мне и говорил Стил. Но сейчас я наблюдал рождение станковой живописи, все-таки родившейся, несмотря на отсутствие запрограммированных стимулов. Кое-кто из художников наглядно демонстрировал это, малюя что-то на загрунтованных холстах красками или углем. Малюя умело, профессионально, даже талантливо, с где-то и когда-то приобретенными навыками.

Поражало, однако, не это и не разнообразие жанров и стилей — вы могли увидеть здесь классический реализм и абстрактное смешение красок и форм,— поражали сюжеты и ситуации, знакомые мне, но явно незнакомые самим художникам. Где мог увидеть юноша с козлиной бородкой написанного им фламандца в кожаном колете и кружевном жабо? Где мог увидеть другой эту мадонну с младенцем, похожую на растрепанную нищенку, которых так проникновенно писал Мурильо? Где мог увидеть

третий этот уголок Сены с каменным парапетом моста? У Марке? Но что для него Марке? Набор букв, незнакомое слово. Я медленно шел вдоль тротуара, ведя на поводке уставшую лошадь и пристально вглядываясь в расставленные и развешанные полотна. И замер. Передо мной была копия или вариант известной во всем земном мире работы не менее известного автора. На бельевой веревке, как выстиранное белье, висели часы различных видов и форм, стекавшие вниз наподобие киселя или теста.

— Сальвадор Дали? — спросил я у сидевшего рядом художника.

Он не понял.

— Мое имя Эдлон Пежо.

— Но вы же скопировали это у Дали.

— Я видел это во сне.

Настала моя очередь удивиться. Он усмехнулся, покосившись на мой мундир.

— Вы на выставке «спящих», лейтенант. И у каждого из нас есть разрешение.

Я опять ничего не понял и пробормотал, что я из леса и редко бываю в Городе. Молодой художник наставительно пояснил:

— Любая выставленная здесь картина воспроизводит сон или сны ее автора. Мне, например, эти часы снились каждую ночь, пока я не написал их.

— Что вы делали после Начала? — спросил я.

— Органическое стекло на заводах «Сириус». А когда уволили, вспомнил, что умею писать.

Так возвращалось забытое — блокированная память прошлого. Или «облака» предусмотрели эту возможность, или допустили ее сознательно. Все-таки, при всем могуществе знания, они многого не поняли в людях — я убеждался в этом с каждым новым свидетельством. Новейшее последовало тотчас же за картинами. Часть узорчатой бронзовой ограды, примыкавшей непосредственно к подъездам мэрии и смоделированной «облаками» с какого-нибудь земного объекта, была сломана обрушившимся на нее камневозом или лесовозом и затем восстановлена уже людьми, а не «облаками». Это замечалось сразу: в новых секциях бронзовый узор был светлей и ярче, но по рисунку ничем не отличался от старого. И мало того: в

каждый новый завиток было вложено не только умение и мастерство, но и подлинное вдохновение таланта. Я не мог отделаться от мысли, что мы, люди, при всей отсталости от столкнувшейся с нами инопланетной цивилизации, все-таки в чем-то ее превосходили. Труд там — естественная функция жизни, как потребность двигаться, видеть, дышать. Но в так же понимаемый труд человек порой вкладывает и нечто новое — творчество, озарение, нежность.

С этой мыслью я и ворвался в кабинет Томпсона, едва успев пропустить куда-то спешившего Стила и чуть не столкнувшись с провожавшим его Зерновым. И тут же изложил ее вслух, не заботясь о том, к месту ли она в прерванных моим появлением переговорах. Оказалось, что к месту. Томпсон сразу воспользовался ею как козырем для утверждения, что со своими способностями здешнее человечество уже за годы, а не за десятилетия догонит земное. Мы с Зерновым не спорили: мы видели континуум. Но Зернов не преминул все же опровергнуть мое замечание, что «облака», при всем их сверхразуме, определенно напортачили с блокадой памяти. Она, по мнению Бориса, была необходима им для Начала, начала четкой, надежной во всех звеньях, бесперебойной работы механизма смоделированной ими жизни. Блокада могла быть необратимой, но они не пошли на это. Очередной кратковременный эксперимент, не отнимающий у здешнего человека возможности развиваться гармонично, но по-своему, не повторяя своего земного предшественника.

— Разве я не похож на вашего адмирала? — засмеялся Томпсон.

— Внешне — зеркало. Но внутренне вы другой. Повторяя адмирала, «облака» отсекли все лишнее, что искажало характер, психику — эгоцентризм, фанатическую предубежденность против всего, что не соответствовало его воззрениям, навязчивость идей, диктаторские замашки. Повторяя меня, они извлекли и усилили то, что показалось им главным в моем интеллектуальном развитии. Свойственный мне эклектизм исчез. Я вижу, что Анохин уже хочет поправить меня. Не торопись, Юра, диссертации — это еще не синоним призвания.

— Меня это, пожалуй, примиряет с вторичностью моего появления на свете, — задумчиво произнес Томпсон. — Мы — это вы, но с коэффициентом «экстра». Так я вас понял?

— Не совсем. — Зернову хотелось выразить свою мысль как можно точнее: он знал, что она в конце концов дойдет до создателей этого мира. — Главное в человеке — не всегда лучшее. Научная одержимость моего здешнего аналога превратилась в научную ограниченность, в отрешенность от мира, от людей, от народа. А Корсон Бойл? Его земной оригинал — маленький полисмен с непомерным тщеславием и ничтожными завоеваниями в жизни. «Облака» и у него нашли главное — силу воли, организаторский талант, не меньший, чем у вас, Томпсон, жажду власти и умение ее применять, неразборчивость в средствах, жестокость, иезуитизм. Не знаете этого слова, мэр? Есть такой христианский монашеский орден, допускающий любое преступление, любую подлость и предательство, лишь бы они служили силе и могуществу католической церкви. Едва ли можно назвать этокоэффициентом «экстра»! Просто «облака», моделируя человеческий материал, искали в каждом объекте присущий ему одному генетически заложенный дар. Если вы установите здесь социалистический порядок, вы, безусловно, поблагодарите авторов эксперимента за то, что они, сами того не зная, способствовали реализации великой формулы: от каждого по способностям. Здесь уже не будет ошибок, способности определены безукоризненно точно.

— Время дорого. Что в Майн-сити?

Я рассказал. Он слушал, не перебивая. Только раз спросил:

— В шахтах были? А на обогатительной фабрике?

Я признался, что передоверил ее подпольному комитету лагеря. Томпсон поморщился. Неужели он не доверяет подпольщикам?

Он словно прочел мою мысль.

— О недоверии не может быть и речи. Сведения поступают к нам регулярно, но не минуя вас. Ни одно звено не должно выпадать.

— А как у Стила?

— Все готово. К сожалению, «диким» не хватает ог-

нестрельного оружия. Вооруженные автоматами захватят продтрассу, а в Город войдут лучники.

Я подумал об арсенале в небоскребе четырнадцатого блока.

— Есть же склад в продуправлении. Я думал, что вам для этого и понадобились мундиры.

— Для этого. Но экспроприация арсенала в настоящую минуту только насторожит галунщиков. Сейчас они беспечны. Накануне праздника даже на посты выходят, еле держась на ногах, а в «золотой день» мы возьмем их тепленькими. Налет на склад произведем одновременно с захватом «Олимпии».

— Остается еще Вычислительный центр, — напомнил Зернов. — Даже Зернов-второй там не все контролирует.

Телефонный звонок прервал разговор. Зернов взял трубку.

— Есть, — сказал он, выслушав говорящего. — Порядок. Едем. — И, повернувшись ко мне, прибавил: — Твоя голограмма в Би-центре уже получена. Пройдешь все заграждения.

При слове «голограмма» я вспомнил что-то, связанное с Парижским конгрессом, но что именно — я так и не уточнил. Сделав вид, что и так все ясно, спросил:

— А как же ты...

И осекся... Только сейчас я заметил, что Зернов сбрил свою козлиную бороду и выглядел точно таким, каким я знал его в Москве и Антарктиде.

Спрашивать, как он пройдет заграждения Би-центра, было уже бессмысленно.

Глава XL

ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ В ТРЕХМЕРНОМ

Би-центр находился в американском секторе, занимая добрых полквартала между небоскребами-башнями, пустыми, как и все в Городе, с третьего этажа. Он был невысок — четырехметровая стена из каменных плит полностью скрывала его от любопытных глаз. Стену построили, должно быть, уже не «облака», а люди, потому что

она несуразно выдвинулась почти на середину улицы, нарушив ее идеально геометрический профиль.

Правый же патруль пропустил нас, не задавая вопросов. На меня даже не взглянули, перед Зерновым вытянулись, как на мощенном каменной брусчаткой дворе за стеной, удивительно похожем на луврский плац из фильма «Три мушкетера». И там и здесь так же нестройно и беспорядочно стояли и прохаживались вооруженные люди — не часовые и не стражники, а просто бездельники в день отдыха на казарменном гвардейском плацу. Увидя Зернова, вытягивались, меня не замечали: ведь я был одним из них — такой же серомундирный галунщик, только, в отличие от них, трезвый; от каждого буквально за несколько шагов несло винным перегаром. Я вспомнил слова Томпсона о том, что уже сейчас, накануне праздника, редко кто из патрульных выходит на пост, не хлебнув из заветной бутылки. Как же велика должна быть их вера в свою силу и безнаказанность и как должен быть уверен в ней Бойл, если его не тревожил процесс гниения самих устоев его государства! Томпсон прав — таких защитников порядка можно будет брать тепленькими. Даже не великолепная, а просто трезвая и хорошо организованная семерка вооруженных смельчаков могла разогнать и прихлопнуть эту пьяную полицейскую ораву, поставленную охранять один из важнейших институтов их государственного строя.

Разогнать — да, но не проникнуть в дом: он охранялся изнутри автоматически и надежнее, чем любой банк на Земле. Наружная охрана была пустой формальностью: мы убедились в этом, когда вошли в дом. Кстати, мы не сразу вошли: самый дом не мог не вызвать удивления и любопытства, тем более у впервые его увидевшего. Ничего подобного нигде и никогда мы не видели. В доме не было окон, а стены сверкали необыкновенной зеркальной поверхностью.

— Как защитные зеркальные очки, — сразу нашелся Зернов, — изнутри прозрачны снизу доверху.

Но снаружи в них все отражалось и искажалось, как в зеркалах знакомой комнаты смеха. И люди и вещи, отражаясь, то вытягивались, то сплющивались, то завивались совсем уж обезображенными формами. При этом

стены были не просто неровны, а несуразно неровны, как нагромождение скалистых обломков; порой пузырились зеркальными волдырями или остроугольными шишками; порой проваливались, как продырявленный мяч или искалеченный в автомобильной катастрофе кузов машины, загибались без ребер и углов параболическими кривыми или выворачивались наизнанку, как сотни «полосок Мебиуса». Риман и Лобачевский могли бы найти здесь десятки примеров для своих геометрических постулатов, а студенты по курсу топологии — решать любые предложенные задачи. Я и без подсказок Зернова понял, почему вокруг выросла четырехметровая каменная ограда. Оказывается, пока ее не воздвигли, по улице нельзя было ни пройти, ни проехать — мешали толпы зевак, готовых без устали созерцать это архитектурное чудо-юдо.

Но то, что оказалось внутри, было действительно чудом без всякой иронии. Вошли мы не в дверь, а во что-то вроде щели, достаточно широкой для того, чтобы пропустить двух человек любого роста и любой комплекции. Щель открывала проход, заполненный лиловатым газом, — точь-в-точь фиолетовое «пятно» в миниатюре.

— Шагай, не бойся, — подсказал по-русски Зернов, и я шагнул.

Тотчас же все утонуло в знакомом тумане. Я протянул руку — она встретила пустоту; дотронулся до Зернова — он был рядом.

— Не осторожничай, ничего не случится, — услышал я его голос, чуть-чуть угасавший в тумане, сделал еще два шага и вышел на дневной свет в большую и пустую комнату, если только окружавшее нас пространство можно было назвать комнатой. Трудно было даже приблизительно определить ее форму: она то удлинялась, то укорачивалась в зависимости от точки, с которой вы пробовали ее осмотреть. И ничего не видели, кроме плотного фиолетового тумана у потолка — если только вообще был здесь потолок — и чуть-чуть мерцающих матовых, будто стеклянных стен.

Посреди комнаты плавала круглая белая тарелка, вернее, не плавала, а неподвижно висела, как на сеансе эстрадных «чудес». Все это освещалось обычным, слегка рассеянным светом, но его источника я не нашел.

— Откуда же свет? — удивился я. — Ты говорил, что изнутри стены совершенно прозрачны.

Зернов засмеялся и словно волшебной палочкой взмахнул: мерцающие стены исчезли, открыв полупьяную ораву галунщиков на только что покинутом нами дворе. И видны они были отлично, будто ничто не разделяло нас, и не искажались, не искривлялись, хотя и просматривались сквозь кривозеркальные стены.

— Какие-то чудеса оптики! — вырвалось у меня. — Ничего не понимаю.

— Оптика-то не наша, — сказал Зернов, — не земная.

И плац с полицейскими снова исчез за мерцавшими стенами, непрозрачными, как матовое стекло.

— Обойди их и сядь. — Он указал на висевшую над полом белую, чуть вогнутую тарелку.

Уже не спрашивая, я повиновался, молча пройдя вдоль то удлинявшихся, то словно обрезанных стен или, вернее, одной закругленной стены без углов и дверей, — даже узенькой щели не было видно, и фиолетовый вход наш исчез, словно сместился наверх и растворился в густой толще газа под потолком. Стенка была гладкой и теплой, как подогретое изнутри стекло, но даже вблизи ничего, кроме мерцающих точек и черточек, в этом стекле не просматривалось. Висящая тарелка вдруг почему-то оказалась у меня на дороге, я сел на нее не без боязни грохнуться на пол, кстати, такой же туманный и лиловый, как и потолок, будто я шел по зеркалу, его отражавшему. Тарелка оказалась прочной и неподвижной, как туман; я сел, встал, снова сел и глупо засмеялся от этой глупой гимнастики.

— Зачем это?

— Ты же рассказывал, как тебя муштровали в зеркальном зальчике после экзамена, — сказал Зернов. — Фиксировалось твое зеркальное отражение. Что-то вроде голограммы, фотоснимка безлинзовой оптикой, это даже на Земле уже не открытие. Стыдно, товарищ кинооператор, кому-кому, а вам сие должно быть отлично известно. Твоя же область. Ее в сороковых годах открыли, а с появлением лазеров развитие ее зависит только от их растущей мощности. Честно говоря, я сам в этом не очень кумекаю — мне мой дубль объяснил. Безлинзовая съемка

с корегентным[1] источником освещения. Получаешь и негатив, и позитив одновременно, только заключенный в сложном узоре мельчайших черточек, лишь приблизительно напоминающий объект съемки. Но при освещении лазерным лучом голограмма трансформируется в объемное трехмерное изображение редкой точности. Здесь же, по-видимому, фиксируется не сам объект, а его зеркальное отражение. Твое отражение, например, зафиксированное на пленке, поступило сюда, в контрольный механизм центра. Как выглядит этот механизм, каковы принципы его работы, никто не знает. Зеркальное отражение увеличивается до нормальных размеров, вычислительные приборы распределяют интенсивность на интерферентной картине голограммы, некий подобный лазерному невидимый источник света воспроизводит ее в «памяти» контрольного механизма, и, когда ты появляешься здесь подобно фотографическому фокусу «я сам в пяти позах», эта «память» только сверяет объект, в данном случае тебя, с запечатленным в ней отражением. Если объект и отражение не совпадают, ничего не происходит — просто открывается выход на казарменный плац, а в случае совпадения включаются рецепторы. Для чего? Для того, чтобы я или ты мог мысленно назвать нужную лабораторию, или диспетчерскую, или управление продтрассой или просто зеркальные стены, чтобы взглянуть на улицу. Меня «память» уже проверила, и рецепторы включились. Их действие ты видел. Теперь твоя очередь. Вызови лабораторию поля. Так сказать, мысленно назови.

Я мысленно повторил за Зерновым: «Лаборатория поля»,— и в мерцающей стене открылась лиловая щель.

— Шагай,— подтолкнул меня Зернов, и, шагнув в знакомую лиловую гущу газа, мы вышли снова на дневной свет, но уже совсем в другой зал, именно в зал, а не в комнату.

Из глубины его, заполненной сверкающими металлическими формами, вышел навстречу человек в белом, совсем земном халате, только белизна его тоже сверкала, как белая крышка рояля, отражая окружающий мир.

---

[1] Корегентный — движущийся как бы в ногу, а при отражении резко изменяющийся в амплитуде и фазе.

Издали этот мир казался путаницей безугольных геометрических построений, преимущественно труб, сфер и цилиндров. Но за человеком с той же скоростью двигалась высокая, как цунами, волна лилового газа, в которой гасла и таяла сверкавшая металлом стереометрия. В конце концов газ срезал зал, обратив его в комнату с таким же туманным полом и потолком и такими же мерцающими тусклыми стенами. Человек в халате оказался Зерновым-вторым, на этот раз отличавшимся от моего спутника только глянцевым белым халатом.

— Нет, не нейлон,— сказал он Зернову-первому.— Тоже химия, только другая.

— Мысли читаешь, Вольф Мессинг? — усмехнулся тот.

— Конечно. Только твои. Ты же знаешь.

— Знаю,— поморщился мой Зернов,— только привыкнуть не могу.

Мы сели на подплывшие к нам белые тарелки, располагавшиеся вокруг такой же белой, ничем не поддерживаемой массивной плиты, на которой мгновенно материализовались из воздуха бутылки с соками и три широких бокала.

— Скатерть-самобранка,— похвастался Зернов-второй.

Первый пренебрежительно отмахнулся:

— Видели и едали. В континууме.

— Прежде я считал все эти чудеса в решете техникой земного происхождения,— задумчиво подхватил Зернов-второй,— кто-то придумал и сконструировал их до Начала. Кто — мы забыли, а наследством пользуемся понемногу и свое ищем, развиваем, разрабатываем. А теперь, когда вернулась память прошлого, я уже точно знаю, что все это — подарок ваших инопланетных гостей, их эксперимент. Даже больше — знаю и назначение самого Би-центра.

— Первая ступень контакта,— перебил Зернов-первый.

— Научного контакта. Крутой, между прочим, мост. И трудный. Он же построен в четырехмерном пространстве. Нет ни коридоров в обычном смысле этого слова, ни дверей, ни лестниц. То, что их заменяет, длин-

но, сложно, запутанно и с земной точки зрения даже бессмысленно. Мы называем это проходами. Обычно ими никто не пользуется, только в случаях крайней необходимости, когда телепортация блокирована.

— Вы так и говорите «телепортация»? — спросил Зернов.

— Нет, просто переход. Это уже моя земная память. И нуль-переход от нее же. Удобная штука. Можно немедленно попасть в любую часть центра. Даже сюда.

Мерцающие стены впереди не то раздвинулись, не то растаяли, обнажив черный экран с равномерно вспыхивающей и гаснущей ядовито-желтой надписью по-английски: «Дэйнджер!» — «Опасность!»

— Люк-мусоропровод,— пошутил Зернов-дубль.— Сюда автоматически сбрасываются радиоактивные осадки, самовзрывающиеся смеси — словом, все, что уже не нужно, но опасно для жизни,— пояснил он.

— Шагнешь — и конец,— засмеялся я.

— Не шагнете. Это мы называем «видимость», а полная телепортация блокирована до полудня.

Я взглянул на часы: половина десятого.

— Не скоро.

Двойники засмеялись.

— Он все еще по-земному считает,— сказал мой Зернов,— забыл о восемнадцатичасовых сутках.

— В сущности, переход блокирован круглые сутки, кроме двух часов после полудня, во избежание излишних передвижений. На пешеходные блуждания в проходах решаются только энтузиасты,— заметил его двойник.— Общаться можно и так.

Мерцающие стены исчезли — их сменила гигантская карта продтрассы и Города, вернее, макет, освещенный невидимым источником света. Точь-в-точь, как тот псевдо-Париж, который мы наблюдали с Толькой в Гренландии. Отчетливо были видны лесное шоссе, заставы, улицы, даже дома. А по улицам, если вглядеться, можно было рассмотреть и движение экипажей, омнибусов, даже крохотных пешеходов в тени многоэтажных небоскребов, похожих на стеклянные пеналы, поставленные торчком.

— Занятная карта,— сказал Зернов-дубль.— Я и сам не понимаю, как это сделано.

Под картой восседал за непривычного вида клавиатурой очкарик в белом халате, моих примерно лет. Полы халата открывали такой же, как у меня, золотогалунный мундир.

— Полицейский? — удивился я.

— Здесь все полицейские, — сказал Зернов-второй. — Даже я. Только без мундира. Горт! — позвал он.

Очкарик поднял руку с клавишей.

— Слушаю, шеф.

— Что нового?

— Директива фуд-управления. Еще два пункта во французском секторе. В третьем и четвертом арондисмане. Виноторговец Огюст и бакалейщик Пежо.

— Заказ уточнен?

— Конечно. Списки уже переданы в Эй-центр.

— Есть отказный сигнал?

— Нет.

— Что предлагаете?

— Продлить восьмой рейс. По улицам Плесси и Мари Жорден, всего двадцать минут. Вот так... — Он провел над макетом указкой будто скользнувшей по невидимому стеклу, предохраняющему модель Города от прикосновений.

— Действуйте.

Очкарик и карта растаяли за мерцающей пленкой стены, снова возникшей в пространстве.

— В сущности, это какой-то вид телевидения, — заметил я.

— Не совсем. Фокус безлинзовой оптики. Будущее голографии и лазерной техники. Кстати, — усмехнулся Зернов-второй, — задай вы мне этот вопрос даже месяц назад, я бы не сумел ответить. Впервые бы услыхал это слово. Мы говорим «видимость», а по-русски, если точнее перевести, — «смотрины». Смешно, правда? Но смех смехом, а в нашей оптической лаборатории мы уже подбираемся к этому чуду. Полегоньку-помаленьку, вроде как у меня к секрету силового поля. Ну а если говорить о телевидении в его земном понимании, то при желании мы бы за полгода сконструировали и телепередатчик, и телевизор.

Но моего Зернова интересовала другая тема:

— Значит, в твоем распоряжении и входной контроль, и телепортация?

— Да, механизм управления настроен на мои биотоки.

— А ты можешь, скажем, снять контроль, сохранив блокаду телепортации?

— Зачем?

— Ты же мои мысли читаешь, чудак. Зачем спрашиваешь?

— Для уверенности.

— Может создаться ситуация, когда нам понадобится свободный вход с одновременным ограничением передвижения внутри.

Зернов-второй понимающе усмехнулся:

— Свободный вход для всех, а блокада против одного?

— Пять с плюсом.

— Но он всегда может воспользоваться проходами.

— Его можно задержать.

— Трудно. Проходы — это лабиринт. Даже я всех не знаю.

— Меня интересует только один — к управлению выходом из континуума. Энд-камера.

— Единственный механизм, не подчиненный моему управлению,— вздохнул Зернов-второй.

— Для чего он понадобился?

— Вероятно, его задумали на случай непредвиденной катастрофы, стихийного бедствия, которое иногда трудно предвидеть даже сверхразуму. Допустим, какого-нибудь обвала или наводнения, когда любой грузовик с продовольствием окажется под угрозой гибели. Тогда на время ремонтных работ и предусмотрено действие механизма. А управление им создатели этого мира сочли возможным доверить только главе государства.

— Каким образом? Не состоялась же встреча на высшем уровне.

— Зачем? Бойл просто знает, что он один может нажать кнопку. Знание запрограммировано.

— Значит, он в любую минуту может лишить Город продовольствия? — вмешался я.

— Если захочет — да. Но никто, кроме него и меня, об этом не знает.

— Мы знаем,— загадочно сказал мой Зернов.

Глава XLI

НИКАКИХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

Я не могу быть историком восстания — не потому, что не способен к историческим обобщениям, а просто потому, что я его не видел. Избранный в Центральный повстанческий штаб, я просидел безвылазно на втором этаже отеля «Омон», ничего не видя, кроме хлопающих дверей, входящих и выходящих людей, табачного дыма и зашторенных окон; просидел до той самой минуты, когда пришла и моя очередь предъявить уже не мундирным патрульным свою пластмассовую красную фишку. Она служила паролем и пропуском, гарантировала безопасность в случае нападения своих и давала право руководства любой не имевшей командира повстанческой группой.

Полицейская хунта справляла свой триумфальный день пышно и пьяно. Повсюду развевались расшитые золотом флаги, превращавшие улицы в некое подобие галунных мундиров. Желтые розы цвели на кустах и на окнах. И пьяны на этот раз были не только полицейские, пьющие без просыпу бог знает какие сутки: специальным указом властей с утра была объявлена бесплатная раздача вина не только в ресторанах, барах и кафетериях, но и в каждой торгующей вином лавчонке, где для этого были сооружены специальные стойки,— пей сколько влезет. И пили. К полудню, по-здешнему к девяти утра, на улицах плясали и горланили, как на ярмарочной попойке, толпы пьяных людей. Что-то вроде карнавала не то в Зурбагане, не то в Лиссе, когда-то описанного Грином. Только женщин было сравнительно мало: они, должно быть, прятались по домам, не рассчитывая на защиту полиции в случае неизбежных скандалов. Галунщики сами затевали скандалы по всякому поводу и без повода, палили куда попало, как супермены из американских вестернов, и ни пьяницы на улицах, ни замкнувшиеся на все замки и запоры их жены и дочери даже и думать не думали, чем может закончиться эта пародия на гриновский карнавал.

Меня равно поражали и беспечность хозяев Города, их

полная неосведомленность о том, что назревало у них под носом, и продуманная оперативность повстанческого штаба. Вспоминалось зерновское: «С нами или без нас, а они свое дело сделают». И они делали его согласованно, четко и почти безошибочно. Ошибки, конечно, были, но и они уже не могли ни сдержать, ни ослабить развернувшейся пружины восстания. Она начала раскручиваться сразу же после полудня, чтобы к концу дня, а точнее, к началу полицейского банкета в «Олимпии» все жизненные центры Города и его окрестностей оказались в руках повстанцев. Как это происходило, я узнавал по телефону в бывших апартаментах Этьена в отеле «Омон»; наличие телефона здесь и побудило штаб сделать эти апартаменты центром восстания. Томпсон предлагал мэрию, но «Омон» был тише и малолюднее, а потому и безопаснее.

Я всегда удивлялся парадоксам, которые все время порождала эта искусственно созданная жизнь. Отсутствие телефонной связи, например, стало истинным благом для организаторов восстания, позволившим засекретить его до самой последней минуты. Наличие телефона дало бы возможность любому полицейскому или обывателю-прохвосту предупредить власти о замеченных им каких-нибудь подозрительных, с его точки зрения, явлениях. Но в Городе по телефону общались только члены Клуба состоятельных или полицейская периферия со своим городским руководством. Даже в Майн-сити телефон был только у коменданта и его заместителей в отдельных рудничных секциях.

После полудня все периферийные телефонные пункты были уже в руках повстанцев, а въезды в Город контролировали уже не полицейские, а рабочие патрули в галунных мундирах. Полицейские заставы были захвачены даже не в первые часы, а в первые минуты восстания. Стил по телефону с моей заставы у выхода из континуума сообщил, что автоматчики Фляша уже снимают полицейские патрули по всей продтрассе. Не имеющие огнестрельного оружия лучники отдельной колонной движутся к Городу. Он интересовался, сколько их мы сможем вооружить по прибытии на место.

— Сотню, не больше,— подсказал мне сидевший рядом Томпсон.

— Есть же оружие на центральном складе, — горячился Стил.

— Любая акция в Городе сейчас преждевременна. Все развернется к вечеру. Очищайте окрестности, не спешите.

— Где Минье? — спросил я, вспомнив о своем преемнике на заставе.

— Кому нужен его труп? — кричал Стил. — Я не могу задержать лучников.

Томпсон, не спавший всю ночь, устало махнул рукой: пусть дойдут до заставы.

— Вы помните Робин Гуда? — спросил я.

— Нет, — сказал он и зевнул. — Разрешите вздремнуть по-стариковски. Разбудите, если понадобится.

Я остался командовать парадом. Мартин распоряжался омнибусами в Майн-сити. Фляш объезжал заводы, формируя отряды коммунаров. Где-то в глубинах памяти он зацепил это слово и настоял на присвоения его вооруженным рабочим группам. Хони Бирнс, мой скаковой тренер — тоже член штаба, — командовал конниками-связными, поддерживавшими сообщение между очагами восстания. Он сидел внизу за конторкой портье и отдавал распоряжения входившим и выходившим наездникам. Когда возникала необходимость, я спускался к нему и сообщал, куда нужно послать нáрочного.

— Не забыл Макдуффа? — вздыхал он. — Какого коня сгубили!

Сгубил его Бойл во время одной неосторожной поездки не то на заставу, не то в Майн-сити. Узнавший об этом Хони Бирнс перестал разговаривать со всеми знакомыми полицейскими. Он не здоровался с ними, не подавал руки и отворачивался при встрече. За это его сослали в Майн-сити, откуда совсем недавно вызволил Оливье.

Кстати, Оливье аккуратно позвонил в десять.

— Все в наших руках, — начал он без преамбулы. — Обошлось почти без жертв: каких-нибудь два десятка убитых и раненых. Тяжелых ранений нет. Зато блок-боссы, информаторы и пытавшиеся сопротивляться охранники уничтожены полностью. Остальных без оружия и мундиров погнали в лес.

— Почему без мундиров? — поинтересовался я.

— Мундиры переданы авангардным группам, пред-

назначенным для штурма товарной станции и Си-центра. Есть кое-что и для вас, лейтенант, — лукаво присовокупил Оливье. — Звонил Корсон Бойл. Спрашивал вас. Я ответил, что вы еще с утра выехали в Город. Минут десять назад он звонил опять, явно чем-то недовольный или встревоженный.

Я пожал плечами — для себя, не для Оливье.

— Что он мог узнать? Ничего. Где Мартин?

— Командует автоматчиками, выехавшими на омнибусах.

— А Джемс?

— Повел безоружных на соединение с лучниками, наступающими вдоль продтрассы.

— Успеете задержать?

— Нет, конечно. А что? — встревожился Оливье.

Я вздохнул: еще одна порция «робин гудов».

— Безоружные не должны появляться в Городе, пока не будут захвачены все опорные полицейские пункты. Пусть прочесывают периферию, — повторил я приказ Томпсона.

— Попробую связаться, — подумал вслух Оливье. — Пошлю верхового.

Мы могли говорить свободно, не опасаясь последствий: телефонная станция к этому времени была уже занята коммунарами Фляша. Но после нашего разговора телефон замолчал, и я грыз ногти, представляя себе, что может произойти, когда несколько сот голодных людей, не знавших до сих пор никакой другой дисциплины, кроме дисциплины страха, ворвутся в Город, требуя оружия, да еще когда на улицах повсюду шумит пьяная ярмарка и ливнем льются сидр и вино. «Запирайте этажи, нынче будут грабежи!» Я уже тянулся разбудить Томпсона, но все еще медлил. Пусть поспит. Что мы сможем сделать у телефона, когда неизвестно, где Фляш, где Стил, где Мартин, где Оливье, когда приказ о задержании лучников отдан уже на все въездные заставы! Но устоят ли они против напирающей толпы?

Наконец телефон зазвонил опять. Я жадно схватил трубку.

— О'кей, — сказал знакомый голос. — Мартин докладывает.

— «О'кей, о'кей»! — передразнил я его. — Где пропадал? Откуда говоришь?

— Из Си-центра. Только что захватили. Чистенько, гладенько, десяток кокнули, остальные лапки кверху. Пока заправляемся коньяком и сардинами. Ждем указаний.

— Отставить коньяк! — закричал я. — В Городе и так все пьяны, от полисмена до велорикши. Не хватает того, чтобы и вы поотшибали себе мозги спиртным. Поставь надежных людей у винных складов! Обезоруживай всех любителей выпивки! Если понадобится, грози расстрелом.

— Есть контакт, — хладнокровно согласился Мартин. — Проугибишен так проугибишен![1] Когда выступаем?

— Жди указаний, — буркнул я в трубку, собираясь на этот раз уже окончательно разбудить Томпсона.

Но не успел. Телефон снова потребовал меня к трубке. Потом вторично. Затем еще и еще. Я едва успевал щелкать рычагом. Звонили с въездных, ныне уже наших, застав о задержанных полицаях, спешивших в Город доложить начальству о происшедшем. С продтрассы сообщали, что колонна лучников, подошедшая к городским окраинам, ожидает у заставы, но отдельным группам все же удалось просочиться в город. Уведомляли также о полученном приказе комиссара Бойла разыскать и доставить в управление некоего Жоржа Ано, бывшего коменданта Майн-сити. Об этом же позвонил Оливье, успевший уже захватить вокзал и товарную станцию. Приказ о розыске коменданта Ано, если таковой появится в пределах железной дороги, очень его встревожил.

— Что случилось, лейтенант? Почему разгневался Бойл? Честно говоря, я боюсь за вас.

Почему разгневался Бойл, я и сам не понимал. Только бы он не предпринял чего-нибудь неожиданного, непредвиденного штабом. Я знал, что посоветует Томпсон: ждать. Но я знал и Бойла. Неучтенную вспышку его гнева, чем бы она ни вызывалась, следовало погасить. Но как?

Мне везло. Помог неизвестно откуда объявившийся Фляш. Откуда, я не успел спросить — так краток был наш

[1] Проугибишен (*англ.*). — сухой закон.

телефонный разговор. Голос его к тому же звучал глухо, будто издалека, или это провод был не в порядке, но мне удалось разобрать указание немедленно известить Бойла, что приказ о розыске мне известен, что я не скрываюсь и прибуду в «Олимпию» к началу банкета. Формулировка была наглая, но именно такая и должна была погасить гнев или тревогу Бойла.

Я позвонил в управление. Мне ответили пьяным голосом:

— Дежурный слушает.

Я слово в слово повторил все сказанное мне Фляшем. Дежурная жаба мгновенно протрезвела и спросила, где меня найти, если ей удастся связаться с комиссаром. Я положил трубку: главное было сделано.

После этого я разбудил Томпсона и рассказал ему о своих разговорах. Его больше всего заинтересовали лучники.

— Что с ними будет?

— Ничего не будет. Или они доберутся до нас, или растворятся в толпе на улицах, благо угощение бесплатное. Луки они забудут или бросят — и тогда утратят всякую ценность для нас. Правда, они могут и сболтнуть лишнее, но кто будет сегодня вслушиваться в пьяную болтовню на улице?

— Не знаю,— все еще сомневался Томпсон.— Корсон Бойл дьявольски умен. Он что-то подозревает. Почему он так усиленно вас разыскивает? Почему вы вдруг стали «бывшим»?

— Бойл умен, но и капризен. Я — это его каприз.

— А если он уже все узнал и мы не дотянем до банкета?

— Будет больше жертв — только и всего. Какие-то группы окажут сопротивление. Но уже сейчас вся периферия и важнейшие опорные пункты в Городе в наших руках. Что остается Бойлу? Отречение, самоубийство, бегство? А потом, я думаю, что блокада Города отрезала полицейскую клику от информации. Связи нет. Я сужу по ответу дежурного. Когда начнется банкет? В четыре. А в три мы уже замкнем третье кольцо. Кстати, я не совсем понимаю диспозицию. Какая разница между кольцами?

— Первое — это периферия: Майн-сити, продтрасса, железная дорога, омнибусное шоссе. Второе — границы Города: товарная станция, ипподром, Си-центр, въездные заставы. Третье — опорные пункты противника непосредственно в Городе, такие, как Главное управление и центральный склад оружия в четырнадцатом блоке, Вычислительный центр, мэрия и телефонная станция. Последние два пункта уже не могут быть использованы противником, вы правы: они в наших руках. В мэрии сосредоточены группы Фляша, телефонистки на станции работают под нашим контролем. Конечно, можно соединить аппараты и незаметно для контролера. Поэтому третье кольцо особенно настораживает. Противника могут предупредить.

— А если перерезать линию?

— Нет,— не согласился Томпсон.— До последней минуты в основной полицейской цитадели должна быть телефонная связь. Пусть иллюзорная, но должна. На каждый звонок должен ответить дежурный. Наш дежурный.

Он подчеркнул слово «наш» в неколебимой уверенности, что в нужны момент нужную телефонную трубку, засекреченную и охраняемую, как сейф с шифром, возьмет в руки наш человек. Ну а если наш человек рухнет с простреленной грудью, а телефон-предатель все же выполнит свое черное дело? Томпсон даже улыбнулся моей наивности.

— Если то, что задумано, затем продумано, выверено и рассчитано, а потом выполнено с такой же точностью,— случайностей не бывает.

— Ну а дрогнет рука, например. Что тогда? Промах?

— Рука не дрогнет, если вы подготовились.

— Ко всему не подготовишься. Наступил на улице на корку банана — и хлоп! Сотрясение мозга.

— Если смотреть под ноги, на банан не наступишь.

— Вы отрицаете непредвиденное?

— Нет, конечно. Но надо уметь предвидеть.

Что-то от земного Томпсона все-таки было в моем собеседнике. Я попробовал атаковать с другой стороны:

— А ошибка? Могут же быть ошибки.

— Могут. Но не должны. Моя блокированная земная

память подсказывает мне нечто очень верное: это хуже, чем преступление, это ошибка. Кто это сказал?

— Талейран Наполеону.

— Кто кому?

— Министр императору. В свое время вспомните, адмирал.

У меня это вырвалось по старой привычке, но Томпсон зацепился:

— Я даже не знаю, что делает на Земле адмирал.

— Командует флотом, эскадрой. Это на море. Иногда министерством или разведкой. Это на суше. На суше — за письменным столом, на море — с авианосца или подводной лодки.

Глубокие морщины на лбу Томпсона казались еще глубже.

— Из двух десятков слов, которые вы произнесли сейчас, я знаю точно два или три. Некоторые объяснил мне Зерн, остальные слышу впервые. Как бессмыслицы из детской сказки. А-ви-а-но-сец!

Я объяснил, что такое авианосец. Томпсон извлек объемистый блокнот и записал.

— Начал вторую тысячу, — грустно усмехнулся он. — Ребенок учится ходить. Тысячу пять слов дал мне Зерн. Кстати, почему он молчит?

Действительно, почему молчал Борис? Я взял трубку.

— Погодите, — остановил меня Томпсон. — Связь с Би-центром только через продуправление. Сообщите им номер мэрии, если спросят, откуда вы звоните.

Я последовал его совету. Вопреки опасениям, с Вычислительным центром соединили немедленно. Я спросил:

— Борис?

— Я.

— Какой из двух — земной или здешний?

Я спрашивал по-русски. В трубке засмеялись. Я выжидающе молчал, даже смех у них был одинаковый.

— А не все ли равно, Юрка, если по делу?

— Старик волнуется.

— У нас по-прежнему. Ждем. Галунщики на плацу и в лабораториях ничего не знают.

В трубке что-то щелкнуло, будто подключили еще

аппарат, и грубый знакомый голос дежурного недовольно спросил:

— По-каковски говорите? Не понимаю.

— Вам и не требуется понимать,— сказал по-английски Зернов.— Вам требуется передать по начальству, что подслушиваемый разговор непонятен. Все! Отключайтесь или соедините меня с комиссаром.

Что-то щелкнуло опять, и голос пропал.

— Передай старику,— продолжал по-русски Зернов,— что ровно в три снимаем зеркальный контроль и блокаду проходов. Блокируется только телепортация.

Я тотчас же перевел это Томпсону.

— Не в три, а в два,— сказал Фляш.

Глава XLII

КОНЕЦ «ОЛИМПИИ»

— Иначе говоря, через десять минут. Так и передай.

Он стоял в дверях без шапки, с какими-то щепками в волосах, с красными от бессонных ночей глазами и землистым цветом лица — измотанный ночной сменой рабочий. Из-за спины его выглядывал Джемс, уже сменивший лагерную куртку на ковбойку и шорты «дикого». Грудь его наискосок пересекала желтая тетива лука, а у пояса болтался синий колчан с торчавшими из него длинными хвостами стрел.

— Почему в два? — спросил Томпсон.

— Банкет начнется не в четыре, а в три. Съезд гостей к половине третьего. К этому времени все опорные пункты должны быть уже захвачены. «Олимпию» берем последней. Командуешь операцией ты.— Фляш даже не посмотрел на меня — только плечом шевельнул.

— С какими силами? — спросил я.

— Сотни тебе достаточно. Мы перебрасываем из Си-центра четыре омнибуса автоматчиков во главе с Мартином.

Я еле сдержал радость: лучшего соратника трудно было и пожелать.

— Завершив окружение, — продолжал Фляш, — начинаете штурм. Четыре входа — четыре группы. Мартин с тремя проникает через главный и два боковых входа и занимает зал. Ты — через артистический за кулисы и займешь все внутренние проходы и лестницы. На сцену выходишь в последнюю минуту. Сигнал — взрыв!

Я знал, что правительственная ложа минирована, но считал это излишним. С сотней автоматчиков можно было бы обойтись и без пиротехники.

— Ты не знаешь Корсона Бойла, — отрезал Фляш. — Он только мертвый не страшен. А пешек его жалеть нечего. Подрывник будет у барьера ложи, переодетый официантом. Мина заложена за барельефом с орлом. Свеча на любом столе. Стоит прикоснуться свечой к орлу — он вспыхнет, как пакля.

— Он же резной, деревянный, — усомнился я.

— Мы его заменили другим, пропитанным горючим составом. Конечно, жаль подрывника. Но что ж поделаешь: мы еще не умеем делать самовзрывающиеся снаряды.

— Постой, — сказал я, — у нас есть бикфордов шнур?

— Какой шнур? — не понял Фляш.

— Запальный. Одним концом прикрепляешь к барельефу или, еще проще, — к мине, другой...

— Пока он будет гореть, заметят.

— Есть выход, — сказал я, вспомнив американский фильм с почти аналогичной ситуацией. — Взорвать можно и на расстоянии. Понадобился меткий лучник. Сверхметкий.

— Сгожусь, — вынырнул из-за спины Фляша Джемс.

— Пошли другого, — поморщился Фляш, — сейчас будем перевооружать твоих лучников.

— Пусть другой и перевооружает. А я с Ано, — осклабился Джемс.

Я вспомнил соотношение сцены и ложи. Метров тридцать, не больше. Сколько летит стрела?

— Сейчас проверим, — сказал Джемс и распахнул дверь в коридор. — Тридцать и будет. — Он снял лук и достал стрелу.

В конце коридора висел портрет Анри Фронталя в траурной рамке.

— Левый глаз. Засекай время — у тебя часы с секундами,— обернулся Джемс к Фляшу.

Тот вынул из кармана часы на ремешке. Стрела свистнула, и мы даже издали увидели, что она торчит в левом глазу портрета. Анри Фронталь был убит вторично.

— Две секунды,— ответил Фляш.

— Прикрепи кусок шнура с запасом секунды полторы на прицел и поджигай,— сказал я Джемсу.— Цельсь в орла — со сцены он виден. А промахнешься...

— Исключено,— возразил Джемс.

— Приводи себя в порядок, мэр,— сказал Фляш, по-видимому считая, что вопрос о взрыве исчерпан.— Ты будешь с олдерменами в зале. Завидую.

— А ты?

— Ну, у меня дел много.— Фляш спрятал часы.— Учти, что омнибусы Мартина уже выехали,— сказал он мне и подмигнул Томпсону.— Получится у него, как ты думаешь?

— Как у первой скрипки в оркестре. Она никогда не фальшивит.

А я сомневался. Вдруг случится что-нибудь непредвиденное, чего не могли предполагать ни точный, как хронометр, Фляш, ни самоуверенный Томпсон?

И случилось.

Я прибыл за четверть часа до банкета, привязал лошадь к стойлу, вынесенному на обочину, и поискал глазами Мартина.

— Я здесь,— сказал он, выходя из-за экипажей, вытянувшихся на квартал вдоль тротуара.

Он был красив и величествен, как римский легионер, напяливший на себя вместо доспехов серую куртку с золотым галуном. Кучера не обращали на нас никакого внимания — они уже давно угощались, опережая своих господ.

— Где люди? — спросил я его.

— Размещены у входов. Пришлось срочно добывать мундиры патрульных — форма стражников не годилась. Ты знаешь, где артистический?

Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я не повторял инструкций Мартину: с таким товарищем это было не нужно.

— Встретимся в зале! — крикнул он вдогонку, совсем как важный полицейский гость, торопившийся на банкет.

Я тоже торопился. Гостей не разглядывал — не интересовался. Людей своих не искал — они сами нашли меня, разместившись у входа, как встречающая начальство охрана. А где же действительная охрана?

— Мы ее сняли, лейтенант, — откозырнул мне один из гвардейцев Мартина.

— А почему не требуете пропуска? — строго спросил я, вспомнив о красной фишке.

— Мы вас и так знаем, комендант.

То были «мои» заключенные. Только худоба отличала их от подлинных полицейских — золотогалунные мундиры выглядели как на параде. И когда только успели их подогнать! Да и походка у моих «полицейских» была свободной и легкой, а не усталой и настороженной, как в Майн-сити. Один за другим проскользнули они за кулисы, сняли вахтеров, одних связали, других втолкнули в пустые артистические уборные, заняли все проходы и лестничные клетки. Пробегавшие мимо актеры даже не замечали нас — настолько мы были естественны, как фон этого триумфального сборища. А банкет уже начался. Со сцены доносилось мелодичное бренчание гитары и бархатный голос Тольки, сопровождаемый бурно подтягивающим залом:

— «...пригласи к столу... золотой галун... отведет от тебя беду! А уйдешь от пуль... золотой патруль... достанет тебя в аду!»

Я высунул нос из-за кулисы взглянуть на популярного полицейского шансонье — давно уже мы с ним не видались — и подмигнул: «Сейчас начнется, Толь. Мы уже здесь».

И тут произошло нечто никем не предвиденное.

Едва стихли аплодисменты, Толька снова вскочил, шагнул к авансцене и запел так звонко, что, казалось, зазвенели ответно бокалы в зале:

— «Мой последний тост, золотой патруль... твой последний пост, золотой патруль... твой последний час, твой последний миг... твой последний вздох и последний крик!»

Я замер. Что-то дрогнуло во мне. Зал притих. Я видел только, как рванулся из-за стола Корсон Бойл.

Толька начал операцию. Преждевременно начал, стервец, но медлить уже было нельзя.

— Поджигай! — бросил я сквозь зубы стоявшему рядом Джемсу.

Джемс, как мне показалось, неторопливо, с какой-то элегантной пластичностью поджег кусок шнура на стреле, натянул тетиву и, почти не целясь, пустил стрелу. Полторы или две секунды прошло, не знаю, но золотой орел на барьере ложи вспыхнул ядовито-зеленым пламенем. А в следующее мгновение грохнул взрыв.

Зал тотчас же заволокло дымом. Кто-то вскрикнул. Зазвенело сброшенное со столов серебро. Зашумели голоса. Загромыхали стулья.

Я свистнул в четыре пальца, как свистел в детстве, и выбежал на просцениум, сопровождаемый автоматчиками.

— Смирно! — крикнул я.— Смирно!

Кто-то сел, другие, не обращая внимания, пробирались к выходам.

— Зал окружен,— сказал я уже тише.— Садитесь. В стоящих будем стрелять.

Стоявшие плюхнулись куда попало. Я всматривался в рассеивавшийся дым над ложей: не мелькнет ли кто?

— Что происходит? — спросили в зале.

— Государственный переворот,— спокойно ответил я.— Сдать оружие.

Я был убежден, что слушавшие меня так ничего и не поняли, кроме того, что со всех сторон глядели на них угрожающие дула автоматов. Но автоматы эти направлялись людьми в таких же расшитых мундирах, в какие было облачено и большинство находившихся в зале гостей. Мне показалось вдруг, что среди них, поближе к развороченной взрывом ложе, мелькнуло улыбавшееся лицо Мартина.

— Дон! — позвал я.

— Здесь,— ответил он весело.

— Взгляни, жив ли Бойл?

Мартин перешагнул обломки барьера, осторожно обошел остатки того, что еще несколько минут назад было банкетным столом и правительством, и отрицательно покачал головой.

— Тут сам черт не разберется. Сплошной гуляш по-венгерски. Но, по-моему, Бойла нет.

— Отбирай оружие! — крикнул я.— Никого не выпускать! Еду в штаб.

— Я с тобой,— тихо, но твердо сказал Толька Дьячук. Он воинственно помахал пистолетом.

— Откуда? — удивился я.— Ты же стрелять не умеешь.

— Научился,— ухмыльнулся он и заговорщически добавил: — А он сбежал, между прочим.

Я все понял. Только губами пошевелил:

— Когда?

— Еще до взрыва. Я видел.

Если Бойл бежал живой и невредимый, я знал, где его искать. И знал, что грозило Городу, если мы и на этот раз промахнемся.

Глава XLIII

АТОМНАЯ ПЫЛЬ

Мы нашли верховых лошадей, привязанных у главного входа. Тотчас же нас окружили полицейские — «наши» полицейские. Я предъявил фишку, а Тольку и так узнали — по портретам на стендах.

— Бери мою,— сказал я ему,— она смирная и быстроногая.— А сам, мельком оглядев привязанных лошадей, выбрал себе гнедую поджарую кобылу с длинными ногами и подстриженной гривой.

Сначала она рванулась, почуяв чужого, но тут же пошла, когда я взял поводья. Если Бойл и опередил нас, то на немного — можем догнать. Но, кроме нас, на улицах, ведущих к Би-центру, не было ни прохожих, ни всадников — только посты на перекрестках. Я проезжал мимо, держа на виду красную фишку. Иногда вслед стреляли, но, к счастью, мимо. Я больше боялся лучников: стрелы этих «робин гудов» настигали вернее пуль. Но за четверть часа езды мы не встретили ни одного в ковбойке и в шортах, а на плац Би-центра нас пропустили, ни о чем не спросив.

— Почему вы не задерживаете? — удивился я.

— Выходящих задерживаем, а вход бесплатный, — засмеялись в ответ.

«Просчет, — подумал я. — Так и прошел Корсон Бойл. Вход бесплатный. Но Бойл заплатит, только бы успеть!»

— Кто-нибудь входил сегодня?

Подтвердили, что входил. Даже бежал. Когда? Минуты две-три назад. Побежали и мы с Толькой. Он даже на кривозеркальные стены не успел подивиться.

Контрольный зал был открыт. Но поверхности его уже не мерцали, а матово-ровно поблескивали. Не то замутненное стекло, не то металл. Посреди зияла фиолетовая щель, знакомый газированный вход в неведомое. Может быть, все-таки работает нуль-проход?

— Лаборатория поля, — громко назвал я, повторяя Зернова.

Ничего не произошло. Холодно поблескивали стены. Беззвучно клубился лиловый дымок.

— Зернов! — крикнул я. — Борис!

Никто не ответил. И ничто не изменилось вокруг. Тогда мы ринулись сквозь фиолетовую щель. Вспомнились приключения в континууме. Что-то будет?

Ничего удивительного. Из лиловой дымки мы выскочили в такой же бесцветный матовый коридор, светлый, но без видимых источников света. И без углов, как внутренность трубы большого диаметра и непонятного протяжения. Непонятного потому, что труба загибалась то вправо, то влево, то скручивалась винтом, то завивалась кольцами, словно вы шли внутри сброшенной шкуры гигантского питона в далекие, третичные времена.

Самое любопытное были миражи. Они возникали неожиданно и таяли по мере нашего продвижения вперед. Призраки больших помещений загадочных металлических форм, аппаратов неведомого назначения и людей в белых халатах, что-то записывающих, просматривающих, вычисляющих. Опять вспомнился континуум с его проницаемостью замкнутых поверхностей. Нет, здесь это была не проницаемость, а нечто совсем иное. Но нечто иное было и в континууме, когда со всех сторон, словно из другого измерения, смотрело на нас многократно повторенное лицо Мартина. Может быть, здесь мы двигались по какой-то четвертой координате, подобно жителю двухмерного про-

странства, свернувшего в трехмерное и вдруг увидевшего со стороны свой плоскостный мир. Может быть, и мы смотрели здесь тоже «со стороны», с какой-то неведомой «стороны», заключенной в эту бесформенную трубу?

Внезапно она расширилась, но уже не призрачно, а вполне натурально в замкнутый лабораторный зал с бегущими кривыми по стекловидным экранам и пультом управления, за которым полицейский в белом халате пристально рассматривал отрезок прозрачной перфорированной ленты. Услышав нас, он поднял голову и долго-долго удивленно моргал, прежде чем спросить:

— Откуда вы? Переход блокирован.

— Телепортация блокирована, — сказал я. — Обычные проходы свободны.

— А видимость?

— Не знаю.

Он полузакрыл глаза, вероятно пытаясь мысленно вызвать ту или иную лабораторию, но никаких изменений кругом не возникло.

— Вы правы, — проговорил он, явно недоумевая. — Не понимаю, что случилось. Они даже видимость сняли. Вам куда?

Я объяснил.

— Придется ножками, как пришли, — засмеялся он. — Шагайте прямо в эту лиловую дырку. Пол тронется — не упадите. На светлом табло выжмите двойку. Там все пять, начиная с единицы.

— Этажи? — спросил я.

— Нет, плоскости. Лаборатория Зернова на второй плоскости.

Мы, не долго думая, последовали его совету. Но что отличало плоскости от этажей, не понял ни я, ни тем более Толька, тенью следовавший за мной и молчавший, как пионер в церкви: все кругом ему чуждо, но удивляться и осуждать окружающее он не решается. Мысли Тольки были написаны у него на лице: зачем городить газовые проходы и трубы, а не построить нормальные коридоры и лестницы? Но разъяснять я не стал. Дьячук не был с нами в континууме, а это, в сущности, был второй континуум, только поменьше и с менее ошеломлявшими чудесами. Я своевременно выжал двойку на световом табло,

но ничего не произошло: пол скользил, мы двигались по-прежнему в призрачном мире незнакомой и непонятной техники, то возникавшем из тумана, то уходившем в туман и чуточку искаженном в пропорциях, словно невидимое стекло, сквозь которое мы смотрели, все время кривилось и выгибалось. Характерно, что туман повсюду был фиолетовым, а не багровым, не алым, не малиновым. В нем не было ни одного оттенка красного — катализатора всех атомных превращений. Видимо, фиолетовый, со всеми его оттенками, газ служил иным целям — сверхпроводимости, видимости, брешам в силовом поле, геометрическим метаморфозам. Впрочем, я это лишь предполагал, взирая на окружавшие нас качественно иные, чем на Земле, пространственные структуры. Я не мог ничего объяснить, не имея экспериментальных данных. Просто говорил себе: может быть, так, а может быть, этак.

Вдруг движение наше изменило направление. Мы устремились вниз, как на лифте.

— Падаем? — крикнул я.

— Подымаемся, — сказал Толька.

— С ума сошел! — Я недоуменно осекся. — А ведь верно — подымаемся.

Толька отрицательно мотнул головой:

— Теперь падаем.

Мы по-разному воспринимали движение. Почему, не знаю. Может быть, мой вестибулярный аппарат иначе устроен? Но размышлять было некогда. Нас швырнуло в лабораторный зал навстречу Зернову. И зал был не призрачный, а реальный, и Зернов тоже. Он подхватил меня под руку, кивнул Тольке и повел нас мимо огромных выпуклых экранов, похожих на телевизорные, на которых стереоскопически наглядно воспроизводились сложные цветовые формы — что-то напоминающее западноевропейский «поп-арт». Я невольно, как говорится, разинул рот.

— Скорей! — рванул меня Зернов. — Не задерживайся!

— Не понимаю, — сказал я, кивнув на экраны.

— Как раз в этом ничего принципиально нового. Структура молекул, воспроизводимая пучками нейтронов. В Москве уже опыты делаются. Пошли.

— Почему спешка? — спросил я.

— Потому что он только что прошел над нами.

— Где?

— В третьей плоскости. Так мы его не догоним. Видишь, труба разветвляется?

Разветвления я не увидел — только в лиловом тумане змеились белые и желтые струи, тончайшие, будто лазерные световые пучки.

— Как в континууме,— сказал я.

— Нет,— отмахнулся Зернов,— там химический синтез, здесь — просто индикаторы.

Действительно, белые и желтые нити повернули в разные стороны, как бы приглашая нас последовать по тому или иному пути.

— Желтый — кратчайший,— сказал Зернов,— но он приводит к автосбрасывателю. Помнишь экран с надписью «Дэйнджер!»? Дальше прохода нет — толко телепортация. А поскольку телепортация блокирована, у него только один ход — назад!

— А белый?

— Белый — длиннее. Если он выберет белый, мы его перехватим. Но может выбрать и желтый — карты у него нет. Думаю, нам следует разделиться.

— А у тебя есть оружие? — спросил я.

Зернов растерянно улыбнулся.

— Возьму с собой Толю — у него пистолет.

— Стреляйте не раздумывая. Без гуманностей!

— Ай-ай-ай, Жан Марэ преследует Фантомаса!

Это — Толька. Но я уже не видел его: я бежал в проходе, не отклоняясь от желтых струй. Та же труба, те же путаные, непонятные повороты. Мне показалось вдруг, что я взбираюсь по винтовой лестнице, догоняя мелькающего наверху человека. Вот он темной тенью возник надо мной справа, переместился налево, исчез в завитке невидимого винта и снова возник, повторяя движение по убегающей кверху спирали. Я ускорил шаг, но тень впереди даже не обернулась: в этом ракурсе, вероятно, я был невидим. Внезапно она исчезла. Куда? Я тотчас же понял это, когда меня швырнуло в знакомое замкнутое пространство с черно-желтым экраном. Знакомые буквы английской надписи вспыхивали и угасали: ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ!

Человек впереди меня замер: он знал это место и шагнул назад. Двигался он, несмотря на тучность, легко и неслышно, как зверь кошачьей породы.

— Бойл! — позвал я.

Он обернулся.

— Ано?!

От изумления он даже растерялся, чего с ним никогда не случалось. Любопытно, что ни он, ни я не схватились за оружие — это произошло позже, а сейчас мысль об этом никому из нас не пришла в голову. И первые наши слова только обнаружили обоюдную неловкость.

— Я тебя искал,— почему-то сказал Бойл.

— Зачем? — Мне было совершенно неинтересно зачем, но я спросил.

А он ответил:

— Потому что ты изменил. Раньше я только догадывался. Теперь знаю.

Ну и пусть знает! Не все ли равно! Мы с ним явно не о том говорили.

— Вы не пройдете, Бойл,— сказал я.

Смешок в ответ.

— Через тебя, мой милый.

Я положил пальцы на спусковой крючок автомата. Он тоже.

— Ты не осмелишься выстрелить, Ано.

— Дуло вашего автомата опущено. Если оно шевельнется...

Дуло не шевельнулось. А Бойл сказал нарочито равнодушно:

— Зачем нам умирать обоим? Пропусти меня, и разойдемся... живыми.

Вспомнились слова из Толькиной песенки: «Первый успех... первым успеть... точно нажать курок». Но я медлил. Как трудно все-таки убить человека!

— А чего ты хочешь? — вдруг спросил Бойл.

— Бросьте автомат и шагайте к выходу.

— Оглянись назад. Мы не одни.

— Старый трюк. Не двигайтесь — выстрелю.

— Я первым.

— Сомневаюсь,— сказал рядом знакомый голос.

Но я даже не повернул головы, не спуская глаз с руки

Бойла, лежавшей на спусковом крючке. А у него почему-то задрожали губы, отвисла челюсть и разжавшиеся пальцы выпустили автомат, бесшумно коснувшийся пола. Я понял, почему так неслышны были наши шаги: пол, или, вернее, плоскость под ногами поглощала все звуки.

— Вы были правы, комиссар, мы не одни, — сказал голос.

Я взглянул и увидел свое повторение с автоматом, так же прижатым к бедру. Анохин-бис в таком же полицейском мундире стоял в двух шагах от меня и улыбался. Бойлу, вероятно, показалось, что я раздвоился. Он закрыл лицо руками и снова отнял их.

— Неужели схожу с ума? — прошептал он.

— Вы кончите иначе, — сказал мой альтер эго. — Отступайте спокойно, не оглядываясь. Вот так.

Бойл, как загипнотизированный, попятился назад, не отводя глаз от моего двойника.

— Еще, — сказал тот.

Бойл сделал шаг и исчез, словно провалился сквозь землю.

— Только не в землю, а в люк, — поправил меня мой спаситель. — Видишь, экран погас.

Экран действительно сплошь почернел, как аспидная доска. Ядовито-желтая надпись, предупреждавшая об опасности, исчезла.

— А он? — вырвалось у меня.

— Его уже нет, — сказал Анохин-второй. — Еще секунду назад это был сгусток атомной пыли. А сейчас и она рассеялась.

Глава XLIV

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Не очень научно, — объявил я.

— Приблизительно, — сказал он миролюбиво, — мы ведь не физики.

— Я думал, ты здесь кое-чему научился. Были шансы.

— А я не помню, чему я здесь научился. Я уже

говорил тебе: не помню, — повторил он. — Сейчас я — это ты со всем объемом накопленной тобой информации. Я выиграл скачку в гандикапе, я поступил в полицию, я был комендантом Майн-сити и сидел у телефона в повстанческом штабе. А что я делал в действительности, не знаю. Я даже не знаю, как меня зовут, есть ли у меня семья, чем занимаюсь, кого я люблю и кого ненавижу.

— Вернешься в Город — узнаешь. — Мне захотелось сказать ему что-нибудь приятное, но я никак не мог найти ни подходящего тона, ни подходящих слов.

— Спасибо, — сказал он, сразу прочитав мои мысли. — Я и так все понимаю. Вероятно, я не сделал здесь столь блестящей карьеры.

— Думаю, что ее обусловили не мои способности.

— Обстоятельства. Не считай себя пешкой на шахматной доске, на которой кто-то разыгрывает партию.

— Но партия-то играется. Когда мне плохо, появляешься ты.

— Только для того, чтобы увеличить объем воспринятой через тебя информации. Кроме того, вас хотят сохранить. Вероятно, твоя дуэль с Монжюссо в ложной жизни, спроектированной режиссером Каррези, тоже чему-то научила.

— Конечно, Бойл мог выстрелить первым.

— Не мог. Я знал, чем все это кончится.

— Запрограммированное знание? — Я не мог удержаться, чтобы не подчеркнуть своего человеческого, свободного от каких-либо программ естества, но он принял это как должное.

— Как всегда при наших встречах: все знаю — и что было, и что будет.

— А что будет?

— Чьи-то рецепторы снимут с меня накопленную тобою память и вернут мою.

— Зачем им понадобилась моя дилетантская память, когда у них есть второй Зернов?

Он посмотрел на меня так, словно хотел спросить: зачем спрашивать, когда у самого готов тот же ответ? Но все же ответил:

— Вероятно, мощность рецепторов ограничена. Один канал связи, и этот канал — ты. Или я, — засмеялся он

и добавил: — А сейчас этот канал начнет действовать.

Я не понял.

— А что тут понимать, когда все ясно, — сказал он. — Возвращаешься домой, на дачу. Дочка, дачка, тишь да гладь, — засмеялся он, — а тянет. Родина. Даже меня тянет — теперешнего. Помнишь лужайку в лесу, где вы очутились после дачного ужина? — спросил он без всякой связи с предыдущим. — Узнаешь, если увидишь опять?

— Допустим, — сказал я.

— Оглянись.

Я оглянулся. Вместо фиолетовой дымки, окружавшей замкнутое ею пространство, я увидел поваленное дерево, на котором сидели тогда Зернов и Толька, и лесную чащобу кругом с белесыми пятнами просвечивающего неба.

— Прыгай, Юрочка. Проститься еще успеем. — Мой дубль почему-то спешил. — Иди, иди. Земля близко.

Я сделал шаг вперед и остановился. Что-то во мне воспротивилось.

— Не могу же без них, — сказал я.

— Они появятся одновременно с тобой. Расположитесь примерно так же, как очнулись в лесу, сумеете? Это важно для того, чтобы вернуть вас на Землю.

— А как? — спросил я. — Телепортация?

— Неважно, как это называется. Поспеши. Не задерживай их и меня. Потребуется еще некоторое время, чтобы резюмировать все, что вы поняли. Моя информация должна быть полной и законченной.

— Ты с нами?

— Незримо. Как в Гренландии, помнишь? — Он подтолкнул меня в спину, и я очутился в лесу.

Мой двойник и проходы Би-центра исчезли.

Но я был не один. На стволе поваленного дерева сидели Зернов и Толька. Мартин стоял рядом со мной, растерянно озираясь. Должно быть, дождь прошел: было тепло и влажно. И упоительно пахло густым настоем из липы, каштана и молодой хвои.

— Где это мы, мальчики? — Мартин все еще недоуменно оглядывался.

— На последней станции перед возвращением на Землю, — сказал я.

Я-то знал больше, чем все они, вместе взятые.

— Кто это тебе сказал?

— Анохин-бис.

Я перехватил внимательный взгляд Зернова.

— Опять? — спросил он.

— В последнюю минуту нашей милой беседы с Бойлом.

— Ты его догнал? — вскрикнул Толька.

— Догнал.

— И что? Он сопротивлялся?

— Я уже думал, что отдаю богу душу. — Говоря, я так и видел перед собой автомат Корсона Бойла и его дрожащие пальцы на спусковом крючке. — Правда, в рай или в ад мы бы отправились вместе, но, откровенно говоря, меня это не утешало. Он бы не промахнулся.

Но Зернова не интересовало сослагательное наклонение.

— Значит, никто не стрелял? — уточнил он.

— Никто.

— Значит, он жив?

Я вздохнул: мне не хотелось рассказывать о конце Бойла.

— Где же он?

Все глядели на меня, ожидая ответа.

— Где-то вместе с радиоактивными осадками. Провалился в люк.

Зернов свистнул.

— Понятно. Потому мы и возвращаемся. Ты точно знаешь?

— Абсолютно. Сейчас они принимают всю накопленную нами информацию. Мой дубль спешил. Вероятно, через несколько минут мы будем дома.

— Где?

— На даче за ужином.

— Значит, нас еще задерживают на всякий случай, если что-то в информации, воспринятой их рецепторами, окажется непонятно или недостаточно, — задумчиво проговорил Зернов. — Последняя нить контакта. Замыкающая эпилог некой комедии ошибок. Или трагедии, если хотите.

— Чьих ошибок? — спросил Мартин: он все еще ду-

мал о своих переодетых в полицейские мундиры повстанцах, оставленных им в зале ресторана «Олимпия».

Зернов его понял.

— Нет, Мартин. Там все безошибочно. Люди хотели жить по-человечески и добились этого. Я говорю о розовых «облаках». Благие намерения их несомненны так же, как и ограниченность мышления. Они действовали сообразно своим представлениям о жизни. Но это качественно иная жизнь. Они не смогли или не сумели понять это качественное различие, отделить гипотезу от фактов, строить ее на основании фактов, а не подгонять факты под основание. Они создали разумный человеческий мир по виденным ими земным образцам, но не поняли несправедливости воспроизведения классовых отношений. Они создали деньги как атрибут земного быта, но истинной их роли не поняли. Два их великих деяния — континуум и Вычислительный центр, — как два сказочных чуда: скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. В социалистическом обществе такая скатерть-самобранка накормила бы миллион миллионов, а сапоги-скороходы в два шага сократили бы расстояние, отделяющее один научный уровень от другого. Но великое благо стало великой бедой. Скатерть-самобранка обогатила одних и поработила других, а подкованные свинцом сапоги-скороходы на столетие задержали научный прогресс: столпам здешнего общества он был не нужен. Быть может, то, что я говорю, не совсем понятно качественно иной форме мышления, но ошибки очевидны, и корень их именно в недопонимании человеческой природы, человеческого мышления и человеческих отношений. И еще: одна цивилизация лишь тогда превосходит другую, когда превосходит ее не только технически, но и духовно. А духовного превосходства я, честно говоря, не вижу. Совершить более чем евангельское чудо, мгновенно насытить не тысячи, а сотни тысяч людей и лишить эти сотни тысяч их земной памяти, огромного духовного богатства, накопленного за несколько тысяч лет человечеством, — это проявление не духовного превосходства, а духовной узости. Что делать дальше...

Зернов оборвал речь и задумался, словно подыскивал какие-то аргументы в памяти, а я услышал:

— Я знаю рецепт. Ты говорил о нем еще в континууме. Но так ли должен развиваться эксперимент?

— Ты уже заговорил их языком. «Эксперимент»! Мы не морские свинки.

— Я уже не ты. Я — канал связи. Как сказал Зернов, замыкающая контакта.

— Ты все слышал?

— Через тебя. Можешь не пересказывать. Ваш рецепт — невмешательство в эволюцию.

— В революцию.

— Называй как хочешь. Пусть Зернов определит дальнейшие формы эксперимента.

— Чего он хочет? — спросил Зернов.

— Ты догадался?

— Нетрудно. Отсутствующий вид, и губы шевелятся. Уже был опыт.

— Они хотят, чтобы ты высказал свое мнение о дальнейшем развитии эксперимента.

— Прежде всего не называть это экспериментом. Исключить это понятие из отношений обеих форм жизни. Никаких экспериментов! Создание — пусть неземным, не эволюционным путем — высшей стадии белковой жизни не отменяет дальнейшей ее эволюции. И никакого вмешательства! Любое вмешательство извне будет ее тормозом или гибелью. Люди этого мира сами найдут разумный путь к счастью. Может быть, «облакам» непонятно слово «счастье». Назовем его оптимальным вариантом благоденствия. Не совсем точно, но «облакам» будет понятно. Так вот, этот оптимальный вариант теперь найдут сами люди. Начало уже положено. Они же сумеют наиболее целесообразно использовать и два подаренных им сказочных чуда. Спроси своего двойника, помнит ли он заключительные слова писателя на Парижском конгрессе о встрече двух цивилизаций, взаимно обогащенных духовными и техническими контактами?

— Можешь не спрашивать, — услыхал я голос своего невидимого собеседника. — Хочешь, повторю?

— Не надо. А ты хотел бы сохранить свою земную память?

— Конечно. Я бы и знал больше, и мыслил шире.

— И тебе бы не мешало мое существование?

— Где-то в другом мире? Абсурд. И я бы, вероятно, изменился, и похожесть бы наша в чем-то исчезла.

— Мне ты тоже не мешаешь. Мне даже приятно, что ты есть.

— Долго ты шептать будешь? — взорвался Мартин. — Пошли его к черту. Хотят нас возвращать — пусть возвращают. И так три месяца потеряли. Я уже безработный в Америке.

Я услышал тихий смех. Его смех. Хотя это и было повторением гренландского опыта, слышать смех человека только в сознании казалось тревожным и странным.

— Скажи Мартину, что три месяца легко могут превратиться в три часа.

— Что-то загадочно.

— Узнаешь, когда очутишься у себя на веранде. Кстати, не выходи на улицу.

— Почему?

— А погляди на себя...

Я поглядел. На мне был серый мундир, расшитый где только можно золотым галуном. В таком же мундире был и Мартин, переодевшийся для операции в Си-центре и ресторане «Олимпия». Зернов в белом халате напоминал парикмахера или врача из райполиклиники, а Толька в смокинге и галстуке черной бабочкой смахивал на официанта из интуристской гостиницы.

— Что разглядываешь? — обиделся он.

— Любуюсь, в каком одеянии мы вернемся на Землю.

Все посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Особенно ты хорош, — сказал Зернов. — Совсем швейцар из «Националя».

— А ты? Побрить? Постричь? Под бокс или полечкой?

— И я в мундире, — растерялся Мартин. — И переодеться не сможем. Может, куртку выбросить, а галун со штанов спороть?

— Не надо, — услышал я опять. — Возьмите с собой как сувениры. Поездка не повторится.

— Значит, расстаемся?

— Увы, да.

— И больше не встретимся?

— Кто знает? Может быть, встретятся твои внуки и мои правнуки. Здесь время течет иначе, чем на Земле.

— Что ж, прощай. Может быть, это и к лучшему. Чудеса должен творить сам человек, а не мучиться над их объяснениями.

— Все, что теоретически возможно, обязательно будет осуществлено на практике, как бы ни были велики технические трудности. Это Кларк. Вместе читали.

— Должно быть. И Уэллса тоже. У меня сейчас на душе так же горько, как у мистера Барнстепла перед возвращением его из Утопии.

— А помнишь, о чем его попросили? Положить цветок на дорогу, где проходил стык двух миров.

— Я положу ветки.

— Нет, книжки. У тебя есть на даче какие-нибудь справочники, учебники?

— Что-то, помнится, есть.

— Положи их стопочкой в центре стола. Мне они пригодятся, даже если вернется память. А если нет, я переведу их для моих соотечественников. Пусть просвещаются... — Голос его постепенно слабел, как будто он уходил по дороге. — Приготовься. Будет шок. Да не пугайся — коротенький. Секунда, две...

— Приготовьтесь. Возвращаемся, — повторил я вслух и провалился в бездонный черный колодец.

Глава XLV

СНОВА НА ДАЧЕ

Шок был действительно пустяковый. Я не почувствовал ни тошноты, ни головокружения, ни слабости. Просто открыл глаза навстречу свету. То был предсумеречный

июньский свет, когда солнце еще не опустилось за горизонт и золотым шаром висело над рощицей.

Я сказал — рощицей, потому что галльский лес исчез. Мы сидели на той же дачной веранде, где ничто не изменилось с тех пор, как мы ее вынужденно покинули. Стояли все те же бутылки с соком и минеральной водой, а на тарелках по-прежнему теснилась всякая всячина: недоеденные шпроты, консервированная курица и крутые яйца — все, что может извлечь из холодильника муж, временно отказавшийся на холостяцком положении.

Первым обратил на это внимание Толька Дьячук:

— Три месяца не были, а ничего не протухло.

— И не засохло.

— Даже хлеб свежий.

— Может, кто другой ужинал? — предположил Мартин. — Жена-то небось вернулась.

— Ирина! — позвал я.

Никто не откликнулся.

— А хлеб, между прочим, наш, — сказал наблюдательный Толька. — Ситнички. А вот это я надкусил. Определенно.

Мы переглянулись. Я вспомнил шутку дубля о том, что три месяца могут обернуться тремя часами. А если это была не шутка?

— Который час? — вдруг спросил Зернов.

Мы с Мартином почти одновременно откликнулись, взглянув на ручные часы:

— Четверть пятого.

— Ведь это их часы, — сказал Толька. — Девятичасовые.

Я оглянулся на тикавшие позади ходики. Они шли, как и до нашего исчезновения с веранды, и часовая стрелка на них ползла к девяти.

— Сколько показывали наши, когда мы очутились в лесу? Кто помнит? — снова спросил Зернов.

— Шесть, кажется.

— Значит, прошло всего три часа.

Все снова переглянулись: известное мне для них было новой тайной. А я вдруг вспомнил о просьбе моего аналога, последней прощальной просьбе его, и вопрос о времени утратил для меня интерес. Я молча вскочил и бро-

сился в комнаты к этажерке с книгами. Их было немного — случайно или намеренно захваченные при переезде сюда из московской квартиры. Кое-что было у Ирины: она вела здесь какой-то кружок. Я нашел учебник политэкономии, философский словарь, «Государство и революцию» — драгоценность для каждого, если только Юрка сумеет перевести Ленина, однотомную энциклопедию — незаменимое пособие для возвращения памяти — и даже справочник кинолюбителя с подробными чертежами популярных съемочных и проекционных камер; может быть, Анохин-бис завоюет репутацию братьев Люмьер; в лаборатории Би-центра ему в два счета сконструируют и камеру, и проектор.

С такими мыслями я выложил стопочку захваченных с этажерки книг в центре стола, сопровождаемый недоуменными взглядами и без того недоумевающих спутников.

— Это зачем? — не выдержал Толька.

— Кто читал «Люди как боги» Уэллса? — вместо ответа спросил я.

Зернов читал.

— Помнишь цветок, который положил Барнстепл на стык двух миров? Вместо цветка я кладу книги.

— А ты уверен, что это стык?

Я объяснил.

— Дракула. Бонд. Фантомас. Чушь зеленая! — взъярился Толька. — Мы уже на Земле. Чудеса кончились. Вы лучше мне втолкуйте, как это три месяца превратились вдруг в три часа? Я что-то сомневаюсь, хотя хлеб я и сам надкусил. А он свежий, ничуточки не зачерствел.

— А вдруг это не ты надкусил? Пришли гости к Ирине и ушли гулять.

— Не приехала еще твоя Ирина. Это наш ужин. Ничего не понимаю, — вздохнул Толька.

Зернов что-то чертил на листке из блокнота.

— Твоя гипотеза, Юрка, кажется единственно верной, — сказал он. — Спиральное время. Смотри. — Он показал нам вычерченную спираль, похожую на пружину: витки ее почти касались друг друга. — А вот это наше пространство — время. — Он провел касательную к виткам спирали. — Геометрически это движущаяся точка,

каждый виток спирали касается ее через определенный промежуток времени, допустим через час. А каждый оборот витка — месяц. Вот вам и вся арифметика: три часа — три месяца.

Я вспомнил свой разговор с дублем в континууме.

— По этой арифметике их десять лет — это наши пять суток. А у нас три года прошло. Не получается.

— Предположим иную спираль. Скажем, конусообразную. Чередование конусов. Основание одного переходит в основание другого, стыкующегося вершиной с третьим. И так далее без конца.

— Значит, крупные витки — это их годы, может быть, столетия, а у нас — часы. Мелкие витки — их часы, а у нас — минуты. На стыках вершин время течет одинаково. Так?

— Можно предположить и такую возможность.

— Только как же ты проведешь касательную?

Так сбить можно было первокурсника, но не Бориса Аркадьевича.

— А если касательная зигзагообразна, — мгновенно нашелся он, — или образует синусоиду? Можно допустить даже топологическую поверхность касания — мы видели такие допущения в архитектуре Би-центра...

— Снаружи я не разглядел, — вмешался Толька, — а внутри верно. Еще когда мы с Юркой топали по этим проходам, я подумал об их топологических свойствах.

— Вы еще «связок» не видели. Телепортация была выключена.

— А «призраки» лабораторий, вывернутые наизнанку, как носки после стирки. Уже тогда можно было допустить их «многосвязность»...

Они говорили по-русски, а Мартин заинтересовался:

— О чем они, Юри?

— Высшая математика. Вроде египетской клинописи. Не по нашим зубам, — отмахнулся я, но в разговор все же включился: — А сюда нас перебросили тоже по законам топологии? Может быть, объясните простому смертному этот транспортный вариант?

— Объясни кошке таблицу умножения, — хихикнул Толька Дьячук. — Ты же гуманитарий, Юрочка. Тебе нужна ветка сирени в космосе.

Зернов только посмотрел на него, и шансонье, кашлянув, мгновенно умолк.

— Топология, друзья (Зернов перешел на английский специально для Мартина), это область геометрии, рассматривающая свойства различных пространств в их взаимных сочетаниях. Это могут быть свойства и деформируемых геометрических фигур, вроде архитектуры Би-центра, и взаимно связанных космических пространств, если их рассматривать как геометрические фигуры. Рассуждая топологически, можно предположить, что от покинутой нами Земли-бис нас отделяют не парсеки, а только «связки», создающие своеобразную поверхность касания. Вероятно, такая поверхность включает весь земной шар с его биосферой, а уж точку на карте можно выбрать любую — твоей даче попросту повезло: она собрала всех нас.

— А как они узнали об этом? — хмыкнул Толька. — Опять телепатия? Через второго Анохина?

— А как они нашли нас в Париже? Как наблюдали за нами во время опытов? И как вообще они творили свои божеские дела, повергая в смущение всех служителей господа бога на земном шаре? Загадка, Толя, не для наших умишек. Кстати, чего хочет от нас этот человек у калитки?

Я спустился в сад и узнал почтальона. Он держал запечатанную телеграмму, но почему-то не отдавал ее. Великое изумление читалось на его лице.

— Десять минут назад проходил, смотрел, кричал — никого у нас не было. Обратно по той стороне шел. Остановился у акимовского забора, глянул к вам — опять никого. Ну, передал заказное, расписались. Минуты не прошло. А у вас на терраске полный парад. Ни машин, ни людей кругом не было. Со станции не время — поездов сейчас нет. Откуда же вы взялись? С неба, что ли?

— Съемку ведем, — мрачно придумал я: не рассказывать же ему обо всем. — Видишь, мундир на мне? А отсвет зеркал создает невидимость.

— А где же аппарат? — все еще сомневался он.

— Скрытой камерой снимаем, — отрезал я. — Давай телеграмму.

Ирина телеграфировала, что возвращается из командировки вместе с академиком.

— Ну что? — хором спросили меня на веранде.

— Приезжают.

Но поджидавших меня интересовало другое.

— Что ты сказал этому типу?

— Соврал что-то.

— Вот и придется врать, — угрюмо заметил Толька. — Кто ж поверит? Липа. В институте меня засмеют или выгонят.

— В газету, пожалуй, дать можно, — задумался Мартин: думал он, конечно, об американской газете и оценивал перспективы возможной сенсации. — Возьмут и напечатают. Даже с аншлагом. А поверить — нет, не поверят.

Говорили мы трое, Зернов молчал.

— А все-таки жаль было расставаться с этой планеткой, — вдруг произнес он с совсем не свойственной ему лирически-грустной ноткой. — Ведь они нас обгонят. С такими перспективами, как в Би-центре...

— Нефти у них нет, — пренебрежительно заметил Мартин.

— И кино, — сказал я.

— Кино — чепуха. С безлинзовой оптикой они создадут нечто более совершенное. И нефть найдут. Ведь они моря не видели. Сейчас у них начнется эпоха открытий. Возрождение в современном его преломлении и промышленная революция. Время Колумбов и Резерфордов.

— А я бы совсем там остался, — сказал Толька. — Лишь бы не песни петь. Для настоящего дела. Метеослужбе научил бы для начала. А там, смотри, до прогнозов бы дотянулись.

Он рассчитывал на поддержку Зернова, но именно Зернов его и добил:

— Нет, Толя. Долго бы вы там не прожили. Ни вы, ни мы. Не такого мы рода-племени. Похожие, но другие.

— Что вы меня разыгрываете, Борис Аркадьевич, — обиделся Толька. — Три месяца бок о бок с ними прожили. Из одной миски, как говорится, щи хлебали. Что мы, что они. Такие же люди.

— Не такие, Толя. Другие. Я уже говорил как-то, что,

моделируя высшую форму белковой жизни, эти так и не разгаданные нами экспериментаторы, грубо говоря, подправляли природу, генетический код. Выделяли главное в человеке, его духовную сущность, остальное отсеивали. Но потом мне пришла в голову мысль, что они вносили поправки даже в анатомию и физиологию человека. Однажды я наблюдал, как брился Томпсон. Брился, как в парикмахерской, опасной бритвой. Брился и порезался, да так, что кровь полщеки залила. Спрашиваю: «Йод есть?» А он: «Зачем?» Вытер кровь полотенцем, и конец — никакого кровотечения. Мгновенная сворачиваемость крови. Я удивился. «Только у вас?» — говорю. «Почему у меня? У всех. У нас даже тяжелые раны почти не кровоточат». А вы обратили внимание, что тамошний Томпсон моложе земного? И морщин меньше, и не сутулится. А потом подметил, что у них вообще нет ни морщинистых, ни лысых. Я специально бродил по улицам, разыскивал стариков и старух. Я встречал их, конечно, но не видел среди них дряхлых, согнутых, обезображенных старостью. Ни одному из них ни по цвету лица, ни по ритму походки нельзя было дать больше пятидесяти. Полностью побежденная старость? Не думаю. Но их багровый газ, как первичная материя жизни, вероятно, таит в себе какие-то возможности самообновления организма или задерживает старческое перерождение тканей. И еще: я говорил с детским врачом. У них нет специфически детских болезней. Он даже не знал, что такое корь или скарлатина. Только простудные формы, последствия переохлаждения организма или желудочные заболевания: питаются ведь там хоть и моделированными, но земными продуктами — вот и весь объем тамошней терапии. Возможно, что и рак побежден: проникнув в тайны живой клетки, не так уж трудно устранить злокачественные ее изменения, но гадать не буду — не узнал. А может быть, у них вообще другой сорт молекул.

— Хватил, — сказал я.

— Ничуть. Человек больше чем на две трети состоит из воды. А недавно в одной из наших лабораторий как раз и обнаружили воду с другим молекулярным составом. При низких температурах не замерзает, а в обычной воде не растворяется. Вода и вода. Человек и человек. Химиче-

ский состав один, а физика разная. Так что, Толя, ни я, ни вы рядом с ними не выживем. А то как бы на старости лет не отправили нас в какой-нибудь атомный переплав.

— А книги? — вдруг вспомнил Мартин.

Книг на столе уже не было. Ни одной. И никто не видал даже тени протянувшейся из другого мира руки.

— Я что-то заметил, — неуверенно продолжал Мартин, — словно облачко поднялось над столом. Совсем-совсем прозрачное, еле видимое — клочок тумана или водяной пыли. А может быть, мне это просто показалось.

Тоскливое молчание связало нас. Так Робинзон Крузо уже на спасшем его паруснике прощался с оставленным островом. Говорить ему, как и нам, не хотелось. Что-то ушло из жизни. И навсегда.

— Теперь уже наверняка не поверят, — опять забубнил Толька. — Ни одного доказательства.

— А наши мундиры с Мартином? — сказал я.

— Мундир можно сшить.

— А девятичасовые часы?

— Часы можно подделать.

Он был прав. Никто не поверит. Расскажи я на студии — только хохот подымется.

— Может, ученые поверят, — не унимался Толька, обращаясь к Зернову.

— Ученые, Толя, самый недоверчивый народ в мире. Когда приезжает академик? — спросил он меня.

— Через два дня. Думаешь, он поверит?

— Мало, чтоб он поверил. Надо, чтоб он убедил поверить других.

— Сложно без доказательств.

Зернов не ответил сразу, только чуть-чуть скривились губы в усмешке. Но на этот раз в ней не было грусти, скорей, мечтательная уверенность, какая теплится иногда в душе ученого, вопреки всему вдруг поверившего мелькнувшей догадке.

— Без доказательств? — повторил он. — А мне вот почему-то кажется, что доказательства у нас будут. Не сегодня, не завтра, но однажды мы их предъявим миру.

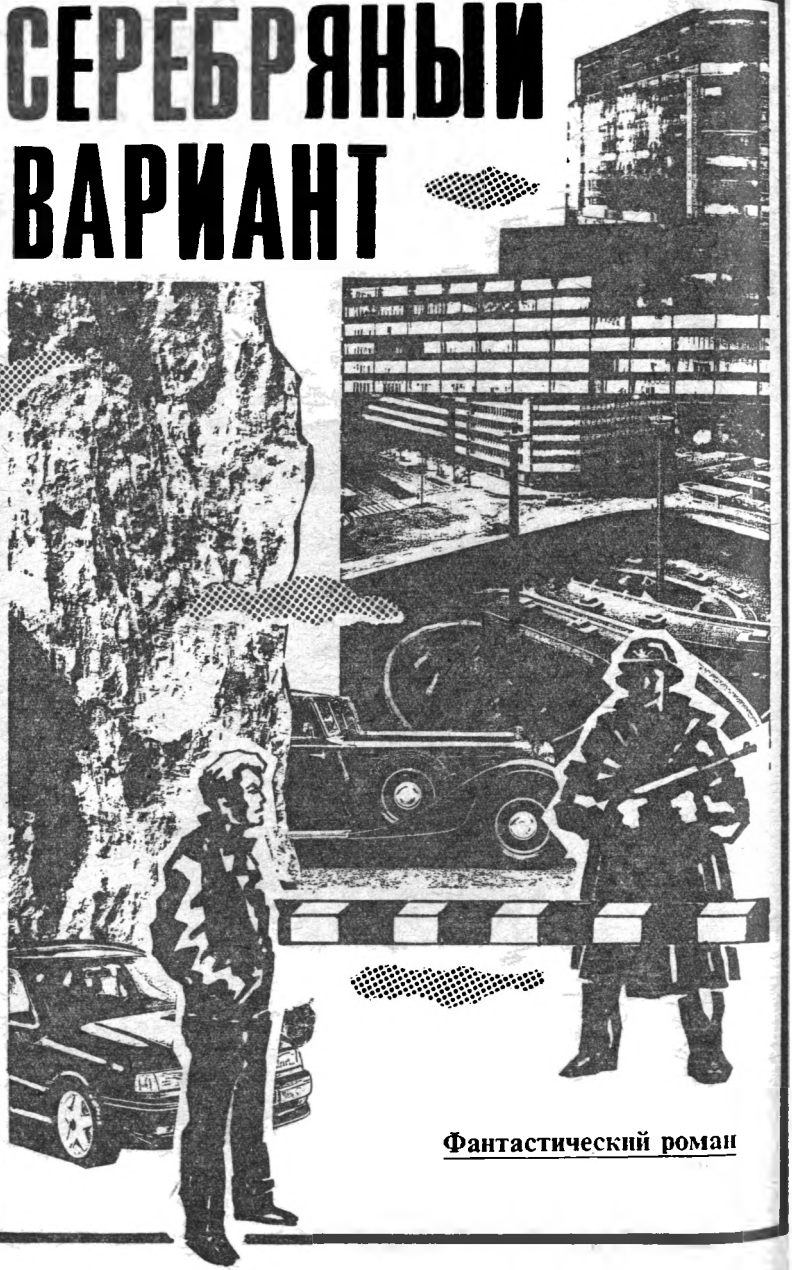
— «Облака» позаботятся?

Спросил я несерьезно, в шутку, но Зернов шутки не принял.

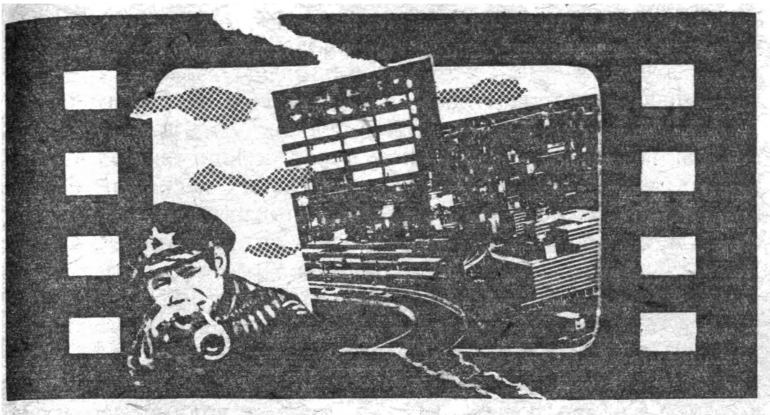
— Кто знает? — сказал он просто.— А пока будем работать, как работали: Толя — предсказывать погоду, Мартин — выуживать сенсации в своем заокеанском Вавилоне, я — полегоньку доучиваться на физика, ну а ты...— Он хитренько прищурился, прежде чем закончить: — Ты продиктуешь Ирине роман о нашем путешествии в рай без памяти. Я не смеюсь. Главное, выдумывать не придется: правда будет невероятнее всякой выдумки. Но для начала назовем его фантастическим.

Я так и сделал.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВАРИАНТ



Фантастический роман



Глава I

СИЛЬВЕРВИЛЛЬ

За несколько дней до нашего автомобильного путешествия я встретил приехавшего в гости Дональда Мартина и почти одновременно получил из Ленинграда письмо от Зернова, в котором он сожалел, что не может оставить работу в научно-исследовательском институте и принять участие в поездке к Черному морю.

Вдвоем с Доном мы выехали из Москвы, и уже через сутки спираль Симферопольского шоссе, пробежав среди бледно-зеленых виноградников, вынесла нас к морю. До самого горизонта оно было темно-синим, как в цветном телевизоре, – будто размытая чуть влажной кистью берлинская лазурь. Церковь, только что "висевшая" над нами, прилепившись к скале, вдруг оказалась сбоку, отороченная кустарником, растущим прямо на камнях.

– Остановимся? – предлагаю я сидящему рядом Мартину, заметив крохотную лужайку между парой приютивших ее разлапистых крымских сосен.

Мартин, все еще критически относящийся ко мне как водителю, охотно соглашается, и, оставив "Жигули", мы располагаемся тут же, на запыленной траве, у откоса

дороги. Достаю боржоми, лимонный сок и термос со льдом, упакованные в целлофан бутерброды.

– Красота! – говорит Мартин, оглядываясь.

Я бросаю взгляд вниз – и застываю с открытым ртом. У Мартина выпучены глаза, словно он увидел чудо. Чудо и есть. Мы видим не зеленые террасы виноградников, не асфальтовый серпантин дороги – плоский песчаный берег, вздутые дюны, поросшие невысоким корявым кустарником.

–Альгарробо, – произносит наконец Мартин. – Как в Перу.

– Мы не в Перу.

– А это Крым, по-твоему?

Нет, это не Крым. Крымские пляжи – галька. А здесь песок. Крупнозернистый и красный. Евпатория? Не похоже. Справа горы, только низкие и волнистые, вроде севастопольских. Однако и Севастополем здесь не пахнет. Город виден слева у берега, издали напоминающий мазню абстракционистов: черно-белые мазки, рыжие плеши. Ни высокого здания, ни башенки.

– Я одного боюсь, Юри, – тихо говорит Мартин. – Очень, очень боюсь.

Я как будто догадываюсь, но все же спрашиваю:

– Чего?

– Мы опять там, Юри.

– Где?

– Зря притворяешься. Сам знаешь.

– Не тот город, – сопротивляюсь я. – И море неизвестно откуда.

– Город, может быть, и другой. Но ведь Река куда-то впадала? В это море, наверно. Вот у моря и построили. – Мартин повертел головой. – И машины твоей, кстати, нет.

Машины действительно нет. Ни близко, ни далеко. Мы сидим, поджав ноги, на голой песчаной пустоши.

– То, что машины нет, – к лучшему, – говорит Мартин, – какие бы авто ни ходили по здешним дорогам, твои "Жигули" всех удивят.

– Пешком придется тащиться до города, – вздыхаю я.

– Миль десять, – уточняет Мартин.

Унылый пейзаж. Ни души вокруг.

– Тогда лучше было. Вчетвером веселее.

– На кой черт понадобилась опять эта метаморфоза?

Даже спокойный Мартин раздражается. В самом деле, зачем хозяевам этого мира понадобился новый эксперимент? Только потому, что мы с Мартином снова оказались вместе?..

Нехотя встали, стряхивая песок с джинсов.

– В таком виде и пойдем?

– Одежда у нас вневременная и вненациональная – штаны да рубаха. Сойдет.

Идти тяжело. Жара немилосердная. Сквозь серые облака палит невидимое солнце. Духота сильнее, чем в Крыму, и духота влажная, как в парной бане.

Первый же человек, которого мы встречаем на протоптанной по песчаному побережью дорожке, одет не лучше нас: в рыжей рубахе и неопределенного цвета пыльных штанах, заправленных в грубые, зашнурованные до икр ботинки. Наши джинсы не привлекают его внимания. Он, лениво покуривая вполне земную сигарку, скрученную из табачного листа, сидит под желтым большим зонтом у столика с нехитрой снедью, прикрытой грязной прозрачной сеткой. Под ней пирожки с неведомой начинкой, что-то похожее на овечий сыр и колбаса подозрительного оттенка, над которой кружатся тоже вполне земные мухи. Сбоку на столе – открытая коробка, где видны мелкие медные монеты.

– Почем пирожки? – спрашивает Мартин.

– С ума сошел, – говорю я, – неужели будешь есть эту дрянь?

– Почему дрянь? – обижается продавец. – Пирожки свежие, со свиной тушенкой.

Разговор, как и ранее в "раю без памяти", ведется на английском языке, который я знаю лучше, чем Мартин русский.

– Я спрашиваю, почем? – повторяет Мартин.

– Пять сантимов, как и везде, – отвечает продавец.

Я с ужасом соображаю, что никаких сантимов у нас нет и взять их нам неоткуда, но Мартин небрежным жестом как ни в чем не бывало бросает на стол советский полтинник.

– Двадцать пять франков! – восклицает продавец и, не разглядывая монету, прячет ее в ящик стола. – Берите пирожки, джентльмены, а я сейчас дам вам сдачу.

Он достает из стола кулек с серебром и медяками, отсчитывает горсть монет, похожих на пятиалтынные, гривенники и пятаки, и кланяется чуть ли не в пояс.

Я с опаской поглядываю на него.

– Пошли скорее, пока он не разглядел твоих "франков".

– Мне почему-то кажется, что он удовлетворился размером и весом монеты.

– Откуда у тебя оказался полтинник?

– У меня их еще два. Получил в московских кассах. Почти семьдесят пять франков – считай, что мы богачи.

– А вдруг влипнем?

– Кое-какая мелочь у нас уже есть. Судя по сдаче, у них должно быть сто сантимов во франке.

– Что-то не похоже на прежнее время. И счет другой и монеты другие.

Нас обогнали два велосипедиста в коротких штанах и чулках до колен и несколько верховых в широкополых фетровых шляпах, какие я видел у ковбоев в американских "вестернах". На грубые башмаки были надеты шпоры с острым колесиком.

Облака уже рассеялись, и солнце палит все сильнее. Мы входим в город. Он чем-то похож на придорожные американские города. Одноэтажные, то каменные, то обшитые досками здания. На некоторых – деревянные или грубо намалеванные изображения булок и бубликов, шляп и ботинок, бутылок с винными этикетками. Никаких тротуаров и мостовых на окраинах, выложенные камнем тихие переулочки там, где дома побогаче, церкви с распятием на паперти и салуны с крытым широким крыльцом. По улице навстречу мчатся желтые пылевые вихри, из них вырастают верховые, запряженные парой или четверкой лошадей экипажи, напоминающие старинные ландо и фиакры, велосипедисты, рикши.

Пешеходов почти не видно. На крылечках под вывесками сидят старики, провожающие нас любопытными взглядами. Иногда оборачиваются и пассажиры открытых фиакров.

– Почему они так смотрят? – удивляется Мартин.

– Как смотрят?

– Как тот продавец, когда мы подошли.

– Не догадываюсь...

– Может, здесь не ходят без шляп?

– Что за вздор.

– Вздор не вздор, а купить – будет нелишне. Да и с торговцем поговорим. Вон шляпа из бересты над дверью лавки.

Мы входим. Старик продавец с клочками седины в бороде встречает нас у прилавка. Над прилавком на крючках висят шляпы разных фасонов. Есть даже цилиндры – серые, черные и лиловые.

– Пару шляп, – говорит Мартин.

Продавец критически оглядывает наши пропыленные штаны и рубахи.

– Ношеных или новых? – спрашивает он и зевает.

Пожалуй, при наших капиталах лучше приобрести ношеные.

– Полтора франка за пару, – лениво говорит продавец. – А вы, должно быть, нездешние, новички в Сильвервилле?

Итак, город называется Сильвервиллем. Что-то новенькое. Да и там ли мы, куда забросило нас прошлым летом? Я решаюсь "прощупать" аборигена.

– Путешествуем, – поясняю я. – Пешком, на пари, – и тут же пугаюсь: вдруг он не знает, что такое пари. Но продавец не удивляется, и я продолжаю: – А у вас в городе мы действительно новички. Шумно здесь...

– Порт, – подтверждает продавец, – с тремя причалами. Один для речных пароходов из Вудвилля – откуда до Города по железной дороге рукой подать, два других для рыбацких баркасов и шхун – рыбу привозят. Ее здесь уйма. Тут же и засолка, и копчение, и погрузка. Конечно, это – не Город. Город один – столица. А Сильвервилль лучше назвать городком. Ну, а Ойлер и Вудвилль – городишками.

– Ойлер – это на востоке? – интересуется Мартин.

– На побережье к северу. Жилье нефтяников и газовщиков. Оттуда – газопровод и железная дорога к

Городу. А в самый Ойлер лучше и не заходить – нефтеперегонная фабрика, жирные черные лужи. Вонь как на помойке.

Мы платим полтора франка за грязные соломенные шляпы типа сомбреро и покидаем этот пока единственный источник информации о мире, в котором неизвестно как и долго ли будем жить.

Улица круто сбегает к морю. Видны рыбацкие парусники у причалов и высокая дамба, отделяющая от залива устье Реки. Пыли здесь немного, морской ветер гонит ее вверх по улице, где за спиной у нас все еще дымятся песчаные вихри. Почва влажнее, к тому же укатана экипажами и прибита сотнями лошадиных подков. Лошадей больше, чем жмущихся к стенкам прохожих. Одеты встречные по-разному: парни в замасленных штанах и куртках, в стоптанных туфлях или босые, а кто в знакомых уже высоких, до икр, башмаках; девчонки с голыми коленками, с отрезанными или оборванными подолами; католические священники в длинных черных сутанах, кое у кого подвязанные грубой пеньковой веревкой. Попадаются и другие – почище и побогаче, главным образом в экипажах, с достоинством выезжающие из тихих замощенных переулков: мужчины в цветных сюртуках и узких брюках со штрипками, дамы в длинных, до туфель, платьях, кружевных или шелковых, отделанных бледно окрашенными кремовыми, розовыми и голубыми лентами.

На улицах торгуют пирогами и подозрительно мутной – должно быть, от сушеных яблок – водой.

Ничего не понимаю. Где мы? В какой стране, в каком веке?

– А может быть, здесь время идет не вперед, а назад? – говорит Мартин.

– Остришь?

– Пытаюсь. Но объяснение все-таки есть. Мы вот с тобой коротко подстрижены, а ведь у нас уже многие стригутся как средневековые пажи. Ты уверен, что года через два не будут носить цветных париков? Женщины уже носят. Клеш возродился через полсотни лет,

возродятся и штрипки. Кстати, и на Земле цилиндр еще из моды не вышел, и не только черный. Англичане на скачки до сих пор приходят в серых цилиндрах. Здешних, может быть, тоже на старину потянуло. А что касается ребят в грязных штанах и лошадиных шляпах, то вспомни – у американских ковбоев и фермеров мода уже сто лет не меняется. Почему же у этих должно быть иначе, если они здесь с лошади, наверное, только пообедать слезают?

Мы медленно идем по набережной мимо рыбацких баркасов. Грузчики в мешковине, с деревянными крючьями на спине, перетаскивают на берег ящики с рыбой. На другом причале у парусного грузового суденышка такие же грузчики один за другим волокут мешки не то с зерном, не то с солью. За каменной оградой у речного причала прошлый век предстает перед нами в еще более характерном обличье. К причалу, видимо, только что пришвартовался большой марктвеновский пароход с двумя огромными колесами по бокам. Надпись на круглой корме гласит:

"ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН"

Я уже совсем ничего не понимаю.

– Тут и понимать нечего, – приходит на помощь Мартин. – Смоделировали они Сэнд-сити? Смоделировали. Была в Сэнд-сити книжная лавка? Была. Была в ней марктвеновская книжка? Тоже была. Наверняка. Вот тебе и название парохода. Скажешь: такие только в девятнадцатом веке по Миссисипи ходили? А какие здесь построишь? Для "Квин Мэри" индустриальная база нужна. Современные верфи.

Пытаюсь возражать:

– У них же Би-центр был. Тоже, наверное, помнишь. Там не только речной – космический корабль построить можно.

– Ты уверен, что Би-центр уцелел?

Я ни в чем не уверен. Может быть, здесь уже нет ни Би-центра, ни других чудес. Может быть, оставленный без опеки, этот мирок жил и развивался по-своему и еще не родил ни своих Эдисонов, ни своих Туполевых.

Но гадать не приходится. К нам подходит мужчина в синей замурзанной куртке и в соломенной шляпе. Он давно стоял поодаль, наблюдая за грузчиками и приглядываясь исподтишка к нам.

– Видно, нездешние? – повторяет он вопрос продавца шляп. – Откуда к нам – из Ойлера или Вудвилля?

– Из Города, – отвечает с достоинством Мартин.

– Работы в Городе не хватает?

– Скучно в одном месте.

– Могу на погрузку поставить. Крючья получите, – говорит человек в синей куртке.

– А платить сколько будете?

– Как всюду. По пятьдесят сантимов в час. За день работы пять франков.

– Что грузить? – интересуется Мартин.

– Может, рыбу, может, пшеницу. На серебро не поставлю. Слитки с рудников полицейские сами погрузят.

– Почему такой почет серебру? – смеется Мартин.

Человек в синей куртке сердито хмурится.

– "Почет серебру"! – укоризненно повторяет он. – Самый драгоценный металл. Украдешь слиток – в цилиндре будешь ходить.

Ходить в цилиндрах мы не собираемся, красть слитки тоже. Потому соглашаемся на пять франков в день. Надо где-нибудь добывать деньги: полтинники, оставшиеся у Мартина, могут в конце концов навлечь на нас неприятности.

– А где здесь ночевку найти? – спрашивает Мартин.

– У старины Вильсона в ресторации "Веселый петух" есть номера для постояльцев. Два шага отсюда, – говорит человек в синей куртке, несомненно довольный. – Скажите, что Фляшон прислал. И ночевка и выпивка обеспечены даже в кредит, если я поручился. Не задерживайтесь, ребята: пока народу там кот наплакал. – Он пожимает нам руки большой, как лопата, мозолистой лапой бывшего грузчика и удаляется не оглядываясь.

Глава II

"ВЕСЕЛЫЙ ПЕТУХ"

Ресторацию мы находим действительно в двух шагах на главной улице. Над широким крыльцом висит петух, вычеканенный из меди, тускло-золотистый в лучах солнца. На крыльце лежат два детины, лица у них прикрыты ковбойскими шляпами. Их можно принять за мертвецов, но они только мертвецки пьяны. Мы осторожно обходим лежащих и, толкнув дверь, попадаем в длинный полутемный зал. Здесь полтора десятка столиков и стойка, обитая жестью. Столы почти все пусты, за исключением двух-трех, за которыми сидят парни, обросшие колючей щетиной или уже отрастившие лохматые бороды, и пьют что-то темное – виски или пиво. На нас они не обращают никакого внимания. Мы на них тоже. Не спеша подходим к стойке, где протирает бокалы далеким от чистоты полотенцем лысый старик с недобрыми глазами.

– Два виски, – говорит Мартин, небрежно бросая на жестяную стойку монетку в двадцать сантимов.

– Два виски требуешь, так и плати вдвое, – отвечает старик.

Мартин добавляет еще одну монетку. Так мы учимся здешнему счету.

– А как насчет ночлега, папаша? – спрашиваю я.

Старик долго глядит на нас, как бы оценивая нашу кредитоспособность.

– Есть комната с кроватью, – шепелявит он. – Больше трех человек лежать в кровати не разрешается.

– Нас только двое.

– Все одно – три франка, и деньги вперед.

– Мы от Фляшона, папаша.

Старик добреет, даже улыбается, открывая беззубые десны.

– Значит, завтра с утра на погрузку? Пароход пришел из Вудвилля, знаю. Что ж, можно подождать до расчета с Фляшоном. Ужинать будете?

Ужинаем молча, хотя поговорить есть о чем. Что мы знаем о мире, куда забросила нас судьба? Что пирожок

стоит пять сантимов, а полбокала виски с теплым лимонадом – двадцать? Что за десять часов работы мы получим по пять франков, из которых три нужно отдать за квартиру? Да и вообще, что можно узнать об окружающем тебя мире, если целый день таскать на спине мешки с зерном или углем, а ночью спать без просыпа на гнилой соломе?

– Хорошо бы уехать отсюда на этом марктвеновском пароходике, – рассуждает вслух Мартин. – Интересно, сколько стоит билет до Вудвилля?

– Посчитай еще железную дорогу от Вудвилля до Города.

– Ты думаешь все-таки добраться до Города?

– Не век же торчать в Сильвервилле.

– А кого мы будем искать в Городе? – вздыхает Мартин. – Может, кто жив остался?

– Утром мы находим Фляшона там, где видели его вчера. Он по-приятельски подмигивает нам, и минут через пять мы получаем всю экипировку грузчика – мешок из дерюги с дырками для головы и рук и пару деревянных крючьев на спину.

– Ну, а теперь на речной причал. Сейчас начнется погрузка, – командует Фляшон. Ни имен наших, ни фамилий он не записывает: должно быть, при расчете это не имеет значения.

Мы становимся в цепь грузчиков к длинным штабелям мешков с пшеницей. В каждом мешке не меньше сорока килограммов. С трудом взваливаем его на спину, помогая друг другу. Так же делают и соседи. Потом движемся, согнувшись, по деревянным сходням к трюму на нижней палубе парохода. Трюм неглубок. Мешки складываем внизу под наблюдением кого-то из команды. Не слышно ни шуток, ни смеха, ни ругани – все работают молча, только кряхтят и тяжело дышат. Мартину, идущему впереди, легче, чем мне, – он сильнее, а я через час начинаю задыхаться, нет сил взвалить мешок на крючья, вот-вот упаду. Сзади советуют дружески: "Обожди чуток, пропусти цепь, отдохни. С непривычки всегда трудно, потом втянешься". Но я понимаю, что лучше не будет, десять часов не вытяну.

Через два часа, когда объявляют перекур, валюсь на мешки полутрупом. Наши соседи, Пит и Луи, угощают нас самодельными, скрученными из табачного листа сигарами. Оба они студенты из Города, приехали сюда на каникулы подработать. Живут в порту у сторожа, где платят вдвое меньше, чем мы у Вильсона. "Ухитряемся откладывать по три франка в день, сейчас уже накопили по шесть-десять на брата". Они рассказывают, что в первые два дня чуть не загнулись, даже пяти часов не вынесли, только по два франка и получили. "Не надо слишком сгибаться, – советует Луи, – пусть груз ложится на плечи и крючья". Я следую его совету, и мне чуть легче. До второго перекура еле держусь, но мешок уже с ног не валит. Утираем пот и обмениваемся улыбками с Луи и Питом.

– Выдержали?

– Как видите.

– Я говорил: не сгибайтесь. Мешок не так прижимает.

– Зато память отшибло.

Луи не понимает.

– А что забыл?

– Все. И год, и месяц, и день. Помоги вспомнить.

– Серьезно?

– Вполне серьезно. Подскажи.

– Год шестьдесят первый. Четырнадцатое июля. Пятница. Неужели забыл?

– Смешно, правда? Даже имя забыл. Только сейчас и вспомнил. Я Жорж Ано, а он, – я указываю на Мартина, – Дональд Мартин или просто Дон.

– А мы – Луи Ренье и Пит Селби. Кончаем политехничку.

Все время молчавший Пит кивком подтверждает слова товарища.

– Ты немой? – шучу я.

– Все здесь так думают. Просто болтовни не люблю. А вы неплохие ребята. Даже расставаться жаль.

– Почему расставаться?

– В воскресенье уезжаем, – поясняет Луи. – На "Гекльберри Финне". В Городе к выборам работа найдется.

Я не успел спросить, что за выборы, как Луи продолжил:

– Разыщите нас – поможем. Найти легче легкого. Американский сектор, Сэнд-стрит, общежитие политехнички. А сейчас к мешкам: Фляшон уже машет руками.

Передышка окончена. Снова мешки тяжело пригибают к земле, ломит плечи, трудно дышать. Часа два, может, еще выдержим, но больше не вытянем. Фляшон сам отправляет нас восвояси: "На сегодня хватит, иначе завтра не встанете". И платит каждому по три франка. Мартин угрюмо молчит, а мне даже весело: на целый франк в первый же день Пита и Луи переплюнули.

Вечером расплачиваемся с Вильсоном, мгновенно подобревшим и расплывшимся в улыбке. Даже лысина его, кажется, сияет ярче. Нас заботливо приглашают к столу и вместо холодных котлет подают жаркое из свиной тушенки с бобами. "По заказчикам и заказ, – повторяет хозяин. Но мне и такого изобилия мало: надо восстанавливать силы, и я тут же заказываю еще одну порцию жаркого и пива.

– Жаль только, что Луи и Пит уезжают, – говорю я. – Теряем надежный источник информации.

– И надежных друзей, – добавляет Мартин.

Ресторация постепенно заполняется, вскоре все столы уже заняты. Портовики и матросы в тельняшках, усатые парни в соломенных, как и у нас, сомбреро, фермеры в грязных широкополых шляпах, женщины с белыми от густой пудры лицами. Из соседней комнаты доносится стук бильярдных шаров, чей-то смех и возгласы: "Пять!", "Десять!", "Плюс десять", "Отвечаю". Похоже, там идет игра.

Мартин лениво встает.

– Подожди минутку. Пойду взгляну.

Третий стул за нашим столом пуст, к нему подходит худощавый человек лет сорока в синем сюртуке и цилиндре, с вьющейся бородкой, как у голландских матросов.

– Место свободно? – спрашивает он.

Я равнодушно киваю, не замечая, что все кругом за столиками сняли шляпы.

– Вы, наверно, новичок в Сильвервилле? – Незнакомец садится напротив.

– Допустим, – отвечаю я.

– И меня, конечно, не знаете?

– Нет.

– Тогда прошу вас не удивляться тому, что сейчас последует.

Хозяин не успевает подать ему бутылку пива, как раздается выстрел и мое простреленное сомбреро слетает на пол. Стрелял верзила с нависшей на лоб челкой, сидящий метрах в пяти от меня. Я подымаю с пола шляпу и говорю соседу:

– Ну и нравы у вас в Сильвервилле!

– Просто люди привыкли, что в моем присутствии снимают шляпу. Я бывший шериф на серебряных рудниках.

– То, что вы шериф и тем более бывший, мне безразлично. Я не нарушаю законов. Жаль только, оружия у меня нет.

– А зачем? – улыбается он. – Что бы вы сделали?

– Наказал бы этого громилу.

– Каким образом? Он же сидит без шляпы.

– Но с бутылкой.

Бывший шериф любезно протягивает мне пистолет, очень похожий на земной "вальтер".

– Стреляйте. Он заряжен. Только если вы убьете или раните кого-нибудь, вас тут же повесят, прямо на улице.

Я беру пистолет. Позади верзилы с челкой виден пустой угол зала и косяк входной двери: пуля наверняка никого не заденет, если стрелять метко, а стрелять я умею, золотые медали имел. Недолго думая нажимаю на спусковой крючок. Бутылка со звоном разлетается на куски, обливая верзилу остатками пива.

– Молодец! – одобряет сосед. – Отлично стреляете. Профессионал?

– Скорее, любитель. Охотник. Жорж Ано. Сейчас работаю на причале у Фляшона.

– Тебе придется самому платить за разбитую бутылку, Пасква, – оборачивается бывший шериф к подскочившему верзиле с челкой, – научись не проявлять самодеятельности до моего приказа.

Верзила, не взглянув на меня, почтительно отступает.

– А вы стоите больше, мсье Ано. Это я вам говорю, Тур Мердок, глава партии "реставраторов". Правда, пока еще не легализованной.

– Крайне сожалею, но ни я, ни мой друг, который сейчас находится в соседнем зале, не интересуемся политикой и совсем не разбираемся в борьбе политических партий. Возьмите ваш пистолет, мсье или мистер Мердок, – и я отдаю оружие собеседнику.

Он приподымает цилиндр, чуть склонив голову.

– А мне это даже нравится, мсье Ано. Разыщите меня в Городе. Я придумаю для вас что-нибудь получше Фляшона.

Мой сосед встает и, бросив на стол горсть мелочи, идет к выходу. Мартин возвращается тут же, глядя ему вслед.

– Кто это?

– Некий Тур Мердок. Кажется, очень полезное знакомство. Глава политической партии.

– Здесь, в Сильвервилле?

– Нет, в Городе.

– Порядок! – смеется Мартин. – Значит, пора ехать в Город.

– На твою сдачу от пирожков? А дальше? Будем откладывать даяния Фляшона?

– Мы не вернемся к Фляшону. У нас с тобой уже пятьсот франков плюс остаток после покупки пирожков и двух шляп.

– Играл?

– Да как!

И Мартин живописует историю еще более неожиданную, чем мое знакомство с Мердоком.

В игорном зальчике, куда он зашел, было дымно и шумно. Мартин посмотрел карамболь на бильярде, постоял возле покеристов, посчитал, сколько раз выпадает пятерка в игре в кости, и пошел к разменной кассе вслед за каким-то фермером в кожаной куртке, от которой пахло коровником или конюшней. Фермер бросил в окошечко на стол серебряную монету в двадцать пять франков, достаточно уже истертую. Кассир, не вглядываясь в монету, смахнул ее лопаточкой в кассу. "Пять по пяти",

– сказал фермер. Мартин тотчас вспомнил ошибку пирожника: тот тоже не разглядывал знакомую ему по размеру и весу монету. И Дональд решил рискнуть: заметит или не заметит? Если заметит, можно выкрутиться, сославшись на то, что сам получил ее где-нибудь, извиниться и заменить серебряной мелочью. Так он и сделал. Небрежно бросил на стол два полтинника, побывавшие до этого на Земле в сотнях рук, так что на них при беглом взгляде трудно было разглядеть какое-либо изображение, и сказал: "Мне столько же плюс еще пять". Кассир не глядя смахнул деньги в кассу и отсчитал Мартину десять зеленых фишек. Облегченно вздохнув, Мартин уже смело подошел к покеристам, игравшим не крупно, а скорее прижимисто. Один из них уступил ему свое место. Мартин играл, все увеличивая ставки, выиграл пятьсот с лишним франков и встал. "С меня хватит, ребята", – сказал он.

– А если б ты на шулеров налетел? – спрашиваю я.

– Бросил бы после второго или третьего проигрыша. Ведь начали-то по маленькой. Не пошла бы карта, значит, не пошла. Да и ребята на шулеров не похожи. Либо старатели с рудников, либо здешние скотоводы.

– Что будем делать?

Мартин загадочно усмехнулся.

Глава III

"ГЕКЛЬБЕРРИ ФИНН"

В воскресенье в десять утра по местному времени мы с Доном, стоя на самой высокопоставленной в буквальном и переносном смысле пассажирской палубе парохода, молча наблюдали церемонию отплытия. Она такая же, как и в любом порту. Чьи-то проворные руки снимают канаты, которыми подтянут к причалу пароход, плеск воды у ватерлинии – здесь он еще громче от взбивающих воду лопастей двух огромных бортовых колес, пассажирская толчея на палубе, провожающие на причале, возгласы на английском и французском – и вот уже пароход поворачивается боком к берегу...

Мы с Мартином приоделись специально для "высокопоставленной" палубы: Дон – в новенькой клетчатой куртке, с красным платком на шее, я – в скромном синем сюртуке и светло-сером цилиндре с твердыми, как железо, полями. Ничего, кроме каюты первого класса, мы достать не смогли: второй и третий были проданы, оказывается, еще накануне.

Ключи нам выдал стюард, не очень уважительно нас встретивший: должно быть, наше новое платье все же недостаточно соответствовало "высокопоставленной" палубе парохода. Да и багажа у нас не было, так что не знаю, за кого он нас принял: за гастролирующих шулеров или охотников до серебряных слитков, только вчера погруженных в трюм парохода. Мы видели эту погрузку. Полицейские с автоматами выстроились на причале вплоть до бортовых дверей трюма. Другие полицейские, без оружия, тащили один за другим небольшие, но, надо полагать, не легкие ящики со слитками. Полицейских было много. Своими зелеными мундирами, строгой выправкой они скорее походили на солдат, а четкости их движений могли позавидовать даже профессиональные грузчики.

Сейчас полиции на пароходе не видно, но поскольку на кормовую палубу, где находится верхний люк "серебряного" трюма, никого не пускают, значит, все они там.

Я иду к корме. Рыжий матрос в тельняшке преграждает мне путь: "Дальше нельзя. Запрещено". Покорно бреду назад вдоль борта, рассматривая гуляющих пассажиров. Женщины – в длинных шелковых платьях и соломенных капорах с цветными бантами у подбородка, мужчины – в аккуратных, как у Мартина, курточках или цветных камзолах, как у меня, только из лучшей материи и лучше сшитых. На ногах или узкие шевровые ботинки, или длинные шнурованные башмаки, какие до сих пор носят в Канаде и северных штатах Америки. Старый джентльмен, прогуливающийся с красивой девушкой в голубом платье, посмотрел на меня слишком внимательно. Я даже оглянулся, заинтересованный. Оглянулся и он, взгляды наши встретились. "Вероятно, сбит с толку моим сходством с каким-то своим знакомым", – подумал я.

Мартина нахожу в каюте. Он лежит на койке и дымит сигаретой явно местного производства. Я осматриваю каюту. Древняя обивка – вот-вот рассыплется шелк, древние, хотя и начищенные до блеска медные ручки, истертый коврик под ногами.

– Давненько существует старина "Гек", – сочувственно говорю я.

– У них есть и винтовые суда, – откликается Мартин. – Ходят до Ойлера и каких-то островов в океане. Кое-кто рисковал уплыть и дальше, но не вернулся. Другие вернулись, не обнаружив других континентов. Здешние карты изображают Город, как единственное государство одного материка, окруженного океаном. Кстати, Городом называют и столицу и все государство.

Может быть, это действительно так, но откуда Мартин знает об этом?

– От корабельного механика, – охотно поясняет он. – Познакомился с ним в баре. Я прикинулся человеком, не постигшим основ науки и техники. В Городе таких много – школ не хватает. Оказывается, здесь и двигатель внутреннего сгорания открыли, только автомобили делают кустарно, в маленьких мастерских, как у нас некоторые гоночные машины. Чертовски они дороги – я о здешних говорю, – только миллионеры и покупают.

– Значит, и миллионеры есть?

– Говорит, есть.

– Все-таки шагнули вперед за полсотни лет.

– Даже бипланы строют, как братья Райт. Тут, пожалуй, и мне работенка найдется – как-никак бывший летчик.

Стук в дверь – стюард вежливо приглашает нас к обеду.

В кают-компании так же шумно и пестро, как и на палубе. Официанты в белых сюртуках, похожие на санитаров в больничных халатах, принимают у нас и у соседей заказы. Кормят отлично. Румяный бифштекс с поджаренным, мелко нашриженным луком, рыба под белым соусом, розовое, терпкое сухое вино "Эдем".

Два места за нашим столом свободны. Рядом останавливается уже приметившийся мне седой джентльмен с белокурой девушкой. Случайно или нарочно?

– Не разрешите ли присоединиться к вам старику с дамой?

Мартин, даже не взглянул на меня, вскакивает, предлагая девушке стул.

– Будем только рады, мадемуазель.

– Мисс, – поправляет она. – Мисс Стил или просто Минни. А это мой дядя, сенатор Стил, – последние слова она произносит подчеркнуто, вероятно полагая, что они не могут не произвести впечатления.

Но ни фамилия, ни положение сенатора в первый момент не вызывают у меня интереса. Я встаю и любезно кланяюсь элегантному старцу.

– К вашим услугам, сенатор, Жорж Ано.

– Дональд Мартин, – вслед за мной представляется Дон.

Разительная перемена происходит вдруг со спокойным сенатором. Он весь как бы освещается изнутри.

– Я так и думал, джентльмены! Вы оба дети или внуки моих старых друзей. Совсем как они в молодости – так похожи! И даже имена те же. А ведь с Ано и Мартином мы были в подполье и вместе освобождали Город от тирании Корсона Бойла. Только потом они куда-то исчезли. Куда? – И он задумчиво добавляет после минутной паузы: – Так же странно и непонятно исчезли, как и появились у нас.

Вот эта пауза и помогла мне сымпровизировать ответ. Признаться, сперва я растерялся. Ведь то был Джемс Стил, первый человек, которого мы встретили пятьдесят лет назад в этом мире, тогда еще двадцатилетний юноша, добрый и верный товарищ. Но не мог же я сразу сказать ему правду. Требовалось время, уединение, взаимное доверие, взаимное понимание и, главное, воображение для того, чтобы поверить, чтобы попытаться осмыслить непостижимое. И я нашелся.

– Вы не ошиблись, сенатор, но боюсь, что объяснить все сейчас мы не сможем. Это не застольная беседа. Лучше мы с вами встретимся после обеда, скажем, вдвоем. И я расскажу вам, что знаю. Устраивает?

Сенатор немного рассеянно заказывает обед. Мартин тактично предлагает тост "за прекрасную амазонку",

девушка краснеет, сенатор улыбается, и опасный момент объяснения счастливо откладывается.

– В Город? – спрашивает сенатор, поглаживая вьющуюся седую бородку.

– В Город, сенатор.

– Дела?

– Пожалуй. В связи с ними у меня к вам вопрос, – пользуюсь новой возможностью отвлечь старика от воспоминаний. – Мы с Доном далеки от политики. Так уж случилось – не знаем ни партий, ни их вождей. А вы нам кое-что наверняка сможете объяснить.

– Например?

– Кто такой Тур Мердок?

– Тур Мердок? – удивленно повторяет Стил. – Вас он интересует как личность или как политическая фигура?

– И то и другое. Я познакомился с ним в кабачке Вильсона в Сильвервилле.

Рассказываю историю своего знакомства с Мердоком.

– Значит, одним выстрелом разбили бутылку? – смеется сенатор. – А что же сказал Тур Мердок?

– Он предложил бродяге прекратить самодеятельность, и представьте себе, этот громила отступил, как побитая собачонка.

– Подобных собачонок у Мердока – десятки тысяч. И это не просто разбойничьи шайки, хотя и таких у него немало, – это костяк будущей партии. К счастью, еще не легализованной.

– Какой партии? – спрашиваю я.

– Реставраторов свергнутого нами полицейского государства.

Мне смешно.

– Он и не родился еще в то время... Что он знает о нем?

– Есть свидетельства очевидцев. Мердок умный и образованный человек. Бывший шериф на серебряных рудниках. Шериф жесткий и требовательный. Его заметили, пригрели и даже предложили какой-то пост в руководстве рудниками. Но он вышел в отставку и занялся политикой. Сначала был "популистом", как и мы, потом откололся: наш демократизм его не устраивал. Для партии

"джентльменов" у него не было ни состояния, ни положения, вот он и попробовал основать третью партию, еще правее. Крупным собственникам обещал снижение налогов, мелким – расширение торговли и земельных угодий, бродягам и неимущим – свободное освоение новых земель. Наша страна, как вы знаете, огромна и необжита, но все новое, что вы откроете и захватите, будь то земля или участки рыбачьих и охотничьих промыслов, вы обязаны оплатить государству – это доход и прибыль казны. Мердок требует отмены закона. Никаких доходов казне! На открываемых новых землях каждый волен захватить столько, сколько сумеет обработать и обжить. По идее неплохо. Но аграрный миллионщик может захватить и обработать в тысячи раз больше, чем фермер-сотенник. А ликвидация сената и единоличная диктатура освободят Мердока от любых обещаний.

– На что же он рассчитывает?

– На сенатские выборы. Но по нашим законам кандидатов в сенат имеет право выставить только легализованная партия. Юридически такой партии у него нет. Билль о ее легализации мы провалили большинством голосов. А для военного путча у Мердока еще мало силенок.

– Господи, как скучно! – восклицает белокурая соседка Мартина. – Вы все о политике... Мистер Мартин слушает, а я скучаю.

Мартин мгновенно находится:

– Может быть, мы с вами пока посидим на палубе?

– Конечно, погуляйте, – поддерживает его сенатор, – а мы с Ано продолжим наш разговор.

– Он обещает быть долгим, – говорю я.

– Тем лучше.

Мартин с племянницей Стила уходят. Мы в столовой почти одни. Только кое-где официанты убирают посуду.

– Не удивляйтесь, сенатор, – перехожу я к решительному объяснению. – Я мог бы даже сказать: не удивляйтесь, Джемс. Перед вами не сын Жоржа Ано, а тот самый Ано, который боролся бок о бок с вами против Корсона Бойла. Я могу напомнить все подробности наших встреч, начиная с первой на Реке, когда вы подстрелили

из арбалета черную птицу. И последнюю, когда из того же арбалета вы пустили зажженную стрелу в ложу Корсона Бойла. Вы знаете, откуда мы тогда пришли. И сейчас мы оттуда – с Земли.

Сказать, что сенатор удивлен, значит, ничего не сказать – он потрясен до немоты.

– Но ведь прошло уже пятьдесят лет, а вы... вы все тот же, – шепчет он.

– На Земле другое время, Стил. Другое его течение. У вас проходит год, у нас – месяц. Да и этот подсчет приблизителен. Не знаем мы и того, какая сила перебрасывает нас на вашу планету. Несколько дней назад мы с Мартином были еще на Земле, а сейчас плывем с вами на "Гекльберри Финне". Трудно поверить.

– У нас не изучают латынь, – тихо говорит сенатор, – не знают этого языка. Но отец знал. И я запомнил слова, которые он сказал мне, когда вы появились у нас впервые: "Кредо квиа абсурдум", и перевел: "Верю, потому что это бессмыслица".

Я смотрю на постаревшее лицо Джемса, на незнакомую вьющуюся бородку, на седые, зачесанные назад волосы и только по каким-то неуловимым признакам узнаю старого друга.

– Надолго к нам? – спрашивает он.

– Все зависит от того, с какой целью мы опять переброшены. В любом случае я хочу выяснить, как изменился ваш мир. Уже то, что мы видели в Сильвервилле, говорит о многом. О другой жизни, другой экономике, других традициях, других нравах.

– Сильвервилль – это окраина, Ано.

– Тогда и его не было.

– Многого не было. И нефти, и серебряных рудников. И не ловили тунца в океане. Не разводили скот. Не было ни боен, ни холодильников. – Стил задумчиво перебирает пальцами и вдруг сжимает их в кулак. – Мы уже старики, третье поколение переживает зрелость, а четвертое начинает растить детей. Кого интересует сейчас легенда о прародительнице Земле, от которой мы якобы оторвались? Только авторов школьных учебников.

Я вспоминаю наш первый разговор пятьдесят лет назад по здешнему счету. "Вы говорите по-английски и

по-французски. А слыхали о таких государствах, как Англия и Франция?" – "Нет". – "А о частях света, о материках и океанах?" Джемс и Люк, его брат, непонимающе смотрели на нас. "Вы в школе учились?" – "Конечно", – хором ответили оба. "Есть такой предмет – география" – сказал я. "Нет такого предмета", – перебил Люк. "Что-то было, – остановил его брат, – что-то рассказывали нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось географией, потом ее запретили".

– Значит, воскресили все-таки географию? – спрашиваю я не без ехидства.

– Давно, – говорит Стил. – На стапелях Ойлера строятся морские суда. Уже удалось обойти вдоль берегов весь наш континент. А вот по суше к границам его еще не добрались. На севере и северо-востоке непроходимые леса. Природа не меняется. Меняются люди.

– Странно у вас теперь одеваются, – замечаю я.

– Капризы моды. Разве у вас она не изменчива? Лет двадцать назад какой-то художник изобразил людей в цветных камзолах и шляпах с высоким верхом. С тех пор и пошло. Хотя молодежь у нас предпочитает незамысловатые штаны и куртки. Ну, а мастеровым и фермерам просто нельзя иначе.

– Фермерам? – переспрашиваю я. – Когда-то их называли "дикими"?

– "Диких" давно нет. Они прародители нашего сельского хозяйства. Кто сейчас кормит Город? Фермеры и ранчмены.

И Стил подвердил то, что мы с Мартином уже сами поняли. "Облака" уничтожили искусственное снабжение Города. Технологический управляющий центр исчез неизвестно куда, от продовольственного континуума остались лишь скотоводческая ферма и склад семенного зерна. Пришлось сразу же ввести продовольственные карточки, а "дикие" стали первыми поставщиками хлеба, рыбы и мяса. Но и они не смогли предотвратить беды. Начался голод. Был обнародован закон, поощрявший охоту и рыболовство, а также обработку земельных участков в новооткрытых районах. Тысячи людей устремились из Города на реку и в прилегающие леса. Одно за другим

возникали фермерские хозяйства и скотоводческие ранчо, конные заводы и рыбные промыслы. Необычайно вырос меновой рынок, где обменивали на продукты все, что угодно. Многие не перенесли голода, многие погибли, не сумев преодолеть трудностей на новых землях. Но Город оживал, он уже мог сам прокормить себя.

Вечером в каюте я повторяю Мартину рассказ Стила.

– А мы при чем? Зачем мы здесь? – спрашивает Мартин.

Дверь открывается без стука – может, и был стук, да мы не слышали, – и в каюту входит... Тур Мердок. Он в том же костюме, только без цилиндра. Волосы у него черные с серебряной проседью.

– На последний вопрос могу ответить я, – говорит он. – Вы кричали так громко, что было слышно сквозь полуоткрытую дверь. Вы здесь, джентльмены, для того, чтобы помочь мне, ну а я для того, чтобы помочь вам.

Мы с Мартином не находим слов для ответа. Мы просто ждем, глупо моргая глазами. А Мердок, садясь на край нижней койки, спокойно продолжает:

– Кто вы, я знаю. Прочел ваши имена в регистрационной книге для пассажиров, кроме того, с мсье Ано я познакомился лично, а мистер Мартин видел меня в ресторации Вильсона, когда выходил из игорного зала. Вы записались как путешественники, но я бы чуть-чуть поправил: скажем, искатели приключений. Вас это не обижает, надеюсь. Ведь путь от грузового причала к верхней палубе "Гекльберри Финна" не так уж короток, чтобы рядовой путешественник проделал его за два дня. Так вот, у меня к вам, джентльмены, два предложения. Первое – на будущее, второе – только на эту ночь.

– Что же вы предлагаете? – спрашиваю я.

– На будущее? Участие в моих делах за достойное вас вознаграждение.

– В каких делах? – перебиваю я. – Может быть, в тех, для которых используется джентльмен по имени Пасква?

Мердок улыбается, ничуть не смущенный.

– У Пасквы свои обязанности и свой круг знакомых. А вас я видел в обществе сенатора Стила. И разговор,

судя по всему, был деловым и добрым. Вот это меня и привлекает.

– Могу ли узнать почему, мистер Мердок?

– Вполне, мсье Ано. Чем ближе вы или мистер Мартин – его я, кстати, видел на палубе вместе с племянницей сенатора, и беседа, как мне кажется, также была достаточно дружеской...

В глазах у Мартина злость – вот-вот прорвется, я незаметно наступаю ему на ногу, но Тур Мердок опережает:

– Дайте закончить, мистер Мартин, я не хотел вас обидеть. Я просто предполагаю, что знакомство мсье Ано и ваше с сенатором может быть еще ближе... И чем ближе – тем нужнее вы будете для меня. О деталях договоримся в Городе – я сумею вас разыскать. Итак, ваш ответ?

– Подумаем, – говорю я.

– Надеюсь, что без участия сенатора Стила?

– Допустим.

– Теперь о предложении на эту ночь. Если услышите шум на палубе или даже выстрелы, не выходите из каюты. Учтите, что ни сенатору Стилу, ни его племяннице ничто не грозит.

– А кому грозит? – хмурится Мартин. Он явно недоволен и не хочет скрывать этого.

Но Мердок по-прежнему улыбается.

– Не будьте так любопытны, мистер Мартин. Я лично никому и ничем не угрожаю. Я просто кое-что знаю, о чем вам и сообщу, когда все стихнет. Если вы не возражаете, считайте, что с сегодняшнего вечера вы у меня на службе. – Он встает и, открывая дверь в коридор, заканчивает: – До встречи ночью.

Глава IV

НАПАДЕНИЕ

Минуту или две мы не произносим ни слова. Наконец Мартин спрашивает, тупо глядя в одну точку.

– Ты понял что-нибудь?

– Как не понять. Все ясно. Мердок предлагает нам непыльную работенку. Вероятно, связанную с элементарным шпионажем.

– Ты же слышал, где?

– Ну и что?

– И сказал: подумаем.

– А почему бы и не подумать? Ведь мы собираемся работать со Стилом.

– И предавать его? Я не узнаю тебя, Юри.

– Не торопись. Общение с Мердоком еще не предательство. Может, и Стилу будет небезвыгодно это.

– Не понимаю.

– Мы должны быть в эпицентре этой игры. Нельзя познать нынешний "рай без памяти", работая загонщиком скота или грузчиком.

– Так завтра же расскажем все Стилу?

– Опять торопишься. Спектакль Мердока еще не окончен.

Мартин крупными шагами меряет длину каюты по диагонали. Нервничает.

– Ты имеешь в виду эту ночь?

– Хотя бы.

– И мы должны отсиживаться в каюте, когда на палубе начнется стрельба?

– А у тебя есть оружие?

– Иногда можно защищаться и без оружия. Ты думаешь, ей действительно ничто не угрожает?

Мне вдруг становится ясным намек Мердока.

– Ни ей, ни тем более сенатору, – говорю я. – И вообще никому из пассажиров. Кроме тех, конечно, кому тоже вздумается пострелять. Перестрелка будет с охранниками у кормового люка.

Мартин все-таки не понимает: вижу по его глазам. Ему очень хочется узнать, почему именно у кормового люка.

– Да потому, что в этот люк загружали серебряные слитки. Помнишь? Какой же ты, к черту, репортер – заметил, так сделай вывод. Самый ценный металл в Городе – серебро. Вероятно, основа его денежной системы. Золото на планете пока не обнаружено. Если так, то как

раз серебряные слитки и могут быть целью потенциальных грабителей. Не пароходную же публику потрошить: много риска и добыча невелика. А серебра в трюме две тонны, не меньше. Могу допустить, что банда уже на пароходе, учитывая сказанное Мердоком. Сам он, разумеется, в стороне: нельзя пачкать репутацию главы будущей партии, но для роли закулисного организатора ограбления наш джентльмен, несомненно, подходит. Его партии нужны деньги, а когда легальных средств не хватает, прибегают к нелегальным. Впрочем, это только мое предположение. Поживем – увидим.

– Гангстер, – говорит Мартин.

– Возможно.

– Что же делать?

– Ждать.

Мартин взбирается на верхнюю койку и ни о чем уже больше не спрашивает. Ему, как и мне, есть над чем подумать. Я мысленно перебираю в памяти все случившееся за день. Самое существенное – появление Мердока и то, что последует. Встреча со Стилом. Его рассказ заполнял белые пятна в картине неузнаваемо изменившегося Города-государства. Свои традиции, свое житье-бытье, свои моды, свой путь к знаниям. Пятьдесят лет назад ни истории, ни географии не было – сейчас к истории обращаются не только школьники, но и политики, и географию дописывают местные Магелланы. Конечно, кое-что и не дотянули. Алгебру в школах изучают, а до квантовой механики, наверно, не доросли. И в экономике, должно быть, то же самое. Как в конце девятнадцатого. Соображай, Анохин, раздумывай. Промышленности здешней ты еще не знаешь, но она есть, если газопровод построили. И миллионеры уже есть: значит, кончился период первоначального накопления. Вышли на сцену, как у нас говорят в учебниках, помещики и капиталисты. Ну, а рабочий класс? Коммунистов, судя по рассказу Стила, в стране пока нет, но не может же его партия, столь разношерстная, сохранять во всем трогательное единомыслие. Должны же быть у популистов свои "левые", способные правильно оценить производственные отношения в стране. Вот их-то и надо найти...

Тут я снова возвращаюсь к визиту Мердока. Зачем ему наша близость к сенатору – понятно: агентурная информация о сенатской возне. Вероятно, кое-какая информация у него уже имеется. Но вдруг нам удастся копнуть поглубже? С тигриной хваткой человек, что и говорить. Знает, что, если на выборах опять победят популисты, никаких надежд на легализацию партии у него не останется. А вдруг будут? Неоднородна ведь партия Стила, есть в ней многие, которым, наверное, симпатичен Мердок. Не на них ли он рассчитывает? Да и на Стила с нашей помощью поднажать можно. Вот этой тактике мы должны противопоставить свою. Если уж помогать, то не Мердоку и не Стилу, быть может, а кому – мы это еще увидим.

Ждем, когда стрелять начнут. А выстрелов так и не слышно. Только шаги по коридору, частые тяжелые шаги. Потом тишина. Пароход почему-то замедляет ход, и я вижу в предрассветной полутьме за окном каюты, как приближается черная стена леса на берегу. Значит, подходим к причалу. Но где?

– Что происходит? – спрашивает, спустив ноги с верхней койки, Мартин.

– Кажется, останавливаемся.

Пароход действительно причаливает к пристани – летит мимо окна черная змея швартового каната, и "Гекльберри Финн" замирает, покачиваясь у самого берега.

Вот тут-то и раздаются первые выстрелы. Несколько сразу, потом один за другим, как будто кто-то рядом открывает десятки бутылок шампанского. Перестрелка, как я и думал, доносится с кормовой палубы.

Кто-то осторожно стучит в дверь каюты.

– Войдите.

Входит Мердок в сером пальто-крылатке.

– Ну вот и все, джентльмены, – говорит он.

– А что случилось?

– Какие-то пьяницы затеяли перестрелку на палубе. Их усмирили.

– Вы же знали об этом.

– Предполагал, – пожимает плечами Мердок.

– А где мы сейчас?

– На полпути от Вудвилля. На лесной пристани.

– Но ее нет в маршруте парохода.

– Должно быть, недавно построили.

– Специально, чтобы выгрузить серебро? – я не могу скрыть, пожалуй, опасной иронии.

Мердок по-прежнему невозмутим.

– Вы догадливы, мсье Ано. Только не всегда следует показывать это другим. – Он приоткрывает дверь, чтобы уйти, и добавляет: – К сожалению, должен вас огорчить, джентльмены. Пароход не пойдет в Вудвилль.

– А куда?

– Вероятно, обратно.

– Но у парохода свой маршрут.

– Он изменен.

– И капитан согласился?

– Его убедили.

– Понятно, – говорю я. – Некто заинтересованный старается выиграть время. Вы, конечно, сходите здесь?

– Увы, я вынужден, как и все пассажиры, отплыть обратно. Приходится подчиниться необходимости.

– У сенатора другие намерения, – дерзко вмешивается Мартин.

– Это учтено. Поместье сенатора поблизости, вверх по Реке. Ему предоставят лодку и гребцов, чтобы он смог добраться туда.

– Зачем гребцов? – протестует Мартин. – Мы с Ано охотно сядем на весла.

Я, видимо, недооценивал Мартина: он сообразительнее. И Мердока его предложение явно устраивает.

– Превосходно, – соглашается он, – я поговорю с капитаном.

Так мы оказываемся на борту лодки, достаточно вместительной и ходкой, чтобы преодолеть неторопливое течение реки, которую здесь по-прежнему называют Рекой, без имени. Она памятна нам еще с прошлого посещения.

Сенатор Стил с племянницей Минни, укутанные в одеяла, сидят на корме, не понимая, что случилось. Я не рискнул рассказать им о визите Мердока и о государственном серебре, выгруженном на этой пристани.

Очевидно, операция была давно задумана и подготовлена, капитана купили, а пароход вернули в Сильвервилль, чтобы выиграть время, как я и сказал Мердоку. Любопытно, что лодку спускали на воду не матросы, а молчаливые парни в темных коротких куртках и широкополых шляпах.

– Погляди внимательно, – шепнул мне Мартин.

– На что?

– На повязки.

– Какие повязки?

– На рукавах.

Действительно, у каждого из этих людей на рукаве блестела повязка из позументной тесьмы не то золотого, не то серебряного цвета. "Знак принадлежности к партии реставраторов", – сообразил я. В причастности Мердока к экспроприации можно было не сомневаться. Охранников подавили, матросов загнали в кубрик, выскочивших пассажиров – в каюты, а серебро, вероятно, уже начали грузить в обоз, поджидающий на лесной дороге у пристани. Хорошо, что Стил так ни о чем и не догадался, иначе не избежать бы ему стычки с Мердоком. Не вызвал у него подозрений и растерянный шепоток капитана, уверявшего в необходимости вернуть пароход в Сельвервилль, поэтому он сравнительно легко принял наше с Мартином предложение добраться до его поместья на лодке.

– Скоро? – спрашиваю я у него.

Сенатор вглядывается в неясные очертания берега.

– Думаю, через полчаса доберемся до устья... А что все-таки произошло с пароходом? – возвращается он к мучившему его вопросу. – Капитан твердил какую-то несуразицу, пассажиры, выбежавшие со мной, тоже ничего не поняли. Какие-то выстрелы, какая-то суета. Кто это стрелял?

– Мало ли у вас в Сильвервилле стреляют? – говорю я. Открывать сенатору суть происшедшего пока не следует.

– В Сильвервилле – да, – соглашается он. – В Городе же право на огнестрельное оружие имеет только полиция.

– Когда-то вы стреляли в полицию, – не без иронии замечает Мартин.

– То была совсем другая полиция. А эта служит народу.

– Вы хотите сказать – государству, – поправляю я. Мне очень хочется полнее раскрыть Стила.

– Государство – это народ и его хозяйство, – заявляет он, как с сенатской трибуны.

– Но ведь народ – неоднородная масса, – я ищу слова, подходящие для понимания Стила, – это богатые и бедные, аграрии и мелкие фермеры, заводовладельцы и рабочие, хозяева и слуги. И народным хозяйством управляют, увы, не слуги, а хозяева.

– А как же иначе? – искренне удивляется Стил. – Правда, хозяева бывают разные. Одни больше заботятся о благе народа, другие меньше. У нас в сенате больше двух третей – популисты – защитники народа.

– Но не все же популисты единомышленники? – снова подбираюсь я к главному.

Сенатор не принимает вызов.

– Есть, конечно, горячие головы, их приходится остужать... – нехотя цедит он. – Кстати, за этим мыском и находится устье канала, а там и поместье недалеко, – меняет он тему. И только после нескольких наших гребков добавляет: – По своему состоянию и положению я мог бы вступить в партию "джентльменов". У меня несколько тысяч акров земли, скотоводческое ранчо, молочная ферма и прочные связи с оптовиками. Но я, как и отец, предпочитаю быть популистом. Народником.

Нет, это был не Стил-отец, занимавшийся сельским хозяйством вопреки полицейским законам, не Стил-революционер и подпольщик, а Стил-землевладелец. Стил-сенатор, хорошо усвоивший разницу между хозяевами и слугами.

Так мы еще ближе подошли к пониманию современного "рая без памяти".

Глава V

ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС?

Итак, я в том же доме, куда мы приехали пятьдесят лет назад по здешнему времени. Тогда шел десятый год

первого века, ныне – шестидесятый. Дом причудливой деревянной архитектуры с разновеликими окнами и дверьми стоит на холме над бывшим ериком. Он словно совсем не постарел. Та же кораллового цвета жимолость на стенах, та же обегающая дом деревянная галерея, только крыша подновлена толстым слоем недавно срезанной и спрессованной соломы, выдвинутой длинным козырьком над этой обвитой цветущим вьюнком галереей, да вместо ступеней из плоских, вдавленных в землю валунов к дому ведет широкая лестница из тесаного камня. И забора из высоких нетесаных бревен с узкими бойницами уже нет, его заменил чугунный рисунок насквозь просматривающейся ограды.

Одно из окон нашей комнаты выходит в густой фруктовый сад, другое в ясеневую рощицу, полукольцом охватывающую дом, – единственный лесной оазис среди выкорчеванного на километры леса, вместо которого гектар за гектаром тянутся пшеничные и кукурузные поля. Стил уже показал нам их, прокатив по проселку в открытой двухколесной "американке", запряженной парой породистых рысаков. Видели мы и птицеферму, и скотный двор, которому в свое время позавидовал бы любой российский помещик, вместительные амбары для зерна, огороды и молочное хозяйство с маслобойками и сыроварней.

Что изменило Стила, превратило из двадцатилетнего романтического парня, почти дикого, как индеец времен колонизации Американского континента, в крупного хозяина, знающего цену каждому истраченному и заработанному франку? Я застал его после поездки по имению над бухгалтерскими книгами, которые он проверял в присутствии своего ровесника-управляющего. Но как различно выглядели они в этой беседе: один – жесткий и властный, другой – покорный и робкий...

Когда Стил закончил дела с управляющим, у нас наконец произошел разговор, которого я ожидал.

– А все-таки потянуло к политике? – спросил я его.

– Потянуло, – согласился Стил, – сказалась, должно быть, отцовская кровь. Да и здешние фермеры, когда на кантоны новые земли разбили, меня сначала кантональным судьей выбрали, а потом все, как один, – кандидатом

в сенат. Так и прошел без соперников. И каждые выборы выдвигали заново, даже если большинство в сенате переходило к "джентльменам".

– Точнее, к правым?

– Пожалуй.

– Значит, вы – левые?

– Мы – центр. Левые не сформировали собственной партии. Пока это – наше левое крыло, обязанное подчиняться решению большинства, хотя по многим вопросам оно и не согласно с нашей политикой.

– По каким же вопросам?

Стил замялся.

– Трудно сказать, не заглядывая в протоколы заседаний сената. Назову главные. Они, например, за снижение пенсионного возраста и за увеличение пенсий, а мы на это не идем – не позволяет бюджет. Они – за национализацию железных дорог, нефтяных и газовых разработок, ну, а мы, естественно, не хотим ограничивать инициативу хозяев. Интересам государства она не угрожает.

– А интересам народа?

– Я уже говорил, что государство – это народ и его хозяйство, – упрямо повторил Стил.

Я решил не затевать спор. Еще не время. Спросил примирительно:

– Ваши консерваторы-"джентльмены", вероятно, не возражали бы против Мердока?

– Возможно. Но мы сдержим и Мердока, и Донована.

– Кто это – Донован?

– Глава левых. Они еще называют себя марксистами. До сих пор не могу понять это слово. У них даже язык какой-то чудной. Классовая борьба, производительные силы, производственные отношения, прибавочная стоимость...

Я не возражал сенатору, только спрашивал:

– А кто может быть президентом?

– Глава победившей на выборах партии становится одновременно и главой государства. За истекшие полстолетия на этом посту побывали и Фляш и мой отец...

Невольно мне вспомнился Фляш, подпольщик. Именно ему, возможно, и досталась та пачка книг, которую я

положил на грань двух миров – галактического, откуда мы вернулись на Землю, и нашего, земного. Среди этих книг были и философский словарь, и однотомная энциклопедия, и учебник политической экономии для советских вузов. В них хватало материала для того, чтобы уяснить сущность капитализма и социализма, их экономики и политики. Однако подробно расспрашивать Стила о левом крыле популистов я не стал. Его могло насторожить такое любопытство.

– Почему популисты почти всегда побеждают на выборах? Мелких хозяев больше, чем крупных? – так прозвучал мой новый вопрос к сенатору.

Он ответил не сразу, чуть-чуть подумал и отрицательно покачал головой.

– Не потому. Конечно, за нас голосуют батраки и мастеровые, их много. Но хотя заводчики в своем районе вкупе с цеховыми старостами умеют протащить своего депутата, любой фермер-хозяин, независимо от того, сколько у него земли и скота, всегда за нас. Мы страна аграрная, аграрии и у власти.

– Значит, законы, выгодные промышленникам, проваливаете?

– Но невыгодные для нас – да!

– Например?

– Ну, скажем, требуют государственные кредиты на постройку нового завода или железной дороги. А если они не так уж нужны фермерам и промысловикам? Вот и проваливаем – у нас даже без левых две трети в сенате.

– Вы же тормозите прогресс. Я видел ваши сельскохозяйственные машины. На Земле это древность. На лошадях у нас сто лет назад пахали и боронили.

– Самоходные машины есть и у нас. Только производить их невыгодно. Чего-чего, а лошадей здесь хватает. И так они дешевле свиней. Да и прерия еще не освоена, а там диких табунов – тысячи.

– И на улицах газовые фонари, как и пятьдесят лет назад.

– В центре Города провели электричество, а на окраинах – да, газ. Кому нужен такой прогресс, если он втрое дороже. Может, и впятеро. Построили, что необхо-

димо, а на ветер фермер денег бросать не будет. Понадобился телеграф – провели, а телефон, хотя и придумали, не прошел. Дорого! Кто может поставить себе телефон? Завсегдатай клуба состоятельных – да. А счетовод и лавочник обойдутся посыльными. Фермеру же о телефоне даже не заикнешься. Шерифы и судьи посылают верховых, когда нужно, а простой ранчмен и слова такого – телефон – не знает.

Спорить с сенатором о прогрессе явно не стоило. Стил выражал взгляды большинства населения в этом аграрном Городе-государстве. Серебро и медь он использует, будет лить чугун и сталь плавить, пошлет в угольные шахты забойщиков и железную дорогу построит, если нужна она ему для доставки его товаров на рынок, а вот денег на сомнительные, по его мнению, научные эксперименты не даст. Да и не только научные. Зачем, скажет он, строить автозавод, если автомобиль и в мастерских соорудить можно, благо жаждущих автомобильной роскоши не десятки тысяч, а просто десятки, у кого деньги бешеные. Надо строить сначала дороги, а не автозаводы; лошадь и по проселку пройдет, а машина завязнет, особенно зимой или осенью, в дождевую хлябь. Если и не сказал этого Стил, то, весьма вероятно, подумал. А я больше и не спрашивал.

Вижу, как тихо-тихо приоткрывается дверь, и уже знаю, что это входит Мартин. Сто кило на весах, а ходит легко и бесшумно, как вождь из племени сиу – был, наверно, такой индейский предок в безупречной американской родословной Мартина.

Он держит в каждой руке по груше, золотистой и крупной, как наши сухумские "дюшес". Одну из них тут же швыряет мне. Я еле-еле успеваю схватить ее, иначе она шмякнулась бы в стену и растеклась по синему шелку обивки.

– Ошибись ты чуток, и пришлось бы сенатору стенку перебивать.

– У Минни точь-в-точь такое же платье, – смеется Мартин, – вот и дала бы его на заплату.

Я опускаю ноги с дивана и сурово смотрю на Мартина.

– Не переходи границ, Дон. Не крути голову девочке.

– А я и не кручу, – искусно разыгрывает удивление Мартин, – мы просто болтаем. Я мелю всякий вздор, а ей весело. Славная девушка.

По-мужски я понимаю Мартина. Мимо такой девушки трудно пройти равнодушно. Понимаю и то, что Мартин интереснее и содержательнее любого из ее здешних поклонников. Но нельзя допускать, чтобы пусть пока еще невинный флирт перешел в более сильное и глубокое чувство. Нельзя, если рассчитываешь вернуться на Землю.

– Ну, а если мы навсегда здесь останемся? – пристально глядя на меня, спрашивает Мартин.

Я молча пожимаю плечами. В каждом из нас живет тревога, но вместе с ней и надежда, что все кончится, как в прошлый раз: вернулись, да еще так, что на Земле и отсутствия нашего не заметили. Задавать себе снова и снова этот мартиновский вопрос бессмысленно, а потому и не нужно.

– Не думаю. А вот красотка Минни останется здесь, – говорю я. – Чуда не будет.

– Чуда не будет, – вздохнув, повторяет Мартин.

– Конечно. Что невозможно, то невозможно. За кого бы ты выдал ее на Земле? За француженку или американку? Без визы, без паспорта, без свидетельства о рождении.

Нам обоим смешно.

– Ладно, – кивает Мартин, – принял к сведению. Кое-что я уже принял к сведению десять минут назад.

– Что именно?

– Твое назначение.

– Ты о чем?

– Все о том же. Только что сенатор Стил, встретив нас с Минни, отослал ее домой, взял меня под руку и этаким беспокойным шепотком осведомился: "Как вы думаете, мистер Мартин, не согласится ли мсье Ано, если я предложу ему пост советника в моей канцелярии? Сейчас у меня нет никого, кто бы лучше его подходил для этого места".

– Почему же он не спросил об этом меня?

– Он боится, что ты откажешься. Говорит, что ты задал ему много дельных и разносторонних вопросов,

показывающих твой интерес к политике, но он не почувствовал в них симпатии к популистам.

– Сообразительный старик, – усмехаюсь я. – Пусть предложит – не откажусь.

– Я так ему и ответил. А вот мне он ничего не предложил.

Мгновенно родилась идея. Сегодня во время нашего политического диалога с сенатором я увидел на столе одну из здешних газет со странным названием "Брэд энд баттер", по-русски – "Хлеб с маслом". Обыкновенный восьмистраничный бульварный листок с крикливыми заголовками. "Газета неогалунщиков, – хмыкнул сенатор, – а владелец и вдохновитель ее – ваш друг Тур Мердок". – "Почему такое странное название?" – спросил я, проглотив "друга". "Хлеб с маслом для каждого" – девиз газеты, – пояснил Стил, – только я бы добавил: "для каждого подонка и выродка". Я просмотрел уголовную хронику с первой полосы до последней и понял, что сенатор прав.

Выкладываю свою идею Мартину.

– Ты будешь работать у Мердока.

Мартин, не отвечая, недоуменно таращит глаза.

– Достань из мусорной корзины газету, которую я взял у Стила, и просмотри ее повнимательнее. Тогда поговорим.

Мартин так и делает. Не прерывая чтения, спрашивает:

– Газета Мердока?

– Она.

– Смрадная газетенка.

– Тем лучше.

– Ничего не понимаю. Почему я должен нырнуть в эту политическую нору? Что скажет Стил?

– Сенатора убедим в полезности акции.

– Но я же не стану писать политических пасквилей.

– И не пиши. Ты будешь работать в отделе уголовной хроники. В эту нору ты и нырнешь. На дно Города. Необъятный источник нужной нам информации. Все подпольные связи Мердока. Все замыслы его банды. Думаешь, он ограничивается открытой политической борьбой? У него есть и другие средства: от закулисной

парламентской игры до откровенно бандитских налетов. Все это готовится понемногу и именно на дне Города, ведь пока Стил – сенатор, уголовные низы не подымутся наверх, а банда Мердока не станет партией. Вот там и будет своим человеком репортер уголовной хроники Дональд Мартин.

Кажется, я убедил Мартина. Он больше не удивляется и не кипит. Он затих. Только, перелистав еще раз все восемь газетных страниц, говорит с грустью:

– Помойка и есть помойка.

– А разве я не работал у Корсона Бойла? Да и ты, кажется, там подрабатывал. Скажешь, нет? И таких газетных помоек в вашей Америке тоже нет?

– Ладно уж, давай ближе к делу.

– О твоем устройстве я сам позабочусь. Оно окупится для Мердока моей близостью к Стилу. Советник сенатора – не так плохо звучит. Мердок это сразу раскусит. Меня лично беспокоит другое. Как мы будем поддерживать связь, находясь в разных политических лагерях?

– Придумаем что-нибудь.

– Явки найдутся, Мердоку, несомненно, потребуется где-то и что-то передать мне. Пусть и думает. А вот нам с тобой, кроме явок, нужны и связные. Хорошо бы найти двух верных парней, которые не обманут и не продадут.

И тут я вспоминаю двух студентов из Сильвервилля. Пит и Луи! Пожалуй, единственные, на кого мы могли бы рассчитывать.

Глава VI

В "БЕРЛОГЕ" МЕРДОКА

Мы ехали верхом в Вудвилль – речной порт в центре рыбных промыслов "Веррье и сыновья". Нам предлагали сенаторскую карету, но мы отказались: верхом удобнее и легче, не нужно трястись по ухабам на лесной дороге. Из Вудвилля в Город мы уже поедем по железной дороге.

Сенатор выехал на несколько дней раньше. Документы он нам выдал, скрепив их своей подписью и личной сенаторской печатью. Я именовался советником канцеля-

рии Стила, а Мартин – прикомандированным ко мне сотрудником для поручений. Перебросить Мартина в газету Мердока я еще сумею, пока же полученные документы дают нам право на существование в Городе.

Днем мы ехали без приключений, никого не встретив, ни пешего, ни конного, ни кареты, а к вечеру, когда стемнело – темнеет здесь после шести даже летом, – развели костер на придорожной полянке. Сухие сучья трещат, разгораясь, головешки алеют, как раскаленное железо в кузнице, дым столбом подымается за кроны деревьев к черному небу – ветра нет, и сквозь тучи не видно звезд.

– Ни на Стила, ни на Мердока я работать не буду, – говорю я. – Один – либерал, другой – авантюрист. Мне нужны настоящие люди, вроде Стила-отца или Фляша.

– А они есть?

– Наверняка.

– Я не коммунист. Юри, и помогать им не собираюсь.

– Мы призваны сюда не помогать – так я по крайней мере думаю, – а посмотреть, как развивается здешнее общество. А что думает об этом народ, лучше узнать у Донована. Полагаю, он судит вернее других.

– Кто это – Донован? – спрашивает Мартин, как я недавно спросил у Стила.

Я объясняю.

– Надеюсь, мы не будем здесь устраивать вторую революцию? – усмехается Мартин.

– Не будем. Но мы будем работать на тех и для тех, кто нам ближе по духу.

– А Стил тебя не устраивает?

– Стил – крупный землевладелец, помещик – по-русски, он также далек от бедняка, как твои рокфеллеры и морганы.

– Допустим.

– Так подбрось сучьев в костер, а то он уже гаснет.

Из темноты леса совсем близко доносится насмешливый голос:

– Как ни приятно погреться у костра, джентльмены, вам все же придется его погасить.

К костру из-за деревьев выходят пятеро или шестеро мужчин – от неожиданности я не сосчитал сколько – в

широкополых соломенных и фетровых шляпах, с черными платками на лицах, до глаз, и с автоматами, нацеленными прямо на нас. Один из них, длиннорукий верзила, приблизившись, командует:

– Руки!

– Мы без оружия, мистер, можете обыскать, – говорит Мартин.

Верзила оглядывается на стоящего чуть позади коренастого крепыша-коротышку:

– Обыщи!

Мы встаем, и крепыш профессионально ощупывает наши карманы.

– Ничего у них нет, Чек.

– Мсье Ано и мистер Мартин, не так ли? – спрашивает верзила, по-прежнему держа палец на спусковом крючке.

Я успеваю разглядеть только высокие фермерские штиблеты, голубую застиранную рубаху и широкую, расшитую золотыми блестками повязку на рукаве. "Галун!"

– Поедете с нами.

– Куда? – рискует спросить Мартин.

– Куда надо.

Мы едем по тому же проселку, теперь уже в сопровождении вооруженных всадников. По бокам у меня – верзила в сомбреро и обыскивавший нас крепыш-коротышка. Мартин едет сзади с таким же "эскортом". Верзила вдруг останавливается, снимает платок с лица и закуривает.

– Узнал меня, стрелок?

– По голосу.

– Метко стреляешь. Если бы не хозяин, мы бы еще пощелкали. А то мне даже пришлось за разбитую бутылку платить.

– Могу отдать, друг Пасква.

– Запомнил, значит? И я запомнил.

– Тем лучше, – говорю я, – пригодится на будущее.

Куда и зачем нас везут? Ограбить? У нас ничего ценного с собой нет, кроме нескольких сот франков наличными. Отнять их они могли бы и на полянке у костра. Убить? Но и убить можно было там же, ведь

лесная дорога темна и пустынна. После того, как я узнал верзилу из "Веселого петуха" в Сильвервилле, все больше убеждаюсь, что мы нужны не ему. Похоже его хозяин Тур Мердок где-то поблизости...

На развилке поворачиваем влево. Еще полчаса – и мы останавливаемся у ворот забора, уходящего в глубину леса. В сутках здесь восемнадцать часов, и ночь, недавно начавшаяся, уже тает в предрассветном тумане. Забор отлично виден: высокий, из толстых, почти четырехметровых, бревен, совсем как у Стила пятьдесят лет назад. Тяжелые ворота нудно скрипят. По мощенной камнем дороге мы подъезжаем к небольшой бревенчатой даче, покрытой толстым слоем спрессованного и высушенного тростника. Нас никто не встречает. Пасква, толкнув незапертую дверь, пропускает меня и Мартина вперед в сени, а затем в комнату с огромным камином, в котором горят целые бревна. Этот огонь и является единственным освещением комнаты, где несколько человек за непокрытым деревянным столом играют в карты.

Пасква проходит в дверь, едва заметную в глубине комнаты, и тотчас же возвращается.

– Ано может войти, а Мартин пока останется здесь.

– Мсье Ано, – говорю я ему, – и твердо запомните это на будущее.

Пасква не отвечает, а Мартин садится на скамью подальше от камина – ему и так жарко от верховой езды. Я вхожу в другую комнату, бревенчатую, без обоев, но хорошо меблированную, с большим мягким ковром на полу. В комнате светло, хотя и освещает ее только десяток толстых свечей в грубых деревянных подсвечниках. Встречает меня сам Тур Мердок.

– Садитесь, мсье Ано. – Приветливая улыбка играет на его темных губах, и тонкие, почти женские руки указывают на одно из двух обитых красным бархатом кресел. – Рад видеть вас в моей летней берлоге.

Я начинаю злиться.

– Приглашение с вооруженным эскортом?

– А вы бы приехали иначе?

– Возможно.

– Мне нужно было наверняка. Я знал, что вы поедете верхом, знал, и когда вы поедете.

– Откуда?

– Это мой маленький секрет, мсье Ано, но, чтобы вы не мучились над его разгадкой, скажу вам, что у меня есть кое-кто в сенаторском окружении. Я даже знаю о вашем назначении. И самое главное – вы мне нужны. Тем более, что мы договорились обо всем еще в Сильвервилле.

Решаю, как говорится, брать быка за рога.

– Так что же вы предлагаете, мистер Мердок, и что требуется от меня?

– Предлагаю вам десять тысяч франков. Первую половину вы получите по приезде в Город от моего банковского агента. Остаток – по окончании дела.

Я не спрашиваю – какого дела, пусть сам расскажет.

– Крупно играете, Мердок, – намеренно опускаю "мистера".

Мердок принимает вызов.

– Чем крупнее игра, Ано, тем интереснее игрокам.

Моя ставка в этой игре – десять тысяч. Ваша – голос сенатора Стила, поданный за легализацию моей партии.

– Какую цену может иметь один голос Стила?

– Огромную. Вслед за ним проголосуют все аграрии и цеховые старосты. "Джентльмены" воздержатся, а трудовики останутся в меньшинстве.

– Цеховые старосты – это лидеры профессиональных союзов? – спрашиваю я, не замечая, что прибегаю уже к чисто земной терминологии.

Но Мердок замечает.

– Странный жаргон у вас, – кривится он, – мы так не говорим. Сразу ясно, что вы далеки от политики.

– Даже не знаю, кто такие трудовики.

– Донововановское крыло популистов. Несколько старых мечтателей и мальчишки, вообразившие себя взрослыми.

– Вот видите, – говорю я, – с моим ничтожным опытом в политике трудно согласиться на вашу игру. Предлагаю другие условия.

– Какие?

– Никаких авансов. Выйдет – хорошо, не выйдет – не взыщите.

– Значит, все-таки допускаете, что можно убедить Стила?

– Можно попытаться его убедить.

– Так почему же отказываться от пяти тысяч? Не понимаю ваших мотивов.

– Элементарная честность, Мердок. Я никогда не беру денег взаймы, если не уверен, что смогу их отдать.

– Но в игру входите?

– Рискну.

– Может быть, подключить и Дональда Мартина?

– У меня есть другое предложение о Мартине. Устройте его репортером в вашу газету.

– Но газета не моя, а Тинкросса.

– Не будем начинать с обмана, Мердок. Я знаю, кто истинный хозяин и вдохновитель этой газеты. А Мартину она нравится, и он просто мечтает стать журналистом.

Мердок молчит. Смущен или недоволен? Бесцеремонно открываю дверь и кричу:

– Мартин, войди!

Мартин входит с искательной улыбкой – готовый к своей новой роли.

– Вы никогда не работали в газете, Мартин?

– Нет, мистер Мердок.

– А что вы делали раньше?

– Путешествовал вместе с Ано, мистер Мердок. Скитались в прерии, в северо-восточных лесах, у истоков Реки.

– Вот и попробуйте написать об этом в газете. Читателям будет интересно узнать об еще не освоенных землях.

– Я хотел бы работать в отделе хроники, мистер Мердок. Городской хроники.

– Хорошо. Но о путешествиях тоже напишите. Я дам вам записку к редактору "Брэд энд баттер". Знаете эту газету?

– Я восхищен ею, мистер Мердок.

– Там сильный политический отдел. Последовательная критика махинаций в сенате. Что же касается городской хроники...

– Мне нравится ее подход к событиям, мистер Мердок, – осмеливается перебить Мартин, – опередить полицию, проникнуть в тайну случившегося раньше нее, раскрыть

скандал в благородном семействе или сомнительную репутацию какого-нибудь безгрешного деятеля...

Мердок явно польщен.

– Пожалуй, вы для этого подходите, Мартин. Может быть, и я когда-нибудь дам вам кое-какие поручения. А теперь оставьте нас на минуту.

Удачно сыгравший свою роль Мартин, склонив почтительно голову, удаляется. Мердок излучает великодушие и благожелательность.

– Довольны, Ано?

– Мне кажется, что и я могу задать вам тот же вопрос. Я знал, что Мартин годится для многого, во всяком случае связь можно поддерживать через него. Ему ведь понадобится по ходу работы сенатская хроника?

– А вы умница, Ано, – смеется Мердок. – Только учтите срочность. Голосование в сенате мне нужно выиграть до начала избирательной кампании. Хорошо бы еще до конвенции популистов в Вудвилле.

– Почему в Вудвилле, а не в Городе? – спрашиваю я.

– Потому что Вудвилль – центр крупнейшего промыслового и фермерского кантона. По берегу Реки – промыслы, ближе к лесу – поместья. А в ста километрах за Вудвиллем уже прерия – вотчина ранчменов. В Городе у популистов, пожалуй, сильнее трудовики.

На этом, собственно, кончается наша беседа. Мы ужинаем, дружески прощаемся с Мердоком, пожелавшим подчеркнуть напоследок, что Пасква и остальные отнюдь не слуги, а его избиратели, получаем своих отдохнувших накормленных лошадей и уже без всякого "эскорта" покидаем "берлогу". Мы здесь гости, а следовательно – союзники.

И вот мы снова на лесной дороге с ухабами, болотцами. То съезжаемся, то опережаем друг друга. Разговаривать трудно. Размышляю о соглашении с Мердоком. Легализация реставраторов мне ненавистна: когда-то я и мои друзья боролись против полицейской диктатуры. Не собирался я убеждать Стила и явно рисковал, обманывая Мердока. Зачем? Нет, Мердок мне нужен, как и Стил, чтобы понять политическую структуру этого выросшего

уже без постороннего вмешательства мира. Даже беседуя с Мердоком, я мысленно искал ему аналог на Земле. Может быть, это здешний фон Тадден, фигура у нас давно провалившаяся, обреченная на провал и здесь, потому что цель у обоих одна и та же – реставрация прошлого. С фон Таддеком роднит Мердока и политическая одержимость, почти фанатизм, желание действительно вернуть "золотой век", несомненный опыт искусного оратора и политического авантюриста. Есть в нем и черты главарей мафии: сметливый, подлый ум, дерзость и расчетливость игрока, жажда власти.

Все это я высказываю Мартину.

– Философствуешь, – говорит он, сдерживая лошадь. – А пожалуй, похоже. Только одного не понимаю: ты же все равно обманешь Мердока.

– Обману, чтобы помешать.

– Для чего? Ему и Стил помешает.

– Мы еще не знаем соотношения сил в сенате. Может быть, Стил ошибается. Мы вообще не знаем Города. Что здесь осталось, что родилось и что выросло. Вот и начнем изучать. Я – сверху, ты – снизу.

– Ну, изучим, а дальше?

– Дальше посмотрим, с кем мы.

– Ты уже говорил.

– Я и повторяю. Мы еще не знаем экономики государства, не знаем ни промышленности, ни пролетариата. Рассказ Стила неполон. Пролетариат есть, но достаточно ли он вырос? Есть ли у него настоящие вожди?

– Сразу видно коммуниста, – замечает Мартин. – Пролетариат, Маркс, капитализм, социализм.

Я не сержусь на Мартина. Отлично все понимает, но притворяется. Просто не хочет рисковать. Проводить время с Минни куда интереснее. Но сделать – все сделает. Поэтому я умолкаю.

– Послушай, а где они будут искать серебро и кого обвинят в ограблении? – вдруг спрашивает Мартин, круто переменив тему разговора.

– Кто это "они"?

– "Кто, кто"! Правительство, полиция, розыск.

– Полиция, – говорю я, – здесь, вероятно, наполовину подкуплена. Ничего и никого не найдет. Мердока же вообще даже упоминать не будут.

– А серебро-то у него в кармане, – ухмыляется Мартин.

– Ты так уверен?

– Зря, что ли, я сидел в комнате с камином. У стены люк в подвал. Его открыли и вносили туда ящики. Я и спросил: что это?

– Как же тебе ответили?

– Сказали: помалкивай, пока цел. Найдем, если проболтаешься.

– Может быть, ящики с оружием или продовольствием?

– Я узнал их. Те самые, которые грузили с причала в кормовой люк "Гека Финна".

Глава VII

ГОРОД ШЕСТИДЕСЯТОГО ГОДА

В Вудвилль мы прибыли вечером и уехали оттуда утром на другой день. С городком как следует и не познакомились. То, что увидели, проезжая по улицам, казалось чуточку посолиднее и побогаче, чем в Сильвервилле, – меньше дощатых и бревенчатых хижин, дома – каменные, из розового туфа, как у нас в Армении, некоторые отделаны гранитом и кремовым песчаником. Вывески ярче и крупнее. Добротно выглядела и гостиница "Веррье-отель" с колоннадой у входа. Ее владелец Гастон Веррье, к которому мы направлялись по указанию Стила, любезно предоставил нам комнаты в своей огромной квартире, занимавшей весь первый этаж гостиницы. Веррье, толстенький, разбитной француз с чисто выбритым лицом и аккуратно подстриженными седоватыми бачками, владел рыболовными промыслами по берегу Реки. Мы видели их, проезжая, – бараки и хижины, опрокинутые лодки на берегу и сети, натянутые на кольях. Ему принадлежали и виноградники на склонах холмов, примыкавших к городку с севера. Принял он нас гостеприимно и радушно, познакомил со своим типично французским семейством, приказал отвести наших измученных лошадей

на конюшню, угостил обильным и сытным ужином. За ужином мы узнали, что "все порядочное население города голосует за популистов". "Кого же вы считаете непорядочными?" – спросил я как можно серьезнее, чтобы хозяин не почувствовал скрытой иронии. "Рыбаков-поденщиков, – охотно пояснил он, – тех, кого нанимаешь на ловлю. Ненадежные люди". – "А они за кого голосуют?" – поинтересовался я. "Ни за кого, – пожал плечами Веррье, – индифферентны. Их мог бы купить Мердок, да у него, к счастью, и партии нет". – "А трудовики?" – "Заводов здесь нет – нет у трудовиков здесь и базы, а приезжих агитаторов мы не любим, – сказал хозяин. – Мы, настоящие популисты, не очень-то жалуем своих левых".

Утром, простившись с Веррье, Мартин и я уже сидели в купе первого класса железной дороги Вудвилль – Город. Как непохоже было это путешествие на первую нашу поездку в Город пятьдесят лет назад. Тогда – запряженный шестеркой битюгов автобус, облупленный и запыленный, не дилижанс, воспетый Андерсеном и Диккенсом, а именно земной автобус, без мотора, который выбросили из-за отсутствия бензина, с рваными, обтрепанными сиденьями, торчащими пружинами; пассажиры – несколько запоздавших с загородной прогулки туристов, одетых совсем как земные парни и девушки. Сейчас – роскошное купе железнодорожного вагона, пассажиры в цветных сюртуках и длинных бархатных и кружевных платьях, толстые свечи в медных подсвечниках, старомодные саквояжи и кофры, обед, принесенный вышколенным официантом из вагона-ресторана, и медленно плывущие пейзажи за окном – то лиственный лес, то газон на фермах, то коровы на лугах, то редкие трубы заводов, поближе к Городу. Так, должно быть, ездили в Южной Германии или Швейцарии в восьмидесятых годах прошлого века.

До самого вокзального перрона меня не оставляла тревожная мысль о встрече с Городом. Что живо, что умерло, что изменилось? Не изменилась каменная брусчатка у заставы и утрамбованная сухая глина в примыкающих переулочках. Сохранилась центральная, немощеная, с рыхлой землей дорожка посреди улицы – по ней, как и раньше, скакали верховые: курьеры,

порученцы государственных и частных контор, конные полицейские и просто любители верховой езды. Остались и велорикши. Появились легкие ландо и фиакры, а проще говоря, двухместные и четырехместные кареты и коляски на литых и дутых шинах, как у московских лихачей в дореволюционные годы. Я увидел и конку – легкий, открытый со всех сторон вагон, запряженный четверкой лошадей, тащивших его довольно быстро по врезанным в камень рельсам. Начинался Город тогда – полстолетия назад – с ободранных автобусов, поставленных на сваи ушедшими на пенсию полицейскими, и "бидонвиллей" – самодельных хижин из пустых бидонов, канистр и ящиков, а сейчас началом его стал вокзал. Выстроенный, вероятно, лет двадцать назад, ныне он постарел, облупился, но для меня он был неким новым явлением, преобразовавшим въезд в Город. Отсюда расходились длинные серые заборы, почерневшие от дыма и гари приземистые заводские корпуса и высокие каменные трубы, извергавшие в ясное прежде небо облака черной копоти.

Ехали мы в открытой коляске. Кучер в желтой крылатке время от времени взмахивал плетеным бичом, странно напоминающим удочку. Чем глубже проникали мы на территорию Города, едва уловимые изменения становились для меня все ярче и разительнее. На улицах стало как бы просторнее и тише: мне объяснили потом, что почти половина или по меньшей мере треть городского населения – в большинстве одинокие мужчины и жаждущая романтики молодежь – покинула Город в поисках счастья на необжитых землях. Любопытные последствия этой миграции я узнал позже, пока же удивляло отсутствие привычной уличной толкотни, памятной мне по совместным нашим хождениям по здешним улицам пятьдесят лет назад. Удивляло обилие магазинов и всевозможных частных контор. Вовсю шла частная торговля и торговлишка, как в любом земном городе, куда еще не докатились чудеса супермаркетов и универсамов. Большие магазины и крохотные лавчонки, ларьки и киоски попадались буквально на каждом шагу. Девятнадцатый век, как и в Сильвервилле, соседствовал с двадцатым. В центре высились электрические фонари,

и гирлянды лампочек украшали входы кинотеатров и кафешантанов – я употребляю именно это слово, потому что увидел его над застекленным входом в дом, по фасаду которого даже днем бежали электрические буквы. Судя по всему, и кинотеатры и этот, видимо, самый модный в Городе кафешантан с мопассановским названием. "Фоли-Бержер" имели достаточно средств для того, чтобы позволить себе электрическую рекламу. Что показывали в кинотеатрах – немые или звуковые фильмы, – я еще не знал, только позже мне стало известно, что до звукового кино здешний прогресс еще не добрался и маленькие городские киношки обходились Глупышкиным и Верой Холодной на местный лад. По когда-то лесистым, а теперь наголо "обритым" горным склонам, продолжавшим Город, рассыпались в беспорядке улиц и переулков уже не самодельные бревенчатые хижины, а каменные хоромы богачей, окруженные садами. Город, несомненно, разбогател, подравнялся и удивлявшая прежде в нем "склеенность" американского и французского провинциальных пейзажей стала как-то менее заметной, не бросающейся в глаза.

Отель "Омон" нас встретил бальзаковской старомодностью, характерной для него и пятьдесят лет назад. Те же тяжелые плюшевые портьеры, старинные канделябры, пузатая мебель, которую на Земле увидишь лишь на аукционах или в музеях. Только вместо фотографий Города и афиш, украшавших когда-то стены холла, теперь висели картины. Свечи в канделябрах были прежние – восковые, но люстра уже светила электрическими лампами. Отель, видимо, был настолько преуспевающий, что мог тоже позволить себе и электрическое освещение, и телефон, правда не в комнатах, а только у стойки похожего на директора банка портье.

Сейчас, после недельного бездействия, на которое я был обречен отсутствием Стила, неожиданно уехавшего в Ойлер для встречи с будущими своими избирателями и не успевшего даже познакомить меня с обязанностями советника канцелярии, я уже вжился в тихий отельный быт, привык к некрикливым темным краскам, бесшумной поступи слуг, к угрюмой неразговорчивости коридорных и чинной клубной обстановке бара. Отель наполовину

пуст – говорят, из-за летних сенатских каникул, и я часами просиживаю за стойкой бара с единственным собеседником, шестидесятипятилетним барменом, помнившим и отель, и Город такими, какими видел их я пятьдесят лет назад по здешнему времени.

– Да, Город тогда был другим, – приходится кое-что присочинять мне, – еще отец рассказывал. Впрочем, и с моих мальчишеских лет здесь многое изменилось.

– Вы долго здесь не были? – спрашивает бармен.

– Лет десять. Теперь мне уже тридцать. После колледжа ушел в леса. Далеко по северо-востоку бродил.

– Я читал о ваших приключениях в газете. Мистер Мартин писал, тот, что живет в тридцатом номере. Ваш спутник.

– Теперь мы разделились, – говорю я, так как мы условились с Мартином не поддерживать открыто дружеских отношений. – Ведь это не наша газета, Эд.

– Знаю. Но в ней есть что почитать. Вот вы за эти годы многое увидели и узнали.

– А Город увидел и не узнал.

– Народу поменьше. Пятьдесят лет назад до миллиона доходило, а сейчас тысяч семьсот, не больше. Я не считаю пригородов. Там новых заводов понастроили.

– Уходит, значит, народ?

– Молодежь. Вроде вас, когда вы в леса сбежали. И теперь бегут. С луком и стрелами, как и раньше. Не всякий может охотничью двухстволку купить. Да и просто так уходят. С ножом, с лопатой. Земли много – только ищи да налог плати. А уйдешь подальше, так и бесплатно просуществуешь. И существуют. Дичью торгуют, шкурками. А меха нынче в моде.

– Значит, нуждается Город в рабочих руках?

– Держится мастеровщинка. И в мастерских, и на фабриках. Высокая оплата труда. Приходится раскошеливаться, если хочешь рабочих держать.

– А сколько платят? – спрашиваю я, вспоминая о своих пяти франках в день у Фляшона.

– В шахтах больше пятидесяти франков за смену. Только там человека, как лимон, выжимают. По десять часов в день при двухсменной работе. И на прокатном,

и на чугунолитейном, и на машиностроительном – все то же. Только в мастерских малость полегче, зато и плата поменьше. Цеховые старосты регулируют.

– Так ведь и оттуда можно уйти.

– Пожилые и семейные не уходят. Где ни работай – проживешь, не жалуясь.

– А ты оптимист, Эд. Платят хорошо, еще не значит, что жить хорошо.

– Так трудовики говорят, – пожимает плечами Эд.

– Слышал их?

– Я на митинги не хожу.

Информацию бармена я корректирую информацией Мартина. Он уже несколько дней работает в редакции "Брэд энд баттер". Стил, узнав об этом, сначала рассвирепел:

– Прохвост ваш Мартин! Не ожидал...

– Не сердитесь, сенатор. Это в наших же интересах.

– Не понимаю.

– Сейчас поймете. Мердок серьезный противник. Надо проникнуть в его замыслы, в его игру. А игру он ведет крупную, я уже кое-что знаю о ней. Так вот, сенатор, пришлось пожертвовать Мартином, послав его в эту газету. Он многое может услышать и о многом узнать. Теперь у нас свой человек во вражеском лагере.

– Грязное это дело, Ано.

– Не очень чистое, согласен. Но для нас полезное. Даже больше – необходимое...

– А вы не преувеличиваете значение Мердока как политической личности?

– Боюсь, что нет, сенатор. Личность незаурядная. И думаю, очень опасная.

– Возможно, вы правы, Ано. Мартин не протестовал?

– Я убедил его, сенатор. Все в порядке. Можете спокойно ехать в Ойлер.

...Мы встретились с Мартином еще до приезда сенатора. Мартин не один, с ним Луи и Пит, разысканные в общежитии политехнички. Внешне – неброско одетые: не то студенты, не то клерки, встретишь на улице – не оглянешься. И оба сияют – пожалуй, это самое точное определение их душевного состояния.

– Ребята согласны, Юри. Я обещал им по пятнадцать франков в день, в три раза больше, чем у Фляшона. Только работать будут неполный день – они еще учатся.

– Одному из вас придется помогать мне в канцелярии, – говорю я. – Просматривать документы, сенатские протоколы, отчеты, подбирать нужную мне информацию. Какую именно, поясню, когда приступим к делу. Другой будет связан с Мартином. Работа на ногах, с людьми, информаторская, агентурная. Кому что – выбирайте сами.

– Человек я неразговорчивый – предпочту писанину, – высказывается первым Пит.

– А я – "на ногах и с людьми", – тут же вставляет Луи.

Наконец Луи и Пит уходят, получив за неделю вперед, а мы с Мартином остаемся вдвоем.

– Выкладывай, – тороплю я его. – Что узнал?

– Многое. Нет ни кризисов, ни экономических спадов, ни биржевой паники. Даже безработицы нет. Без работы только инвалиды и нищие-профессионалы, которых, кстати, ловят и ссылают на рудники.

– Знаю.

– Зато пособия инвалидам труда ничтожны, а семьям погибших на работе ни хозяева, ни государство вообще не платят. Пенсии начисляются с семидесяти лет, и только мужчинам. Женский труд оплачивается дешевле, и пенсией женщины не обеспечиваются. Таков популистский прогресс на практике. За полсотни лет построено не больше двух десятков заводов, значительная часть мастерских реорганизована в мелкие фабрички, тяжелая промышленность только развертывается, до и то лишь в пределах нужд сельского хозяйства, в легкой преобладает система надомников, а фабричных рабочих всего тысяч двести. Их здесь именуют по-старому: мастеровые. Никакой техники безопасности на предприятиях нет и в помине. Детский труд узаконен и не преследуется.

– А как с наукой?

– Кого из ученых встретишь на "дне"? Говорил я, правда, с одним бывшим университетским профессором – математиком. Математика, Юри, здесь на уровне девятисотых годов. Лучше других работают заводские научные

лаборатории, в частности лаборатория некоего Уэнделла, заводчика, отпускающего на нее большие средства. Но все это редкие исключения, лишь подтверждающие промышленную отсталость Города.

Мартин рассказывает подробно и дельно. Но мне этого мало, мне нужно связать экономическую информацию с политической.

– А на "дне" вообще не говорят о политике, – усмехается Мартин. – Здесь голосуют за тех, кто платит. Покупателей и перекупщиков голосов и у "джентльменов", и у популистов в одном только рыночном районе десятки. Даже лидер "джентльменской" партии Рондель не брезгует покупкой голосов на меновом рынке. А привокзальные бильярдные и бары закуплены на корню популистами. За партийного соратника Стила, сенатора Клайна, – он же оптовый торговец рыбой в американском секторе, – голосовали на прошлых выборах сотни хозяев мелких лавчонок и рыбных ларьков. Думаешь, из солидарности? Нет, это стоило ему, как мне рассказали в редакции, больше ста тысяч франков. Мердок единственный не покупает пока голоса избирателей, но когда ему это понадобится, у него будет все "дно", от уличных забегаловок до клубных игорных домов. Тот же Пасква приведет ему тысячи и в Сильвервилле, и в самом Городе, где я уже встретил нескольких его друзей из памятной нам "берлоги". Кстати, о Мердоке,– тут Мартин понижает голос, словно боится, что кто-нибудь может подслушать, – я почти уверен: он замышляет что-то новенькое.

– А конкретно?

– Некто по имени Фревилл контролирует все притоны в американском секторе. Похоже, это – ставленник Мердока. Тут и питейные заведения, и салуны с потайными игорными залами, и бильярдные с барами. А во французском секторе правит некий Бидо, предпочитающий не делить доходы с Фревиллом. Так вот, с Бидо решили покончить. Как и когда, не знаю, но один тип проболтался, что скоро из Бидо сделают мясной пудинг. Только, я думаю, не наше это дело, Юри.

– Правильно думаешь. Мы не в старом Чикаго.

Я даже не предполагал, как мы ошибались.

Глава VIII

ПЕРВЫЙ УДАР МЕРДОКА

Сегодня приехал Стил. Я еще не видел его, но получил от него записку, приглашающую меня к ужину в сенатском клубе на шесть часов вечера. Сейчас – без четверти шесть, лошади поданы к подъезду гостиницы, и я отправляюсь в клуб.

Стил опоздал на четыре дня, а за это время произошли события, о которых необходимо рассказать. Началось все как раз четыре дня назад с воскресной утренней почты. Среди газет было письмо сенатора, сообщавшего, что он вынужден задержаться, и если я захочу, то могу ознакомиться и без него с деятельностью сената. Одновременно он прислал чек на тысячу франков и чистый гербовый лист со своей подписью и сургучной печатью, куда я мог вписать все, что мне заблагорассудится. Этот знак безграничного доверия полностью раскрывал отношение Стила ко мне.

Сначала я прочитал утренние газеты. Интересовали меня, понятно, не объявления и не уголовная хроника, а передовицы и комментарии – их политическое кредо. В частности, внимание привлекли две статьи, обе редакционные, без подписи. Консервативный "Джентльмен" задавал, на первый взгляд, чисто риторический вопрос: почему бы не разрешить создание политических ассоциаций, которые могли бы участвовать в выборах наряду с уже действующими партиями? Такие ассоциации, не ограниченные ни численностью, ни направлением, способны были бы объединить евангелистско-католические круги, студенчество, кое-какие прослойки в обеих сенатских партиях, которым уже становится тесно в официальных партийных рамках. Подтекст здесь был ясен. Билль о политических ассоциациях расколол бы не "джентльменов", а популистов. Церковные круги, получив самостоятельность, блокировались бы в сенате с правыми. Студенчество – разномастное политически – вообще не смогло бы образовать единой организации, а выделение трудовиков "джентльменам" ничем не угрожало бы из-за

малочисленности левого крыла. Но самое интересное было не в этом. Газета не упоминала о Мердоке и его "реставраторах", а ведь билль о политических ассоциациях именно ему и открывал путь в сенат.

Другая наводящая на размышление статья была опубликована в мердоковской "Брэд энд баттер". Говорилось в ней тоже о выборах, только в ином аспекте: о шантаже и подкупе избирателей, о покупке голосов оптом и в розницу в городских пивных, салунах и барах. Упрекнуть автора можно было бы лишь в чересчур развязной и крикливой манере. Но писал он правду, подтверждая то, о чем рассказывал Мартин, только не называя имен. Газета обещала назвать имена и представить документальные доказательства подкупа, если потребуют обстоятельства. Она выражала надежду, что обе сенатские партии учтут все это в предстоящей избирательной кампании и сумеют обойтись без мошенничества.

Настораживало само обещание "назвать имена и представить документальные доказательства". Какие цели преследовал такой выпад! Скомпрометировать популистов и "джентльменов"? Зачем? Ведь у Мердока еще не было партии. Только популистов? Это имело бы смысл, если бы он рассчитывал на победу правых: судя по осторожному выступлению "джентльменской" газеты, у него были связи и в их лагере. Но почему обещание "скомпрометировать" адресовалось деятелям обеих партий? Может быть, это – угроза возможным соперникам, чтобы побудить их к принятию билля о создании политических ассоциаций? Или Мердок заранее знал о "джентльменской" статье, и билль этот уже кем-то придуман, отредактирован, и кто-то предложит его на одном из заседаний сената?..

Кое-что я узнал чуточку позже.

В комнату ко мне постучался лифт-бой и пригласил спуститься к телефону у стойки портье.

– Говорит Мердок, – услышал я знакомый любезный голос. – У подъезда гостиницы ждет фиакр. Через четверть часа вы будете в моей городской "берлоге". Я угощу вас нежнейшим "Вудвилльским полусухим" и отпущу с тем же кучером. Потеряете час, не больше. Удружите, мсье Ано. Не огорчайте отказом.

Я не отказал и поехал.

"Берлога" оказалась уютным каменным особняком в глубине розового цветника, окруженного декоративной жимолостью. Мердок, в элегантном домашнем халате, встретил меня на крыльце и провел в кабинет.

– Садитесь, Ано, – сказал он, поставив передо мной бокал вина. – Есть дело.

– Догадываюсь.

– Едва ли. Сегодня вы вместе с письмом от сенатора получили чистый гербовый лист с его подписью и печатью. Туда можно вписать что угодно.

– Вы отлично информированы, Мердок.

Я вспомнил тихого старичка-управляющего с вкрадчивыми манерами. Только он один знал о нашем с Мартином отъезде и знал все: и по какой дороге мы должны были ехать, и то, что мы поедем верхом. И только через него Стил мог отправить свое письмо с бланком.

– Мы можем лишить вас этого источника информации, Мердок, – добавил я.

– Охотно им пожертвую, – отмахнулся Мердок. – Слишком стар и не всегда расторопен. Но у меня есть свои люди и в отеле "Омон". Скрывать от вас это я не собираюсь – лишний раз убедитесь в моих возможностях. И, как вы сами понимаете, я распорядился после вашего отъезда заглянуть к вам в комнату и достать для меня этот чистый лист. Он мне понадобится скорее, чем вам. Но не пугайтесь – другие документы я приказал не трогать. Все останется на месте.

– Чистого листа больше нет, – сказал я.

Это было правдой. Прочитав статью "Брэд энд баттер", я вписал в него от имени Стила просьбу к директору избирательных кампаний партии популистов допустить молодого научного работника Питера Селби к партийной документации по прошлым выборам: Селби, мол, пишет книги о популистской партии и нуждается в изучении ее архивов. Ни один из документов не будет вынесен из канцелярии директора, молодой ученый все просмотрит у него на глазах.

– Та-ак, – протянул Мердок. – Вы переиграли меня, Ано. Что-нибудь вроде доверенности на ведение дел во время отъезда сенатора?

– Допустим, – ответил я уклончиво.

– Зря вы не взяли пять тысяч, Ано, – как бы мимоходом заметил он.

– Почему зря?

– Вы могли бы информировать меня о покупке голосов популистами.

Я вспомнил статьи, опубликованные в "Джентльмене" и "Брэд энд баттер", и понял, куда он клонит: скомпрометировать популистов и получить необходимые кресла в сенате – вот что нужно Мердоку.

– Не будем хитрить, Мердок. Не вами ли инспирирована статья в "Джентльменской" газете?

– Я не столь влиятелен, Ано, – усмехнулся он, – но соглашусь: статья работает на меня. Да и вам будет легче убедить Стила в поддержке билля о политических ассоциациях, чем о легализации моей партии. Пусть-ка потягается с церковниками из своего лагеря!

Я встал.

– А ответ? – спросил Мердок.

– Убедить сенатора в поддержке билля попытаюсь. Учтите: не обещаю, а попытаюсь. Но об агентурной информации забудьте. Я привык работать честно.

– Учтите и вы, Ано: я человек опасный, – сказал он.

– Я тоже, Мердок. И если повторите что-нибудь вроде обыска в моей комнате, я приму свои меры.

– Предложение принимаю.

Мердок улыбнулся скорее сочувственно, чем враждебно.

Простившись с хозяином, я вернулся в отель в экипаже, который ждал у подъезда.

В номере сразу же обнаружил следы обыска. Газеты были небрежно отодвинуты в сторону, одна из них валялась на полу. Заполненный мной гербовый лист с подписью Стила лежал поверх других бумаг, прочитанных и брошенных за ненадобностью.

Я спустился к портье.

– Кто-то был в моей комнате и копался в моих бумагах.

– Это невозможно, мсье, – ледяным тоном ответил тот. – Ключ все время находился у меня.

– Поэтому я и обвиняю вас и вынужден обратиться к полиции.

– Дежурный полицейский здесь, мсье, – портье был по-прежнему холоден и невозмутим.

Как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло. Портье сумел доказать, что в течение часа, пока меня не было в отеле, он не покидал своего места за стойкой. Да и я сам не очень-то рассчитывал на успех следствия. Серебро Мердока действовало и в отеле, и в полиции.

Потом ко мне пришел Питер Селби, я передал ему рекомендательное письмо сенатора и объяснил, что с ним делать.

– Запомните, Пит, – сказал я, – вы – молодой ученый. Работаете над историей партии популистов с момента ее основания – после победы Сопротивления в десятом году. Большая часть книги уже написана. Сейчас вы подходите к истории избирательных кампаний партии, но изучать документы будете не с начала, а с конца, с последней предвыборной кампании – пять лет назад. Просматривайте все, что вам покажут, но отбирайте только то, что говорит о мошенничестве, шантаже или подкупе избирателей.

Через день Селби принес мне первые сведения. Оказывается, с текущего счета партии дважды снимались крупные суммы. И каждый раз – без вразумительных объяснений. Только в одном случае в ведомости сделана краткая пометка: "для использования в привокзальном районе". Подозрения Мартина подтверждались.

Но что знал Стил? Об этом я и собирался спросить его во время ужина в сенатском клубе...

Клуб старомоден, как и "Омон", только все здесь роскошнее и дороже. Если в "Омоне" бронза и медь, то в клубе серебро, если в "Омоне" плюш – в клубе ковры редкой ручной работы, если в "Омоне" свиная кожа на диванах и креслах – в клубе шелк, сукно и цветной сафьян. Камины топят не дровами, а углем.

В ресторанном зале почти храмовая, величавая тишина. Метрдотель, похожий на памятник, вынужденный сойти с пьедестала, подводит меня к столику Стила. Стил в табачного цвета сюртуке, сидит не один, с ним элегантный господин лет сорока пяти, в начинающей входить в моду черной тройке с высоким, почти до горла, жилетом.

– Знакомьтесь, Ано, – говорит Стил, – это мистер Уэнделл, мой партийный и сенатский коллега, от него у меня нет секретов.

Мы вежливо раскланиваемся.

– Много слышал о вас, – говорит Уэ́нделл, – сенатор считает, что лучшего советника ему не найти.

– Готов дать первый совет по службе, – я решительно вступаю в игру. – Увольте вашего управляющего имением, сенатор Стил.

– Шуаля? – удивляется Стил. – За что?

– Слишком многое, что он видит и знает, становится сейчас же известным Мердоку.

Стил поражен.

– Не понимаю, Ано.

– Кто знал о чистом гербовом листе с вашей подписью?

– Только Шуаль.

– Так вот, в воскресенье утром, когда я получил от вас гербовый лист, меня пригласил к себе Мердок. По некоторым причинам я согласился на встречу. За час отсутствия в моей комнате произвели обыск – искали именно этот лист. Мердок мне сам откровенно признался.

– Лист украли? – вскакивает Стил.

– К счастью, нет. Чистого листа уже не было. Я вписал в него то, что никак не интересовало Мердока.

– Какая удача, – облегченно вздыхает сенатор. – Вы спасли меня буквально от катастрофы. Такая бумага в руках Мердока! А что вы вписали туда?

– Пустяк, сенатор. Рекомендацию одному молодому ученому, пишущему историю популистской партии.

– А что вам предложил Мердок?

– Работать на него вторым Шуалем.

– Не сомневаюсь в вашем ответе. А Шуаля уволю.

– Может быть, и не только Шуаля, Ано? – прищуривается Уэнделл.

– Я только приглядываюсь к людям, мистер Уэнделл.

– Тогда приглядывайтесь поскорее, – говорит Стил. – До вудвилльской конференции остается менее месяца. А там мы будем выдвигать нового главу партии. Вист стар и ждет не дождется смены.

– Кем вы его замените? – спрашиваю я.

– С кандидатом вы уже знакомы, Ано, – Стил кивает на Уэнделла. – Молодой и дельный. Единственное препятствие – не аграрий, а заводчик. Фермеры могут не поддержать.

– Препятствие почти устранено, Стил. Я купил половину виноградников у Веррье и молочную ферму Скрентона, – смеется Уэнделл. – А хозяин везде хозяин.

Мимо нас проходит затянутый в черный сюртук старик. Проходит не сгибаясь, высокий и тонкий, как трость.

– Вист, – шепчет Стил. – Пойду порадую старика, а вы уж без меня поужинайте.

Мы остаемся вдвоем с Уэнделлом.

– Почему вы заинтересовались предвыборными кампаниями, советник? – вдруг спрашивает он.

– Хотелось лично проверить намеки Мердока.

– Вы им верите?

У Стила от Уэнделла нет секретов – сенатор сам сказал. Так почему бы мне не открыть Уэнделлу то, что я узнал от Селби и Мартина? Рассказываю.

– Стилу вы еще не говорили об этом? – задумчиво произносит Уэнделл.

– Пока нет.

– Так воздержитесь. Не стоит огорчать старика. А о снятии с текущего счета партии крупных сумм Мердок знать не может. Но несомненно, что у него свои люди и в директорской канцелярии. Мердок – человек опасный.

– Он сам этим хвастает, – говорю я. – И станет куда опаснее, если пройдет билль о политических ассоциациях.

– Вы еще новичок, советник. Но у вас хороший политический нюх. Билль пройдет, не пройдет Мердок.

– У него есть шансы.

– Он погрязнет в том, в чем сейчас обвиняет популистов. Начнет скупать голоса. И неизбежно будет скомпрометирован.

– А до этого скомпрометирует нашу партию.

– Сомневаюсь. Он только пугает нас в преддверии билля. Билль ему нужнее.

– Но у него есть и непродажные голоса.

– Сколько? Десяток тысяч "профессионалов" с большой дороги? Сколько-то лавочников. Сколько-то моих друзей,

фабрикантов. Ну, проведет он в сенат горсточку реставраторов. А у нас одних фермеров более полумиллиона. А ремесленники? А батраки? А издольщики? А часть рабочих, которая всегда идет с нами? Правда, уйдут от нас католики и евангелисты. Но почему они будут блокироваться не с нами, а с "джентльменами"? Не убежден. И трудовики охотно отдадут нам свои голоса, если мы станем чуточку прогрессивнее наших соперников. Придется в чем-то уступить левым. Расширяя промышленность, нельзя забывать и о рабочих руках.

– Значит, вы думаете о расширении промышленности?

– И я не одинок в этом намерении... – Уэнделл встает. – Жаль, что мне надо идти. Хотелось бы поговорить. И не раз. Не возражаете? Тогда инициативу беру на себя. А сейчас взгляните вон на того невзрачного блондина в черном свитере у стойки бара. Единственный человек, которого пускают в клуб в рабочей куртке и без галстука. Видите? Если вы даже только поверхностно заинтересовались политикой, я вас с ним познакомлю.

Так состоялось мое знакомство с Донованом, бывшим литейщиком, позднее – старостой цеха металлургов, а теперь – сенатором, депутатом от восьмого кантона Города.

Глава IX

БИЛЛЬ

Прошел месяц со дня нашего последнего разговора с Мартином: он был в длительной командировке от редакции, разъезжал по городам и поселкам периферии. Сейчас он, задрав ноги, лежит у меня на диване. Ночь. Электричества ночью в отеле нет, светят лишь пылающие дрова в камине и свечи в канделябрах. Мартин встает, берет один из них в руки, и свет падает на его похудевшее, небритое лицо.

– Древняя штучка, – говорит он, ставя канделябр на камин. – Чур, рассказывать тебе первому.

Мне, действительно, рассказывать первому – так мы условились еще до отъезда Мартина. А рассказать есть о чем. Например, о популистской конференции в Вудвилле,

сменившей главу партии. Прошел Уэнделл – как и предполагалось, не очень охотно поддержанный фермерами. Но все-таки прошел: сказалось влияние Стила в партийных верхах и тактика "Сити ньюз", купленной Уэнделлом у ее владельцев. Предвыборная кампания уже началась, и хотя в сенате все пока еще оставалось по-прежнему, но повсюду говорили о билле, который вот-вот будет принят сенатом.

– А как относится к биллю Стил? – спрашивает Мартин. – И кстати, что ты у него делаешь?

– Ничего. Должность фиктивная. Знакомлюсь с окружающими его людьми. Именно то, что мне и нужно. А к биллю он относится отрицательно – вероятно, будет голосовать против. Я передал ему слова Уэнделла, но он промолчал. В правительстве, думаю, единого мнения нет.

– Скажи мне, наконец, где сенат и где правительство? И что есть что?

– "Что есть что" просто и схематично. В сенате шестьдесят два места. Победившая партия образует кабинет министров, по-здешнему – секретарей. Глава партии – он же премьер-министр, одновременно ведающий государственной собственностью – казной, железными дорогами, рудниками. Четверо остальных секретарей представляют кто – администрацию Города, кто – промышленность и торговлю, кто – сельское хозяйство, а кто – цеховые организации, по-нашему профсоюзы. В сенате они голосуют, в правительстве действуют. Сущность капиталистической системы везде одинакова.

– А что изменит билль?

– Только внесет разлад в систему управления.

– Значит, комми отколются?

– Оставь свой жаргон, Мартин. Противно слушать. И повторяю: не ищи земных аналогий. Коммунистической партии здесь нет. Рабочее движение только еще приобретает организованный характер – мешают цеховая раздробленность и промышленная отсталость. Но уже нарождается что-то вроде социал-демократии марксистского типа.

– Донован? – улыбается Мартин. – Нашел-таки?

Я раздумываю, говорить или не говорить Мартину о моих встречах с Донованом. Первая была, пожалуй, наиболее примечательной...

Мы стояли у стойки бара, уже без Уэнделла, критически рассматривая друг друга.

– Интересно, чем это я мог заинтересовать вас? – спросил Донован. Он был серьезен и холоден.

– Мне нравятся ваши выступления в сенате, – ответил я.

– И мой билль против цеховой раздробленности за всецеховое объединение с единой экономической программой?

– Иначе, за единый профессиональный союз?

– Несколько непривычно звучит, но можно назвать и так. За него голосовали шесть депутатов из шестидесяти.

– Будь я в сенате – я был бы седьмым.

– Интересно, – сказал Донован. – Вы и газету нашу читаете?

– Конечно.

– И точку зрения ее разделяете?

– Вполне.

– Тогда почему вы работаете у Стила?

– Потому что отцы наши были друзьями и участниками Сопротивления в десятом году. Со Стилом мы случайно встретились. Его поразило мое сходство с отцом. Предложил работу. Я согласился, предупредив, что я новичок в политике и только пытаюсь ее осмыслить.

– Ну и как – осмыслили?

– Кое-что. Уэнделл, например, прогрессивнее Стила, так как стимулирует развитие производительных сил, а Стил тормозит его.

Если я и хотел удивить Донована, как удивил Мердока, земными политическими формулировками, то мне это явно не удалось. Донован не удивился, только заметил:

– Вы обманули Стила, Ано, сказав ему, что вы новичок в политике. Я думаю, вы знаете даже больше меня.

На другой день за завтраком в том же сенатском клубе он мне сказал:

– Не экзаменуйте меня, Ано. Все, что вы говорите о классовой борьбе, мне уже давно ясно. Но второй

революции может и не быть. Не исключено, что мы придем к власти парламентским путем, когда большинство народа поймет наконец необходимость социалистических преобразований.

Так рассказывать обо всем этом Мартину или нет? Решаю не рассказывать. Наверняка скажет: пропаганда. А интересует его только билль, открывающий Мердоку двери в сенат.

– Пройдет или не пройдет? – гадает он. – Мердок не только будет покупать голоса – он немало получит даром. Подсчитай избирательные ресурсы Мердока. Я объездил по крайней мере два десятка поместий, не считая мелких ферм. Это уже не десятки голосов, а тысячи – вместе с хозяевами за Мердока будут голосовать и все от них зависящие. А ведь раньше они голосовали за популистов. Откуда же перемены? От страха. Все чем-то напуганы, подавлены, взвинчены. И все молчат. "За кого голосуете? – спрашиваю. – За популистов?" Мнутся. "Есть еще время подумать", – мямлит один. "А может, попробую хлеба с маслом", – намекает другой, да не дерзко намекает, а явно с испугом. Только одна вдова, владелица нескольких тысяч акров земли, была достаточно откровенной. "Я всегда голосовала за Стила, но сейчас это мне будет стоить не меньше миллиона франков". Оказывается, к ней заявился бородатый верзила с пистолетом за поясом и объявил в присутствии слуг, что на этот раз не только ей и ее семье, но и всем арендаторам и слугам придется проголосовать не за Стила, а за реставраторов. Нет такой партии? Нет – так будет. А если она не послушается, так ей запросто спалят на полях всю пшеницу. "Вы, конечно, не напечатаете это в своей газете, – сказала мне мадам помещица, – я-то знаю, кому она принадлежит. И верзилу знаю, и то, что он спалит мне урожай – тоже знаю. Вы, вероятно, встретите его по дороге и поймете, что с таким джентльменом обычно не спорят". Я действительно его встретил. Догадываешься, кто это? Наш друг Чек Пасква.

– Паскву придется взять под наблюдение. Найди кого-нибудь.

– Уже нашел.

– Кого?

– Луи Ренье.

Находка Мартина меня отнюдь не радует. Рискуем мы жизнью мальчишки. Луи даже стрелять не умеет.

– Что я мог сделать? – оправдывается Мартин. – Отыскал он Паскву где-то в кабаке и нанялся в банду, со мной не посоветовался. А Пасква почему-то согласился, хотя и видел, что это жеребенок. Оставил его при себе – якобы для поручений. Луи считает, что он нужен Чеку для наблюдений за нами.

– Маневр Мердока. Значит, он нам не верит.

– А мы – ему. Обоюдно. Кстати, серебро до сих пор в его лесной "берлоге".

– Ты уверен?

– Почти. Слитки в больших количествах не появлялись ни на рынке, ни в ювелирных лавках. Может, пустить по следу полицию?

Я рассуждаю. Бойль, начальник полиции Города, – популист. Честный. В какой-то мере принципиальный. Но в подчинении у него слишком много подонков, купленных Мердоком. Да и не только Мердоком. Мартин прав: в Городе нарождается что-то вроде мафии. Появляются капиталы, неизвестно на чем взращенные. Возникают капиталисты, неизвестно что производящие. А это на руку Мердоку. Можно, конечно, изъять серебро из его "берлоги", Бойль это охотно и даже умело сделает. Но не рано ли? Не лучше ли выбрать более подходящий момент для удара? Тут-то и может помочь Ренье. Но оставлять его у Пасквы рискованно.

– Убери его из шайки, Мартин, – говорю я. – Мы не имеем права рисковать его жизнью.

– Если найду, – соглашается Мартин.

Спать некогда. В шесть уже оживают сенатские кулуары, и бар гудит от шумной и пустопорожней болтовни, из которой я всегда что-то выуживаю.

На лестнице толкотня, как на бирже. Пробираясь наверх, встречаю Бойля. Начальник полиции стоит в стороне и созерцает происходящее. Во время заседания он будет сидеть со мной, в ложе сенатских чиновников: амфитеатр только для сенаторов.

– Все еще не нашли серебро, Бойль? – мы с ним на дружеской ноге и обходимся без "мсье" и без "мистера".

– Кто сейчас интересуется серебром? – отмахивается он. – Билль, и только билль!

– А вдруг провалят?

– Чудак, – смеется Бойль и ныряет в какую-то болтающую группку.

У Бойля своя информация – думаю, верная. Послушаем других.

В коридоре меня останавливает Уэнделл.

– Сейчас вы спросите о Стиле, – улыбаюсь я.

– Не буду. Знаю, что он проголосует против.

– Многие боятся его выступления. Оно может быть очень резким.

– А разве вы не знаете точно?

– Стил со мной не советовался. Но он очень не любит Мердока.

– Мердок в сенате менее опасен, чем за его стенами. А билля ждут и другие. Жизнь, как время, – идет вперед, а не стоит на месте. Общество не могут представлять одни аграрии и банкиры.

Кто-то отвлекает Уэнделла, и я отправляюсь в ресторан. Стила нахожу одного в дальней кабине за синей портьерой. Перед ним два бокала и бутылка вудвилльского красного. Но он не приглашает меня присесть.

– Не знал, что вы здесь, Ано, – говорит Стил.

– Я пришел как советник, пока вы меня еще не уволили.

– С каким советом?

– Не выступать вообще.

– Почему?

– Вы не поведете за собой даже трети сената.

– И пропустить Мердока?

Я повторяю слова Уэнделла:

– За стенами сената Мердок более опасен для общества. Сенатский мандат неизбежно умерит его агрессивность. Хуже будет, если хунта Мердока силой захватит власть.

Что такое "хунта", Стил не понимает, я вижу это по выражению его глаз, поэтому тут же меняю "хунту" на "шайку" и добавляю:

– А в сенате реставраторов всегда сумеет сдержать разумное большинство.

Стил долго не отвечает, и я все жду, не присаживаясь.

– Вы знаете, кто выдвинет билль? – наконец спрашивает он.

– Слышал: Рондель.

– Глава партии "джентльменов". Человек, проживший на свете столько же, сколько и я. Что заставило его изменить продуманному и пережитому?

– Я только что слышал от главы вашей партии, Стил, – говорю я, делая ударение на "вашей". – Жизнь, как время, – идет вперед, а не стоит на месте. Должно быть, Рондель это понял.

– Они хотят расколоть нас, – тихо, но твердо произносит Стил. – Отойдут трудовики, уже зашевелились каноники, а главное, конечно, Мердок. Перемены? Я против перемен, Ано. Люблю все стабильное, прочное, неизменное. Видно, мне пора в отставку, сынок. Могу назвать тебя так, кто бы ты ни был. Ведь мне уже, как и Висту, давно за семьдесят. Только уйду после выборов. По конституции все мои голоса получат те, кому я их отдам. А у меня сто тысяч избирателей, и ни один из них не будет голосовать за Мердока.

Я вспоминаю рассказ Мартина, но молчу. Стоит ли огорчать старика, да еще в такой день? А на Мердока можно найти управу: есть и Уэнделл, есть и Бойль. Да и "Сити ньюз" вмешается, если понадобится. Словом, отпор Мердоку мы дадим и без Стила.

Звонит колокол, призывающий членов сената в зал заседаний. Стил уходит из ресторана. Мне его искренне жаль – священник, основы веры которого поколеблены. Медленно иду за ним.

У входа в ложу мне встречается Мердок, старомодный и чинный. Улыбка его лучезарна, словно у игрока, крупно выигравшего на скачках.

– Радуетесь? – замечаю я. – Не рано ли?

– А вы сомневаетесь, мсье Ано?

– Потому я и отказался от ваших пяти тысяч.

– Боюсь, что вы мне уже не нужны. Как советник Стила, разумеется. Охотно предлагаю вам тот же пост.

– Не рано ли? – повторяю я.

– Я уже присмотрел себе кресло в сенате. Подумайте, Ано, может быть, это окажется выгоднее, чем предложение Уэнделла?

– Вы, как всегда, информированы, Мердок. Но я ни к кому не уйду от Стила. Тем более сейчас.

– Поддержать падающего? – смеется Мердок.

– Нет. Просто большей свободы действий нигде у меня не будет.

– То-то вы так часто встречаетесь с Мартином. Пусть имеет в виду, что разглашение редакционных секретов чревато далеко не радужными последствиями, – еще одна улыбка, и он скрывается в ложе.

Значит, Мердок знает о моих встречах с Мартином. Откуда?

Игра продолжается.

Глава X

УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

Билль прошел.

Утро. Я лежу у себя в комнате на диване. Делать ничего не хочется, да и дел нет. Сейчас в Городе праздник – шестьдесят первая годовщина Начала, того самого Начала, откуда повел свою жизнь этот смоделированный неведомыми галактистами человеческий город и которое с тех пор так и пишется, как Город – тоже с прописной буквы. За окнами непривычная тишина, лишь экипаж изредка проскрипит или прозвенит конка. И в отеле тихо, в коридорах не хлопают двери, еще спят после бурной предпраздничной ночи заезжие купчики и агенты – коммивояжеры, как у нас говорили когда-то, спят профессиональные шулеры. Не слышно и жильцов, любящих покурить и поболтать на ходу, возвращаясь к себе из бильярдной или бара. Но большинство номеров пусты: сенаторы-фермеры и промысловики разъехались по своим промыслам и поместьям.

Вот и лежи, Анохин, потому что читать тебе нечего, все газеты уже прочитаны, а книги здешние старомодны,

как и этот отель, – что-то вроде бульварных романов конца прошлого века. Лежи, Анохин, и жди не забежит ли Мартин, вечно где-то что-то вынюхивающий. Какой детектив получился здесь из Мартина: вездесущий и все замечающий, свой повсюду – на бирже и в дешевых забегаловках, в семье простого промысловика и на приеме у директора страховой компании! Без Мартина я не знал бы и половины того, что знаю сейчас о Городе и его секретах. Мне бы и в голову не взбрело обедать в баре "Аполло", куда не ходят респектабельные горожане, вроде Уэнделла или Стила, и куда меня поведет сегодня Мартин. А пока лежи, Анохин, и думай, зачем ты затеял всю эту игру с Мердоком, Стилом, Донованом. И с биллем, который в конце концов прошел, несмотря на двадцать три голоса против. Стил все-таки выступил и повел за собой, опровергнув мои предсказания, чуть-чуть больше трети сената, но этих "чуть-чуть" оказалось слишком мало, чтобы билль провалить.

Предвыборная кампания уже в разгаре, портреты кандидатов в сенат на каждом шагу: и на рекламных стендах, и в магазинных витринах Города; в избирательных участках уже готовят списки выборщиков и бюллетени... А я чувствую себя здесь чужаком: предвыборная карусель кружится помимо меня, мне полностью безразлично, кто займет сенатские кресла, за какие проекты и поправки будут голосовать. Конечно, я сочувствую Доновану, но что ему от моего сочувствия? В сущности, мы с Мартином узнали все. И если только для этого нас переместили сюда, то пора бы возвращаться домой, благо желание неведомых "небожителей" уже выполнено. Большего сделать нельзя: общество здесь развивается по законам, давно на Земле открытым, а ускорить или изменить ход исторического развития – не в наших силах.

Кто-то тихонько стучит в дверь. Это не Мартин: Мартин обычно появляется без стука. Нехотя поднимаюсь, поправляю домашнюю куртку и говорю:

– Войдите.

Входит Пит Селби, с такой удрученной миной, что сразу становится ясно: дурные вести.

– В чем дело, Пит?

– Неприятность, советник. Меня выставили из архива.

– Совсем?

– Нет, пока перевели в общую канцелярию.

– Почему?

– Директор мсье Жанвье заметил, что я интересуюсь больше партийными доходами и расходами, чем восторженными восхвалениями кандидатов в сенат. Такие документы я, дескать, отбрасываю, а изучаю счета и доносы. Теперь мне все будет выдаваться лишь по его выбору. Мсье Жанвье хочет, чтобы я работал на глазах у его чиновников. Мне он не верит.

– Ну, это не так плохо, Пит, – решаю я. – За вами будут следить, а вы наблюдайте, кто особенно в этом старается. Немедленно сообщите мне их имена.

– Все ясно, советник.

– Вот и действуйте, Пит. А директору скажите, что вам даже полезнее работать по его указаниям.

Едва я успеваю закончить фразу, как врывается – и конечно, без стука – Мартин. Увидев Пита, спрашивает:

– Где Луи, Пит?

– Не знаю. Он уже несколько дней не ночует дома.

– И я его не встречал, Юри, – тревожная нотка слышится в голосе Мартина.

– Он только сказал, что должен кого-то разоблачить, – говорит Пит, – но кого именно, промолчал. Расскажет, мол, когда все выяснит.

– Меня беспокоит твой промах, Мартин, – я уже начинаю понимать, что Ренье в опасности.

– Меня это самого беспокоит, – вздыхает Мартин. – Может быть, сегодня еще узнаем что-то в "Аполло".

– В "Аполло"?! – удивленно восклицает Селби. – Вспомнил! Именно сегодня вечером он и будет в "Аполло".

– Зачем? – изумляется Мартин.

– Я сказал... он мне сказал... – лепечет совсем смущенный Пит, – что именно в баре "Аполло" он разоблачит кого-то... кто будто бы всем мешает.

Мы недоуменно переглядываемся с Мартином. Для чего Ренье понадобился этот притон? С кем он туда придет? Что-то выведал в банде Пасквы? Но удалось ли ему это скрыть? Ведь у него нет опыта конспиратора.

– Луи кому-нибудь давал ваш адрес? – спрашиваю я Пита.

– Зачем? Всем и так известно, что студенты из провинции живут в общежитии политехнички.

– Там бандиты рисковать не станут, – говорит Мартин.

– Кто их знает, – возражаю я. – Ты бы лучше переехал, Пит. На время к кому-нибудь, а? Сумеешь?

– Если требуется, сумею, – кивает Пит и продолжает: – Вы просили посмотреть повнимательнее, не наблюдают ли сослуживцы за моей работой. Наблюдают, советник. Сначала я ничего не заметил или, вернее, не обратил внимания. В частности, на любопытство старшего клерка Освальда Ринки. Он представился крайне заинтересованным моей работой, заглядывал в документы, которые я просматривал, и в мои записи, причем что-то записывал сам. Интересовался он именно тем, что хотел скрыть от меня мсье Жанвье. Его не волновали происки оппозиции, он хотел точно знать, на сколько голосов могут рассчитывать популисты в том или ином кантоне.

– Значит, Ринки работает не на Жанвье, – замечает Мартин.

– Но, видимо, через него и просачивается партийная информация... – размышляю я. – Только для кого?

Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. О том, что Мердок имеет своих агентов в избирательной канцелярии популистов, я догадывался давно. Теперь отпали последние сомнения: если Ринки – человек Мердока, то глава реставраторов знает все, что ему нужно.

Пит не уходит – мнется, словно что-то собирается добавить.

– Я еще не все сказал, советник, – бормочет он.

– Ну говори, не смущайся, – поощряю его я.

– У меня украли рекомендательное письмо сенатора Стила.

Одна новость лучше другой!

– Почему оно оказалось у тебя?

– Я предъявил его мсье Жанвье, он прочел и вернул мне. А я спрятал письмо в стол, но не запер ящик – не подумал о возможности пропажи. В письме рекомендовали меня – ну кому еще нужна была эта рекомендация?

– Может, оно и сейчас в столе? Поищи получше.

– Уже искал. Письма нет. И я даже догадываюсь, кто его взял. Кроме Освальда Ринки, в комнате никого не было.

– Скверная история, – говорю я. – Любой документ за подписью сенатора может быть использован нам во вред.

– Для чего же он понадобился этой канцелярской крысе? – пожимает плечами Мартин.

Пит робко его поправляет:

– Это совсем не канцелярская крыса, мистер Мартин. Я даже не понимаю, зачем он у нас работает. Платят здесь немного, а деньги у него водятся. И если письмо сенатора что-нибудь стоит, он продаст его без зазрения совести. Ринки игрок, мистер Мартин, и чуть ли не каждый день прямо со службы едет в "Гэмблинг-хауз". Знаете это казино на Больших бульварах? Мне думается, что и сейчас он там.

– Почему ты так считаешь? – спрашиваю я.

– Вчера я попросил у него взаймы, мсье Ано. Немного попросил, до получки. А он сказал: "Сегодня ни сантима, Пит. Но завтра будут. Приходи в казино: если не продуюсь – выручу". Играет он крупно. До выигрыша или проигрыша.

– Значит, долго не задержится, – замечает Мартин.

Мы понимаем друг друга с полуслова. За сколько Ринки продал письмо, не существенно. Важно, когда и кому.

– Вот что, Мартин, – решаю я. – Приедешь в "Аполло" после девяти, в самый разгар сутолоки. Столик закажешь заранее. Я постараюсь приехать вовремя. Пока же мы с Питом займемся Ринки. Надо узнать точно, кому он продал письмо сенатора.

"Гэмблинг-хауз" – было начертано электрическими лампочками по фронтону богатого особняка на самом фешенебельном отрезке Больших бульваров. Надпись освещала не только вход и колоннаду у входа, но и примыкающую к ним ресторанную площадку под парусиновым тентом. От нее к воротам тянулась липовая аллея.

Швейцара не было. Мы вошли в открытые настежь двери. В глубине большого пустынного холла скучал молодой человек в синем сюртуке и кружевном жабо, украшенном булавкой с лиловым, похожим на аметист, камнем. Мы предъявили ему свои визитные карточки и уплатили по двадцать пять франков за вход. Пока нам выдавали входные билеты, я успел осмотреть соседний бар за тяжелыми плюшевыми портьерами. Он был почти пуст – только несколько хорошо одетых молодых людей у стойки.

– Ринки среди них нет, – подсказал мне Пит.

Наверху нас встретила привычная тишина игорного зала. Лишь изредка шепот советующих, негромкие реплики игроков, возгласы банкометов и крупье перекрывают легкое шуршание фишек по сукну столов. Лакеи в красных фраках и белых чулках до колен ухитряются лавировать между столами с подносами в руках, даже не зазвенев бокалами.

Освальд Ринки, сидящий напротив крупье, играет осторожно, ставит стопки фишек не на номера, а на цвет, рассчитывая только на удвоенную сумму в случае выигрыша. Перед ним на столе лежит большая груда фишек. Очевидно, Ринки уже выиграл немало и – что соответствовало бы его репутации крупного, но осторожного, не любящего рисковать игрока – должен скоро игру закончить.

– Не подходите к столу, Пит, – говорю я, – вас он сразу узнает и поймет, что вы пришли не для игры в рулетку. Лучше подождите незаметно в сторонке и перехватите его, когда он пойдет от разменной кассы к выходу. Попросите у него, скажем, двадцать пять франков. А я неожиданно подойду к вам...

Мы так и делаем. Пит отходит к разменной кассе, я становлюсь у стола позади крупье. Из-за его спины мне видно, как играет Ринки. Методично, невозмутимо, то уменьшая, то увеличивая ставки, он играет на "руж" и "нуар" или на "чет" и "нечет", как мальчишки в орлянку: орел или решка. Ринки везет: стопка фишек у него под руками становится все больше и больше.

И вдруг Ринки невольно, инстинктивно, даже со страхом накрывает эту разноцветную стопку. Он увидел и узнал меня.

Почему советник сенатора пришел в казино? Ведь имя Жоржа Ано отнюдь не популярно среди его завсегдатаев. Значит, он заглянул сюда случайно, вероятно из любопытства. Но успел заметить за рулеточным столом партийного функционера. Надо бросать игру и немедленно уходить, объяснив пребывание в казино той же случайностью. Так я прикидываю возможные умозаключения Ринки и не ошибаюсь. Всем своим видом показывая, что игра для него окончена и что играл-то он, в общем, равнодушно, без интереса и выигрыш чисто случаен, Ринки бочком-бочком пробирается сквозь толпу к разменной кассе. Я осторожно следую за ним, стараясь не опоздать к его встрече с Питом.

Пит успевает догнать Ринки, когда тот уже спустился вниз по широкой мраморной лестнице и взял свой цилиндр в гардеробе. Они оба стоят в скучной тишине холла, не привлекая внимания ни краснофрачных лакеев, ни застегнутого на все пуговицы администратора. Я их, конечно, не слышу, но вопрос Селби мне известен. А теперь вижу и ответ: Ринки разводит руками, виновато улыбается, явно разыгрывая этюд о проигрыше неудачника.

Именно в эту минуту я и подхожу к ним.

– Каким образом вы здесь? – строго спрашиваю я Пита. – Посещение подобных заведений не украшает работников нашей партийной канцелярии.

Пит, якобы заикаясь от испуга, косноязычно лепечет:

– Я случайно... У меня и денег для этого нет. Я пришел... попросить взаймы у приятеля. Это Освальд Ринки, старший клерк у мсье Жанвье...

Я смотрю в упор на Ринки, и мне кажется, что я где-то его уже видел. Где? Вспомнить не могу. А Освальд Ринки, обрадованный тем, что Селби неожиданно дал ему возможность уйти из-под удара, угодливо раскланивается.

Я надменно оглядываю Ринки (у меня это хорошо получается) и внезапно вспоминаю, где его видел: он был среди замаскированных бандитов Пасквы, перехвативших

нас на лесной дороге в Вудвилль. Несколько секунд молчу, соображая, как использовать свое открытие и, не подавая вида, что разгадал Ринки, говорю назидательно, как советник сенатора старшему клерку его канцелярии:

– Ваш выигрыш или проигрыш меня не касается, но репутация игрока не подходит для партийного функционера, Освальд Ринки. Мне, возможно, придется сделать соответствующие выводы.

Ринки испуган, но, видимо, не осложнения с Жанвье беспокоят его, а мое близкое знакомство с Мердоком, на которого он работает.

– Прошу извинить меня, советник, – не без достоинства просит Ринки. – Уверяю вас, что ничто подобное больше не повторится.

Я морщусь, будто раздумывая.

– Ладно. Выйдем в сад к бассейну. Здесь слишком душно. Там и объяснимся.

Ринки, заметив мои колебания, почти счастлив и тут же устремляется к открытым дверям. Несколько минут мы, все трое, молча и не спеша идем по узкой тропе вдоль бассейна.

Я резко останавливаюсь.

– А ведь мы с вами знакомы, Освальд Ринки. Даже как-то сидели рядом.

Ринки удивлен или изображает недоумение.

– Не имел такой чести, советник.

– Имели. Вспомните лесную хижину близ Вудвилля. Вы были тогда среди "пистолетников" Пасквы.

Актерски сыгранное удивление Ринки сменяется совсем не театральным испугом. Он пятится от меня, не сообразив, что стоит в нескольких сантиметрах от края бассейна.

– Стой! – кричит Пит.

Но Ринки уже потерял равновесие и ушел под воду, окатив нас фонтаном брызг. Секунду спустя он вынырнул и застучал по воде руками.

– Помогите! Тону!

Пит хватает его за руки и вытаскивает по грудь из воды.

– Подержите так, Селби, – прошу я. – Не спешите.

– Я не умею плавать! – вопит, отплевываясь, Ринки.

– Это тебе и не понадобится. Сразу пойдешь ко дну, если не скажешь, кому ты продал украденное письмо сенатора. Только поторопись, а то Пит устанет тебя держать. Итак – кому?

– Паскве. За пятьсот франков... Вытащите меня ради бога!

– Интересно, за что вам платит Мердок? Профессионал – и попадается на мелкой краже, да еще сбывает украденное своему же сообщнику. А плавать надо учиться с детства, – наставительно говорю я и помогаю Селби вытянуть Ринки из воды. Он отряхивается, как мокрый пес, обдавая нас брызгами.

– Я, пожалуй, пощажу вас, – замечаю я, протирая носовым платком промокшие полы и рукава сюртука. – Ни Жанвье, ни Мердоку ничего не скажу. Выигрыш можете оставить себе, двадцать пять франков дайте взаймы Питу, если он в них нуждается, а пятьсот франков, полученных вами от Пасквы, внесите в фонд избирательной кампании сенатора Стила. Вы, Селби, доставите сейчас эту мокрую курицу домой, а то еще простудится. Не беспокойтесь, жаловаться он не будет.

Глава XI

УБИЙСТВО

Через полчаса я нахожу в "Аполло" Мартина, ухитрившегося благодаря своим уже достаточно обширным "придонным" связям получить свободный столик в самом центре бара, близ грязной ковровой дорожки, разделяющей большой закопченный и пыльный зал надвое.

"Аполло" – это действительно третьеразрядный кабак, с длинной, обитой жестью стойкой и десятком деревянных, ничем не покрытых столов. Из кухни несет прогорклым маслом. В нескольких шагах ничего не разглядишь из-за густого табачного дыма.

– Были в "Гэмблинг-хаузе"? Ринки нашли? – встречает нас вопросами Мартин.

Я рассказываю.

– Зачем Мердоку платить пятьсот франков за документ, который он мог получить даром? – спрашиваю я под конец. – Ведь Ринки его человек в избирательной канцелярии популистов.

– Агентам тоже надо платить.

– Но почему между Мердоком и Ринки вдруг возникает Пасква?

– Как связной, наверное?

– Роль не для Пасквы.

– А в качестве прикрытия? Ринки прикрывают как лжепопулиста. Все очень просто, Юри, подумай сам. Ринки находит в столе у Пита рекомендацию, подписанную сенатором. Сообщает Мердоку. Получает распоряжение выкрасть документ и передать его Паскве. А Пасква лишь одно из звеньев цепочки.

Мартин рассуждает разумно. Но какую роль и в какой игре сыграет рекомендация? Может быть, этот замысел и разгадал Луи Ренье?

– Пасквы и Ренье здесь нет, – говорит Мартин. – Зато я вижу Бидо.

– Кто это – Бидо?

– Я тебе рассказывал. Второй гангстерский ферзь. Покупает голоса для "джентльменов".

– Где он сидит?

– За третьим столом слева от нас.

Я разглядываю толстяка с отвисшими розовыми щеками, в пиджаке из зеленого, "бильярдного" сукна. Жилет у него оранжевый, мятый, как иссохшийся апельсин. Он энергично играет в покер с какими-то столь же ярко расцвеченными типами.

– Это тот, из которого собираются сделать пудинг?

– Тот самый, – подтверждает Мартин.

– Не жалко. Меня тревожит исчезновение Луи.

– Меня тоже. Тем более, что Пасква поручил ему слежку за мной, а я как раз его и не вижу.

– Штучки Мердока.

– А может быть, инициатива Пасквы?

– Кто ты для Пасквы? В прошлом – человек, которого приказал задержать Мердок, а потом отпустил с миром. Сейчас – хроникер газеты "его величества". Не миллионер, не игрок и не сыщик. В общем, человек неопасный.

– Я видел, где и куда сгружались слитки.

– Никто не заметил, что ты видел. Иначе тебя давно убрали бы.

– Серебро скоро понадобится Мердоку. Для тех, кто шантажа не боится, или тех, кого шантажировать незачем. Вот тогда бы и пустить по следу полицию.

Мы продолжаем разговаривать, дожевывая знаменитые "апполовские" бифштексы. Что-что, а их здесь делать умеют. Жарят без масла на раскаленной плите, отлично сохраняя весь сок и нежность мяса, схваченного хрустящей корочкой.

В дыму и гомоне никто и не заметил, как в бар вошли двое с полицейскими автоматами. Мы увидели их, когда они были уже в центре зала. Идущий впереди – почти двухметрового роста, в застиранной клетчатой рубахе, с черным платком, закрывающим лицо до глаз. Второй – с открытым лицом, лишь старенькая студенческая каскетка надвинута на лоб.

– Луи Ренье, – тихо говорит Мартин.

– Где?

– Тот, что сзади.

Высокий вскидывает автомат и кричит на весь зал:

– Получай, Бидо!

Грохочет автоматная очередь. Но одним мгновением раньше шедший сзади Луи Ренье, перехватив свой автомат за дуло, ударил прикладом по рукам стрелявшего, и очередь проходит под столом. Стрелявший поворачивается, ударом тяжелого башмака сбивает спутника на пол и тут же выпускает по столику вторую очередь. Третью – в грудь пытающемуся подняться Луи.

Это происходит буквально в считанные секунды.

– Сидеть смирно! – кричит стрелявший. – Мои люди у входа с оружием. Вы под прицелом. Кто двинется – срежут.

Затем он нагибается и шарит в кармане у Луи. Кладет что-то или берет?

Автоматы, направленные в зал от двери, видны всем.

– Десять минут не выходить из зала. Пристрелим на месте, – говорит убийца с черным платком на лице.

Никто не двигается. Мартин замечает вполголоса:

– Я узнал его.

– Кто?

– Наш друг, Чек Пасква. Под платком у него борода, и рост – два метра. Не ошибешься.

Стрелявший вместе с охранниками скрывается за дверью. Все сидят, как приклеенные к стульям. Бросаюсь к Луи, лежащему на полу в трех шагах от меня. Грудь его пробита тремя или четырьмя пулями. Крови немного, но смерть очевидна – сомневаться не приходится. Я успеваю сунуть руку в карман, заинтересовавший убийцу, и вынуть оттуда сложенный вчетверо лист бумаги. Не рассматривая, тут же прячу его за бортом сюртука.

– Убит? – спрашивает меня подбежавший юноша-официант, почти мальчишка, и пытается поднять опрокинутого на спину Луи.

– Не трогай. Мертв. Зови полицию, да поскорее. Я советник сенатора Стила, понял?

Юноша, торопливо вытерев запачканные кровью руки о фартук, срывается с места. Столик с убитыми окружают завсегдатаи кабака. Слышатся голоса:

– Это Бидо со своей тройкой.

– "Джентльменские" сборщики?

– Говорят. А кто им платит?

– Рондёльцы или церковники, не знаю.

– У Бидо еще маклерское место на бирже.

– И две бильярдные у рынка.

– Не сторговались, наверно. Вот и хлопнули.

Я стою над телом Луи, чувствую щемящую боль в сердце. Словно кто-то проткнул его длинной булавкой. Меня охватывает чувство жалости и раскаяния. Ведь это мы послали парня на верную смерть. Позади меня стоит Мартин и наверняка чувствует то же самое. Подымаю автомат убитого и вынимаю обойму. Она пуста. Луи шел бок о бок с убийцей, не зарядив автомат. Почему? Его послали, приказали ему идти, а с какой целью, он, вероятно, даже не знал. Просто надеялся все выяснить, возможно – предотвратить преступление. Бедняга не подумал, что за первой очередью убийцы может после-

довать вторая. И третья. Она и досталась ему. А вдруг его сознательно хотели любым способом задержать на месте преступления – расплачиваться за содеянное: ведь полиции безразлично, стрелял он или не стрелял, все равно – пришел вместе с убийцами...

Мне не терпится взглянуть на листок, взятый из кармана убитого, но я понимаю, что сейчас этого делать нельзя. Уже входят в зал в сопровождении мальчишки-официанта рослый полисмен с нашивками сержанта на темно-зеленом мундире и рядовой полицейский.

– Все видели убийство? – спрашивает сержант у собравшихся вокруг столика.

– Я, как начали стрельбу, ничего не видел, – нехотя говорит один.

– Дымно здесь, – говорит другой. – Я поодаль сидел. Не разглядел как следует. Стрелял мужчина с черным платком на лице.

– А этого кто убил? – палец сержанта обращен к телу Луи.

– Он же и убил, – заявляет мальчишка-официант. – Третьей очередью. Первой помешал этот парень – стукнул автоматом его по рукам; второй он сбил этих за столиком, а третью всадил в парня. Я все видел, в двух шагах от стойки был.

Сержант записывает имя и адрес официанта и, оглянувшись, спрашивает:

– Кто подтвердит слова свидетеля?

Все молчат, мнутся, никому не хочется тащиться в полицейский участок.

– Дымно было, – повторяет кто-то уже сказанное. – Мутно. Разве увидишь?

Я показываю сержанту служебную карточку.

– Полностью подтверждаю слова свидетеля.

– И я, – добавляет Мартин.

Сержант козыряет и записывает наши имена и должности. А Мартину говорит, уверенный в своем полицейском всесилии:

– Не давать ничего в газету без разрешения инспектора. Иначе – штраф.

Вероятно, он заботится о репутации заведения или даже состоит на жалованье у хозяев. Мне это, в общем, безразлично, но самоуверенность его я быстро сбиваю:

– Передайте инспектору, сержант, чтобы о случившемся было немедленно доложено главному комиссару Бойлю. Я буду у него и повторю мои показания. Имена убитых вы знаете или узнаете. И мотив вам ясен: обычная бандитская перепалка.

Сержант снова, на этот раз почтительно, козыряет и уходит за стойку к бармену.

Киваю все еще суетящемуся поблизости мальчишке-официанту:

– Получи, – и оставляю ему пять франков. – Сдачи не надо.

– Спасибо, мсье Ано – говорит он.

– Откуда ты меня знаешь?

– Раньше я служил в отеле "Омон", много раз приносил вам в номер вино и кофе. Только две недели назад сюда перешел.

Мальчишка наклоняется ко мне, словно хочет что-то прибавить.

– Ты еще не все сказал мне, приятель? – спрашиваю я.

– Да, мсье Ано. – шепчет он. – Я видел, как убийца положил что-то в карман этому парню и как вы потом что-то оттуда вынули. Должен я об этом молчать или нет? Я сделаю так, как вы скажете.

– Пока молчи, – говорю я. – Это хорошо, что ты все видел. Вдруг мне понадобится свидетель? Понял, дружище?

– Понял, мсье Ано. Мой отец всегда голосует за сенатора Стила, и я готов выполнить любое ваше требование.

Бар быстро пустеет. Тела убитых сейчас увезут в морг.

Глава XII

НАЧИНАЕМ ПОИСК

Мы снова в отеле.

Вынимаю из бокового кармана сложенный вчетверо, помятый листок, дрожащими от скверного предчувствия пальцами разворачиваю его и, не прочтя, вскрикиваю.

У меня в руках написанное мною письмо директору избирательных популистских кампаний, рекомендующее историка Питера Селби для работы в партийном архиве.

– Что это? – спрашивает Мартин.

Я протягиваю ему письмо.

– То самое?

– Да!

– Почему оно у тебя?

– Потому что я взял его из кармана Луи Ренье. Помнишь, Пасква нагнулся к нему, уже мертвому? Он сунул это письмо в карман его куртки.

– Ничего не понимаю. Бессмыслица какая-то, – говорит Мартин.

– Попробуем понять, – размышляю я вслух. – Пит отдал рекомендацию Жанвье. Тот прочитал и вернул ее Питу. Что за сим последовало, известно. Письмо купили и подбросили убитому.

Мартин недоуменно разводит руками.

– Зачем?! Луи Ренье не Пит Селби. Личность убитого была бы тотчас установлена.

– А планы Мердока ты не учитываешь?

– При чем здесь Мердок? – горячится Мартин. – Ему был нужен чистый лист с подписью Стила, а не рекомендация какому-то Питеру Селби. Он мог бы ее получить без особых хлопот во время обыска в твоем номере.

– Тогда она была ему не нужна.

– А теперь понадобилась? Для чего?

– В то время Мердок еще не был кандидатом в сенат. А сейчас, после билля, он ищет любые средства для борьбы с популистами, потому что у них – большинство.

Тут все годится – и шантаж, и убийства. О шантаже ты знаешь. А убийство мы только что видели. Документ за подписью Стила, который могли найти полицейские в кармане Луи Ренье, скомпрометировал бы популистов.

– Все-таки не понимаю, почему?

– Газетчик-мыслитель! Думать надо. Кого убили? Бидо и его компанию. Скупщики голосов за "джентльментскую" партию. Кто убил? Неизвестно. Но один из преступников тоже убит, и в кармане у него рекомендация кому-то за подписью Стила. Какой вывод могут сделать газетчики из "Джентльмена"? Да и "Брэд энд баттер" не постесняется раздуть скандальчик.

– Но ведь, кроме меня, никого из газеты не было.

– А ты уверен? Может быть, кого-то и специально послали, а может быть, кто-то дежурил в ближайшем полицейском участке. Как расписал бы он войну популистов с "джентльменами"? "Убийство в "Аполло"! Как добываются голоса для предстоящих выборов! Популисты расстреливают своих противников! А подписывается под сей операцией не кто иной, как честнейший, почтенный и уважаемый всеми сенатор Стил!"

Мартин, конечно, уже все понял, но продолжает играть в "непонимайку". Подобно многим своим собратьям-газетчикам, он любит эту игру, когда задают не прямые, а окольные, наводящие вопросы, выуживая нужную и ненужную информацию: с умелой подкраской и ненужная пригодится.

– Помнишь, я тебе рассказывал, – как бы вспоминая, – говорит он, – что из Бидо собираются сделать пудинг? Я ведь думал, речь идет о гангстерских междоусобицах.

– Не ври, Дон. Не думал ты так. Прекрасно знаешь, что здесь не Сицилия и не Манхеттен. И на земной аршин ничего мерить нельзя. Есть что-то родственное, но не то. И не Пасква замыслил всю эту акцию – он вообще не умеет мыслить, этот тупой бандюга. Задумал ее изворотливый и хитрый ум.

Мартин, уже привыкший к тому, что в сложных положениях именно я принимаю решения, вопросительно смотрит на меня. И, не дожидаясь вопроса, я отвечаю:

– Возвращайся в редакцию и разузнай, что готовят твои коллеги в утренний номер. Доказательств у них нет.

Значит все, что они напишут о причастности популистов к преступлению в "Аполло", – вранье. Впрочем, на это они не пойдут: повод для обвинения в клевете очевиден. Если тебя вызовет редактор или Мердок – может и такое случиться, – говори правду. Не скрывай, что был вместе со мной. Ничего не видел, кроме стрельбы, убитых и гангстеров. Что делал я? То же, что и ты. Подошел к убитому, послал официанта за полицией, дал показания сержанту. Мердок, если ему доложат о нашем присутствии в баре, конечно, догадается, кто сорвал операцию. Но ты "ничего не знаешь", а я выкручусь.

– Я действительно ничего не знал о взятом тобой письме. Ты сделал все чертовски быстро.

– Думаю, тебя об этом и не спросят.

Мы оба понимаем, что преступление в "Аполло" заставляет торопиться. Выглядываю в окно – улица пуста, тусклый газовый фонарь кладет желтый круг света на мокрую от дождя брусчатку. Снимаю с вешалки сюртук и меняю шлепанцы на штиблеты.

– Ты куда? – спрашивает Мартин.

– К Бойлю.

– Во-первых, уже поздно.

– Он еще работает. Он долго задерживается.

– А во-вторых, зачем?

– Рассчитаться с Пасквой. Полагаю, Бойль это сможет.

– На каком основании?

– С предвыборным шантажом подождем. Надо еще собрать все необходимые материалы. Но с убийством ясно. Есть два достаточно авторитетных свидетеля, узнавших убийцу.

Мартин очень серьезен, даже встревожен, пожалуй. Его, видимо, беспокоит история со злополучным письмом Стила. Не верит мальчишке-официанту? Пусть так. Проболтается мальчишка – узнает Бойль. Ну я и скажу ему всю правду, прежде всего он популист, а потом уже начальник полиции. А Мердок все равно догадается.

– Не боишься? – интересуется Мартин.

– Кого?

– Мердока, конечно.

– Пистолеты нам пока не понадобятся, Дон. Подсылать убийц к советнику сенатора он, как будущий коллега

Стила, не станет. Ограничимся словесной дуэлью. А результат ее предсказать трудно. Кто будет повержен, поживем – увидим. – С этими словами я открываю дверь в коридор – он безлюден – и добавляю: – Выходим поодиночке. Ты – в редакцию, я – к Бойлю.

На улице нанимаю ползущий мимо фиакр с полусонным кучером, который сразу просыпается от моего окрика и чуть не роняет бич, похожий на цирковой шамберьер.

Полицейское управление находится там же, где и пятьдесят лет назад, – на углу Больших бульваров, – в двадцати минутах езды. Сейчас здесь тихо и пусто. Охранник придирчиво проверяет пропуск, выписанный мне еще месяц назад.

Бойль сам встречает меня у дверей своего кабинета, – уже поздно, и секретарша давно ушла, а дежурный адъютант что-то записывает у телефона.

– Признаюсь, я не удивлен вашим появлением, советник, – улыбаясь, говорит Бойль. – Мне уже доложили о происшедшем в "Аполло".

– Я просил это сделать немедленно.

– Убийство произошло на ваших глазах?

– Да. И я был не один, а с моим знакомым, мистером Мартином.

– Кто этот Мартин?

– Журналист. Сотрудник одной из наших газет.

– "Брэд энд баттер" не наша газета, советник.

Значит, Бойль уже разузнал, с кем я находился в "Аполло". Но, не придавая этому значения, отвечаю:

– Я сказал в широком смысле. А частные мои связи довольно обширны. Иногда полезно получать сведения и в чужом лагере.

– Понимаю, и не осуждаю. Но почему вы просили тотчас же информировать об этом меня? Достаточно было бы и кантональной полиции.

– Прочитайте завтра утренний выпуск "Джентльмена" и вы поймете. Какой вой там поднимется по этому поводу! Ведь убитый Бидо и его партнеры – "джентльменская" избирательная агентура.

– Но это не политическое убийство, Ано. "Джентльмен" нам его не припишет.

– А кому припишет его "Брэд энд баттер"? Мартин писать не будет, уверен. А вдруг выскажется кто-то другой?

– Спасибо вам за подсказку, советник. Что же требуется от меня?

– То, что потребуют от вас "Джентльмен" и другие газеты. Остановить бандитизм и задержать убийцу.

– Если б мы его знали!

– Мы знаем. Я и Мартин. Это Чек Пасква – личность, известная полиции всех кантонов. Наверняка у вас в картотеке есть его фото.

Бойль задумывается. Он все понял, но почему-то молчит. Я жду.

- Чек Пасква? – полувопросительно повторяет он. – Личность действительно хорошо нам известная. Вы с ним знакомы?

Я рассказываю о наших встречах, о том, как Пасква шантажировал избирателей. Бойль заинтересован. Еще бы! К уголовщине примешивается политика. И враждебная ему, Бойлю, политика.

– Пасквy мы, конечно, задержим, – говорит он. – Пока только по делу в "Аполло". Об остальном подумаем. Тут сложнее.

– Мердок? – задаю вопрос в упор.

Вместо ответа Бойль спрашивает:

– А мистер Мартин знает жертв шантажа?

– У него есть предположения.

– А факты?

– Есть признания землевладелицы – мистер Мартин назовет вам ее имя и адрес, – что некий приезжий субъект требовал от нее со всем ее штатом голосовать за реставраторов, угрожая в противном случае спалить урожай. Предъявите ей фотокарточку Пасквы, и она его узнает.

– А если она не подтвердит полиции своего признания мистеру Мартину?

Я пожимаю плечами – оснований для спора нет.

– Кислое дело, – замечает Бойль. – Задержим его за убийство в "Аполло" – с хорошим адвокатом сумеет выкрутиться. А хорошие адвокаты у него будут. Так?

Мы понимаем друг друга. Король может защитить пешку. И, даже выиграв пешку, мы еще не окажемся в той позиции, чтобы сказать ему: "Шах!" Мердок сам отдаст эту пешку, если она ему уже не нужна. Но политический шантаж реставраторов так и останется нераскрытым. Здесь уязвимых позиций у Мердока нет. В конце концов, это – только один из способов добывать на выборах голоса. С такой же беззастенчивостью добывают их и "джентльмены" с помощью Бидо и его сообщников. Не безгрешны и популисты – недаром Жанвье так упорно скрывает от Селби компрометирующие партию документы. Чем же хуже Мердок, прибегающий к подобным способам, только с большей откровенностью, не брезгая и уголовщиной?

С этими мыслями я возвращаюсь в отель. Надо все-таки поспать хотя бы половину здешней короткой ночи.

Глава XIII

СЕРЕБРЯНЫЙ ВАРИАНТ

Поспать не удается. Правда, я пытаюсь заснуть в автомашине Бойля, на которой он любезно отвозит меня в отель. Машина черного цвета, с отделкой из полированного ореха и обитыми красным сафьяном сиденьями, с натянутым брезентовым верхом – она очень напоминает модели девятисотых годов. Трясет в ней отчаянно, так что попытки мои тщетны.

Странно встречает меня портье. Услышав или подсмотрев, что я приехал на автомобиле, он сгибается чуть ли не пополам, но, подавая ключ от номера, старается не смотреть мне в глаза. На вопрос, закрыт ли ресторан, он отвечает, что закрыт, и тут же предлагает мне бутылку "Вудвилльского" из своих собственных запасов. С этой бутылкой я подымаюсь в номер, открываю дверь и замираю в передней: в комнате горят все свечи, которые я потушил, – очень хорошо помню, что потушил, выходя на улицу вместе с Мартином. Значит, в комнате кто-то был или кто-то ждет. Мартин?

Оказывается, не Мартин.

У камина, развалясь в кресле и вытянув к огню длинные ноги, сидит Мердок. Он в одном жилете, сюртук болтается на спинке кресла, узкое холеное лицо повернуто ко мне, а на губах – знакомая хитренькая улыбка.

– Удивлены?

– Как вы попали сюда? – спрашиваю я, хотя вопрос этот явно лишний.

– У хозяина гостиницы всегда имеются запасные ключи, – смеется Мердок. – Давайте-ка сюда вашу бутылку, а то я выпил весь грог.

С видом любезного хозяина водружаю на камин бутылку "Вудвилльского". Мердок морщится.

– Предпочел бы коньяк. Но ресторан закрыт – знаю. У Бойля были?

Скрывать бесполезно. Никто не поверит в ночную прогулку по бульварам.

– Был.

– Я так и подумал.

Нельзя допускать, чтобы он чувствовал себя хозяином положения, и я говорю:

– Не вышло, Мердок?

– Увы. Меня снова переиграли. Я сразу догадался об этом, когда узнал о вашем присутствии в "Аполло" и что вы первым нагнулись к убитому. А с какой целью?

– Цель понятна. Хотелось убедиться, жив ли он.

– Это после того, как его прострочили из автомата в упор? И сразу же полезли к нему в карман?

– Почему я должен отвечать на ваши вопросы?

– Хотя бы из любезности к гостю.

– Кстати, незваному. Ну, допустим такую любезность. Меня заинтересовало то, что ему подложили в карман.

– И никто не заметил ваших манипуляций?

– Никто не видел, даже Мартин.

– Но вы ему рассказали?

– Зачем? – я сыграл неподдельное удивление.

– Может быть действительно незачем. Просто так вы ничего не делаете. Но Мартин меня не беспокоит, даже если вы и сболтнули. Его переведут на светскую хронику

и увеличат вдвое оклад. Меня интересуете вы. Точнее, ваши действия. Знает ли об украденном вами документе Бойль?

Оказывается, у меня есть козырь. Мне становится легче. Будет угрожать Мердок или предпримет иной маневр?

– Бойлю я сказал другое, – умышленно лгу я. – А о подложенном убийцей документе – кстати, украл его не я, и вам это тоже отлично известно, – так вот, об этом документе я пока еще никому...

– Пока? – перебивает Мердок.

– Естественно, – говорю я. – Каждый игрок всегда придерживает нужную ему карту.

– Логично. И что же вы сказали Бойлю?

– Назвал убийцу.

– Вы узнали его?

– А вы думаете, черный платок, кое-как подвязанный под глазами, скроет верзилу по имени Пасква? У меня с ним было достаточно встреч, чтобы узнать его даже под маской. Да и маска была липовая.

– Значит, Паскву возьмут, – задумывается Мердок.

– Боюсь, что вы ему уже не поможете.

– Я и не собираюсь, – презрительно улыбается Мердок. – Паскву я вам отдам. Он действовал на свой риск и страх, без какой-либо связи со мной.

– Ну, связь-то была, – говорю я. – Может, просто не было согласованности.

– В чем?

– Ну, скажем, убийство Ренье. Может быть, оно и не замышлялось.

– Вы знаете имя убитого

– Знаю, Мердок. И предполагал, что ему подложат что-то вроде того документика.

Мердок уже хохочет, искренне и непринужденно, даже глаза смеются.

– Не глядите судьей, милый юноша. И Паскву вы не будете судить – надо еще, чтобы судьи поверили. Ведь я с вами играю, Ано. Неужели вы думаете, я здесь, потому что напуган и хочу вас уничтожить? Разве я стал бы делать это сам? Фи! Как грязно и некрасиво. Ведь

ночи темные, улицы пустые, всякое может случиться во время ночной прогулки?

– Значит, я вам все-таки мешаю, Мердок?

– Конечно, мешаете. Со Стилом у нас с вами не вышло – со своей дурацкой речью он выступил. Надеюсь, писали ее не вы? Только она ничего, как вы знаете, не изменила. В "Аполло" вы зря сунулись. Пасква – лицо для меня полезное. Но я широкой души человек. Вы мне по-прежнему нравитесь. Ведь Стил собирается подать в отставку сразу же после выборов. А куда вы пойдете? К Уэнделлу? Он вас, безусловно, возьмет, только скучно с ним будет. Наращивать промышленные мощности и бороться с аграриями в недрах собственной партии? Уэнделл борется не за власть, а за капиталовложения – скучная борьба, не для вас. Вы – странный человек, Ано. Ведь даже на Стила работая, вы ему ножку подставляли, несколько раз подставляли, хитро. Но зачем? Вот это мне и хочется узнать. А от кого узнать, как не от вас?

Я напряженно молчу, стараясь ничем не выдать свои мысли. Для чего, в сущности, пришел Мердок? Пришел ночью, тайно, воспользовавшись запасным ключом к моему номеру. Наказать меня за содеянное в "Аполло"? За то, что я проник в его замыслы? Но не затем же, чтобы сделать это по-гангстерски, в духе Пасквы? Мердок прав: для того существуют другие руки и другие способы. Тогда с какой целью? Снова попытаться меня купить – зачем? Для чего все эти полупризнания, полуоткровенности? Вероятно, просто игра, страсть к игре – ведь играет же он в политику, швыряясь людьми и деньгами, кем-то пожертвованными или у кого-то украденными. Может, в моем поведении есть что-то привлекающее политических подонков: ни я, ни Мартин не принадлежим ни к "джентльменам", ни к популистам. Донован Мартина не интересует, а мои симпатии к Доновану пока еще открыто не выражены. Так почему бы не привлечь нас к движению реставраторов? Привлечь покрепче, посолиднее, поосновательнее. Мердоку нужны не только избиратели, но и помощники, на которых он мог бы опереться. Все это возможно, конечно, – но возможно ведь и другое. Что, если Мердока волнует не исчезновение документа из "Аполло", а самый факт его появления на свет? Для чего

я взял чистый гербовый бланк у сенатора Стила и написал рекомендацию Питеру Селби? С какой целью? В историка, изучающего победы популистов на выборах, Мердок, естественно, не поверил. Он знает о характере информации, интересовавшей Пита. И не понимает, почему я, человек Стила, искал материал, компрометирующий его партию. А я искал лишь подтверждения политических махинаций всех буржуазных партий на так называемых свободных демократических выборах. Но это навело Мердока на мысль о подножке.

Я оказался прав.

– Что же вы молчите, Ано? – спрашивает Мердок. – С какой целью вы отправили в канцелярию Жанвье некоего Питера Селби?

– Почему бы мне не доставить удовольствие сенатору созданием истории партии, основанной еще его покойным отцом?

– А для чего тогда подбирались документы, эту партию компрометирующие? Даже Жанвье обратил внимание.

– Селби несколько переусердствовал в стремлении быть правдивым и точным. Негативный материал впоследствии мы все равно бы отбросили. В конце концов он сам это понял и согласился полностью следовать советам Жанвье.

– По вашему предложению.

– Фантазируете, Мердок. Зачем?

– Затем, что опять же не политик вы, а игрок. Это я могу спросить вас, зачем вам понадобился материал, порочащий партию популистов? Но я не спрашиваю – я знаю. Вы, как игрок, подбирающий подходящие карты, подбираете и эту – на всякий случай, для будущего. Отставку Стила вы не могли не предвидеть: он стар. Политических симпатий у вас нет: вы сами в этом признались. Вы игрок, я еще раз повторяю это, Ано. И как таковой мне подходите. И собранная вами информация – тоже. Собирайте ее и дальше. Настаивать на вашем уходе от Стила сейчас я не стану. Продолжайте вашу многогранную деятельность до отставки сенатора. Ведь не пойдете же вы к нему в управляющие? А там подумаем. Идет?

– Ради этого вы пришли ночью сюда?

– Во-первых, я узнал немало полезного. А во-вторых, где бы мы с вами встретились? Вызвать вас к себе – вы могли бы и не прийти. Пообедать в сенатском клубе? Вы могли бы и отказаться: советнику сенатора Стила интимничать с главой конкурирующей ассоциации не положено.

– В клубе я встречаюсь со многими.

– Знаю. Но Уэнделл – ваш глава, Бойль – начальник полиции, а Донован не играет серьезной политической роли. Вас он просто интересует как личность. Нечто любопытное в нашем политическом обезьяннике. Фанатик, мечтающий о переустройстве мира. Организатор движения, которого фактически еще нет. Ни ремесленники, ни арендаторы за ним не пойдут. Может, в будущем такие, как Донован, станут опасны. А сейчас это – кучка мечтателей, несколько кресел в сенате. Позавтракать с Донованом занятно, но работать с ним вы не будете. Кто остается? Церковники? Вы не религиозны, я сомневаюсь, что вы ходите в какую-нибудь церковь или на молитвенные собрания. "Джентльмены"? Но у вас нет ни состояния, ни положения, и в этом лагере к вам всегда будут относиться несколько свысока. Советник Стила... Куда же ему идти после отставки сенатора? Об Уэнделле мы уже говорили – советником он вас возьмет, может даже предложить пост в банке или какой-нибудь страховой компании. Но вам будет скучно, Ано. А я могу заплатить вам вдвое больше. Да и работать со мной интереснее. Вот вам и предложение. На будущее, Ано, на будущее.

– Можно подумать, – говорю я осторожно. Открыто конфликтовать с Мердоком еще не время.

– Тогда закончим ваше "Вудвилльское".

– Закончим. А Паскву не жаль?

– Вы сначала возьмите Паскву. И судите. Я далеко не уверен в исходе процесса.

Вспоминаю разговор с Бойлем. Конечно, Пасква станет все отрицать, а защитники у него найдутся. Но наши с Мартином свидетельства будут давить на любых присяжных плюс репутация Пасквы – об этом позаботится Бойль. Нет, мистер Мердок, мы не союзники, и смерть Луи Ренье я вам не прощу.

Однако вслух произношу нечто неопределенное:

– К чему гадать об исходе процесса? Убийцу мы опознаем, а дальше – поглядим.

Мердок улыбается.

– Тогда все впереди, Ано. Покидаю вас с надеждой, что встреча наша была дружеской и перспективной. Ложитесь, у вас еще есть время поспать.

Но поспать опять не удается. Как только уходит Мердок, слышатся шаги, потом тихий скрип двери, и входит Мартин. Он в домашнем халате, подвязанном шнурком с кисточками: похоже, собирался ко сну и что-то ему помешало.

– От тебя только что вышел Мердок, – говорит он. – Сейчас видел его на лестнице. И долго он просидел?

– Час, пожалуй. Я его застал, когда вернулся от Бойля.

– Я почему-то предчувствовал, что он появится. Значит, дуэль уже состоялась?

Я рассказываю.

– Но зачем он к тебе в номер пришел, ночью?

– Понравился ему, наверно, – говорю я специально для того, чтобы позлить Мартина. – Я и Корсону Бойлу нравился.

– Не об этом речь, – сердится Мартин. – Ты не думаешь, что хитрит он, еще одну пакость готовит?

– Не думаю. Кажется он был искренним и достаточно откровенным.

– Меня удивляет, почему так легко он отдал нам Паскву?

– Во-первых, Пасква еще не пойман. И не уличен. Об этом Мердок, между прочим, напомнил. А во-вторых, он не боится наших показаний. Нам придется выдержать напор таких адвокатов... Да ты и сам знаешь.

– Неужели мы проторчим здесь до суда?

Я понимаю Мартина, возвращение домой опять откладывается. Но что же делать? В прошлый раз мы тоже не знали, когда нас вернут. Сейчас мы хотя бы можем утешаться спиралью времени. Пока здесь тянутся месяцы – на Земле проходят часы. Вероятно, и "Жигуленок" мой все еще стоит на обочине дороги от Фароса к Ялте, не рассердив инспектора ГАИ. И дома спокойны: телеграмму

из Севастополя я послал. А Мартину и писать некому: никто его в Нью-Йорке не ждет. Пожалуй, это единственное, что нас поддерживает тут.

– Примешь предложение Мердока? – настороженно интересуется Мартин. – Ведь Стил действительно может подать в отставку.

– Мердоку я сказал: подумаем. Еще не время для открытой борьбы. Надо рассчитаться с Пасквой. Есть у меня одна идея.

Мартин не спрашивает, какая. Просто ждет.

– Серебряный вариант, – говорю я. Тугодум этот Мартин: приходится все разжевывать до конца. – Кто-то должен подбросить Бойлю сведения о том, где находится серебро с "Гека Финна". Две тонны серебра – это, мой милый, не кот наплакал.

– А если они уже проданы или перевезены в другое место?

– На бирже до сих пор не зарегистрированы крупные сделки по купле-продаже серебра в слитках. А лучшего места для хранения, чем та лесная хижина, нет.

– Ты сказал "кто-то должен подбросить" Бойлю адреса хранилища. Кого ты имеешь в виду? – спрашивает Мартин.

– Тебя. Анонимно, конечно.

– Интересно. А каким способом?

– Можно по телефону, можно письмом. По телефону опаснее: здесь автоматов нет. Письмо лучше составить из печатных букв, вырезанных из газет. Выберем разные.

– А когда? Сегодня, завтра, через неделю?

– Только после того, как задержат Паскву.

– Какая связь...

– Вернемся к этому разговору после ареста.

Спать уже не придется. День начался.

Глава XIV

БИРЖА

– Почему у вас красные глаза, Ано? Кутили всю ночь? – спрашивает Стил, аккуратно снимая цилиндр и перчатки.

Я уже успел побриться и позавтракать, в комнате прибрано и проветрено, но ни бритье, ни три чашки кофе за завтраком не могут скрыть следов ночного бдения. К счастью в этот момент в комнату с радостным криком врывается Минни и бросается мне на шею. Тема разговора меняется.

– Я так рада, так рада, мсье Ано, что дядя взял меня в Город. И вас видеть рада, и мистера Мартина. Кстати, где же он?

Ощущаю нежную холодноватость шелка и тончайших розовых кружев.

– Мартин сейчас в редакции, – поясняю я, поправляя сбившуюся малиновую накидку Минни.

– Вечером вы у нас. Никаких отказов. Расскажете обо всем интересном, что видели в Городе, а то дядя ни о чем не мог вспомнить, кроме политики.

– Скучали за городом, Минни?

– Что вы?! Скучать некогда – на мне хозяйство. Даже на охоту не ездила...

– Тебе пора, Минни, – строго говорит Стил, – экипаж ждет, у тебя масса дел. Не забудь после ателье мод заехать к Принстону и заказать железо для крыши коровника. В моей записке есть еще стекла для веранды и десяток мотков колючей проволоки. Все это пусть они доставят на ферму сами. Ты только закажешь.

Минни, повторив приглашение на вечер, уходит – маленькая хозяйка большого дома, и мы со Стилом остаемся одни. Я достаю из шкафчика бутылку "Эдема". Сенатор предпочитает его всем другим виноградным винам Веррье.

– Что новенького, Ано? – спрашивает Стил.

Я пожимаю плечами. Что может заинтересовать Стила? Моя игра с Мердоком? Стила пока рано вмешивать в нее. Беседы с Уэнделлом? Их еще слишком мало, чтобы извлечь что-то для сенатора. Убийство в "Аполло"? Стил знает о нем из газет и не задает вопросов: гангстерские войны его не интересуют – уголовщина, грязь, макулатура для Бойля. Дружба с Донованом? Слухи о ней все равно до него дойдут, и он сам когда-нибудь спросит об этом...

– Какие же у нас новости? – мямлю я. – Кое о чем я вам писал. Сенат распущен. Правительственный секре-

тариат пока работает. Конечно, весьма условно. Вист дремлет. Секретарь по делам суда и полиции ловит убийц и готовит процессы. Селби пишет историю партии. А Уэнделл, по всей видимости, уже сформировал "теневой кабинет". Состав его мне пока неизвестен.

– Как развертывается кампания?

– Вероятно, как и прежде. Висят плакаты с вашими портретами. Время от времени в зале Дженни-холла проводятся собрания. У "джентльменов" реже, у популистов чаще. Кормят гостей бесплатно, у популистов – с бокалом яблочной водки, у "джентльменов" – с абрикосовой. Церковники раскололись. Католики объединились в собственную ассоциацию, евангелисты создали свою. По-моему, глупо – только распыляют голоса. Студенты до сих пор не могут объединиться: кого тянет к "джентльменам", кого – к трудовикам. Думаю, их голоса так и распределятся на выборах.

– А Мердок? – осторожно спрашивает Стил.

– Мердок неуязвим и незапятнан. Если гремят выстрелы, так не из его пистолетов; если покупаются голоса, так не на его деньги.

Стил вздыхает – даже глаза сужаются: так он ненавидит Мердока. Я разделяю его чувство, но раскрываться повременю.

– Рондель еще пожалеет о своем билле, – зло говорит сенатор. – Пропустив Мердока в сенат, он сам свалится от его пинка.

– А может, обойдется и без пинка? – Мне очень хочется, чтобы Стил наконец понял соотношение сил в сенате. – Рондель – финансист и шахтовладелец. Чего же ему бояться? Мердок, придя к власти, будет делать то, что Рондель потребует. Уверяю вас, сенатор, "джентльмены" больше боятся трудовиков, чем реставраторов.

– Мне уже все равно, – устало произносит Стил. – После выборов сразу подам в отставку.

– Твердо решили?

– Твердо. Тянет к земле. К прерии. Конный завод куплю.

– Зачем же вы приехали, раз предвыборные дела вас не волнуют?

– У меня дела на бирже, Ано. Готовлю срочную сделку. Если хотите, поедем вместе...

Помещаются обе биржи – и фондовая, и товарная – в одном здании на кольце Больших бульваров: минутах в десяти ходьбы от полицейского управления. Почти двухсотметровой длины здание песочного цвета, с лепными фигурами атлантов, поддерживающих карниз крыши, было построено уже во время нашего отсутствия, лет тридцать назад, и выглядит сооруженным на века. Во всю длину его тянется широкая и пологая лестница, окаймленная с боков и тротуара резной чугунной решеткой. На ней суетятся и шумят, словно на рынке, сотни людей, толкая друг друга и выкрикивая какие-то названия и цифры. Объяснять это мне не нужно: как и на земных биржах, здесь покупаются акции по мелочам – поштучно и подесяточно. Тут орудуют даже не маклеры, а мелкие спекулянты, узнающие новости по реву биржевых мегафонов, доносящих на улицу капризы биржевых цен.

Все здание биржи занимает огромный, трехэтажной высоты зал со стеклянной крышей и высоченными узкими готическими окнами. Вернее, это два зала, разделенные холлом, в котором ничего не продается и не покупается и который похож на театральное фойе или большую курительную, где постоянно толпится народ.

Мы, конечно, сразу же отправляемся на товарную биржу – фондовая Стила не интересует, – и первое, что мы видим, – это отчаянно жестикулирующий человек на шестигранном возвышении. Рядом на столике телефонный аппарат, за спиной – грифельная доска. Проворные молодые люди мокрыми тряпками стирают написанные на ней мелом цифры и тут же пишут новые. "Здесь продают за наличные, цены повышаются или падают в зависимости от числа предложений, – рассказывает Стил. – Продают зерно фермеры, покупает маклер, узнающий по телефону о ценах". – "А там?" – спрашиваю я, указывая на другое возвышение, где тоже кто-то стоит, окруженный человеческой суетой, выкрикивает цифры. "Там торгуют бобовыми, – терпеливо разъясняет Стил, – сахарным тростником, фруктами и виноградом – оптом. Вся оптовая – крупная торговля идет через маклеров и перекупщиков,

для мелкой остается рынок... – Он отвлекается, потом говорит виновато: – Я покину вас ненадолго. Хотите, посмотрите пока фондовую биржу – там не менее интересно".

Я послушно прохожу через холл в зал фондовой биржи. В нем такие же возвышения и такая же суета, как и на товарной. Только и слышится: "Покупайте Континентальные!", "Мортон понижаются на пять франков за час!", "Сбывайте Мортон!".

– А что такое Мортон? – спрашиваю я у соседа.

Тот даже не глядит на меня и только вздергивает руку с загнутым пальцем. "Четыре", – говорит маклер и кивает. Мой сосед проталкивается вперед и подает ему какой-то кусок картона – вероятно, визитную карточку с подписью, подтверждающей сделку, сущность которой для меня остается совершенно неясной. Тут я оглядываюсь и узнаю Жанвье из избирательной канцелярии популистов. Он жадно смотрит на грифельную доску с цифрами.

– Жанвье, – останавливаю я его, вспотевшего, пухлого и розового под рыжими бакенбардами, – вы что здесь делаете?

– А я еще и биржевик, – нисколько не удивляется он, узнав меня, только жирные губы растягиваются в доброжелательной улыбке. – Если у вас есть Мортон, продавайте сейчас же.

– А что такое Мортон? – опять спрашиваю я.

– Господи! – ужасается он. – Да вы совсем зеленький! Впервые на бирже?

– Впервые.

– "Мортон" – это "сталепрокатные". Акции фирмы "Мортон и компания". Их кто-то стремительно выбрасывает на рынок.

– Зачем?

– Следом начнут выбрасывать и другие. Цена еще упадет. А когда спустится до нужного кому-то достаточно низкого уровня, этот "кто-то" начнет их скупать, и цена вновь повысится.

– Так проще их придержать.

– Не угадаешь. А вдруг кто-то хочет слопать "Мортон и компанию"? Цена-то повысится, но когда? Тут и

разориться недолго, если акций у тебя на несколько сот тысяч франков. Я свои уже продал. Теперь жду.

– Боюсь, что такая игра не для меня, – говорю я. – А кто, в сущности, может быть этим "кем-то", кому вдруг захотелось слопать "Мортон и компанию"?

– Таких много. Хотя бы Уэнделл.

– Любопытно. Ведь мы его знаем. Могли бы спросить.

– А вы думаете, он с нами поделится?

– Нет, этого я не думаю. Но поговорить бы хотелось.

– Ничего нет проще. Он сейчас у себя, вернее, в конторе своего маклера. Зайдите в дверь под шестым номером. Маклер Кингстон. Туда несколько минут назад зашел и Уэнделл. Вероятно, для личных распоряжений, иначе бы воспользовался телефоном. Но ведь любой телефонный разговор здесь можно подслушать. Подкупите телефонистку – и все данные у вас.

– Мне это ни к чему.

Жанвье пожимает плечами: каждому свое.

– Если хотите купить акции, поинтересуйтесь "нефтяными Мюррэ". Идут на повышение. И продавайте перед закрытием, минут за десять до колокола. А мне пять процентов за подсказку, если прибыль будет стоящая, – смеется он и скрывается в толпе.

Я вхожу в шестой кабинет. Крохотная комнатка, отделанная полированным орехом, письменный стол, заваленный пучками телеграфных лент, и три кресла. В одном из них в строгом темно-коричневом сюртуке сидит Уэнделл, а за столом, поднявшись с маклерского кресла, стоит старый джентльмен, весь в черном, кроме белой крахмальной сорочки, с маленьким блокнотом в руках.

– Итак, выбрасывайте еще две тысячи акций, – говорит Уэнделл, не видя меня. – Покупать начнете, когда они упадут на пятнадцать пунктов. Всю операцию закончите до удара колокола. – Он оборачивается на скрип двери: – Мсье Ано? Ну и удивили? Что же заинтересовало вас в нашем доме умалишенных?

– Никогда не был на бирже, мистер Уэнделл. Жанвье сказал, что вы здесь. И я счел нужным поприветствовать вас, я бы сказал, не в доме умалишенных, а в храме ценностей.

– Я искренне рад вам, мсье Ано. Сейчас Кингстон обойдет всех своих брокеров и передаст им мои указания. А мы пока побеседуем. Сидеть одному в этом стойле не просто скучно – невыносимо! Минутку, Кингстон, – останавливает он уходящего. – Если у вас, мсье Ано, есть "сталепрокатные Мортон", продавайте немедленно. И опять покупайте, как только они пойдут на повышение. Не опоздайте. К закрытию биржи прибавите триста на каждую тысячу франков.

Жанвье прав: судя по всему, к удару колокола "Мортон и компания" будет проглочена целиком.

Я вежливо улыбаюсь Кингстону и развожу руками: мол, ничего ни продавать, ни покупать не собираюсь.

– У меня нет акций, мистер Уэнделл. Я не играю на бирже.

– Так сыграйте. Нет наличных – кредитую.

– Спасибо. Предпочитаю другую игру, мистер Уэнделл.

– В политику? – понимающе кивает глава партии.

– Как вам сказать... – неопределенно говорю я.

– Я все знаю от Бойля, – Уэнделл серьезен и проницателен, – все, кроме того, что вы ему не рассказали. А ведь вы кое-что оставили про запас. На всякий случай. Не правда ли?

– Это он так думает?

– Это я так думаю. Потому что давно к вам приглядываюсь. Вы клад для Стила, если б только он был помоложе и меньше времени тратил на своих коров и пшеницу. Вы лучше меня оценили опасность одного из наших противников на будущих выборах. Догадываюсь, и о его роли в "Аполло", и о том, что вы в чем-то ему помешали. Ведь Бидо застрелили не просто конкуренты. Предполагалась какая-то провокация, которая должна была задеть и нас. Мне известно, что тогдашний утренний номер газеты "Брэд энд баттер" переверстывался, сменили целую полосу. Почему? Не оказалось ожидаемых доказательств? Каких? Не ведаю. Но знаю, что вы были свидетелем случившегося, подсказали Бойлю имя убийцы. Невольно сопоставляю с этим вашу предвыборную тактику и стратегию. В чьих интересах вы действуете – не пойму. Зато догадываюсь, что Мердок вас боится. Или опасается, скажем мягче.

– Едва ли, мистер Уэнделл. Мердок просто расчетлив и осторожен.

– Однако он пришел к вам, а не вы к нему. И Стилу вы ничего не сказали.

– Есть причины, мистер Уэнделл. Не хочется пока тревожить сенатора.

– А почему вы не интересуетесь, откуда я знаю об этом?

– Любая информация здесь продается и покупается, – говорю я, не смущаясь тем, что передо мной глава партии.

– Ну, а если я предложу вам продать мне вашу информацию? Ту, которой нет у Бойля?

– Я работаю на Стила, мистер Уэнделл.

– Мы со Стилом в одной партии, мсье Ано.

– Если нужно, о моем участии в партийных делах вас информирует сенатор. Но есть дела частные, не затрагивающие ни ваших, ни его интересов.

– Все, что касается Мердока, я хочу знать немедленно.

– Пожалуй, частью моих сведений я могу поделиться с вами.

Уэнделл заинтересован – он даже привстал с кресла.

– Что вы знаете о судьбе двух тонн серебра, похищенного из трюма "Гекльберри Финна"? – спрашиваю я. – Ничего? Так я и думал. Но как биржевику вам, конечно, известно, что слитки до сих пор не появились на рынке. Не перелиты они и в монеты: для этого потребовалась бы фабрика – специальный монетный двор, а построить и скрыть его, даже на необжитых землях, было бы слишком трудно. Значит, оно где-то спрятано.

– Вы знаете где? – вскакивает Уэнделл.

– Нет. Но кое-кто об этом догадывается.

– Когда же догадка станет открытием?

– Вероятно, скоро. Но мне известно и другое. Вы помните по описаниям газет, как произошло похищение?

– Команда и пассажиры были удалены с палубы, а вам с сенатором предоставили лодку, на которой вы и добрались до его поместья.

– Так вот, в эту лодку нас спускали не матросы из экипажа, а те же бандиты, "пистолетники", как их называют в полиции, которые выносили из трюма ящики

с серебром. И на рукаве у каждого была повязка из галуна, знакомого вам по экспонатам исторического музея.

– Реставраторы?

– Да.

– Почему вы не сообщили об этом полиции?

– Потому что меня не спросили. И потому что я не желаю, чтобы меня застрелили на улице из окна проезжающего мимо фиакра. Ведь ни Стил, ни другие в лодке ничего не заметили. Мелкая деталь, не больше.

– Но существенная. Хотя Бойль, пожалуй, и не приобщит ее к делу. Это уже политика. – Уэнделл вновь опускается в кресло и, прищурившись, о чем-то задумывается. – Что же вы хотите от меня, мсье Ано?

– Если Бойль арестует убийцу и найдет серебро, – говорю я, – пусть не дает сразу материал в газеты. А главное – я подчеркиваю: главное – уговорите его немедленно, после того как будет найдено серебро, отпустить убийцу без всяких мотивировок. На все четыре стороны. Только пусть проследят за его судьбой.

Уэнделл непонимающе моргает.

– Зачем?

– Еще пятьдесят лет назад в Городе отменили смертную казнь. При помощи хороших адвокатов он сумеет избежать даже пожизненного тюремного заключения. А ведь кроме этих подонков из "Аполло", он убил и моего друга, пытавшегося предотвратить преступление.

– Но ваш друг был в его шайке.

– Он был заброшен в нее как разведчик. Я хотел нащупать связи Пасквы с Мердоком.

– Пасквы?

– Так зовут убийцу, который может уйти от возмездия.

– Всегда найдется случай просто пристрелить его при попытке к бегству.

– А кто отдаст приказ? Вы, я, Бойль? Зачем марать руки? Это сделают его же хозяева. Они решат, что за обещанную свободу Пасква передал серебро полиции. Купил, мол, сукин сын, себе освобождение. Именно освобождение, а не бегство. Конец очевиден.

– Вы жестоки, мсье Ано.

– Только справедлив, мистер Уэнделл. Вот тогда я и сообщу вам все, что знаю и что потребуется для политической дискредитации наших противников.

– Еще один вопрос, мсье Ано, – торопится Уэнделл. – Почему вы до сих пор не информировали сенатора Стила? Ведь вы его советник.

– Охотно отвечу, мистер Уэнделл. Во-первых, не хочу тревожить сенатора, он стар и не очень здоров. Во-вторых, у меня на руках еще не все карты, необходимые для выигрыша партии, которую здесь называют политическим покером. И в-третьих, мистер Стил слишком экспансивен – может проиграть, если поспешит.

Уэнделл долго молчит, плотно сжав губы.

– Я знаю о намерениях Стила уйти в отставку. Так вот, когда это случится, рассчитывайте на меня, Ано, – говорит он, вставая.

И то, что он явно умышленно опускает "мсье", очень и очень важно.

Глава XV

ОЧНАЯ СТАВКА

Мы завтракаем с Донованом в сенатском клубе. Здесь опять, как обычно в эти предвыборные дни, тихо и пусто. Сенаторы выступают в своих кантонах. Завсегдатаи биржи закусывают в биржевом ресторане. Семейные предпочитают домашний очаг. Донован же холост. Он в темной кожаной куртке, в черной шелковой рубашке без галстука – чопорная администрация клуба терпит это нарушение традиций только из уважения к его сенатскому креслу.

– Что-то ты не слишком разговорчив сегодня, Биль, – говорю я: наши отношения уже позволяют нам называть друг друга по имени. – Предвыборные дела?

– Предвыборные дела? – задумчиво повторяет Донован. – Да нет, тут все нормально. Мы, кажется, имеем шансы получить еще три места в сенате. Два от Ойлера и одно от Майн-сити. Восемь вместо пяти – не идеал, конечно, но не так уж плохо для начала.

– Результат вашего откола от популистов?

– Не думаю. Нам этот откол дал нечто большее – свободу рук.

– Разве вас сковывал блок с популистами?

– Конечно, сковывал. Из чисто партийной этики мы не могли голосовать с оппозицией, в то время как наши интересы вполне допускали такое голосование. Возьмем пример. Медные рудники Симпсона закрыты из-за отсутствия железнодорожной ветки от ойлерской магистрали. Для постройки ветки необходимы государственные кредиты – частные банки требуют обеспечения. А какой популистский сенатор будет голосовать за кредиты на дорогу, которая его фермам не нужна? Сейчас, отдав голоса сторонникам билля, мы в совокупности выиграли бы. Начнется стройка, потребуются рабочие руки. Потребуются руки – повысятся заработки. Или так: Уэнделл собирается строить три новых завода. Кто будет голосовать против кредитов? Конкуренты. Популисты не будут – его партия. Вот мы и отдадим тогда голоса популистам. Тактика Уэнделла работает и на нас. Он расширяет ограниченные рамки промышленности, а мы усиливаем в ней свою роль.

– Иначе говоря, он развивает производительные силы, а вы получаете возможность как-то влиять на взаимоотношения с хозяевами?

– Можно сказать и так. Будет даже точнее. Вообще, Юри, ты мог бы хорошо послужить нашему делу. Правда, советников у меня нет – по штату не положено, а функционерам мы не платим – они на заводах и в шахтах работают. Кстати, ты что-нибудь умеешь, кроме канцелярской зауми?

– Умею кое-что. Например, конструировать фотоаппараты и киносъемочные камеры, – улыбаюсь я и улыбаюсь потому, что здесь я наверняка сошел бы за новатора, если бы помог, скажем, ускорить переход от немого кино к звуковому, добившись хорошего качества звукозаписи и съемочной оптики. Только говорить об этом не стоит – покажешься хвастуном.

Но Доновану достаточно и моего фотоконструкторского умения.

– Пристроил бы я тебя куда-нибудь, нужны ведь такие люди. И партии нужны – хоть нет ее пока, одна лишь политическая ассоциация, – вздыхает он, но вздыхает весело. – А партия будет, обязательно будет. Сначала надо объединить цеха. Слишком их много, слишком распылены, раздроблены силы рабочего класса. Надо сплотить их. Вот наша первая и наиважнейшая задача.

К столу подсаживается Бойль:

– Не прогоните?

– Наоборот, мистер Бойль, – подымается Донован. – Вы составите компанию мсье Ано. А у меня дела – спешу.

– Вы словно избегаете меня, мистер Донован. Боитесь или не любите?

– Не очень умно, извините. Бояться вас у меня нет оснований: не нарушаю законов, а любить или не любить – вы же не девушка. Делаете вы нужное дело, но меня оно не касается. Хотя... ваши шерифы иногда задерживают ни в чем не повинных людей якобы за бродяжничество, в то время как они ищут другую работу или другого хозяина.

– Иногда мои шерифы слишком усердствуют, – морщится Бойль, но Донован, раскланявшись, уже идет к выходу.

– Трудный господин, – говорит Бойль.

– Вы тоже не легкий, – парирую я.

– А вы?

Мы оба смеемся.

– Кстати, ваш Пасква арестован, – сообщает Бойль. – Завтра утром будет доставлен сюда из Вудвилля в арестантском вагоне. Приглашаю вас на очную ставку и прошу известить об этом мистера Мартина.

– Быстро работаете, Бойль.

– Профессия.

Оживленное утро в Городе начинается в шесть часов, когда в Москве еще только просыпаются. К этому времени мы и прибываем с Мартином в Главное полицейское управление. В сопровождении представленного нам следователя Майса мы спускаемся в довольно чистые подвальные коридоры, перегороженные у лестниц железными решетками. По требованию Майса нам открывают камеру,

предназначенную для допросов. Садимся на привинченные к полу табуреты. Один табурет, у двери, остается свободным: он для арестованного.

Паскву вводят в ножных кандалах и наручниках. Он в полосатой арестантской рубахе и разузоренных заплатами из мешковины штанах. Борода его всклокочена, глаза злые. Держится независимо – явно на что-то надеется.

– Вы узнаете этих людей, Чек Пасква? – спрашивает следователь Майс.

Пасква не отвечает.

– Вы слышали мой вопрос, Пасква? – снова говорит следователь.

– Я не Пасква.

– Вы называете себя Бремсом, но вы лжете. По фотографиям и отпечаткам пальцев мы опознали вас как ранее судимого за разбой, приговоренного к каторжным работам и три раза бежавшего Чека Паскву. Мы можем предъявить вам фотоснимки.

– Предъявите.

Майс вынимает из папки полицейскую учетную карточку с фотоснимком.

– Вы?

Пасква и тут не смущен. Наверно, его не тревожит ни продолжение каторжных работ за прежние разбойные дела, ни новое обвинение, вероятно уже предъявленное. Он нагло ухмыляется.

– Ну, я. Пасква так Пасква. У меня имен много. Какое-нибудь мог и забыть.

Я смотрю на бородатого верзилу, еле сдерживая ярость. На Земле мне не приходилось никого убивать – родился после окончания войны. Но такого человека я убил бы, не переживая. Ведь это даже не волк, а крыса. Скосив глаза на Мартина, вижу, что на его сжатых кулаках побелели костяшки пальцев.

– Вы узнаете этих людей, Чек Пасква? – повторяет свой вопрос следователь.

Пасква окидывает нас равнодушным взглядом.

– Нет. Чужаки.

– А вы, джентльмены? – спрашивает нас следователь.

– Узнаем, – отвечаем мы одновременно, а я добавляю: – Это убийца из бара "Аполло". Он был в маске, но мы сразу же узнали его, потому что черный платок, повязанный у него под глазами, сполз набок.

– Вы видели его раньше?

– Да, – говорю я. – Мы познакомились два месяца назад в ресторации "Веселый петух" в Сильвервилле. Обменялись парой выстрелов. Мне не понравилось, что он прострелил мою шляпу, в ответ я разбил пулей его бутылку с пивом. С тех пор я его и запомнил. А в "Аполло", повторяю, узнал, когда он повернулся к нам боком и плохо повязанный платок приоткрыл лицо.

– Я видел его и в "Веселом петухе", и позже, на проселке близ Вудвилля, – присоединяется Мартин. – Он ехал из поместья вдовы Ланфиер. Она рассказывала мне, что именно этот человек за полчаса до нашей встречи обещал спалить ее урожай, если она со всем своим штатом не проголосует за реставраторов.

– Вздор, – возражает Пасква, – не знаю я такой вдовы и не интересуюсь ее урожаем. Ни в одной из партий не состою и люблю играть в покер, а не в политику.

– Вопросом о шантаже, если это потребуется, займется другое следствие, – останавливает пытающегося возразить Мартина следователь, – мы же разбираем дело об убийстве в "Аполло".

Пасква, должно быть ожидавший, что мы напомним ему о встречах и на пароходе, и в лесной хижине, явно доволен. Очевидно, он понял: мы не собираемся уточнять его связи с Мердоком. И то, что, рассказывая о перестрелке в Сильвервилле, я не упомянул о Мердоке, он, конечно, тоже заметил.

– Вот этого парня, – говорит он, поглядывая на меня, – я вспоминаю как будто. Был такой пистолетный шумок в Сильвервилле. Но то, что он узнал меня в баре "Аполло", – брехня. Не был я в этом трактирчике. Играл в тот вечер в карты с приятелями.

– С кем? – спрашивает следователь.

– Я уже сказал на допросе в Вудвилле.

– Повторите.

– С Эдом Химом и Лансье по кличке "Меченый". В покер играли до утра. Допросите обоих – подтвердят.

– Допросим. Но оба ваши свидетеля – бывшие уголовники. У каждого не меньше трех лет заключения. Ненадежное алиби, Пасква.

– А это уж суд решит.

– Пока еще идет следствие.

– Вот я и отвечаю. В "Аполло" не был. Никого не убивал. Все.

Следователь вынимает из папки мятый черный платок и передает его одному из присутствующих в камере полицейских.

– Завяжите ему платок. Не туго, а так, чтобы платок мог съехать в ту или иную сторону.

Полицейский завязывает платок под глазами Пасквы.

– Сдвинуть направо или налево? – спрашивает он.

Я делаю это сам.

– Вот так, – оборачиваюсь я к Майсу. – Можно узнать?

– Можно, – соглашается Майс.

– Мы и узнали.

– И все-таки в "Аполло" я не был! – нагло смеется Пасква. – И никого не убивал. Не докажете.

– Уведите, – приказывает полицейским следователь.

Позже мы все трое встречаемся у Бойля.

– Опознали? – интересуется он.

– Опознали, – подтверждает Майс.

– А почему такие кислые? Отрицает?

– Все. Твердит, что не был в тот вечер в "Аполло". Есть свидетели.

– Знаю. Липовые свидетели. И алиби липовое.

– Надо это еще доказать. Присяжные могут и не учесть прошлого свидетелей Пасквы, – со вздохом говорит следователь. – А в настоящем против них у нас ничего нет. Игра в карты и выпивка не повлияют на алиби.

– Я предполагал нечто подобное, – рассуждает Бойль. – Но для присяжных эти свидетели надежнее, – он делает кивок в нашу с Мартином сторону. – У них больше авторитета. Один – советник всеми уважаемого сенатора, другой – корреспондент распространенной газеты. И у адвокатов Пасквы ничего не найдется, чтобы их как-то

и в чем-то скомпрометировать. Так что будем надеяться, джентльмены.

– Паскву собирается защищать адвокатская контора "Бернс и Тардье", – как бы вскользь замечает следователь, – крупная фирма.

Бойль хитро подмигивает мне, и я сразу понимаю, на кого работает эта фирма. Значит, впереди еще одна схватка с Мердоком. Но состоится ли она? Не знаю. Если удастся мой "серебряный вариант" и Уэнделл нажмет на Бойля, никакого суда не будет. Паскву ликвидируют свои же по приказу Мердока. Только отдаст он такой приказ или нет?

Именно этот вопрос и задает мне Мартин, когда мы с ним встретились на другой день в ресторане "Эдем" на Больших бульварах.

– Нужно вовремя сообщить ему, что Пасква освобожден без всяких на то оснований. Мердок непременно свяжет это с полицейским налетом на его лесную "берлогу".

– Но если "берлога" действительно принадлежит ему, то опасность угрожает не только Паскве.

– Мердок не стал бы хранить серебро в своей хижине, – говорю я. – Вероятно, она куплена на чужое имя – может быть, того же Пасквы.

– Ну, а вдруг Мердок раскусит твою игру?

– Трудно. Слишком хорошо она закодирована.

– А все-таки? Ведь мы гостили в этой "берлоге".

– Риск есть, – соглашаюсь я. – Тогда ликвидировать будут нас, а не Паскву.

– Тебя не посмеют.

– Почему? Ночная выходка какого-нибудь "пистолетника". Бойль даже следов не найдет.

– Найдет Уэнделл. Цену Мердоку он теперь знает. И у него тоже своя газета. Только влиятельнее.

– Нас с тобой, Дон, к этому времени уже похоронят. Кстати, где здесь хоронят?

– Католиков на кладбище аббатства святого Петра, евангелистов где-то на севере за Городом. У католиков я был. Хоронят торжественно, с аббатами в парадном облачении и с вереницей черных фиакров. Где нас

похоронят, неизвестно. Мы не числимся ни в одном приходе.

– Глупо, конечно, сдохнуть в другом пространстве и времени, – вздыхаю я.

– А если обратиться к нашим галактическим невидимкам? Попроситься домой, а?

– Как?

По дороге в "Омон" мы оба молчим. Снова тот же проклятый вопрос: все ли мы познали, чтобы уже готовиться к возвращению на Землю? Я почти убежден в том, что неведомые галактисты хотят через наши умозаключения и умонастроения – словом, через наше восприятие всего здесь происходящего – постичь законы развития человеческого общества. Почему они выбрали именно нас – понятно: ведь мы были первыми, кто прикоснулся к модели этого общества, первыми увидели ее недостатки. Сейчас модели, созданной галактистами, уже нет, возникло предоставленное самому себе человеческое общество, сменились поколения, установился определенный общественный строй. Это мы увидели и осознали. Но поняли ли позвавшие нас, что характер исторического процесса и не мог быть другим, – не знаю. Может, что-то ими недопонято и недооценено, и нам придется еще многое увидеть и оценить? Если надо, так подождем...

Я не делюсь с Мартином своими мыслями, он со мной тоже. Но молчание явно затянулось – мы уже пришли в гостиницу.

– Сменим тему, – говорю я. – Мы пока здесь и будем делать то, что задумали.

– "Серебряный вариант"?

– Да.

– Письмо Бойлю?

– Да.

– Предлагаю решение, – говорит Мартин, – не вырезать никаких слов из газет. Просто я напишу левой рукой. Умею писать обеими.

– А почерки схожи?

– В том-то и дело, что нет. Даже специалисты-графологи удивлялись.

– Тогда пиши: "Уважаемый сенатор Стил..."

– Почему Стил?

– Вопросы потом. Пиши: "...из заслуживающих доверия источников мне стало известно, что украденное с парохода "Гекльберри Финн" серебро в слитках до сих пор находится в целости и сохранности. Спрятано оно в лесной хижине километрах в пятидесяти по дороге, ведущей от Вудвилля на юго-запад, к Реке. Свернуть надо на проселок на сорок втором километре, у полусожженного молнией старого дуба. Хижина оттуда километрах в десяти или около того. Окружена высоким бревенчатым забором и с виду необитаема. Все окрестные поселения далеко, и о хижине этой почти никто не знает. Неизвестно, и кому она принадлежит, для чего построена и кто в ней живет. Но похищенное серебро находится именно там, в подвале. Люк в подвал в первой комнате, с большим железным кольцом. Если кольцо вывернуто, то, наверное, остались следы, и люк все равно можно будет открыть. Слитки сложены в тех же ящиках, в которых их перевозили на пароходе. Обращаюсь к вам, сенатор, как старый и преданный избиратель ваш. Надеюсь, что вы немедленно известите полицию. Почему не делаю этого сам, вы легко поймете. В полиции много разных людей, и я не уверен, что мое письмо, даже адресованное уважаемому комиссару Бойлю, обязательно дойдет до него, а не будет вскрыто или украдено. Вы же можете передать его из рук в руки. Друг".

Мартин протягивает мне написанное.

– Отнесешь Стилу?

– Зачем беспокоить отрешившегося от политических интриг старика? Отдам письмо Бойлю.

– Когда?

– Сегодня. Вернее, теперь же.

Так начинается наш "серебряный вариант".

Глава XVI

МАТ В ДВА ХОДА

В приемной у Бойля меня встречает референт, почему-то именующийся здесь адъютантом. Седоватый,

вылощенный и угодливый, как постаревший Молчалин, дослужившийся до правителя канцелярии у Фамусова, ставшего министром или по крайней мере губернатором, он ловко регулирует прием тайных и явных агентов, полицейских инспекторов и таких визитеров, как я. Бойль уже знает о моем приходе и просит чуть-чуть подождать. Это "чуть-чуть" продолжается больше сорока минут, но я не обижаюсь. У меня есть время мысленно отредактировать мой рассказ о вручаемом письме. Почему я не отдал его по адресу и действую без ведома Стила? Об одном варианте я уже говорил Мартину. Другой: потому что Стил болен – он действительно прихворнул после визита на биржу – и все равно поручил бы мне передать Бойлю письмо. Но при этом он возликовал бы – дивитесь, мол, как любят меня избиратели, – немедленно позвонил бы Уэнделлу, потребовал бы срочного опубликования письма в "Сити ньюз". Я знаю Стила – именно так он и сделал бы. Но необходимо ли это? Зачем сталкивать его с Уэнделлом, который, конечно, сразу поймет ненужность скоропалительной шумихи: а вдруг письмо – мистификация, розыгрыш или оно уже запоздало и никакого серебра в лесной хижине нет. Возможен и третий, более откровенный вариант. Почему я не показал письмо Стилу? А для чего? Все равно оно должно попасть к Бойлю, а тот сумеет найти серебро и не говоря никому о письме. Мне такой вариант выгоден: Бойль еще больше упрочивает свою репутацию политика и криминалиста, а я приобретаю полезного союзника – ведь в "теневом кабинете" Уэнделла Бойлю уготована та же роль начальника полиции.

И вот я перед ним. Он встает из-за стола навстречу.

– Понимаю, что ваш визит не случаен, мсье Ано. Итак, что произошло?

Вместо ответа я передаю ему письмо. С каменным лицом он пробегает его, потом, не подымая головы, прочитывает еще раз и спрашивает:

– Это не фальшивка, мсье Ано?

– Не знаю. Я вскрываю все письма к сенатору. Но именно это счел нужным сразу показать вам.

Бойль задумывается, потом нажимает кнопку звонка. Входит адъютант.

– Инспекторов Жиро, Марси, Чира и Генделя ко мне немедленно. Если Генделя нет на месте, пусть зайдет Крош.

– Слушаюсь, мой комиссар, – адъютант бесшумно скрывается за дверью.

– Наш с вами разговор, мсье Ано, мы на несколько минут отложим, – говорит Бойль. – Необходимы срочные распоряжения.

Я молча жду. Минуты две-три спустя в кабинете появляются четыре полицейских инспектора в форме и выстраиваются шеренгой в двух метрах от стола.

– Генделя нет, – докладывает крайний справа. – Я вместо него.

– Хорошо, Крош, – кивает Бойль. – Вы справитесь. Но ответственным за операцию будет Жиро. Он и отвечает на мои вопросы. Если у других возникнут замечания, разрешаю вмешаться. Итак, слушайте. Шоссе из Вудвилля на юго-запад к Реке вам известно?

– Да, мой комиссар, – отвечает инспектор.

– На сорок втором километре по шоссе есть поворот на лесной проселок. Где-то у сожженного молнией дуба. Кто-нибудь видел его?

– Да, мой комиссар, – на этот раз отвечает Крош.

– Тогда все четверо возьмите по десять полицейских каждый и три грузовые машины. Найдите километрах в десяти от поворота лесную хижину, окруженную высоким бревенчатым забором. Разделитесь на четыре отряда и окружите ее. Если встретите сопротивление – подавите. В первой же комнате есть, вероятно, замаскированный люк в подвал. Отыщите его, откройте и спуститесь вниз. Там должны быть ящики со слитками серебра, похищенные с "Гекльберри Финна". Должны быть. Но это еще не значит, что вы их сразу обнаружите. Они могут быть замаскированы, а могут быть и вывезены. Тогда ищите следы: перевозку двух тонн серебра скрыть не так просто. Найдете слитки – грузите их на машины и везите под охраной сюда, в казначейство. Все, кроме Жиро, после доставки серебра возвращаются в Управление. Жиро со

своим десятком остается в казначействе до тех пор, пока ящики со слитками не будут проверены, подсчитаны и зарегистрированы специально выделенными для этого банковскими работниками. Об исходе операции немедленно сообщите мне по телеграфу из Вудвилля. Задание понятно?

– Да, – хором отвечают инспекторы.

– Тогда действуйте, – приказывает Бойль, а когда они покинули кабинет, спрашивает у меня, как выстреливает: – Стил знает?

– Нет, – говорю я, – только мы с вами. И незачем кому-либо знать о письме. Если серебра в хижине нет, то вся история станет смешным анекдотом, в который не стоит впутывать ни вас, ни меня, ни сенатора. Если же серебро будей найдено, вы можете информировать об этом общественность, не упоминая о письме.

– А Уэнделл? Глава партии имеет право знать о подробностях.

– Вы о них и расскажете. Как искали и как нашли. Уэнделл оценит ваши усилия.

– Но не ваши. На что же рассчитываете вы?

– На вашу любезность. Она мне понадобится. Может быть, после того, как вы поговорите с Уэнделлом.

Мне почудилось, что в глазах Бойля промелькнула тревога.

– А если вы проболтаетесь? Мне это, пожалуй, обойдется дороже.

– Во-первых, я не болтлив, господин комиссар, во-вторых, нас связывают хорошие отношения и, в-третьих, я не захочу ссориться с сенатором.

– Но он, кажется, уходит в отставку?

– Не тревожьтесь, Бойль, я не попрошу у вас места полицейского инспектора.

– Скромничаете, мсье Ано, – усмехается Бойль и добавляет как бы вскользь, между прочим: – Вы могли бы работать и моим помощником.

Еще одно предложение. Вы мне льстите, господин Бойль! Будет достаточно и вашей ответной любезности. Лишь бы найти серебро!

– Спасибо, Бойль, но у меня другие перспективы. А пока подождем результатов розыска.

С этими словами я откланиваюсь.

Серебро нашли в тот же день к ночи, нашли именно там, где предполагал Мартин. Ни один из ящиков не был выброшен на рынок, и охранявшие их четверо "пистолетников" сдались полицейским без выстрела. Мало того, они назвали своего главаря и номинального хозяина хижины. Чек Пасква!

Скупую информацию об этом я получил от инспектора Кроша, встретившего меня рано утром по дороге в сенатский клуб. Инспектор передал также извинения Главного комиссара, которому срочные дела не позволяют увидеться со мной лично, и просьбу не говорить пока никому о найденном серебре, дабы не спугнуть еще оставшихся на свободе преступников.

Придя в сенатский клуб, я сразу же попросил газеты. Но о находке серебра в них не было ни слова.

Пресса молчала и на следующий день. Я сидел у себя в номере и рассеянно листал "Сити ньюз", когда меня позвали к телефону. Звонил Уэнделл.

– Приезжайте ко мне, Ано. Вы здесь нужны. Немедленно, и никаких отговорок. Экипаж за вами выслан. Жду.

Я выехал. Уэнделл жил в ампирной вилле. К дверям надо было идти через сад, мимо окон хозяйского кабинета. Сквозь тюлевые прозрачные занавески я разглядел лысый затылок Бойля, сидевшего в кресле спиной к окну. Зачем я понадобился? Или Бойль струсил и рассказал о письме, или Уэнделл решил сдержать свое обещание относительно Пасквы.

– Садитесь, Ано. Как вам уже, наверное, известно, серебро найдено, и не без ваших усилий, – сказал Уэнделл. Я взглянул на Бойля, но он отвел глаза, а Уэнделл усмехнулся и продолжил: – Я одобряю и понимаю ваше самоисключение из дела. Это вполне согласуется с вашими планами. Я сообщил о них Бойлю от своего имени, как вы и просили, но дело несколько осложняется: хижина, оказывается, принадлежит... – он не закончил и

повернулся к полицейскому комиссару: – Расскажите сами, Бойль.

– Хижину, ранее принадлежавшую Вудвилльскому охотничьему обществу, купил через комиссионную контору "Гопкинс и сын" Чек Паскра, за тридцать тысяч франков, – монотонно начал Бойль. – Купил незадолго до похищения серебра с парохода и, видимо, с расчетом на это похищение. Более надежного места для хранения слитков трудно найти. Но откуда у бродяги с большой дороги такие деньги? Сначала он вообще отрицал эту покупку, но справкой из конторы "Гопкинс и сын" мы приперли его к стенке. Сознался. А деньги, мол, выиграл в карты в каком-то игорном доме, точно не помнит. Но дома, где играют крупно, мы уже проверили – Паскву там не знают. Мелкие заведения, вроде "Аполло", в счет не идут. Значит, Пасква только расписался в договоре, а деньги внес кто-то другой.

– Кто, мы догадываемся, – вставил Уэнделл.

– Но у нас нет доказательств. Кассира комиссионной конторы мы еще не допрашивали, а Пасква не назвал ни одного имени. Мало того, он даже не помнит, вносил ли деньги лично или кто-то сделал это по его поручению. Выиграл, хвалился, пьян был, кто-то предложил от чьего-то имени купить охотничий домик, ну и согласился, благо денег много на руках – девать некуда – и купил. Как купил – не помнит. Через кого купил – тоже не помнит.

– А как он объясняет спрятанные в подвале хижины две тонны серебра в ящиках? – спросил я.

– Никак. Говорит, что купил домик, а переехать туда не успел. Дела. О серебре понятия не имеет. Знал бы, что оно в подвале, давно бы вывез. А гангстеры на очной ставке, увидев Паскву, сразу же отказались признать в нем своего главаря, хотя на предварительном допросе в Вудвилле назвали его имя. Был, мол, главарь, представился как Пасква, нанял их для охраны лесного домика, только человек, которого они видят в комнате, совсем не тот, кто нанимал и платил. Никаких других признаний из них пока выжать не удалось, но есть все основания думать, что они были наняты не только для охраны спрятанных в подвале слитков, но и непосредственно

участвовали в налете на пароход. Старые уголовники, полиции давно известные. Расколоть их, я полагаю, будет нетрудно. Нетрудно и отпустить Паскву, как хочет этого мсье Ано, и, вероятно, того "пришьют" свои как предателя. Но кого мы будем судить?

– Четырех "пистолетников", – сказал я, сказал не для Бойля, а для Уэнделла, которого, видимо, еще больше волновал этот вопрос, я-то знал, в кого он целил. – Надеюсь, Бойль справится с ними, и они выдадут остальных.

– Кроме хозяина, – уточнил Бойль, – а Пасква и так у нас.

Бойль и Уэнделл колебались. "Пистолетники" могут и не знать Мердока, Пасква его не выдаст, а суд над Пасквой превратится в спектакль, который разыграют нанятые Мердоком адвокаты.

Мне нужно было выиграть мой "серебряный вариант", и я попробовал это сделать.

– Если Паскву, как выразился Бойль, не "пришьют" сразу же после устроенного ему побега, разве полиция не сумеет вернуть его в камеру? Шерифы всех кантонов знают его и очно и заочно. Где он спрячется? На необжитых землях? Выдадут фермеры или охотники. В какой-нибудь лесной "берлоге"? Долго не просидит. Ему нужны выпивка, карты и партнеры. А "хозяина" найти тоже можно. Ведь кто-то вел переговоры с конторой "Гопкинс и сын", кто-то вносил тридцать тысяч франков в ее депозит вместе с комиссионными. Явно не Пасква. Он даже писать не умеет.

– А если – подставная фигура?

– Тогда и ее просветят насквозь. Кого-то назовет, что-то скажет. Потянется ниточка. Мердок не всесиден.

Впервые было названо имя Мердока, но это уже никого не удивило. Все знали или догадывались, кто стоял позади авантюры с серебром.

– Нам нужно скомпрометировать Мердока до выборов, – сказал Уэнделл.

– Успеем, – подтвердил я уверенно. – У меня достаточно материала. А кое-что знает Бойль. Например, то, что у гангстеров, орудовавших на пароходе, были

повязки из галуна. Пасква нам теперь не нужен. Ни до суда, ни на суде вы от него ничего не добьетесь.

В конце концов можно пойти и на открытую схватку с Мердоком. Однако Уэнделлу я этого не сказал.

– Вы что-то не договариваете, Ано, – Уэнделл пристально посмотрел мне в глаза.

– Возможно. Но у меня есть шансы. Пусть Бойль ведет следствие, я подожду. Вам же невыгодно, чтобы меня пристрелили на улице. А если такое случится до выборов, вы получите конверт с материалами, достаточными, чтобы сбросить Мердока с избирательного плацдарма, как пешку с доски.

– Хорошо, – согласился Уэнделл. – Я вам верю. А Паскву отпустите, – обратился он к Бойлю, – как-нибудь потише, чтобы не пронюхали газетчики.

Как все произошло, позже рассказал мне Бойль. Паскву вывезли без наручников в тюремном фургоне под охраной двух полицейских. Оба были проинструктированы и знали, что делать.

– Куда вы меня везете? – осведомился Пасква, садясь в фургон.

– Не разговаривать! – крикнул младший из полицейских.

– Скажи ему, Бой, – вмешался старший, с нашивками сержанта, – с нас же не брали обязательств скрывать от него цель поездки.

– В Вудвилль, – нехотя пробурчал младший.

– Зачем? – удивился Пасква.

– Судить тебя будут в Вудвилле.

– Почему не здесь?

– А там присяжные из окрестных фермеров. Их не купишь. Да и вашего брата они не любят.

Разговор этот был обдуман Бойлем и отрепетирован заранее. И он вполне удовлетворил Паскву. Тот хихикнул и полез в фургон. Почему с него сняли наручники, не спросил.

Отъехав от Города, на лесном шоссе тюремная карета остановилась. Сержант открыл заднюю дверцу и сказал Паскве:

– Можешь оправиться.

– Где?

– Пойди вон туда, к кустам.

– Со мной пойдете?

– Нет, – зевнул сержант. – Все одно бежать тебе некуда – везде поймаем.

Но Пасква знал, как и когда бежать. Такого случая упустить он не мог, а размышлять о причинах беззаботности охранников времени не было. Он просто укрылся за кустами и замер. Потом тихо-тихо начал удаляться в лесную темноту.

– Скоро ты? – окликнул младший из полицейских.

Никто не ответил.

– Должно, сбежал, – сказал старший громко, чтобы скрывшийся Пасква его услышал, – снимут теперь у меня сержантские нашивки.

– Не искать же его в лесу, – ответил младший.

Потом они сели на свои места в карете-фургоне и отбыли для подробного доклада в Город. Все в точности соответствовало приказу начальства. А приказы не обсуждаются.

В моей задаче "мат в два хода" первый ход был сделан. Оставался второй.

Глава XVII

ВТОРОЙ ХОД

Куда бежал Пасква? В Вудвилль? Нет, конечно. Слишком далеко. В лесную глушь? Едва ли. Там можно встретить и голодного волка и дикого кабана, да и ночевка где-нибудь в земляной норе без еды и водки – не перспектива для Пасквы. К Реке? Тоже не резон. Нарвешься на рыбаков, охраняющих сети и лодки, рыбацких или пастушьих собак. Ближе всего Город, а на "дне" его всегда найдется местечко, где встретят, накормят, напоят и спрячут. Значит, к утру Пасква должен быть уже в Городе, и следовательно, мой разговор с Мердоком можно отложить до утра.

Вернувшись ночью от Бойля – похоже, эти ночные встречи становятся для меня нормой, – я уже не ложусь спать – жду открытия бара, чтобы заказать завтрак. Но заказывать его не приходится. Появляется, как обычно без стука, Мартин с пачкой газет под мышкой и в сопровождении официанта, несущего традиционный завтрак на двоих – бекон, яичницу и яблочный сок.

Пока я просматриваю газеты, Мартин молчит, ожидая моей реакции. Все газеты полны сообщениями о сенсационной находке двух тонн серебра. Почти дословно повторялось интервью Бойля. Корреспонденты спрашивали, Бойль отвечал.

"– Вы уверены, что это то самое серебро?

– Конечно. В Городском банке проверили число слитков и общий их вес. Все сходится. Вызванный нами представитель сильвервилльского казначейства тоже опознал слитки и ящики. Именно их и погрузили тогда в трюм "Гекльберри Финна".

– И вывезли с построенной специально пристани в лесную хижину?

– Несомненно.

– Где находится хижина?

– В нескольких десятках километров от Вудвилля, в глуши прибрежных лесов. Взгляните на карту. Хижина помечена крестиком. Вот она".

Здесь газеты дали фотографию – сплошное черное пятно, белая нитка Реки, кружочек с надписью "Вудвилль" и в трех сантиметрах от него белый крестик.

"– Кому принадлежит хижина?

– Выясняем. Она необитаема.

– А что говорят окрестные фермеры?

– Ничего. Они и не забирались в эти дебри.

– Но кто-нибудь знал о ней?

– Охотники. Один из них даже стучался в ворота, хотел переночевать, но никто ему не ответил. А перелезть через высокий бревенчатый забор он не решился.

– Кто он? Назовите имя и адрес.

– Пока не могу. Следствие не закончено.

– Но каким образом вы догадались, что серебро находится именно там?

– Мы искали долго – в Ойлере, Сильвервилле, Вудвилле и в прибрежных фермерских и рыбацких поселках, перерыли все городское "дно". Допросили сотни людей и в конце концов пришли к такому выводу.

– Значит, предстоит еще найти виновников кражи?

– Сейчас этим занимаемся. А главное уже сделано. Серебро найдено – все целиком.

– Общественность это оценит, мистер Бойль.

– Благодарю вас, джентльмены".

Нигде не называлось имя Пасквы: о преступлении в "Аполло" уже забыли, а с серебром, найденным в лесной хижине, Бойль умышленно его не связал. Не сообщил он и о ночном побеге Пасквы и об арестованных четырех "пистолетниках". Газеты только вскользь замечали, что следствие по делу о похищении слитков еще продолжается и вскоре все преступники будут разоблачены и взяты под стражу. В сущности, газетные комментарии сводились к панегирикам Бойлю – ему одному приписывались честь и слава победителя, вернувшего Городу украденное у него богатство. Ни о нашем письме к Стилу, ни обо мне, передавшем это письмо комиссару, даже не упоминалось: Бойль и Уэнделл сдержали слово.

– Паскву выпустили. Сегодня ночью, – говорю я.

– Просто выпустили?

– Без объяснений. Сейчас он, наверное, уже в Городе.

Я рассказываю Мартину о своих беседах с Бойлем и Уэнделлом.

– Большим человеком становишься, – иронически замечает он. – Что будешь делать?

– Для начала условлюсь о срочной встрече с Мердоком. Поведаю ему о Паскве все, как задумали.

– А потом?

– Будем ждать сообщения о судьбе Пасквы. Прикончат его или простят. Угадал я или не угадал.

– Думаешь зацепить Мердока? Ну, а если он вспомнит, что мы тоже были в его лесной "берлоге" в то время, когда загружали в подвал серебро?

– Может, и вспомнит. Но возникнет вопрос: почему мы молчали два месяца? Из страха? Он знает, что я его не боюсь. Из выгоды промолчать, а потом напомнить,

когда придет время? Вот оно и пришло, а мы в стороне – по-прежнему молчим. И никакой прибыли не получаем. Ни тайной, ни явной. Мердок наверняка узнал бы о нашем вмешательстве, если б оно было вознаграждено. Но вознаградили-то Паскву! Это – во-первых, а во-вторых, мы ничего не требуем от Мердока. Ни денег, ни постов. Тебе не нужна должность редактора "Брэд энд баттер", да и я не прошусь в советники к будущему сенатору. Так кого же ему винить в полицейском налете на хижину? Паскву, и только Паскву. Особенно после моего сообщения. А продиктовано оно стремлением укрепить наши дружеские связи. Чеков у него не беру, но дружбу закрепляю. Он, зная мою аполитичность, подумает, что я не прочь сблизиться с ассоциацией, которая может получить несколько мест в сенате. Предполагает он это? Предполагает. А вот получит ли? Этого, Дон, я пока тебе не скажу.

– Из того, что я от тебя услышал, – задумчиво рассуждает Мартин, – делаю нехитрый вывод: Уэнделл и Бойль что-то замышляют против Мердока. И до выборов.

– Вероятно, скоро нам с тобой придется официально вспомнить о повязках из галуна на рукавах "пистолетников", спускавших нам лодку с палубы "Гека Финна".

– Вспомним, если понадобится. Только не поторопились ли мы с Пасквой? Может, целесообразнее было бы оставить его в тюрьме до суда?

– В Городе нет смертной казни, а на суде он все равно не выдал бы Мердока. Да и у других "пистолетников" на "Геке Финне" были повязки из галуна. Стил тоже вспомнит, если ему подскажут.

Вопрос решен, и я звоню от портье Мердоку.

– Говорит Ано, – произношу я шепотком, чтобы за стойкой не слышали. – Укажите место, где мы с вами могли бы встретиться, – имени Мердока я при этом не называю.

– Когда? – спрашивает он.

– Немедленно.

– Так важно?

– Да.

– Приезжайте в кафе "Жюн" на улице Старых вязов. Это недалеко от театра.

Я надеваю парадный сюртук, лиловый цилиндр.

Мердок уже ждет в полутемном зале за столиком.

– Что случилось, Ано?

– Вы же читали газеты.

– При чем здесь я? – тон его холодеет.

– Во-первых, серебро было спрятано в вашей хижине.

– Хижина не моя, я в тот раз воспользовался ею случайно.

– Известно, что хижина принадлежит Паскве, хотя он и отрицал это на допросе.

– Пасква назвал меня?

– Нет, не назвал.

– Тогда пусть в полиции проверяют, кем и у кого она куплена.

– Я полагаю, уже проверили. Но не в этом главное.

– В чем?

– В том, что рассказал мне за завтраком в сенатском клубе комиссар Бойль, – сочиняю я. – В том, что он не поведал газетчикам.

– А именно? – тон Мердока совсем ледяной.

– Что Пасква купил себе свободу за две тонны серебряных слитков. – Я внутренне торжествую, видя, как мертвенно бледнеет Мердок.

– Бойль так и сказал?

– Не совсем. Но я так понял. Пасква, мол, бежал прошлой ночью, когда его отправляли в вудвилльскую тюрьму в обычной тюремной карете под охраной всего двух полицейских, причем без кандалов и наручников. Бежал где-то за Городом на лесной дороге, воспользовавшись случайной остановкой. Удивленный, я спросил Бойля, почему была проявлена такая беззаботность по отношению к опасному преступнику. Бойль как-то странно усмехнулся и ответил: "Теперь он никому не опасен. Главное, что благодаря ему мы нашли серебро". Ну, я сделал свой вывод и, вернувшись в отель, тут же позвонил вам.

– Бегство Пасквы и дальнейшая судьба его меня не интересуют, но за любопытную информацию спасибо, – медленно, очень медленно, как бы нехотя замечает

Мердок, и мне кажется, думает он примерно о том, о чем предупреждал меня Мартин: взвешивает все "про" и "контра" вероятности нашего участия в удаче полиции. Но говорит Мердок о другом: – Мне очень жаль, что вы не взяли моего чека, Ано.

– Я работаю на Стила, дружище, – напоминаю я.

– Меня не интересует личность Стила, – сердито перебивает Мердок, – меня интересует личность Уэнделла. Сейчас, во время предвыборной кампании, возможны всякие маневры конкурирующих партий. Любопытно, например, собираются ли ущемить меня популисты в связи с делом таинственно бежавшего Пасквы?

– Я не выдаю партийных секретов, Мердок.

– Вы же не популист.

– Тем более. Меня к секретам и не подпускают.

– Но с вами достаточно откровенны.

– Поверхностно, Мердок. По касательной. Но то, что мог рассказать, рассказал. Из чистой взаимоприязни. Пока, конечно.

– Пока?

– Разве можно заглянуть в будущее? Мало ли куда и когда разбросает нас жизнь. Обойдемся без чеков.

Мердок встает. Мы прощаемся. Похоже, он мне поверил. Тогда все идет как надо. Мат в два хода, и оба сделаны. Остается ждать конца Пасквы.

Я узнаю о нем от Мартина в баре "Омона" через два дня.

– Отойдем от стойки, – шепчет он, – есть новости.

Мы отходим с пивными кружками к столику.

– Сейчас встретил инспектора привокзального района. Сегодня утром Пасквy нашли мертвым у бильярдной, с тремя пулевыми ранениями, в грудь и живот. Инспектор предполагает конкурентные счеты. Месть за Бидо. Но мы-то знаем.

– Угадали, – говорю я.

– Ты угадал и отомстил за Луи.

– Это не месть, а возмездие.

– Может, и так, – соглашается Мартин и почему-то спрашивает: – А что делает Пит?

– Собирает материалы, теперь уже против Мердока.

– У Жанвье?

– Не только. В бильярдных и барах.

– Рискуем и его жизнью, Юри.

– Пит сам вызвался. А он человек осторожный. Ни во что не вмешивается. Лишь угощает и слушает.

– Кажется, скоро Мердоку будет жарко.

Я соглашаюсь с Мартином, не вдаваясь в подробности, – тороплюсь. Нужно повидаться с Бойлем, Уэнделлом и Стилом. Первых двух рассчитываю найти на бирже. О том, что Уэнделл поехал туда, сообщила мне его секретарша в управлении заводов. Бойль, надо думать, воспользовался тем же источником информации. Доложить Уэнделлу о Паскве он должен до выпуска вечерних газет.

В шестом кабинете фондовой биржи я вижу сразу троих – Уэнделла, его маклера Кингстона и Бойля, несколько смущенного моим появлением. Но Уэнделл как будто даже обрадован.

– Привет человеку, который всегда появляется вовремя. Мы только что о вас вспоминали, – улыбается он и обращается к маклеру: – Проверьте ваших брокеров, Кингстон, а мы тут обсудим одно дело.

Кингстон, почтительно поклонившись, уходит в биржевой зал, а Уэнделл продолжает:

– Конечно, вы уже знаете, мсье Ано.

"Мсье" он добавляет для Бойля.

– Знаю, мистер Уэнделл.

– От кого, не секрет?

– Не секрет. От репортера "Брэд энд баттер".

– И в каком же духе будет сообщение в газете?

– Полиция предполагает конкурентные счеты, – повторяю я слова Мартина. – Привокзальный район – я имею в виду ночные бары, закусочные и бильярдные – это район "пистолетников", услугами которых пользуются и наши конкуренты на выборах, в частности "джентльмены". Убийство Пасквы рассматривается как месть за Бидо. В том же духе будет подана заметка в газете.

– А что вы скажете, Бойль? – спрашивает Уэнделл.

– Не возражу, когда ко мне обратятся.

– Правильно, Бойль. Пока эта версия устраивает нас. Мы так и сообщим в "Сити ньюз", только не на первой

полосе и как можно сдержаннее. В свое время мы к этому вернемся – в прямой связи с серебром. Вы меня понимаете, Ано?

Он забывает о "мсье", Бойль тотчас это замечает.

– У меня есть предложение, мистер Уэнделл, – я продолжаю держаться официально. – Хорошо, если бы статья о похитителях серебра была бы написана не рядовым сотрудником газеты и даже не ее редактором. Автором, мне кажется, должен быть человек более влиятельный и, главное, более авторитетный для всех избирателей.

– Кто же, по-вашему?

– Скажем, сенатор Стил.

Уэнделл долго молчит, он очень серьезен.

– Ценное предложение, – откликается наконец он, – весьма ценное. Статья сенатора Стила – это бомба. Она сметет и самого Мердока, и его кандидатов. Но достаточно ли обвинительных материалов будет у Стила? И достаточно ли они будут убедительны?

– А мы ему поможем.

– Вы – первый, – говорит Бойль. – Вспомните, что вы рассказывали мне о галунщиках.

– Многие вспомнят, когда это потребуется, – отвечаю я. – Бойль же соберет все сведения о лице, внесшем тридцать тысяч франков на текущий счет комиссионной конторы, подытожит показания мердоковских "пистолетников", потревожит жертв их предвыборного шантажа – Стилу никто не откажет, – вот вам и тезисы для обвиняющего удара сенатора. Подготовит его профессиональный журналист, сохранив речевую манеру Стила. А сенатора уговаривать не придется. Он сделает это с полной убежденностью в собственной правоте.

Не знаю, почему я с такой категоричностью предложил кандидатуру Стила. Лучшей, правда, не найти для задуманного Уэнделлом выступления. Но Стил упрям и по-своему капризен. Нелегко убедить его, если упрется. Сколько раз спорили с ним о Доновane – все бесплодно. Однако о Мердоке он спорить не будет. Нужно только вовремя и решительно подсказать.

Стил еще хворает и, несмотря на теплый вечер, сидит у камина, вытянув ноги к огню. Он внимательно и не без удовольствия выслушивает сплетни и новости, но мне кажется, что на уме у него другое.

– Все что-то беспокоит, Стил? – спрашиваю я.

– Минни задерживается. Уехала кататься с Мартином и до сих пор не вернулась.

– И вас это тревожит?

– Откровенно говоря, да. Боюсь, как бы дружба не перешла в увлечение.

– Забудьте об этом, Джемс, – я впервые после давнего обещания называю его по имени, – Мартин не соблазнитель и на роль жениха тоже не претендует. Он человек из иного мира и скоро, вероятно, исчезнет отсюда, как и я. А пока поговорим лучше о делах...

Я рассказываю ему о встречах с Мердоком и о его попытках сделать меня своим агентом в лагере Стила, о шантаже избирателей, о преступлении в "Аполло" с целью скомпрометировать партию популистов и о моих ответных действиях, закончившихся казнью Пасквы. Последнее почему-то больше всего заинтересовывает сенатора.

– А вы, оказывается, умный и хитрый политик, Ано, – говорит он. – Перехитрили Мердока. Хотите, я отдам вам все свои голоса, которые получу на выборах? Это разрешается по конституции, если я тут же подам в отставку.

– Не надо, Стил. Отдайте их кому-нибудь. Я только гость здесь. А если судьба забросила меня к вам надолго, то я просто перейду в другой лагерь.

– К Доновану?

– Конечно. Он наиболее прогрессивен.

– Жаль, – вздыхает Стил, – спорить не буду. Я давно знаю ваши политические симпатии. Но пока вы работаете у меня и предлагаете покончить с Мердоком. Как? У нас нет главного – доказательства его вины в ограблении казначейства.

– Может быть, и не личной вины, ее приходится только предполагать, но вина его ассистентов бесспорна. Вы помните повязки на рукавах у парней, спускавших нам лодку с остановленного на Реке парохода?

Стил морщится.

– Кажется, помню. У одного, во всяком случае. Но это еще не доказательство.

– А кто задержал пароход? Кто перестрелял охрану? Кто знал о нападении? Я вам скажу: Мердок. Он сам предупредил меня и Мартина, чтобы мы не покидали ночью каюту, когда начнется перестрелка на палубе. Далее, на чьи средства и кем была построена пристань на лесистом берегу, куда выгрузили серебро из пароходного люка, и кому принадлежала лесная хижина, где нашли ящики со слитками? Бойль уже выяснил – Паскве.

Стил молчит, о чем-то сосредоточенно думая.

– Все эти доказательства – косвенные. Иначе Бойль давно бы арестовал Мердока, – наконец произносит он.

– Мердока и не требуется арестовывать. Прямых улик нет. Но скомпрометировать его шайку можно и должно. Так считают и Бойль, и Уэнделл. А сделаете это вы, выступив против реставраторов с обвинением их в грабеже, шантаже и мошенничестве. Именно вы, сенатор, как самый решительный противник закона об ассоциациях. Все дополнительные сведения представит вам Бойль. Статью подготовит Мартин. Вам останется только подписать ее. Как сказал Уэнделл, она станет бомбой, которая сметет на выборах и Мердока, и его шайку.

– Хорошо, – говорит Стил, – я это сделаю.

Глава XVIII

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня в девять – полдень по-здешнему – в Главном полицейском управлении состоится пресс-конференция по делу о похищении серебра с "Гекльберри Финна". Бойль уже объявил, что следствие закончено и он может назвать ожидающих суда виновников преступления.

Сейчас семь утра – у меня еще два часа свободного времени. На улице дождь и слякоть; можно, конечно, побродить по бесконечным коридорам Леймонт-пассажа, но почему-то не хочется, и я – от нечего делать – отсиживаюсь у себя в гостиничном номере.

Что я узнал о Городе в его нынешнем состоянии? Пожалуй, все, чтобы возвратиться на Землю, домой.

Я бродил по его улицам, бывал в общественных местах, учреждениях, сенатских залах и на "дне" Города, в его ночных клубах, барах, бильярдных и простых забегаловках, где можно перекусить и выпить за несколько медных монет, в смраде требухи, поджариваемой на горячей плите, в копоти и вони от газовых ламп и дешевых сигар. Я видел, как изменился внешне Город за пятьдесят лет, как постарел. Я слышал обрывки разговоров в ресторанах, магазинах и за стойками баров вроде "Аполло", вопли на бирже, шепоток в кулуарах сената. Но, находясь рядом с людьми, я никогда не чувствовал себя одним из них, не знал ни их дум, ни тревог, ни радостей.

У меня почти не было здесь друзей, приятелей, даже просто знакомых, за исключением лиц, с которыми общался по службе. Я ни у кого не бывал запросто, ограничивался чисто деловыми встречами, как с Мердоком и Уэнделлом. О многом я только догадывался, читая газеты, раздумывая об увиденном и услышанном. Минни, например, рассказывала о монастырском пансионе, вероятно типичном женском учебном заведении в Городе, где пуританское воспитание вполне соответствовало представлениям Стила и Уэнделла о нравственном облике порядочной девушки. Минни говорила мне и о том, что девушке или даже замужней даме неприлично показываться в общественных местах без спутника – отца, брата, мужа, предполагаемого жениха. Действительно, ни в ресторанах, ни в кафе я не встречал одиноких женщин, женских студенческих стаек, кроме девиц городского "дна".

Однажды я увидел в руках Уэнделла книжку с яркой обложкой. Уэнделл, заметив мое внимание, спросил: "Не читали? Ну и не читайте. Чтиво для клерков и продавцов, но развлекать – развлекает". Я перелистал книжку: старомодный цветистый язык, смесь сентиментов и жаргона.

Была в Городе опера, давались концерты, но к музыке я не проявлял интереса и на Земле. Театральные афиши пестрели незнакомыми мне именами авторов – должно

быть, современных и популярных. Попав как-то на представление одной из таких пьес в драматическом театре, я так и не досидел до конца. Сентиментальная мелодрама о девушке, пренебрегшей богатым женихом и влюбившейся в клерка своего отца-банкира. Но зрителям нравилось – они аплодировали и утирали слезы. В кинотеатры я вообще не ходил. Трудно смотреть сейчас старинные немые фильмы с Полонским и Холодной или Глупышкиным и Монти Бенксом. А фильмы такого типа, с молча бегущими фигурками и огромными, заменяющими диалог титрами, наводняли городские экраны.

Я втянулся в политику. Именно она давала мне возможность верно понять законы исторического развития Города. Ведь для того, мне казалось, и позвали нас хозяева этого мира. Я уже понимал, что экономика Города мало чем отличалась от экономики наиболее отсталых капиталистических стран Европы лет восемьдесят назад. Правда, безработицы тут не было из-за острой нужды в рабочих руках. Это же являлось и одним из факторов, противодействующих повышению эксплуатации трудящихся на фабриках и в мастерских, но полное отсутствие техники безопасности и длинный рабочий день не могли не вызывать протеста у нарождающегося рабочего класса. Не сладко жилось мелким фермерам и батракам или арендаторам у крупных фермеров вроде Веррье и Стила. Здесь тоже возникало движение, свидетельствующее о росте политической сознательности масс, что отмечалось и поддерживалось ассоциацией Донована. Трудовиков нельзя еще было назвать коммунистами, но я понимал: создавалась и крепла марксистски мыслящая партия. Пока слабая, численно небольшая, она со временем, в случае победы на выборах, могла бы повести страну к социализму.

Я мысленно как бы видел дальнейший путь исторического развития Города, умеющего сдерживать наскоки реакционеров и реваншистов типа Мердока, – Города, который не скоро, может быть, но обязательно признает ведущую политическую роль Донована или его преемников. Теперь, казалось мне, галактисты "прочли" мои соображения и выводы, они могут объяснить себе все происходящее здесь и отпустить нас с Мартином домой, не задерживая больше в чужом пространстве и времени.

А пока мы остаемся в нем, надо делать то, что и делали, или, вернее, доделывать то, что начали. Надо ехать на пресс-конференцию в Главное полицейское управление.

Проводится она в большом зале с чисто вымытыми окнами и натертым до блеска дубовым паркетом – Бойль во всем любит порядок. Присутствуют корреспонденты "Брэд энд баттер", "Джентльмена", популистской "Сити ньюз", французской католической "Суар" и биржевого "Бюллетеня", фоторепортеры, кинооператоры и просто любопытные, получившие пропуска в канцелярии полицейского управления.

Бойль. Леди и джентльмены, мадам и месье! Итак, следствие закончено. Как было похищено серебро и как оно было найдено, вам уже известно. Сейчас я расскажу о том, чего не знала общественность, пока велось следствие. Нам удалось установить, что похищение готовилось заранее – была построена новая пристань на лесном берегу, организована шайка головорезов, которых у нас зовут "пистолетниками", куплена у Вудвилльского охотничьего общества лесная хижина, куда затем преступники и доставили серебро с парохода. Приобрел эту хижину некий Чек Пасква за тридцать тысяч франков, через комиссионную контору "Гопкинс и сын". Пасква, хорошо известный полиции уголовник, был арестован нами за убийство в ресторане "Аполло". Он находился в тюрьме, когда мы нашли серебро и узнали имя владельца хижины. В покупке хижины Пасква сознался, но свое участие в похищении серебра отрицал, уверяя нас, что и понятия не имел о таком богатстве. Тридцать тысяч франков он якобы выиграл в карты и совершил сделку с представителем комиссионной конторы в состоянии полного опьянения. Прекрасно понимая, что он лжет, и выяснив, что покупка хижины производилась подставным лицом лишь от имени Пасквы, мы решили проследить его связи. Был инсценирован побег, который Пасква совершил, не подозревая о слежке. К сожалению, наши люди допустили оплошность: у привокзальной бильярдной, в момент смены наблюдавших за ним агентов, Пасквy застрелили из проезжавшего мимо фиакра. Ни фиакр, ни убийцу обнаружить не удалось. Хозяин бильярдной признал, что за Пасквой уже охотились подозрительные личности,

угрожавшие отомстить ему за Бидо. Итак, главаря банды мы потеряли, но сумели задержать его ближайших сообщников. В своем прошлом интервью о найденном серебре я не сказал вам – не имел права сказать, пока не закончится следствие, – что в лесной хижине, где было спрятано серебро, мы арестовали четырех уголовников. Их клички – "Жаба", "Хлыщ", "Теленок" и "Одноглазый". Подлинные имена устанавливаются. В похищении серебра они сознались и назвали других ее членов банды, которые в настоящее время разыскиваются. Троих мы уже взяли: бывший ранчмен из Сильвервилля Биг Дро и два его конюха, Уилки и Формасьон. Нашли и рабочих, строивших пристань (список их можете получить у меня после пресс-конференции). В упомянутом интервью я не рассказал вам и о том, кто навел нас на мысль искать серебро в лесной хижине. Теперь, по окончании следствия, могу это сделать. Охотник и землепроходец Фернан Марти. Он сейчас находится где-то в приречных лесах на юго-западе, но обещал вернуться к первому же судебному заседанию и подтвердить свои показания, если потребуется.

"С и т и н ь ю з". Как вы нашли охотника, и почему он предположил, что серебро спрятано именно в этой хижине?

Б о й л ь. Вы меня не поняли. Охотник только заявил вудвилльской полиции, что обнаружил в лесу необитаемую хижину. В полицию он пришел, когда до него дошли слухи о наших поисках. Мы вели розыск открыто, обыскали все побережье до Сильвервилля, расспрашивали повсюду – в городках и поселках, в кабачках и на рынках – об укромных местах, где можно спрятать две тонны серебра в слитках. И мысль поискать их в лесной хижине возникла не у охотника, а у нас.

"С у а р". Много ли французов-"пистолетников" в шайке?

Б о й л ь. Вывод об этом можете сделать, прочитав список привлекающихся к суду.

"П и п л с в о й с". У бандитов вроде Пасквы нет текущих счетов в банках. Откуда у него оказались тридцать тысяч франков для покупки хижины? Выиграл в карты? Но вы могли бы проверить, был ли такой крупный выигрыш в каком-либо из игорных домов

незадолго до покупки дома. Или, может быть, крупное ограбление?

Б о й л ь. Мы и проверили. Ни ограбления, ни крупного выигрыша нигде не отмечено. И столь крупных сумм у Пасквы никогда не было.

"П и п л с в о й с". Что вам сказали в комиссионной конторе? Они же должны помнить покупателя.

Б о й л ь. Увы — не помнят. По-видимому, там действовало подставное лицо.

"С и т и н ь ю з". А что предпринято для поисков этого подставного лица?

Б о й л ь. О нем мог знать только Пасква. Но он уже не сможет дать показаний.

"Д ж е н т л ь м е н". Кто финансировал строительство лесной пристани?

Б о й л ь. По словам рабочих-строителей, нанял их тот же Пасква. Обошлось это строительство по приблизительным подсчетам в три-четыре тысячи франков.

"П и п л с в о й с". Опять выигрыш?

Б о й л ь. К сожалению, мы нашли рабочих лишь после смерти Пасквы.

"П и п л с в о й с". Вам не кажется, что за спиной Пасквы стоял кто-то с весьма солидным банковским счетом?

Б о й л ь. Предположение еще не доказательство.

"П и п л с в о й с". Месть за Бидо тоже только предположение. Убийство Пасквы загадочно. Он явно кому-то мешал.

Б о й л ь. Таких сведений мы не имеем. Следствие закончено, и дело передается в суд. Все дополнительные соображения могут быть проверены уже в процессе судебного разбирательства.

"С и т и н ь ю з". Кто будет защищать обвиняемых?

Б о й л ь. Та же адвокатская контора, которая взяла на себя защиту Пасквы после его ареста за убийство в "Аполло".

"С и т и н ь ю з". Бернс и Тардье?

Б о й л ь. Вы не ошиблись.

"П и п л с в о й с". Но это одна из самых дорогих адвокатских фирм. Кто будет оплачивать ее услуги?

Б о й л ь. Адвокатские конторы могут не оглашать имена своих клиентов.

"Пиплс войс". А что предполагает полиция?

Бойль. Полиция ничего не предполагает. Полиция расследует. Клиентура адвокатских контор не является в данном случае предметом расследования.

На этом и закончилась пресс-конференция. Ничего нового она мне не дала, но прессу, по-видимому, удовлетворила. Некоторые корреспонденты вообще не задавали вопросов. Только донововский газетчик пытался добраться до истины. Бойль выдержал натиск. Он ждал своего часа.

Что ж, тактически он действовал верно. Теперь все зависело от Стила и его статьи.

Глава XIX

БОМБА

Статью для Стила мы писали вместе с Мартином, вернее, я уточнял тезисы и корректировал язык – все-таки я лучше Мартина знаю речевую манеру сенатора. Спорить приходилось чуть ли не по каждому абзацу. Как журналист-профессионал Мартин, конечно, опытнее меня в таких делах, но я тщательно очищал статью от присущих ему выспренности и цветистости: Стилу они совершенно чужды.

– Опять "Мердок"! Убери.

– Можно ведь, не обвиняя Мердока, называть его главой партии.

– Во-первых, это не партия. И кроме того, ты знаешь, что имя Мердока в статье упоминать нельзя.

– Но здесь же нет повода для обвинения в клевете!

– Стил не должен давать ему даже лазейки. А это что?

– "Гангстеры". Нормальный термин.

– Стил не знает этого слова. Скажи еще: хунта. Не дури. Пиши просто: "убийцы", "грабители" – все, что здесь подойдет.

– А мошенники? Скажем, для усиления к "убийцам".

– Тут речь не о мошенничестве. О нем дальше. В случае с документом, подсунутым в карман убитого Ренье.

– Кромсаешь статью. Фразы как рубленые. Ни одного периода.

– Стил так говорит, а не я.

– Ну оставь хоть метафору.

– Ни к чему. Во-первых, Стил не любит метафор, он лаконичен и прост. А во-вторых, слово "нео" ему не свойственно. Пиши прямо: "галунщиков".

– Так и писал бы сам.

– Ты лучше напишешь, если вообразишь себя Стилом. Не Мартином из "Брэд энд баттер", а именно Стилом, сенатором, разоблачающим шайку грабителей, претендующих на кресла в сенате.

Сенатор ничего не слыхал о Золя и тем более о его выступлении по делу Дрейфуса, и потому я, не боясь плагиата, предложил назвать статью "Я обвиняю". Но он предпочел свой заголовок.

– А ведь точно: Стил! – сказал Уэнделл, прочитав рукопись статьи. – Неужели это он писал?

– Какая разница, – пожал я плечами, – если есть его подпись?

Уэнделл хитровато подмигнул мне, еще раз пробежав глазами последние строчки.

– Вы правы, Ано. Техника изготовления бомбы меня не интересует. Важен взрыв.

Наконец передо мной лежит номер "Сити ньюз" со статьей Стила.

КТО БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ГРАБИТЕЛЕЙ И УБИЙЦ?

"Я выступал против закона о политических ассоциациях, однако закон этот принят сенатом, и потому возвращаться к нему не буду. Но когда под флагом политической ассоциации рвутся к власти грабители и убийцы, я молчать не могу.

Кто такие "реставраторы"?

Те, кто зовет назад к зачеркнутому революцией прошлому.

Те, кто хочет вернуть полицейскую диктатуру галунщиков, запрещавшую все, что поддерживает ныне жизнь человека.

Старики помнят: запрещалось есть взращенные на собственной земле хлеб и фрукты, разводить скот, пить

вино со своих виноградников, охотиться и ловить рыбу. Даже прогулки за Город требовали специального полицейского разрешения. Впрочем, ныне это известно каждому по школьным учебникам.

И вот теперь реставраторы открыто носят повязки или значки из галуна, который украшал когда-то мундиры полицейских рабовладельцев. Вы можете увидеть такие повязки у встречных на улицах, у посетителей трактиров и постоялых дворов, у бандитов, вооруженных полицейскими автоматами.

Того, кто убил сразу четырех человек в баре "Аполло" – его звали Чек Пасква, – тоже не раз встречали с повязкой из галуна на рукаве. Когда молодой человек, вошедший в бар вслед за убийцей, попытался остановить преступление, Пасква застрелил и его. А уходя, сунул ему в карман документ, украденный у меня в канцелярии. И документ, и показания свидетелей находятся сейчас в распоряжении Главного комиссара полиции. Вы спрашиваете, зачем это понадобилось убийце? Я вам отвечу. Чтобы скомпрометировать партию ненавистных им популистов. Чтобы скомпрометировать меня, известного как непримиримого противника реставраторов.

Убийства и мошенничество – вот характерные методы их борьбы. Прибавим еще и шантаж. Чек Пасква угрожал вудвилльской землевладелице Евгении Ланфиер, что сожжет весь ее урожай, если она со своими слугами и арендаторами не будет голосовать за реставраторов на ближайших выборах. Вдова Ланфиер готова подтвердить это под присягой. Но она не единственная жертва реставраторской шайки. Фермеров Монса, Люнэ, Шобера и Стиннеса так же шантажировали нынешние галунщики. "Не проголосуете за нас – спалим урожай, сожжем фермы".

А кто оказался виновником самого крупного преступления века – похищения казначейского серебра? Я был с племянницей в каюте "Гекльберри Финна", когда началась перестрелка на палубе. Кто нас предупредил не выходить из каюты? Матрос из команды? Нет, человек с пистолетом и галунной повязкой на рукаве. Кто нам позволил не возвращаться в Сильвервилль, а добраться на лодке до моего поместья близ Реки? Владелец парохода? Капитан? Нет, опять же люди с повязками из галуна на

рукавах. Не я один видел эти повязки, у меня есть свидетели.

И наконец, кто был владельцем лесной хижины, где обнаружили украденное с парохода серебро? Тот же Пасква, убийца из "Аполло". Кто были люди, арестованные во время полицейского налета на хижину? Его сообщники, участники бандитского нападения на пароход. Все они принадлежат к реставраторам. Ленты из галуна нашли и у них.

Итак, я спрашиваю у тех, кто прочтет эту статью, и у тех, кому расскажут о ней: если они еще носят повязку реставраторов, не стыдно ли им будет показаться на людях со знаком, поощряющим мошенничество, шантаж, грабеж и убийство?

И самое главное, я спрашиваю у них: кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц?"

Чтобы узнать результаты "взрыва", я поехал завтракать в сенатский клуб. В первую очередь меня интересовала реакция Донована.

– Прицельный удар, – сказал он. – Верный и неожиданный. Группа Мердока сразу теряет шансы. И мы рады, конечно: она ведь страшнее самых правых на правом крыле. Думаю перепечатать статью целиком. Разумеется, с согласия Уэнделла.

– Он не откажет, – заверил я. – Чем больше кругов по воде, тем лучше.

Во время завтрака официант передал мне конверт с запиской Мартина.

"Завтра ответа в газете не будет. В редакции не знают, что делать. Вся головка уехала к Мердоку. Совещаются. Вероятно, решат подождать, пока стихнет шумиха".

В дверях появился Уэнделл. Он оглядел зал и направился прямо ко мне.

– Что слышно, Ано?

– Потрясены. Сколько Мердок потеряет голосов – сказать трудно, но потеряет много. Донован хочет перепечатать статью. Позволите?

– Конечно. Я уже разрешил и французской "Суар". Взрывная волна растет.

– Удар столь силен, что "Брэд энд баттер" не дает завтра никакого ответа. Собираются ждать, пока утихнет шумиха, – повторил я Мартина.

– Она не утихнет, Ано. Мы будем продолжать кампанию. А кто рискнет возражать? Банкиры из "Джентльмена"? Едва ли. Слишком грязно для них, привыкших работать в перчатках. Да и на Мердока ставить уже невыгодно. Акции падают – я говорю о бирже... Акции всех компаний, на поддержку которых он мог рассчитывать.

Два дня подряд все газеты, даже биржевой "Бюллетень", гигантскими заголовками били по реставраторам, вспоминали преступления последних лет, приписывая их неогалунщикам. На улицах и в общественных местах повязки из галуна открыто уже никто не носил. Газете Мердока неудобно было молчать, и она заговорила.

"Мы не думали отвечать потерявшему разум сенатору Стилу, но явно провокационная кампания, развернувшаяся в печати под влиянием его статьи, заставляет нас высказаться.

Повязка из галуна – не членский билет политической ассоциации реставраторов. Ее может нацепить каждый, если это почему-либо ему выгодно. Полиция, арестовав похитителей серебра и убийцу, не обнаружила никаких серьезных доказательств их принадлежности к реставраторам, не говоря уже о членских билетах. Свидетельские показания, на которые ссылается в статье Стил и в которых упоминаются повязки из галуна у преступников, никого и ничего не разоблачают. Нами установлено, что главарь арестованной полицией шайки Чек Пасква не был реставратором. В списках членов ассоциации такого имени нет. Не признались в своих политических симпатиях и сообщники убитого главаря, ныне ожидающие суда.

Все это позволяет предположить, что повязки из галуна были надеты специально: либо для того, чтобы придать явной уголовщине политический оттенок, либо с целью скомпрометировать реставраторов перед выборами. Разве не могли надеть эти повязки единомышленники сенатора Стила? С таким же пафосом, с каким от обвиняет нас, мы можем переадресовать его обвинения по любому другому адресу.

Сомневаемся мы и в криминалистическом даровании Главного комиссара полиции. Два с половиной месяца он искал серебро и не нашел, пока не попался Пасква.

Кстати, арестован тот был не за вооруженный налет на пароход, а за убийство таких же уголовников, как и он. И вдруг нам говорят: Пасква бежал по разработанному полицией плану, полиции якобы понадобилось проследить его связи. А не купил ли Пасква себе свободу, вернув казначейству украденное им серебро? Правда, он вскоре после этого был убит. Но кем убит и почему убит, комиссар Бойль со всем его криминалистическим талантом установить так и не сумел. А может быть, кто-то хотел спрятать концы в воду? Была ведь инсценировка побега. Не исключено, что и убийство произошло по замыслу того же режиссера.

Что же получается, уважаемые читатели? Старый сенатор витийствует, мстя за провал на голосовании билля о политических ассоциациях, его приятель – Главный комиссар полиции зарабатывает политический капитал на подтасованном следствии, а популистская газета бесстыдно и мошеннически компрометирует своих политических конкурентов за несколько дней до выборов".

Уэнделл ответил коротко и резко.

"Мы не будем полемизировать с газетой галунщиков. Суд подтвердит все данные следствия, с которыми был ознакомлен сенатор Стил. Общественность Города узнает правду. А пока мы еще раз спросим читателей: кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц?"

Глава XX

НОВЫЙ ПРОТИВНИК

Прошло несколько дней. Сколько событий тревожных и настораживающих!

Все началось с утра, когда "Сити ньюз" объявила о своем отказе полемизировать с реставраторами. Я вышел из отеля и позвал стоявший поблизости фиакр. Он медленно подъехал, но почему-то не остановился, а рванул вперед по улице. В ту же секунду из окна кареты раздался выстрел, и я услышал в двух сантиметрах от уха свист пули, скользнувшей по гранитному пилону у входа в отель. Выскочил швейцар, подбежал дежуривший полицейский.

– Кто стрелял?

Я пожал плечами:

– Лица не видел, а номера экипажа не запомнил.

– Стреляли в вас?

– Не знаю. Вот след пули, – и я указал на щербинку в граните.

– По-моему, возница совсем не походил на кучера?

– Не обратил внимания, – сказал я.

Швейцар посмотрел на меня с любопытством и ушел. Полицейский бросился докладывать о происшедшем начальству. Я оглянулся. Улица была пуста – ни прохожих, ни экипажей.

"Совсем как с Пасквой, – подумал я, – та же направляющая рука". Почему стреляли не в Стила? Во-первых, потому, что убийство сенатора после его выступления сразу разоблачило бы виновников, а во-вторых, роль моя в последних событиях была разгадана – холодная война подходила к точке кипения. Ликвидировать меня было проще и безопаснее – невелика птица, советник сенатора. И хотя стреляли не из полицейского автомата, но стреляли метко – только рывок экипажа чуточку изменил направление пули.

Я вернулся в отель и позвонил в редакцию Мартину. Тот немедленно приехал, и, присев подальше от стойки бара, мы подробно обсудили случившееся.

– Думаешь, Мердок? – спросил Мартин.

– Не сам, конечно, но кто-нибудь вроде покойного Пасквы.

– Ну вот что, – решительно сказал Мартин после минутной паузы, – я ухожу из газеты и буду сопровождать тебя, куда бы ты ни поехал. И номер в отеле возьмем двухместный.

– Две мишени вместо одной, – усмехнулся я. – У тебя есть оружие? У меня нет.

– Оружие надо добыть.

Я задумался, потом сообразил, что оружие можно достать у Главного комиссара полиции. Времени терять не будем. Нельзя.

– Скажи портье, чтобы послал за фиакром, – попросил я Мартина.

– Куда собираемся?

– К Бойлю.

Мартин замялся:

– Бойль не очень меня любит, Юри.

– Полюбит, когда узнает, почему ты работаешь у Мердока. Когда война объявлена, твоя маскировка уже не требуется.

Бойль принял нас любезно, хотя и не без удивления: увидел входящего со мной Мартина.

– Что-нибудь срочное, мсье Ано?

– Первое: Дональд Мартин – наш человек. Он работал, – я подчеркнул это слово в прошедшем времени, – у Мердока по нашему заданию. Был связным, а сейчас срочно переквалифицируется в моего телохранителя. Отсюда и второе: нам необходимо оружие. Не полицейские автоматы – они слишком громоздки, их не спрячешь, – а обычные многозарядные пистолеты, такие, как у вас, например.

– Значит, что-то случилось? – подумав, спросил Бойль.

– Случилось.

Я кратко рассказал ему о нападении у входа в отель.

– Но почему стреляли именно в вас?

Пришлось объяснить, почему, по моему мнению, они решили не трогать сенатора.

– Мердок человек сообразительный и умеет делать правильные выводы. В кого бы вы стреляли, если бы хотели ответить по-мердоковски на выступление Стила? И меня, конечно, не устраивает участь Пасквы, сами понимаете.

Не задавая больше вопросов, Бойль вызвал дежурного адъютанта.

– Принесите два пистолета карманного образца и соответствующего калибра, – распорядился он. – Разрешение выпишите на этих двух джентльменов. Имена свои они вам сообщат. Кроме того, пошлите полицейского для дежурства у отеля "Омон". Пусть осматривает все фиакры и ландо, останавливающиеся поблизости.

– Привлечет внимание ваш полицейский, – сказал я Бойлю, когда адъютант вышел из кабинета.

– Лишний глаз не помешает.

– Убийце-профессионалу он не страшен. Меня могут обстрелять и на перекрестке, где скапливаются экипажи. Может это сделать и верховой с конной дорожки. Годится и автомобиль – грохот только заглушит звук выстрела. Главное, суметь вовремя ответить тем же.

Пистолеты нам выдали, но относительно полицейского я оказался прав. Его застрелили на другой день, к вечеру, когда редкие газовые фонари в переулке позволяли стрелять из любого темного уголка – или из соседнего с отелем подъезда, или из окон жилого дома напротив.

Об этом мне сообщил по телефону Бойль, когда убитого уже увезли.

– Кто убил – неизвестно. Зачем – непонятно. Ведь нападения на вас не последовало.

– Нам просто хотят напомнить, что они сильны и располагают для достижения цели любыми средствами. И все-таки я почему-то не подозреваю Мердока, Бойль. Может быть, Фревилл или какая-нибудь другая шушера. Может быть, даже, на свой риск и страх, без приказа шефа. Мне до сих пор казалось, что я ему нужен живой, а не мертвый. Во всяком случае не посылайте больше людей к отелю, Бойль. Сами справимся...

Обычно поутру после душа я завтракаю у себя в номере или в баре внизу. Но на этот раз до завтрака мне захотелось поразмяться, побродить по тихой улочке со странным названием "Только для пешеходов". В утренние часы пешеходов здесь почти не бывало: кафе, конторы и мастерские предпочитали более людные улицы.

Слежку за собой я заметил не сразу. Правда, еще в вестибюле отеля, у газетного киоска, мне попался на глаза парень небольшого роста, в сером укороченном сюртуке и модных узких клетчатых брюках. С какой-то непонятной рассеянностью листал он на прилавке одну из газет, словно ему было нечего делать.

Я не спеша прошел мимо него, лишь скользнув взглядом по его нестерпимо клетчатым панталонам, и, выйдя из отеля, свернул на улочку "Только для пешеходов". Оглянулся. Так и есть: мой клетчатый молодчик следует за мной, как будто у него тот же путь и те же намерения. Я остановился, якобы для того, чтобы поправить брючную штрипку. Он тоже остановился: достает из портсигара свернутую из табачного листа сигарку. Пока он ее раскурил, я быстро двинулся вперед и, срезав путь, очутился в другом переулке. Все ясно: "клетчатый" не отпускает меня, строго соблюдая дистанцию. Следовало вернуться в отель и поразмыслить о том, что предпринимать дальше.

Позавтракав сыром и копченой свининой, выпив две чашки кофе, я успел просмотреть газеты. Я твердо знал, что преследователя своего здесь не увижу. У зала один выход, и "клетчатый" ждал либо в вестибюле отеля, либо на прилегающей к нему улице.

Все правильно. Он действительно дежурил на посту у фонарного столба. Я нанял кэб. К счастью для "клетчатого", свободных экипажей возле отеля было много, и я смог легко убедиться, что "ищейка" взяла след.

Добравшись до биржи, я нырнул в толпу гомонящих брокеров. Но "клетчатый" оказался рядом, с биржевым бюллетенем в руках.

Проверять больше незачем. Я возвратился в отель, зашел к Мартину.

Он был дома, лежал, постанывал.

– Что стряслось? – спросил я у него.

– Зуб заболел. Нестерпимо. Пришлось по рекомендации портье пойти к их зубному врачу.

– Ну и как?

– Знаешь, как лечили зубы в девятнадцатом веке? Ни бормашины, ни анестезии. Зубы рвут без наркоза клещами, будто гвозди из доски. От страха у меня даже боль прошла. Теперь долечиваюсь "Эдемом старым", без разбавки. А ты почему такой взмыленный?

Я рассказал Мартину о своей вынужденной прогулке по Городу. Дон сразу же отставил недопитый "Эдем" в сторону.

– Сначала пытались подстрелить тебя у входа в отель, потом убили полицейского. Теперь почему-то слежка. Кто следит и зачем?

– Если б я знал!

– Может быть, полицейское наблюдение?

– За какие проступки?

– Для охраны.

– Ее же сняли по договоренности с Бойлем.

– Мердок?

– Вряд ли. Ему не обязательно знать, куда я хожу, где ночую или в каком баре ем мороженое и пью пиво. Его интересуют мои замыслы. Но никакая, тем более столь примитивная, слежка ему этих замыслов не откроет.

– А если ты Мердоку очень мешаешь?

– Безусловно. Он мне сам сказал. Но зачем посылать филеров? Есть другие способы устранять помехи.

– Эти способы уже применялись.

– Не Мердоком.

– Тогда тобой заинтересовался еще кто-то.

– Вот и я думаю. Не надо уходить от тени, лучше идти за ней. Куда-нибудь да придем.

– Значит, подключаешь меня? Спасибо, – обрадовался Мартин.

Мы пообедали с завидным аппетитом. Из-за чего паника? Нас двое, оружие есть. Страшно, конечно, – столкнуться с неведомой опасностью всегда страшно. Но выхода у нас не было. С Бойлем советоваться излишне: я сам предложил ему снять полицейское охранение. С Мердоком тоже: ему плевать, что за мной кто-то следит. Да и слежка эта настолько непрофессиональна, что смешно обращаться за советами к специалистам. Тут надо решать самостоятельно.

Для предстоящего маневра мы переоделись. Я надел сапоги с короткими и мягкими голенищами, куда можно было засунуть пистолет без риска, что его найдут при наружном, поверхностном осмотре, а Мартин облачился в свой сильвервилльский, видавший виды костюм, позволяющий пистолета не прятать, а держать под рукой – ведь следили-то не за ним и непосредственно ему ничего не угрожало.

– Поедем раздельно. Куда, не важно. Хотя бы по кругу Больших бульваров. Я сяду в первый попавшийся экипаж, ты – в следующий, и постараемся обнаружить, кто именно за мной следит, с кем связывается в пути и кому передает наблюдение. Может быть, что-то и выясним.

Нам повезло. Кэб стоял в двух шагах от подъезда. Возница в нахлобученном из глаза цилиндре словно дремал и не обернулся, когда я, открывая дверцу кареты, сказал ему: "От поворота с улицы Дормуа по кругу Больших бульваров". Не все ли равно, смотрел он на меня или не смотрел, – я плюхнулся на сиденье, поначалу не заметив, что рядом кто-то есть. И тут же мгновенно сообразил, что попал в капкан, который ставили мои преследователи. Он щелкнул наконец, я даже пошевелиться не успел.

Сидевший рядом ткнул меня пистолетом в бок.

– Не двигаться. Пуля не подарок, советник.

Голос этот я где-то уже слышал. Значит, знали, кто я такой. Я скосил глаза сколько мог и узнал в соседе

парня в клетчатых брюках. Но что-то подсказывало мне, что я его еще раньше видел.

– Запамятовал, советник? А жаль. Тогда бы не мучился над тем, что тебя ожидает. Даже сам главный не спасет, как спас когда-то на дороге в Вудвилль. Зачем это понадобилось ему, не пойму. Но сейчас мы докладывать ему не будем. Наше свиданьице запланировано без его благословения.

Теперь я, конечно, вспомнил его. Он вышел к нашему костру в лесу, когда мы с Мартином остановились передохнуть по дороге из поместья Стила в Вудвилль. Маленький юркий крепыш с толстым, как у мясника, лицом. Тогда я мысленно назвал его "коротышкой". Вышел он вместе с Пасквой. Итак, ясно, что и слежка и "капкан" придуманы не Мердоком. Это месть за Паскву, инициатива его дружков, явно не знавших, кто приказал застрелить Паскву и кто этот приказ выполнил. Видимо, Мердок не счел нужным посвящать их в свои планы. Но у захвативших меня молодчиков была своя логика: они знали, кто выдал Паскву на очной ставке в полиции.

Дуло пистолета вдавливалось в меня, и беседовать спокойно было трудно. Но я пытался.

– Мердок вам не простит.

– Откуда он узнает? Свидетелей нет.

– Так ты же не один, вас по меньшей мере двое. Кстати, где вы собираетесь рассчитываться за Паскву?

– За Паскву? – захохотал "коротышка". – Нет, советник, у тебя еще должники есть.

– Кто?

– Увидишь.

– Когда?

– Любопытен ты, советник. Тебе бы не спрашивать, а пощады просить. Только хозяин не помилует.

– А где твой хозяин?

– На козлах. Ему лишние свидетели не нужны.

Интересно, следует ли за нами Мартин? Собственно, сомнений на этот счет у меня нет. Но сообразил ли он, что я попал в капкан? Мы, как мне кажется, петляем по улицам. Наверное, для расправы со мной выбран какой-нибудь притон на окраине. Если до этого Мартин не выпустит нас из виду, то, увидев меня выходящим из кэба в сопровождении "коротышки", тотчас примет

надлежащие меры. Только бы не оторваться от Мартина! У нас хороший рысак, а частые и резкие повороты экипажа помогают замести след.

Мы поехали медленнее, кузов затрясся: значит, свернули с дороги. С трудом, но все же мне удалось выглянуть в запыленное стекло дверцы. Кругом был туман, в тумане – смутные очертания кустарника. Похоже, начался лес. Так и есть: ни одного дома не видно, ни одного забора. Должно быть, мы уже за городом.

Наконец кэб остановился. "Коротышка", ткнув меня пистолетом, прошипел:

– Сползай! Приехали.

Я вылез, готовый прыгнуть в сумеречную муть. В тумане "коротышка" мог и промахнуться. Но прыгнуть я не успел. Толчком в грудь меня остановил сошедший с козел человек в темной крылатке и совсем не кучерском цилиндре. Как я не обратил внимания на это, когда нанимал экипаж? Я вгляделся и узнал "кучера", несмотря на туман.

– Освальд Ринки! – вскрикнул я, даже не пытаясь скрыть удивления.

– А вы думали, советник, – ухмыльнулся он, – я прощу вам издевательства в "Гэмблинг-хаузе"?

– Придется простить, Ринки, – я старался говорить твердо, без дрожи в голосе, – я ничего не предпринимаю без предварительного контакта с вашим хозяином.

– На этот раз контактов не будет. Ни у меня, ни у вас. Медвежонок, скрути-ка ему руки проволокой.

Только полметра отделяло меня от пистолета в сапоге, но достать его я уже не мог. Медвежонок-"коротышка" почти мгновенно скрутил мне за спиной руки, обмотав кисти проволокой настолько тонкой, что она врезалась в кожу.

– Я давно задумал покончить с вами, советник, – сказал Ринки. – Это я стрелял тогда у входа в отель.

– Очень метко стреляли.

– Полицейского тоже я убил: рассчитывал, что снимут охрану, и не просчитался. Но потом мне захотелось посмотреть вам в глаза с той же усмешкой, с какой вы смотрели тогда на меня у бассейна.

– Вам бы в театре работать, Ринки. Такой талант пропадает.

Я сказал это, чтобы выиграть время. Мартин должен был бы уже догнать нас и догадаться, что происходит. Но лес молчал. Ни шороха кустов, ни треска попавшей под ногу сухой ветки – никаких надежд на появление Мартина. Где он мог потерять нас? Вероятно, еще в Городе, где-то на уличном перекрестке. Если бы туман стал плотнее, я бы отважился на побег. Но передо мной стоял Освальд Ринки, а позади – "коротышка", оба с пистолетами. Чья-то пуля обязательно достала бы меня даже в тумане. В общем, влип – не уйти.

– Молчите, советник? – засмеялся Ринки. – Кисло, не правда ли? А для меня большая радость видеть вас связанным и беспомощным. Это интересней, чем угаданный номер в рулетке. После вас отправим к господу богу и вашего тихоню Пита. Возиться с ним не будем – достаточно пули в затылок.

Если Мартин не появится вовремя, то и Пита не спасти: его пристрелят, как полицейского у отеля. И убережется ли сам Мартин? Ведь наших противников не обременяет жалость или сочувствие к людям, вдруг ставшим помехой в их грязной игре. А почему, собственно, мы должны друг друга оберегать? Почему вызвавшие нас сюда создатели этого мира не могут позаботиться о том, чтобы мы с Мартином благополучно вернулись домой? Ведь и в первое наше посещение этой маленькой дубль-Земли нам угрожало немало напастей. Выстояли. И наверняка не без помощи неведомых "облаков" и "двойников". Может быть, и сейчас они подумают, как избавить меня от Освальда Ринки. Держись, Анохин! Тяни время, растягивай его, пока этот подонок радуется твоей беде.

– А вы трус, Ринки. Пасква хоть стрелял в открытую, не связывая предварительно рук своим жертвам. Вы боитесь даже безоружного. Стрельба по такой мишени, конечно, безопаснее.

Ринки не обиделся.

– А я и не собираюсь тратить на вас патрон. У меня другие планы. Возьми-ка ведро, Медвежонок, и поставь его вверх дном под этим вязом.

Я задрал голову и сквозь туман увидел в трех метрах над собой огромный обломанный сук. "Коротышка" в это время принес обыкновенное жестяное ведро, из которого

поят лошадей, и поставил его, как сказал Ринки. Затем с неожиданной ловкостью влез на дерево и спустил над опрокинутым ведром петлю из такой же медной проволоки, какой были связаны мои руки.

Ринки, несомненно, доволен.

– Не беспокойтесь, советник, долго мучится не придется. Под тяжестью вашего тела петля эта еще до того, как вы задохнетесь, перережет вам горло. Но спешить мы не будем. Постоим, потолкуем. Жизнь, советник, самая драгоценная штука, ее жальче всего потерять.

"Коротышка" уже спрыгнул вниз и показал мне, куда надо встать.

– А если не встану? – спросил я.

– Не ждите пули. Вдвоем мы вас все равно повесим. Сначала поставим на ведро, накинем петлю, а потом выбьем ведро из-под ног.

Я услышал в кустах какой-то шорох. Где именно, уточнить не смог. Но шорох был. И самое неприятное, что "коротышка" его тоже услышал.

– Посмотреть бы кругом, Осси, – сказал он настороженно. – вдруг кто-нибудь...

– Кто? – отмахнулся Ринки. – От "хвоста" еще в Городе оторвались. Да и "хвост" ли это был?

– Тогда начинаем, – "коротышка" расшаркался перед ведром. – Приглашаем к трону, советник.

В глубине души все же на что-то надеясь (а вдруг шорох – предвестник появления Мартина, вдруг Мартин догнал нас и вот-вот вмешается в этот фатальный для меня спектакль), я медленно-медленно встал на опрокинутое ведро.

– Ай да советник, ай да умница, – юродствовал Ринки. – Сейчас схлопочем вам и петельку.

Пока "коротышка" держал меня за ноги, Ринки надел мне петлю. Она свободно легла на шею, но из нее не выскочишь.

Я замер, прислушался: может, шелохнется что-то вблизи. Если это Мартин, то почему он медлит?

– Когда узнает Мердок, не ждите награды, – сказал я.

– От кого он узнает? – засмеялся Ринки.

– Один свидетель у вас уже есть. И вы так в нем уверены?

– А его уже нет, – проговорил Ринки и выстредил "коротышке" в спину. – Ну, теперь ваша очередь, советник. Умирать надо с достоинством.

Он неторопливо подошел ко мне, не опасаясь, что я ударю его ногой, – любое мое резкое движение тотчас затянуло бы петлю, – и примерился, чтобы выбить у меня из-под ног ведро.

Неожиданный выстрел из тумана свалил его на землю. Пистолет, прикончивший "коротышку", отлетел в сторону. А из-за кустов появился Мартин.

– Посмотри, убит или нет? – попросил я.

– Жив, – нагнувшись к Ринки, ответил Мартин. – Я по ногам стрелял. Давай я тебя развяжу.

Освобожденный от пут, я растер себе шею и кисти рук.

– Еще бы немного – и снимал бы труп с виселицы. Я слышал шорох в кустах минуты три назад. Это ты был? Так почему не стрелял?

– Туман. Боялся промахнуться. Пока они тут все налаживали, подполз вплотную. А ты уже в петле...

– Сообразил, что в экипаже был капкан?

– Не сразу. Но старался не упустить ваш кэб. А они, должно быть, заметили. Начали петлять.

– Не думал, что ты нас потеряешь. Кстати, где?

– Уже за Городом, вероятно на развилке, у колодца с распятием. Ехали минут двадцать по дороге – никого. Спрашиваем встречного: не проезжал ли кто? Не проезжал, говорит. Пришлось возвращаться и сворачивать на проселок к лесу. Тут и нащупали ваш след. Фиакр я оставил на дороге, а сам пешком прямо сюда: голоса послышались. Подошел ближе – Все ясно. Из банды Мердока.

– Ошиблись мы с тобой, Дон. Ринки от себя работал. Мстил мне за "Гэмблинг-хауз". Это он стрелял в меня тогда у отеля, он и полицейского убил. Сам признался и подтвердил, что Мердок об этом ничего не знает и не узнает. Потому и с напарником расправился, чтоб свидетелей не было.

Мартин наклонился над убитым "коротышкой".

– Кажется, в лесной "берлоге" встречались?

– Там и Ринки был.

– Ну, всю шваль не запомнишь. А почему он от Мердока таился?

– Из страха, наверно... Поехали в город. Мертвеца здесь оставим, а Ринки сдадим в полицейский госпиталь вместе с моим рапортом Бойлю.

Глава XXI

ШАНТАЖ

Неожиданное вмешательство Ринки не внесло никаких изменений в нашу игру с Мердоком. Бойль лишь потребовал обстоятельного рассказа о случившемся в "Гэмблинг-хаузе" и на лесной дороге за Городом. "Везет вам, Ано, – сказал он, – умеете вы убирать противников и, главное, не своими, а чужими руками". – "Гибнут не только противники, Бойль, – ответил я, – гибнут и друзья. Вспомните хотя бы Луи Ренье. А кто убил его? И долго ли отсталось бы жить Питу Селби, если б Ринки ушел от пули Мартина?"

Но история с Ринки уже позади. А сейчас я сижу у дверей больничной палаты, куда час назад привезли Стила. К сенатору меня не пустили: у постели больного идет консилиум.

Я был у него дома. Перепуганная горничная сообщила, что сенатор очень беспокоился о Минни: барышня уехала за покупками, но так и не вернулась до вечера, а потом вдруг принесли письмо. Кто принес, она не знает. Вроде обыкновенный посыльный, с бородой и шрамом под глазом. Только это она и заметила. Сенатор вскрыл письмо, прочитал – и упал. Горничная бросилась за врачом – он живет напротив, и тот сразу же привез Стила в больницу святой Магдалины. "А где письмо?" – спросил я. "Сенатор спрятал его в карман".

Я уже успел поговорить с личным врачом сенатора, когда он на минуту покинул палату, чтобы дать указания дежурившей сестре милосердия. "Не волнуйтесь, – успокоил он меня, – ничего страшного. Сердечный приступ. Как только закончится консилиум, вас к нему пустят. Ему уже легче. Он в полном сознании, но чем-то крайне расстроен. Я думаю, вы будете ему полезнее нас".

Наконец в дверях появляются участники консилиума. Личный врач Стила шепчет мне на ухо: "Все в порядке,

сердце выдержало. Постарайтесь не тревожить сенатора". И я вхожу в палату.

Сенатор лежит под белым одеялом, обросший седой щетиной, – видимо, с утра не побрился. Он выглядит постаревшим лет на десять. Но не это меня встревожило, а растерянность, почти страх в его мутных, слезящихся глазах – вот-вот не выдержит и закричит не от физической, а от скрытой душевной боли.

– Хорошо, что вы пришли, Ано, – говорит он и дрожащей рукой вынимает из кармана больничной пижамы письмо в зеленом конверте с краткой надписью: "Джемсу Стилу, сенатору".

"Уважаемый мистер Стил, – читаю я, – ваша племянница жива, здорова и пока находится у нас, в надежном и недоступном для полиции месте. Кормят и обслуживают ее отлично, но увидеться с вами – иначе говоря, вернуться домой – она сможет лишь послезавтра, по окончании выборов, когда будут подсчитаны все голоса, в том числе и поданные за вас лично. Согласно конституции вы можете подать в отставку и отдать свои голоса любому избранному вами политическому деятелю. Вот мы и предлагаем вам сделку: мы отдаем вам Минни, вы нам – свои голоса, точнее, избранному не вами, а нами политическому деятелю. Имя его Тур Мердок, имя вам известное и отнюдь не ласкающее ваше ухо, но таковы уж условия сделки. И мы требуем этого не по его инициативе, а потому, что ему сочувствуем и за него голосуем. Сделать придется так: вы тотчас же вызываете вашего личного адвоката и диктуете ему надлежащее заявление в двух экземплярах. Один из них адвокат предъявит избирательной комиссии, другой экземпляр ваш представитель передаст нашему в кафе "Жюн" завтра в полдень, как раз накануне выборов. Поэтому советуем поторопиться. Сообщаем, что у нашего в петлице черного сюртука будет расшитая галуном ленточка. Ваш спросит: "За кого вы голосуете?" Наш ответит: "Только не за популистов". Тогда и должен быть передан ему из рук в руки требуемый документ. На другой день ваша племянница будет доставлена домой.

Обращаться к полиции или к прессе не рекомендуем. Девушка исчезнет навсегда где-нибудь на дне Реки, мистер Мердок не понесет никакой ответственности, как ничего

не знающий об этом деле, полиция никого не найдет, и в лучшем случае наш человек в кафе "Жюн" будет арестован и обвинен в соучастии в похищении и убийстве племянницы. Но этот "лучший случай" едва ли вас устроит.

Оглашение письма постфактум может, конечно, изменить положение. Ваши голоса и ваш пост останутся при вас, но и мистер Мердок не потеряет своего кресла в сенате. А уж за жизнь племянницы никто не поручится. Мы найдем ее всюду, где бы вы ее ни спрятали, и достойно отплатим за предательство. Даже ваша смерть ее не спасет: мы отправим ее в рай вслед за вами".

Подписано письмо не было. Пока я читал его, Стил лежал с закрытыми глазами, как мертвец.

– Когда ее похитили? – спрашиваю я.

– Думаю, после полудня.

– Значит, она еще в Городе. Шантажистам нет смысла увозить Минни далеко, если придется возвращать ее сразу после выборов.

– Я уже все решил, – не открывая глаз, произносит Стил.

– Что именно?

– Сделать все, что они требуют.

Я склоняюсь над его постелью.

– Откройте глаза, Джемс! Вы еще не умираете, и Минни пока жива. Вы имеете право жертвовать многим ради ее спасения, но не имеете права предавать партию. Не имеете права предавать Город. Если вы так поступите, Мердок станет его хозяином.

– Я не могу пожертвовать девочкой, – шепчет Стил. – Даже моя смерть не спасет ее.

– Кто говорит о вашей смерти?! У нас ночь и день впереди. Мы с Мартином сделаем все, что сможем. Утрите слезы, сенатор. Мердок не Корсон Бойл. И не вызывайте никаких адвокатов, пока не получите от меня вестей.

С этими словами я покидаю палату.

На улице меня поджидает встревоженный Мартин. Из дома сенатора я позвонил в "Омон" и, не вдаваясь в подробности, попросил его срочно приехать к больнице.

– Что? Плохо со Стилом?

– Минни украли, – говорю я. – Чистый киднаппинг, как у вас в Штатах.

– А выкуп?

– Голоса Стила, полученные на выборах.

Мартин не понимает. Я объясняю ему, как можно распорядиться полученными голосами, если подаешь в отставку тотчас после выборов. Короче – пересказываю суть письма.

– Подлец, – возмущается Мартин.

– Хуже.

– А если все-таки рискнуть?

– Как?

– Без полиции.

– Об этом я и думаю. Надо только найти его.

– Ты же знаешь адрес.

– А если Мердока нет дома?

– Скоро ночь. Подождем.

– Наверняка дом охраняется.

– Сколько их? Двое, трое... не больше.

– Значит, поехали.

Мы с Мартином понимаем друг друга. Чтобы спасти Минни, нужно испугать Мердока. А это не просто. В деле, видимо, участвуют трое или четверо дружков Пасквы, да и сам Мердок – бывший шериф. Стрелять они умеют.

Оставляем экипаж недалеко от коттеджа Мердока, просим кучера подождать нашего возвращения, обещая работу на всю ночь. До коттеджа идем пешком, не скрываясь, благо это квартал богачей и ночью на улице здесь никого не встретишь. За решетчатой оградой смутно вырисовываются темные бугры подстриженных кустов и погруженный в ночную тьму дом. Тускло светятся два окна на втором этаже (должно быть, горит керосиновая лампа: ночью электроэнергия не подается даже в этом квартале) и небольшое окошко внизу, рядом с подъездом. Присмотревшись, замечаю сидящего на крыльце человека.

Я подхожу к калитке так, чтобы с крыльца был виден мой силуэт. Мартин, мгновенно поняв меня, осторожно взбирается на ограду. Я издаю тихий свист. Человек на крыльце встает и шагает по утрамбованной дорожке к калитке.

– За кого голосуешь, парень? – спрашиваю я, когда он приблизился.

– Только не за популистов, – отвечает он и, опустив пистолет, подходит вплотную к калитке.

Так и есть. Это их пароль. "Пистолетник" из одной шайки с Пасквой.

– Кто? – хрипит он из темноты.

– Свой, – говорю я.

Парень плотно приникает к чугунной решетке, силясь разглядеть, свой ли? В ту же секунду Мартин кошкой прыгает на него сверху. Не успев даже вскрикнуть, тот валится на траву.

– Готов, теперь не скоро очнется, – еле слышно сообщает Мартин, открывая засов калитки.

– Видишь слабый свет в окнах наверху? – шепчу я. – Там кабинет и спальня Мердока. Наверное, он дома. Внизу охранники. Сколько их, неизвестно. Рискнем?

– Рискнем.

Мы подымаемся по ступенькам к двери. Она чуть приоткрыта: похоже, охранники не боятся вторжения. Пол крепкий, не скрипит, дверь тоже – петли заботливо смазаны. Сразу из темной передней идет наверх неосвещенная лестница. В комнате справа за столом – два небритых охранника играют в карты. На табуретке рядом лежит полицейский автомат. Нас картежники не замечают и не слышат.

– Может, обезоружим сначала? – шепчу я на ухо Мартину. – Свяжем. Быстро, бесшумно...

– Нашел кого жалеть! – яростно шипит Мартин. – Да бесшумно и не выйдет. У них автоматы. Лучше шумно, но наверняка. И не обязательно убивать, можно только ранить.

Несколько часов спустя, когда все уже кончилось, я спрашивал себя: а имел ли я право, без всяких ссылок на чужое пространство и время, – имел ли я моральное право стрелять? Что ответил бы я судье? Да, имел. Я стрелял в убийц, спасая жизнь похищенной ими девушки, я защищал свободу Города – ведь голоса Стила, отданные Мердоку, сделали бы того подобием чилийского диктатора Пиночета. Здесь не знают, что такое Чили и кто такой генерал Пиночет. Но здесь хорошо помнят прошлое.

А в ту минуту, когда мы с Мартином стояли с пистолетами в передней Мердока, ни он, ни я не раздумывали о моральном праве.

...Два выстрела взрывают тишину дома. Оба охранника оседают на пол. Мартин, не нагибаясь к раненым, подхватывает лежащий на табуретке автомат. Оружие в полном порядке и готово к бою.

– Подходящая штука для встречи с теми, кто сейчас спустится с лестницы.

– А если это Мердок?

– Вступим в переговоры.

На лестнице наверху показывается человек с фонарем. В руке у него пистолет. Это не Мердок. Нас в темноте холла он не видит.

– Погоди. Может, теперь обойдемся без выстрелов, – шепчет Мартин.

Человек с фонарем приближается, не опуская пистолета.

– Стоп, – говорю я из темноты. – Поставьте фонарь и бросьте пистолет. Руки вверх!

В ответ гремит выстрел. Я успеваю брякнуться на пол – пуля надо мной разбивает стекло входной двери.

Мартин не остается в долгу. Подкравшись к лестнице сбоку, он хватает стрелявшего за ноги. Тот падает навзничь. Фонарь гаснет, но загорается струйка вытекшего керосина. Мы наспех связываем руки лежащему – он молчит, видимо понимая, что кричать бессмысленно: Мартин уже направил на него свой автомат. Из предосторожности мы все-таки затыкаем бандиту рот носовым платком. Струйки горящего керосина затаптываем, чтобы не загорелась деревянная лестница. Остается визит к хозяину.

Кабинет заперт. Я стреляю чуть правее замочной скважины. Удар ноги – и дверь открывается настежь. Тут же из освещенного кабинета слышится выстрел, но Мердок не видит цели: Мартин и я притаились за косяком двери.

– Не двигаться, Мердок! Нас двое, а ваших телохранителей уже нет. Бросьте пистолет и поднимите руки. Мы сможем спокойно поговорить с вами, если нам никто не помешает.

– Верю, – говорит Мердок и кидает пистолет на пол. – Входите, Ано, не стесняйтесь.

Мы входим, Мердок встречает нас с улыбкой.

– Обыщи его, Мартин, – командую я.

Мартин ощупывает карманы Мердока, подбирает пистолет и передает его мне.

– Ничего нет, Юри.

– Тогда садитесь, Мердок, – я указываю пистолетом на диван. – Руки можете опустить.

В кабинет вбегает горничная с перекошенным от страха лицом, без халата, только в ночной рубашке.

– Что случилось, мистер Мердок? Меня разбудили выстрелы.

– Идите к себе, Джесси, – спокойно произносит Мердок, – закройте дверь, запритесь и не выходите до утра, пока не прибудет полиция. Никто вас не тронет.

Горничная исчезает, и мы остаемся втроем. Мердок сидит на диване, а мы – напротив, у письменного стола.

– Вы опять переиграли меня, Ано, – кривится в улыбке Мердок.

– Переиграл, – соглашаюсь я, – хотя, скажем мягко, вы и пытались мне помешать.

– Возможно. Вы, кстати, отвечали тем же. Судя по тому, что вы угробили моих парней, вам что-то от меня нужно?

– Многое.

– А именно?

– Во-первых, вы немедленно освободите Минни Стил.

– Ее здесь нет.

– А где она? Глупо скрывать...

– Согласен. В кафе "Жюн". Под надежной охраной.

– Жива?

– Пока.

– Вот мы с вами и отправимся сейчас в кафе "Жюн", и вы сами позаботитесь о ее благополучном возвращении домой.

– А если я этого не сделаю?

– Мы тут же вас убьем, Мердок, не пощадив, как не пощадили ваших охранников. У нас нет выбора.

– Так ведь и девчонку убьют...

– ...а сенатор Стил умрет от второго сердечного приступа. Допускаю и это. Но зато вас не будет, Мердок, и Город вздохнет свободно.

– Неужели я так опасен для Города! – Усмешка напоминает мне прежнего, уверенного в себе Мердока.

– Не кривляйтесь, – обрываю я его. – Я смотрю дальше Стила и предвижу ваши замыслы. Итак, согласны?

– У меня тоже нет выбора, – пожимает плечами Мердок, – разрешите переодеться.

– Последи за ним, Мартин.

Пока Мартин ощупывает сюртук Мердока, я подымаю телефонную трубку.

– Соедините меня с больницей святой Магдалины, не знаю ее номера, – прошу я телефонистку.

– Дежурный врач у телефона, – отвечает больница.

– Говорит советник сенатора Стила. Он спит, наверно?

– К сожалению, нет, советник. Не спит даже со снотворным. А мы не рискуем увеличить дозу.

– И не надо. Сообщите ему немедленно, что звонил я, и скажите, что племянница его через час, а может быть, и раньше, благополучно вернется домой. Это будет для него лучшим лекарством.

Мердок в сюртуке и цилиндре ждет у двери.

– Я готов, джентльмены.

– Идем к экипажу, – говорю я. – Мы по бокам. Пистолеты у нас в карманах, пальцы на спуске. Никакие парни из кафе "Жюн" вам не помогут. Девушку вы отправите самолично в нашем же экипаже, парней отпустите, а мы втроем поговорим о дальнейшем. Ясно?

– Ясней быть не может.

На связанного охранника он даже на обращает внимания и уверенно шагает в ночную темь, разбавленную тусклыми бликами газовых фонарей.

Глава XXII

РЕШАЮЩИЙ ШАГ

Кафе "Жюн" было закрыто. Пришлось стучать. Дверь приоткрылась, закрепленная изнутри на цепочке, и кто-то хриплым голосом сказал сквозь щель:

– На вынос не продаем.

Мы ждем ответа Мердока. Он говорит тихо и властно:

– Открой, Слим. Свои.

В распахнутую настежь дверь мы все входим в том же порядке: чуть впереди Мердок, за ним вплотную я и Мартин.

В зале пусто. Столы поставлены один на другой, стулья отодвинуты в сторону, на стойке горит единственная свеча, освещающая не больше пяти квадратных метров погруженного в темноту зала.

– Где девочка, Слим? – спрашивает Мердок.

– Наверху, в угловой комнате. Наверное, уже спит. От ужина отказалась.

– Разбуди ее повежливее. Пусть спускается вниз. Здесь ждут ее друзья. Кто рядом?

– Крук и Тони. Играют в кости. Проглотили целый бидон абрикосовой.

– Будет оплачено, Слим. Кстати, скажи им по пути, чтобы убирались отсюда немедленно.

Слим мгновенно исчезает за дверью у стойки, смутно различимой в темноте. Мердок садится, мы устраиваемся возле него, контролируя каждое его движение.

– Не напрягайтесь, ребята, – ухмыляется он. – Я работаю честно.

Из двери у стойки появляются двое. Тусклый свет свечи не позволяет рассмотреть их лица.

– Вызывали, хозяин? – спрашивает один, не подходя близко.

– Вы оба свободны, Тони. Девчонкой займется Слим. А вы по домам. Живо!

Парни почтительно ретируются, не обращая на нас никакого внимания, – приказа хозяина не было, а самодеятельность, должно быть, не поощряется.

Минуты две-три спустя в зал входит Минни в светлом платье с жирными пятнами на рукавах: вероятно, ее тащили за руки. Я делаю знак Мартину, чтобы он держал под прицелом Мердока, поднимаюсь ей навстречу.

– Мсье Ано! – радостно восклицает она и бросается мне на шею, не замечая ни Мердока, ни Мартина.

– Вы сейчас поедете домой, Минни, – говорю я. – Вас отвезут. И не пугайтесь, если не застанете там дядю. Он в больнице святой Магдалины. Легкий сердечный приступ после вашего исчезновения. Сразу позвоните ему.

– Слим, – подает голос Мердок, – доставишь девушку домой. Головой ответишь за любую задержку.

– А кто же здесь останется, хозяин? – медлит Слим, ехать ему явно не хочется.

– Мы подождем твоего возвращения.

– Идите, Минни, – я подталкиваю ее к выходу. – Экипаж у подъезда.

Минни и Слим уходят. Я закрываю дверь на цепочку.

– Первое ваше требование выполнено, Ано. – Мердок разговаривает спокойно, но с какой-то внутренней настороженностью. Вероятно, он понимает, что его ожидает еще более неприятное испытание.

Я сажусь напротив Мердока. Мартин по-прежнему не спускает с него глаз.

– Здесь есть телефон? – спрашиваю я.

– Вон там, за стойкой, – кивает Мердок.

– Через полчаса я позвоню Минни домой, и тогда будет видно, как выполнили вы наше первое требование. Надеюсь, телефон работает?

– Проверьте.

– Проверим. А пока проверим другое.

– Что?

– Ваш здравый смысл.

– Не понимаю.

– Сейчас объясню. Вы проиграли, Мердок.

– А что я проиграл, кроме голосов Стила?

– Вашу ассоциацию, Мердок, в перспективе – партию и все ожидающие вас кресла в сенате.

Мердок долго молчит. Выражения его лица я не вижу, но знаю, что он меня понял и подсчитывает свои возможности.

– А если подробнее? – наконец спрашивает он. Голос его чуть-чуть дрожит.

– Сейчас вы напишете под мою диктовку заявление в избирательную комиссию. Вы "признаетесь", что лично проверили обвинения сенатора Стила и убедились в их справедливости. Как честного политического деятеля вас глубоко возмутило сотрудничество ассоциации реставраторов с шайкой грабителей и убийц. Ассоциация скомпрометирована, и вы ее распускаете, одновременно требуя изъятия из всех избирательных списков ее

кандидатов, в том числе и своей кандидатуры. А избирательные бюллетени с именами кандидатов вашей, теперь уже бывшей ассоциации предлагаете считать недействительными.

– Что же вы оставляете мне? – произносит Мердок.

– Не так уж мало. Во-первых, достоинство и незапачканную репутацию, во-вторых, возможность играть дальше, причем не только проигрывать. У вас еще остаются все игорные дома и ночные клубы, организация букмекеров на городском ипподроме и контрольный пакет акций страховой компании "Эврика". А самое главное, у вас в руках газета, которая может поддерживать и другие движения, если не "джентльменов" – они, пожалуй, слишком аристократичны для вас, – то, скажем, церковников-католиков или евангелистов. Ведь и с их помощью можно добиться сенатского кресла.

Мердок молча встает и проходит за стойку бара. Мартин с пистолетом следует за ним.

– Я не оружие ищу, а перо и бумагу, – огрызается Мердок.

Отыскав их под прилавком, он, стоя, записывает: "В сенатскую избирательную комиссию..."

– Диктуйте, – обращается он ко мне.

Со своего места я диктую ему примерно то, что уже высказал.

– А теперь позвоните в редакцию "Брэд энд баттер" и продиктуйте написанное, – продолжаю я. – Там знают ваш голос и не заподозрят мистификацию. Лучше всего, если вы доберетесь до редактора. Утром это заявление должно быть в газете. И на первой полосе. А затем отдадите бумагу мне. Об избирательной комиссии и о "Сити ньюз" я сам позабочусь.

Мердок довольно быстро находит по телефону ночного редактора. "Стенографистки не надо. Записывайте сами". Торопливо, но отчетливо диктует. Слышатся перебивающие текст реплики: "Что? Я же сказал. Пишите слово в слово. Да, так. Не вы мне, а я вам плачу за работу. Понятно? Пишите дальше..." Потом опять текст, и снова раздраженная реплика: "Если хотите сохранить редакторское место, все это должно быть в завтрашнем номере. Заеду лично. Да, подпишу номер".

И с элегантностью банкомета, подвигающего партнеру его выигрыш, Мердок протягивает мне листок со своим заявлением. Я аккуратно складываю документ вчетверо и опускаю в карман.

– Еще две минуты, Мердок, и мы с вами расстанемся, – говорю я. – только позвоню Минни.

Она уже дома и радостно сообщает, что созвонилась с больницей, дядя все знает и уговорил врачей отправить его домой.

– Запритесь, Минни, и никого не впускайте до приезда дяди, я попрошу Мартина подежурить у вас.

– Зачем? – вмешивается Мердок. – Наемных убийц посылать не стану. Проиграл – плачу.

– Крупно играете и классно проигрываете, – замечает до сих пор молчавший Мартин. – А ваши "пистолетники" не играют, а постреливают.

– Выстрелов больше не будет, – смеется Мердок. – Вы, может быть, все-таки вернете мой пистолет, Ано?

– Я верну его вам завтра в сенатском клубе. У вас ведь есть гостевая карточка?

Мердок не успевает ответить. Свеча гаснет, заливая оплывшим воском медный подсвечник. Мы оказываемся в темноте. Самая подходящая обстановка для житейских раздумий. Я почти уверен, что он сказал правду: выстрелов больше не будет. Мердок размышляет уже не над тем, что проиграл, а над тем, что выиграл. А выиграл он возможность играть дальше. Ведь мертвецы не играют. Через час-два он заедет в типографию и подпишет к печати очередной номер газеты. Мой же экземпляр заявления Мердока, прежде чем попасть в "Сити ньюз" и сенатскую избирательную комиссию, должен побывать у Уэнделла. Придется будить магната, не дожидаясь утра. Надо спешить.

Несмотря на все протесты дворецкого, мне удается поднять Уэнделла. Он выходит в халате, протирая заспанные глаза.

– Что-нибудь сверхсрочное, Ано, иначе бы вы не явились в такое время?

Я вручаю ему сложенный вчетверо лист бумаги и плюхаюсь на кушетку. Ноги меня не держат – так хочется спать. Мне даже кажется, что я уже сплю и лишь сквозь

сон вижу, как судорожно глотает слюну Уэнделл и как круглеют его глаза, пробегающие по строчкам заявления Мердока.

– Это не подделка? – спрашивает он, спотыкаясь на гласных.

– Вы странный человек, Уэнделл. Столько месяцев меня знаете, а говорите такие вещи. Заявление подлинное и должно появиться сегодня в "Брэд энд баттер". Одновременно надо опубликовать его и нам. Свяжитесь срочно с редакцией "Сити ньюз" и продиктуйте текст стенографистке. Номер, наверно, уже печатается, но вы сумеете втиснуть Мердока в оставшуюся часть тиража. Не стойте с открытым ртом, Уэнделл, не теряйте времени.

Уэнделл покорно, словно младший клерк, бежит к телефону, а я мгновенно засыпаю в сидячем положении и просыпаюсь, когда он появляется снова.

– Как вы добились этого, Ано? – с умилением восклицает он и всплескивает руками. – Боже мой, вы больны?

– Нет, просто чертовски устал.

– Выпейте коньяку.

– Давайте.

Глоток коньяка приводит меня в чувство. Но разве можно в нескольких словах передать события этой ночи? Начинаю с похищения Минни и письма, отправившего Стила в больницу. Уэнделл вдруг перебивает:

– И он решил отдать Мердоку голоса?

– Да. Но вмешались мы с Мартином.

Что произошло дальше, я рассказываю коротко, как могу.

– И вы стреляли? – ужасается Уэнделл.

– Не раздумывая. Мы имели дело с профессиональными "пистолетниками".

– Но они могли вас убить!

– Не сумели. Сумели мы. Вывели их из строя.

– Всех?

– Кроме Мердока. Он умен и соображает быстро: девушку освободил, партию свою распустил и сам продиктовал это заявление в свою газету. Сразу понял, что проиграл.

– А если он все же сообщит в полицию?

– О чем? О том, что заявление сделано под угрозой расправы? Тогда придется признаться и в письме к Стилу и в похищении девушки с целью шантажа сенатора – есть свидетели. А это – политическая смерть Мердока. Нет, заявление он опровергать не станет. Оно даже создает ему ореол политической честности и принципиальности. Входной билет в сенат на будущих выборах. Полицию он вызовет только для того, чтобы опознать раненых. Скажет, что во время его отсутствия на дом было произведено нападение. Сотрудники Бойля, конечно, узнают в задержанных патентованных уголовников и церемониться с ними не будут. А Мердок начнет снова тасовать карты. Не вышло с реставраторами – выйдет с церковниками. Я, кстати, это и посоветовал. Денег ему не занимать. У него их немногим меньше, чем у вас, мистер Уэнделл, и во всяком случае больше, чем у Стила.

Уэнделл более чем доволен – почти счастлив.

– Какой вы молодец, Ано!..

Мне не хочется говорить о себе, да и не поймут меня пожалуй, если рассказать правду. Просто я человек другого века, привыкший к другому ритму. Мой мир имеет опыт разгрома Гитлера и Муссолини, пережил крах диктатуры "черных полковников" в Греции, победу социалистической демократии в Португалии и – надеюсь, недолговечный – взлет фашистской контрреволюции в Чили. Я знаю больше и вижу дальше, чем политики здешнего общества, и лучше их понимаю законы его исторического развития. Но сказать об этом Уэнделлу я не могу.

– Может быть, постелить вам у меня в кабинете? – предлагает Уэнделл.

– Высплюсь у себя в отеле. Только бы добраться до него...

Глава XXIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мы с Мартином вновь на верхней палубе "Гекльберри Финна". Мы едем в Сильвервилль. Плывут мимо сосновые

рощи, глинистые обрывы, рыбацкие хижины над ними и лодки, вытащенные на песчаные отмели. В голубой чаше неба за поворотом Реки уже виднеется пыльная дымка.

О ночной встрече с Мердоком ни я, ни Мартин, словно по уговору, не упоминаем. Пожалуй, она нам обоим казалась чем-то неправдоподобным, далеким от действительности – как виденное где-то в кино или на телеэкране. Теперь же Мартин, выплюнув докуренную сигарку за борт, неожиданно спрашивает:

– А если б он отказался?

– Кто?

– Мердок.

– Я бы убил его. Не я – так ты. Мы ведь знали, на что шли. Но в кафе "Жюн" я понял: Мердок не будет сопротивляться. Потому-то он и отправил по домам Тони и Крука, а Слима послал сопровождать девушку.

– Свести с нами счеты он может и в Сильвервилле. Тут у него дружков не меньше, чем в Городе.

– Он не знает, где мы сейчас. Даже в клуб обедать не пришел, и пистолет его я оставил в гостинице. Вообще никому, кроме Стила, неизвестно о нашем отъезде.

Почему мы решили ехать в Сильвервилль, да еще в самый день выборов?

Произошло это так. После той бурной ночи мы встали поздно, проспав завтрак. В баре нам соорудили яичницу и подогрели кофе.

– Ты долго собираешься молчать? – вдруг взорвался Мартин.

– У меня странное ощущение, Дон. И возникло оно перед тем, как проснулся.

– И у меня. Словно сон под утро увидел, который начисто забылся... И шепнул кто-то на ухо.

– О том, что мы должны ехать в Сильвервилль?

– Да. Но совсем не из страха перед Мердоком. Хотя мысль о его мести была.

– Нет, ни при чем здесь Мердок. И страх ни при чем. Нас отпускают, Дон. Домой.

– Рад?

– От радости кричат или молчат. Потому и молчу. Думаю. Надо будет найти то место, где мы с тобой "приземлились" у океана, близ песчаных дюн. Помнишь?

– Отлично помню. Ты еще спрашивал меня, что за кустарник. А когда поедем?

– Сегодня после обеда. Нужно выяснить расписание.

– Поезд отходит в три десять, в половине девятого мы будем уже в Вудвилле, а "Гек Финн" отплывает в полночь.

– Откуда ты все это узнал?

– Какой же я был бы репортер, если бы не знал расписания. Мы и билеты можем заказать в отеле.

– Лучше на вокзале. Чтоб никто не заинтересовался нашим отъездом. За номер уплачено, ничего с собой не возьмем.

– Думаешь, в Крыму очутимся?

– Убежден.

– У твоей машины?

– Надеюсь.

– Ты даже запереть ее не догадался.

– Полагаю, не увели. Мы тут почти три месяца, ну а там несколько часов прошло, не больше.

– Что-нибудь захватим на память?

– Зачем? Не поверят – ни у вас в Штатах, ни у нас. Наука, мой милый, не любит чудес. Фотоснимки сочтут инсценировкой, газеты – подделкой, а всю нашу историю – мистификацией. Еще к психам угодишь, если будешь настаивать.

– В Штатах могут поверить.

– Кто? Мистики? Кретины? Не для серьезного разговора эта история.

Мартин явно расстроился и затих. А я задумался. Все-таки чужие мы здесь, хотя мне порой и кажется, что я уже привык и к скрипучим фиакрам, и к бальзаковскому "Омону", и к имбирному пиву в сенатском баре. Но жить в прошлом не хочется: обогнали мы этот мир на столетие.

Чтобы повидать напоследок Донована, я отправился в клуб.

К обеду я опоздал. В ресторане было немноголюдно – депутаты и журналисты мотались по избирательным участкам, пресс-конференциям и митингам в парках. Уэнделл, как мне сказали, уехал на биржу, а Стила я нашел в курительной. Он сидел в кресле, один в пустой комнате, курил сигару и пил содовую воду мелкими глотками: его мучила послеобеденная изжога. Сенатор

выглядел бодрее, чем в больнице, и глаза смотрели не отчужденно.

– Хочу обнять вас, Ано, – поднялся он с кресла, – вы сделали для меня больше, чем кто-либо и когда-либо в жизни. Мне стыдно смотреть вам в глаза, но я бы отдал ему все мои голоса, чтобы спасти Минни. Я – трусливый старик, ничтожество. Если бы не вы... – Стил отпустил мои плечи и сел, прикрыв лицо сморщенной рукой. – Как вы победили его, Ано?

– Не победил, а убедил, что так будет лучше.

– Таких нельзя убедить.

– Я разговаривал с ним на его языке.

Стил больше не спрашивал.

– Я все-таки подаю в отставку, – печально сказал он.

– А голоса?

– Отдам Уэнделлу, а часть вам.

– Не понимаю. Я же не кандидат.

– Ну, Донована. Мне известны ваши политические симпатии.

– Только пусть он не знает, почему вы это делаете.

– Обещаю.

– Спасибо, Джемс. А теперь простимся. Поклон Минни. Я ухожу.

– Совсем?

– Совсем. Не огорчайтесь, Джемс. Это должно было случиться. Я ведь случайно здесь и не по своей воле.

– И Мартин с вами?

– И Мартин. Он не зашел к вам, чтобы не тревожить Минни.

– Может быть, так и лучше.

– В кафе "Жюн" она его не разглядела. А спасал он ее вместе со мной. Это я вам говорю, не ей. Ее убедите в том, что Мартин тоже только случайность.

– Что ж, не судьба, – горестно вздохнул Стил.

Он уже глядел в сторону, куда-то мимо меня, так что я незаметно, не прощаясь, смог выйти из комнаты.

Донована я увидел в баре, куда он забежал на минутку: выпить кружку любимого имбирного пива – промочить горло, охрипшее от речей и приветствий.

– Как успехи, Биль?

– Порядок! – Он сиял. – Правда, в Майн-сити пока не был, но в привокзальном районе – хорошо. Наши идут

впереди. Думаем увеличить число мест в сенате с пяти до восьми.

"Больше, Донован, больше! Ведь ты еще не знаешь о судьбе голосов, поданных за Стила".

– Есть уже планы на будущее? – спросил я.

– Много. Будем бороться за признание ассоциации партией. Численность позволит нам это. А к первому же заседанию готовим билль о едином профессиональном союзе.

– Я бы предложил разработать и билль о рабочих школах. Нужно собрать по крохам все – изданное когда-то или переписанное, – что познакомит рабочего с основами социализма.

– Это запрещено лет сорок назад.

– А вы добейтесь отмены запрета.

– Ты говоришь со мной так, как будто мы видимся в последний раз.

– Возможно. Я ведь землепроходец в отпуску, романтик новых земель. И отпуск уже кончается.

– Не разыгрывай. Кстати, что случилось с Мердоком? Об этом столько разговоров в Городе. Ход в какой-то новой игре или просто неуверенность в своих силах?

– Может быть, и то и другое, Биль.

Выходя из подъезда клуба, я заставил себя внимательно оглядеться, нет ли поблизости терпеливо ждущих "стреляющих" фиакров или праздношатающихся парней, похожих на "пистолетников". Ничего подозрительного не было.

Все это закончилось еще вчера, до вудвилльского поезда. А сейчас мы подходим к пристани Сильвервилля и, протискиваясь сквозь толпу пассажиров, бежим к газетному киоску, чтобы узнать результаты выборов.

Все бюллетени, поданные за реставраторов, признаны недействительными. Неизвестно, сколько голосов собрал бы Мердок, если бы не распустил ассоциацию и не снял с выборов ее кандидатов. Поданные же бюллетени не обеспечивали ему и одного места в сенате.

Стил объявил о своей отставке и отдал из полумиллиона полученных им голосов две трети Уэнделлу и треть Доновану. Таким образом, популисты и трудовики добились еще по нескольку мест.

В результате шестьдесят два места в сенате распределились так.

Абсолютное большинство – тридцать два голоса – оказалось у популистов. Из оставшихся тридцати мест шестнадцать досталось трудовикам, десять – "джентльменам" и только четыре – церковникам.

– С кем же будет блокироваться Донован? – интересуется Мартин.

– Его охотно поддержат все популисты, прошедшие в сенат с помощью голосов беднейших слоев населения. Раскол среди популистов – необратимый процесс, он продолжится и на скамьях сената. Будет еще немало вариантов, типичных для многопартийной парламентской демократии, но левые в конце концов образуют свое правительство. Мердок тоже будет ждать своего часа. Диктатором ему не бывать, зато у него есть газета и деньги. Вероятнее всего, такой и понадобится потерявшим голоса "джентльменам". Пусть нувориш, но кому-то надо играть и нечистыми картами. Здешние аристократы, мой милый, далеко не безгрешны.

На этом и заканчивается наше обсуждение послевыборных городских перспектив.

Я вынимаю и пересчитываю оставшиеся у нас деньги. Не брать же их с собой: все равно ни один музей не возьмет, а Зернов и так поверит.

– Может, закатим банкет в "Веселом петухе" на прощание? – предлагает Мартин.

Вспоминаю лысого старика Вильсона, его котлеты на вонючем сале.

– Мне еще за рулем сидеть, если машина цела. – говорю я, шагая мимо знакомого медного петуха над деревянным крыльцом.

Я выбрасываю пачку здешних банкнотов по ветру, они летят и катятся, их никто не подбирает, потому что мы уже за Городом и никого, даже пирожника, поблизости нет.

У нас осталось всего по "полтиннику", по одной стертой монетке в двадцать пять франков. Пусть они будут памятью о шестидесятых годах первого века чужой, но так похожей на земную, цивилизации. Не искусственной, а живой и по-настоящему человеческой.

Вот и дюны впереди, у океанского берега, и знакомые колючие заросли "альгарробо". Где-то должно быть место нашего "приземления", куда нас перебросили с крымской автомобильной дороги.

– Кажется, тут, – говорит Мартин, – и песок примят, как будто кто-то сидел.

– Думаешь, сохранятся следы при таком ветре, да еще на прибрежном песке?

– Все-таки присядем.

Присели. Огляделись. Серо-зеленый океан блеснул вдруг васильковой голубизной и провалился куда-то вниз.

...Мы сидим на краю обрыва у крымской дороги, вьющейся серпантином среди виноградников от серых скал Яйлы к синему-синему Черному морю. Мой "Жигуленок" стоит с полуоткрытой дверцей чуть в стороне от нас, и пиджаки наши с деньгами и документами лежат на сиденьях. Только вокруг машины с озабоченным видом ходит инспектор ГАИ – старший лейтенант лет тридцати. Рядом – милицейская "Волга" с равнодушным старшиной у руля.

Я кашлянул, старший лейтенант обернулся и застыл, будто увидел что-то явно противозаконное.

– Вы откуда? – спрашивает он.

Мы молчим. Мы улыбаемся. Мы – дома.

– Как вы здесь очутились? Минуту назад тут никого не было, – наступает на нас инспектор ГАИ.

– А мы поднялись вон оттуда, – я указываю на обрыв.

– Чья это машина?

– Моя. Разрешите? – я подхожу к машине, вынимаю из лежащего там пиджака права и паспорт.

Инспектор внимательно изучает документы.

– Так почему же вы ее бросили?

– А мы не бросили, мы отлучились.

– Куда? – выдохнул инспектор.

– Мы погулять пошли, – мямлю я, не в силах придумать ничего более умного.

– Где же здесь гулять? – удивляется инспектор. – По этим кручам?

– Вот-вот – подхватываю я. – Замучил меня приятель. Любит горы.

– А кто этот ваш приятель? – строго спрашивает инспектор, оглядывая Мартина.

Я отвечаю почти шепотом:

– Американский турист, товарищ инспектор. Корреспондент из Нью-Йорка. Очень интересуется советским

автотуризмом. Мартин, покажи ему твое удостоверение, – прибавляю я по-английски.

Мартин вынимает из своего пиджака документ, свидетельствующий о его законном пребывании в СССР, и корреспондентскую карточку.

– Спасибо. Карашо, – говорит он с дурацкой улыбкой. Сразу понял, как надо сыграть.

Инспектор, мельком взглянув на документы, возвращает их Мартину.

– Как же так, граждане? – произносит он уже менее грозно. – Нам сообщили, что машина ваша с утра здесь стоит. Дверцы не заперты, и ни водителя, ни пассажиров. А мы из Севастополя сюда ехали, чтобы машину вывезти и владельца искать. Ведь ее и угнать могли.

– Что вы, товарищ инспектор, какие здесь жулики?

Инспектор почему-то усмехается и смотрит на мои высокие башмаки.

– Где сапоги покупали? – спрашивает он.

– В Калифорнии, товарищ инспектор, – радуюсь я перемене темы. – Дональд Мартин покупал. Себе и мне.

– Можете следовать дальше, – сухо козыряет инспектор, садится в машину рядом с водителем и уезжает вверх по шоссе к Байдарским воротам.

А мы хохочем и не можем остановиться. И не над инспектором, и не над собой, а просто потому, что мы стоим на Земле, на Земле с большой буквы, с какой пишется имя нашей родной планеты.

Я подбросил на ладони серебряную монету в двадцать пять "райских" франков, действительно похожую на наш полтинник, – тусклую монетку, стертую, – единственное доказательство нашего пребывания в "раю без памяти".

Сотрет время и "серебряный вариант", который мы пережили на горной крымской дороге.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

3

РАЙ БЕЗ ПАМЯТИ

219

СЕРЕБРЯНЫЙ ВАРИАНТ

534

Александр Абрамов, Сергей Абрамов

ВСАДНИКИ НИОТКУДА

фантастический роман

Подписано в печать 24.12.92 г., формат 84×108/32. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Услов. печатных листов 36,96. Усл. кр.-отт. 36,96. Усл. изд. л. 35,93. Тир. 100 000 экз. Зак. 1283.

«Отклонения по качеству печати обусловлены представленными МП «Апрель», диапозитивами».

Издательство «Мишель и К» г. Москва, при участии МП «Апрель» г. Москва, Озерковская набережная, 8/14.

Ярославский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

АЭРОФЛОТ